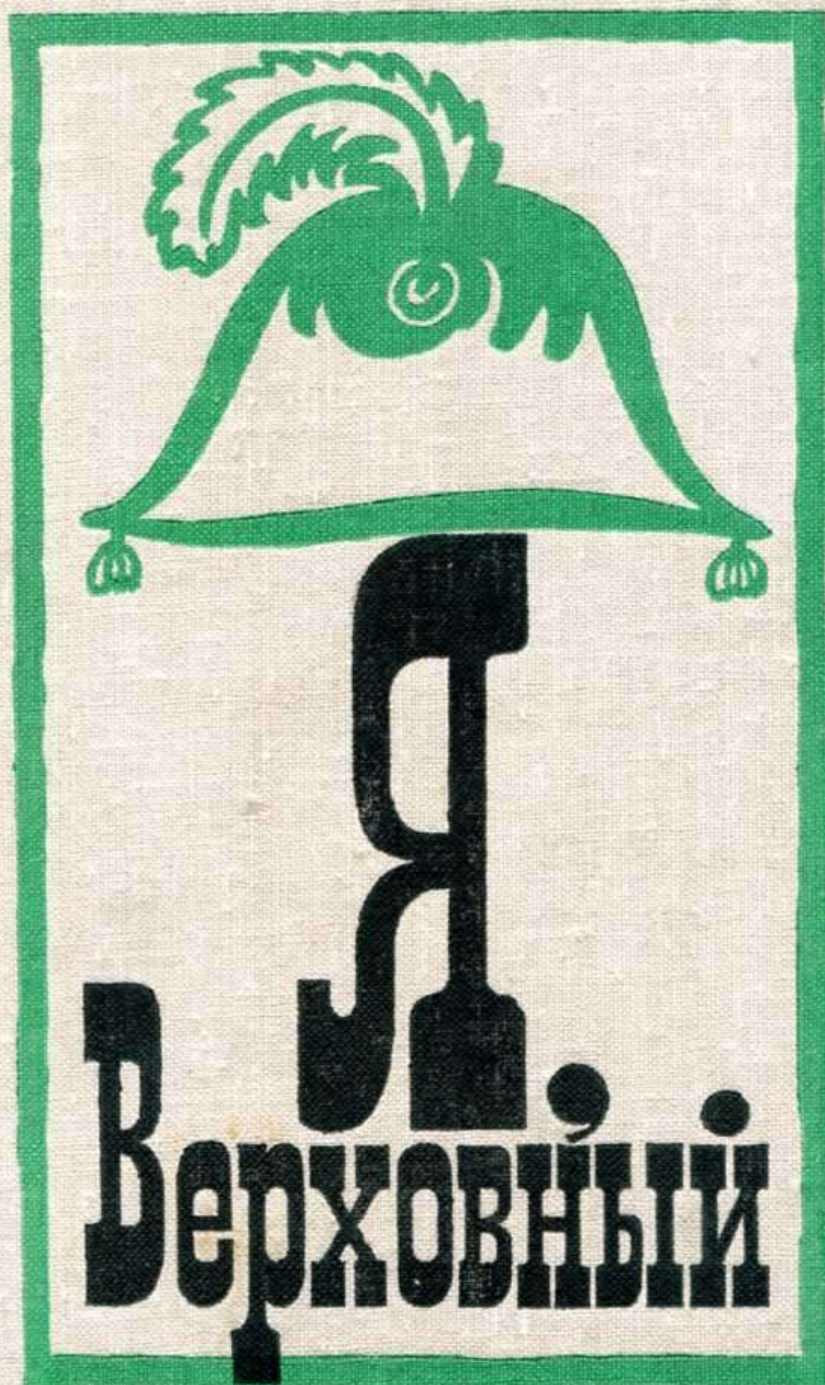


Бастос Аугусто Роа

# Я, верховный

Аугусто Роа БАСТОС



## Предисловие

...«„Я, Верховный“... Что это? Биография? Роман-биография? Исторический роман? История в литературном изложении? Насыщенная, сложная, многоплановая и полная переплетающихся между собой событий, книга эта дает пищу для размышлений и ставит множество вопросов. Это поистине головоломка для начетчиков, приверженцев пустой риторики, которые хотят разложить все по полочкам»<sup>[1]</sup>.

Так сказал о романе «Я, Верховный» парагвайский писатель Рубен Барейро Сагиер. А написан он талантливым соотечественником Сагиера — Аугусто Роа Бастосом, который наряду с кубинцем Алехо Карпентьером, перуанцем Варгасом Льюсом и колумбийцем Гарсиа Маркесом считается одним из выдающихся романистов Латинской Америки. Аугусто Р. Бастос родился 13 июня 1917 года в Асунсьоне. Начал писать с юношеских лет: в 1938 году был опубликован сборник его стихов «Соловей Авроры». Затем он был журналистом, комментатором на радио, лектором, дипломатом. Перу Аугусто Р. Бастоса принадлежат также сборник рассказов «Гром среди листьев», роман «Сын человеческий», переведенный на русский язык<sup>[2]</sup>. Писатель удостоен ряда литературных и театральных премий, отмечен и его вклад и киноискусство.

Произведения Бастоса, отличающиеся глубоким реализмом, носят остросоциальный характер, зовут к борьбе за освобождение, против нищеты, деспотизма и произвола правящих классов. Все это в полной мере может быть отнесено и к роману «Я, Верховный». Историческим фоном романа являются двадцатые — сороковые годы прошлого века, бывшие чрезвычайно важными для освободительного движения в Парагвае, а его героем — человек, сыгравший столь существенную роль в истории своей родины, пожизненный диктатор Хосе Гаспар Родригес де Франсия.

Как известно, в первой четверти XIX века в американских колониях Испании и Португалии вспыхнула борьба за независимость, определившая дальнейшее развитие стран Латинской Америки. Возглавили эту борьбу представители местной зарождающейся буржуазии и прогрессивно настроенной креольской знати, что, несомненно, наложило отпечаток на процесс завоевания политической самостоятельности молодыми государствами континента. Но решающей силой в этой борьбе был народ. Именно народные выступления против ненавистного колониального гнета расшатали его устои, придали освободительным войнам в Парагвае некоторые прогрессивные демократические черты. Национальное самосознание к этому времени уже в значительной степени сформировалось, подготовленное широким крестьянским движением 1719—1735 годов, развивавшимся под лозунгом «Долой власть королей! Да здравствует власть коммун!», которое вошло в историю Парагвая как «движение комунерос». Сыграли свою роль и ликвидация иезуитского государства во второй половине XVIII века, борьба с английскими войсками, пытавшимися вторгнуться на территорию вице-королевства Ла-Плата (куда входил Парагвай), ослабление испанской монархии после войны с Наполеоном и Майская революция 1810 года в Буэнос-Айресе, после которой усилилась тенденция к экономической независимости Парагвая от Буэнос-Айреса.

Вскоре после майских событий революционная хунта Буэнос-Айреса, недооценивая национальные чувства парагвайцев, направила войска в Парагвай, чтобы изгнать оттуда испанцев и включить его вместе с другими провинциями Ла-Платы в состав государства под своей эгидой. Но парагвайских патриотов не устраивали эти планы Буэнос-Айреса. Повсеместно стали создаваться народные ополчения. Вскоре буэнос-айресская армия была разбита. В мае 1811 года группа молодых офицеров начала подготовку вооруженного восстания, чтобы покончить с испанской администрацией, оно вспыхнуло в ночь с 14 на 15 мая в столице Парагвая — Асунсьоне, а его организатором и руководителем явился известный своими патриотическими убеждениями доктор Франсия.

Хосе Гаспар Родригес де Франсия (1766—1840) родился в семье торговца табаком. Окончил монастырскую школу и Кордовский университет, где получил степень доктора канонического права. Но не захотел быть священнослужителем и стал адвокатом, а к моменту свершения Майской революции в Парагвае Франсия был уже главным судьей Асунсьона. Начитанный, разносторонне образованный, воспитанный на идеях Французской буржуазной революции, он отличался личной честностью, бескорыстием и скромностью, что снискало ему широкую популярность. Франсия мечтал видеть Парагвай независимым государством. По свидетельству

ряда историков, 24 июля 1810 года на одном собрании Франция заявил: «Парагвай не принадлежит Испании. Он не является также провинцией Буэнос-Айреса. Парагвай независим — это республика. Единственный вопрос, которым мы должны заниматься и который должны решить большинством голосов, заключается в следующем: каким образом нам защищаться и отстоять нашу независимость от посягательств Испании, Лимы, Буэнос-Айреса и Бразилии; как сохранить внутренний мир; как добиться процветания и благополучия всех парагвайцев; наконец, какую форму правления следует избрать Парагваю? — И, вытащив два пистолета, Франция добавил: — Вот мои аргументы в пользу этих идей: один — против Фердинанда VII, другой — против Буэнос-Айреса»<sup>[3]</sup>.

17 июня 1811 года Парагвай был провозглашен свободным и независимым государством, 30 сентября 1813 года открылся первый в истории Парагвая общенациональный выборный орган — конгресс. Число депутатов превысило тысячу. Депутаты единодушно одобрили проект государственного устройства, устанавливавший в стране республиканский строй. 1 июня 1816 года Национальный конгресс объявил Францию пожизненным диктатором — Верховным правителем Парагвая. Франция получил неограниченную власть.

Однако исследование правления Франции для Роа Бастоса не самоцель, писатель не забывает о Парагвае сегодняшнем, параллель с режимом Стресснера невольно возникает у каждого, кто знаком с современностью этой страны. «Твердая политика Хосе Гаспара Родригеса де Франсии, направленная к защите территориальной целостности и национального суверенитета и нашедшая яркое отражение в романе, представляет собой прямую противоположность предательской политике нынешней парагвайской диктатуры, которая бесстыдно, за подачи разбазаривает национальное достояние и попирает национальную гордость»<sup>[4]</sup>, — справедливо отмечает уже упоминавшийся нами Рубен Барейро Сагнер.

Сегодня очень важно увидеть отличия патриотической политики Франции и ее целей от шовинистической политики военно-полицейских диктатур, начиная с правительства Хуана Наталисио Гонсалеса (1940—1948), и особенно политики фашистской тирании Стресснера, которая стремится представить себя наследницей идей Франции и исторических завоеваний патриотов Мая.

Не увидев этих отличий, можно прийти к неверной оценке исторического значения режима Франции, как случилось, например, со шведским писателем Артуром Лундквистом, который в своем отзыве на роман Бастоса, опубликованном в газете «Dagens Nyheter», утверждает, что «Парагваем начиная с времен испанского владычества правили деспотические диктатуры», что «замкнутость и застой в развитии Парагвая имеют своим истоком первого и наиболее известного диктатора — доктора Франсию, или Верховного, захватившего абсолютную власть после освобождения Парагвая от гнета испанской короны в 1811 году и не выпустившего ее из своих рук до самой смерти, последовавшей в 1840 году, когда диктатору было 74 года»<sup>[5]</sup>.

В одном из предисловий к роману Карпентьеера «Превратности метода»<sup>[6]</sup>, где речь идет о прототипах литературных диктаторов, в частности, высказывается следующая мысль: «В 1843 году Томас Карлейль удивился тому, что безвестный адвокат, доктор теологии, стал пожизненным диктатором в некоей латиноамериканской стране. Английский историк и философ не мог тогда понять, что доктор Франция... установил метод правления, средства которого, до бесконечности умножаясь, продолжают определять и сегодня политическую жизнь нашего континента»<sup>[7]</sup>.

В подавляющем большинстве исследований буржуазных историков, но не парагвайских, Франция характеризуется как безжалостный, кровавый тиран, одержимый абсурдными, едва ли не безумными теориями, жестокий, мстительный, бесчеловечный деспот, злобный палач, маниакальный преследователь, узурпатор, который в течение 26 лет своего правления, изолировав Парагвай от внешнего мира, держал народ в страхе, а страну обрек на прозябание и т. д. и т. д. Особенно злобствовали клерикалы, лишившиеся своего экономического могущества, верхушка военищины, которую Франция сместил, заменив капитанами, лейтенантами и «черными» сержантами, вышедшими из низших сословий, буэнос-айресские унитаристы и федералисты, стремившиеся подчинить Парагвай единому или федеральному государству под своей эгидой.

*И это не случайно. Правительство Франции, опираясь на широкие слои парагвайского общества, осуществило ряд мер, которые отвечали коренным интересам и стремлениям парагвайского народа, способствовали общему прогрессу страны.*

*В романе Аугусто Роа Бастоса обозначены магистральные направления экономической политики доктора Франции: «...всякая подлинная революция означает изменение имущественных отношений. Изменение законов. Глубокое изменение всего общества... Я принялся за дело. Взял в ежовые рукавицы хозяев, торгашей, всю лоценую сволочь... Чтобы создать Право, я упразднил извращенные права, сохранявшиеся в этих колониях на протяжении трех веков. Я уничтожил чрезмерную частную собственность, обратив ее в общественную...»*

*Франция экспроприировала земли, принадлежавшие испанской короне и иезуитам. В руках государства оказалось около половины территории Парагвая. Часть национализированных земель была распродана за умеренную цену, сдана в бессрочную аренду; другая часть предназначалась для создания крупных животноводческих хозяйств. Была установлена государственная монополия на импорт: государство контролировало внешнюю торговлю. Впервые Парагвай снабжал себя зерном и хлопком, впервые там стали выращивать рис, кукурузу, овощи. Именно в Парагвае была проведена первая аграрная реформа на континенте.*

*Правительство поощряло и субсидировало промышленное развитие. Были построены, хотя и небольшие, фабрики и заводы, телеграф, проложены шоссейные и железные дороги. Велось градостроительство. Расширились капиталистические отношения, росли производительные силы.*

*Франция вел решительную борьбу с злоупотреблениями чиновников, соблюдал строжайшую экономию, значительно сократил и оздоровил административный аппарат. Вот что говорится в одном из его «Периодических циркуляров»: «Хорошенько поразмыслите над этими принципами: на них зиждется наша республика и в них заключено предначертание ее будущего... Мне нужны люди, которым присущи чувство чести, строгие правила, мужество, честность. Мне нужны патриоты без страха и упрека».*

*Самыми многочисленными общественными группами в период правления Франции были сельские батраки, крестьяне, городская мелкая буржуазия и беднота, и диктатура действует открыто как власть этого большинства, направленная против внутренней контрреволюции. Она не отступает от своих позиций и не намерена терять свои привилегии: «Наши тузы-олигархи рассчитывал» до скончания века жить разведением коров и денег. Жить, бездельничая». И далее: «Пеоны, пахари, плотовщики, сборщики йербы, лесорубы, пастухи, ремесленники, погонщики мулов... иными словами, трудящееся простонародье, производили материальные блага и страдали от всех невзгод. Богачи пользовались всеми благами...» «...Когда в 1814-м я взял в свои руки Верховную Власть, тем, кто мне... советовал опереться на высшие классы, я сказал: ...при том положении, в котором находится страна и в котором нахожусь я, моей знатью может быть только простонародье».*

*В одном из «Периодических циркуляров» Франция так отвечает своим врагам: «В чем обвиняют меня эти анонимные бумагомаратели? В том, что я дал нашему народу свободную, независимую, суверенную родину? В том, что я с момента ее рождения защищал ее от натисков как внутренних, так и внешних врагов...» И далее: «Они кипят злобой, не в силах примириться с тем, что я восстановил общественную власть в городах, селениях, деревнях; что я продолжил первое на нашем континенте действительно революционное движение, вспыхнувшее еще раньше, чем Война за независимость в огромной стране Вашингтона, Франклина, Джефферсона, и раньше, чем Французская революция».*

*Уже находясь у власти, Франция не окружил себя камарильей или придворными, как было принято в ту эпоху во многих странах Латинской Америки, он приказывает расширить коридоры правительственных учреждений, которые с тех пор каждое утро заполняют толпы простолюдинов. Двери Дома Правительства были открыты для народа и закрыты для врагов независимого Парагвая. Парагвай оказался единственной страной в Латинской Америке, где освобождение от колониального гнета сопровождалось серьезными изменениями в социально-экономической структуре, — именно это и не давало покоя внутренней и внешней реакции.*

*Идеи Великой Французской революции, ее опыт служили для Франции главными ориентирами, правда, в практике своей он все же тяготел к радикализму якобинцев, полагая, что лишь «железной рукой» можно сдерживать попытки возможных термидорианских заговоров.*

Верховный сознавал необходимость последовательных мер в защиту революционных завоеваний: «Революция не может ждать никакой поддержки от контрреволюционной армии; нельзя мириться с этой армией гренадеров-живодеров, наемников-скотоводов, всегда навязывающих то, что отвечает только их интересам. Мы не можем ни потребовать от них, ни добиться унижительными уговорами, чтобы они встали на службу революции. Рано или поздно они погубят ее. Всякая настоящая революция создает свою собственную армию, потому что революцию и представляет вооруженный народ». И дальше: «Армией республики будет весь народ, не облаченный в форму, но облеченный достоинством вооруженного народа... Ее будут составлять свободные крестьяне под начальством командиров, естественно выдвинувшихся из этого естественного войска, предназначенного для труда и обороны республики». В этом высказывании содержится мысль о необходимости создания армии нового типа, армии, состоящей из представителей народа, способных защитить интересы страны.

Из истории мы знаем, что правительства, не продемонстрировавшие достаточной твердости и не создавшие новой армии, пали жертвами реакционных заговоров, кровавых переворотов. Армия при Франции служила исключительно оборонительным целям и была лишена милитаристского духа, поскольку внешняя политика Верховного основывалась на невмешательстве во внутренние дела соседних стран.

В правление Франции все жители Парагвая умели читать, писать и считать. В стране не было нищих. Франция не использовала свою неограниченную власть для собственного прославления и наживы. Став Верховным, он решительно противился тому, чтобы города и улицы назывались его именем или именем его родственников. Общеизвестно, что Франция умер бедным, его скромное состояние составляло примерно 2146 унций чеканного золота, 97 золотых песо, 181 серебряный песо, сюда еще можно добавить и жалованье, получить которое он отказался.

И все же внимательный читатель обнаружит в документах Верховного и его высказываниях явную недооценку роли народа, а порой презрительные, высокомерные нотки, и это не художественный вымысел Бастоса: в тогдашнем Парагвае не было конституции, а значит, не было демократических свобод, Национальный конгресс не созывался с 1816 года, были упразднены выборные городские муниципалитеты. Боясь либеральных влияний, Франция воспитывал парагвайский народ в духе преклонения перед своей личностью, подавляя его политическую активность, что, естественно, не давало развиваться индивидуальному сознанию. Ограничивая индивидуальные свободы во имя общего блага, Верховный и не помышлял, чтобы общественные интересы хоть как-то сочетались с личными.

Введя обязательное начальное образование, Франция ничего или почти ничего не сделал для высшего. Поставив своей целью экономическое равенство, он тем не менее не ликвидировал частную собственность. Наряду с государственными эстансиями продолжало существовать, хотя и ограниченное, крупное частное землевладение. Определенный ущерб государственным интересам нанесла проводимая им политика изоляции.

Да, возможно, «...не обязательно было устанавливать диктатуру... Теоретически можно себе представить иной выход из положения — образование на демократической основе представительного правительства, наделенного широкими полномочиями и в то же время подотчетного конгрессу. Но вряд ли следует удивляться тому, что в конкретных условиях тогдашнего Парагвая путь исторического развития оказался другим»<sup>[8]</sup>. Вот именно! Экономический уклад страны оставался средневековым. Главной социальной силой, на которую опирался Франция, были крестьяне, ведущие примитивное натуральное хозяйство. Внутренняя же оппозиция, формирующаяся главным образом из влиятельных столичных кругов, не могла иметь успеха, так как не располагала необходимой общественной базой. К тому же Парагвай находился под постоянной угрозой утраты своей независимости. Чтобы отстоять завоевания Майской революции, нужно было максимально сплотить все патриотические силы, укрепить и централизовать государственную власть, сконцентрировать экономические и военные ресурсы. В тот период это мог сделать только волевой, энергичный, пользующийся авторитетом в народных низах политический руководитель, им оказался Франция.

И как бы ни подчеркивались темные стороны правления Франции, нельзя забывать о том, что Франция — продукт отсталого общества. Он не мог выйти за рамки деятельности представителя зарождающейся буржуазии. Как и при всякой авторитарной власти, ошибки и произвол были

неизбежны. Однако невозможно отрицать патриотизм Франции, его верность национальному долгу.

Нынешний парагвайский диктатор генерал Альфредо Стресснер много говорит о независимости своей страны, мнит себя преемником патриотов Мая. Однако именно предательство лучших традиций прошлого характерно для стресснеровского режима. Придя к власти в мае 1954 года в результате государственного переворота и при поддержке США, Стресснер в марте 1977 года осуществил еще одну «реформу» Конституции и стал пожизненным диктатором вопреки воле народа.

Его фашистская диктатура, опираясь на террор и насилие, уже давно служит интересам империалистических монополий. Именно им принадлежит подлинная власть в стране. По признанию самого министра промышленности и торговли Дельфина Угарте Сентуриона, в Парагвае нет никаких препятствий для деятельности межнациональных монополий, «иностранные предприятия могут вывозить из Парагвая все сто процентов своих прибылей». Правительство Стресснера отдало почти половину территории страны под иностранные концессии. Что же осталось от независимости и территориальной целостности Парагвая? О каких традициях Мая может идти речь?

Объявленная генералом Стресснером «аграрная реформа» направлена против жизненных интересов подавляющего большинства крестьян. За «внутренним миром», «представительной демократией», «политическим чудом» самого реакционного и преступного за всю историю Парагвая режима на деле кроются постоянное осадное положение внутри страны, жестокое репрессивное законодательство, убийства по политическим мотивам, изгнание за пределы родины сотен тысяч парагвайцев, преследование политических партий, не поддерживающих официальную политику, рабочих и крестьянских лидеров, всех прогрессивных деятелей.

Большинство парагвайцев живет в нищете. В стране очень высокая детская смертность, основная причина которой — хроническое недоедание. Безграмотность достигает 50%. Широко используется детский труд. А Стресснер и его приспешники наживают миллионы на узаконенной контрабанде и торговле наркотиками. Даже по свидетельству официальной прессы, сегодня и Парагвае, словно снежная лавина, растет разбазаривание государственных фондов, присвоение государственных земель, хищения, махинации, взяточничество.

Парагвайская армия, являющаяся пропорционально населению страны наиболее многочисленной в Латинской Америке, составляет ту силу, с помощью которой Стресснеру и его клике удастся сохранять власть и подавлять антидиктаторские и антиимпериалистические выступления. Эта армия уже не служит защите национальной независимости и территориальной целостности Парагвая, а расправляется с народом, ее высшее командование стремится лишь к наживе и обогащению.

Хотя Стресснер и пытается выдать себя за ученика и последователя Франции, для него, как и для всех парагвайских сторонников личной власти, основным в политике Верховного, его методах правления и даже характере являются отрицательные стороны, они-то и помогают оправдать теперешний режим. Но какой бы изощренной ни была демагогия и какими жестокими ни были бы репрессии, парагвайский народ верит в свои силы и продолжает бороться за свободу и независимость своей родины. Нелегка борьба парагвайцев, однако, вдохновляемые подвигами патриотов Мая, они будут идти вперед, и ничто не заставит их отступить.

Е. Надеждин

**Я, ВЕРХОВНЫЙ ДИКТАТОР РЕСПУБЛИКИ,**

**ПРИКАЗЫВАЮ: КОГДА Я УМРУ, МОИ ТРУП ОБЕЗГЛАВИТЬ; ГОЛОВУ ВЗДЕТЬ НА ПИКУ И НА ТРИ ДНЯ ВЫСТАВИТЬ НА ОБОЗРЕНИЕ НА ПЛОЩАДИ РЕСПУБЛИКИ, КУДА СОЗВАТЬ НАРОД, ЗВОНЯ ВО ВСЕ КОЛОКОЛА.**

**ВСЕХ МОИХ СЛУГ, ШТАТСКИХ И ВОЕННЫХ, ПРЕДАТЬ КАЗНИ ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ. ИХ ТРУПЫ ЗАРЫТЬ В ЗЕМЛЮ НА ПУСТОШАХ, ЗА ЧЕРТОЙ ГОРОДА, ОСТАВИВ БЕЗ КРЕСТА И НАДГРОБИЯ.**

ПО ИСТЕЧЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННОГО СРОКА МОИ ОСТАНКИ СЖЕЧЬ, А ПЕПЕЛ БРОСИТЬ В РЕКУ...

Где это нашли? Это было приколото на двери собора, Ваше Превосходительство. Сегодня на рассвете гренадерский патруль обнаружил там этот листок, сорвал его и доставил в комендатуру. К счастью, никто не успел его прочесть. Я тебя об этом не спрашиваю, да это и не важно. Вы правы, Ваша Милость, чернила, которыми пишут пасквильи, скисают скорее, чем молоко. К тому же это ведь не буэнос-айресская газета и не страница, вырванная из книги. Какие здесь могут быть книги, кроме моих! Аристократы из пресловутых двадцати семейств уже понаделали из своих игральные карты. Сровнять с землей дома антипатриотов. В тюрьмах пошарь, в тюрьмах. Виновный может оказаться среди этих зубатых, косматых крыс. Потяни-ка за язык этих языкастых лжецов. В особенности Пенью и Моласа<sup>[9]</sup>. Принеси мне письмо, в которых Молас во время Первого Консульства<sup>[10]</sup>, а потом во время Первой Диктатуры выражает мне свою поддержку. И я хочу перечитать речь, которую он произнес на Ассамблее 14 года, требуя моего избрания диктатором. Черновик этой речи, наказ депутатам и жалоба, в которой он несколько лет спустя обвинил одного эрмано<sup>[11]</sup> в присвоении его скота из эстансии Альтос, написаны совсем разными почерками. Я могу повторить то, что говорится в этих бумагах, Ваше Превосходительство. Я не просил тебя пересказывать тысячи архивных документов. Я приказал тебе только принести дело Мариано Антонио Моласа. И еще принеси мне памфлеты Мануэля Педро де Пеньи. Злобные сикофанты! Они хвалятся тем, что их устами глаголила Независимость. Крысы! Они никогда не понимали ее смысла. Они воображают, что в тюрьмах могут говорить что им угодно. Только и знают визжать. Все еще не умолкли. Находят все новые способы выделять свой проклятый яд. Стряпают памфлеты, пасквильи, сатиры, карикатуры. Я необходимая фигура для злоречия. По мне, они могут сколько угодно облекаться в одеяния поборников священного дела. Печатать свою писанину освященными литерами в освященной прессе. Пусть эти сортирные писаки печатают пасквильи хоть на Синае, если им хочется!

Гм. Так. Заупокойные молитвы, памфлеты, в которых меня обрекают на сожжение. Ну-ну. А теперь вот осмеливаются пародировать Декреты, которые я издаю своей верховной властью. Имитируют мой язык, мой почерк, стараясь таким образом просочиться, добраться до меня из своих логовищ. Заткнуть мне рот, копируя голос, который их испепелил. Подделаться под мою речь, под мой облик. Старый трюк племенных колдунов. Надо усилить надзор над теми, кто тешит себя надеждой, что после моей смерти сможет занять мое место. Где дело анонимов? Вот оно, Ваше Превосходительство, у вас под рукой.

Отнюдь не исключено, что это насмехательство продиктовали два досужих сочинителя, пакостей со-учинители Молас и де ла Пенья. Такая шуточка вполне в духе этих подлых заговорщиков, наемников Буэнос-Айреса. Если это так, я им покажу; пусть Молас богу молится, и пусть Пенья пеняет на себя. Возможно, один из их приверженцев выучил эту гнусность наизусть.

Второй написал ее. Третий приколот четыремя кнопками на двери собора. Ни на кого нельзя полагаться. И больше всего надо остерегаться самих сторожей. Как вы правы, Ваша Милость. По сравнению с тем, что вы говорите, даже истина кажется ложью. Я не прошу тебя льстить мне, Патиньо<sup>[12]</sup>. Я приказываю тебе искать и отыскать автора пасквиля. Сумей найти иголку в стоге сена. Выведай всю

подноготную у Пеньи и Моласа. Сеньор, они не могут быть авторами. В застенке, где они заключены, уже несколько лет царит полнейшая темнота. Ну и что? После того как я перехватил последнее воззвание Моласа, Ваше Превосходительство, я приказал наглухо заделать слуховые окна, щели в дверях, трещины в стенах и потолках. Ты ведь знаешь, что заключенные постоянно дрессируют крыс, чтобы через их посредство тайно сноситься со своими сообщниками. И даже чтобы доставать еду. Вспомни, что негодяи из Санта-Фе так воровали в течение нескольких месяцев корм у моих воронов. Я приказал также заделать все отверстия, муравьиные ходы, норки сверчков, продушинки. Уж темнее не может быть, сеньор. И им нечем писать. А про память ты забываешь? Ты ли это, памятливым мужлан? У них может не быть ни огрызка карандаша, ни кусочка угля. У них может не быть ни воздуха, ни света. Но у них есть память. Такая же, как у тебя. Память архивного таракана, на триста миллионов лет более древняя, чем Homo Sapiens. Память рыбы, лягушки, попугая, который, когда чистит клюв, всегда наклоняет голову в одну и ту же сторону. Это не значит, что они умны. Как раз наоборот. Разве можно назвать памятливым человека, который, обжегшись на молоке, дует на воду? Нет, это всего лишь боязливый человек. Ожог вошел в его память. Не страх сохранился в памяти, а сама память превратилась в страх.

Знаешь ли ты, что такое память? Кто-то ошибочно назвал ее желудком души. Впрочем, никто ничего не называет первым. Все бесконечно повторяют уже сказанное. Изобретаются только новые ошибки.

Желудок души. Прелестно! Какая душа должна быть у этих бездушных клеветников? В желудках жвачных животных — вот где бродит вероломство этих отъявленных и неисправимых мошенников, вот где варятся, котлами варятся, их гнусности. Какая память им нужна, чтобы помнить все свои лживые измышления, имеющие единственной целью очернить меня, опорочить правительство? Память, действующая по принципу жуй-пережевывай. По принципу заглатывай, отрыгивай и снова заглатывай. Память, превращающая пищу в грязное месиво. Они пророчествовали, что сделают эту страну новыми Афинами. Ареопагом наук, изящной словесности и искусств этого континента. Но за этими химерами крылся замысел продать Парагвай тому, кто даст наибольшую цену. И им это чуть было не удалось. Но я убрал этих ареопагитов. Я свалил их одного за другим. Я отправил их туда, где им место. Ареопаги — дело мое! За решетку негодяев!

С преступника Мануэля Педро де Пеньи, главного красноречивого патрициата, я сбил спесь. Согнал с геральдического насеста этого попугая. Посадил его в тюремную клетку. Там он научился без ошибки повторять от А до Z. сто тысяч слов из словаря Королевской Академии. Так он упражняет свою память на кладбище слов. Чтобы не заржавело его блестящее красноречие. Доктор Мариано Антонио Молас, адвокат Молас, проще говоря, писака Молас, без передышки, даже во сне, декламирует отрывки из своего описания того, что он называет бывшей провинцией Парагвай. Для этих последних оставшихся в живых ареопагитов родина остается бывшей провинцией. Они не упоминают хотя бы для вида, чтобы скрыть свое колониальное нутро, о гигантской провинции Западной Индии — прародительнице, матери, тетке, бедной родственнице вице-королевства Рио-де-ла-Платы, обогатившегося за ее счет.

Здесь пользуются без всякой пользы своей жующей памятью не только местные патриции и ареопагиты, но и иноземные сумчатые, которые обкрадывали страну, набивая сумки всем, что плохо лежит, а желудок души — воспоминаниями о своих



воровских делишках. Здесь пребывает, например, француз Педро Мартель. После двадцати лет заключения и стольких же сумасшествия он продолжает дрожать за свой ларец с золотыми унциями. Каждую ночь он украдкой вытаскивает шкатулку из ямы, которую он выкопал ногтями под гамаком; пересчитывает блестящие монеты; пробует их на зуб, то бишь на свои беззубые десны; снова кладет их в шкатулку и опять зарывает в яму. Потом валится в гамак и засыпает счастливый над своим воображаемым сокровищем. Кто мог бы чувствовать себя более обеспеченным, чем он? Много лет провел в подземельях и другой француз, Шарль Андрё-Легар, бывший узник Бастилии, пережевывая свои воспоминания в моей республиканской Бастилии. Разве можно сказать, что эти сумчатые знают, что такое память? Нет, они не знают этого так же, как ты. Те, кто это знает, не отличаются хорошей памятью. Уж очень внимательные почти всегда бездарности и глупцы. И сверх того злостные обманщики. А то и похуже. Они употребляют свою память во вред другим, но не умеют употребить ее на благо самим себе. Тот, кто, обжегшись на молоке, дует на воду, несравнимо выше их. У них память попугая, коровы, осла, а не память-чувство, память-суждение, побуждающая к действию здоровое воображение, способное самостоятельно порождать события. Человек с хорошей памятью ничего не вспоминает, потому что ничего не забывает.

У моей предполагаемой сестры Петроны Регалады случилась беда: на корову, которую ей разрешалось держать в своем патио, напали клещи. Я приказал ей поступить с коровой так же, как поступают в подобных случаях в государственных эстансиях, где борются с этой и другими болезнями самым надежным способом: забивая скот. У меня всего одна корова, сеньор, да и то не моя, а школьная: я ведь учу ребятишек катехизису. Она дает как раз по стакану молока двадцати детям, которые готовятся принять крещение. Вы останетесь без коровы, сеньора, и ваши ученики не смогут пить даже млеко Святого Духа, которое вы надаиваете для них в поте лица своего, пока делаете свечи. Вы останетесь без коровы, без уроков закона божьего, без новообращенных. Клещ сожрет не только корову. Он сожрет и вас самих. Он одолеет город, который и без того стонет от лихих людей и бездомных собак. Разве вы не слышите вопли, которые раздаются со всех сторон? Зарежьте корову, сеньора.

Я увидел по ее глазам, что она не сделает этого. Тогда я приказал солдату заколоть большую скотину штыком и зарыть ее в землю<sup>[13]</sup>. Моя предполагаемая сестра, бывшая жена покойного Лариоса Гальвана, подала жалобу. Помешанная старуха заявила, что, уже будучи мертвой, корова продолжала глухо мычать под землей. Я послал швейцарских судебных врачей сделать вскрытие животного. Во внутренностях у коровы нашли камень-безоар<sup>[14]</sup> величиной с крупный апельсин. Теперь старуха утверждает, что камень помогает от любого яда. С его помощью она якобы излечивает больных. В особенности тифозных. Разгадывает сны. Впадает в транс и предсказывает смерть. Она даже уверяет, что слышала исходящие из камня невнятные голоса. Ах, безумие, память навыворот, не вспоминающая прошлое, а забывающая настоящее. Кто, имея хоть каплю ума, может молотить такой вздор?

Прошу прощения, Вашество, но осмелюсь сказать, что я слышал эти голоса. И гренадер, прикончивший корову, тоже. Полно, Патиньо, хоть ты-то не бредь! Простите, сеньор, но с вашего позволения я должен сказать вам, что слышал эти слова-мычания, похожие на человеческие слова. Далекое-далекое, слегка простуженные голоса выводили этикие рулады. Наверное, Ваше Превосходительство, это остатки какого-то неизвестного, еще не совсем умершего языка. Ты слишком

глуп, чтобы сойти с ума, секретарь. Человеческое безумие обычно хитроумно. Это хамелеон, инобытие рассудка. Когда думаешь, что излечился от него, это значит, что болезнь обострилась. Безумие лишь приняло другую, более изощренную форму. Поэтому ты и слышишь так же, как старая Петрона Регалада, эти несуществующие голоса, будто бы исходящие от падали. Какой же, по-твоему, язык может вспоминать этот комок кала, окаменевший в желудке коровы? С вашего позволения, он что-то говорит, Ваша Милость. Может быть, на латыни или на другом неизвестном языке. Вы не думаете, Вашество, что, возможно, существует такой слух, для которого все люди и животные говорят на одном и том же языке? В последний раз, когда сеньора Петрона Регалада дала мне послушать ее камень, я услышал, как он шепчет что-то вроде... властитель мира... А, ясно, мошенник, как это я сразу не догадался! Камень, который довел вдову до умопомрачения, уж конечно, не мог не быть роялистским. Прекрасно! Не хватает только, чтобы чапетоны<sup>[15]</sup>, вывешивающие пасквилянтские листки в соборе, вдобавок вкладывали заразный камень в брюхо коровам.

Дурные нравы извращают обычные явления в не меньшей, а то и в большей мере, чем лживая память. Они образуют вторую натуру, подобно тому как натура — это первая привычка. Забудь, Патиньо, про камень-безоар. Выкинь из головы эту дурь насчет слуха, который может сводить все языки к одному. Все это глупости!

Я запретил Петроне Регаладе, которую считают моей сводной сестрой, эту ворожбу, вводящую в заблуждение таких же легковверных невежд, как она сама. От старухи и без того один вред: вцепилась, как клещ, в ребятишек со своим катехизисом. Но уж ладно, пусть ее. Это невинная блажь. Отечественный пересмотренный катехизис и гражданская деятельность избавят этих детей, когда они вырастут, от катехизического рахита.

Хваленый безоар не помешал клещам одолеть корову, сказал я ей, когда она пришла жаловаться. И не излечил вас, сеньора, от помутнения разума. И не избавил от яда безумия епископа Панеса. И даже не облегчил мне болей от подагры, когда вы принесли сюда ваш камень и натерли им мою ногу, распухавшую три дня кряду. Если от камня только и проку, что он забавы ради повторяет слова, исходящие из потустороннего мира, на противоестественном языке, который слышат, как им чудится, одни сумасшедшие, пропади он пропадом!

У вас тоже есть свой камень, ответила она мне, указав на аэролит. Но я не пользуюсь им для прорицаний, как вы своим, сеньора Петрона Регалада. В конце концов у вас от него помрачится рассудок, как это случилось с вашими другими братьями. Вы ведь знаете, что вокруг ваших единокровных всегда бродил призрак умопомешательства. Это в некотором роде фамильная черта. Заройте в землю ваш камень-безоар. Закопайте его в своем патию. Положите у придорожного столба. Бросьте в реку. Выкиньте из головы этот вздор. Не сердите меня опять, как в тот день, когда я узнал, что вы спустя десять лет после развода продолжаете тайком видеться со своим бывшим мужем Лариосом Гальваном. На что вам нужен этот шарлатан? Он хотел насмеяться над вами, как он насмеялся сначала над Первой Правительственной Хунтой<sup>[16]</sup>, а потом над Верховным Правительством. Что вы собираетесь на старости лет делать с этим развращенным бездельником? Плодить сирот? Ублюдков-безоаров? Запрячьте подальше ваш камень, как я запрягал вашего бывшего мужа в тюрьму. Делайте себе свои свечи и перестаньте заниматься чепухой.

У нее изменилось выражение лица. Особая хитрость, хитрость безумия, прикидывающегося твердым рассудком. Она замкнулась во враждебном молчании. Все они такие, проклятые Франса<sup>171</sup>!

Послушайте, сеньора Петрона Регалада, с некоторого времени вы стали скручивать мне сигары толще обычного. Мне приходится разворачивать их. Убирать часть листьев из середины. Иначе невозможно курить. Скручивайте их толщиной в палец. Завертывайте в один лист выдержанного табака. Такого, который меньше раздражает легкие. Отвечайте. Что вы молчите как пень? Может, вы лишились не только разума, но и дара речи? Смотрите на меня. Поднимите глаза. Говорите. Она повернула голову. Она смотрит на меня наподобие некоторых птиц, с застывшим лицом. И ее лицо до крайности похоже на мое. Кажется, будто она учится видеть, будто в первый раз видит лицо незнакомца, о котором еще не знает, должно ли испытывать к нему уважение, презрение или равнодушие. Я вижу себя в ней. Человек-зеркало, старая Франса Вельо являет мне мой облик в женском платье. Независимо от уз крови. Да и что у меня общего с кровными родственниками? Стечение случайностей.

Людей много. А лиц еще больше, потому что у каждого их несколько. Есть люди, которые долгие годы носят одно и то же лицо. Это простые, экономные, бережливые люди. Что они делают с остальными лицами? Хранят их. Эти лица будут носить их дети. А иногда случается, что их надевают собаки. Почему бы нет? Лицо есть лицо. Лицо Султана очень походило на мое, в особенности незадолго до того, как он сдох. Собачья морда так же походила на мое лицо, как лицо этой женщины, которая стоит передо мной, глядя на меня, пародируя мой образ. У нее уже не будет детей. У меня уже не будет собак. В эту минуту наши лица совпадают. По крайней мере мое нынешнее лицо — последнее. В сюртуке и треуголке старая Франса Вельо была бы моей копией. Любопытно, как можно было бы использовать это случайное сходство... (В этом месте бумага обгорела, и конец фразы не поддается прочтению.) Смехотворная история!

Тут память не нужна. Видеть — значит забывать. Эта женщина недвижимо стоит передо мной, отражая меня. У нее не лицо, а наклонно висящее зеркало. Она желает чего-нибудь? Нет, ничего на свете. У нее нет желаний, есть только нежелание. Но нежелание тоже осуществляется, если нежелающие упорны.

Вы поняли, как надо впредь изготавливать сигары? Женщина вышла из себя. Лицо осталось у нее в руках. Она не знает, что с ним делать. Толщиной с палец, понимаете? Завернутые в один лист табака. Выдержанного. Сухого. Такие, чтобы хорошо курились, пока огонь не подойдет к самым губам. Чтобы из рта вместе с дымом выходило горячее дыхание. Вы меня хорошо поняли, сеньора Петрона Регалада? Она шевелит сморщенными губами. Я знаю, о чем она думает, заживо освежеванная воспоминаниями.

Беспамятство.

Она не рассталась со своим камнем-безоаром. Она прячет его в нише Господа Долготерпеливого. Она считает его могущественнее образа Окровавленного Бога. Для нее это талисман. Оплот. Опора. Последняя и самая надежная опора. Безоар поддерживает ее, позволяя оставаться в сфере неизменного. В сфере самодовлеющего. На этом зиждется одержимость. Ведь вера всецело опирается на самое себя. Что такое вера, как не убежденность в самых неправдоподобных вещах. Как не способность глядеться в зеркало в полной темноте.

Перед камнем-жвачкой горит особая свеча. Будет у него и своя ниша. А со временем, может быть, и свой храм.

По сравнению с камнем-безоаром старухи, которую считают моей сестрой, метеор еще кажется — и перестанет ли когда-нибудь казаться? — чем-то невероятным.

А что, если весь мир не что иное, как своего рода безоар? Комок кала, окаменевший в кишечнике космоса?

Я придерживаюсь того мнения... (Край листа сожжен.)... В спорных вопросах все мнения вызывают сомнения...

Но я не это хотел сказать. Над моей головой сгущаются тучи. Тучи пыли. Птица с длинным клювом, я не ем с мелкой тарелки. Тень, я не освещаю темные закоулки. Я все брожу вокруг да около, как в ту мучительную ночь, когда я попал туда, где меня ждала гибель. О пустыне, казалось мне, я кое-что знал. О собаках побольше. О людях все. Об остальном: о жажде, о холоде, об изменах, о болезнях — больше чем достаточно.

И я всегда знал, что делать, когда надо было действовать. Насколько я помню, хуже этого случая еще не было. Если химера, барахтаясь в пустоте, как говорил старик Рабле, может есть задние мысли, то я полностью съеден. Мое место заняла химера. Я тяготею к тому, чтобы стать «химерическим». Мое имя станет нарицательным. Найди-ка в словаре слово «химера», Патиньо. Тут сказано: ложное представление, абсурд, беспочвенная фантазия, Ваше Превосходительство. Этим я и стану в действительности и на бумаге. Тут еще говорится, сеньор: легендарное чудовище с головой льва, туловищем козы и хвостом дракона. Говорят, что я и был таким чудовищем. Словарь добавляет, Ваше Превосходительство: название бабочки и рыбы. Я был всем этим и не был ничем из этого. Словарь — кладбище пустых слов. А не верите, спросите у де ла Пеньи.

Формы исчезают. Слова остаются и означают невозможное. Ни одну историю нельзя рассказать. Во всяком случае, ни одну историю, которую стоило бы рассказывать. Но настоящий язык еще не возник. Животные общаются между собой без слов лучше, чем мы, кичащиеся тем, что изготовили слова из сырья химер. Произвольно. Вне всякого отношения к жизни. Знаешь ли ты, Патиньо, что такое жизнь, что такое смерть? Нет, не знаешь. Никто не знает. Люди никогда не знали, жизнь ли начало смерти или смерть начало жизни. И никогда не узнают. Да и бесполезно это знать, поскольку невозможное бесполезно. В нашем языке должны были бы быть слова, имеющие голос. Простор. Свою собственную память. Слова, которые существовали бы самостоятельно, занимали бы место и носили бы свое место с собой. Состояли бы из особого вещества. Совершались бы в некоем пространстве, как совершается факт. Таков язык некоторых животных, некоторых птиц, кое-каких древнейших насекомых. Но существует ли то, чего нет?

После этой мучительной ночи, когда забрезжил рассвет, мне навстречу вышло животное, подобное оленю. С рогом посреди лба. С зеленой шерстью. С голосом, в котором смешивались трубные звуки и вздохи. Оно сказала мне: настало время Господу вернуться на землю. Я ударил его палкой по морде и пошел дальше. Остановился перед лавкой «Чего нет, того нет», которую держал наш шпион Оррего. Он открыл дверь со светильником в руке, но не узнал меня в забрызганном грязью нищем, который вошел в его заведение, когда запели петухи. Я спросил стакан

тростниковой водки. Ну и ну, приятель, раненько тебя жажда одолела после такого дождя, какой лил нынче ночью! Я бросил на прилавок почернелую серебряную монету, которая, отскочив, упала на пол. Пока лавочник нагибался за ней, я вышел и растаял в предрассветном сумраке.

Ваше Превосходительство, от коменданта Вилья-Франки гонец с донесением:

Покорно прошу позволения кратко изложить, что было нами предпринято в ознаменование кончины нашего Верховного Сеньора.

Накануне похорон были иллюминированы площадь и все дома селения.

18-го числа отец священник отслужил торжественную мессу за здравие, преуспевание и благополучие лиц, входящих в новое, временное правительство де так-то. По окончании мессы был обнародован Манифест, со всеобщим ликованием принятый к сведению и исполнению. Я как глава селения принес присягу. Под звон колоколов был произведен салют из трех ружей и торжественно исполнен «Te Demus»<sup>[18]</sup>.

Вечером повторилась иллюминация. 19-го числа была гражданская панихида. Сделали трехступенчатый мамумент, обвешанный зеркалами. Перед ним поставили стол, накрытый белыми покрывалами с алтарей, которые отец священник одолжил мирянам по этому случаю. На черной атласной подушке лежали крест-накрест жезл и шпага, регалии Высшей Власти. Возвышение было освещено 74 свечами, по числу лет жизни Верховного Диктатора. Многие, если не все, заметили его призрак среди отражений, которые множились до бесконечности, подобно благам его отеческого покровительства.

20-го была торжественная заупокойная служба, и во время мессы священник произнес проповедь на тему о том, что Его покойное Превосходительство Верховный Диктатор выполнял обязанности не только Верного Гражданина, но и Верного Отца и Главы Республики. Но проповедь осталась неоконченной по той причине, что ни прихожане, ни священник не смогли удержаться от плача, вначале беззвучного, а потом перешедшего в громкие рыдания. Проповедник сошел с амвона, обливаясь слезами.

Все вокруг стонали, всхлипывали, издавали душераздирающие вопли. Многие рвали на себе волосы.

Парагвайские души были исполнены глубочайшей скорби. Равно как весьма значительное число — более двадцати тысяч — индейцев с обоих берегов, которые сошлись перед храмом для своих погребальных церемоний и смешались с толпой местных жителей.

Наши скудные способности не позволили нам более торжественно почтить память покойного Диктатора. С одной стороны, мы подавлены горем. С другой стороны, испытываем великое утешение и поздравляем друг друга, когда на наших сборищах нам является или представляется Верховный Сеньор.

Мое дрожащее перо дописало до этого места 20-го числа, около шести часов вечера. Но сегодня с раннего утра начали ходить слухи, что Верховный еще жив, то есть что он не умер и что, следственно, пока не существует Временного правительства де так-то.

Возможно ли, чтобы в этом всеобщем смятении в корне извратилась истина и ложное было принято за достоверное?

Умоляем Ваше Высокопревосходительство разрешить это ужасное сомнение и с замиранием сердца ждем ответа.

Ответ коменданту Вилья-Франки, что я еще не умер, если умереть — значит просто покоиться под могильной плитой, на которой какой-нибудь идиот и бездельник напишет эпитафию примерно в таком стиле: Здесь покоится Верховный Диктатор, бдительный защитник Родины, память о котором... и так далее, и так далее.

Могильной плитой для этого бедного народа будет мое отсутствие, и ему придется дышать под нею: он не умрет, потому что не смог родиться. Когда то, о чем ты пишешь, произойдет, поскольку я не вечен, я сам пошлю сообщить тебе об этом, мой уважаемый Антонио Эскобар.

От какого числа донесение? От 21 октября 1840, Ваше Превосходительство. Учись, Патиньо: вот парагваец, предвосхищающий события. Он всовывает свое донесение в замочную скважину еще не наступившего месяца. Перескакивает через неразбериху времени. Хорошо для всего находить время. Нечто такое, что никогда не останавливается. Как вода в реке: разве есть в ней хоть одна давняя капля? Возможно ли, чтобы такие люди, как Антонио Эскобар, знали с полной точностью о чем-то, еще не происшедшем? Да. Возможно. Нет ничего такого, чего еще не происходило. Они сомневаются, но они уверены. Простой здравый смысл им подсказывает, что закон имеет символическое значение. Они не понимают его буквально, как те, что путаются в словах.

Я не утверждаю: это поколение не перейдет, пока все это не свершится. Я утверждаю: за этим поколением придет другое. Если не будет Меня, будет Он, тоже не имеющий права давности. Да, насчет донесения Эскобара. Вырази ему мою благодарность за пышные похороны. Скажи ему, чтобы на вторых не лили столько слез и не так рвали на себе волосы. Тебе нет надобности, Мой уважаемый Эскобар, возводить иллюминированные «мамументы», потому что мой возраст не измеряется свечами. Ты можешь воздержаться от этого расхода в мою честь. И не надо обвешивать эти «мамументы» зеркалами, в которых вещи предстают в превратном виде. Должно быть, это те зеркала, которые много лет назад, во время осады города, были реквизированы у коррентинцев<sup>[19]</sup>. Верни их хозяевам, которые не видят своего лица с тех пор, как ударили лицом в грязь.

И еще вот что, Эскобар. Дай мне немедленно знать, пока не охладел мой пепел, кто подписал циркуляр, в котором тебе сообщалось о моей смерти и об образовании того, что ты называешь Временным правительством «де так-то» вместо «де-факто», что означает «на деле». Хотя на деле это страна бездельников. О чем свидетельствует и твое донесение, в котором ты в одно и то же время правильно показываешь и ошибочно истолковываешь положение вещей.

Скажи мне, Патиньо... Слушаю, Ваше Превосходительство. Ты что-нибудь знаешь насчет этого? Никак нет, сеньор, я не слышал об этом ни полслова! Поразузнай. Нам обоим не худо выяснить, что происходит. Неудобно быть одновременно живым и мертвым. Не обращайтесь внимания, Ваше Превосходительство. Я и так ослабил внимание; от того и происходят такие вещи. У тебя есть подозрения на чей-нибудь счет? Никаких, сеньор. Еще никто никогда не заходил так далеко. Не знаю, Ваше Превосходительство, чьих это рук дело, кто бы это мог быть. Просто ума не приложу. На этот раз я, как ни гадаю, не могу даже никого заподозрить, ни отдельное лицо, ни группу, или котерию. Но если после двадцати лет общественного спокойствия, уважения к Верховному Правительству и повиновения

властям имеет место новый заговор, обещаю вам: злоумышленники не спрячутся от меня даже под землей. Перестань ковырять в носу! Простите, Ваше Превосходительство! Да хватит наконец каждую минуту вытягиваться! Сколько раз тебе повторять? Опять ты таз расплескал. В конце концов ты превратишь пол в болото, и мы с тобой оба потонем в этой грязи, раньше, чем наши враги доставят себе удовольствие сжечь нас на площади. Сохрани Бог, Ваше Превосходительство! Бог тебя не избавит от этих неприятностей. И я тебе тысячу раз говорил, когда мы работаем, не повторяй на каждом шагу «вашество», «ваше превосходительство», «ваша милость». Все это пустословие уже не в ходу в современном государстве. Тем более неуместно оно при той хронической изоляции, в которой мы все находимся и которая нас разделяет, но в то же время и объединяет без всякой видимой иерархии. И в особенности, если нам суждено скоро стать товарищами по несчастью, превратившись в пепел на Пласа-де-Армас. Если уж тебе во что бы то ни стало нужно как-нибудь величать меня, говори мне сеньор. Хоть умри, это не приблизит тебя ко мне. Я диктую, а ты пишешь. Пока ты пишешь, я читаю то, что продиктовал тебе, чтобы потом прочесть то, что ты пишешь. В конце концов мы оба исчезаем в прочитанном-написанном. Только в присутствии посторонних обращай ко мне как положено, поскольку, что верно, то верно, пока мы на виду, мы должны соблюдать формы. Общепринятые условности.

Вернемся к памфлету, найденному сегодня утром на двери собора. Где он? Здесь, сеньор. Ковыряя кончиком пера в носу, ты то и дело брызнешь на сочинение анонима. Того и гляди, нельзя будет разобрать этот красивый почерк. Дай-ка мне листок. Гачупины и портенъисты<sup>[20]</sup>, разродившиеся этим опусом, сыграли шутку не надо мной, а над самими собой. Им только пожирать друг друга, этим термитам. Они уверены в своей безнаказанности, но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Этой бумажке грош цена. Под одним листочком от дождя не укроешься. Но хоть бы они накропали столько пасквилей, сколько листьев в лесу, им не выйти сухими из воды. Жалкие отпрыски тех ростовщиков, торговцев, перекупщиков, лавочников, которые из-за своих прилавков вопили: плевать нам на родину и на всех патриотов! Плевать нам на игрушечную парагвайскую республику! Они храбрились и петушились, зато потом обделались со страху и были погребены в собственном дерьме. Вот из того навоза и вышли эти занозы. Маляринные комары. Только жужжат они задом, а не хоботком, как все москиты. В таком случае, сеньор, я буду просматривать даже использованную бумагу в отхожих местах... Прикуси язык, шут гороховый! Я запрещаю тебе выходить из рамок приличия в своих грязных каламбурах. Не подражай сортирному остроумию этих комаришек. Покорно прошу прощения у Вашей Милости за мою грубую, хотя и невольную, непочтительность! Я никогда не позволял себе и никогда не позволю хотя бы в малейшей степени пренебречь должным уважением к нашему Верховному Сеньору.

Перестань хныкать. Займись-ка лучше охотой за каверзным писакой. Послушай, Патиньо, тебе не приходит в голову, что авторами пасквиля могут быть клирики и даже сам генеральный викарий? От клириков всего можно ожидать, сеньор. По части каверз они мастера, паутину ткут и тонкую, и густую. Пасквиль написан в точности таким же почерком, как ваш, сеньор, и даже подпись такая же. Не их ли работа? Хотя не очень-то им выгодно сейчас, когда они как сыр в масле катаются, пускаться в такие авантюры. Им не подходит новое правительство из всякого сброда. При таком правительстве кончится их привольное житье. Хорошо сказано, Патиньо!

Провозглашаю тебя королем умников. Я награжу тебя своим ночным горшком. Теперь, когда для нас опять настали трудные времена, ты будешь днем носить его на голове как символ власти, а на ночь ставить эту фаянсовую корону на обычное место, так что она будет служить тебе двояким образом, в разных и разных целях. Поистине, сеньор, все стронулось с места. Когда я прочел этот пасквиль, я почувствовал, что у меня почва уходит из-под ног. Именно это с тобой и произойдет. Я знаю только, Ваше Превосходительство, что переверну небо и землю, чтобы отыскать виновников. Обещаю вам найти иголку в стоге сена. Только не спутай по своему обыкновению сено с соломой. Не уподобься человеку, который ночью вместо окна открыл стенной шкаф и удивлялся тому, что темно и пахнет сыром. Ты должен не позже чем через три дня припереть виновного к стене и поставить к стенке. Кто бы он ни был. Даже если это сам Верховный.

Заставь заговорить даже немых из Тевего, которые, если верить пасквилям, уже ходят на четвереньках. И рожают немых детей со звериными головами, не то собачьими, не то обезьяньими. Без языка. Без ушей. Какое сплетение нелепых слухов, суеверий, лживых измышлений вроде тех, которые нагородили в своих писаниях всякие Робертсоны и Ренггеры<sup>[21]</sup>, эти злопыхатели, эти мошенники, эти неблагодарные твари. То, что случилось с селением Тевего, не выдумка, сеньор. Хотя пасквили лгут, это правда. Тут можно и своим глазам не поверить! Я сам не желал в это верить, пока мы с комисионадо<sup>[22]</sup> Куругуати доном Франсиско Аларконом в сопровождении отряда линейных войск этого округа не отправились по вашему приказу, сеньор, расследовать это дело.

Через трое суток пути мы на восходе солнца добрались до тюремной колонии Тевего. Глубокая тишина. Никаких признаков жизни. Вон она, там! — сказал проводник. Только через некоторое время, напрягши зрение, мы разглядели селение, разбросанное по полю. И то еще смутно, потому что лучи солнца не проникали в это место, которое, пользуясь вашим выражением, сеньор, переместилось на другое место. Иначе нельзя объяснить до крайности странную и непонятную картину, которая нам открылась. Жаль, что при мне не было в эту минуту ваших очков для дальновидения! Вашего звездочетного снаряда. Хотя, если поразмыслить, тут и он не помог бы. Я вытащил из кармана зеркальце, которое всегда ношу с собой, чтобы подавать знаки спутникам. Оно на мгновение зажглось и тут же погасло, словно его отражение разбилось о неподвижный и непроницаемый воздух. В исправительную колонию Тевего нельзя попасть, Ваше Превосходительство. Как это так? Туда попадали без особых усилий преступники, воры, тунеядцы, развратники, проститутки, заговорщики, уцелевшие от расстрелов 21-го года. Попадали первые дезертиры, которых схватывали по моему приказу в Апипе, в Ясурерта, в Санта-Ане, в Канделарии, куда они бежали. Попадали даже мулаты и негры. Вы совершенно правы, Ваше Превосходительство. Я хочу только сказать, что теперь туда нельзя попасть. Не потому, что это невозможно, а потому, что на это требуется бесконечно долгое время. Если речь идет о тебе, то это вполне естественно: ведь тебя только за смертью посылать. Попасть туда не значит войти в селение, сеньор. Там нет и проволочных оград, ни частоколов, ни валов, ни рвов. Только пепельно-серая земля и камни. Голые, плоские, примерно на пядь выступающие из земли камни, которые обозначают линию, где кончается зелень испанского дрока и пирисалей. За этой линией все как пепел. Даже свет. Он как бы тоже испепеляется и, одновременно тяжелый и легкий, повисает в воздухе, не улечиваясь и не оседая. Если там, вдали, и



есть люди, то непонятно, люди это или камни. Одно ясно — если это действительно люди, то они недвижимы. Черные, цветные, смуглые, мужчины, женщины, дети, все они пепельные, как бы вам это объяснить, сеньор, не под цвет вашему камню-аэролиту — он черный и не отражает света, — а скорее вроде песчаника в оврагах в сильную засуху или каменных глыб, которые скатываются по склонам холмов. Это не могут быть ссыльные, сказал дон Франсиско Аларкон. Где же тогда стража? Да ведь раз они камни, дон Тику, сказал проводник, их не нужно сторожить. Солдаты нехотя засмеялись. Потом мы увидели это. А может, нам только показалось, что увидели. Потому что, я вам говорю, сеньор, тут своим глазам не поверишь.

*(В тетради для личных записок)*

*Бухгалтерская книга необычайно большого формата. Такими книгами Верховный пользовался с самого начала своего правления, собственноручно ведя в них счета казначейства с точностью до последнего реала. В архивах было обнаружено более сотни этих гроссбухов в тысячу листов каждый. Последний из них только начинался деловыми записями, а далее шли тайные заметки, не имеющие отношения к делу. Лишь много позднее выяснилось, что Верховный до конца жизни заносил на эти страницы без всякой связи, вперемежку, факты, идеи, размышления, почти маниакально скрупулезные наблюдения, касающиеся самых различных тем и предметов; положительные, на его взгляд, в графу кредита, отрицательные — в графу дебета. При этом слова, фразы, абзацы, отрывки раздваивались, продолжались, повторялись или перемещались из графы в графу в целях подведения воображаемого баланса. В целом они до некоторой степени напоминают полифоническую партитуру. Как известно, Верховный был хорошим музыкантом; по крайней мере он отлично играл на гитаре и имел поползновения к композиторству.*

*Пожар, возникший в апартаментах Верховного за несколько дней до его смерти, уничтожил значительную часть этой бухгалтерской книги вместе с делами и бумагами, которые он имел обыкновение хранить под семью замками. (Прим, составителя.)*

Мой писец, играющий также роль Шахразады, принялся разогревать ртуть своего воображения. Он старается всеми средствами оттянуть время, отвлечь мое внимание от главного. Теперь он потчует меня странной историей о подвергнутых наказанию людях, которые переселились в неизвестные края, в то же время оставшись на прежнем месте в иной форме. В виде неведомых людей. Животных. Гладких камней. Каменных истуканов. Сказочных чудовищ. Патиньо все это наглядно изображает. Он видел, как во мне происходят превращения ртути. Самое тяжелое вещество на свете становится легче дыма. Потом, достигнув холодной области, сразу сгущается и снова обращается в ту не подверженную разложению жидкость, которая во все проникает и все разлагает. Вечным потом назвал ее Плиний, ибо вряд ли есть что-нибудь такое, что может ее известить. Опасно иметь дело с таким въедливым и смертоносным веществом. Ртуть кипит, распадается на тысячу капелек, но, как они ни малы, ни одна не теряется, а все снова сливаются воедино. Будучи элементом, который отделяет золото от меди, она вместе с тем элемент, с помощью которого золотят металл. Разве она и в этом не похожа на воображение, тороватое на ошибки и ложь? Ведь оно тем более обманчиво, что не всегда обманывает. Ибо, будь оно безошибочным признаком лжи, оно позволяло бы безошибочно определять истину.

Возможно, мой не заслуживающий доверия доверенный лжет только наполовину. Патиньо не удастся выплавить амальгаму, которая нужна для наводки зеркал. Ему не

хватает достаточного забвения действительности, чтобы создать легенду. Чересчур перегруженная память не дает ему уловить смысл фактов. Это память палача, предателя, клятвопреступника. Отщепенцы по натуре или по стечению обстоятельств обнаруживают, что им суждено жить в мире, состоящем из чуждых им элементов, с которыми они думали слиться. Они считают себя исключительными личностями, провиденциальными для воображаемой черни. Иногда волею случая они становятся властителями дум, или, лучше сказать, идиотизма этой черни, делая ее еще более призрачной. Тайные кочевники, они и находятся, и не находятся там, где по видимости находятся. Патиньо пыхтит, словно взбирается по крутому склону: ему трудно одновременно рассказывать и писать, слушать отзвучавшее звучание того, что он пишет, и обозначать то, что он слушает. Согласовывать слово со звучанием мысли, которое никогда не сводится к одной, хотя бы и самой интимной, ноте, тем более если речь идет о слове, о мысли диктующего Диктатора. Если обыкновенный человек никогда не говорит с самим собой, то Верховный Диктатор всегда говорит со всеми. Он высылает свой голос, как вестника, перед собой, чтобы ему внимали и повиновались. Даже когда он кажется молчаливым, безмолвным, немым, в его молчании звучит приказ. Это означает, что в Верховном живут по крайней мере два существа. «Я» может раздваиваться и в то же время выступать в качестве деятельного третьего, надлежащим образом взвешивающего нашу ответственность в соответствии с актом, относительно которого мы должны принять решение. В свое время я был хорошим чревовещателем. Теперь я не могу даже подражать своему голосу. А мой не заслуживающий доверия доверенный подражает ему и того хуже. Он еще не научился своему делу. Придется мне поучить его писать.

О чем мы говорили, Патиньо? О людях из селения Тевего, сеньор. Только с большим трудом можно разглядеть, что эти бесформенные фигуры не камни, а люди. Впрочем, если не доверяться видимости, все эти тунеядцы, развратники, заговорщики, проститутки, бродяги, дезертиры, которых вы в свое время отправляли сюда, уже и не люди, а так, что-то непонятное. Они не двигаются, сеньор; по крайней мере по-человечески, а если и двигаются, то, должно быть, медленнее черепахи. Скажем так, Ваше Превосходительство: чтобы добраться, например, от моего места до стола, за которым, с ангельским терпением слушая меня, сидите вы, Ваша Милость, такому черепахообразному, да и то если бы он спешил изо всех сил, потребовалась бы целая вечность — нормальный человек успел бы за это время состариться. В общем, эти не разбери поймешь не живут, как люди. Должно быть, они относятся к живым существам другого класса, с другой жизнедеятельностью. Они стоят на четвереньках, не трогаясь с места. Видно, они не могут поднять руки, распрямить спину, вскинуть голову. Они вросли в землю и пустили корни.

Как я вам говорил, Ваше Превосходительство, все эти люди рассеяны в чистом поле. Никакого шума. Даже ветра не слышно. Ни голоса мужчины или женщины, ни плача ребенка, ни лая собаки. Ни единого звука. Ни малейшего признака жизни. Помоему, эти люди не понимают, что с ними происходит, да, собственно говоря, с ними уже ничего не происходит. Они просто находятся здесь, не живя и не умирая, ничего не ожидая, все глубже и глубже уходя в эту голую землю. Напротив нас — куча навоза, усыпанного обмолоченными початками маиса, которые наши крестьяне, когда справляют нужду, употребляют, сами знаете на что, сеньор; видно, здесь раньше было отхожее место. Только эти испачканные початки блестели, как золотые слитки.

Эти люди не мертвы; эти люди едят, сказал комиссионадо Тику Аларкон. Это раньше они ели, сказал проводник. Поблизости не было видно никакого маисового поля. Вот отбросов было хоть отбавляй, целые кучи. Истлевшая одежда, множество крестов среди сухого бурьяна. Никаких птиц — ни попугаев-кукурузников, ни голубей. Один тагуато<sup>[23]</sup> ринулся с высоты на твердый воздух, служивший как бы крышей селению, отскочил, словно ударился о доски, и улетел, выписывая зигзаги, как пьяный, пока не упал возле нас. У него была размозжена голова, и из раны, пенясь, била кровь.

Понаблюдаем еще, сказал Тику Аларкон. Солдаты спешили, собрали золотистые подтирки и набили ими свои вещевые мешки: а вдруг это вправду золотые початки. Все может статься, сказал один. Мы обошли вокруг селения. Со всех сторон было видно одно и то же. Издали на нас смотрели смутные, расплывчатые фигуры, а мы разглядывали их. Они смотрели, так сказать, из прошлого, а мы из нынешнего времени, не зная, видят ли они нас. Человек всегда чувствует, когда встречается взглядом с другим человеком, не правда ли, Ваше Превосходительство? А вот с этими людьми — ничего похожего, оставалось только гадать.

К полудню у нас уже воспалились глаза от этой игры в гляделки и от солнечного света, казалось отражавшегося от какой-то невидимой стены, окружавшей Тевого. Мы умирали от жажды, потому что в радиусе нескольких лиг давным-давно пересохла все реки и ручьи. Это тоже было примечательно. Селение мало-помалу погружалось в темноту, как будто там уже наступала ночь, хотя на самом деле только сгущались тени.

Надо иметь терпение, сказал проводник. Подождем — что-нибудь да увидим. Один человек видел там даже Действо, которое устраивали негры в праздник трех царей<sup>[24]</sup>. И мой дед Раймондо Алькарас это видел, но ему пришлось для этого ждать здесь месяца три. Он рассказывал, что ему довелось даже увидеть набег индейцев мбайя, которые в этих местах нападали на португальцев. Чтобы увидеть что-нибудь, надо иметь терпение. Надо смотреть и ждать месяцами, а то и годами. Не будешь ждать, ничего не увидишь.

Войду-ка я туда и посмотрю, что там делается, сказал комиссионадо, слезая с лошади. Сдается мне, эти сукины дети только прикидываются замороженными. Он сплюнул и пошел. Перешагнул через черту между зеленью и сухой землей и тут же исчез из глаз. Вошел и вышел. Кажется, я сам видел — вошел и вышел. И другие тоже. Можно сказать, одна нога здесь — другая там. Еще плевков его высохнуть не успел, когда он вернулся. Но вернулся он стариком, согнувшимся в три погибели, — вот-вот сам станет на четвереньки. Не в силах вымолвить слова, точно говорить разучился, как сказал проводник.

Тику Аларкон, комиссионадо Франсиско Аларкон, вошел туда молодым человеком, а вышел оттуда стариком самое малое лет восьмидесяти; облысевший, раздетый донага, немой, усохший, маленький, как карлик, сгорбленный, с дряблой, морщинистой, шелушащейся кожей, с когтями, как у ящерицы. Что с вами случилось, дон Тику? Он не ответил, не смог даже сделать ни малейшего знака. Мы завернули его в пончо и перекинули через седло. Пока солдаты привязывали его к лошади, чтобы он не свалился, я кинул взгляд на селение. Мне показалось, что неясные фигуры танцуют на четвереньках танец негров Лаурельти и Кампаменто-Лома. Но это действительно мог быть обман зрения — от слез затуманились глаза. Мы возвращались, как с похорон. Везли живого мертвеца.

Когда мы приехали в Куругуати, комиссиядо на четвереньках заполз к себе в дом. Собрался народ. Послали за приходским священником в Сан-Эстанислао и за знахарем племени ксексуэньев в Ксексуи. Месса, крестный ход, молебны, обеты — все было напрасно. Ничем нельзя было помочь беде. Я попробовал средство индейцев гуайкуру: рванул дона Тику за остатки волос. Они остались у меня в руках, на удивление тяжелые — тяжелее камня. А пахло от них, как из могилы.

Послали за Артигасом<sup>[25]</sup> — говорят, что он умеет лечить травами. Уругвайский генерал приехал из своей усадьбы с целым возом всяких трав и с флаконом пахучего настоя ангеликова корня и множества разных цветов, жасмина, мирта и прочих. Он осмотрел больного и стал его лечить. Сделал для него все, что умел, а, как известно, уругваец — человек сведущий. Но он не смог добиться от Тику ни слова, да что там ни слова, Ваше Превосходительство, ни единого звука. Не смог даже влить ему в рот ни капли бальзама — губы как каменные, не раздвинешь. Комисиядо положили на кровать, но непонятным образом он опять оказался на полу — стоит на четвереньках, как те, которых мы видели там, в Тевего. Засело это в нем, хоть кол на голове и. Дон Хосе Гервасио Артигас развел ему руки и измерил расстояние между кончиками пальцев, которое должно быть таким же, как расстояние от головы до пят. Но оказалось, что мерки не совпадают, как будто измеряли двоих разных людей. Бывший протектор Банда-Ориental покачал головой. Это не мой друг дон Франсиско Аларкон, сказал он. А кто же тогда? — спросил священник. Не знаю, сказал генерал и вернулся на свою ферму.

Это все злые духи! — распалился ксексуэньский ведун. Опять начались молитвы, шествия. Братство вынесло на улицу изображение святого Исидро Земледельца. А Тику Аларкон все стоял на четвереньках, цепenea и старея на глазах. Кто-то решил пустить ему кровь. Лезвие ножа сломалось о кожу старика, которая стала твердой, как камень, и с каждой минутой раскалялась, как под печи.

Надо сжечь Тевего! — прокатилось по селению. Там живет Нечистый! Это ад! Ну, если так, мягко сказал Лауреано Бенитес, старшина братства, если этот человек смог вернуться из ада, то, мне кажется, ему надо отвести нишу как святому. Комисиядо был уже ниже святого Бласа.

На следующий день Тику Аларкон умер в той же позе древним стариком. Похоронили его в детском гробике. Ну, хватит, болтун, попрдержи язык! Ты врешь, как сочинители пасквилей. Простите, сеньор, я был свидетелем этой истории, я привез протокол, составленный судьей селения Куругуати, и донесение майора Фернандо Акосты из Вилья-Реаль-де-ла-Консепсьон. Когда вы, Вашество, вернулись из госпиталя, вы разорвали эти бумаги, не читая. То же самое было с рапортом о таинственном круглом камне, обнаруженном при раскопках холмов Яригуаа, куда по приказанию Вашего Превосходительства под конвоем отправили работать около тысячи политических заключенных. То и другое случилось в одно и то же время? Нет, Ваше Превосходительство. Камень из холма Яригуаа, или Кресло Ветра, нашли четыре года назад, в 36-м, после уборки урожая. А история с Тевего произошла меньше месяца назад, Вашество, незадолго до того, как вы слегли. Я приказал, чтобы мне представили точную копию всех знаков, вырезанных на камне. Так и было сделано, Ваше Превосходительство, но вы разорвали эту копию. Потому что она была скверно сделана, мошенник! Ты думаешь, я не знаю, что такое наскальные надписи? Я послал инструкции о том, как надо снимать масштабную копию с петроглифа. Замерять его размеры. Определять его положение относительно астрономических

ориентиров. Я затребовал образчики камня. Ты знаешь, что значило бы найти здесь следы тысячелетней цивилизации? Немедленно пошли отношение губернатору Яригуаа с приказанием доставить ко мне камень. Это будет не более трудно, чем привезти за восемьдесят лиг аэролит из Чако. Мне кажется, Ваше Превосходительство, камень Кресло Ветра использовали при строительстве новых казарм в этом округе. Пусть его достанут оттуда! А если его разбили на куски при закладке фундамента, сеньор? Пусть соберут куски! Я сам изучу их под микроскопом. Надо определить их возраст, потому что камни тоже имеют возраст. И расшифровать петроглиф. Только я один могу это сделать в этой стране шарлатанов.

Послать также отношение губернатору Вилья-Реаля. Приказать ему, чтобы силами регулярных войск, находящихся в его подчинении, он снес тюремную колонию Тевего. Если кто-либо из ссыльных остался в живых, послать его сюда в кандалах под надежным конвоем. Что ты там бормочешь? Ничего особенного, Ваше Превосходительство. Мне только кажется, что легче доставить сюда камень весом в тысячи арроб, пролежавший на месте тысячи лет, чем этих людей из Тевего.

Займемся тем, что нас интересует сейчас. Начнем сначала. Где пасквиль? У вас в руке, Ваше Превосходительство. Нет, чернильная душа. На двери собора. Гренадерский патруль срывает его остриями сабель. Его приносят в комендатуру. Извещают тебя. Ты читаешь пасквиль и замираешь от страха, уже представляя себе, как на площади пылает костер, готовый всех нас превратить в головешки. Ты приносишь мне этот листок сам не свой — глаза у тебя как у зарезанного ягненка. Вот он. Сам по себе он пустой звук. Не важно, что в нем сказано. Важно, что за ним кроется. Важен смысл этой бессмыслицы.

Просмотри все папки с документами — не удастся ли по почерку выследить автора пасквиля. Все входящие и исходящие. Международную переписку. Договоры. Ноты. Акты о помиловании. Накладные португальских, бразильских, уругвайских коммерсантов. Документацию о поступлении сисы, десятины, алькабалы, об акцизных сборах и таможенных пошлинах, о военных поставках. Импортно-экспортные реестры. Квитанционные книжки. Всю корреспонденцию всех чиновников снизу доверху. Донесения шпионов, осведомителей, агентов различных разведывательных служб. Счета поставщиков контрабандного оружия. Все до последнего клочка исписанной бумаги.

Ты меня понял? Так точно, Ваше Превосходительство: я должен искать во всех документах архива образец почерка, которым написан пасквиль. Ну вот, наконец-то ты начинаешь говорить по-человечески, не наводя тень на ясный день. Не забудь также внимательно просмотреть списки врагов родины и правительства, верных друзей наших недругов. Излови не в меру осмелевшего комаришку из тех, что жужжат на улицах. У нас в Парагвае, судя по воззванию патриота из патриотов, моего дядюшки монаха Докуки, то бишь брата Веласко<sup>[26]</sup>. Раздави его. Сделай из него мокрое место. Понял? Ну, за дело. Хватит витать в облаках. Одно только, Ваше Превосходительство... Что еще? Я хотел только сказать, что эта работа потребует некоторого времени. В архиве тысяч двадцать дел. Приблизительно столько же в канцеляриях судов, комиссариатов, округов, командансий, пограничных постов и так далее. Помимо тех, которые находятся в текущем делопроизводстве. В общей сложности, сеньор, примерно пятьсот тысяч листов. Не считая потерянных тобой по небрежности — ты мастер по этой части, разгильдяй. И руки потерял бы, если бы не надо было ложку держать. Какой я ми есть, Ваше Превосходительство, но, осмелюсь

сказать с полным уважением к Вашей Милости, мое служебное рвение не остывает, и, если вы мне приказываете, Вашество, я разыщу иголку в стоге сена, а уж тем паче этих злонамеренных писак. Ты всегда это говоришь, но так и не покончил с ними. Пропадают документы; а пасквилянтов становится все больше. Что касается документов, то я позволю себе напомнить Вашеству, что недостает только папки с материалами процесса 20-го года, по всей вероятности похищенной преступником Хосе Мария Пиларом, вашим бывшим подручным, который не избежал вашего непреклонного правосудия и уже получил по заслугам. Если не за это преступление, которое не удалось доказать, то за другие, не менее тяжкие. Все остальные дела в сохранности. Я бы даже сказал с позволения Вашего Превосходительства, что их накопилось слишком много. Только в твоём размягченном мозгу могла зародиться такая идиотская мысль! Все эти документы, даже самые маловажные, на твой дурацкий взгляд, имеют свое значение. Они священны, потому что во всех подробностях запечатлевают рождение Родины, образование Республики. Многообразные перипетии ее истории. Ее победы. Ее неудачи. Ее достойных сыновей. Ее предателей. Ее неодолимую волю к жизни. Только я знаю, сколько раз для ее нужд мне приходилось прибавлять клочок лисьей шерсти к шкуре льва, изображенного на гербе Республики. Просмотри эти документы один за другим. Изучи их под лупой. Осмотри глазами муравьев; даже когда они совершенно слепы, они знают, по какому листку ползут. Чтобы не тратить на это свое служебное время, используй судебных писцов, писарей, переписчиков, всю эту толпу дармоедов, которые только и делают, что шатаются день-деньской по площадям и рынкам. Проведи рекрутский набор. Запри их в архиве. Заставь их поработать. Несколько дней бездельницы обойдутся без своих писем, а писцы без своей тарелки локро<sup>[27]</sup>. Да и мы немного отдохнем от их бесчисленных писаний, полных бесчисленных глупостей. Насколько больше пользы было бы для страны, если бы эти паразиты-бумагомайки были хорошими пахарями, виноградарями, пеолами на фермах и государственных эстансиях, а не чернильным семенем — бичом хуже саранчи!

Ваше Превосходительство, писцов больше восьми тысяч, а пасквиль всего один. Пришлось бы передавать его поочередно от одного к другому, и тогда, чтобы просмотреть пятьсот тысяч листов, им потребовалось бы лет двадцать пять... Нет, мошенник, нет! Разорви листок на крохотные кусочки, так чтобы написанное на них было лишено смысла. Никто не должен узнать содержание пасквиля. Раздай частички ребуса тысячам этих плутов. Подумай, как сделать так, чтобы они шпионили друг за другом. Каналья, который это состряпал, сам себя выдаст. Споткнется о какую-нибудь букву, какую-нибудь запятую. От нечистой совести ему померещится сходство. Любой из них может быть злоумышленником; даже самый захудалый из этих писцов. Ваше приказание будет выполнено, сеньор. Хотя меня подмывает сказать вам, Ваше Превосходительство, что в этом почти нет надобности. Как это нет надобности, бездельник? Я с одного взгляда, Вашество, распознаю почерк каждого писца. По малейшему клочку бумаги. А если угодно знать Вашему Превосходительству, даже по точкам в конце фраз. Вашей Милости известно лучше, чем мне, что точки никогда не бывают совсем круглыми, так же как буквы совсем одинаковыми — даже между самыми похожими всегда есть какое-нибудь различие. Одна жирнее, другая тоньше. У одного «к» усики длиннее, у другого короче. У одного «о» хвостик свисает вниз, у другого загибается кверху. Я уже не говорю о наклоне, о размашистости. О кривых ножках. О перекладинах. О завитушках. О

шапках заглавных букв. О замысловатых росчерках, сделанных одним движением, без отрыва пера от бумаги, как тот, который вы, Ваше Превосходительство, делаете под своим верховным именем, иногда залезая на поля... Хватит с меня твоих каллиграфических изысканий, недоумок! Я только хотел напомнить Вашеству, что помню каждое дело в архиве. По крайней мере каждое из поступивших туда с тех пор, как Ваша Милость соблаговолила назначить меня своим личным секретарем и управляющим делами Верховного Правительства вслед за доном Хасинто Руисом, Доном Бернардино Вильямайором, доном Себастиано Мартинесом Сансом, доном Хуаном Абдоном Бехарано. Дон Матео Флейтас, мой непосредственный предшественник на этом почетном посту, сейчас живет в Ка'асапа, вкушая заслуженный отдых. Живет взаперти, как в тюрьме, и притом в полнейшей темноте. Днем его никто не видит. Сыч сычом, сеньор. Затаился, как урукуре'а<sup>[28]</sup> в лесной чащобе. Вечно его лихорадит, и кожа у него зудит, как от чесотки, а воспаленные глаза гноятся. Только в безлунные ночи дон Матео выходит прогуляться по селению. Когда не показывается луна, показывается дон Матео. Закутавшись в плащ на красной подкладке, который вы подарили ему, Ваше Превосходительство. В огромной шляпе с горящими свечками на тулье. Теперь уже местные жители не пугаются, когда видят эти огоньки, — знают, что это идет дон Матео. Вы его найдете, наверное, поблизости от родника Боланьос, сказали мне, когда я спросил о нем по прибытии в селение, куда я приехал расследовать это дело о скотокрадах.

Была темная ночь, когда я увидел его — он действительно поднимался к чудесному источнику. Вернее, увидел его шляпу, которая витала в воздухе и так ярко горела, что сперва я подумал, что это рой светляков носится над чертополохом. Дон Матео! — громко окликнул я его. Шляпа со свечами приблизилась ко мне. А, дон Поли, что вы делаете здесь так поздно? Я приехал расследовать дело об угоне скота с государственной эстансии. Ах эти скотокрады! — сказал дон Матео, который теперь, вблизи, уже больше походил если не на человека, то на человеческую тень. А как вы поживаете? — сказал я просто так, чтобы поддержать разговор. Как всегда, коллега. Ничего нового. Мне захотелось немножко потрунить над ним. Вы что, дон Матео, играете в быка с горящими бандерильями? Для этого я уже староват, сказал он своим надтреснутым, слегка скрипучим голосом. А, понимаю. С этими свечками на шляпе вы не потеряетесь. Не в этом дело, мне уже нечего терять. К тому же я знаю округу как свои пять пальцев. Если мне вздумается, могу обойти весь Ка'асапа с закрытыми глазами. Тогда, значит, это вы по обету? Нет, просто я перед сном всегда хожу к роднику Боланьос отпить из святого источника. Нет на свете лучшего лекарства. Помогает от запора. Полезно для сердца. Пойдемте ко мне. Потолкуем немножко. Он положил мне руку на плечо. Потом, чувствую, уцепился за бахрому моего пончо и потянул меня за собой. Я и не заметил, как мы пришли на ранчо. Вошли в хижину. Он снял шляпу. Нахлобучил ее на кувшин. Погасил все свечи, кроме самого маленького огарка. Ногтями погасил — они у него как когти у кагуаре<sup>[29]</sup>, в особенности на большом и на указательном пальцах, сеньор, загнутые и острые, как нож. Из пузырька с какой-то жидкостью четыре раза окропил комнату. Разлился аромат, и в один миг пропал запах затхлого воздуха, стариковской мочи и разлагающейся плоти, который ударил мне в нос, когда я вошел. Теперь пахло, точно в цветущем саду. Я оглянулся по сторонам — нет ли душистых растений в углах, — но ничего не разглядел, кроме теней, пролетавших под соломенной крышей или гроздьями свисавших со стропил.

Старик достал из сундука одеяло; на вид оно было соткано из очень мягкой шерсти или пуха сероватого цвета или, вернее, какого-то бесцветного цвета; слабый свет свечи не проникал в его ворс, а впрочем, будь свет поярче, ткань, пожалуй, было бы еще хуже видно. Я бы сказал, цвета пустоты, если бы пустота имела цвет. Потрогайте его, дон Поликарпо. Я было протянул и тут же убрал руку. Потрогайте, не бойтесь, коллега. Я прикоснулся рукой к одеялу. Оно было мягче шелка, бархата, тафты. Из чего оно сделано, дон Матео? Прямо как перышки только что вылупившихся голубков, как пух каких-то неизвестных птиц, хотя, кажется, нет такой птицы, которой я бы не знал. Он показал на потолок: из пуха вот этих тварей, что летают у вас над головой. Вот уже десять лет я тку одеяло, чтобы подарить Его Превосходительству ко дню рождения. В этом году 6 января, если только у меня не разыгрется ревматизм и я смогу пройти пять — десять лиг, я сам принесу ему в Асунсьон мой подарок, потому что мне сказали, что наш Карай<sup>[30]</sup> ходит полураздетый и полубольной. Это одеяло будет согревать его, и он поправится. Но ведь вы сами сказали, из какого пуха оно сделано, дон Матео! Неужели вы думаете, что Его Превосходительство станет пользоваться такой вещью? — пробормотал я, чувствуя позыв к рвоте. И потом, вы прекрасно знаете, что наш Карай Гуасу<sup>[31]</sup> не принимает никаких подарков. Э, дон Поли! Это не подарок. Это лекарство. Второго такого одеяла на всем свете не сыщешь. Вы сами попробовали, какое оно мягкое. А легонькое — легче не бывает! Если я сейчас подкину его в воздух, мы с вами успеем состариться, прежде чем оно упадет. И теплое-теплое. Под ним никакой холод не проймет. Оно спасает и от жары, и от озноба. Это одеяло на все годится и от всего помогает. Я, прищурившись, смотрел на потолок. Но как же это вы смогли собрать столько летучих мышей? Они меня уже знают. Сами прилетают. Чувствуют себя как дома. Разве только под вечер вылетают немножко проветриться. А потом возвращаются. Им здесь по нраву. А они не кусают вас, не сосут у вас кровь? Они не так глупы, Поли. Понимают, что у меня в жилах уже не кровь, а водица. Я им приношу зверушек из лесу; стараюсь ночных поймать, самых проворных: у них кровь горячее. Я своих мбопи<sup>[32]</sup> откармливаю, ублажаю, и от этого шерсть у них такая тонкая, что только руки, привычные к перу, как у вас и у меня, могут пряхть ее, сучить, ткать, сказал он, снимая нагар со свечи своими длинными ногтями. Пока они спят, я тихохонько-легохонько выдергиваю у них шелковистые волоски. Мы очень дружим. Но, оставляя в стороне одеяло, о котором и спорить нечего, я подозреваю, что один из моих зверьков мог бы облегчить недуги Его Превосходительства. Лет десять назад здесь умирал от горячки один доминиканец. Лекарь, который пытался с помощью ланцета отворить ему кровь, ничего не добился — ни капли не вышло. Монахи, решив, что больной умирает, соборовали его и пошли спать, приказав индейцам вырыть могилу, чтобы поутру похоронить усопшего. Тогда я через окошко впустил к нему одну летучую мышь, которую несколько дней держал под арестом без еды в наказание за непочтительность. Мбопи припала к ноге умирающего. Насосавшись до отвала, она улетела, оставив доминиканца с разорванной веной. Когда рассвело, пришли монахи, думая, что больной уже умер, но оказалось: он жив и весел, почти здоров и читает в постели требник. Благодаря врачу-мбопи доминиканец очень быстро поправился. Сейчас он самый толстый и самый живой во всей конгрегации; говорят, у него больше всех детей от прихожанок-индианок; но мне нет дела до этих наветов, да и недосуг — я день и ночь работаю, тку одеяло для нашего сеньора Верховного.



Оставайтесь ночевать, дружище Поликарпо. Вон кровать для вас. Поговорим о добрых старых временах, у нас с вами есть что вспомнить, есть в чем покаяться. Он убрал одеяло в сундук. Под крышей с писком летали длинноухие мыши дона Матео с голыми мордочками в черных крапинках. Он неторопливо сиял с себя плащ, обнажив тело, вернее, обтянутый кожей скелет. Что же мне еще делать, как не общипывать этих невинных тварей, чтобы соткать одеяло для нашего отца? Ложитесь, Поликарпо. Он собирался задуть свечу. Я встал. Нет, дон Матео, я пойду. Мне было очень приятно поговорить с вами, но пора и честь знать. Меня ждет комиссиядо. Надеюсь, скотокрадов уже схватили. Если да, то на рассвете их расстреляют, а я должен присутствовать при этом, чтобы подписать акт. Так и надо этим бандитам! — сказал старик, задувая свечу.

*Дон Матео Флейтас, первый «поверенный» Верховного, пережил его больше чем на полвека. Он умер в Ка'асапа в возрасте ста шести лет, почитаемый детьми и внуками, окруженный любовью и уважением всего селения. Как настоящий патриарх. Его звали Тамои-ипи (Первый дедушка). Старики, его современники, которых я опросил, категорически опровергли, некоторые с непритворным негодованием, басню о «шляпе со свечками», а также о маниакально-затворнической жизни, которую якобы вел дон Матео, согласно рассказу Поликарпо Патиньо. «Все это наглые выдумки негодяя и предателя, который кончил тем, что повесился», — звучит с магнитофонной ленты медлительный, но еще твердый голос нынешнего алькальда Ка'асапа, дона Панталеона Энграсии Гарсии, которому тоже уже за сто лет.*

*В связи с моей поездкой в селение Ка'асапа мне кажется нелишним рассказать об одном эпизоде. На обратном пути, когда я верхом переправлялся вброд через разлившуюся в паводок речку Пирапо. у меня упали в воду магнитофон и фотоаппарат. Алькальд дон Панта, провожавший меня с маленьким эскортом, немедленно приказал своим людям отвести речку в другое русло. Ни просьбы, ни уговоры не могли заставить его отказаться от этого намерения. «Вы не уедете из Ка'асапа без своих причиндалов, — отрезал он. — Я не допущу, чтобы наша речка обкрадывала просвещенных людей, которые приезжают к нам из дальних мест». Узнав о случившемся, все население сбегалось принять участие в отводе воды, Мужчины, женщины и дети работали с энтузиазмом, как на «минге»<sup>[33]</sup>, превратившейся в праздник. К вечеру показалось илистое дно, где и были найдены утерянные предметы, практически не поврежденные. После этого люди до самого утра плясали под музыку моей «шкатулки». С восходом солнца я двинулся в путь, провожаемый долго не смолкавшими прощальными криками и добрыми пожеланиями этих славных, радушных людей, унося с собой в памяти голоса и образы стариков, мужчин, женщин и детей Ка'асапа и его зеленый, светлый пейзаж. Когда алькальд решил, что мне больше уже не приходится опасаться никаких неприятностей, он попрощался со мной. Я обнял его и расцеловал в обе щеки. «Большое спасибо, дон Панталеон, — сказал я ему, чувствуя, как к горлу подкатывает ком. — То, что вы сделали, не имеет названия!» Он подмигнул мне и с такой силой пожал мне руку, что у меня захрустели пальцы. «Не знаю, имеет это название или нет, — сказал он. — Но со времен Верховного мы считаем такие пустячные вещи своим долгом и охотно делаем их, когда речь идет о благе страны». (Прим, сост.)*

Ты самый безудержный болтун на свете. Трещишь без умолку, как сорока. Сорока, за которой уже смерть пришла, которую вот-вот сцапает кот, хотя она и не

подозревает об этом. Так мне и не удалось сделать из тебя приличного слугу. Ты никогда не находишь достаточно важного предмета для размышления, чтобы помолчать. Вечно сочиняешь всякие небылицы, лишь бы не работать. Уж не думаешь ли ты, что и обо мне можно сочинить легендарную историю? Я в этом совершенно уверен, Ваше Превосходительство! Самую легендарную и самую достоверную, самую достойную вашей величественной особы! Нет, Патиньо, нет. Абсолютная власть не тема для историй. В противном случае Верховный был бы излишен. И в литературе, и в действительности. Кто стал бы писать такие книги? Невежественные люди вроде тебя. Профессиональные писаки. Лжецы и лицемеры. Глупые компиляторы не менее глупых писаний. Слова повелительные, властные, сверхслова, превратятся под их пером в хитрые и лживые. В слова-недоноски. Если хочешь любой ценой говорить о ком-нибудь, то для этого мало встать на его место: нужно быть им. Писать можно только о себе подобном. Написать о мертвых могли бы только мертвые. Но мертвые очень слабы. Уж не думаешь ли ты, несчастный секретаришка, что сможешь описать мою жизнь до своей смерти? Тебе понадобились бы для этого искусство и сила по крайней мере двух парок. А, компилятор выдумок и подделок? Собиратель дыма. Ты, в глубине души ненавидящий своего Хозяина. Отвечай! А? Вот так-то! Даже если быть настроенным в твою пользу и предположить, что ты лжешь обо мне для того, чтобы меня защитить, ты при этом мало-помалу отнимаешь у меня возможность самостоятельно родиться и умереть. Не позволяешь мне самому быть комментарием к моей жизни. Сосредоточиться на одной мысли, быть может, единственный способ придать ей реальность. Так обстоит дело и с невидимым одеялом, которое ткёт Матео Флейтас, но которым мне никогда не укрыться. Но ведь я видел его, Ваше Превосходительство. Мало ли что ты видел. Видеть по-твоему еще не значит знать. Твое с-виду-виденье стусевывает очертания твоей памяти, в которой одно наслаивается на другое. Поэтому, между прочим, ты и не способен разоблачить пасквильянтов. Предположим, ты оказался лицом к лицу с одним из них. Вообрази, что я сам автор пасквиля. Мы с тобой беседуем об очень занятных вещах. Ты рассказываешь мне сказки. Я мотаю себе на ус. Ты закрываешь глаза и испытываешь непреодолимое искушение думать, что ты невидим. Когда ты поднимаешь веки, тебе кажется, что все остается по-прежнему. Ты чихаешь. Между двумя чихами все изменилось. Такова действительность, которую не видит твоя память.

Сеньор, с вашего позволения я, так сказать, позволю себе заметить, что, как ни слабы мои бранные руки, то, что вы мне диктуете, Вашество, я, мне кажется, записываю слово в слово. Ты меня не понял. Пошевели мозгами. Вникни в смысл того, что я говорю. Как бы ты ни превосходил животных памятью как таковой, Речью как таковой, ты никогда ничего не узнаешь, если не проникнешь в суть вещей. Для этого тебе не нужен язык; наоборот, он мешает тебе. Поэтому, помимо таза с холодной водой, в котором ты держишь ноги, чтобы освежать голову, я пожалую тебе кляп. Если только тебя до этого не повесят согласно любезному обещанию наших врагов, я сам заставлю тебя, не мигая, смотреть на солнце, когда придет твой час. В тот миг, когда его лучи выжгут твои зрачки, ты получишь приказание пальцами вытащить язык. Ты зажмешь его между зубами. Ударишь себя кулаком по челюсти. Твой язык упадет на землю, извиваясь, как хвост разрубленной пополам игуаны. Он передаст земле привет от тебя. И ты почувствуешь, что избавился от бесполезного бремени. Подумаешь: я нем. А это все равно, что безмолвно сказать: я не существую. Только тогда ты в какой-то мере достигнешь мудрости.

Теперь я продиктую тебе циркуляр, который ты разошлешь моим верным сатрапам. Я хочу, чтобы и они порадовались награде, которую им сулят за их заслуги.

Делегатам, начальникам гарнизонов и городской стражи, судьям, старостам, управляющим государственными асьендами, налоговым сборщикам и прочим властям.

Прилагаемая копия гнусного пасквиля является новым свидетельством возрастающей дерзости, с которой творят свои бесчинства подрывные элементы. Это не просто один из многих памфлетов и всевозможных возмутительных листков, которые с некоторого времени они выпускают почти ежедневно в ошибочной уверенности, что возраст, недуги, состояние здоровья, подорванного за долгие годы служения родине, делают меня совершенно бессильным. Это не просто еще одна диатриба или инвектива конвульсионеров<sup>[34]</sup>.

Надлежит обратить внимание на следующие факты:

Во-первых, они не только осмелились угрожать позорной смертью всем нам, несущим тяжкое бремя правления. Они совершили нечто еще более коварное: подделали мою подпись. Подладились под стиль Верховных декретов. Чего они хотят достигнуть этим? Усилить воздействие, которое может оказать на невежественных людей эта злая шутка.

Во-вторых, анонимный листок был обнаружен сегодня на двери собора, где до сих пор смутьяны не позволяли себе вывешивать свои писания.

В-третьих, кары, которыми нам угрожают в этом издевательском листке, сообразованы с правительственной иерархией. Вам, моим рукам, моим членам, сулят виселицу и братскую могилу без креста и надгробья за чертой города. Мне, главе Верховного Правительства, в виде особой чести предлагают приговорить самого себя к обезглавлению. С указанием, что мою голову надлежит на три дня выставить на позор посреди площади, где устраиваются народные празднества. И наконец, в довершение торжества бросить мой пепел в реку.

В чем обвиняют меня эти анонимные бумагомайки?

В том, что я дал нашему народу свободную, независимую, суверенную родину? И главное, чувство родины? В том, что я с момента ее рождения защищал ее от натисков внутренних и внешних врагов? Уж не в этом ли они обвиняют меня?

Они кипят злобой, не в силах смириться с тем, что я раз навсегда утвердил дело нашего политического возрождения на всенародной воле. Они кипят злобой, не в силах примириться с тем, что я восстановил общественную власть в городах, селениях, деревнях; что я продолжил первое на нашем континенте действительно революционное движение, вспыхнувшее еще раньше, чем Война за независимость в огромной стране Вашингтона, Франклина, Джефферсона, и раньше, чем Французская революция.

Надо поразмыслить над этими великими событиями, которые вам, без сомнения, неизвестны, чтобы во всей полноте оценить непреходящее значение нашего справедливого дела.

Почти все вы ветераны государственной службы. Однако большинство из вас, поглощенные служебными делами, не имели времени основательно изучить вопросы нашей истории. Я предпочел образованным людям добросовестных чиновников. Меня не интересует, какие способности у человека. Мне требуется только, чтобы он

был способен надлежащим образом выполнять мои распоряжения. Ведь и самые одаренные из моих людей не более чем люди.

До установления Пожизненной Диктатуры у нас в Парагвае было полным-полно писак, книжников, грамотеев, а не земледельцев, скотоводов, трудолюбивых людей, как должно было быть и как стало теперь. Эти образованные идиоты хотели основать Ареопаг Изящной Словесности, Искусств и Наук. Я прибрал их к рукам. Тогда они сделались памфлетистами, пасквилянтами. Те, кто смог спасти свою шкуру, бежали и приняли обличье негров: стали черными рабами на плантациях клеветы. За границей они сделались еще хуже. Эти отщепенцы смотрят на Парагвай не с парагвайской точки зрения. Те, кому не удалось эмигрировать, живут, скитаясь и скрываясь, как звери, в своих темных логовищах. Этим тщеславным, развращенным, никчемным конвульсионерам нет места в нашем крестьянском обществе. Что могут значить здесь их интеллектуальные подвиги? Здесь полезнее сажать маниоку или маис, чем марать бумагу, кропая крамольные листки; уместнее уничтожить клеща, нападающего на скот, чем царапать памфлеты с нападками на правительство, защищающее достоинство нации и суверенитет республики. Чем более образованными они хотят быть, тем меньше хотят быть парагвайцами. А за ними придут люди, которые напишут более объемистые пасквили. Они назовут их историческими трудами, романами, повестями и опишут в них воображаемые события во вкусе времени или в соответствии со своими интересами. Прорицатели прошлого, они расскажут в них свои выдумки, историю того, чего не было. Это было бы не так уж плохо, если бы у них было мало-мальски хорошее воображение. Историки и романисты отдадут переплести свои измышления и распродадут их по сходной цене. Им важно будет не рассказать факты, а выдать за факты свои рассказы.

Но сейчас нас не интересует потомство. Потомство никому не дано нагнать. Когда-нибудь оно само вернется за нами. Я действую только приказом. Я приказываю только своею властью. Но как Верховный Правитель я также ваш родной отец. Ваш друг. Ваш товарищ. Знающий все, что нужно знать, и даже более того, я научу вас, что делать, чтобы идти вперед. С помощью приказов, но также и с помощью недостающих вам знаний о происхождении и судьбе нашей нации.

Всему свое время.

Когда наша страна была еще составной частью колоний, или Заморских Владений, как они тогда назывались, судебный чиновник, аудитор-прокурор аудиенсии<sup>[35]</sup> Чаркас Хосе Антекера-и-Кастро, прибыв в Асунсьон, увидел, какое бедствие гнетет Парагвай уже более двухсот лет. Он взял быка за рога. Суверенитет большинства древнее всякого писаного закона, власть народа выше власти самого короля, провозгласил он в кабильдо Асунсьона. Все были ошеломлены. Кто этот молодой судейский? Что он, с луны свалился? Уж не превратилась ли аудиенсия в сумасшедший дом? Мы вас не очень хорошо поняли, сеньор аудитор.

Хосе де Антекера, присланный расследовать обвинения, выдвинутые против губернатора, огненными буквами, делами запечатлел свой приговор: народы не отрекаются от своей суверенной власти. Тот факт, что они передают ее правительствам, не означает, что они отказываются осуществлять ее, когда правительства нарушают предписания естественного разума, источника всех законов. Угнетать можно только народы, которым по нраву угнетение. Но этот народ не таков. Он терпелив, но не раболепен. И вы не можете надеяться, господа угнетатели, что его терпение вечно, как загробное блаженство, которое вы ему сулите.

Хосе де Антекера приехал в Асунсьон не ослепленный наивной верой. Он непредвзято посмотрел на вещи и все досконально расследовал. То, что он увидел, возмутило его. Все было заражено абсолютистской коррупцией. Правители торговали должностями. Судьи мирволили тем, у кого было вволю дублонов. Разве я могу продать вам пост Верховного Диктатора? Я вижу, как вы, потупив глаза, лицемерно качаете головой. А вот Диего де лос Рейес Бальмаседа купил за горсть серебра (Место губернатора Парагвая. Антекера дал пинка под зад этому негодяю, и тот отправился в Буэнос-Айрес жаловаться вице-королю. Так прогнили Заморские Владения.

Щеголеватые энкомендеро<sup>[36]</sup> — сельская олигархия — благоденствовали в своих имениях за счет индейского быдла. Черные сутаны охраняли огромную казарму, созданную иезуитами империю в империи, где было больше подданных, чем у короля.

В халифате, основанном Иралою<sup>[37]</sup>, четыреста счастливых, уцелевших из числа конкистадоров, которые приплыли сюда в поисках Эльдорадо, вместо Сияющего Города нашли обетованную землю. И создали магометанский рай среди маисовых полей эпохи неолита. Вычеркни последнее слово, оно еще не вошло в употребление. Тысячи меднокожих женщин, самые прелестные гурии на свете, были в их полном распоряжении для услуг и услад. Коран и Библия соединились в индейском гамаке, напоминающем полумесяц.

Набат Антекеры поднял комунерос против приверженцев абсолютной монархии. Богохульства. Жалобы. Прошения. Интриги. Заговоры. Подметные листки, сатиры, памфлеты, карикатуры, пасквили — все это было и тогда. Иезуиты обвинили Антекеру в намерении объявить себя королем Парагвая Хосе I. А незадолго до того они хотели придать форму монархии своей коммунистической республике, короновав индейца Николаса Япугуайя под именем Николаса I, короля Парагвая и императора мамелюков<sup>[38]</sup>. Простите, сеньор, я не расслышал как следует то, что вы сказали о королях Парагвая. Не в том дело, что ты не расслышал. Временами ты не понимаешь того, что слышишь. Попроси негра Пилара рассказать тебе про это. Истории о королях Парагвая, Патиньо, не что иное, как басни, вроде эзоповых. Негр Пилар тебе их расскажет. Сеньор, как вы знаете, негра Хосе Марии Пилара уже нет. То есть он есть, но под землей. Не важно; попроси его рассказать тебе эти басни. Их как раз и надо рассказывать под землей, а слушать, усевшись верхом на могилу. Он их уже рассказал, сеньор, хотя и по-другому, на допросе с пристрастием в Палате Правосудия<sup>[39]</sup>. Я не придавал им значения, решил, что со стороны вашего бывшего помощника и камердинера это просто увертка. Чего только не городят под пытками. Сам следователь дон Абдон Бехарано сказал мне, чтобы я не заносил эту околесицу в протокол. Что же сказал подлый негр? Он заявил и поклялся всеми клятвами, что его наказывают плетьюми и пошлют на казнь за то, что он, ни мало ни много, хотел стать королем Парагвая под именем Педро I. Он это вроде бы со смехом сказал, хотя в душе у него, видно, кипела злоба, а лицо было мокрое от слез и соплей. И имел еще наглость добавить к этому какие-то зловещие предсказания, которые дон Абдон тоже не велел заносить в протокол. Ни единому слову этого злодея нельзя было верить. Все это были вздорные выдумки. Бред. А ты еще не понял, секретарь, что бред правдивее добровольной исповеди? Не пытался ли этот каналья подкупить тебя, посулив должность личного секретаря его величества в своей черной монархии? Ей-богу, нет, сеньор! А не обещал ли он сделать тебя консулом острова Баратария?<sup>[40]</sup> Сеньор, уж если так, на этом острове должны были быть два консула, Бехарано и я. Два консула,

наподобие Помпея и Цезаря, как были двумя консулами Ваше Превосходительство и гнусный изменник, бывший подполковник Фульхенсио Йегрос, который получил по заслугам уже много лет назад, когда его поставили к стенке вместе с другими заговорщиками<sup>[41]</sup>.

А может, ты тоже тешишь себя мечтой стать когда-нибудь королем Парагвая? Ну нет, сеньор, я не согласился бы на это ни за какие коврижки! Вы сами не раз говорили, что это имело бы смысл только в том случае, если бы носитель высшей власти и народ были неразделимы; но для этого надо быть не королем, а хорошим Верховным Правителем, как вы, Ваше Превосходительство. И все-таки, ты видишь, у нас, как и в других странах Америки, со времени завоевания независимости в воздухе носится вирус монархизма, не менее заразного, чем круп или сибирская язва. Камердинеры, личные секретари, адвокаты, военные, священники — все страдают этой болезнью, всем до смерти хочется стать королями.

На чем мы остановились? На том, что вы пошли в нужник, сеньор. Перестань молоть вздор. Я спрашиваю, чем кончался последний абзац, мошенник. Я читаю, сеньор: иезуиты обвинили Антекеру в намерении объявить себя королем Хосе I. Нет, нет и нет! Я вовсе не это сказал. Ты, как всегда, напутал. Пиши медленно. Не спеши. Считай, что у тебя впереди еще целая неделя Жизни. А где есть семь дней, там могут быть и семьдесят лет. Очень полезно давать себе долгие сроки для преодоления трудностей. А еще лучше, если в твоём распоряжении всего один час. Тогда этот час одновременно краток и нескончаем, и в этом его преимущество. Кому выпал счастливый час, тот не может пожаловаться на несчастную жизнь. За такой час успевают сделать больше, чем за век. Хорошо тому приговоренному к смерти, который по крайней мере знает, когда именно ему предстоит умереть. Ты поймешь это, когда окажешься в таком положении. Твоя спешка проистекает из того, что ты думаешь, будто всегда остаешься в настоящем. Плохо осведомлен тот, кто считает себя своим современником. Ты меня понимаешь, Патиньо? По правде сказать, не очень, сеньор. Пока я пишу то, что вы мне диктуете, я не могу уловить смысл ваших слов. Я стараюсь писать букву за буквой как можно ровнее и разборчивее и так поглощен этим, что от меня ускользает суть. Когда я пытаюсь понять то, что слышу, у меня строчка выходит кривой. Я пропускаю слова, фразы. Отстаю. А вы, сеньор, все диктуете и диктуете. Я при малейшей описке теряюсь и застреваю. С меня катится пот. От капель на бумаге образуются лужицы. Тогда вы совершенно справедливо сердитесь, Вашество. Приходится начинать все сначала. А вот если я читаю текст после того, как он подписан вами и чернила посыпаны песком, он мне кажется яснее ясного.

Поддай мне книгу театинца Лосано<sup>[42]</sup>. Для того чтобы ярче осветить истинные факты, нет ничего лучше, чем сопоставить их с фантастическими вымыслами. А у этого глупца с тонзурой поистине коварная фантазия. Это самый заядлый клеветник. Его «История революций в Парагвае» извращает движение комунерос и в ложном свете представляет его вождя. Ведь Хосе де Антекера уже не мог защищаться от этих жульнических фальсификаций, потому что его дважды убили. Отец Педро Лосано вознамерился сделать это в третий раз, собрав воедино все наветы, все сплетни и лживые измышления о вожде комунерос. Точно так же действуют и будут действовать против меня анонимные пасквилянты. Впрочем, кое-кто из этих щелкоперов, находясь вдали от родины, в эмиграции, и пользуясь поэтому

безнаказанностью, пожалуй, наберется наглости поставить свою подпись под такой стряпней.

Принеси мне книгу. Ее здесь нет, сеньор. Вы оставили ее в госпитале. А, тогда пусть этого Лосано держат на хлебе и воде; и пусть ему ежедневно дают слабительное, пока он не умрет или не выблюет все свое вранье. Паи<sup>[43]</sup> Лосано здесь нет, сеньор; и, насколько я знаю, никогда не было. Я просил тебя подать мне «Революции в Парагвае». Они в госпитале, сеньор. Я говорю об «Истории», мошенник. «История» в госпитале, сеньор; заперта на ключ в шкафу. Вы положили ее туда, когда вас привезли.

Мы остановились на первом событии, прервавшем колониальную идиллию. Это было сто лет назад. Хосе де Антекера восстает, сражается, не сдается. Губернатор Буэнос-Айреса, пресловутый бригадный генерал Бруно Маурисио Сабала вторгается в Парагвай со ста тысячами индейцев редуций. Этот человек с убегающим подбородком и вьющимися локонами возглавляет карательную экспедицию. Пять лет боев. Колоссальная резня. Со времен Фердинанда III Святого и Альфонса X Мудрого еще не было такой жестокой борьбы. С опозданием на века наступает средневековье; сводятся леса, гибнут люди, попираются права провинции Парагвай.

Все тонет в кровавой сумятице, кроме круговращения солнца, диска из чистого золота величиной с колесо повозки. Буэнос-айресские сарацины, отцы иезуитской империи, испано-креольские энкомендеро обезглавливают восстание и топят его в крови. Антекеру отправляют в Лиму. Его ближайшего сподвижника Хуана де Мену тоже. Их везут на мулах к месту казни, но еще на пути расстреливают, чтобы их не освободил взбунтовавшийся народ. Для верности их трупы бросают на эшафот, и палач отрубает им головы. Это первые две головы, скатившиеся с плеч в борьбе за американскую независимость. Историк опускает это как не стоящую упоминания мелочь. Тем не менее это было. Что и научило меня недоверчивости. Этот день вместил в себя столетие. На пороге нового времени я завершил начатое этим восстанием, в свою очередь провозгласив, что испанское владычество отжило свой век. Отжили свой век не только королевские прерогативы Бурбона, но и права, узурпированные главой вице-королевства, где монархический деспотизм был заменен креольским деспотизмом под революционной личиной. Что оказалось вдвое хуже.

Это относилось и к Парагваю. В этом смысле Асунсьон был не лучше Буэнос-Айреса. Асунсьон — главный город, Асунсьон — основатель селений, Асунсьон — опора и оплот завоевания нес на себе клеймо королевских грамот. Честь-бесчестье.

Наши тузы-олигархи рассчитывали до скончания века жить разведением коров и денег. Жить, бездельничая. Это были отпрыски тех, кто предал восстание комунерос. Тех, кто продал за тридцать сребреников Антекеру. Аристократы-Искарיותы. Банда контрабандистов. Банда мошенников, под шумок присвоивших себе права Общества. Отродья бесчисленных энкомендеро. Молодчики, в чьих руках и земля и палка. Эвпатриды, которые сами себя величали патрициями. Сделай внизу примечание: эвпатрид означает собственник. Феодалный сеньор. Владелец земель, рабов и асьенд. Нет, лучше вычеркни слово эвпатриды. Его не поймут. Начнут употреблять в служебных бумагах ни к селу ни к городу. наших людей завораживает все то, чего они не понимают. Что они знают об Афинах, о Солоне? Вот ты, например, слышал об Афинах, о Солоне? Только то, что вы сказали о них, Вашество. Пиши дальше: с другой стороны, это слово здесь, в Парагвае, ничего не значит. Если у нас когда-то и были эвпатриды, то теперь их нет. Они перемерли или сидят за решеткой. Однако

гены этих людей, мнивших себя гениями, снова и снова порождают недоносков, которым все нейдет: в силу законов генетики испано-креолы без конца воспроизводят себя в последовательных поколениях искириотов. Они были и остаются иудами, которые претендуют на роль судей правительства, но страха ради иудейска не называют своего имени. Вот уже сто лет они предают дело нашей нации. Те, кто предали однажды, предадут всегда. Они пытались и будут пытаться продать родину портеню, бразильцам, кому угодно в Европе или в Америке, лишь бы побольше заплатили.

Они не могут мне простить, что я вторгся в их владения. Им не по нраву мое справедливое отношение к деревенщине, к мужланам неотесанным, как называют простых людей эти утонченные умы. Они забывают, что закрепощенная индейская деревня и питала их асьенды. Крестьяне-индейцы, работавшие из-под палки на земле этих захребетников, были для них лишь тяглом. Способными к размножению сельскохозяйственными орудиями. Одушевленными инструментами. Они гнули горб в поместьях от зари до зари. Не имея ни свободного дня, ни домашнего очага, ни одежды, ничего, кроме своего изнуренного тела, в котором еле держалась душа.

Пока я не принял бразды правления, здесь люди делились на благородных господ и безродных сервов. На особ и особей. На личностей и безличную толпу. С одной стороны — роскошествующие в праздности испано-креольские паши, с другой — индейская масса, обреченная на хождение по мукам и на прозябание, которое не назовешь ни жизнью, ни смертью: пеоны, пахари, плотовщики, сборщики йербы, лесорубы, пастухи, ремесленники, погонщики мулов. И набранные из них же вооруженные рабы, которые должны были защищать феодалов креольских калой-кагатой<sup>[44]</sup>. Будьте добры, Вашеество, повторите этот термин, я его что-то не разобрал. Пиши просто: хозяев. Уж не рассчитывали ли эти господа-хозяева, что голодающая чернь будет не только служить им, но и любить их? Массы, иными словами, трудящееся простонародье, производили материальные блага и страдали от всех невзгод. Богачи пользовались всеми благами. Это были две формы существования, по-видимому неотделимые одна от другой. И равно пагубные для общественного блага. Одна обуславливала тиранию, другая порождала тиранов. Как установить равенство между богачами и нищими? Не ломайте себе голову над подобными химерами! — говорил мне накануне революции портеню Педро Антонио де Сомельера из Буэнос-Айреса<sup>[45]</sup>. Это доброе пожелание, благочестивая мечта, которая не может осуществиться на практике. Видите ли, дон Педро, именно потому, что в силу вещей всегда существует тенденция к нарушению равенства, сила революции всегда должна быть направлена к его сохранению — к тому, чтобы никто не был достаточно богат для того, чтобы купить другого, и никто — достаточно беден для того, чтобы быть вынужденным продавать себя. Ах, вот как, воскликнул Сомельера, вы хотите разделить между всеми богатства немногих, сделав всех одинаково бедными? Нет, дон Педро, я хочу сблизить крайности. То, чего вы хотите, сеньор Хосе, означает уничтожение классов. Равенство не достигается без свободы, дон Педро Антонио. Это и есть концы, которые нам надо свести.

Я стал править страной, где обездоленные не значили ничего, где всем заправляли мошенники. Когда в 1814-м я взял в свои руки Верховную Власть, тем, кто мне с задней мыслью или без задней мысли советовал опереться на высшие классы, я сказал: сеньоры, спасибо, но я не последую вашему совету. При том положении, в котором находится страна и в котором нахожусь я сам, моей знатью может быть



только простонародье. Я еще не знал, что в свое время те же или сходные слова произнес великий Наполеон. Утративший свое величие и потерпевший разгром, когда он изменил революционному делу своей страны.

*(В тетради для личных записок. Незнакомый почерк)*

*А что же ты сделал, как не это?.. (Конец абзаца обуглился и не поддается прочтению.)*

Меня воодушевило то, что я сошелся в этом с великим человеком, который в любой момент, при любых обстоятельствах знал, что нужно делать, и всегда это делал. Чему вы, государственные служащие, еще не научились и не скоро научитесь, судя по бумагам, которыми вы мне докучаете, по всякому пустячному поводу засыпая меня вопросами, просьбами дать указание и прочими глупостями. Когда же наконец вы что-то делаете, мне приходится думать о том, как исправить ваши оплошности.

Что касается наших тузов-олигархов, то никто из них не читал ни строчки Солона, Руссо, Рейналя, Монтескье, Роллена, Вольтера, Кондорсе, Дидро. Вычеркни эти имена, ты не сумеешь их правильно написать. Никто из них не читал ни строчки, кроме «Католического Парагвая», «Христианского ежегодника», «Избранных мест из сочинений Святых», да и те теперь, наверное, превратились в игральные карты. Эти люди приходят в экстаз, перелистывая «Альманах достопочтенных особ провинции» и взбираясь по ветвям своего генеалогического древа. Они не захотели понять, что бывают такие злосчастные условия, при которых нельзя сохранить свободу иначе как за счет других. Условия, при которых гражданин не может быть всецело свободным без того, чтобы раб не был доведен до крайней степени порабощения. Они отказались признать, что всякая подлинная революция означает изменение имущественных отношений. Изменение законов. Глубокое изменение всего общества, а не просто побелку облупившегося фасада, за которым скрывается все та же мертвечина. Я принял за дело. Взял в ежовые рукавицы хозяев, торгашей, всю лощеную сволочь. Скрутил их в бараний рог. И никто ради них пальцем не пошевелил.

Я издал законы, одинаковые для богатого и бедного. Я всех заставил неукоснительно соблюдать их. Чтобы установить справедливые законы, я отменил несправедливые. Чтобы создать Право, я упразднил извращенные права, сохранявшиеся в этих колониях на протяжении трех веков. Я уничтожил чрезмерную частную собственность, обратив ее в общественную, что было вполне правомерно. Я покончил с господством креолов над эксплуатируемым коренным населением, господством, в корне несправедливым, ибо индейцы скорее должны были по праву первородства пользоваться преимуществами перед этими спесивыми метисами. Я заключил договоры с туземными народами. Я снабдил их оружием для защиты своих земель от посягательств враждебных племен. Но я также удержал их в естественных границах, не позволяя им творить бесчинства, которым их научили сами белые.

*«Ввиду частых жалоб сельских жителей на кражи и грабежи, учиняемые индейцами в усадьбах и угодьях, на которые они постоянно совершают набеги, Верховный Диктатор в пространном указе, изданном в марте 1816 года, сурово порицал за бездеятельность командующих войсками, на которые возложена охрана границ, и предписывал безотлагательно усилить кавалерией заставы Арекутакуа, Мандувира, Ипита и Куарепоти, с тем чтобы кавалерийские дозоры, высылаемые из всех пограничных отрядов, постоянно объезжали прилегающую местность, карая дикарей при любой попытке вторжения. Тот же указ предупредил командиров об ответственности за всякое слабодушие, проявленное при проведении этих мер, и*

*предписывал всех вторгшихся индейцев, которые будут захвачены с поличным, закалывать, а головы их вздевать на пики и выставлять в тех местах, куда они вторглись, на расстоянии пятидесяти вар одну от другой.*

*Особенно опасаться приходилось пайагуасов, постоянно вторгавшихся в северный район Парагвая. Бродячее племя, они жили ордами в кочевых становищах, занимаясь рыбной ловлей, охотой и кражей скота, и в своих набегах выказывали чрезвычайное коварство. Однако имелось и небольшое число индейцев, обитавших севернее Консепсьона, которые на своих каноэ помогали пограничной части, расположенной близ этого пункта, преследовать индейцев-бандитов. В конце 1816 года, когда те предприняли очередной набег, было схвачено около пяти тысяч пайагуасов. Всех их закололи, и их головы, вздетые на пики и выставленные напоказ на расстоянии пятидесяти вар одна от другой, образовали устрашающий кордон, тянувшийся на много лиг вдоль границ. С того времени в этом районе наступила эра спокойствия, которую историки назвали сэрой мертвых голов». (Виснер де Моргеништерн.<sup>[46]</sup>, *op. cit.*).*

Теперь индейцы — лучшие слуги государства; из них я выпестовал самых неподкупных судей, самых способных и добросовестных чиновников, самых храбрых солдат.

Все, что требуется, — это равенство всех перед законом. Только плуты думают, что их выгода и есть благо как таковое. Пусть все поймут раз навсегда: благодетельность закона в самой законности. Благо не благо и закон не закон, если они не распространяются на всех.

Что до меня, то я ради общего блага отказался родственников, свойственников, друзей. Пасквилянты бросают мне обвинение в том, что я особенно строг к своим родственникам и к своим старым друзьям. Совершенно верно. У облеченного абсолютной властью Верховного Диктатора нет старых друзей. У него есть лишь новые враги. Его не засасывает трясина деспотизма, и он не признает династической преемственности. Преемственность может осуществляться только на основе суверенного волеизъявления народа, источника Абсолютной Власти — власти, возведенной в абсолют. Природа не порождает рабов; в их существовании виновен человек, уродующий природу. Установление Пожизненной Диктатуры знаменовало освобождение нашей земли: она изгладила в душах следы порабощения, длившегося с незапамятных времен. Если в Республике еще есть рабы, они уже не чувствуют себя рабами. Здесь остается рабом один лишь диктатор, посвятивший себя служению тем, над кем он властвует. Но еще находятся люди, которые сравнивают меня с Калигулой и даже поминают Инцитатуса, коня, которого глупому римскому императору взбрело в голову сделать консулом. Не лучше ли было бы моим клеветникам вникать в смысл исторических событий, чем пробавляться историческими анекдотами? Да, в Первой Хунте был консул-конь — сам ее председатель. Но не я выбрал его. Пожизненный Диктатор Парагвая не имеет ничего общего ни с римским консулом из породы однокопытных, ни с консулом Асунсьона из породы двуногих животных, которого поделом расстреляли.

Меня обвиняют в том, что я спроектировал и возвел за двадцать лет больше сооружений, чем ленивые испанцы довели до разрушения за два века. Я построил в пустынях Гран-Чако и Восточной области дома, бастионы, форты, крепости. Самые большие и мощные в Южной Америке. И прежде всего до основания перестроил тот форт, который в старину назывался Бурбонским. Я изгладил из памяти людей это

название. Стер позорное пятно. Таким образом, пока португальцы укрепляли Коимбру, собираясь напасть на нас с севера, я в противовес им возвел Олимпийскую крепость. Вместо прежней ограды из пальмовых бревен я приказал окружить ее каменной стеной. Превратил в неприступную цитадель. Ее ослепительно белые башни преградили путь черным силам Империи, ее пиратам и работорговцам. Потом выросла крепость Сан-Хосе на юге.

*«Крепость Сан-Хосе, бесспорно, самое выдающееся фортификационное сооружение первой половины XIX века во всей Южной Америке, поражающее своими неслыханными размерами. Построить ее было задумано после прекращения военных действий между Бразилией и Буэнос-Айресом в Банда-Ориенталь<sup>[47]</sup>, когда сложились подходящие условия для вторжения в Парагвай, которое в некоторые моменты представлялось даже неминуемым. Строительство началось в самом конце 1833 года после тщательной разработки проекта и заготовки строительных материалов напротив Итапуа, за рекой, где находился сторожевой пост, или лагерь, Сан-Хосе. Двести пятьдесят человек, которые ночевали в палатках, разбитых вокруг казармы, одновременно взялись за работу. Руководили строительством попеременно субделегат Хосе Леон Рамирес, его заместитель Касими́ро Рохас и начальник гарнизона Хосе Мариано Мориниго. Поскольку проект по ходу дела приобретал все больший размах, как бы много людей ни завербовывали на строительство, их оказывалось все еще недостаточно. (Число строителей выросло в итоге с двухсот пятидесяти человек до двадцати пяти тысяч.) В 1837 году темп работ ускорился, и к концу 1838 строительство было в основном закончено. Крепость, которая у парагвайцев носила первоначально скромное название лагеря Сан-Хосе, а у жителей Коррьентес и других провинций получила наименование Вала Сан-Хосе или Парагвайского Вала, была обнесена зубчатой каменной стеной почти в четыре вары высотой и в две тощиной с башнями, из чьих бойниц можно было вести огонь во всех направлениях. Эта стена, вдоль которой пролегал глубокий ров, тянулась, покуда видит глаз, прерываемая лишь воротами, выходившими на дорогу из Сан-Борхи, откуда в крепость прибывали обозы. Она начиналась от заболоченного озера Сан-Хосе у берега Параны и, описав многокилометровую петлю, возвращалась к той же реке, подобная чудовищной змее, свернувшейся в кольцо.*

*Эта громада из камня и извести, напоминавшая в известной мере Великую китайскую стену, охватывала солдатские казармы, жилища офицеров и сержантов, склад оружия и военного снаряжения и прочие службы, расположенные в виде маленького селения в одну улицу, на которую с обеих сторон выходило по пятнадцать домов размером в пять с половиной вар по фасаду и более куэрды по торцу, и, наконец, находившиеся поодаль от них, ближе к стенам, два больших загона, или внутренних пастбища, отделенные от густого леса, прорезанного просекой, которая вела к реке.*

*Издали, перед взглядом коррьентинских дозоров, круживших по холмам и пустынным землям редукций, крепость представала во всем своем грозном величии. За ее стенами, на вершине высокой мачты из ствола урундя<sup>[48]</sup>, как игла, вонзавшейся в небо, развевался трехцветный флаг — эмблема легендарной, внушающей уважение и страх Республики Пожизненного Диктатора». (X. 4. Васкес. Глазами современников.)*

Были построены здания Кабильдо и Госпитальной Казармы, перестроены столица и многие города и селения во внутренних районах страны. Все это стало возможно

благодаря первой фабрике извести, которая была основана мной, а не чудом появилась в Парагвае. Таким образом, как отмечает любезный Хосе Антонио Васкес<sup>[49]</sup>, в нашей стране, где в прошлом были лишь строения из необожженного кирпича и глинобитные хижины, я утвердил цивилизацию извести. К государственным имениям и фермам, прославившим наше отечество, прибавилась отечественная известь.

Все, от Дома Правительства до маленького ранчо в самом глухом уголке страны, засверкало ослепительной белизной. Мой панегирист скажет: Дом Правительства превратился во вместилище жизненных сил всего Парагвая, в его нервный центр. В символ его пробуждения и возрождения. Грязные пасквилянты со своей стороны станут бормотать, что он превратился в глухое ухо, не внимающее стонам, которые день и ночь издают узники в лабиринте тюремных подземелий. В рупор самовластья, заглушающий ропот народа. Рог изобилия, восхваляют его одни. Дворец Террора, сделавший из страны огромную тюрьму, квакают другие, путешествующие жабы, тузы-эмигранты. Какое мне дело, что говорят эти перебежчики! Пусть поносят меня, как поносили Христа! Ни восхваление, ни клевета не могут не поскользнуться на фактах. Не могут запятнать белое. Белы одежды спасшихся. В белое облачены двадцать четыре старца, окружающие великий престол. И бел, как снег, ЕДИНСТВЕННЫЙ, сидящий на нем. Он белее всех в мрачном Апокалипсисе.

Также и здесь, в лучезарном Парагвае, белое — атрибут искупления. На фоне этой ослепительной белизны черное обличье, в котором меня изображают, внушает еще больший страх нашим врагам. Черное для них атрибут Верховной Власти. Это воплощенная Тьма, говорят они обо мне, дрожа в своих спальнях. Ослепленные белизной, они еще больше, во много раз больше боятся черноты, в которой чувствуют крыло Архангела-Истребителя.

Я прекрасно помню, Ваше Превосходительство, как вы задали загадку посланнику Бразильской Империи. При всей своей хваленой учености Корреа да Камара так и не сумел ее разгадать. О какой загадке ты говоришь? Вашество сказали в тот вечер бразильцу: почему лев одним своим рыком наводит страх на всех зверей? И почему так называемый царь лесов боится и почитает одного только белого петуха? Не знаете? Так я вам объясню, сказали вы ему, Ваше Превосходительство. Дело в том, что солнце, источник и квинтэссенция всякого света, земного и небесного, находит более яркое воплощение, более подходящий символ в белом петухе, возвещающем зарю, чем во льве, царе лесных разбойников. Гривастый лев рыщет ночью в поисках жертв, терзаемый неутолимой голодом. Петух просыпается с рассветом и склевывает льва. Корреа через силу проглотил это, завращав глазами от злобы. А Вашество добавили: вот так же внезапно появляются шакалы, рядящиеся в львов, и исчезают при виде петуха... Ладно, Патиньо, хватит вспоминать эти глупости! Мы не можем предсказать, что произойдет в будущем. Может случиться так, что роли внезапно переменятся и царь лесных разбойников сожрет петуха. С уверенностью можно сказать только, что этого не произойдет, пока длится Пожизненная Диктатура. Раз она пожизненная, сеньор, она будет длиться вечно, до скончания мира. Аминь. С вашего позволения я на минутку отложу перо. Только перекрещусь. Вот и все, сеньор. Я к вашим услугам. Валуа готов! Я знаю твой боевой клич. Он означает, что ты борешься с голодом. Ступай покрестись над тарелкой.

Пока хватит. Продолжение следует. Рассылай циркуляр по частям, не дожидаясь окончания. Отведи меня в мою палату. В палату, сеньор? Я хотел сказать, в мою

спальню, в мою дыру, к моему одру. Да, болван, в мою собственную Палату Правосудия.

О мой одр, мое ненавистное ложе! Ты засасываешь меня, хочешь завладеть концом моей жизни. Разве мало того, что ты похитило у меня часы, дни, месяцы, годы? Сколько времени, сколько времени я потратил зря, ворочаясь на этих влажных от испарины перинах! Подопрь мне спину, Патиньо. Подложи сначала подушку. Потом две-три книги потолще. Под одну ягодицу Свод законов Альфонса X, под другую Гражданское уложение заморских владений. Под копчик Законы готских королей. Нет, немножко пониже. Вот, так уже лучше. Мне бы рычаг Архимеда. Ах, если бы с помощью какой-нибудь неведомой науки я мог держаться в воздухе. Вроде котлов, которые подвешивают на железных дужках над огнем. Даже когда меня пучит от газов, я не могу взлететь, как мои птицы-кони. Можно было бы, сеньор, заказать для вас хороший гамак, вроде тех, в которых спят заключенные в тюрьмах. Они чувствуют себя в них так легко, что даже забывают о решетках. Только этого мне не хватало. Спасибо за совет. Ступай обедать, у тебя на лице написано, что живот подвело. Э, подожди минутку. Принеси мне пасквиль. Я хочу еще раз посмотреть на него. Подай мне лупу. Открыть пошире окно, сеньор? Что, хочешь улететь, как птичка? Нет, сеньор, просто Вашеству так будет светлее. Не надо. У меня даже под кроватью так же светло, как в чистом небе в полдень.

Меня интригует эта бумажонка. Ты по крайней мере обратил внимание, что этот анонимный пасквиль написан на бумаге, которая уже много лет назад вышла из употребления? Я такой никогда не видел, Ваше Превосходительство. Что ты находишь в ней особенного? Она пожелтела от времени, сеньор. Если посмотреть на свет, виден водяной знак: какая-то виньетка из непонятных инициалов, Ваше Превосходительство. Спроси у делегата Вильи-дель-Пилар, привозила ли опять контрабандистка по прозвищу Андалузка почтовую бумагу такого образца. Томас Хиль обожает царапать свои донесения, а лучше сказать, измышления на бумаге верже. Я должен напомнить вам, сеньор, что вдова Гойенече больше не приезжала в Парагвай. Кто такая вдова Гойенече? Капитанша корабля, доставлявшего контрабанду, сеньора по прозвищу Андалузка. А, я думал, ты говоришь о вдове Хуана Мануэля де Гойегече, тайного эмиссара Бонапарта и Карлотты Жоакины<sup>[50]</sup>, незадачливого шпиона, который так и не ступил на парагвайскую землю. После аудиенции, которую Вашество дали Андалузке, она больше не приезжала. Ты лжешь! Я никогда не принимал ее. Не путай. Не переворачивай все шиворот-навыворот. Выясни у комисионадо, субделегатов пограничных округов и начальников застав, сколько и когда было вновь ввезено в страну бумаги верже. Теперь ступай. Вы будете обедать, сеньор? Скажи Санте, чтобы она принесла мне кувшин лимонада. Прийти маэсе Алехандро, как обычно, в пять часов? А почему же не прийти? Кто ты такой, чтобы менять заведенные у меня порядки? Скажи цирюльнику, чтобы он тряхнул стариной и привел тебя в порядок. Иди, приятного аппетита.

*(В тетради для личных записок)*

Мне кажется, я узнаю этот почерк, эту бумагу. Когда-то, много лет назад, они воплощали для меня реальность существующего. Достаточно было искры, чтобы воспламенить воображение, и тогда можно было разглядеть в еще не просохших чернилах кишение инфузорий. Бактерии. Кольцеобразные и полулунные тельца, которые образовывали филигранные розетки: плазмодий, вызывающий малярию.

Бумажонка дрожит от озноба. Да здравствует перемежающаяся лихорадка! — жужжит жар у меня в ушах. Это работа малярийных комаров.

Идти по следу этого почерка в лабиринтах... (Оборвано)... теперь эти водяные знаки на бумаге верже, эти заразные буквы означают нереальность существующего. Мы на каждом шагу, как в лесу на деревья, наталкиваемся на различия, но даже мне приходится следить за собой, чтобы не поддаться миражу сходства. Все воображают, что они тождественны самим себе, и на этом успокаиваются. Но трудно быть одним и тем же человеком. Одно и то же не всегда одно и то же. Я не всегда Я. Единственный, кто не меняется, — это Он. Он остается за пределами преходящего, подобно существам надлунного мира. Даже когда я закрываю глаза, я продолжаю видеть его в вогнутых зеркалах моих век. (Надо отыскать мои заметки о психоастрономии.) Но дело здесь не только в веках. Иногда Он смотрит на меня, и тогда моя кровать поднимается в воздух и плавает по воле дуновений и завихрений, а Я, лежа на ней, вижу все сверху, с невероятной высоты, или снизу, из невероятной глубины, пока все не сливается в одну точку и не исчезает. Только Он остается, ни на йоту не изменяясь и не уменьшаясь, скорее даже разрастаясь.

Кто может меня убедить, что для меня не настал тот момент, когда жить — значит бродить в одиночестве? Момент, когда, как сказал мой секретарь, человек умирает, а все продолжается, как будто ничего не произошло и не изменилось. Вначале я не писал, только диктовал. Потом забывал то, что продиктовал. Теперь я должен и диктовать, и писать, делать где-то заметки. Это для меня единственный способ удостовериться, что я еще существую. Хотя быть погребенным в буквах, пожалуй, и значит стать мертвее мертвого. Нет? Да? Так как же? Нет. Решительно нет. Ослабленная воля, старческое слабоумие. Из старой жизни поднимаются пузырьки стариковских мыслей. Пишут, когда уже не могут действовать. Писать неправдоподобную правду. Отречься от благодетельного забвения. Углубиться в себя. Извлечь из глубины своего существа то, что погребено в нем силою времени. Да, но уверен ли я, что извлекаю нечто реальное, а не призрачное? Не знаю, не знаю. Ведь титаническими усилиями делать то, что не имеет значения, тоже значит действовать. Хотя такое действие и противоположно деянию. Я уверен только в том, что эти записки не имеют адресата. В них нет ничего от вымышленных историй, призванных развлекать читателей, которые набрасываются на них, как мухи на мед. Это ни исповедь (вроде «Исповеди» старика Жан-Жака), ни мысли (вроде «Мыслей» старика Блеза), ни интимные воспоминания (вроде тех, какие пишут знаменитые кокотки и образованные содомиты). Это подведение Итогов. Доска, выступающая за край пропасти. Подагрическая нога волочится по ней до тех пор, пока равновесие не нарушится и пропасть не поглотит доску, идущего, расчеты и старые счета, долги и долгие сборы. Костлявая под откосом уже наточила косу: добро пожаловать!

Этот идиот Патиньо всегда прав только наполовину. Я не принимал Андалузку. Я согласился дать ей аудиенцию, но не принял ее. Примите ее, Ваша Милость, уговаривал меня ее компаньон Сарратеа<sup>[51]</sup>. Знаменитая коммерсантка, очаровательная особа, как нельзя более преданная вам. Она хочет предложить Вашему Высокопревосходительству весьма выгодную сделку, но ввиду риска, который с ней связан, может вести переговоры только лично с вами. Лживые слова, лживые, как все, что исходит из Буэнос-Айреса. Он рассчитывал ввести меня в заблуждение, соблазнив крупными поставками контрабандного оружия. Дал мне понять, что я получу чуть ли не весь арсенал, похищенный у Парагвая во время

пиратской речной блокады, плюс оружие, оставленное парагвайскими войсками, которые в свое время защищали Буэнос-Айрес от английских вторжений. Даже портовые пушки, чего уж больше.

Еще не было не только огня, но и дыма, а уже запахло заговором. Я люблю иногда прикинуться наивным. Почему бы знаменитой коммерсантке не приехать завтра же, если нельзя сегодня? Для такого дела и вчера было бы не слишком рано, ответил портеньо. И тут же зеленая цапля с белыми крыльями в двадцать метров длиной от форштевня до ахтерштевня покрыла семьдесят лиг, отделяющие от Асунсьона Вильюдель-Пилар, где этот корабль два месяца стоял на якоре в ожидании моего разрешения. Проплыв между холмами Ламбаре и Такумбу, он плавно вошел в бухту напротив Дворца Правительства.

Сначала я увидел в подзорную трубу миниатюрную фигуру женщины-капитана у руля. Она стояла ко мне спиной. Тростинка. Ствол карабина. Огнестрельная женщина. С пальцем на спусковом крючке воли. Вот тогда я и написал nihil in intellectu<sup>[52]</sup> это упражнение в риторике, которое сейчас переписываю, чтобы вдвойне наказать себя стыдом за эту претенциозную пошлость, вышедшую из-под моего пера при виде реальной женщины. Деянира везет мне одежду, пропитанную кровью кентавра Несса. Мифологические существа — земноводные логики. Знаете ли вы эту историю? Вы можете найти ее в любом карманном мифологическом словаре. Если мой к тому времени не поглотит огонь, ревностный собиратель и накопитель пепла, раскройте его на 70 — 77 стр., где вы найдете отмеченный крестиком параграф: Геркулес влюбляется в Деяниру, предназначавшуюся в жены Ахелою. Герой сражается с Ахелоем, который принимает сначала образ змеи, а потом быка. Отламывает ему рог, который потом прославится как Рог изобилия. Потерять женщину — всегда значит обрести изобилие. Геркулеса, напротив, победа приводит к гибели. Он ведет Деяниру на гору Такумбу, я хотел сказать, в Тиринф. Впрочем, это не существенно, потому что в таких легендах названия не имеют значения. Тут на сцене появляется Несс, который знает места, где реку можно перейти вброд. Он вызывается перенести на плечах Деяниру. Но так как все эти двуполые божества вероломны, река-кентавр Несс пытается бежать с нею. Геракл пускает в похитителя отравленную стрелу. Несс, чувствуя, что умирает, дает Деянире свою одежду, пропитанную кровью и ядом, а та в свою очередь дарит ее Гераклу<sup>[53]</sup>. Тут все переплелось: ревность, опасения, мстительность. Чем же и питаются мифы, как не роковыми стечениями обстоятельств? Геракл агонизирует, отравленный одеянием Несса. Собрав последние силы, он валит огромные деревья у подножья Серро-Леон. Сооружает из них костер в виде пирамиды, соразмерной его ярости. Разостлав на нем свою львиную шкуру, он ложится на нее, как на ложе, опершись головой о свою палицу, и велит Филоктету, своему Поликарпо Патиньо, поджечь деревья. В словаре говорится, что Деянира тоже лишила себя жизни от отчаяния. Нет, это неправда; женщины, легендарные или реальные, не лишают себя жизни. Они лишают жизни других в чаянии счастья. Они истекают кровью во время месячных, но не умирают.

Ах, вероломная, хитроумная, прекрасная Деянира- Андалузка! Вдова недотепы Гойенече, эмиссар глупых портеньо! Вот ты и у цели! Ты думаешь, я скину с себя львиную шкуру, и моего тела коснется роковая ткань, колдовское одеяние, пропитанное монструозно-менструальной кровью? Оставь при себе свой прозрачный дар. Недорого дали за твою красоту, за твою смелость, за мою смерть от твоей руки, речная Амазонка! Ах, если бы я мог населить мою страну такими же воинственными,

как ты, но не вероломными женщинами, обращающими свою воинственность против врага! Тогда границы Парагвая отодвинулись бы до Малой Азин, где обитали амазонки, которых мог победить один Геракл! Но Геракл, женский угодник, был побежден женщинами. Меня тебе не пленить.

Еще малым ребенком я полюбил божество, которое назвал Северной Звездой. Многие пытались занять ее место, принимая ложные обличья, но не сумели меня обмануть. В юности я однажды обратился к некоему духу с вопросом: кто Северная Звезда? Но духи немые. *(На полях.)* Только Патиньо мерещится, что он беседует с ними, да и то лишь потому, что я по оплошности научил его начаткам оккультизма и астрологии. Этого оказалось достаточно для того, чтобы он мигом вообразил себя магом. Imago<sup>[54]</sup>. Нечто среднее между навозным жуком и бабочкой Мертвая голова с черепом и скрещенными костями на груди и траурной каймой на крыльях... *(Край оторван.)* Я написал этот вопрос по-латыни на листке бумаги. Это была моя первая листовка, не пасквиль и не воззвание, а своего рода любовное послание. Я положил его под камень на вершине холма Такумбу. Ах, зачем тогда не нашелся шутник, который ответил бы на этот вопрос!

Кстати или некстати было при этом контрабандное оружие, во всяком случае, я нуждался в такого рода фантастическом приключении. Стоя перед моим столом, Андалузка с любопытством оглядывает бумаги, которыми он завален, и стойку с пятьюдесятью ружьями из тех, что она, уже не раз побывавшая в Парагвае, продала мне до сих пор, помимо вина, муки, галет, скобяных товаров, всей этой контрабанды, которая с муравьиным упорством и муравьиной неуследимостью просачивается сквозь речную блокаду. Скосив глаза, она проводит рукой по метеориту. Поглаживает этого ястреба, залетевшего к нам из космоса и посаженного на цепь в углу комнаты. Случай, воплощенный в камне и излучающий невидимый свет на случайности меньшего масштаба, которыми чревато появление этой тонкой и гибкой, едва приметно дрожащей женщины. Она не прячет в темном тайнике души свои прозрачные намерения, первая и последняя посланница-искусительница, искушаемая соблазном покушения. Добро пожаловать, капитан «Паломы дель Плата», Деянира-Андалузка, торгующая оружием, надеждами, любовниками! Злые языки говорят, что все моряки, которых ты набрала на свое судно, поочередно спят с тобой, — для тебя это то же, что намаз для магометанина. Метеорит раздевает тебя, пока ты гладишь его. Обнажает твою привычку командовать и привычку блудить. Ты не привезла оружия для моей армии. Все, что есть у тебя, — это красный платок, твоя приманка: как только, клянув на нее, я покажусь в дверях, ты в упор выстрелишь в меня. Ты кладешь руку на пояс. Сквозь щель бьет в глаза блеск перуанских пуговиц на твоей блузке. Я отступаю на шаг назад. Ты поворачиваешься лицом к зеркалу — ищешь меня, ищешь себя. Ты поправляешь иссиня-черную прядь волос, выбивающуюся из-под твоего пиратского тюрбана. Ты огибаешь Мыс Одиннадцати Тысяч Девственниц. Ты наклоняешься над секстантом. Ищешь прямолинейные и сферические координаты; где, как визировать точку, которая сместилась, оставив тебя без места в пространстве невозможного или, хуже того, оставив тебя дрейфовать в том несуществующем месте, где ты сосуществуешь со всеми возможными представлениями. В том общем месте, где здравый смысл неуместен, где исчезает самый факт твоего местонахождения в этой комнате в эту минуту, когда ты стоишь, наклонившись над секстантом, ожидая, чтобы я тебя принял, намечая румб, подстерегая подходящий момент в свою очередь оставить меня без места, убив на



месте, на первой же фразе. Это самая легкая вещь на свете: нет ничего проще, чем заставить что-либо исчезнуть, будь то люди, животные или одушевленно-неодушевленные существа. Позволь мне заметить в скобках: в одной старинной драме, сейчас не вспомню какой, есть сцена, где заговорщик-узурпатор говорит с людьми, которых он пошлет убить короля. Наемники замечают, что они ведь люди, а он отвечает им, что они лишь своего рода люди. Ты тоже не женщина; ты лишь своего рода женщина. Посланица в край невозможного, заблудившаяся в пути. Ты уже не плывешь по реке Парагвай и не бороздишь океан под Магеллановыми облаками<sup>[55]</sup>. Ты попала в мертвую зыбь и не можешь выбраться из этого внепространственного пространства. Контрастируя с блеском Магеллановых Nubeculae, темнеют круги у тебя под глазами. Глаза горят, но копоть из угольных мешков\* глазниц запорашивает твоё лицо и делает его безликим. Минутами почти невидимым. Уф! Нет. Я знаю, что пишу не то, что хочу. Попробуем по-другому. Ты спряталась в темную пещеру, в самые недра земли. Ты безмолвно клокочешь, как лава, в моем кратере тишины. Все трогаешь, обнюхиваешь, рассматриваешь. Любовно поглаживаешь трубу теодолита. Осторожно! Не заблуждайся, Деянира-Андалузка: Геракл в своем одеянии уже бросился в огонь. Не наводи теодолит на мою ширинку. С помощью этого аппарата я перестроил город, который твои предки за три века превратили в авгиевы конюшни. Я привел в порядок страну, очистил ее от заразы, одним ударом отрубив семь голов Лернейской гидры, которые здесь уже не выросли, удвоившись. Двойственность свойственна лишь Верховному. Но ты не понимаешь, что значит быть двумя в одном мире. Ты подходишь к телескопу. Снимаешь чехол с объектива. Смотришь в окуляр. Видишь перевернутый Южный Крест; и одновременно метеорит, отражающийся в стекле с обратной стороны. Стрелка компаса указывает на северный магнитный полюс камня. Ты поднимаешь трубу телескопа вверх до отказа. Если бы твои угольные мешки не затемняли неба, ты, может быть, смогла бы различить совершенно беззвездное пространство между Скорпионом и Офиухом, настоящую дыру, словно нарочно проделанную для того, чтобы наш взгляд мог проникать в самые отдаленные уголки вселенной. Со стола доносится единое биение пульса семерых часов, которые я синхронизирую, подводя каждые раз по семьдесят в день. Ты не можешь перейти через эту пульсирующую границу, как бы ты ни старалась выбиться из этого пространства вне пространства, которое вмещает тебя вместе с другими жалкими существами, самка-феникс, возрождающаяся не из пепла, а из речного тумана. Memento homo. Nepento mulier<sup>[56]</sup>. Ты заждалась. Бесполезно трогать железный прут в центре солнечных часов: на часах Ахаза тень возвращается назад. Ты сжимаешь руль, облокотясь на бушприт, и ведешь свой корабль к столу, против ветра, дующего из-за двери, за которой я стою, наблюдая за тобой. От твоего дыхания колышутся вымпелы твоих груди и поднимаются волны на глади бумаг. Ты берешь письмо от Сарратеа. Бросаешь его в корзину. Встряхиваешь головой, чтобы отогнать не идущие к делу мысли. Ты приплыла с приказом убить меня, а вместо этого ты меня развлекаешь: поденщик справедливости, я пишу — описываю то, что не может произойти. Поторопись! А, ладно, ладно. Ты наконец решила довести до конца дело, у которого не будет начала. Ты небрежно царапаешь несколько слов на бумаге. Ах, вот как! Ты сперва пишешь, а потом действуешь. Сперва собираешь пепел, а потом зажигаешь огонь; что ж, у каждого свои повадки. Ты выпрямляешься. Поворачиваешься лицом к двери. Засовываешь руку за пазуху. С такой силой, что отрывается пуговица, словно срывается ругательство. Она катится за порог и

останавливается у моего ботинка. Я подбираю ее. Она теплая. Я кладу ее в карман... (Оборвано.) Ты что-то достаешь из-за пазухи. Стреляешь. Пуля рикошетом попадает в карту звездного неба между Алтарем и Павлином. Воздух в кабинете сгущается. Распространяется отвратительный едкий запах, как от мускусной крысы. Зловонный запах самки, который ни с чем невозможно смешать. Запах тчки. Запах чувственности, вождения, сладострастия, похоти, бесстыдства, сластолюбия, распутства, блуда. Он заполняет все помещение. Проникает в каждую щель. Чуть ли не сдвигает, как прибой камни, самые тяжелые предметы. Мебель, оружие. Кажется, будто даже метеорит качается от этой ужасающей вони. Должно быть, она затопляет весь город. Тошнота парализует меня. Лишь величайшим усилием воли я удерживаюсь от рвоты. Дело не только в том, что пахнет самкой, что я вдруг вспомнил этот запах. Я его вижу. Как призрак, который свирепо набрасывается на нас среди белого дня. Это призрак тех давних, забытых дней ранней молодости, когда я прожигал жизнь в борделях Нижнего Города. Вот он, этот запах. Самка- Самсон обхватила столбы моего прочного храма. Она обвивает тысячами рук устои моей крепости-скита. Хочет разрушить ее. Она смотрит на меня, как слепая, чует меня, не видя. Хочет повергнуть меня в прах. Входит Султан. Приближается к Андалузке. Принимается обнюхивать ее, начиная с пяток. Подколенки, ляжки, ягодицы. Старый пес-санкюлот тоже не может устоять. В его гноящихся глазах загорается былой огонь желания, сокрушительного Желания. Султан повизгивает, готовый капитулировать. Но вдруг он отнимает морду от нежных округлостей. На губах у него выступает пена. Он обрушивается на Андалузку с грязной бранью. Подлая сука! Хоть бы ты сдохла от тоски по самцу! Пусть у тебя не будет иного крова над головой, кроме небосвода. Пусть у тебя не будет иного ложа, кроме палубы твоего корабля. Пусть тебя на каждом шагу подстерегают опасности, хоть ты со своею бандой уже не привозишь нам контрабанду. Пусть голова твоего умершего мужа прижимается к твоим ляжкам взамен пояса целомудрия, смиряя бешенство матки. Прочь отсюда! Убирайся, шлюха! Э, э, э! Что это такое, Султан? Что это за грубый язык, пес-карбонарий? Ты не должен так обходиться с дамами! Да что от тебя можно ожидать, старый злыдень и женоненавистник! Султан опускает голову и удаляется, бормоча себе под нос ругательства, которые невозможно воспроизвести. Да и не стоит перегружать эти записки непристойностями. В такого рода излишествах я тоже повторяюсь. Пожалуй, не совсем непреднамеренно. Впрочем, я преувеличиваю значение таких мелочей. Ведь слова грязны по природе своей. Грязь, похабство, непристойности на уме у грамотеев-срамотеев, а не у простых людей, которые говорят, а не пишут. Я применяю в этих записках стратегию повторения. Я уже понял: как раз то, что многословно повторяется, само собою уничтожается. И потом, какого черта! Я пишу, что мне вздумается, поскольку пишу только для себя. К чему же тогда вся эта игра отражений в зеркалах, к чему все эти иероглифические писания, расфранченные и напыженные. Литературные антифоны и антиантифоны. Сцепление метафор и метафраз. Клянусь дерьмом собачьим, Султан правильно сделал, что выгнал эту шлюху Андалузку.

Собственно говоря, я мог бы похерить весь этот романчик. Во всяком случае, я его пересмотрю и исправлю. Но что достоверно, так это то, что андалузская Деянира исчезла, как будто ее ветром сдуло. Женщина-легкое дуновение, женщина-смутное пятно быстро вышла и медленно превратилась опять в стройную, как тростинка, Андалузку, которую провожал взглядом негр Пилар. Мой пронырливый камердинер

тоже следил за ней, подглядывая в другую щель. Бледный, как мертвец, если можно заметить у негра смертельную бледность, смущенный, как никто, он, завидев меня, улетучился, проскользнув в кухню. Через минуту он возвратился с мате. Вода кипела уже часа два — я сразу понял это, как только потянул из бомбилы<sup>[57]</sup>. Ты видел, как из кабинета вышла женщина? Нет, Хозяин. Я никого не видел. Я все время был в кухне — готовил мате и ждал ваших приказаний. Поди спроси у охраны. Через минуту он уже возвращается. Эта чума ухитряется поспевать всюду разом — одна нога здесь, другая там. Сеньор, никто из охранников и часовых не видел никакой женщины, которая входила бы в Дом Правительства или выходила бы оттуда, пока Ваша Милость работали.

В черновике романчика, где я пытаюсь нарисовать то, что произошло, дальше говорится: я поискал в карманах пуговицу, но нашел только серебряную монетку в полреала. Прошел в кабинет. На столе меня ждала записка от женщины. На листке бумаги было написано крупными, четкими буквами: ПРИВЕТ ОТ СЕВЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ! Я хватаю подозрную трубу и бросаюсь к окну. Осматриваю каждый закоулок порта. На ртутной глади бухты нет и следа зеленого бота. У Парагвайского Ковчега, который начали строить двадцать с лишним лет назад, но до сих пор не достроили, гниют на солнце шаланды и другие суда, и только их отражения дрожат на воде. И записка тоже исчезла со стола. Может быть, я в бешенстве скомкал ее и бросил в корзину? Может быть, может быть. Почему я знаю. Я нахожу на обычном месте, между досье и созвездьями, цветок ископаемого амаранта; значит, можно и дальше писать что придет в голову, например: цветок — символ бессмертия. Подобно брошенным наудачу камням, идиотские фразы назад не возвращаются. Они появляются из бездны немотства и не успокаиваются до тех пор, пока не сталкивают нас в нее, оставаясь хозяевами трупной действительности. Я знаю эти фразы-голыши: нет ничего более реального, чем ничто; или: память — желудок души; или: я презираю пыль, из которой состою и которая с вами говорит. Они кажутся безобидными. Но коль скоро они начинают скатываться по склону письменности, они могут заразить весь язык. Обречь его на полную немоту. Вырвать языки у говорящих. Сделать их снова четвероногими. Довести до крайнего предела деградации, откуда уже нельзя вернуться. Превратить в валуны, по форме напоминающие людей. Рассеянные среди обычных камней. Иероглифические сами по себе. В такие же камни, как в Тевего!

Итак, я взял цветок, прозрачный, как кристалл. В лупу в нем видны были едва заметные прожилки. По краю листочка вырисовывались гребни микроскопических гор. Не была ли это окаменевшая субстанция аромата? От цветка исходил слабый запах, довольно неприятный, скорее даже не запах, а шум. Потрескивание корпускул, все тех же, что и ПРЕЖДЕ, которые можно различить, только если долго тереть цветок-мумию о тыльную сторону ладони. Они образуют туманности. Созвездия, подобные космическим. Космос, сжавшийся в точку, обратившийся в бесконечно малое. На пороге перехода в антиматерию. А, черт побери! Продолжается разгул риторики. Я полностью потерял способность выражать в обыденных словах то, что я думаю или, как мне кажется, вспоминаю. Если бы я вновь обрел ее, я бы излечился. Приходит этакая шлюха, водяная лиса, и развеивает по ветру все написанное. Появляется архи-распутная девка и заставляет тебя вспомнить, что надо уметь забывать.

Другой вопрос.

По поводу «Истории революций в Парагвае» я упомянул сегодня утром иезуита Лосано. Я прочел его рукопись в госпитале, куда меня поместили после того, как я упал с лошади во время моей последней прогулки. Если мне следует считаться со свидетельством моих чувств, я должен написать, что в тот вечер я видел Педро Лосано в лице священника, который заступил мне дорогу на улице Энкарнасьон, как раз когда разразилась гроза. С первыми каплями дождя внезапно стемнело. Передовой дозор во главе с сержантом, трубач, барабанщик уже прошли. На повороте улицы показался священник в стихаре и епитрахили. Его сопровождали двое или трое служек с зажженными свечами, которые не гасли, несмотря на ветер и дождь. Звуки военного оркестра, входившего в мой эскорт, на минуту заглушил звон колокольчика, которым тряс передо мной один из служек, до того испуганный, словно ему явился призрак. Вороной продолжал идти шагом, прядая ушами. Я подумал, что за этим мнимым шествием к одру умирающего кроется новый заговор, и подивился хитроумию моих врагов. Они все предусмотрели: сначала выстрел, потом соборование. Нет, быть может, и нет, сказал во мне другой голос. Не идет ли это иезуит Педро Лосано вручить мне в собственные руки свой пасквиль против Хосе де Антекеры? Процессия, предназначенная для евхаристической засады, останавливается посреди улицы, прямо передо мной, и, по всей видимости, не собирается посторониться. Она преграждает мне дорогу. Убирайся отсюда, Педро Лосано! — кричу я. Теперь при вспышках молнии я ясно различаю его. Видны даже поры у него на коже. Мертвенно-бледное лицо. Закрытые глаза. Шевелящиеся губы. Он как вкопанный стоит в грязи, лепеча молитву. В эту минуту я вспоминаю, что где-то читал, что летописец ордена умер век назад в ущелье Умауака, когда ехал в верхнее Перу по той же самой дороге, по которой везли Хосе де Антекеру на место казни. Я опять слышу звон колокольчика, приглушенный проливным дождем и крепнущим ветром. Вороной в испуге шарахается в сторону. Служки убегают, крича: Ксаке Карай! Ксаке Карай!<sup>1581</sup> Я чуть не наезжаю на священника. То, что издали казалось золоченым переплетом книги, на самом деле оказывается золотой дароносицей. Натянув поводья, я сдерживаю вороного, готового понести. И тут конец плети, змеящейся в воздухе при свете молний, цепляется за подставку дароносицы и вырывает ее из рук клирика. Я вижу, как он в поисках ее ползает в грязи. Как ни странно, его стихарь не теряет при этом своей белизны. Старенькая траурная епитрахиль, поручи, обтрепавшиеся по краям кресты, нашитые на груди, тоже становятся ослепительно белыми. Вороной, перескочив через священника, бросается в вихрящуюся мглу. Попав в лужу и поскользнувшись, падает; я далеко отлетаю. Теперь я в свою очередь копошусь в грязи, словно ищу что-то потерянное. Как бы расколотый надвое при падении, я оказался в положении человека, который больше не может сказать о себе «Я», потому что он уже не один, хотя и чувствует себя как никогда одиноким и беспомощным в этой раздвоенности. Я испытывал такое ощущение, будто меня исподтишка толкнули или швырнули, как ненужную рухлядь, в лужу, из которой я не в силах выбраться. В эту минуту, под проливным дождем, я мог только слепо колотить руками по грязи. Идиот, идиот, идиот! Это умопомрачение, вероятно, было вызвано переломом кости, трещиной в позвоночнике, сотрясением мозга. Чего, возможно, я не понял в эту минуту. Ведь в обескураживающих обстоятельствах истина требует такой же опоры, как и заблуждение, а в эту минуту у меня не было другой опоры, кроме грязи: она меня засасывала. Лошадь ждала под дождем и порывами ветра.

Дай мне руку. Вы хотите встать, сеньор? Я говорю, дай руку. Для вашего слуги большая честь, Вашество, что вы протягиваете ему руку. Я не протягиваю тебе руки. Я приказываю, чтобы ты протянул мне руку. Это не жест примирения, а всего лишь видимость мимолетного опознания.

Я дам тебе урок. Последний. Хотя он должен был бы быть первым. Поскольку я не могу предложить тебе Тайной Вечери с участием сборища Иуд — моих апостолов, я дам тебе первый и последний урок. Какого рода урок, сеньор? Дань грубому невежеству, которое ты выказываешь при исполнении служебных обязанностей. Вот уже больше двадцати лет ты управляющий делами правительства, главный письмоводитель, мой личный секретарь, а все еще не знаешь секретов своего ремесла. Твои графологические дарования остаются зачаточными. Мягко выражаясь, слабо развитыми. Ты кичишься тем, что можешь с одного взгляда заметить самые незначительные различия и сходства даже в формах точек, а не способен узнать почерк, которым написан гнусный пасквиль. Вы совершенно правы, сеньор. Я хотел бы только с вашего разрешения уведомить Ваше Превосходительство, что я уже согнал в архив и перевел на казарменное положение семь тысяч двести тридцать четыре писца, которым приказано сличать начертания букв в этом пасквиле с их написанием в двадцати тысячах дел, насчитывающих в общей сложности пятьсот тысяч листов, и сверх того во всем этом бумажном хламе, который Вашество приказали мне собрать для этой цели. Я мобилизовал паи Мбату. Хоть он и полоумный, а все-таки самый сметливый и проворный из всех. С лица-то я глупец, да с изнанки мудрец, а для этого чтенья наберусь и терпенья! — поминутно кричит расстрига. Подавайте дела, для меня это пустое дело! Чтобы подстегнуть их рвение, я держу их на хлебе и воде. Вы помните, сеньор, тех старых индейцев из Хагуарона, которые отказывались работать на табачной плантации под тем предлогом, что они плохо видят? Им подали хорошее локро, в которое набросали совок. Индейцы сели есть. Они съели все до последней крупицы маиса, но оставили на краю блюда всех этих толстых зеленых табачных червей. Я думаю проделать то же самое с этими лентяями. Как только Ваше Превосходительство вручит мне пасквиль, мы начнем расследование.

Вот уже больше двадцати лет ты мой секретарь и доверенный, но не заслуживаешь доверия. Ты до сих пор не умеешь записывать то, что я диктую. Перебираешь мои слова. Я диктую тебе циркуляр, чтобы осведомить гражданские и военные чины о фактах и событиях, имеющих важнейшее значение для нации. Я уже разослал им первую часть, сеньор. Когда эти невежественные скоты прочтут ее, они подумают, что я говорю о вымышленной нации. Ты уподобляешься тем напыщенным писакам вроде Моласа и Пеньи, которые вообразили себя Солонами, отчего им и приходится солоно. Даже в тюрьме они, как крысы, обгрызают чужие сочинения. Не подражай им. Не употребляй неточных слов, которые не отвечают моему характеру и не передают мою мысль. Я терпеть не могу эту приблизительность, эту убогую упрощенность. И кроме того, у тебя отвратительный стиль. Текст, который выходит из-под твоего пера, это какой-то лабиринт кривых переулков, вымощенных аллитерациями, анаграммами, идиоматизмами, варваризмами, парономазиями типа глух и глуп, дурацкими инверсиями, рассчитанными на набитых дураков, у которых вызывают эрекцию такие фразы, как: «У дерева подножья я упал» или: «Голову мою воздев на пику, с главной площади подмигивает мне, как сообщник, Революция...» Все это старые риторические приемы, которые теперь опять входят в употребление

как будто новые. Я упрекаю тебя главным образом в том, что ты неспособен выражаться с оригинальностью попугая. Ты всего лишь человекообразное существо, наделенное речью. Гибрид разных видов. Осел-мул, вращающий жернова писанины в канцелярии правительства. В качестве попугая ты был бы мне полезнее, чем в качестве секретаря. Но ты ни попугай, ни секретарь. Вместо того чтобы переносить на бумагу то, что я диктую, без всяких прикрас, ты заполняешь ее непонятными выкрутасами. Да еще заимствованными у других. Ты питаешься книжной падалью. Если ты еще не уничтожил устную речь, то только потому, что ее нельзя ограбить, обокрасть, что она не поддается повторению, плагиату, копированию. То, что говорится, живет при поддержке тона, жестов, мимики, взглядов, интонации, дыхания того, кто говорит. Во всех языках самые эмоциональные восклицания нечленораздельны. Животные не говорят, потому что не могут артикулировать звуки, но понимают друг друга лучше и быстрее, чем мы. Соломон разговаривал с млекопитающими, птицами, рыбами и пресмыкающимися. Я тоже говорю за них. Он не понял языка самых знакомых ему животных. Сердце его ожесточилось к животному миру, когда он потерял свое кольцо. По преданию, он отшвырнул его в гнев, когда соловей пропел ему, что его девятьсот девяносто девятая жена любит более молодого мужчину.

Когда я тебе диктую, слова имеют один смысл; когда ты их пишешь, другой. Так что мы говорим на разных языках. Лучше чувствуешь себя в обществе знакомого пса, чем в обществе человека, говорящего на незнакомом языке. Ложный язык гораздо меньше пригоден для общения, чем молчание. Даже мой пес Султан, издохнув, унес с собой в могилу тайну того, что он говорил. Прошу тебя об одном, мой достопочтенный Писанчо: когда я тебе диктую, не старайся придать искусственность мыслям, по существу своему естественным, а старайся придать естественность словам, по природе своей искусственным. Ты мой секретарь, но подчиняешься не мне, а своим железам внутренней секреции. Ты пишешь то, что я тебе диктую, так, как будто по секрету от меня сам говоришь от моего имени. Я хочу, чтобы в словах, которые ты пишешь, было что-то принадлежащее мне. Я диктую тебе не циркулярные побасенки. Не один из тех романов с продолжением, авторы которых злоупотребляют священными правами литературы. Лже-жрецы изящной словесности, они делают из своих произведений словесные мистерии. Их герои живут в фантастической действительности и объясняются фантастическим языком. На первый взгляд писатели священнодействуют с сознанием своей верховной власти, но их самих смущают фигуры, которые выходят из их рук и которых они считают своими созданиями. Круг замыкается и оказывается порочным кругом. Тот, кто пытается рассказать свою жизнь, терпит неудачу; он не в силах посмотреть на себя со стороны. Говорить можно только о Другом. «Я» проявляется только через посредство Другого. Я не говорю с самим собой. Я слушаю себя через посредство Другого. Я заточен в ствол дерева. Дерево кричит на свой лад. Кто может знать, что я кричу в нем? Поэтому я требую от тебя абсолютного молчания, абсолютной тайны. По той же причине, по какой невозможно ничего сообщить тому, кто находится вне дерева. Он услышит крик дерева. До него не донесется другой крик. Мой. Понимаешь? Нет? Тем лучше.

Положение еще ухудшает, Патиньо, твоя усиливающаяся шепелявость. Ты испещряешь бумагу шипящими. Л так как голос у тебя ослабевает, они все больше приближаются к безгласным. Ах, Патиньо, если бы ты мог извлечь из своей памяти, не ведающей того, что еще не произошло, открытие, что уши действуют так же, как

глаза, а глаза так же, как язык, передающий на расстояние образы и абрисы, которые рисует воображение, звуки и слышимое беззвучие, нам не было бы никакой надобности в медлительной речи. А тем более в тяжеловесной письменности, из-за которой мы замешкались на миллионы лет.

При одних и тех же органах люди говорят, а животные не говорят. По-твоему, это согласно со здравым смыслом? Значит, человека отличает от животного не язык, на котором он говорит, а способность по мере надобности создавать себе язык. Разве ты мог бы придумать язык, в котором знаки в точности соответствовали бы предметам? Включая самые абстрактные и неопределенные. Бесконечность. Аромат. Сон. Абсолют. Разве ты мог бы достичь того, чтобы все это передавалось со скоростью света? Нет, ты не можешь. Мы не можем. Вот почему ты страдаешь одновременно от избытка и от недостатка способностей, подобно тому как в этом мире болтуны и обманщики в избытке, а порядочных людей так не хватает. Ты меня понял? По правде говоря, не очень, не совсем, Ваше Превосходительство. Вернее сказать, ровным счетом ничего не понял, за что и прошу вашего милостивейшего прощения. Не важно. Оставим пока эти глупости. Начнем сначала. Поставь свои копыта в лохань. Смочи свои бабки. Надень на голову таз цирюльника Алехандро, шлем Мамбрина<sup>[59]</sup> или Минервы. Что хочешь. Слушай. Будь внимателен.

Мы с тобой предпримем тщательное исследование письменности. Я научу тебя трудному искусству письма, которое состоит не в искусном написании букв, а в искусном изыскании знаков.

Сначала попробуй сам, без меня. Вставь перо в ручку. Смотри на гипсовый бюст Робеспьера и жди, что он скажет. Пиши. Бюст мне ничего не говорит, сеньор. Спроси, что писать, у гравюры, у портрета Наполеона. Он тоже ничего не говорит, сеньор, да и о чем со мной толковать сеньору Наполеону! Посмотри на метеорит: может, он тебе что-нибудь скажет. Камни говорят. Видите ли, сеньор, в это время меня всегда клонит ко сну, и я не способен слушать даже собственную память. Поверите ли, у меня даже рука задремывает! Дай-ка мне ее. Я ее заведу, как часы. Полночь. Ровно двенадцать. В белом конусе света, который исходит от свечи, видны только наши руки, одна на другой. Чтобы твоя бедная память отдохнула, пока я учу тебя, наделенный магической властью призраков, я буду вести твою руку, как будто это я пишу. Закрой глаза. У тебя в руке перо. Не давай доступа в твой ум никакой другой мысли. Ты чувствуешь тяжесть? Да, Ваше Превосходительство! Ужасно тяжело! Это давит не только перо, но и ваша рука... точно свинцом налита! Не думай о руке. Думай только о пере. Перо — это холодное металлическое острие. Бумага — теплая податливая поверхность. Нажимай. Нажимай сильнее. Я нажимаю на твою руку. Давлю на нее. Пригнетаю ее. Притискаю. От давления наши руки сливаются воедино. Теперь они неразрывное целое. Нажмем посильнее. Раз-два, раз-два. Без остановки. Все сильнее. Все глубже. Нет больше ничего, кроме этого движения. Ничего вне его. Железное острие царапает лист. Слева направо. Сверху вниз. Ты пишешь, как начинали писать пять тысяч лет назад. Из-под твоего пера выходят первые знаки. Кретинические палочки. Рисунки. Острова, где растут высокие деревья, окутанные пеленою измороси и тумана. Рог быка, прущего в пещеру. Нажимай. Продолжай. Перенеси всю свою тяжесть на кончик пера. Вкладывай в каждую черточку всю свою силу. Оседлай перо на манер вольтижера, на манер страдиота<sup>[60]</sup>. Нет, нет! погоди, не спешивайся. Я чувствую, сеньор, не вижу, но чувствую, что у меня выходят очень странные буквы. Не удивляйся. Самое удивительное — это то, что происходит вполне естественно. Ты

пишешь. Писать — значит отделять слово от себя. Вкладывая в это отделяющееся от тебя слово всего себя, пока оно не обретет самостоятельного существования, не превратится в нечто иное, совершенно чуждое тебе. Ты, как во сне, написал: Я, ВЕРХОВ\* НЫЙ. Сеньор... вы водите моей рукой! Я приказал тебе ни о чем не думать ни о чем

забуди о твоей памяти. Писать не значит обращать реальность в слова, а значит делать слово чем-то реальным. Ирреальное рождается только из дурного употребления слова, из дурного употребления письма. Не понимаю, сеньор... Не беспокойся. Давление чудовищно, но ты его почти не чувствуешь, не чувствуешь, что ты чувствуешь

я чувствую, что не чувствую

тяжесть, которая освобождается от своей тяжести. Перо все быстрее снует по бумаге. Проникает в самую глубь. Я чувствую, сеньор... чувствую, как мое тело качается взад и вперед в гамаке... Сеньор, бумага выскользнула у меня из рук! Перевернулась! Тогда пиши задом наперед. Крепко держи перо. Сжимай ручку так, как будто в нее уходит твоя еще не прожитая жизнь. Продолжай писать

продолжаааю

бумага сладострастно отдается перу. Поглощает, всасывает чернила с каждой черточкой, которая ложится на нее. Происходит совокупление, в результате которого чернота чернил сливается с белизной листа. Снедаемые похотью самец и самка образуют животное о двух спинах. Вот вам и смешение рас. Э, э, не стони, не сопи. Нет, сеньор... Я не соплю. Еще как сопишь — точно в постели с девкой. Это представление. Это литература. Представляется писание как представление. Сцена первая.

Сцена вторая:

С неба письменности падает метеорит. Там, где он упал, где он ушел в землю, обозначается точечное образование: яйцеклетка. Внезапно появившийся зародыш. Он созревает под своей оболочкой. Крохотный, он тем не менее скоро уже не вмещается в ней. Но в тот самый момент, когда он показывается наружу, он обнаруживает свою ничтожность. Он материализует в себе отверстие в нуле. И в этой неприкрытой пустоте есть искра искренности.

Сцена третья:

Точка. Вот крохотная точка. Она стоит на бумаге. Благодаря своим внутренним силам. Она чревата всякой всячиной. В ней что-то трепещет, стараясь проклюнуться. И вот птенцы разбивают скорлупу. Пицца, вылупляются. Ступают на белую гладь бумаги.

Эпилог:

Вот точка. Семя новых зародышей. Ее бесконечно малая окружность таит в себе бесконечное множество углов. Существует иерархия форм. От низшей до высшей. Низшая форма — угловая, то есть земная. Следующая — вечный угол, окружность. Затем — спираль, источник и мера круговых форм, почему она и называется вечным кругом. Природа развивается по спирали. Ее колеса никогда не останавливаются, оси никогда не ломаются. Вот так и письменность, симметричное отрицание природы.

Отправная точка письма — точка. Это малая единица. Подобно тому как единицы письменного или разговорного языка — малые языки. Старик Лукреций уже сказал задолго до всех своих крестников: все вещи образуются из мельчайших частиц<sup>[61]</sup>.



Кость состоит из мельчайших костей. Кровь из слившихся воедино кровинок. Золото из золотых крупиц. Земля из слипшихся песчинок. Вода из капель. Огонь из искр. Природа все создает из наименьшего. Письменность тоже.

Равным образом Абсолютная Власть состоит из малых властей. Через посредство других я могу сделать то, что эти другие не могут сделать сами. Я могу сказать другим то, что не могу сказать самому себе. Другие — это лупы, с помощью которых мы читаем свои собственные мысли. Верховный есть Верховный по природе своей. Он никогда не представляется нам ничем иным, кроме образа государства, нации, родины и народа.

Ну, стряхни с себя дремоту. С этой минуты пиши сам. Не ты ли хвастал много раз, что помнишь все почерки и даже формы точек в бумажном море архива, где накопилось двадцать или тридцать тысяч дел? Не знаю, не обманывает ли тебя твоя зрительная память, не лжет ли твой попугайский язык. Не вызывает сомнения, что между самыми схожими почерками, самыми круглыми на первый взгляд точками всегда есть какая-то разница, которую можно уловить при сравнении. Мне понадобилось бы тридцать тысяч ночей да еще тридцать тысяч, чтобы показать тебе все возможные формы точек. И это было бы еще только начало. Самые одинаковые запятые, тире, апострофы, скобки, кавычки тоже различны, несмотря на свое призрачное сходство. У одного и того же человека совсем разные почерки в полдень и в полночь. Они никогда не говорят то же самое, хотя слова остаются теми же. В ночном почерке всегда чувствуется поблажка, которую безотчетно дает себе пишущий. Близость сна сглаживает углы. Спирали растягиваются. В направлении слева направо сопротивление ослабевает. Интимный друг ночного сна — забытье. Кривые становятся менее крутыми. Чернильная сперма высыхает медленнее. Штрихи направлены в разные стороны. Наклон увеличивается, как будто и буквы клонит ко сну.

Напротив, дневной почерк тверд. Скор. Не знает бесполезных поллюций. Штрихи сходящиеся. Движение букв сопровождается вольным бегом волн, в особенности в росчерках. Ощущается напряжение, как между магнитными полюсами: притяжение к положительному — непрерывное приближение к некоему пределу. Строка не вмещается в свое русло. Выходит из берегов. В направлении справа налево сопротивление усиливается. Крючки, изгибы, закругления становятся четче. Бросается в глаза беглость пера. Но в обоих случаях слово само по себе нередко служит только для того, что ничему не служит. Какой прок от пасквилей? Это постыднейшее извращение самого назначения письменности! Зачем ткнут пасквилянты свою паутину? Пишут. Переписывают. Марают бумагу. Блудодействуют с гнусным словом. Скатываются по наклонной плоскости подлости. И вдруг — точка. Смертельная встряска. Внезапный конец словоблудию пасквилянтов. Это не чернильная точка, а кое-что посущественнее; это точка, которую ставит пуля, входя в грудь врагов Родины. Она не допускает возражений. Она возглашает, что час возмездия пробил. И приводит приговор в исполнение.

Теперь ты понимаешь, почему мой почерк меняется в зависимости от угла, который образуют стрелки часов. В зависимости от расположения духа. В зависимости от направления ветра, от хода событий. В особенности когда я должен раскрыть, изобличить и покарать измену. Да, Ваше Превосходительство! Теперь я с полной ясностью понимаю ваши достославные слова. Я хочу, достославный секретарь, чтобы ты с еще большей ясностью понял твою обязанность найти автора

анонимного листка. Где этот пасквиль? У вас под рукой, сеньор. Возьми его. Изучи его в соответствии с космографией письменности, которой я тебя научил. Ты сможешь с точностью узнать, в какой час дня или ночи была нацарапана эта бумажонка. Возьми лупу. Ступай по следу. Слушаюсь, Ваше Превосходительство.

*(В тетради для личных записок)*

Патиньо чихает, думая при этом не о науке письма, а о несварении желудка.

Теперь я уверен, что узнал почерк, которым написан анонимный листок. Написан с извращенностью, присущей больному уму. Как насыщен при всей своей краткости этот пасквиль, найденный на двери собора! Одни и те же слова выражают различные чувства в зависимости от умонастроения того, кто их произносит. Никто не говорит «мой слуги, штатские и военные» иначе как с целью привлечь внимание к тому, что это слуги, хотя бы от них не было никакого проку. Никто не приказывает, чтобы его труп был обезглавлен, кроме того, кто хочет, чтобы был обезглавлен труп другого. Никто не подписывает словами Я, ВЕРХОВНЫЙ пародию-подделку вроде этой, кроме того, кто страдает от крайней приниженности. Безнаказанность? Не знаю, не знаю... Тем не менее никакую возможность не следует отвергать. Гм. Так. Ага! Рассмотрим получше. Без сомнения, это ночной почерк. Волны ослабевают книзу. Кривые сталкиваются, образуя угловатые линии; стремятся разрядить свою энергию в землю. Соппротивление справа сильнее. Штрихи центростремительные, дрожащие, сомкнутые, как губы немого.

В былые времена я проделывал с двумя белыми воронами опыт по литературантии<sup>[62]</sup>, который всегда давал хорошие результаты. Я чертил на земле круг с радиусом в человеческую ступню. С тем же радиусом, что у солнечного диска перед самым заходом. Делил этот круг на двадцать четыре равных сектора. В каждом из них писал одну букву алфавита. На каждую букву клал по зерну маиса. Потом приказывал принести Тиберия и Калигулу. Тиберий быстро склевывал зерна с букв, составляющих предсказание. Одноглазый Калигула — с букв, предвещающих противоположное. Один из них всегда попадал в точку. То один, то другой, попеременно. А иногда и тот, и другой. Инстинкт моих стервятников куда вернее, чем наука гаруспициев<sup>[63]</sup>. Питающиеся парагвайским маисом стервятники-графологи пишут свои предсказания в круге, начерченном на земле. Им нет надобности, как воронам Цезаря, писать их в небесах римской империи.

*(На полях, красными чернилами)*

Внимание! Перечитать «Против одного», часть первую. Предисловие о добровольном рабстве. Черновик, наверное, заложен между страницами «Духа законов» или «Государя»<sup>[64]</sup>. Тема: ум способен лишь на понимание чувственно воспринимаемого в явлениях. Когда нужно рассуждать, народ умеет только ощупью искать дорогу в темноте. Еще хуже обстоит дело с этими недопеченными чародеями. Они источают злобу вместе со слюной, которой брызжут, чихая, будь она проклята. Мой служащий, ведающий душами, особенно опасен. Он способен даже украдкой подсыпать мне мышьяк или какую-нибудь другую отраву в оранжад или лимонад. Я предоставлю ему новую прерогативу, дам доказательство высшего доверия: сделаю его с сегодняшнего дня официальным дегустатором моих напитков.

Эй, Патиньо, ты заснул? Нет, Ваше Превосходительство! Я стараюсь установить, чей это почерк. Ну, установил? По правде говоря, сеньор, у меня есть только подозрения. Я вижу, чем больше ты сомневаешься, тем больше потом обливаешься.

Оторвись на минуту от этого листка. Слушан внимательно, тут тонкий вопрос. Какое имя приходит тебе на память? Что рисует тебе твое всезнающее как-сейчас-вижу? Какие начертания букв? Веки дрожат: прищуренные глаза ищут химерическую щелочку в протуберанцах. Скажи мне, Патиньо... Доверенный, недостойный доверия, наподобие черепахи, вытягивающей вперед голову из тяжеловесного панциря, всем своим существом подается навстречу тому, что я скажу, хотя еще не знает, что я скажу. На его лице написана безнадежная надежда. Ужас пьяницы при виде дна пустой бутылки. Скажи мне, не моим ли почерком написан пасквиль? Лупа с глухим стуком падает на бумагу. Из лохани выплескивается вода. Это невозможно, Ваше Превосходительство! Даже сумасшедший не может подумать что-нибудь подобное о нашем Караи Гуасу! Чтобы раскрыть секрет, дражайший секретарь, надо думать обо всем. Из невозможного выходит возможное. Обрати внимание на монограмму под водяным знаком: не мои ли это инициалы? Ваши, сеньор, вы правы. И бумага та же, верже. Вот видишь? Значит, кто-то запускает руку в сейфы казначейства, где я держу блокнот из бумаги, которая предназначалась для моих частных писем иностранцам и которой я не пользуюсь уже больше двадцати лет. Все это так, но почерк... Что — почерк? Он похож на ваш, сеньор, но на самом деле не ваш. На каком основании ты это утверждаешь? Чутьем угадываю, Ваше Превосходительство. Почерк прекрасно скопирован, но и только. Дух не тот. Уж не говоря о том, что только заклятый враг может угрожать смертью Верховному Правителю и его слугам. Ты убедил меня только наполовину, Патиньо. Плохо, очень плохо, крайне серьезно то, что кто-то вскрывает сейфы и крадет бумагу с водяными знаками. Еще более непростительно дерзкое преступление, которое совершает этот кто-то, трогая мою тетрадь для личных записок. Позволяя себе писать на ее листах. Вносить исправления в мои заметки. Делать на полях глубокомысленно-бессмысленные замечания. Неужели пасквилянты уже вторглись в мою святая святых? Продолжай искать. А пока мы займемся Периодическим циркуляром. Приготовься-ка всласть поработать пером. Я хочу слышать, как под ним стонет бумага, когда я принимаюсь диктовать Верховный Акт, которым я исправлю то, что только в насмешку можно называть историей.

Да, Патиньо, как обстоит дело с другим расследованием, которое я приказал тебе провести? Относительно тюремной колонии Тевего, сеньор? Вот отношение к начальнику гарнизона Вилья-Реаль-де-ла-Консепсьон с указанием снести колонию. Не хватает только вашей подписи, сеньор. Нет, дубина! Я говорю не об этом селении каменных призраков. Я приказал тебе расследовать, кто тот священник, который, неся святые дары к умирающему, преградил мне дорогу в тот вечер, когда я упал с лошади. Да, сеньор; но ни один священник не нес святые дары в этот вечер. Не было ни одного умирающего. Я это проверил самым тщательным образом. Насчет этого дела или глупой выходки, как вы говорите, сеньор, ходили только глухие слухи. Надо говорить не слухи, а слухи, негодный слухач. Совершенно верно, сеньор, слухи, домыслы, сплетни, которые из ненависти к правительству распускали аристократишки, чтобы доказать, что ваше падение было наказанием божьим. На основе этих злокозненных слухов был даже состряпан дешевый пасквиль, который передавали из рук в руки. Вот досье, в котором собраны все сведения касательно этого дела, Вашество. Вы прочли его по возвращении из госпиталя. Хотите, сеньор, я вам снова прочту эти документы? Нет. Хватит тратить время на пустяки, которые охочие до слухов писаки будут пережевывать на протяжении веков.

И это они будут защищать истину посредством поэм, романов, басен, памфлетов, диатриб? В чем их заслуга? Только в том, что они повторяют сказанное или написанное другими. Приап, этот деревянный бог из античного пантеона, запомнил кое-какие греческие слова, которые он слышал от своего хозяина, читавшего в его тени<sup>[65]</sup>. Петух Лукиана<sup>[66]</sup> две тысячи лет назад так часто общался с людьми, что в конце концов заговорил. И фантазировал не хуже, чем они. Если бы только писатели умели подражать животным! Герой, пес последнего испанского губернатора, хоть и был пришелец и роялист, показал себя более искусным оратором, чем самый искушенный ареопагит. Мой невежественный и неотесанный Султан после смерти стал по меньшей мере столь же мудрым, как Соломон. Попугай, которого я подарил Робертсонам, читал Отче Наш в точности таким же голосом, как у епископа Панеса. И притом лучше, гораздо лучше, чем этот болтун и хвастун. С более чистой дикцией, не брызгая слюной. Преимущество попугая в том, что у него сухой язык. И более искренняя интонация, чем у клириков с их лицемерным жаргоном. Чистое животное, попугай болтает на языке, придуманном людьми, не сознавая этого. И главное, не преследуя никакой утилитарной цели. Со своего обруча, подвешенного на свежем воздухе, он, несмотря на домашний плен, проповедует живой язык, с которым не сравниться мертвому языку писателей, запертых в клетках-гробах своих книг.

В истории человечества были эпохи, когда писатель был священной особой. Он писал священные книги. Всеобщие и всеобъемлющие книги. Кодексы. Эпопеи. Пророчества. Изречения на стенах склепов. Поучения в порталах храмов. Отнюдь не гнусные пасквили. Но в те времена писателем был не отдельный индивид, а народ. Он передавал свои тайны из века в век. Так были написаны древние книги. Неизменно новые. Неизменно живые. Неизменно обращенные в будущее.

Книги имеют свою судьбу, но нет книги, которая была бы подарком судьбы. Даже пророки не смогли бы написать Библию без народа, от которого их отделили символ и миф. Греческий народ под именем Гомера создал Илиаду. Египтяне и китайцы диктовали свои исторические повествования писцам, которые отождествляли себя с народом, а не переписчикам, которые чихают над текстом, как ты. Творение Народа-Гомера — вымысел. Как таковой он и был принесен в дар человечеству. Как таковой он и был принят. Никто не сомневается в том, что Троя и Агамемнон так же не существовали, как не существовали Золотое Руно, перуанский Кандире, Земля-без-Зла и Лучезарный Город наших индейских легенд.

Однорукий Сервантес написал свой великий роман рукой, которой у него не было. Кто мог бы утверждать, что Тощий Рыцарь Зеленого Плаща менее реален, чем сам автор?<sup>[67]</sup> Кто мог бы отрицать, что толстый оруженосец, который тащится верхом на муле за клячей своего господина, одновременно менее реален и более реален, чем ты, секретарь, держащий ноги не в стремях, а о лохани и плохо правящий даже своим пером?

Спустя двести лет уже нет живых свидетелей приключений Дон Кихота и Санчо Пансы. Читатели, которые на двести лет моложе их, не знают, сказки ли это, подлинные истории или вымысел, выдаваемый за правду. То же самое произойдет и с нами: мы станем ирреально-реальными существами. Значит, мы не перестанем существовать. Тем лучше, Ваше Превосходительство!

Во всех странах, считающих себя цивилизованными, следовало бы принять такие же законы, какие я ввел в Парагвае против щелкоперов всякого пошиба. Против развращенных развратителей. Бездельников. Негодяев. Мошенников, прохвостов,

подвизающихся в литературе. Тогда было бы искоренено наихудшее зло, от которого страдают народы.

*«У желчного диктатора есть целая кипа тетрадей с цитатами из хороших книг. Когда ему требуется составить какую-нибудь бумагу, он их просматривает и отбирает наиболее эффектные, на его взгляд, изречения и сентенции, которые и вставляет кстати и некстати. Все его усилия сосредоточиваются на стиле. Он запоминает и заимствует из хороших панегириков фразы, которые произвели на него наибольшее впечатление. Чтобы разнообразить свой лексикон, он всегда держит под рукой словарь. Без него он никогда не работает. История римлян и письма Людовика XIV — его молитвенник. А теперь он начал изучать английский язык с помощью своего торгового партнера Робертсона, чтобы воспользоваться хорошими книгами, которые тот имеет или достает для него через своих компаньонов из Лондона и Буэнос-Айреса.*

*Следует сказать еще кое-что, преподобный отец, насчет притворной фобии, выказываемой сим Цербером по отношению к писателям и протекающей, без сомнения, из злобной зависти, гложущей этого человека, который тужится изобразить из себя Цезаря и гения из гениев, но у которого ипохондрия иссушила мозг.*

*Ну не умора ли, отец Веласко! Наверное, вы знаете, что наш великий человек периодически исчезает на некоторое время. Он месяцами живет затворником в своих апартаментах в Госпитальной Казарме, о чем дает знать посредством слухов, исходящих от официальных лиц, иначе говоря потворствуя разглашению государственной тайны, и занимается изучением проектов, осуществление коих в его лихорадочном воображении поставит Парагвай во главе американских стран. Однако поговаривают, что это периодически возобновляемое затворничество связано с его замыслом написать роман в духе «Дон Кихота», который его чарует и восхищает. К несчастью для нашего диктатора-романиста, в отличие от Сервантеса, искалеченного в знаменитой битве при Лепанто, он не только не однорук, но и не наделен умом и талантом.*

*По другой версии, исходящей от достойных доверия лиц, эти временные исчезновения объясняются тайными поездками, которые пресловутый женоненавистник совершает в сельскую местность, к своим многочисленным любовницам, с каковыми он прижил больше пятидесяти незаконных детей, превзойдя в этом отношении дона Доминго Мартинеса де Иралу и других конкистадоров.*

*Мои осведомители даже упомянули одну из этих любовниц, бывшую монахиню, которую считают его фавориткой. Говорят, что эта наложница, вдвойне нечистая и нечестивая, живет на вилле, которая находится между селениями Пирайу и Серро-Леон. Однако никому до сих пор не удалось увидеть интимное гнездышко диктатора, так как оно со всех сторон окружено высокими валами и живыми изгородями из маков, а сверх того многочисленными кордонами. Великий человек распространил слух, что расположил там артиллерийский парк.*

*Опубликуйте Ваше «Воззвание к соотечественникам», преподобный отец. Оно может стать подлинным Евангелием для наших сограждан в борьбе за освобождение от ига мрачного деспота, близким родственником которого имеет несчастье быть Ваше преподобие. То, что я пишу здесь, — голая истина, которую никому не опровергнуть. Этот человек, который в приступе ярости швыряет в дом противника всем, что подвернется под руку, не думает о том, что и у него крыша из*

*черепицы. Не бойтесь же его: недостижимые для этого одержимого, мы тем успешнее сможем биться против него». (Письмо доктора В. Диаса де Вентуры брату Мариано Игнасио Веласко.)*

Графомания, по-видимому, характерна для века, переполненного событиями. Если не говорить о Парагвае, когда писалось столько, сколько пишется с тех пор, как мир пребывает в состоянии непрерывного переворота? Такого не было даже у римлян времен упадка. Нет более пагубного товара, чем снадобья в виде книг, которыми торгуют отравители. Нет худшего бича, чем писаки. Мастера по части лжи, обмана. Продажные перья; перья индюков, возомнивших себя павлинами. Когда я думаю об этой извращенной фауне, я представляю себе мир, где люди рождаются стариками. Они мало-помалу усыхают, сморщиваются, и под конец их помещают в бутылку. Там они делаются еще меньше, так что можно было бы съесть добрый десяток Александров Македонских и два десятка Цезарей, намазав их на ломтик хлеба. Мое преимущество в том, что я уже не нуждаюсь в еде и не тревожусь о том, что меня съедят эти черви.

В разгар лета во время сиесты я приказывал привести из тюрьмы ко мне в спальню полукаталонца, полуфранцуза Андрё-Легара. Он скрашивал мое трудное пищеварение своими песнями и историями. Помогал мне вкушать сон хотя бы маленькими кусочками. За пять лет он приобрел в этом деле сноровку и неплохо справлялся со своей работой, как бы оплачивая таким образом тюремный стол. Этот человек являл собой странную смесь заключенного и беженца. В свое время он был узником Бастилии, куда попал за подстрекательство к мятежу, и однажды едва не расстался с головой под топором палача. Как-то раз он мне показал у себя на затылке шрам от удара, который мог быть для него роковым. После взятия Бастилии 14 июля он вышел оттуда и, если не лгал, принял участие в деятельности революционной Коммуны под непосредственным руководством Максимилиана Робеспьера. При якобинской диктатуре член революционного комитета одной из парижских секций, он опять впал в немилость после казни Неподкупного.

В тюрьме он познакомился и подружился с развратным маркизом<sup>[68]</sup>, которого Наполеон приказал арестовать за распространявшийся этим знатным распутником нелегальный памфлет против Великого Человека и его возлюбленной Жозефины де Богарне. Наполеон был еще первым консулом. Авторы памфлетов и пасквилей в ту пору не знали никакого удержу. И вот появилось якобы переведенное с древнееврейского «Письмо дьявола главной парижской шлюхе». Андрё-Легар утверждал, что если его беспутный друг и не был автором этого памфлета, то последний по своей язвительности был вполне достоин его. Рассказывать мне это значило говорить о веревке в доме повешенного. Уж не в пику ли мне вспоминал об этом памфлете бывший сержант национальной гвардии, который когда-то поднимал на пику аристократов, а теперь и пикнуть не смел? Замолчи, каналья! Я не хотел сказать ничего худого, сир! — оправдывался Легар. Не могу понять, как этот разнузданный, гнусный, жестокий, лукавый содомит, твой приятель, мог быть, как ты утверждаешь, другом народа и Революции. Тем не менее он им был, Ваше Превосходительство. Он был революционером, когда еще и в помине не было революционеров! И с какой силой, с какой убежденностью высказывал он свои идеи! За семь лет до революции он написал «Диалог между священником и умирающим», который я только что прочитал Вашеству наизусть. За год до штурма Бастилии и на одиннадцатый год своего заточения маркиз возглашал в других своих произведениях:

в стране назревает великая революция. Франция устала от преступлений наших властителей, от их жестокости, их распутства, их глупости. Французскому народу опротивел деспотизм. Близится день, когда он восстанет во гневе и разобьет свои цепи. В этот день, Франция, ты проснешься, озаренная светом. Ты увидишь преступников, которые тебя разоряют, поверженными к твоим стопам. Ты узнаешь, что народ по природе своей свободен и никто не может им управлять, кроме него самого. И все-таки мне кажется странным то, что ты утверждаешь, Легар. Ничего подобного не было ни с одним развратником из нашей олигархии, которого мне пришлось посадить за решетку. И ни с одним из негодяев с тонзурой, мерзавцев в мундире и книгокак, которые мнят себя сыновьями Минервы, а на самом деле всего лишь ублюдки пса-Диогена<sup>691</sup> и суки-Герострата. Что касается великого распутника, Ваше Превосходительство, то его распутство было скорее выражением глубокого стремления к духовному освобождению, проявлявшегося во всем и повсюду. В секции, где его атеизм противопоставлял его Робеспьеру. На заседаниях Парижской Коммуны. В Конвенте. Даже в приюте для душевнобольных, куда его в конце концов поместили. Вот, вот! Этот блудливый прохвост и должен был кончить в сумасшедшем доме! Однако примите в расчет, Ваше Высокопревосходительство, что его самое революционное произведение относится как раз к этому времени. Его воззвание, начинающееся словами: «Сыны Франции, сделайте еще одно усилие, если вы хотите быть республиканцами!», не уступает «Общественному договору» не менее распутного Руссо и «Утопии» святого Томаса Мора, а быть может, и превосходит их. Каталонец-француз нарушал спокойствие моих сиест. Когда я припирал его к стенке, он с изворотливостью каторжника брал реванш, разрывая могильную землю. Маркиз умер в 1814-м, в том самом году, когда Вашество приняли абсолютную власть, и в его бумагах нашли его собственноручное завещание, где было сказано: когда меня похоронят, пусть на моей могиле посеют желуди, чтобы в будущем ее поглотил лес. Таким образом она исчезнет с поверхности земли, подобно тому как, я надеюсь, память обо мне изгладится в умах людей, исключая тех немногих, которые любили меня до последней минуты и нежное воспоминание о которых я унесу с собой в гроб. Его посмертное желание не было исполнено. Не был услышан и его вопль: я обращаюсь только к тем, кто способен меня понять! Почти всю жизнь он провел в тюрьме. Погребенному в подземном каземате, ему не разрешалось ни под каким видом пользоваться карандашами, чернилами, пером, углем и бумагой. Заживо похороненному, ему под угрозой смертной казни было запрещено писать. Когда его труп был предан земле, на его могиле вопреки его просьбе не посеяли желудей. И изгладить память о нем не смогли. Впоследствии его могилу вскрыли — тем большее надругательство, что оно было совершено во имя науки. Достали череп. Не нашли в нем ничего особенного, как, по вашим словам, сеньор, не найдут ничего особенного и в вашем. Череп «недоброй памяти дегенерата» имел гармоничные пропорции; он был «маленький, как череп женщины». Бугорки материнской нежности, любви к детям, были так же заметны, как на черепе Элоизы, прославившей образцом любви и нежности. Эта последняя загадка, прибавившаяся к предшествующим, окончательно поставила в тупик современников. Она разожгла их любопытство и укрепила отвращение к этому человеку. А быть может, и способствовала его прославлению.

Этот реквием не усыплял меня. Каталано-французик знал на память от начала до конца не менее двадцати произведений этого обезумевшего порнографа, поскольку в течение многих лет служил ему запоминающим и воспроизводящим устройством,

чем-то вроде слуховых горшков, которые я делаю из каолиновой глины Тобати и смолы словесного дерева. При звуках голоса игла из сардоникса или берилла наносит царапины на тонкую перепончатую пленку, а когда по тем же царапинам движется назад, высвобождает в обратном порядке звуки, слова, легчайшие вздохи, застрявшие в ячейках этих слушающих и говорящих сосудов, поскольку звук умолкает, но не исчезает. Он здесь. Ты его ищешь и находишь: он слетает с ленты, намазанной воском и смолами. У меня больше сотни таких горшков, полных тайн. Забытых разговоров. Тихих вздохов. Звуков военных труб. Стонов наслаждения. Голосов истязуемых и свиста плетей. Признаний. Молитв. Проклятий. Залпов.

Каталонец-француз был сродни этим говорящим горшкам. Его каждый день зимой и летом — ведь у нас, в Парагвае, нет других времен года — во время сиесты приводили ко мне в спальню. Вот он. Снимите с него кандалы. При скрипе цепей он весь сжимался, уходил в себя. Говорить начинал не сразу, как будто и язык его был в оковах. Ну же, говори, пой, рассказывай! Посмотрим, не засну ли я, не усыпишь ли ты меня. Сначала он, прикрывая свои зеленовато-аспидные глаза, издавал какое-то бурчанье, тихий гнусавый звук. Потом обычно начинал рассказывать какую-нибудь бредовую фантазию похотливого маркиза. Мечту сатира. Козлоногий подминает под себя вселенную. Но шум этой космической вакханалии не громче жужжания насекомого. Безмерное сладострастие голосом мухи стонет, прокликает, умоляет, взывает к бесплодным божествам. Вожделение в ярости от изнеможения. То, что, казалось, заполнит небо, вмещается в горсть. Из грозного вулкана не изливается ни капли кипящей лавы. Паруса мечты обвисают, и нет ветра, который надул бы их. Хватит!

Узник меняет тему, голос, интонации. У него обширный репертуар. Это живая энциклопедия грязного разврата и чудовищного похабства. Он знает наизусть написанные маркизом, неистощимым по этой части, лживые и непристойные истории, исполненные порочности и цинизма. А кроме того, превосходящие Священное писание по своей выразительности, хотя и слабые, немощные по содержанию, отчего их и читают с такой жадностью, хотя и изображают пресыщенность. Чего ищет этот распираемый похотью содомит, этот бредящий о сатурналиях педераст? Бога женского пола, на которого он мог бы обратить свое бесплодное неистовство, чтобы утолить неутолимое сладострастие? Здесь, в Парагвае, была в свое время одна мулатка по имени Эротиде Бланко, дочь Бланко Энкалады-и-Бальмаседы де Рун Диас де Гусман. Она была способна ублаготворить целое войско. Может быть, даже армию Наполеона. Пожалуй, ублаготворила бы она и одержимого маркиза, томившегося в Бастилии. Но нет, нет! Эротиде Бланко был нужен девственный лес, горный хребет, чтобы совокупляться сразу с тысячью, со ста тысячами волосатых фавнов. Довольно, покончим с этими непристойностями!

По счастью, в ячейках его памяти хранились и другие речи, другие истории. Гортанно-гнусавый голос начинал напевать меланхоличные песни женева<sup>[70]</sup>. Человек, Великий Человек, Верховный Человек, ограничь свое существование собою самим! Оставайся в том месте, которое назначила тебе природа в цепи существ и которого тебя ничто не может лишить. Не брыкайся, когда чувствуешь стрекало необходимости. Твое владычество и твоя свобода простираются настолько же далеко, насколько твои естественные силы. Не далее. Что бы ты ни делал, твоя реальная власть не превзойдет твои реальные способности. Голос каталонца-француза все больше походит на голос женева. Звучат раскатистые «р» в философских



рассуждениях из «Общественного договора», в педагогических поучениях из «Эмиля». Носовые, сопящие звуки доверительных признаний из бесстыдной «Исповеди». Благодаря голосу Легара я вижу в Руссо старого ребенка, женственного мужчину. Не он ли сам говорил о карлике с двумя голосами: глухим, стариковским, и звонким, детским, который всегда принимал посетителей в постели, чтобы не раскрыли его двойной обман, как делаю теперь и я под землей<sup>[71]</sup>.

Мне выпало много страданий, Ваше Превосходительство, до и после 9 термидора, соответствующего вашему 27 июля; а *reut-être*<sup>[72]</sup>, вашему неутешно скорбному 20 сентября, когда все остановилось вокруг Вашества. Однако Франция еще существует. 20 сентября 1840 года история не кончается<sup>[73]</sup>. Можно даже сказать, что она только начинается.

27 октября 1795 во Франции устанавливается Директория. В 1797 Наполеон торжествует победу под Риволи. Начинается вторая Директория. Предпринимается египетский поход. Я выхожу, или, вернее, меня забирают из тюрьмы. Я завербовываюсь как рядовой в армию Великого Корсиканца. На фоне египетского неба вырисовываются пальмы. Так же, как здесь, на фоне пылающего лазурным пламенем парагвайского неба. Змеится Нил у подножия пирамид, как здесь Королевская Река<sup>[74]</sup> под окнами вашей спальни, сеньор. Тебе не удастся нагнать на меня сон, Легар. Что же ты хочешь. Вот уже десять лет я слышу от тебя одно и то же. Твой надтреснутый, стариковский голос не молодеет тебя. Попробуй-ка потрясти рог изобилия. Шарль Легар откашливается, прочищает горло и в ритме дансона вроде тех, что танцуют в Бали, в Танганьике, на Молуккских островах, принимается распевать республиканский календарь. Только тогда я начинаю задремывать под дождем овощей, цветов, фруктов — апельсинов золотых, яблок наливных, дынь душистых, груш мясистых и прочая, и прочая. Тут все времена года, месяцы, недели, дни, часы. Вся природа с ее стихийными силами. Олицетворяемое санкюлотами трудящееся человечество и очеловеченный труд. Животные, злаки, минералы, ослы и кобылицы, коровы и кони, ветра и тучи, мулы и мулицы, огонь и вода, птицы, их плодоносные экскременты, всходы, урожаи, фруктидоры, месидоры, прериали падают на меня, как морозящий дождь, из этого рога изобилия, изготовленного Фабром д'Эглантинном<sup>[75]</sup>. 17 сентября праздник Добродетели начинал усыплять меня, погружая в сладкую дремоту, которую 18 сентября внезапно прервал праздник Верховного Существа. В праздник Труда, 19, я чувствовал, что слегка храплю. После праздника Общественного Мнения, который совпал с моей смертью 20 сентября, а быть может, и вызвал ее, я воскрес 21 ради праздника Вознаграждений.

Что касается тебя, Шарль Легар, то ты вознаграждения не заслуживаешь. Ты плохо пел. Плохо тряс рог изобилия. А быть может, его исцарапали, раскрошили, повредили отзвуки твоих соло. Когда я засыпаю, острие рога царапает перепонку сна. Я открываю глаза. Оглядываю тебя. Ты жестикулируешь в ритме какого-то варварского танца, приличного для охотников, но не для земледельцев. Я приподнимаюсь. Бросаю тебе: хочешь уехать из Парагвая? Даю тебе на это двадцать четыре часа. Если ты хоть на минуту удержишься, тебе несдобровать: твою голову вздернут на пику и выставят на Марсовом Поле в устрашение тем, кто позволяет себе шутить с Верховным Правительством и плохо выполняет свою работу. Тебя погубила память, Шарль Андрё-Легар. Твоя прекрасная память. Твоя ужасная память. Прощай и будь здоров!

Он уехал вместе с Ренггером и Лоншаном в числе нескольких дерзких французов, которых я на всякий случай держал в моих тюрьмах. Я освободил их, потому что они надоели мне — пусть убираются со своей музыкой куда-нибудь подальше. В мое время — время вне времени — французский республиканский календарь уже ни к чему. Я без сожаления отпустил каталонца-француза. Больше я не узнал ничего достоверного об этом странствующем авантюристе. По одним слухам, он погиб в Бахаде<sup>[76]</sup>, по другим, преподает язык гуарани в Парижском университете.

История распутного маркиза, сидевшего в Бастилии, а потом переведенного в сумасшедший дом в Шарантоне, история его историй, которые рассказывал Легар, приводит мне на память другого дегенерата — недоброй памяти бурлескного маркиза де Гуарани<sup>[77]</sup>. Лишнее доказательство наглой лжи, дьявольских махинаций и других подлых средств, которыми пользуются испанцы и вообще европейцы, чтобы обманывать нас, скрывать свои мошенничества и свои посягательства на достоинство нашего народа, величие нашей республики. В свое время они пустили в ход чудовищную или, лучше сказать, смехотворную выдумку о мнимом маркизе де Гуарани. И в Европе, и в Америке хорошо известно, что этот европейский авантюрист поехал в Испанию якобы с миссией от нашего правительства к монарху этой страны. Воображение лишено подражательности, но подражатель совершенно лишен воображения. Поэтому самозванство и грубая ложь этого обманщика были быстро разоблачены. Даже испанскому Верховному суду волей-неволей пришлось присудить наглеца к смертной казни, которая потом была заменена тюрьмой к ссылке.

Тем не менее хитрый авантюрист причинил нам немалый вред, опорочив нашу страну и подорвав престиж ее правительства. Каталонский мошенник, который жил в Америке, но даже не имел представления о Парагвае, называл себя Хосе Аугустин Форт Йегрос Кабот де Суньига Сааведра. Украшенный генеалогической мишурой (это имя содержало полный список самых аристократических семей!), негодяй с театральной помпой появился при бурбонском дворе. Он заявил, что владеет огромным состоянием и пожертвовал парагвайскому правительству больше двухсот тысяч песо золотой монетой. Он приехал в Испанию в начале 1825 года, когда Симон Боливар<sup>[78]</sup> еще собирался напасть на Парагвай, в надежде, что этот второй авантюрист, как и он сам, достигнет своей цели. Оба они были изначально обречены на провал. Но они этого не знали.

Из Бадахоса лжемаркиз отправил в Мадрид послание, в котором заявил, что прибыл с важной миссией от нашего правительства и что, если ему предоставят для этого средства, он сможет обеспечить метрополии возвращение ее бывших колоний. Он потребовал, чтобы ему дали возможность вести переговоры непосредственно с королем. Полномочия, которыми он был облечен, как утверждал этот обманщик, позволяли ему выдвинуть от моего имени следующие условия: 1) установление в Парагвае правительства, представляющего Испанию; 2) одобрение усовершенствованной иезуитской системы, которая якобы действует (ах, каналья!) в этой стране<sup>[79]</sup>, и без того истощенной за столетие господства монахов; 3) назначение его как полномочного представителя Пожизненного Диктатора, старшего отпрыска дома Гуарани и полковника парагвайского Добровольного Легиона главой испанского монархического правительства в Парагвае с присвоением ему титула вице-короля; 4) вознаграждение в размере двенадцати миллионов дууро, которое должно быть ему выдано из Парагвайского Казначейства, если король примет эти условия.

Среди подложных документов, представленных мошенником, были Акт о провозглашении независимости Парагвая и указ о его назначении полномочным представителем и послом, где он подделал мою подпись и где вместо герба республики с изображением пальмы, оливы и звезды красовался герб с лилией, эмблемой Бурбонов. Хитрец позаботился о том, чтобы в его свите фигурировали некий Йегрос и некий брат Ботельо, почетный член Парагвайской академии медицины, которого он выдавал за поверенного в делах. Тут было множество подлогов и подделок, но, не довольствуясь ими, мошенник вдобавок объявил, что я свергнут Легионом, которым он командовал, и сослан на галеры в Вилья-дель-Пиларде-Ньеембуку.

Когда его разоблачили, председатель мадридского суда постановил дать ему двести плетей и провезти на осле по улицам города. Король, обманутый, но еще сохранивший надежду на какой-нибудь неожиданный поворот дела, заменил ему казнь десятилетним тюремным заключением. Потом другой американский прохвост — Пасос Канки<sup>[80]</sup> — взял на себя распространение небылиц о подвиге осрамившегося испанца. Чем глупее история, тем легче ей верят. Легенда о маркизе Гуарани обошла всю Европу. Докатилась до Америки. Есть люди, которые все еще верят в нее и пишут о ней. Идиотизм не знает границ, в особенности когда пробирается, спотыкаясь, по узким коридорам человеческого сознания.

*(Периодический циркуляр)*

Пасквилянты считают недостойным с моей стороны неустанно печься о достоинстве Республики, защищая его от всех, кто на него посягает. От иностранных государств. От хищных правительств, ненасытных охотников до чужого добра. Мне давно известны их вероломство и бесчестность. Называется ли наш опасный сосед Португальской или Бразильской Империей, это не меняет дела. Я сдержал грабительские орды мамелюков, банды бандеиранте-паулистов<sup>[81]</sup>, не позволил им больше заниматься бандитизмом на территории нашей родины. Некоторые из вас сами были свидетелями их набегов и помнят, а другие слышали, как они сжигали наши селения, убивали людей, угоняли скот. Они захватывали в плен тысячи коренных жителей. В последующих выпусках этого циркуляра я расскажу вам подробнее об отношениях нашей Республики с Империей, о бесчестных махинациях Бразилии, о западнях, которые она расставляла нам, о ее коварных происках и злодеяниях.

Пантагрюэлевская империя в своей ненасытной алчности мечтает сожрать Парагвай, как кроткого ягненка. Если не побережешься, она когда-нибудь проглотит весь континент. Она уже похитила у нас тысячи квадратных лиг территории, источники наших рек, отроги наших горных цепей, подцепленные с помощью несправедливых договоров о границах, которые, как цепи, сковывают нас. Так испанские короли и вице-короли оказались обмануты дурными губернаторами, которые были на поводе у своих жен и на крючке у своих кредиторов. Империя бандитов и работорговцев изобрела систему границ, которые перемещались движениями огромного удава.

Другой враг, на котором столько же грехов, сколько на козле отпущения, — Банда-Ориental. Ее банды матерых преступников помогли усилить речную блокаду. У меня под хорошей охраной один из их главарей. Хосе Гервасио Артигас, называвший себя Защитником Свободных Народов, ежечасно угрожал вторгнуться в Парагвай. Предать его огню и мечу. Вздеть мою голову на пику. Когда же он был предан своим приспешником Рамиресом, который встал на ноги благодаря его

войскам и деньгам, Артигас, потеряв все, вплоть до одежды, стал искать убежища в Парагвае. Мой заклятый враг, вымогатель, организатор заговоров против моего правительства, осмелился вымаливать у меня приют. Я обошелся с ним гуманно. На моем месте самый мягкосердечный правитель не стал бы слушать этого варвара, который заслуживал не сочувствия, а кары. Я выказал безмерное великодушие. Я не только принял его и остаток его людей, но и потратил не одну сотню песо, чтобы помочь ему, поддержать его, одеть и обуть, потому что он прибыл, можно сказать, голым — у него не было ничего, кроме красной куртки да пустой котомки. Ни один из негодяев, которые толкали его на безрассудный бунт, вселяя в него самые радужные надежды, не подал ему ни малейшей милостыни. Я дал ему то, о чем он просил меня в письме, которое написал, уже находясь на нашей территории, из Транкера-де-Сан-Мигель.

*«Подавленный неблагоприятностью и изменами, жертвой которых я стал, я умоляю Вас дать мне хоть какое-нибудь пристанище. Тогда я смогу гордиться тем, что сумел выбрать в качестве надежного убежища лучшую часть нашего континента, Первую Республику Юга, Парагвай. Я стремился, как и Вы, Ваше Высокопревосходительство, выковать независимость моей страны, и это побудило меня восстать и вести жестокие битвы против испанского господства, а потом против португальцев и портеньо, которые хотели поработить нас, еще грубее поправ справедливость. Я без передышки сражался в течение многих лет, полных лишений и жертв. И, несмотря на все, я продолжал бы добиваться моих патриотических целей, если бы среди людей, которые мне подчинялись, не зародилась анархия. Меня предали, потому что я не захотел продать за бесценок богатое достояние моих соотечественников». (Письмо генерала Артигаса Верховному с просьбой о предоставлении убежища. Сентябрь 1820.)*

Письмо Артигаса было правдиво. Он не лгал, говоря о своей борьбе против испанцев, португальцев-бразильцев и портеньо. Я принял это в расчет. Если многие заслуживают осуждения за отклонения с истинного пути в борьбе за правое дело, то верность принципам и целям этой борьбы хотя бы отчасти искупает вину заблуждавшихся, которые не упорствуют в своих заблуждениях. Артигас, погруженный в тоску и отчаяние, являл собой поучительный пример для авантюристов, заговорщиков, порочных честолюбцев, замышляющих покорить парагвайцев, навязать им свои законы, отнять у них их богатства и, наконец, заставить поработенных людей работать на себя, что позволило бы иноземцам насмеяться над Парагваем и глумиться над парагвайцами.

Я послал за Артигасом отряд гусаров в двадцать человек под командой офицера. Я обошелся с ним человеколюбиво, по-христиански в истинном смысле слова. Дать приют злосчастному вождю, который предавал себя в наши руки, было актом не только гуманным, но и делающим честь Республике. Я распорядился приготовить для него келью в монастыре Ла Мерсед и приказал, чтобы он ежедневно присутствовал на богослужении и исповедовался. Я уважаю чужие убеждения, и если верно, что от священников мало проку, то пусть они по крайней мере утешают в горестях иностранцев, отпуская им грехи. Потом я отвел уругвайцу постоянное местожительство, о котором он меня просил; не твердыню гордости, но участок лучших казенных земель в Куругуати, с тем чтобы он построил там дом и ферму вне досягаемости для своих врагов. Вероломный предатель, бывший приспешник Артигаса настоятельно просил меня о его выдаче, с тем чтобы он ответил перед

публичным судом федеральных провинций на справедливые обвинения, которые будут ему предъявлены, как писал мне циничный бандит, ибо его считают причиной и источником всех бед Южной Америки. Так как я не ответил ни на одну из его нот, он потребовал от меня выдачи своего бывшего начальника под угрозой вторжения в Парагвай. Что же, сказал я, пусть Верховный Дикарь попробует сунуться к нам! Но он так и не сделал этого, оставив голову в предназначенной ему клетке<sup>[82]</sup>.

В восьмидесяти лигах к северу от Асунсьона, даже не подозревая об опасностях, которые ему угрожали, бывший Верховный Протектор Восточных Провинций возделывает землю, которую он когда-то поклялся опустошить. Посмотрите, как он теперь обрабатывает ее, орошая своим потом, а не кровью индейцев. Теперь он клянется мне в вечной благодарности и верности. Славит как самого доброго и справедливого из людей в противоположность главарям портеньо, скопищу отъявленных негодяев, какими были Ривадавия, Альвеар, Пуэйредон<sup>[83]</sup>.

Одна только гидра Платы<sup>[84]</sup> по-прежнему стремится завладеть Парагваем. Разорить его, искалечить, обкорнать, раз уж не удалось присоединить к несчастным провинциям, которые она удушила в своих щупальцах.

Хватит на сегодня. Моим сатрапам понадобятся целые месяцы на чтение каждого из выпусков периодического циркуляра, если они будут слишком насыщенными. Под этим предлогом они совсем забросят служебные дела и с упоением отдадутся лени.

В крепости Буэнос-Айрес новый вице-король Бальтасар Идальго де Сиснерос готовит к бою пушки и абордажные топоры, верно, воображая, что он все еще вице-адмирал Непобедимой Армады, плывущей навстречу своему разгрому под Трафальгаром<sup>[85]</sup>. После того как крепость была... (Недостаёт нескольких листов.)

Здесь, в Асунсьоне, роялисты, портеньо, надевшие личину верных приверженцев Бурбонов, гачупины, портеньисты теснятся вокруг глухого губернатора Веласко. Они наперебой трубят в его слуховой рожок, но их речи в одно ухо входят, в другое выходят, отягощенные зловещими предчувствиями. Известие о первом вторжении англичан в Буэнос-Айрес<sup>[86]</sup> и о бегстве вице-короля Собремонте вызывает у него кровоизлияние, от которого наполовину заплывает левый глаз. От известия о втором английском вторжении и о назначении временным вице-королем французишки Линье у него сводит рот. Артиллерийский офицер, который, как говорят, был моим отцом, привозит на пушечных лафетах полуглухому, полунемому губернатору кадки с осиным медом и бочонки с фруктовым желе, чтобы он смазывал себе гортань. Достают для него и вещество, добываемое индейцами ксексуэньо из кедра, который они называют Священным деревом слова. Но ничего не помогает безгласному губернатору, хотя он непрестанно жуёт и глотает эти снадобья, которые на глазах у слуг разноцветными червяками-потеками выползают у него изо рта.

Вице-король запрашивал из Буэнос-Айреса: что там у вас происходит? Вы все онемели? Или вернулись комунерос? В кабинете губернатора писари ждали, наострив уши и подняв перья. Твой отец, один из этих пройдох писарей, посвящал меня в тайны мадридского двора, рассказывал истории, которые происходили в том самом месте, где мы находимся.

В то утро губернатор Бернардо де Веласко-и-Идобро в приступе ярости выгнал лекарей, монахов, знахарей, которых его племянник толпами приводил во дворец, и бросился во двор. Там он провел все утро на четвереньках, вместе с ослом и волком, пасясь на подножном корму возле Яслей, в том месте, где губернатор приказывал

представлять в натуре Рождество Христово. Возле своего хозяина пес Герой тоже рвал траву и цветы с клумб в бредовом исступлении, которое для них обоих было битвой с духами зла. Потихоньку вернувшиеся домашние, слуги, чиновники всем скопищем со слезами на глазах наблюдали, как пасется губернатор. Набив живот травой, он наконец встает. Подходит к колодцу. Нагибается над ним. Герой оставляет в покое цветы. Бросается сзади на губернатора и тянет его за фалды сюртука, пока не отрывает их напроочь. Снова бросается на хозяина. Рвет его за штаны на самом заду. Ягодицы дона Бернардо обнажаются. Он все больше наклоняется над колодцем. Мой отец думал, сеньор, что губернатор молит о помощи душу театинца, утопшего в колодце много лет назад, когда этот дом еще принадлежал иезуитам. Твой отец плохо осведомлен. Это здание возвели не театинцы. Его приказал построить губернатор Морфи Безухий, которому цирюльник отхватил одно ухо бритвой. Зато-де, Ваше Высокопревосходительство, сказал он губернатору, извинившись, раньше вы во все уши слушали ваших наушников, а теперь будете слушать вполуха.

Здание тоже осталось безухим. Бритва есть бритва. Когда руками цирюльника сбрили губернатора, неоконченное здание превратилось в новехонькую руину. Э, Патиньо, вытащи-ка муху, которая упала в чернильницу. Не пальцами, скотина! Кончиком пера. Как ты чистишь нос. Осторожней, не испачкай бумаги! Готово, Ваше Превосходительство; хотя позволю себе сказать, что в чернильнице не было никакой мухи. Что ты понимаешь! У меня всегда жужжит в ушах — донимает какая-нибудь муха. А потом она оказывается на дне чернильницы.

Строительство дома, уже подведенного под крышу, но зиявшего пустыми проемами дверей и окон, со стенами, поднимавшимися лишь на три вары от земли, было продолжено во времена губернатора Педро Мело де Португаль, который сделал его своей резиденцией, дав ему столь же помпезное название, как и селениям, основанным в его правление на левом берегу реки в виде передовых укреплений против набегов индейцев Чако: Дворец Мелодии.

Ребенком я пробирался в эти места смотреть, как роют рвы и насыпают валы для защиты от дождевых потоков и от внезапных вторжений индейцев. Я еще не знал, что навсегда поселюсь в этом Доме. В моей детской голове роились мысли, тотчас претворявшиеся в приказы. Я давал указания рабочим. И даже производителю работ. Продолжить этот ров до оврага. Сделать повыше эту стену. Углубить котлован. А что, если вместо песка насыпать рвы солью? Казалось, они слушались меня, потому что выполняли мои безмолвные распоряжения. Кирки, лопаты, мотыги вырывали из земли сосуды, предметы домашней утвари, луки, обломки хижин, скелеты. Десятник Канталисио Кристальдо, отец нашего тамбурмажора, однажды утром выкопал череп, свирель, несколько заржавленных аркебузов. Я попросил у него череп. Убирайся домой, чертенок! Я не отставал. Продолжал просить — без слов. Молча стоял, скрестив руки и не обращая внимания на мусор и песок, которым осыпали меня землекопы с каждым взмахом лопаты. Наконец череп перелетел через кучи вырытой земли. Я поймал его на лету и спрятал под свою накидку церковного служки. Красным пятном понесся в темноту. Вот он, череп. В него вмещалась вся земля. Он не мог вместиться в землю. Это был мир в мире! Держа его под мышкой, я бежал во весь дух, и сердце часто-часто колотилось в груди. Постой, не прижимай меня так! — взмолился череп. Как ты оказался похоронен здесь? Против моей воли, мальчик, можешь быть уверен. Я хочу сказать, здесь, возле Дома Правительства. Всегда человека где-нибудь хоронят после смерти. Уверяю тебя, покойник даже не замечает

этого. Отчего умер тот, кто носил тебя на плечах? Оттого, что его мать родила, мальчик. Я спрашиваю, какой смертью. Естественной, какой же еще? Разве ты знаешь еще какой-нибудь вид смерти? Меня обезглавили за то, что я попытался пальнуть из мушкета в губернатора. А все потому, что не послушался матери. Не плыви за море, сынок. Не уходи на конкисту. Жажда золота — опасная болезнь. В день моего отплытия она, глядя на меня остекленевшими глазами, сказала: когда, лежа в постели, ты услышишь, как на воле лают собаки, прячься под одеяло. Не шути с ними. Мать, сказал я, целуя ее на прощанье, там нет ни собак, ни одеял. Найдутся, сынок, найдутся: алчба есть везде, она и лает, и все покрывает. И вот теперь ты несешь меня под мышкой туда, где восставшие восстают из праха. Нет, в пещеру, сказал я ему. Мы проходили через кладбище, примыкавшее к собору. Что, мальчик, ты хочешь через столько веков похоронить меня по-христиански? Не надо; не натягивай нос нашей Святой Матери Церкви. Тсс, шикнул я и поплотнее закутал его. Два могильщика рыли могилу. Это для меня яма? — опять зашептал он. Ты вытащил меня из одной, чтобы положить в другую? Не беспокойся, она не для тебя, а для очень важной особы, которую повесили сегодня утром. Видишь, малыш? Сильные мира сего могут по своему капризу отправить человека на виселицу или заставить других повесить себя, разве это справедливо? Дай-ка мне посмотреть, как работают эти мужланы. Я остановился; чтобы потрафить ему, немного отвернул полу. Роют, сказал он. Нет рыцарей более древнего рода, чем огородники, землекопы, могильщики — словом, те, кто занимается ремеслом Адама. Разве Адам был рыцарь? — усмехнулся я. Он первым применил оружие, сказал череп гаерским тоном. Что ты говоришь? Никогда у него не было оружия, ведь он не мог ни получить его в наследство, ни купить! Что же ты, хоть и церковный служка, а еретик? Разве ты не читал Священного писания? Там говорится: Адам копал. А как же он мог копать, не будучи вооружен руками? Вот тебе другая загадка: кто строит прочнее каменщика? Тот, кто строит виселицы. Недурной ответ для такого мальчугана, как ты. Но если тебе еще раз загадают эту загадку, говори: могильщик. Дома, которые он строит, простоят до Страшного суда.

Что это, ты не пишешь то, что я диктую? Я вас заслушался, сеньор, уж очень занятную историю про говорящий череп вы рассказываете, Ваше Превосходительство. В жизни не слышал ничего забавнее. Но я потом спишу ее из того текста, который Хуан Робертсон переводил на уроках английского языка, — там она приведена почти целиком. Пиши не то, что рассказано другими, а то, что я рассказываю самому себе через посредство других. То, что произошло в действительности, не может быть передано, тем более дважды, и уж тем более разными лицами. Я уже говорил тебе это. Все дело в твоей злосчастной памяти: в ней сохраняются слова, но не то, что стоит за ними.

В течение долгих месяцев я отмывал в реке покрытый бурым налетом, словно заржавелый череп. Вода краснела. В семидесятом году река вышла из берегов, и половодье чуть не снесло мелодичный дворец дона Мело. Когда я, став Пожизненным Диктатором, поселился в этом здании, я привел его в порядок и очистил от всяких тварей. Перестроил, украсил, сделал достойным служить резиденцией народного избранника, пожизненного главы государственной власти. Я распорядился увеличить служебные помещения и по-новому расположить их, с тем чтобы в Доме Правительства находились главные государственные учреждения. Заменить старые стояки из стволов урундя на столбы из тесаного камня. Расширить крытые галереи и поставить в них резные скамьи; с тех пор эти галереи каждое утро заполняла толпа

чиновников, офицеров, курьеров, солдат, музыкантов, моряков, каменщиков, возчиков, пеонов, вольных крестьян, ремесленников, кузнецов, портных, ювелиров, сапожников, корабельщиков, управляющих государственными эстансиями и фермами, индейцев-коррехидоров с жезлами в руках, негров, освобожденных из рабства, касиков двенадцати племен, швей, прачек. Каждый по праву занимает здесь свое место перед лицом Верховного, который ни за кем не признает привилегий.

В последний раз я распорядился сделать перестройку в Доме Правительства, когда надо было внести метеор в мой кабинет. Он заартачился — не входил в дверь. Нельзя сразу требовать хороших манер от камня, попавшего к нам игрою случая. Метеоры не знают коленапреклонений. Пришлось убрать два столба и кусок стены. Наконец аэролит занял предназначенное ему место в углу. Не по своей воле. Победенный, плененный, прикованный к моему креслу. Это было в 1819-м. Готовился великий мятеж.

Я засыпал колодец. Если театинец, капеллан губернатора, или кто он там был, действительно бросился в колодец, то это произошло, должно быть, во времена изгнания иезуитов, в 1767-м; несчастный сделал это, не в силах перенести сокрушительный удар, который, как гром среди ясного неба, обрушился на орден.

Ошибочная версия, согласно которой Дом Правительства ведет свое происхождение от молельной, объясняется тем, что здание было построено из материалов, фигурировавших в генеральной описи имуществ, принадлежавших изгнанным иезуитам и секвестрованных по королевскому рескрипту. Видишь ли, Патиньо, в то время грабителями были короли. Террористы по божественному праву.

Губернаторы Карлос Морфи, прозванный Ирландцем, а также Безухим, затем Агустин де Пинедо, потом Педро Мело де Португаль — все они занимали это здание в уверенности, что оно первоначально имело духовное назначение, хотя и не предавались там исключительно благочестивым размышлениям и молитвам во спасение души.

Причина ошибки: колодец. Кретины! Никто не бросается в колодец для того, чтобы выйти из него на другом краю земли. Я приказал перенести наверх колодца в епископат. Епископ был очарован его орнаментом из кованого железа в виде митры, на которой крепился ворот. Но в то утро губернатор Веласко был еще здесь. Он стоял, нагнувшись над закраиной колодца, всунув голову в образовавшийся на месте ворота проем, напоминающий мавританскую арку. Слышались молитвы и причитания тех, кто наблюдал за этой сценой, в глубине души желая, чтобы губернатор наконец бросился в колодец. Твой отец рассказал мне, что слышал, как советник Сомельера-и-Алькантара пробормотал: Ну же, старый глухарь! Бросайся, пока не поздно!

Держась руками за живот, губернатор перекрестил воздух головой. Герой сзади обхватывал его лапами. Дон Бернардо открыл рот, тщетно пытаясь издать крик. Вместо этого он изверг все, что поглотил. Смолкли хриплые «Отче наш», «Богородица, дево» и шепотки. Исчезли любопытные, глазевшие из окон и дверей. Наконец, успокоившись, губернатор вернулся в свой кабинет и начал диктовать донесение вице-королю: Злонамеренные лица распускают слухи, которыми смущают легковерную чернь, чтобы взбудоражить ее и подстрекнуть к неповиновению; слухи столь бессмысленные, что они не производят ни малейшего впечатления на людей здравомыслящих, но пагубным образом возбуждающие тупое простонародье, так что в настоящее время его невозможно образумить. Знатные люди и верные подданные поддерживают меня и защищают наше дело. Хотя я веду и буду вести в дальнейшем



самое тщательное расследование, чтобы выявить смутьяна или смутьянов, вызывающих эти волнения, перехватывая письма или прибегая к каким-либо иным чрезвычайным мерам, в применении коих мои помощники, в особенности мой советник, портеньо Педро де Сомельера, весьма сведущи, до сих пор мне удалось дознаться лишь о слухах, распространяющихся среди простого народа, который не имеет понятия, откуда они исходят.

Твой отец переписал начисто донесение, которое немногим отличалось от мычанья или ослиного крика — на большее дон Бернардо был неспособен. Вечером губернатор вызвал меня. Когда мы остались наедине в его кабинете, он вставил мне в ухо свой слуховой рожок. Глухим, словно доносившимся из пещеры голосом он заговорил со мной об этих бессмысленных слухах, которые волнуют чернь. Это огромное, могучее животное надо во что бы то ни стало укротить, сказал Веласко, пусть даже с помощью пиканы<sup>[87]</sup>. Ваш дядя, в монашестве брат Мариано, весьма разумно советует мне: не надо говорить народу, что законы несправедливы, это опасно, ибо он повинуется им, полагая, что они справедливы. Надо говорить ему, что законам следует повиноваться, как повинуются начальникам. Не потому только, что они справедливы, а потому, что они начальники. Так предотвращается всякий бунт. Если удастся внушить это народу, он смиряется, опускает голову и покоряется ярму. Не важно, справедливо ли это: подчинение власти имущим и есть точное определение справедливости.

Власть правителей, мудро говорит ваш дядя, зиждется на невежестве и на кротости прирученного народа. Могущество имеет своей основой слабость. Это прочная основа; и, чем слабее народ, тем она надежнее. Брат Мариано Игнасио тысячу раз прав, мой уважаемый первый алькальд. Вот вам пример, ваша милость, продолжал гудеть в рожок губернатор-интендант: поскольку люди привыкли видеть правителя в окружении стражи, барабанщиков, офицеров, оружия и прочих атрибутов, внушающих почтение и страх, его лицо, даже если он появляется в одиночестве, без всякого эскорта, тоже внушает подданным почтение и страх, потому что они не могут отделить его образ от эскорта, который ежедневно сопровождает его. Наши высшие должностные лица прекрасно знают эту тайну. Пышность, которой они себя окружают, роскошные костюмы, в которые они одеваются, им совершенно необходимы; без этого блеска они утратят почти весь свой авторитет. Если бы врачи не набивали свои чемоданчики мазями и микстурами, если бы клирики не носили сутан и клобуков, им не удавалось бы обманывать людей; то же самое относится к военным с их ослепительными мундирами, шитьем, шпагами, шпорами и золочеными пряжками. Военные не наряжаются, только когда действительно идут в бой: на поле битвы прикрасы не нужны. Вот почему наши короли не стараются придать себе величественный вид, а окружают себя стражей и блестящей свитой. Гвардейцы с барабанщиками впереди, окружающие их грозной ратью, приводят в трепет самых решительных заговорщиков. Нужно обладать очень тонким умом, чтобы смотреть на Великого Султана, чей великолепный сераль охраняют сорок тысяч янычаров, как на обыкновенного человека. Когда мы видим адвоката в тоге и шапочке, подобно вам, ваша милость, мы сразу проникаемся почтением к его особе. Однако, когда я занимал пост губернатора Мисьонес, я ходил без стражи, без свиты. Правда, там сделали свое дело последователи Лойолы: за сто лет они почти полностью приручили индейцев. Из них не мог выйти никакой Хосе Габриэль Кондор Канки<sup>[88]</sup>. И если бы в этих местах поднял восстание новый Тупак Амару, он был бы побежден и казнен, как в свое время

мятежник Хосе де Антекера, как мятежный инка и все прочие мятежники, когда бы и где бы они ни бунтовали.

Здесь, в Асунсьоне, я взял себе за правило следовать обычаю с возможно большей умеренностью. Поэтому меня любят и уважают. Я по натуре снисходителен. Если я не всегда нахожу справедливое решение, то, во всяком случае, умеряю несправедливость мягкостью. Вы так не считаете, ваша милость? Его рожок застыл у меня перед глазами в виде вопросительного знака. Я сохранял молчание. Дон Бернардо снова зажужжал:

Ваша милость, первый алькальд, потомок самых родовитых идальго и завоевателей Южной Америки, согласно полученным мною сведениям о вашей генеалогии, самый выдающийся человек в этом городе как по своей просвещенности, так и по своему служебному рвению, должны что-то знать о тех, от кого исходят и кто распространяет столь бессмысленные слухи. Скажите же мне с полной откровенностью, что вам известно об этих рассказах. Пристально глядя на него, я ответил: если бы я ничего не знал, я бы вам так и сказал, старый бурбон. Но так как я кое-что знаю, я вам ничего не скажу. Оставим же этот разговор. От меня вы не дождетесь доносов, и мне не стоит задерживаться здесь в этот день, ничего не обещающий, но многое предваряющий: ведь если тот, кто говорит, безумен, тому, кто слушает, следует быть благоразумным. Он опять пустил в ход рожок: как достойный подданный нашего государя вы должны содействовать сохранению общественного порядка и спокойствия в этой провинции. Вице-король предупредил меня, что из Буэнос-Айреса в Асунсьон засылается множество подметных листов, враждебных монархии. Настоящий потоп. Я поручил советнику Сомельере расследование этих крамольных происков. Помогите нам, ваша милость, как синдик-генеральный прокурор.

Он все уговаривал меня на ухо стать наушником, и его сопение царапало мою евстахиеву трубу. Я не выдержал, взял рожок, всунул его в волосатое ухо губернатора и крикнул во все горло: собака лает, ветер уносит! Губернатор засмеялся, весьма довольный. Он убрал руку с моего живота, где он держал ее, как бы побуждая меня излить душу и очистить желудок, и фамильярно похлопал меня по плечу. Я знал, что ваша милость понимает, как обстоит дело. Я не сомневался, что найду в вас человека, чья помощь будет для меня неоценима. Продолжайте оказывать мне ее во имя нашего возлюбленного государя. Кто ищет, тот всегда найдет, сказал я, чтобы заполнить паузу. А он, не столько для того, чтобы ответить поговоркой на поговорку, сколько для того, чтобы придать себе бодрости, расправил свое бархатное крыло и произнес: я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь! При этом дон Бернардо уронил свой рожок. Он куда-то завалился, и мы долго ползали на четвереньках под столом, сталкиваясь рогами, копытами, задами в этакой жалкой тавромахии. Наконец дружелюбный и добродушный Герой с победоносным видом вытащил мокрый рожок из плевательницы и, сделав веронику, вручил его хозяину.

Так кончилась моя последняя приватная встреча с губернатором Веласко, которого уже ждало в ближайшем будущем отстранение от должности — для него немногим меньшее несчастье, чем если бы его бросили в колодец.

Почему играет оркестр, Патиньо? Ваше Превосходительство возвращается с прогулки. Поддай ка мне подзорную трубу. Открой пошире ставни. Выдвини все трубки. Вдали кто-то машет руками. Зовет на помощь. Должно быть, это просто

москит прилип к стеклу, Ваше Превосходительство. Протри объектив лоскутком фланели.

Внезапно показывается ртутная гладь. Бухта, порт, суда, вырисовывающиеся на фоне неба. «Парагвайский ковчег» на стапелях, почти готовый к спуску на воду. Кто тебе сказал, что остов совсем прогнил? Так уверяют плотники и конопатчики, сеньор; ведь он уже двадцать лет брошен на произвол судьбы: тут вам и солнце, и дожди, и засухи. Ты лжешь! С порывами северного ветра доносится запах горячей смолы. Я слышу дробь молотков. В чреве «Ковчеха» гремят инструменты. Я там, руковожу работами, отдаю распоряжения моим лучшим корабельщикам — Антонио Итурбе, Франсиско Трухильо, итальянцу Антонио де Лоренцо, индейцу Матео Мборопи. Я вижу красный с синим «Ковчег». Фигурное украшение на его носу раздирает облака. Вот теперь дело сделано, доведено до конца! В третий раз перестроенный, в третий раз воскресший, «Парагвайский ковчег» обрел реальность и завершенность. А ты его видишь, Патиньо? Прекрасно вижу, сеньор. Где же ты его видишь? Там, куда указывает Вашество. Может, ты просто хочешь лишний раз потрафить мне, льстец? Если бы это было так, Ваше Превосходительство, то и подзорная труба, в которую вы смотрите, тоже бессовестно льстила бы вам, показывая то, чего не существует.

Когда я добьюсь восстановления свободного судоходства, «Парагвайский ковчег» донесет до самого моря поднятый на топ-мачту флаг республики. С полными товаров трюмами. Смотри! Он скользит вниз, сходит со стапелей! Он плывет! Плывет, сеньор! Повтори это, кричи во всю мочь!

ыывееет сееньооррр

Я вижу пушки на палубе. Когда их установили? Пушки стоят над обрывом, сеньор; это батареи, защищающие вход в порт. Но, Патиньо, если пушки не на палубе «Ковчеха», то и «Ковчег» не там, где кажется. Нет, сеньор, «Ковчег» там, где Вашество видит его. Почему вдруг смолк шум работы? Это играл оркестр эскорта, сеньор, а теперь кончил. То-то и плохо, мой уважаемый секретарь. Я слышу глубокую тишину. Отдай приказание комендантам казарм, чтобы с завтрашнего дня все военные оркестры играли от восхода до заката. Ваше приказание будет выполнено, сеньор.

На обрывистом берегу — совсем близко, рукой подать — апельсиновое дерево, под которое ставят тех, кого расстреливают. Сухое, с кривыми сучьями, сплошь покрытое лишайником. Какой это часовой повесил свой карабин на ветку? Сеньор, это ружье, которое очень давно воткнули в дерево. Идиот, он повесил там сушиться свою одежду — китель, рубашку, галстук. Что за недисциплинированность? Скажи начальнику караула, чтобы он дал ему месяц гауптвахты и посадил на хлеб и воду. Пусть научится заботиться о своей форме. Сеньор, я что-то не вижу этого небрежного часового. И не могу разглядеть его вещей. Это еще не доказывает, что они не превратились в тряпки. А может быть, сеньор, часовой щеголяет в костюме Адама. Все равно, отдай приказание.

*(В тетради для личных записок)*

На том берегу речушки Кара-кара прачки колотят вальками белье. Ребятишки купаются нагишом. Один смотрит сюда. Поднимает руку. Показывает на Дом Правительства. Одна из женщин, перекрестившись, дает ему такую затрещину, что он летит в воду. Негритенок ныряет. Женщины застывают. Эти люди не обманываются. Они видят меня верхом на пегом. Они не обманываются. Они знают, что это Я не

Верховный, которого они боятся-любят. Их любовь-страх позволяет им это знать и в то же время обязывает их не знать, что они это знают. В их страхе вся их мудрость. Она велит им ничем не быть. Ничего не знать. Безвестные подсолнечники, они отбрасывают на воду тень своего уныния. Что они знают о Южном Кресте, о крестоносцах, о крестоцветных? Колотя вальком и полоща белье, они курят огромные сигары, и вместе с дымом от них исходит и знание, и невежество. Они целыми месяцами смеялись над фигурой на носу «Ковчега» — змеей с головой собаки, которую вырезал Матео Мборопи. Если встречный ветер дует ей в рот, чудовище лает, то подвывая, то заходясь кашлем. Они годами потешались над этой непонятной фигурой, над этим еще более непонятным лаем, пока от собачьей головы не остался лишь кусок челюсти.

Они уже давно не смеются. Они знают еще меньше, чем прежде. А боятся больше. Прачки перекидываются с берега на берег именем фантастического персонажа. Потом поют. Их песни долетают до меня, подобные почтовым голубям, которых я послал в армию. Пойду-ка посмотрю, говорю я себе. Пойду-ка послушаю. Однажды вечером я подошел к речушке. Спросил у одной прачки, чему она смеется. Ее смех оборвался, и по лицу ее было видно, что она не верит своим глазам. Она воззрилась на меня, моргая от удивления, как будто я впал в детство. От чего рождается рыба? — спросил я ее. От малюсенькой колючки, которая плывет по воде. От чего рождается обезьяна? От кокосового ореха, который качается в воздухе. А кокосовая пальма? Кокосовая пальма рождается от рыбы, от обезьяны и от кокосового ореха. Ну, а мы от чего рождаемся? От мужчины и женщины, которые спаслись во время потопа, забравшись на очень высокую кокосовую пальму, — так говорит Паи в церкви, сеньор. Но моя мать была юлой, такая она была сараки<sup>1891</sup>, а мой отец ремнем, который подхлестывал юлу. Когда они оба остановились, родилась я. Так говорят. Но кто его знает, верно это или нет: ведь тот, кто рождается, не знает, что рождается, а тот, кто умирает, не знает, что умирает. Хорошо сказано, сказал я и ушел, оставив за спиной ее смех.

Если бы я мог сегодня добраться до ручья, я спросил бы у прачек, видели ли они месяц назад, спустя три дня после грозы, как в пять часов вечера налетела тьма слепых птиц. Спросил бы, слышали ли они, как кричали эти птицы, прилетевшие с севера. А впрочем, к чему. Они ничего не знают, ничего не видели, ничего не слышали.

Я уже не слушаю оркестр. Через семнадцать минут в эту дверь войдет Он. Тогда я уже не смогу больше писать тайком.

Обтянутый кожей череп пристально смотрит на меня. Передразнивает гримасы, которые вызывают у меня удушье. Я впиваюсь ногтями в адамово яблоко, сжимаю трахею, которая всасывает пустоту. Призрак с лицом мумии делает то же самое. Кашляет. Его грубый смех отзывается в моей черепной коробке. Он будет и дальше наблюдать за мной, даже если я сумею не смотреть на него. Игнорировать его. Я пожимаю плечами. Он тоже пожимает плечами. Я закрываю глаза. И он закрывает глаза. Я представляю себе, что его здесь больше нет. Нет, он не исчез. Он смотрит на меня. Швырнуть в него чернильницу, чтобы он пропал. Я хватаю чернильницу. Он тоже хватает чернильницу. Если я опережу его, получится еще хуже. Похожий на скелет старик по-прежнему будет торчать перед глазами, умножившись и приплясывая в каждом обломке луны — круглого зеркала, затуманенного испариной. Он поворачивается к окну. Я теряю его из виду. Краешком глаза вижу, что он меня

видит. В человеке потаенно живут чудовища. Химерические животные. Существа не от мира сего. Иногда они выходят наружу и немного отдаляются от нас, чтобы лучше следить за нами. Чтобы лучше завораживать нас.

Что ты видишь в зеркале? Ничего особенного, Ваше Превосходительство. Посмотри как следует. Хорошо, сеньор, если вам угодно знать, что я вижу, то я вижу то же, что всегда. Слева портрет сеньора Наполеона. Справа портрет вашего кума Франклина. Что еще? Стол, заваленный бумагами. Что еще? Оббитый угол аэролита, на котором стоит подсвечник. А моего лица не видишь? Нет, сеньор, вижу только черепок. Какой черепок? Я хочу сказать, череп, который вы, Вашество, всегда держите на столе, на красной фланелевой салфетке. Обернись. Посмотри на меня. Подними голову, подними твои гнусные глаза. Неужели ты никогда не научишься смотреть человеку в лицо? Каким ты меня видишь? Я всегда вижу Вашество в парадной форме — голубом сюртуке и белых кашемировых панталонах. Хотя сейчас, когда вы вернулись с прогулки, на вас коричневые брюки для верховой езды, слегка влажные на шенкелях от лошадиного пота. Треуголка. Лаковые ботинки с золотыми пряжками... Никогда я не носил золотых пряжек и вообще ничего золотого. Прошу прощения, Ваше Превосходительство, но все вас видели и описывали в таком виде. Так вас нарисовал, например, дон Хуан Робертсон<sup>[90]</sup>. Поэтому я и приказал тебе сжечь мазню англичанина, где он изобразил меня не то обезьяной, не то надутой девочкой, сосущей из длиннющей бомбильи мате, который не имеет ничего общего с парагвайским мате, да еще на фоне индийского или тибетского пейзажа, даже отдаленно не напоминающего наш ландшафт. Я своими руками сжег этот портрет, Ваше Превосходительство, а на его место по вашему приказанию повесил портрет сеньора Наполеона, чья величественная фигура так походит на вашу. Я сжег написанный англичанином портрет, но остались его бумаги, на которые мы наложили арест. В них тоже есть изображение Вашества. Какое изображение? Там описывается наше высшее должностное лицо, каким увидел его гринго во время своей первой встречи с Вашеством на чакре<sup>[91]</sup> Ибирай. Он повернулся ко мне, дословно пишет англичанишка, и я увидел джентльмена в черном с наброшенным на плечи алым плащом. В одной руке он держал серебряную чашку для мате с золотой бомбильей необычайных размеров, а в другой сигару. Под мышкой у него была книга в кожаном переплете с накладным орнаментом из тех же металлов. Возле джентльмена, скрестив руки, стоял черный мальчик в ожидании приказаний. Лицо незнакомца... какова наглость, Ваше Превосходительство! Называть Вашу Милость незнакомцем! Продолжай, мошенник, и оставь свои комментарии при себе. Лицо незнакомца было мрачно, а его пронизательные черные глаза так и впивались в человека. Зачесанные назад черные, как уголь, волосы оставляли открытым высокий лоб и, локонами падая на плечи, придавали ему достойный и внушительный вид, исполненный одновременно суровости и доброты; наружность его приковывала внимание и вызывала уважение. Я увидел у него на ботинках большие золотые пряжки. Повторяю, я никогда не носил золотых пряжек и вообще ничего золотого. Однако другой иностранец, дон Хуан Ренго<sup>[92]</sup>, тоже видел Ваше Превосходительство одетым таким образом, когда он со своим товарищем и коллегой Марселино Лончаном<sup>[93]</sup> прибыл в этот город 30 июля 1819, спустя четыре года после высылки англичан. У Верховного Диктатора вид внушительный! — пишут швейцарские хирурги в IV главе, на 56 странице своей книги. В этот день в соответствии с этикетом он был в голубом мундире с галунами и наброшенном на плечи вишневом плаще — форме

испанского бригадного генерала... Никогда я не носил формы испанского бригадного генерала! Я скорее предпочел бы нищенские отрепья. Я сам нарисовал костюмы, приличествующие Верховному Диктатору. Вы тысячу раз правы, Ваше Превосходительство. Все эти англичанишки и иже с ними были круглыми невеждами. Они не поняли, что форма нашего Верховного — верховная и единственная в своем роде форма. Они только и увидели вишневый плащ, жилет, панталоны и ботинки с золотыми пряжками... Жалкие людишки! Они видят эмблему моей власти в пряжках на моих ботинках. Они не способны поднять глаза выше. Они видят в таких пряжках нечто чудесное: золотой кадуцей Меркурия, лампу Аладдина. С таким же успехом они могли изобразить меня с перьями Птицы-которая-никогда-не-садится, в плаще Маккавея, с золотыми шпорами великого визиря. Совершенно верно, Ваше Превосходительство! Таким вас видели иностранщишки. А я спрашиваю тебя, каким ты меня видишь. Я, сеньор, вижу вас в накинутом на плечи черном плаще с пунцовой подкладкой... Нет, дубина. На плечи у меня накинут мой спальный халат, предназначенный для вечного сна, превратившийся в лохмотья халат, который уже не может прикрыть наготу моего костяка.

*(В тетради для личных записок)*

Негритенок, отфыркиваясь, вынырнул из воды. Сверкают его ослепительно белые зубы. Он бултыхается вместе со всей детворой. Женщины принялись опять колотить вальками грязное белье, судача между собой. Таким же, как этот негритенок, был и раб Хосе Мария Пилар. Он был, должно быть, в том же возрасте, когда я купил его вместе с двумя старыми рабынями, Сантой и Аной. За них я заплатил гораздо меньше ввиду их пожилого возраста и болезни — у обеих тело было покрыто язвами. Старухи выздоровели и живут до сих пор. Они преданы мне до гроба. А вот негр Пилар мне изменил. Мне пришлось излечить его от язвы предательства под апельсиновым деревом. Порох всегда хорошее лекарство для безнадежных больных.

Я стал здесь призраком. Ни черным, ни белым. Не то серым, не то бесцветным. Я раздваиваюсь в лживом зеркале. Те, кто останавливались на моей внешности для того ли, чтобы очернить, или для того, чтобы превознести меня, разошлись в описании моего платья. И в еще большей мере в описании моей наружности. Что же тут удивительного, если я сам не узнаю себя в фантоме, который смотрит на меня! Все, как замороженные, усталились на несуществующие золотые пряжки — на самом деле они были в лучшем случае серебряными. Последнюю пару, которую я носил до того, как нога у меня распухла от подагры, я подарил освобожденному рабу Макарио, моему крестнику, сыну предателя-камердинера Хосе Марии Пилара. Последним желанием этого негодяя было, чтобы его отпрыска тоже звали Хосе Мария. Но я велел наречь его при крещении Макарио, чтобы ему не пришлось нести бремя имени, унаследованного от предателя. Я отдал его на попечение рабынь. Он возился в золе. Я дал ему пряжки, чтобы он играл с ними. Ребенок Макарио исчез. Улетучился, как дым. Точно сквозь землю провалился. Исчез как живое, реальное существо. Через много времени он вновь появился в гнусных писаниях, которые публикуют за границей странствующие щелкоперы. Они вырвали Макарио из действительности, лишили его доброй природы и в своих измышлениях превратили в нового предателя.

Солнце заходит, последним заревом озарив порт. Чернеют ветви апельсинового дерева. Я все еще вижу его, приложив руку козырьком к глазам. Его листва сливается с фалангами моих пальцев. От печальных мыслей оно иссохло скорее, чем мои кости. Превратилось в тонкую карикатуру на дерево. Мачеха-природа, ты искуснее самых

искусных пасквилянтов. У тебя слишком богатое воображение для подражательства. Даже когда ты подражаешь, ты создаешь нечто новое. Замкнутый в этой дыре, я могу только копировать тебя. Апельсиновое дерево за окном передразнивает мою костлявую руку. Оно сильнее меня — я не могу перенести его на эти листки и занять его место над обрывом. Негритенок писает на его ствол; может быть, ему удастся оживить его. Я могу только писать, иначе говоря, убивать живое. И делать еще более мертвым то, что и без того мертво. Я, похожий на скорченное дерево, выросший в перину и вымокший в собственной испарине и моче, жалок и беспомощен, как птица, лишившаяся оперения, и перо вываливается у меня из руки.

Выросший в дверях, Он озирает меня. От него ничто не может укрыться, словно у него тысячи глаз и Он смотрит одновременно во все стороны. Он хлопает в ладоши. Тут же появляется одна из рабынь. Я слышу, как Он приказывает: принеси что-нибудь попить. Ана смотрит на меня глазами слепой. Ведь Я ничего не сказал. Я слышу, как Он говорит: принеси Доктору свежего лимонада. Голос у него шуточный. Мощный. Он наполняет все помещение. Ливнем падает на меня, пылающего в жару. Проникает внутрь каплями расплавленного свинца. Я возвращаюсь в полутьму, исчерченную молниями. Я вижу, как Он удаляется, высоко держа голову, овеванный бурей, которая распахивается перед ним. За окном ночь снова гасит пожар заката.

Ана входит со стаканом лимонада.

*(Периодический циркуляр)*

В июле 1810-го губернатор Веласко решает использовать последнее средство. Он больше уже не будет пастись: в губернаторской резиденции не осталось ни травы, ни мараведи. Неурожай на цехины<sup>1941</sup>. Жвачные животные из кабиельдо советуют ему созвать конгресс для решения судьбы провинции. В Буэнос-Айресе вице-король Сиснерос свергнут Правительственной Хунтой из креольских нотаблей. Дон Бернардо понимает, что всеобщее брожение сулит ему ту же участь. Он пытается найти прибежище на военном корабле, но обнаруживает, что на нем нет пушек. Да и река обмелела. Он возвращается во дворец и созывает клириков, старших офицеров, высших должностных лиц, представителей профессиональных корпораций, литераторов и прочих именитых граждан, которые, не будучи коренными парагвайцами, прочно укоренились в Парагвае. Само собой разумеется, чернь, это «огромное животное», в совет не допускается. Конклав собирается не в Доме Правительства, а в епископате — примечательное обстоятельство, хотя его предпочитают не замечать. Епископ Педро Гарсия Панес-и-Льоренте, находившийся при дворе Жозефа Наполеона<sup>1951</sup>, только что прибыл в Асунсьон и явно был ошарашен сообщением о «бессмысленных слухах», которое в виде приветствия сделал ему губернатор. Прелат и сам привез из-за океана тревожные слухи. С другой стороны, лисы из буэнос-айресской первой Хунты послали в Асунсьон в качестве представителя нового правительства самого ненавистного человека в провинции, старика полковника Эспинолу-и-Пенью<sup>1961</sup>, утверждавшего, будто он уполномочен сместить губернатора. Прекрасный способ завоевать приверженцев: парагвайцам не очень-то улыбалась такая революция, которая свелась бы к замене Веласко Эспинолой! Это предвосхищало последующие события.

В такой обстановке двести нотаблей собрались в осином гнезде, именовавшемся епископатом. Нет худа без добра: не желая того, эти тряпичные куклы образовали парагвайское учредительное собрание. Восстание уже поднималось как на дрожжах; но, конечно, не там. Итак, дорогие соотечественники, провозглашает некий гачупин,

рупор губернатора, потерявшего голос (а вскоре за тем и право голоса), признаем тут же без голосования верховную власть Регентского совета как законного представителя Короны и будем поддерживать братские отношения с Буэнос-Айресом и остальными провинциями вице-королевства. Но так как соседняя бразильско-португальская империя только и ждет случая проглотить эту прекрасную провинцию, добавил советник-сарацин, и держит свои войска на обоих берегах реки Уругвай, нам надобно ополчиться для защиты от этого врага. Покажем, кто мы такие и как мы понимаем свой долг, не позволив властвовать над нами никому, кроме нашего законного государя. Таков был, заимствуя выражение Цезаря из его записок, «ахиллесов довод» роялистов в сложившихся обстоятельствах.

Nequaquam!<sup>[97]</sup> Я сказал: испанское правление на нашем континенте отжило свой век. Завизжал губернатор-интендант в свой рожок; завизжали испуганные крысы, собравшиеся на конгресс. Епископ перевел на латынь свое пасторское ошеломление. Он оперся на посох и дрожащей рукой устави́л на меня нагрудный крест. Наш августейший монарх остается государем Испании и ее заморских владений: и островов, и материка — всей твердой земли! Все повскакали с мест, поднялся неслыханный галдеж. Я хлопнул рукой по столу, чтобы водворить тишину. У нас монарха больше нет, вот и весь наш ответ! Здесь, в Парагвае, твердая земля — это твердая воля народа сделать свою землю свободной отныне и навсегда! Единственный вопрос, который нам предстоит решить, — это вопрос о том, как мы, парагвайцы, должны защищать свою независимость от Испании, от Лимы, от Буэнос-Айреса, от любой иностранной державы, пожелавшей нас поработить. На каком основании синдик-генеральный прокурор позволяет себе эти бунтарские речи? — взвизгнул какой-то пришлый мозгль, роялистская крыса. Я вытащил два пистолета<sup>[98]</sup>. Вот мои аргументы: один — против Фердинанда VII, другой — против Буэнос-Айреса. Держа палец на курке, я потребовал от губернатора, чтобы он поставил на голосование мое предложение. Он решил, что я сошел с ума. С рожком во рту он, заикаясь, проговорил срывающимся голосом: вы же обещали помочь мне в борьбе против крамолы! Это я и делаю. Крамольники теперь роялисты и портенъисты. Он обалдело заморгал. Его выпученные глаза перебежали с рожка на мои пистолеты. Я требую, чтобы мое предложение было немедленно поставлено на голосование, сказал я, еще раз хлопнув рукой по столу. Многие подумали, что я выстрелил из пистолета. Самые пугливые бросились на пол. Епископ нахлобучил митру на глаза. Губернатор делал отчаянные жесты, хватаясь за воздух, как утопающий. Его сторонники вступили в действие. Послышался крик: Да здравствует Регентский совет!, поднялся шум. Принесли урну для голосования. Роялисты побросали в нее свои бумажки, крича до хрипоты: Да здравствует восстановление политического статута провинции! Губернатор вновь обрел дар речи. В этот момент, как мне рассказал потом Хосе Томас Исаси<sup>[99]</sup>, внезапно вбежали ряженный в костюме клоуна — неподалеку происходило народное празднество — и два негра, гнавшиеся за ним. Это странное вторжение вызвало в собрании полный переполох. Говорят, первый негр схватил один из моих пистолетов, тот, что предназначался для короля. Он выстрелил в клоуна, и тот упал позади кресла губернатора, за которым пытался укрыться.

Я ничего этого не видел. Если то, что рассказал предатель Исаси, достоверно, то за этим спектаклем, без сомнения, крылись махинации роялистов, старавшихся сорвать ассамблею. Была ли это всего лишь пантомима или нет, могу только сказать,



что это дает достойное представление о том, что там происходило. За минуту до того я покинул епископский курятник, проложив себе дорогу через скопище галдящих гачупинов, и вышел на улицу, переполошив всех этих клуш и каплунов-клириков, должностных лиц, извращенно-развращенных литераторов, которые продолжали кудахтать, толпясь вокруг двух пистолетов, представлявших мою аргументацию.

Недолго продлиться суждено было их торжеству. Я унес с собой яйцо Революции, чтобы в подходящий момент из него вылупился птенец.

*(Написано на полях незнакомым почерком)* Ты захотел подражать Декарту, который терпеть не мог свежих яиц. Он выдерживал их в золе, а потом выпивал зародышевое вещество. Ты хотел сделать то же самое, не будучи Декартом. Но ты не собирався каждое утро завтракать Революцией вместе с мате. Ты превратил эту страну в яйцо очищения и искупления, яйцо, из которого вылупится неизвестно что, неизвестно как, неизвестно когда. В зародыш самой процветающей страны в мире, который так и остался зародышем. В золотое яблоко на древе человеческой легенды.

Я сел на лошадь. Пустил ее в галоп. Полной грудью вдохнул запах земли и согретого солнцем леска. Из низины поднимались мягкие сумерки. Похожие на барабанную дробь трели птицы-колокола в горах Манора принесли мне некоторое успокоение духа. Я отпустил поводья, и лошадь перешла на рысь, как бы в лад моим думам. Наплыв мыслей чувствуешь, как приближение несчастий. Возвращаясь из Ибирая, я размышлял о том, что произошло; о том, что даже в самом незначительном происшествии играет роль случайность. Я понял тогда, что, только ухватившись за нить случая в канве событий, можно сделать возможным невозможное. Понял: чтобы иметь возможность действовать по своей воле, надо иметь волю действовать так, чтобы создать эту возможность. В эту минуту болид прочертил на небосводе светящуюся линию. Кто знает, сколько миллионов лет носился он в космосе, прежде чем сторел в какую-то долю секунды. Я где-то прочел, что блуждающие звезды, метеоры, аэролиты воплощают случайность во вселенной. Итак, подумал я, вся сила в том, чтобы не упустить случай, изловить случай. Открыть его законы, то есть законы упущения. Ведь слепой случай существует лишь постольку, поскольку существует слепота. Надо подчинить его закону анти-упущения. Противопоставить случайности анти-случайность. Вырвать из мирового хаоса немеркнувшее созвездие, извлечь из невероятного непреложное. Государство, вращающееся на оси своей независимости. Суверенную власть народа, источник энергии в организации республики. В политической вселенной государствам суждено объединиться или взорваться. Так же как галактикам в космической вселенной.

Первая задача: стихию анархии подчинить иерархии. Парагвай — центр Южной Америки. Географическое, историческое, социальное ядро будущей интеграции независимых государств в этой части Америки. От судьбы Парагвая зависит политическая судьба всего нашего континента. Вороной слегка заржал, запрядав ушами, — даже верный конь счел такое утверждение преждевременным. Может случиться, что нас победят, сказал я ему, но мы должны стараться воспрепятствовать этому. Он фыркнул. Не бойся своей тени, дружище. Настанет день, когда ты сможешь без страха и печали скакать против солнца по этой обетованной земле. Он зарысил спокойнее, утвердительно кивая головой; его только немножко беспокоили удила, лязгавшие между коренными зубами.

Я опять поднял голову и посмотрел на небо. Попытался читать книгу созвездий при свете их собственных огней. В этой книге-сфере<sup>[100]</sup>, которая ужасала Паскаля,

самое ужасное то, что, несмотря на обилие света, существует темная случайность. Во всяком случае, мудрейший мыслящий тростник не смог разгадать ее сущность даже с помощью простодушной веры в Бога, в это столь короткое и столь туманное слово, которое вставало между его мыслью и вселенной, между тем, что он знал, и тем, чего не знал. Скажи мне, старина Блез, ты, который первым без провинциальной боязливости раз-исусил Орден Иисуса<sup>[101]</sup>, скажи мне, ответь: что именно ужасало тебя в этой бесконечной сфере, центр которой находится везде, а поверхность нигде? Не была ли это в действительности бесконечная память, которой она наделена? Память, законы которой издает космос, возникший из ничего.

Память без щелей. Без упущений. Сама точность. В мягком воздухе, напоенном запахами мяты и пачулей, прозвучал голос старины Блеза: может быть, может быть. Обратившись к себе самому, человек соотносит себя с тем, что существует вне его. Ты, в ком сочетаются две души, чувствуешь себя как бы заблудившимся в этом глухом уголке природы. Опьяненный пряным ароматом идеи, ты скачешь в свое имение, в свою монашескую обитель. Ты мнишь, что ты свободен, и лелеешь мысль освободить страну- Но вместе с тем ты видишь себя узником, пишущим при свете свечи в своей тесной камере, возле метеорита, который ты пленил и сделал своим товарищем по заключению. Не приписывай мне того, что я не хочу сказать и не сказал, парагвайский собратец. Учись оценивать страну, свою страну, народ, свой народ, и самого себя. Оценивать по достоинству. Что такое человек в бесконечности? Бесконечно малая величина. Что такое человек в природе? Ничто по сравнению с бесконечным; все по сравнению с ничем. Следовательно, он промежуточное звено между всем и ничем. Начало и конец всех вещей для него окутаны непроницаемой тайной. Ну, старина Блез, не будь пораженцем! Ты хочешь завлечь меня в ловушку, которой является слово Бог, обозначающее то, что, по твоим собственным словам, выходит за пределы сферы, а следовательно, не вмещается в сознание. Не будь глупее лошади. Ты куда умнее рассуждал о конкретных вещах — иезуитах, животных, насекомых, пыли, камнях. Ты сам смеялся над Декартом как философом. Ты назвал его учение бесплодным и невразумительным. Что может быть нелепее, чем утверждение, что неодушевленным телам свойственны настроения, страх, отвращение? Что безжизненные и бесчувственные тела наделены страстями, предполагающими наличие души? Что пустота внушает им ужас? С чего бы им бояться пустоты? Можно ли представить себе что-либо более смехотворное? Ты, старина, сам совершил нечто не менее смехотворное, но не мог простить Декарту, что он захотел в своей философии оставить Бога в стороне, предоставив ему лишь дать миру первоначальный пинок. Ты не прощаешь ему, что после этого он навсегда уволил Бога в отставку. Бог выдуман людьми из страха перед небытием, и, по-твоему, эта выдумка доказывает его бытие? Так и скажи.

Сейчас меня не занимает вопрос о Боге. Меня занимает вопрос о том, как подчинить себе случай. Обломать минотавру рога и вывести страну из лабиринта.

(На полях, незнакомым почерком: Ты создал другой. Лабиринт подземных застенков для несчастных нобилей. Но над ним ты возвел еще более темный и запутанный: лабиринт своего одиночества. Один-ночества — ты ведь любишь игру слов. Старый мизантроп, ты заполнил этот лабиринт своего страха перед пустотой пустотой абсолюта. *Spongia solis*<sup>[102]</sup> ... Так это и есть щелчок, которым ты привел в движение Революцию, как Бог мироздание, по Декарту? Ты решил, что Революция —

творение одного, замкнутого в одиночестве? Один всегда ошибается; истина начинается с двоих...)

Ах ты, лже-обличитель лжи! Страна странна, как игра случая, лишь до тех пор, пока не установишь ее место, не измеришь ее, не узнаешь в мельчайших подробностях, не проникнешь во все ее тайны, и я должен это сделать, чтобы быть способным вести ее. Я вхожу в нее, составляю ее часть. Но вместе с тем я должен быть вне ее. Следить за нею со стороны. Претворять свою волю в ее внутренний импульс. Мой проклятый жребий — бросить жребий.

Когда в начале Пожизненной Диктатуры в ста лигах от Асунсьона упал аэролит, я приказал взять его в плен. Никто не понял тогда и никто никогда не поймет смысла этого пленения блуждающего болида. Дезертира, беглеца из космоса. Я приказал, чтобы его взяли под арест и доставили сюда. В течение нескольких месяцев маленькое войско тащило его по равнине Чако. Пришлось выкопать больше ста кубических вар земли, чтобы добраться до него. Вокруг метеорита простиралось его магнитное поле. Непреодолимая преграда на единственном пути, которым можно было — по крайней мере на это были некоторые шансы — тайно выбраться из страны; на пути через Северный Чако. Этим путем попытался бежать французский коммерсант Эскофье, несколько лет назад попавший в тюрьму вместе с другими иностранными мошенниками. С кучкой освобожденных негров он переправился через реку и вышел в Гран-Чако. Одна беременная негритянка-рабыня отправилась с ними, чтобы не расставаться со своим сожителем. Негры один за другим перемерли от укусов змей, стрел индейцев, тропической лихорадки, и под конец остались в живых только беглец Эскофье и рабыня. Поле притяжения метеорита засосало их, и они оказались у котлована, где работала сотня саперов. Француз не осталось ничего другого, как копать землю вместе с ними, пока у него хватало сил. Потом его расстреляли, а труп бросили в ров. Рабыня родила ребенка и стала стряпухой у саперов. Я мог там и оставить метеорит; он был бы хорошим стражем в этой пустыне. Но я предпочел держать его под рукой. Доставить его было нелегкой задачей. Мне это стоило жизни более ста человек, погибших в борьбе с дикими племенами, стихиями, зверями, с ужасающей тайной случая, не покорявшегося людям. Метеорит сопротивлялся с неслыханной хитростью и злобой. Только когда рабыня со своим сыном шли впереди колонны, он, казалось, уступал и давал вести себя через пустыни и болота. Ужаленная змеей, рабыня умерла. Камень снова заартачился, и с ним не могли сладить до тех пор, пока сын рабыни, можно сказать, молочный брат камня, превратившийся в талисман для рабочих, не начал ходить. Его прозвали Колобком. Он стал бы моим лучшим проводником, но однажды ночью он исчез из лагеря, возможно, похищенный индейцами. Перевозка камня по реке длилась дольше странствий Улисса по гомеровскому морю. Дольше, чем Перрурима пробыл в болоте, ища кварто<sup>[103]</sup>, который там затерялся, по словам Педро Урдемалеса<sup>[104]</sup>. Дольше, чем рассказывались все эти сказки. Не нашлось ни судна, ни плота, способного выдержать десять тысяч арроб космического металла. Пошли ко дну целые флотилии. Еще сто человек утонули за время нескончаемого путешествия. Злые шутки и хитрости метеорита, не желавшего двигаться вперед, умножились. К нему послали сотни черных рабынь с маленькими детьми, но у космического пса был тонкий нюх, непонятный нор и свои законы — почти такие же непреложные, как мои. Однако я не желал допустить, чтобы строптивый камень настоял на своем, вышел победителем из этой борьбы. Наконец невиданная за последние сто лет убыль воды в реке

Парагвай позволила доставить монолит на место назначения с помощью специально изготовленных катков, которые тащили тысяча упряжек волов и больше тысячи солдат, отобранных из числа лучших пловцов в армии. И вот он здесь. Случай-метеор посажен на цепь, прикован к моему креслу.

*(Незнакомым почерком: Ты решил, что таким образом уничтожишь случайность? Ты можешь держать в застенках пятьсот изменников-нобилей, составлявших былую олигархию, можешь бросить в тюрьмы всех до единого антипатриотов и контрреволюционеров. Ты можешь, пожалуй, утверждать, что революция вне опасности, что ей не грозят заговоры. Но что ты скажешь о бесчисленных мириадах аэролитов, которые прочерчивают небо во всех направлениях? Воплощенная в них случайность диктует свои законы, сводя на нет верховность твоей Верховной Власти. Для верности ты пишешь эти два слова с большой буквы. Но это только выдает твою неуверенность. Твой пещерный страх. Ты удовольствовался малым. Твой ужас перед пустотой, боязнь пространства, одетая в черное, чтобы тебе легче было сливаться с темнотой, иссушили твой ум. Подточили твой дух. Ослабили твою волю. Твоя всеобъемлющая власть не стоит ломаного гроша. Один метеорит не делает человека владыкой мира. Он здесь — это верно. Но и ты заточен вместе с ним. И ты узник. Подагрическая крыса, ты отравлен своим собственным ядом. Ты задыхаешься. Ты во власти старости, болезни, от которой не излечиваются даже боги.)*

Кто бы ты ни был, наглец, вносящий поправки в мои записки, ты начинаешь мне надоедать. Ты не понимаешь того, что я пишу. Не понимаешь, что закон символичен. Ограниченные умы не могут этого постигнуть. Они истолковывают символы буквально. Так и ты ошибаешься, заполняя поля моих записок самодовольно-насмешливыми замечаниями. По крайней мере читай меня внимательно. Есть символы ясные и символы темные. Я, Верховный, всегда сохраняю хладнокровие...

эпитет «верховный», по крайней мере применительно к себе самому, тебе бы лучше опускать, хотя бы в тех случаях, когда ты говоришь, глядя не извне, а изнутри на свою жалкую личность, в особенности когда ты в домашних туфлях сам с собой играешь в кости.

... повторяю, не перебивай меня. Я, Верховный, всегда сохраняю хладнокровие в своих страстях. Народ, простой люд, ясно понял в глубине своей множественной души смысл длившейся пять лет эпопеи пленения метеорита. Бунтовщики, все эти скупцы, спесивцы, клеветники, неблагодарные, разнузданные, тщеславные, напыженные, злобные людишки, все эти невежды и глупцы — да и где вы найдете умных заговорщиков? — яростно набросились на меня. Они объявили меня безумцем за то, что я приказал доставить сюда эту безумную тяжесть, этот упавший с неба камень. Некоторые даже шипели, что у меня самого на плечах камень вместо головы. Какое злопахательство! Но и они тоже охотились за случаем — за случаем свернуть мне голову...

раньше ты ратовал за мятеж, а теперь против мятежа

... напали на Верховного, не давая себе труда делать различие между личностью из плоти и крови и надличной фигурой. Первая может состариться, скончаться. Вторая непреходяща, нескончаема. Она эманация нации, олицетворенный суверенитет народа, хозяина будущего...

твой дух в томлении. Ты слишком многое вкладываешь во все, что говоришь!

Я сделал обрезание аэролиту. Металлического ошметка хватило на изготовление десяти ружей в государственных оружейных мастерских. Из этих ружей были расстреляны главари заговора 1820 года. Ни одна пуля не прошла мимо цели. С тех пор эти ружья ставят точку на всех тайных происках. Одним выстрелом расправляются с изменниками родине и правительству. По точности боя это лучшие ружья, какие у меня есть. Они не перегреваются и не изнашиваются. Из них можно делать по сто выстрелов кряду. Космическая материя не меняется. Подвергшаяся воздействию высочайших температур во вселенной, она, остыв, навсегда сохраняет свой закал. Если бы я мог собирать урожай аэролитов, как дважды в год собирают урожай маиса или пшеницы, проблема вооружения была бы уже решена. Не приходилось бы просить милостыню у торгашей и контрабандистов, которые продают мне на вес золота каждую крупинку пороха. Теперь они уже не довольствуются обменом оружия на нашу драгоценную древесину. Подавай им золотые монеты. Идиоты!

Метеоритные ружья — мое тайное оружие. Они тяжеловаты. Не годятся для тщедушных стрелков. Ведь на каждую из этих винтовок пошло не меньше десяти арроб космического металла. Чтобы пользоваться ими, нужны стрелки-атлеты. Беда только в том, что мне не удалось больше поймать ни одного метеорита. Одна из двух: либо небо стало скупее промышляющих оружием бразильских контрабандистов, либо пленение одного-единственного метеорита уничтожило мистичность случая, представшего одновременно как реальность и как символ. Если верно последнее, мне нечего больше бояться засад случайности. Тогда ты, у меня за спиной вносящий поправки в мои записки, ты, пишущий между строк и на полях моих самых сокровенных мыслей, обреченных на сожжение, ты полностью ошибаешься, а Я совершенно прав: господство над случайностью позволит моему народу быть действительно неодолимым до скончания веков.

На самом деле этого разговора с самим собой не происходило. Когда я рысил на вороном лицом к ночному небу, мое решение уже было принято. Тут я опять увидел тигра. Затаившись в зарослях на краю обрыва, он готовился, как в первый раз, прыгнуть на двухмачтовое суденышко, стоявшее на якоре в бухте. Команда спала тяжелым сном, спасаясь от зноя в тени парусов. Вороной уже скакал во весь опор, почуяв запах дома. И дом бежал нам навстречу.

Я уже не двинусь отсюда, из Ибирая, пока не возьму в свои руки бразды правления. Здесь мой наблюдательный пункт. Здесь моя монашеская обитель. Отшельник, связанный с судьбою страны, я засел в этой хижине в ожидании событий. Сюда придут за мной. Я открыл свой дом для крестьян, для простолюдья, для черни — для народа, объявленного на положении полуподпольной ассамблеи. И он превратился в подлинный кабильдо. Вот это действительно произошло.

*(Периодический циркуляр)*

*«Перечитывайте самым внимательным образом предыдущие выпуски этого периодического циркуляра, чтобы не терять на каждом повороте общую нить. Придерживайтесь не обода, который получает толчки на неровной дороге, а оси моей мысли, которая всегда остается в одном и том же положении, вращаясь вокруг самой себя». (Прим. Верховного.)*

В это время в Парагвай двинулся Бельграно<sup>[105]</sup> во главе экспедиционной армии. Адвокат, образованный и мыслящий человек, Бельграно был убежденным сторонником независимости, но, несмотря на это, двинулся выполнять приказ буэнос-

айресской Хунты: силой загнать Парагвай в загон для скота, то бишь для бедных провинций. Двинулся, движимый намерениями, которые поначалу, должно быть, казались ему благими. Двинулся по вине вина несбыточных надежд, вскружившего ему голову. Как это бывало и с другими, двинулся в сопровождении целого легиона подлых перебежчиков, вечных аннексионистов<sup>[106]</sup>, которые служили тогда, как служили и потом, проводниками для иноземцев, вторгавшихся в пределы их родины. Но скоро ему пришлось испытать укуса вместо вина.

Уже вступив на парагвайскую территорию и расположившись на вершине Горы Призрака, которую некоторые называют Горой Портеньо, он пишет призракам-портеньо из своей Хунты: «Я прибыл в этот пункт с немногим более пятисот людей и оказался перед лицом сильного противника, чьи войска насчитывают пять, а по другим сведениям, девять тысяч человек. С того момента как я переправился через Тебикуари, ко мне не явился ни один парагваец, который пожелал бы добровольно присоединиться к нам, и я не нашел таких добровольцев в парагвайских селениях, вопреки тому что сообщалось нам в донесениях (парагвайского полковника-ренегата Хосе Эспинолы-и-Пеньи); и так как до сих пор не обнаружено никакого движения в нашу пользу, а скорее наоборот, множество парагвайцев ополчается против нас, я должен сказать, что задачу армии, находящейся под моим командованием, следует видеть не в помощи Парагваю, а в его завоевании».

Написано собственноручно, отмечает Тацит Платы<sup>[107]</sup>. С наступлением темноты союзник-завоеватель уходит в свою палатку и, оставшись наедине со своим секретарем, испанцем Рокой, поверяет ему свои планы. Врагов тьма, но я считаю, что в нашем положении было бы большой ошибкой двинуться назад. Те, кого мы видели сегодня вечером, по большей части настоящие пентюхи; большинство из них никогда в жизни не слышали свиста пули, так что я очень рассчитываю на наше превосходство в отношении боевого духа. Я уже принял решение и жду только подхода батальона, оставленного в арьергарде, чтобы предпринять атаку.

На следующий день на вершине этого обманчивого Хорива<sup>[108]</sup> поставили походный алтарь. Капеллан армии Бельграно отслужил мессу, и, по словам Тацита, нападающие и обороняющиеся были так близки и физически, и духовно, что расположившиеся на равнине парагвайские ополченцы в своих шляпах, украшенных крестами и свечками, тоже слушали службу, преклонив колени. Они верили, что идут сражаться с еретиками, прибавляет Тацит, цитируя «Геолого-филантропический вестник», и были поражены, когда узнали, что будут биться со своими единоверцами. Он должен был также добавить, что, когда послышалось гиканье, возвещающее кавалерийские атаки, «пентюхов» словно ветром сдуло с седел, и лошади продолжали мчаться вперед без всадников, пока «пентюхи» внезапно опять не оказались на них с пиками из такуари<sup>[109]</sup> в руках и с диким криком не прорвали строй атакующих, сметая все на своем пути.

Католики-пентюхи дрались, как петухи, но не спешили попасть на адскую сковороду. Портеньо, как говорится, пошли по шерсть, а вернулись стрижеными<sup>[110]</sup>. Глава захватчиков сообщает своему рас-правительству: «Ваше Превосходительство не может составить себе достаточно ясное представление о том, что происходит и что для меня самого остается темным, окутанное дымом несчастья. Нас уверяли, что, по мнению Вашего Превосходительства, мы не встретим на своем пути никакого сопротивления, что, напротив, большая часть населения этой провинции готова присоединиться к нашим войскам. А на самом деле я столкнулся с народом, который

с воодушевлением, доходящим до экстаза, защищает свою страну, религию и все святое для него. Противник напал на меня, преодолев такие немыслимые препятствия, что в это можно поверить, лишь увидев воочию. Огромные болота, разлившиеся реки, непроходимые леса, пушки нашей артиллерии — все было нипочем этим людям, ибо их воодушевление, пыл и любовь к своей родине все сметали и побеждали. Чего же больше, если даже женщины, дети, старики готовы, как и все, кто считают себя настоящими парагвайцами, переносить любые бедствия и лишения, отдать все свое имущество и самую жизнь во имя родины!».

Он написал это после двух кровопролитных сражений, в которых был разбит наголову. Даже парагвайские антипатриоты, которые сопровождали портеньо, служа им проводниками, все эти Мачаины, Кальсены, Эчеваррии, отпрыски старого Эспинола-и-Пеньи, Баэсы и другие отщепенцы-аннексионисты не знали, что сказать обманутому и слишком поздно раскрывшему обман Бельграно.

Я пришел не для того, чтобы пограть права этой провинции, объявил он, когда парагвайские всадники тащили, захлестнув своими лассо, последние пушки, оставленные захватчиками на поле боя. Я пришел не для того, чтобы покорить вас, дорогие соотечественники; я пришел помочь вам, сказал он под сенью белого флага, поднятого в знак сдачи на берегу Такуари. Он обязался немедленно покинуть территорию провинции и поклялся на Евангелии никогда больше не воевать против Парагвая, что, надо сказать к его чести, свято выполнил.

Парагвайские вояки дали заговорить себе зубы. Слова Бельграно, посрамленного под Горой-Портеньо и на Такуари, оказались сильнее его пушек. Разбитый военачальник торжествовал: ему дали уйти восвояси. После долгих переговоров победоносные войска эскортировали его до переправы через Парану. По глупости своей наше командование великодушно согласилось на все, о чем просил побежденный, не потребовав от него никакого возмещения огромных убытков, причиненных Парагваю так называемой освободительной экспедицией. Главнокомандующий Кабаньяс<sup>[111]</sup>, впоследствии гнусный заговорщик, не имел понятия о том, что происходит и что произойдет в дальнейшем. Но что верно, то верно: он зато хорошо понимал, что отвечает его личным интересам. Крупнейший табачный плантатор в стране, он делал ставку уже не на ставленников мадридского двора, а на портенъистов-унитариев.

Помещики в военной форме имели причины искать союза с портеньо. Королевская власть уже утратила реальность. Испанцы блистали своим отсутствием в этой первой битве с захватчиками. Пехота, которую составляли главным образом пришлые, рассеялась, едва начался бой. Бежал из своего штаба в Парагуари и губернатор Веласко. Чтобы его не узнали, он сменял свой мундир бригадного генерала на лохмотья какого-то крестьянина. В придачу он дал ему свои очки и золотой мундштук. После этого он скрылся в горах Кордильера-де-лос-Наранхос, предоставив парагвайцам выпутываться как знают.

Некоторое время на поле боя видели блестящий мундир, появлявшийся в самых опасных местах, исчезающий и снова показывавшийся в других местах, как бы для того, чтобы вселять храбрость в войска. Это была загадка как для врага, так и для парагвайских командиров. Наконец удалось заставить его скрыться за боевыми порядками. Все восхищались невиданным бесстрашием и хитростью губернатора, который так преобразился, спешившись и придав себе облик бородатого, смуглого мужчины с мозолистыми руками и босыми ногами. Из-под кивера поблескивали очки

и золотой мундштук. Кабаньяс, Грасия и Гамарра<sup>[112]</sup> вначале обращались к нему за советами; знаками просили указаний. Он безмолвно отвечал им движениями головы, неизменно указывая маневры, ведущие к победе. Только после сражения, когда губернатор, переодетый в крестьянское платье, вновь появился, чтобы принять командование, командиры заподозрили истинные мотивы маскарада. Кто вы такой? — спросил его Кабаньяс. Я губернатор-интендант, главнокомандующий этими войсками, высокомерно сказал дон Бернардо, снимая широкополую соломенную шляпу, затенявшую его лицо. Вот так так! — с улыбкой воскликнул Грасия. Ну и дела! Где же вы были, ваша милость, сеньор губернатор? — снова спросил его Кабаньяс. На вершине Наранхос, наблюдал за ходом сраженья. А вы откуда взялись? — спросили совершенно голого крестьянина, умирающего от страха. Я... пробормотал бедняга, прикрывая руками срам. Я пришел... я пришел только поглазеть на эту заваруху!

Факт тот, что командующий портеньо без труда обвел вокруг пальца кучку военных, помещиков и торговцев. Топчась на парагвайской земле, прежде чем перебраться через Парану, он предлагает им вступить в переговоры, намереваясь, как он утверждает, доказать, что он пришел не для того, чтобы завоевать эту провинцию или подчинить ее своей власти, как это сделал в свое время Бруно Маурисио де Сабала<sup>[113]</sup> в союзе с иезуитами. Он уверяет, что пришел с единственной целью — способствовать ее счастью. Он насаживает на крючок в виде наживки жареного багра<sup>[114]</sup>, закидывает леску в Такуари и ждет с удочкой в одной руке и с поблескивающим вместо блесны золотым ключом в другой. Свойство ключа отпирать, свойство крючка подцеплять. Парагвайские командиры разевают рот и попадают на удочку. В игре бликов на воде командующему-плантатору видится неисчерпаемая кормушка. Это хорошо, очень хорошо! — приговаривает он в кругу своих приспешников. Зачем продолжать войну, если Юг — наша путеводная звезда. Всеобщая иллюзия. Целью представляется болтовня с потерпевшим разгром, но торжествующим портеньо. Его могли взять в плен вместе со всеми его пентюхами. Но Кабаиьяс провозглашает: здесь нет ни победителей, ни побежденных! Бельграно взял за жабры победителей. Он выказывает великодушие: предлагает парагвайцам союз, свободу, равенство, братство и свободную торговлю всеми товарами их провинции с провинциями Рио-де-ла-Платы. Не будет больше открытых и закрытых портов. С буэнос-айресской монополией покончено. Уже уничтожена монополия торговля табаком. Гамарра на седьмом небе. Все едят багра, превратившегося в золотую рыбку. Все по очереди курят трубку мира. Парагвайские вояки облизываются, предвкушая беспопылинный вывоз табака и мате. Бельграно пророчит союз и свободу. Очень скоро буэнос-айресская Хунта опровергнет эти пророчества. Парагвайцы и портеньо братаются на полях, еще красных от крови, пишет наш Юлий Цезарь<sup>[115]</sup>. В Асунсьоне растет тревога роялистов. Сначала сообщения о разгроме бурбонских войск, о бегстве губернатора. Теперь сногсшибательные известия о перемирии. Что здесь происходит? Не дожидаясь ответа, испанцы по ночам, под покровом темноты, бегут из своих домов с пожитками на плечах. Они заполняют семнадцать кораблей, готовых отплыть в Монтевидео, где роялисты еще прочно удерживают свои позиции под эгидой вице-короля Элио.

Бернардо де Веласко, вернувшийся в исподнем после своего постыдного бегства, не смог помешать заключению перемирия, а тем более взаимопониманию между парагвайским командованием и Бельграно, влюбившимися друг в друга на Такуари.



Губернатор прибыл в парагвайский лагерь, пишет Бельграно в своих воспоминаниях, не для того, чтобы покончить с разногласиями, а для того, чтобы помешать распространению революционной заразы. Отвратить Кабаньяса от его здравых намерений. А вместе с ним Йегроса<sup>[116]</sup> и лучшую часть парагвайцев, принадлежавшую к той же партии. Бельграно счел своим долгом уточнить: партии табачных плантаторов, торговцев мате, помещиков в военной форме.

*(В тетради для личных записок)*

Подписать это перемирие, столь противное целям вторжения и интересам Буэнос-Айреса, значило вложить перст в рану, скажет потом Тацит Платы. В нашу рану, Тацит-бригадный генерал. Ты тоже вторгнешься в нашу страну, а потом примешься спокойно переводить «Божественную комедию», вторгаясь в круги ада Алигьери.

Стуча своим маршальским жезлом по шатким плитам истории, ты настойчиво повторяешь, что подлинным зачинателем революции в Парагвае был Бельграно, что он бросил ее, как факел, в парагвайский лагерь. Ты дословно так и говоришь. Как это мы все не сгорели, Тацит-бригадный генерал! Начиная с 25 мая 1810 года, пишешь ты, пресса получила большое развитие, и это облегчило дело: я мог следить за событиями по периодической печати и множеству отдельных документов, которые тогда публиковались, сопоставляя эти свидетельства с рукописями, которые мне удавалось достать. Но вскоре события усложнились; пресса уже не отражала в достаточной мере повседневный ход революции; соблюдение тайны по необходимости стало правилом для правительства. Однако, как это обычно бывает, чем важнее сохранять тайну, тем больше приходится общаться письменно, и, таким образом, настает день, когда достоянием потомства становятся самые сокровенные мысли людей прошлого, и оно может изучить их лучше, чем если бы эти люди действовали у него на глазах. Так произошло и со мной, когда в поисках более надежного источника, чем сообщения прессы, я проник в военные и правительственные архивы, где хранились документы, относящиеся к событиям после десятого года. Прежде всего мне надо было пролить свет на экспедицию Бельграно в Парагвай, относительно которой существовало мало достойных внимания материалов, так как почти все, кто о ней писал, впадали в грубые ошибки... Ах, Тацит-бригадный генерал! Ты считаешь необходимым правилом для правительства сохранение тайны. (Тайный договор Тройственного союза против Парагвая<sup>[117]</sup> ты состряпал под покровом ночи.) Ты доверяешь только бумажонкам. Писанине. Свидетельствам не заслуживающих доверия свидетелей. Как скажет о тебе впоследствии один порядочный человек, ты из тех, кто, находя какую-нибудь метафору, какое-нибудь, пусть плохонькое, сравнение, думают, что нашли мысль, истину. Ты изъясняешься, как справедливо заметит Идребаль, с помощью сравнений, этого ребяческого средства, к которому прибегают те, кто не имеют собственного суждения и умеют определять то, что еще не определено, лишь посредством сравнения с тем, что уже получило определение. Твое оружие фраза, а не шпага. Твои разглагольствования о революции пустозвонство, а не рассуждения историка. Это и принесло тебе престиж, деньги, звания, власть, как пишет тот же мудрый человек. Я могу быть несколько снисходительнее к тебе, потому что сейчас, когда я это пишу, ты еще подросток. Вряд ли ты мог присутствовать при том, как Бельграно «бросил факел освободительной революции». Если бы ты по крайней мере сказал: «факел убийственной для свободы контрреволюции», поскольку он попал в руки таких людей, как Кабаньяс, Грасия, Гамарра и Йегрос, ты со своей риторикой, достойной

главного архивариуса, был бы немного ближе к действительности и к правильному пониманию сущности событий, о которых ты повествуешь, надвинув на глаза английскую шляпу, что позволяет тебе с британской флегмой утверждать вслед за подлецом Сомельерой, что истинной и непосредственной причиной парагвайской революции была прививка, сделанная парагвайцам на Такуари. Тацит-генерал, ты решительно не поднимаешься над уровнем ветеринара или фуражира кавалерийского полка. Раз ты признаешь, что революционная прививка в Парагвае имела место под Горой-Портеньо и на Такуари, ты должен также признать, если не хочешь идти на заведомый обман, что речь шла, собственно, не о прививке, а об искусственном осеменении и что на самом деле осеменены были захватчики. Со времен комунерос парагвайские производители щедро давали свою сперму, которую не следует путать со спермацетом для изготовления свечей. Здесь, у нас, свечи делают женщины. А сперму мы бережем для другого.

*(Периодический циркуляр)*

Перед тем как переправиться через Парану, Бельграно подарил Кабаньясу свои часы. И дал 60 унций золота (как оказалось на самом деле, 58), с тем чтобы они были распределены между вдовами и сиротами тех, кто не выдержал свинцовых доводов буэнос-айресских проповедников. За погибший скот, уничтоженное оружие, потерянное имущество, разумеется, не было получено никакого вознаграждения.

Но и бедный Бельграно не был вознагражден по возвращении в Буэнос-Айрес. Не были оценены не только его усилия, но и одержанные им в конечном счете успехи: могли ли члены буэнос-айресской Хунты, которым явно не хватало серого вещества, понять, как велика заслуга генерала, сумевшего превратить военное поражение в дипломатическую победу? Наградой ему был военный трибунал. Примерно тогда же был расстрелян французик, в свое время одержавший победу над английскими захватчиками, которых он изгнал из Буэнос-Айреса. Но не об этом речь. Предоставим мертвым хоронить своих мертвецов.

Между тем в Асунсьоне становятся известны перипетии переговоров на Такуари, и это, отмечает Юлий Цезарь, усиливает странное впечатление, которое производит перемирие, позволяющее войскам захватчика ретироваться на самых почетных условиях.

Я был с самого начала яростным критиком соглашения на Такуари, где Атанасио Кабаньяс, потворствуя разгромленным захватчикам, можно сказать, действовал с ними заодно. По моему настоянию мой друг Антонио Рекальде выступил в кабильдо против его нелепого поведения. Кабильдо единогласно постановил потребовать у Кабаньяса объяснения истинных причин его капитуляции перед Бельграно. Командующий-плантатор не дал их и не мог дать, не осудив самого себя. Требование кабильдо повисло в воздухе. Ты помнишь этот текст, Патиньо? Да, Ваше Превосходительство, он датирован 28 марта 1811. Перепиши его целиком; пусть с ним познакомятся мои нынешние сатрапы. И вчерашние. И завтрашние.

Как я уже сказал, кабильдо был в те дни бастионом роялизма; так что мои более отдаленные цели не совпадали с его видами. Яйцо революции медленно инкубировалось в горячей золе бивачных костров. На сегодня хватит.

Поддай мне часы с репетицией. Какие из семи, сеньор? Те, что Бельграно подарил Кабаньясу на Такуари; которые сейчас бьют двенадцать.

*(В тетради для личных записок)*

Вчера вечером лекарь опять пожаловал ко мне, лучше сказать, опять принялся за свое. Правда, на этот раз он пришел без своих настоев из трав. Понутившись больше обычного. Увидев, что я пишу, он даже вздрогнул от неожиданности. Наверняка подумал, что я свожу счета в этой монументальной бухгалтерской книге. Что вы делаете, Ваше Превосходительство? Вы же видите, Эстигаррибия. Когда нельзя делать ничего другого, только и остается писать. Он хотел было пощупать у меня пульс. Рука его повисла в воздухе. Вы должны были бы отдыхать, Ваше Превосходительство. Вам нужен полный покой, сеньор. Спать, спать. Он продолжал жевать беззубыми деснами, словно ел пыль. После долгого молчания отважился выдохнуть: правительство тяжело больно. Считаю своим долгом просить вас, чтобы вы приготовились и сделали надлежащие распоряжения, поскольку ваше состояние ухудшается день ото дня. Быть может, настал момент выбрать преемника, назвать человека, которому вы передадите власть.

Он проговорил это одним духом. Немалая дерзость для такого тщедушного, такого боязливого человека. В тоненьком голоске звучала грузная мысль. Вы с кем-нибудь говорили о моей болезни? Нет, сеньор, ни с кем. Так проглотите язык. Держите то, что вы знаете, в абсолютной тайне. Его тень оперлась на метеорит. Некоторые, сеньор, уже подозревают наихудшее. Но все видят, как вы по вечерам выезжаете на обычную прогулку. Тогда те, кто весьма сомневались в вашем добром здоровье, сомневаются меньше, а те, кто сомневались меньше, перестают сомневаться. Люди смотрят сквозь щели, как выступает ваш конь, окруженный эскортом, под звуки флейт и барабанную дробь. В человеке, который, как обычно, прямо сидит в седле с алым бархатным чепраком, они видят Ваше Превосходительство! А откуда вы знаете, что на самом деле не Я еду на вороном? Сегодня ваш друг Антонио Рекальде сказал мне, что Вашество выглядит лучше. А, что слушать этого старого попугая, который вечно чешет клюв! Ведь вы-то, мой врач, находите, что мне с каждым днем все хуже. Вы пришли подготовить к смерти мой полутруп. Откуда я знаю, не состоите ли вы в сговоре с врагами, которые рыщут вокруг, надеясь половить рыбку в мутной воде? Сеньор, вам известна моя лояльность, моя преданность Вашеству. Глупости! Вы, Эстигаррибия, либо невежда, либо шарлатан, либо то и другое вместе. Вы не оправдываете доверия, которое я всю жизнь оказываю вам. Вы тоже насмехаетесь надо мной? Вы тоже желаете моей смерти? Клянусь Богом, нет, Ваше Превосходительство! И разве не величайшая подлость, что вы, мой врач, желаете, чтобы я умер, и побуждаете меня удовлетворить ваше желание? Так знайте же, что я его не удовлетворю. Напротив, сеньор, уверяю вас, я не оставляю надежды, что ваше здоровье улучшится по милости Господа, который творит чудеса и для которого нет ничего невозможного. Я ни в грош не ставлю надежды и уверения подобных вам людей, не верящих ни в Бога, ни в черта. Я только подумал, сеньор, что кто-то должен облегчить тяжкое бремя государственных трудов, которое вы несете. Не приставайте ко мне больше с этой ерундой. После меня придет к власти тот, кто сможет. А пока я еще не изнемог. Я чувствую себя не только не хуже, а гораздо лучше. Подайте мне одежду. Я докажу вам, что вы лжете.

Видите? Я держусь на ногах тверже, чем вы, тверже, чем все те, кто хотят, чтобы меня вынесли отсюда ногами вперед. А вы, должно быть, думаете: отпели бы наконец, и песне конец, не так ли? С плеч долой и уйти на покой? Нет, Ваше Превосходительство! Вы ведь знаете, что все мы, парагвайцы, больше всего на свете хотели бы, чтобы вы жили вечно на благо родине! Послушайте, Эстигаррибия, я не

говорю, что никогда не умру. Но когда и как это случится, написано вилами по воде. Смерть не требует от нас, чтобы мы приняли ее в свободный день. Я подожду ее, работая. Я заставляю ее ждать за моим креслом столько времени, сколько потребуется. Она у меня будет стоять на часах, пока я не скажу своего последнего слова. Мой труп не придется переворачивать палками, чтобы узнать, умер ли я. Мои волосы поседеют не в могиле.

Я оделся, пренебрегая его помощью. Лекарь жестикулировал, размахивал руками, обнимал воздух, желая поддержать призрак. Не я, а он чуть не рухнул наземь. Мы перешли в кабинет. Я написал записку Бонплану<sup>[118]</sup>. Отправьте ее в Сан-Борхе, если он еще там. Пошлите гонца, не столько скорого на руку, сколько легкого на ногу. И чтобы одна нога здесь — другая там. Лекарства француза по крайней мере успокаивали меня в былые годы. А вот ваши травы контрабандой протаскивают недомогания. Разве они помогли мне от военной подагры и штатского геморроя? А, сеньор лейб-медик? Вот то-то и оно. Легко ли день-деньской держать на весу то ногу, то ягодицы, стараясь уподобиться бесплотным ангелам, не испытывающим силы тяготения. По вашей милости вечность поглотит меня лежащим на боку.

Ваши отвары и настои уже не могут ухудшить мое состояние. Но они и не излечат моих внутренностей, как бы оторвавшихся и висящих в воздухе, наподобие садов Семирамиды. Старые мехи моих легких скрипят, износившись от бесчисленных вдохов и выдохов. Зажатые между ребрами, они простерлись на десять с лишним тысяч квадратных лиг, на сотни тысяч дней. Они вызывали потопа, бури, горячее дыхание пустынь. Ими дышит политическое целое, Государство. Вся страна дышит легкими того, кто есть Он-Я. Простите, Ваше Превосходительство, я не совсем понял ваши слова насчет легких того, кто есть Он-Я. Вы, дон Висенте, так же как другие, никогда ничего не понимаете. Вы не смогли помешать моим легким превратиться в два пыльных мешка. Бедный невежда! Подумать только, что вы станете предком одного из самых выдающихся полководцев нашей страны<sup>[119]</sup>. Если бы, защищая мое здоровье, вы следовали той же стратегии, что и ваш потомок, который чуть не голыми руками защитил-отвоевал Чако от потомков Боливара, вы бы уже вылечили меня. Тогда вы сделали бы честь своей профессии. Искусство лечить тоже военное искусство. Но в каждой семье есть таланты и бездарности.

Горе-лейб-медик, вы не сумели заткнуть ни одной из дыр, через которые из меня сыплется песок. Вы входите и объявляете: правительство тяжело больно! Вы думаете, я этого не знаю? Мой лейб-медик не только не лечит меня. Он убивает, изо дня в день губит меня. Он приходит ко мне с карканьем, с опасениями по поводу уже излеченной лейб-болезни. Пророчит смертельные кризисы, когда они уже прошли. Точно так же он ведет себя с другими пациентами-умирающими. Часовой, который стоит у моей двери, сегодня утром похоронил мать, жену и двоих детей. Всех их лечили вы. Своими предписаниями вы убили больше людей, чем моровые поветрия. Как и ваши предшественники, Ренггер и Лоншан.

Что касается меня, ученый эскулап, то разве вы не прописывали мне отвары из левой лапы черепахи, мочи ящерицы, печени броненосца, крови, взятой из правого крыла белого голубя? Смехотворные глупости! Знахарство! Чтобы заставить меня съесть улитку, вы с таинственным видом предписываете мне: прикажите поймать дочь земли, лишенную костей и крови, которая ползает, неся свой дом на спине. Прикажите сварить ее. Натощак пейте бульон. Потом ешьте мясо. Если бы мое здоровье зависело от этих несчастных ятитас<sup>[120]</sup>, я бы уже давно вылечился. Колики

по-прежнему влюблены в мое нутро. Что вы прописываете по этому случаю? Всего лишь растертый мышинный помет, поджаренный на дровах из бразильского дерева. Неужели вы думаете, что я дам себя отравлять такой дрянью? Я подозреваю, сеньор лейб-медик, что заболеваю от одного вашего присутствия. Когда я вдруг вижу ваши растрепанные космы, ваши седые бакенбарды, ваши очки, поблескивающие в полутьме, ваш огромный череп на тараканьих лапках, я соскакиваю с кровати и бегу в нужник. Я уже не говорю о выражении лица: самодовольная брюзгливость, словно нимбом, окружает вашу громадную голову, приставленную к телу карлика. Настоящий Харон, в любой час плывущий в своей мрачной ладье по глади пола вокруг моего стола и моей кровати.

То же самое было у меня с Ренггером и Лоншаном.

*Швейцарские врачи Иоганн Ренггер и Марселей Лоншан в 1818 г. прибыли в Буэнос-Айрес, где завязали дружбу со знаменитым естествоиспытателем Эме Бонпланом. Не предчувствуя, что ждет в Парагвае его самого ввиду неустойчивой политической обстановки в Ла-Плате, французский ученый посоветовал своим молодым друзьям попытать счастья в Парагвае. Путешественники нашли, что «царство террора», каким некоторые рисовали эту страну, на самом деле в своей строгой обособленности настоящий оазис мира. Они были любезно приняты Верховным, который создал им все условия для научных занятий и медицинской практики, несмотря на горький опыт своих отношений с двумя другими европейцами, братьями Робертсонами, которые побывали в Парагвае за несколько лет до того и к которым мы еще вернемся. Пожизненный Диктатор назначил швейцарцев военными врачами в казармы и тюрьмы, где они выполняли также обязанности судебных экспертов. Иоганн Ренггер, которого Верховный называл Хуаном Ренго<sup>[121]</sup> по созвучию, а также потому, что он действительно был хромым, стал его личным врачом. Позднее Диктатор заподозрил, что швейцарцы находятся в тайных сношениях с его врагами из «двадцати семейств», и его симпатия к ним сменилась*

*возрастающей враждебностью. В 1825 г. им пришлось покинуть Парагвай. Два года спустя они опубликовали «Исторический очерк революции в Парагвае», первую книгу о пожизненной диктатуре. Переведенная на многие языки, она пользовалась большим успехом за пределами Парагвая, но ее распространение внутри страны Верховный запретил под угрозой самых суровых наказаний, рассматривая ее как злокозненный памфлет против его правительства и «скопище лживых измышлений». Книгу Ренггера и Лоншана, первая часть которой написана по-французски, а вторая по-немецки, можно без преувеличения назвать классической работой об этом периоде парагвайской жизни: она «ключ и фонарь», необходимые для проникновения в таинственную действительность, ни с чем не сравнимую в американском мире, а также в характер еще более загадочной личности, человека, который, пользуясь почти мистической абсолютной властью, железной рукой выковал парагвайскую нацию. (Прим, сост.)*

Они меня пользовали с непоправимой небрежностью. Смотрели на мои недуги, словно на трещины в стене. Не знаю, почему я назначил вас моим личным врачом, дон Хуан Ренго, отчитал я его как-то раз. Как жаль, что у меня нет, как у Наполеона, своего Корвизара<sup>[122]</sup>! Его волшебные отвары позволяли великому человеку неизменно сохранять утреннюю свежесть и бодрость. Я не могу требовать от вас, чтобы вы сменили мне желчный проток и кишечник, как хотел Вольтер. Не могу пить

в больших количествах жидкое золото, как это делали — я где-то читал об этом — властители древности, чтобы отдалить свой смертный час. Не могу проглотить философский камень. Не жду от вашей лечебной алхимии раскрытия тайны царского бальзама. Но должны же вы были по крайней мере попытаться изготовить скромное диктаторское питье. Разве я когда-нибудь просил вас вернуть мне молодость? Разве я требовал от вас сделать так, чтобы мой член опять восставал, как стрелки часов в полночный час? А ведь только этого и просили бы у всех божеств вселенной дряхлые, лысые, сгорбленные, мерзкие, циничные, беззубые, бессильные старики. Ничего подобного я не жду от вас, уважаемый доктор. Как вы знаете, я обладаю мужественностью другого рода. Она не истощается с телесным истощением. Не ослабевает. Не ведаёт старости. Я сберегаю свою энергию, расходуя ее. Подстреленный олень знает спасительную траву; когда он съедает ее, стрела исторгается из его тела. Собака, которая гонится за оленем, тоже знает траву, позволяющую оправиться, отведав когтей и зубов тигра. Вы, дон Хуан Ренго, знаете меньше оленя, меньше собаки. Настоящий врач тот, который переболел всеми болезнями. Чтобы лечить людей от сифилиса, чесотки, проказы, геморроя, надо сначала испытать на себе все эти недуги.

Вы и ваш товарищ Лоншан превратили меня в решето. Своими отварами-отравами вы убили половину солдат моей армии. Не вы ли сами в этом признались в пасквиле, состряпанном и опубликованном спустя несколько лет после того, как я вас выдворил отсюда? Вы захотели клеветой отплатить мне за гостеприимство и за все любезности, которые я вам простодушно оказывал? Вы написали в этом пасквиле, что на мое расположение духа оказывает большое влияние температура воздуха. Когда начинает дуть северный ветер, читаю я, приступы раздражительности весьма учащаются. Этот влажный и удушающе-знойный ветер отражается на тех, кто отличаются чрезмерной чувствительностью либо страдают печеночной или кишечной коликой. Когда этот ветер дует непрерывно, иногда по многу дней кряду, в час сиесты в селениях и полях царит еще более глубокая тишина, чем в полночь. Животные ищут тени деревьев, свежести родников. Птицы прячутся в листве, нахохлившись и взъерошив перья. Даже насекомые укрываются под листьями. Человек становится неуклюжим, скованным в движениях. Теряет аппетит. Потеет даже в покое; кожа делается сухой, пергаментной. Прибавьте к этому головные боли, а у нервных людей приступы ипохондрии. Когда Верховный впадает в нее, он по целым дням сидит взаперти, ни с кем не общаясь и не принимая никакой пищи, или изливает свой гнев на тех, кто попадает ему под руку, будь то штатские служащие, офицеры или солдаты. Изрыгая ругательства и угрозы, он обрушивается на своих реальных или воображаемых врагов. Отдает приказы об арестах. Налагает жестокие наказания. В такие моменты ему ничего не стоит вынести смертный приговор. Ах, дипломированные болтуны! Какое злопыхательство! Сначала вы приписываете мне чрезмерную чувствительность. Потом крайнюю извращенность, в силу которой северный ветер становится моим подстрекателем и сообщником. Наконец, нарушая профессиональную этику, разглашаете сведения о моих болезнях. Когда это вы видели, чтобы я в таком состоянии выносил смертные приговоры, налагал жестокие наказания? Как лжецов, фальсификаторов и циников, вас следовало бы казнить. Вы вполне этого заслуживали. Но с вами, напротив, обращались любезно и сердечно даже при самом знойном северном ветре. А равным образом и при сухом, приятном

южном ветре, когда, по вашим словам, я пою, танцую, смеюсь сам с собой и без умолку болтаю с какими-то призраками на тарабарском языке.

Ах, недостойные соотечественники Вильгельма Телля! Не вы ли мне посоветовали выставить на пике мою треуголку посреди Площади Республики, чтобы принимать ежедневно коллективное приветствие? Если бы я согласился на подобную буффонаду, немислимую в этой стране, где граждане обладают чувством достоинства и гордостью, вы бы первыми охотно приняли участие в этой раболепной церемонии, самую мысль о которой я гневно осудил. А в том невероятном случае, если бы вы, как Вильгельм Телль, отказались пойти на такое унижение, то никогда не сумели бы попасть из лука в яблоко, положенное мне на голову. Но ваши головы ipso facto <sup>[123]</sup> упали бы под топором палача.

Ах лицемеры! Да, вы способны подкинуть свое яйцо в чужое гнездо. Но от таких яиц мне мало проку: из моей скворечни не выскакивает кукушка прокуковать, который час. Я уже оставляю в стороне ваши предписания принимать нечетное число пилюль в четные часы, ваши указания насчет того, какие дни года благоприятны для уколов и кровопусканий с помощью пиявок и прирученных летучих мышей и какие фазы луны для клистиров и для приема рвотного. Как будто луна может управлять приливами и отливами в моем кишечнике!

Не будем преувеличивать, образованные кукушки! Я бы скорее сказал, что моим телом и государством, которое я воплощаю, управляет штаб из пяти сил: головы, сердца, брюха, воли и памяти. Вот и все начальство моего организма. Все дело в том, что этот штаб не всегда действует в гармонии с перемежающимися периодами поноса и запора, дождей и засухи, пагубными или благоприятными для урожая. Ни ипохондрия, ни мизантропия тут ни при чем, уважаемые метеорологи. Во всяком случае, вы должны были бы употребить другие слова: разлитие желчи, черная меланхолия. Средневековые термины. Они лучше обозначают средневековые болезни, которыми я страдаю. Но я не желаю терять время на бесплодные споры. К делу. Знаете ли вы, почему птицы и животные не болеют и нормально живут в продолжение своей жизни? Швейцарские медики пустились в длинный спор на французском и немецком языках. Нет, уважаемые эскулапы. Вы этого не знаете. Так слушайте же. Во-первых, потому, что животные живут на лоне природы, которая не знает ни жалости, ни сострадания — источника всех зол. Во-вторых, потому, что они не говорят и не пишут, подобно людям; а главное, не клеветают, подобно вам. В-третьих, потому, что птицы и животные отправляют свои потребности в момент потребности. Дрозд, низко летевший над нами в эту минуту, обронил на темя Иоганна Ренгера дымящуюся скуфеечку. То же самое и я говорю, сказал швейцарец. Вы видите, этот дрозд не стал ждать более подходящей минуты и не выбирал более удобного места, чтобы испражниться, а сделал то, что должен был сделать. Человек же должен ждать момента, когда избавится от тысячи глупых занятий, которые мешают, как это сейчас происходит со мной, нормальному действию его кишок. Два медика дуэтом залепетали извинения на своих двух языках. Они жестаами просили меня не терять больше времени, если мне нужно сходить в нужник. Нет, сеньоры, не беспокойтесь. Верховное Правительство имеет власть и над своими кишками. Я и Он несем в себе свое ведро и свою непогоду. Мы не зависим от перемены ветра, от времен года и фаз луны. Вы, слабоумные знаменитости, чуть ли не превратили северный ветер в подлинного диктатора этой страны. Вы выдумали множество подобных небылиц, наплели все, что вам взбрело в голову, о моем правлении, которое

называли «самым благородным и великодушным на земле», пока пользовались моими милостями. Когда я наконец выдворил вас, вы, будучи уже далеко от этой страны, давшей вам радушный приют, и еще дальше от всякой пристойности, изобразили этот самый приют мрачным царством террора, которое по канве ваших диатриб позднее расписали Робертсоны. Этими отбросами и питаются исторические опусы, всякого рода романчики, которые потом бросают нам на темя дрозды-писаки. Подтирки, запачканные плохо переваренными гадостями.

Вы, Хуан Ренго, оказались особенно лживым и подлым. Вы описали неопишуемые пытки и тюрьмы. Катакомбы, образующие настоящий лабиринт подземных застенков и доходящие до подвала под моей собственной спальней, наподобие тех, которые приказал вырыть Дионисий Сиракузский<sup>[124]</sup>. Вы оплакали осужденных на пожизненное заключение, чьи стенания якобы тешили меня, доносясь из подземелья до изголовья моей кровати, и обреченных на вечную изоляцию в колонии Тевего, окруженной пустыней, более непреодолимой, чем стены подземных казематов.

*«При его деспотическом режиме под надзором находился главным образом зажиточный класс, но и низшие классы не упускались из виду. Его пронизательный ум искал жертв даже среди простонародья. Чтобы изолировать внушающих ему подозрение людей из этого слоя, он основал на левом берегу реки Парагвай, в ста двадцати лигах к северу от Асунсьона, колонию, которую заселил по преимуществу мулатами и женщинами легкого поведения. Эта пенитенциарная колония, названная им Тевего, самая северная в стране». (Ренггер и Лоншан, op. cit.)*

*«В Асунсьоне имеются тюрьмы двух родов: для уголовных и для государственных преступников. Первая, хотя и в ней содержатся некоторые политические заключенные, служит главным образом местом заключения для других осужденных и в то же время арестным домом. Это низкое здание длиной в сто футов со стенами почти в две вары толщиной. Одноэтажное, как и частные дома в Парагвае, оно разделено на восемь помещений, и при нем имеется внутренний двор примерно в двенадцать тысяч квадратных футов. В каждой камере скучено по тридцать — сорок заключенных, которым приходится спать либо на полу, либо в гамаках, подвешенных в несколько рядов одни над другими. Представьте же себе человек сорок, запертых в маленькой комнате без окон и отдушин; а ведь в этой стране три четверти года стоит жара не ниже 40°, а под крышей, которую в течение дня нагревает солнце, температура превышает 50°. Пот ручьями катится с заключенных и капает с верхних гамаков на нижние, а с самых нижних на пол. Если к этому прибавить плохое питание, грязь и вынужденное безделье этих несчастных, то станет понятно, что только благодаря на редкость здоровому климату у них не наблюдается смертельных заболеваний. Тюремный двор полон шалашей, которые служат помещением для лиц, находящихся в предварительном заключении, для приговоренных к исправительным наказаниям и для политических заключенных. Им позволили построить эти шалаши, потому что камеры всех не вмещают. Здесь по крайней мере они дышат ночной свежестью, хотя и во дворе грязь такая же, как внутри здания. Приговоренных к пожизненному заключению ежедневно выводят на общественные работы. Они идут скованные попарно или просто в кандалах, в то время как остальные заключенные по большей части влачат на ногах так называемые «грильо», подчас в двадцать пять фунтов весом, которые едва позволяют им ходить. Заключенным, занятым на общественных работах, выдается казенная пища и кое-какая одежда; что касается остальных, то они содержат себя*



на свой счет, а также за счет милостыни, которую двое или трое из них под конвоем солдата каждый день собирают в городе, и подаяний, присылаемых в тюрьму из милосердия или во исполнение обета.

Мы много раз бывали в этой ужасной тюрьме как для судебной экспертизы, так и для того, чтобы оказать помощь какому-нибудь больному. Там перемешаны индейцы и мулаты, белые и негры, хозяева и рабы; там представлены все слои общества и все возрасты; там соседствуют преступник и невинный, осужденный и обвиняемый, вор и несостоятельный должник, наконец, убийца и патриот. Очень часто они скованы одной цепью. А довершает эту ужасную картину всевозрастающее нравственное одичание большинства заключенных, выказывающих жестокую радость, когда прибывает новая жертва.

Заключенные женщины, которых, по счастью, очень мало, занимают одну камеру и отгороженный угол патио, где они более или менее легко могут общаться с мужчинами. Женщины из общества, навлекшие на себя гнев диктатора, смешаны там с проститутками и преступницами и подвергаются всяческому оскорблению со стороны мужчин. Так же как те, они носят грильо, и даже беременность не облегчает их положения.

Заключенные в тюрьмы для уголовных преступников, которым дозволяется сообщаться со своими близкими и получать от них помощь, чувствуют себя еще счастливыми, сравнивая свою участь с участью тех, что заключены в казематы для государственных преступников. Казематы находятся в разных казармах и представляют собой маленькие камеры без окон в сырых подвалах с такими низкими сводчатыми потолками, что только на середине можно встать во весь рост. Некоторые узники по указанию мстительного диктатора содержатся в одиночном заключении; другие — по два-четыре человека в камере. Все лишены права общаться с вольными, закованы в кандалы и находятся под постоянным надзором часового. Им не разрешается зажигать свет и заниматься чем бы то ни было. Когда один заключенный, которого я знал, приручил мышью, пробиравшихся в его камеру, часовой стал гоняться за ними, чтобы их перебить. Заключенным никогда не дают возможности остричь бороду, волосы и ногти. Их семьям дозволяется передавать им еду лишь два раза в день; и эти передачи должны состоять только из мяса и корней маниоки — пищи самых жалких бедняков. Солдаты, принимающие передачи у входа в казарму, прокалывают их итыками, чтобы убедиться, что там нет бумаг или каких-либо инструментов, а часто забирают их себе или выбрасывают. Заболевшему заключенному не оказывают никакой помощи и позволяют ухаживать за ним, разве только когда он уже на смертном одре, да и то лишь днем. Ночью камера запирается, и умирающий остается наедине со своими страданиями. Даже когда наступает агония, с него не снимают кандалов. Так, например, доктор Сабала, которого в виде особой милости диктатор позволил мне посещать в последние дни его жизни, умер с грильо на ногах, не получив разрешения принять последнее причастие. Коменданты казарм по собственному почину усугубляют бесчеловечность обращения с заключенными, стараясь таким образом угодить своему высшему начальнику». (Ibid.)

По причине все той же недоброжелательности и подлости вы даже не упомянули о наказании, которое всего лучше выражает сущность правосудия в нашей стране: о присуждении к бессрочной гребле. Ею караются разбой, воровство, измена и другие тягчайшие преступления. Виновного не посылают на смерть. Его просто отстраняют

от жизни. Эта кара отвечает своему назначению, потому что отъединяет виновного от общества, против которого он совершил преступление. В ней нет ничего противного природе; наоборот, она возвращает его к природе. Описание преступника рассылается во все селения, деревушки, самые глухие углы, где есть хоть одна живая душа. Строго воспрещается принимать его. Заковав в кандалы, его сажают в каноэ с месячным запасом продовольствия. Ему указывают места, где он сможет в дальнейшем находить провизию, пока будет грести. Ему приказывают отчалить и никогда больше не ступать на твердую землю. С этого момента его судьба зависит только от него самого. Я освобождаю общество от его присутствия, и мне не приходится упрекать себя в его смерти. Все, что ниже ватерлинии этого каноэ, не стоит крови гражданина. Поэтому я и остерегаюсь проливать ее. Виновный будет плыть от одного берега к другому, подниматься против течения или спускаться по течению нашей широкой реки, всецело предоставленный своей воле-свободе. Я предпочитаю исправлять, а не карать, коль скоро кара не имеет значения поучительного примера. Первое сохраняет человека и, если он сам прилагает к этому усилия, улучшает его. Второе лишь устраняет его, не служа уроком ни ему, ни другим. Себялюбие — самое живое и деятельное чувство у человека. Будь то виновный или невинный.

Один современный автор сочинил легенду о таком осужденном, который без конца гребет и наконец находит третий берег реки. Я сам в своем стремлении привести к вожделенному берегу нашу страну вдохновлялся историей, рассказанной каким-то развратником в Бастилии, которую в часы сиесты знойным парагвайским летом не раз пересказывал мне один заключенный француз. Я беру добро там, где нахожу его. Иногда самые отъявленные развратники, не желая того, выполняют в обществе гигиеническую функцию. Этот знатный дегенерат, сидевший в Бастилии, предвосхитил в своей утопической повести о воображаемом острове Тамораэ оклеветанную вами действительность Парагвая, этого острова революции.

*Верховный, без сомнения, имеет в виду «Остров Тамозэ» маркиза де Сада, который стал известен в Парагвае за целое столетие до того, как был опубликован в самой Франции и других странах, благодаря пересказавшему его устно Шарлю Андрё-Легару, памятливому товарищу де Сада по заточению в Бастилии и по парижской секции, а потом, в первые годы диктатуры, узнику Пожизненного Диктатора, как уже было сказано в начале этих заметок. Искажение названия воображаемого острова — Тамораэ вместо Тамозэ — ошибка Верховного, быть может нечаянная, а быть может и намеренная. Слово «тамораэ» означает на гуарани приблизительно «хорошо-бы-так-было». В фигуральном смысле — Обетованная земля. (Прим. сост.)*

Незадолго до выдворения швейцарских кукушек они изменили свое поведение: теперь они рта не раскрывали и держались весьма скромно. Я вызвал к себе Ренгера. Видите, дон Хуан Ренго, своими травмами вы превратили меня в травоядного льва. Что мне с вами делать? Я должен наградить вас отстранением от должности. С сегодняшнего дня вы уже не мой домашний врач. От вас требуется только, чтобы вы перестали отравлять моих солдат и заключенных. Вчера из-за ваших слабительных умерло еще тридцать гусаров. Этак вы оставите меня без армии. Я просил вас при вскрытии трупов искать в области затылка косточку, представляющую анатомическую особенность моих соотечественников. Я хочу знать, почему они не могут поднять головы. И что же? Нет никакой косточки, говорите вы мне. Тогда должно быть что-нибудь похуже; значит, какая-то тяжесть пригибает им голову к

груди. Ищите же ее, милостивый государь! По крайней мере с таким же старанием, с каким вы ищите редчайшие виды растений и насекомых.

Что касается блестящей бабочки, которая вас очаровала, дочери Антонио Рекальде, то оставьте ее в покое. Ведь вы прекрасно знаете, что у нас не только испанцам, но и вообще европейцам категорически запрещается жениться на здешних белых женщинах. Ходатайства о разрешении на помолвку отклоняются даже в тех случаях, когда просители ссылаются на изнасилование. Закон один для всех, и ни для кого не может быть сделано исключение. Вы говорите, что хотите покинуть нашу страну, так же как ваш товарищ Лоншан. Вы просите у меня разрешение на свадьбу с последующим отъездом. Это невозможно, дон Хуан! Вы говорите, что торопитесь. Спешка — дурная советчица. Я знаю это по опыту. Даже если бы запрета, о котором я вам сказал, не существовало, не стоило бы выдавать девицу Копушу за доктора Торопыгу. Вы говорите, что этот запрет абсурден и означает гражданскую смерть европейцев. Не кончайте самоубийством, сеньор Хуан Ренго: хоть вы и врач, вы после этого не воскреснете в гражданском смысле. Поищите себе лучше невесту среди множества красивых мулаток и индианок, составляющих гордость нашей страны. Обвенчайтесь с одной из них. Вы только выиграете, можете мне поверить, я в этом знаю толк. Позволю себе нескромный вопрос) сколько раз вы были у дочери дна Антонио Рекальде? Можете не отвечать. Я знаю. Много. Вы бываете там почти каждый вечер вот уже три года. Продолжительность этого жениховства, романа, ухаживанья, назовите это как хотите, доказывает твердость ваших чувств. Это доказывает и другое: если кабальеро Хуан Ренго действительно торопится, то он, полагаю, не терял времени на пустые любезности. Однако мне придется задать вам еще один вопрос: не дошло ли случайно до вас, в чем состоит самая примечательная особенность этой красивой девушки? Нет, конечно, нет. Разве только ваша любовь в самом деле так велика, что вы не обращаете внимания на эту мелочь. И если это так, то я склонен дать вам разрешение на брак. Я представляю себе ваши встречи. Очаровательная дочка Антонио Рекальде всегда принимает вас, сидя за столом, и толстая скатерть скрывает ее ноги, не так ли? Не знаете ли вы, не сказал ли вам кто-нибудь по секрету, какое прозвище носит прекрасная Рекальде? Нет, я вижу, вы не знаете. Так я вам скажу: ее прозвали Слоновьей Ногой. У нее огромные ступни. Почти в вару длиной и в полвары шириной. Наверное, таких ног не было ни у одной девушки ни в реальном, ни в сказочном мире. И главное, они продолжают расти. Все растут и растут. Если вы, дон Хуан, расположены взять в свою коллекцию растений эти растущие ступни, я подпишу вам разрешение. Ступайте. Обдумайте это, а потом приходите сообщить мне о своем решении. Он больше не пришел. Спустя несколько дней оба швейцарца сели на корабль и отправились в Буэнос-Айрес. Дочери Рекальде не удалось выйти замуж; в стране стало двумя плутами меньше.

Лейб-медик неплохой человек. Сердце у него доброе, ничего не скажешь. И язык он не распускает. От него не услышишь ни полслова лжи, но и полслова правды в нужную минуту. Неспособный на двуличие, он по мягкости характера становится безличным исполнителем воли всякой личности, не подкупившей его золотом, но подчинившей себе хитростью. Этот человечек напоминает запотелый горшок: сквозь все его поры, как испарина, проступает безмерное простодушие. Эта влага не только не утоляет моей жажды, а усиливает ее. Когда я нахожусь в таком состоянии, я не переношу даже этого старика-ребенка. Я откармливаю себя своей собственной болью. Я бросаю свое тело на растерзание страданиям. Поскольку боль, которую мы

испытываем, равна боли, которую мы боимся испытать, чем больше человек поддается боли, тем больше она его мучит. Физическое страдание не мучит меня. Я могу совладать с ним, мне легче сбросить его с себя, чем рубашку. Меня мучит боль другого рода. Я разрубил себя надвое ударом меча; я удвоил себя, сделавшись меньше своей половины, которая быстро сокращается. Скоро от нее только и останется эта рука, лапа тиранозавра, которая будет по-прежнему писать, писать, писать, ископаемая, ископаемым почерком. С меня слетает чешуя. Слезает шкура. А она все пишет.

Я весь в испарине. Сухо во рту. Знобит. Меня караулит, подстерегает приступ.

Лекарь пристально смотрит на меня. Опустив голову из-за той скрытой в затылке косточки, которая не дает парагвайцам держать ее высоко. Он прикидывает, как подвигается разрушение. Полный покой! Спать! Спать, сеньор! Вы же знаете, что я не могу спать, Эстигаррибия. Сон — это конденсация паров, образующихся от внутренней теплоты. А моя теплота уже не вызывает никакого испарения. Моя мысль видит во сне наяву нечто телесное и волосатое. Видения, более реальные, чем сама реальность. Быть может, настало время назначить преемника, назвать человека, которому вы передадите власть? Больше вам ничего не пришло в голову?! Что это, последняя почесть, которую вы пришли воздать вашему молодому больному? Ведь моей болезни исполнилось только двадцать шесть лет.

Я не могу выбрать преемника, как вы говорите. Я себя не выбирал. Меня выбрало большинство наших сограждан. Я сам не мог бы себя выбрать. Разве мог бы кто-нибудь заменить меня в смерти? Точно так же никто не мог бы заменить меня в жизни. Даже если бы у меня был сын, он не мог бы заменить меня, стать моим наследником. Моя династия начинается и кончается мной, тем, кого я называю Я-Он. Верховная власть, которой мы облечены, вернется к народу как его неотъемлемое достояние. Что касается моего небольшого личного имущества, то оно будет распределено следующим образом: чакра Ибирай перейдет к моим двум внебрачным дочерям, которые живут в Доме подкидышей и сирот. Из моего неполученного денежного содержания, составляющего в общей сложности 36 564 песо и два реала, будет выплачено месячное жалованье солдатам, расквартированным в казармах, крепостях, на границах и заставах как в Чако, так и в Восточной области. Мои две старые служанки получают: Санта — 400 песо и сверх того чашку для мате с серебряной бомбилей, а Хуана, уже скрюченная в три погибели, мой ночной горшок, который должен принадлежать ей де-факто и де-юре, поскольку она самоотверженно орудовала им на протяжении всего того времени, что служила у меня. Сеньоре Петроне Регаладе, о которой говорят, что она моя сестра, я оставлю 400 песо, помимо одежды, хранимой в этом бауле. Из того, что останется от моего неполученного денежного содержания, будут выданы пособия, также в размере месячного жалованья, учителям и музыкантам, не исключая маленьких индейцев, которые служат во всех военных оркестрах как в столице, так и во внутренних районах страны. Я хочу, чтобы этих индейцев, отличающихся прирожденными способностями к музыке и дисциплинированностью, хорошо одевали и кормили. Я хочу, чтобы у них были такие же новехонькие, сверкающие инструменты, как у белых и мулатов. Тем, кто с малых лет входил в мой эскорт, выдать новые барабаны и флейты, а если останется какая-нибудь мелочь, раздать ее состарившимся музыкантам, которые уже не могут сами себя обеспечивать. Мою гитару отдать маэстро Модесто Сервино, органисту и хормейстеру в Хуагароне, с выражением моей любви.

Все мои оптические приборы, механические инструменты и прочее лабораторное оборудование завещаю Государственному политехническому училищу, а все книги Публичной библиотеке. Мои личные бумаги, которые уцелеют при пожаре, должны быть полностью уничтожены.

Но знайте, дон Висенте, вопреки тому, о чем здесь шепчутся и что вы сами предсказываете, я еще не собираюсь доставить вам удовольствие, которое вы предвкушаете. Знаете ли вы по крайней мере, куда я попаду, когда умру? Нет. Вы этого не знаете. Я попаду в преддверие жизни.

Викарий Сеспедес Ксерия со своей стороны предложил исповедовать и соборовать меня. Я велел передать ему, что исповедуюсь самому себе. У кого язык не на привязи, у того душа не на месте. Держите же на привязи свой язык. Поостерегитесь пересказывать кому-нибудь то, о чем мы с вами говорили. Не распускайте слухов о моей болезни. Секрет не мой — я немой, гласит пословица. Следуйте ей и будете целы. Вспомните, дон Висенте, что и вы в молодые годы были притчей во языцех и что вас спасло только то, что я взял вас на службу в качестве правительственного аптекаря. Правда, с того времени я не могу пожаловаться на ваше поведение. Но не поступайте со мной так, как вы поступили со своим собственным прошлым, рассказывая всем и каждому, на всех углах и во всех домах о своих юношеских похождениях, и в особенности о том в высшей степени печальном факте, что одна девица веселой жизни, вскружившая вам голову, умерла в ваших объятиях. Впрочем, излишества, на которые толкала ее безумная нимфомания, все равно привели бы ее к тому же концу; она могла умереть еще раньше в объятиях какого-нибудь другого, богаче одаренного природою юноши. Вы утверждаете, что прибегли к этой публичной исповеди, чтобы послужить предостерегающим примером для других. Но чужой опыт не может никого ничему научить. У каждого свои безумства. Не открывайте же больше дверь раскаянию.

А теперь насчет моей болезни. Молчок! Никому ни слова. Дело идет о вашей жизни. Ступайте и не приходите больше, пока я вас не позову.

На следующий день после образования Правительственной Хунты пес бывшего губернатора Веласко покинул Дом Правительства, не дожидаясь, когда это сделает его хозяин. Этот пес-роялист как реалист понял то, что не умещалось в голове чапетонов. Он был умнее мятежников-портеньистов, представлявших новую силу, и удалился с достоинством королевского камергера, уступив место моему Султану, косматому санкюлоту-якобинцу, к которому весьма подходила поговорка: волос долог, ум короток. Убирайся отсюда, да поживее! — пролаял он тоном приказа. Мы еще вернемся, пробормотал Герой. Когда свистнет рак! — отпарировал Султан. С саблей в зубах он стал охранять вход во дворец. Я велю тебя повесить, пес-чапетон! В этом нет надобности, уважаемый собрат-плебей. Я и так омордотворенная казнь. Мне трижды отрубали голову на гильотине. Я уже и сам это смутно помню. Дай бог, чтобы тебе не довелось попадать в такие передряги, гражданин Султан. Прежде всего теряешь память. Видишь этот обломок шпаги, застрявший у меня в крестце? Не знаю, с каких пор он там. Может, это меня угостили, когда я сражался вместе с моим хозяином, отбивая у англичан Буэнос-Айрес. А может, во время осады Монтевидео. Не знаю. Убирайся, болтун! Убирайся! Герой беззлобно посмотрел на него. Ты прав, Султан. Быть может, все это только сон. Он вырвал из костей заржавленную шпагу. Воткнув ее в пол и еще раз надавив на нее, утвердил ее тень. Прихрамывая, вышел. За порогом его ждала беспредельность неизвестного. Бедняга Султан! Ты не знаешь, как

приятно встретиться с себе подобным. Я наконец нашел кого-то, кто походит на меня, и этот кто-то я сам. Спасибо, большое спасибо. Слава богу, черт побери! Со мной могло случиться и кое-что похуже. Я мог умереть не по-христиански, без исповеди и соборования. То, что с тобой случилось, ничто по сравнению с тем, чего с тобой не случилось. Но мало проку — быть христианином, Герой, если, когда надо, не плутовать...

Ну давай! Ступай своей дорогой, и что будет, то будет.

Старый, облезлый, шелудивый, но охваченный странным чувством счастья, он приспособился к новой, эгалитарной жизни. Не особенно преуспевая, но и не падая духом. Из двух зол выбирают меньшее. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, сказал себе Герой. Он не стал выть на могилах роялистов, повешенных за участие в заговоре, устроенном для того, чтобы расправиться с роялистами<sup>[125]</sup>, а принялся бродить по улицам, рынкам и площадям, рассказывая вымышленные истории, за что ему обычно что-нибудь давали. Обедками можно было объесться. В поощрениях недостатка не было. И сама эта жизнь питала сказки новоявленного уличного сказителя. В конце концов он стал поводырем пай Мбату, в прошлом священника и в прошлом разумного человека, хотя и малость плутоватого, который тоже жил милостыней, слоняясь по рынкам.

Очарованные талантами пса, в прошлом роялиста, братья Робертсоны купили его за пять унций золота.

*Джон Пэриш Робертсон прибыл в Рио-де-ла-Плату в 1809 г. в группе британских коммерсантов, которые приплыли в Буэнос-Айрес вскоре после военных экспедиций, открывших порт для свободной торговли. Ему было тогда семнадцать лет. Он остановился в доме знакомой семьи. Одной из его главных покровительниц была мадам О'Горман. Предприимчивый молодой шотландец сразу стал вращаться в самых влиятельных кругах и сделался другом вице-короля Линье. Он присутствовал при Майской революции, «как при живописном представлении на тему о свободолюбивых устремлениях буэнос-айресских патриотов», как он замечает в одном из своих писем. Спустя три года к нему присоединился его брат Уильям, и они вместе предприняли то, что было для них «парагвайской эпопеей». В Асунсьоне Робертсоны тоже преуспели во всех отношениях, и даже больше, чем и Буэнос-Айресе. Здесь они пользовались покровительством Верховного, который сначала перевозносил их, а потом, в 1815 г., выслал из страны. Робертсоны хвастают в своих книгах тем, что они были первыми британскими подданными, которые познакомились с Парагваем, проникнув за «китайскую стену», изолировавшую его от всего мира, и выработали своеобразное истолкование этой изоляции. (Прим. сост.)*

За меньшую сумму пай Мбату отказывался уступить его скаредным англичанам. Это был, наверное, первый случай на американской земле, когда полоумный креол продиктовал свои условия подданным величайшей империи в мире. Они попросили у меня разрешения приводить пса на уроки английского языка. Собакой больше, собакой меньше, разница не велика, и я не стал возражать. Пусть приводят. Так Герой, выполнив свое обещание, вернулся в Дом Правительства. Что не очень-то понравилось Султану, который почувствовал себя вытесненным втирушей. Сказки из «Тысячи и одной ночи», рассказы Чосера, красочные проповеди английских деканов<sup>[126]</sup> переносили Героя в иной мир. Каждый раз, когда он слышал такие слова, как «король», «император» или «гильотина», он вздрагивал и рычал. Неграмотный и неотесанный Султан презрительно поворачивался к нему задом. Лаял он вдали

отсюда, скорее по привычке, чем по памяти, обегая одну за другой все казармы в городе, вплоть до последнего сторожевого поста.

Не все вопрос памяти. В темных вещах более сведущ темный инстинкт.

В обычный час приходят два зеленых юнца с красными волосами. Их сопровождает Герой. Султан встречает их. Проходите в кабинет, сеньоры. Уличному сказителю он выказывает подчеркнутое пренебрежение. Того пробирает дрожь при виде цербера-санкюлота. Садитесь где вам угодно, кабальеро. Он указывает им кресла. Обернувшись через плечо, сквозь зубы бросает Герою: а вы в угол. Вы хоть искупались по крайней мере? О да, в розовой воде, сеньор Султан. А блохи у вас есть? О нет, ваше высокопревосходительство, сеньор пес! Я их всегда оставляю дома. У них, бедняжек, больные бронхи. Я боюсь, как бы они у меня не простудились. Чего доброго, подхватят насморк, а то и ангину. Мало ли что бывает. В Асунсьоне нездоровый климат. В воздухе полно миазмов. Я купаю моих блошек в той же воде, которую употребляю для своих омовений. А когда ухожу, запираю этих зверушек в шкатулочку, покрытую китайским лаком, которую мне привез из Буэнос-Айреса дон Робертсон, и говорю им: баиньки, блошки, а я проведу вечер у Верховного. Они очень послушные, и благодаря моему воспитанию у них прекрасные манеры. Не правда ли, дон Хуан? Я собираюсь сделать из них самых искусных блох-иллюзионисток в городе. Ступайте, никто вас ни о чем не спрашивает! Герой приткнулся к выступу аэролита. Старый, если мерить на дни, молодой, если мерить на века, он, слегка морща нос, принимается к исходящему от камня запаху космоса.

На огне кипит котел с десятью ливрами водки. Негр Пилар окуривает комнату ладаном и распыляет ароматные смолы. Султан открывает мне заднюю дверь. Я вхожу с раскаленной докрасна медной пластиной, и помещение озаряется сполохами. Сыплются разноцветные искры. Предметы, окруженные тончайшим ореолом, поднимаются на пядь со своих мест. Добрый вечер, сеньоры. Сидите, пожалуйста. Молодые люди становятся красными, а их волосы зелеными. Кресла, в которых они сидят, мягко опускаются на пол. Они беззвучно шевелят губами, прежде чем вымолвить: добрый вечер, Ваше Превосходительство! Хвосты собак на минуту замирают, и кажется, само время останавливается. Принеси пива, Пилар. Вот он уже выходит из погреба с большой оплетенной бутылкой. Разливает по кружкам пенистый напиток. Целых пять лет между спряжением английских глаголов и моими попытками переводить отрывки из Чосера, Свифта и Донна Робертсоны пили мое прокисшее пиво. Не откупоривать же мне было каждую неделю новую бутылку в честь этих фальшивых green-go-home<sup>[127]</sup>. Письмо Альвеара, в то время возглавлявшего буэнос-айресское правительство, было каплей, переполнившей чашу, то бишь кружки с паршивым пойлом. До этого дня они его пили. Джон Робертсон сам привез изрядный запас пива из одной своей поездки. Это стоило мне немалых денежек. Я ни от кого не принимаю подарков. Сколько они ни пили, пиво все не иссякало: по мере брожения пополнялось за счет пены. Нельзя ли, Ваше Превосходительство, по крайней мере держать бутылки закрытыми до следующего урока? — помирая от смеха и выплевывая живую муху, выдавил из себя как-то раз младший из братьев, не такой хитрюга, как старший. Вы напрасно смеетесь, мистер Уильям, мы дорожим даже опивками. Ведь мы очень бедны и не можем отказываться ни от чего, даже от своей гордости. But, sir<sup>[128]</sup>, пить — это все равно что to snatch up Hades itself and drink it to someone's health<sup>[129]</sup>, хохотал младший Робертсон. Pe kuaru hagua ara-kanymbarave, pee pytagua, шутил я в свою очередь. Что это значит, Ваше Превосходительство? Я вижу, вы еще

не слишком сильны в гуарани. Очень просто, сеньоры: в наказание за вашу глупость и жадность мочитесь моим пивом до скончания века. Ха-ха-ха... Your Excellency<sup>[130]</sup>. Вы всегда так находчивы и остроумны! Если бы я не послал этих купчиков ко всем чертям, они действительно могли бы мочиться моим пивом до Страшного суда. С кружкой в руке Джон Робертсон напевал свой любимый рефрен:

There is a Divinity that shapes our ends

Rough-hew them how we will<sup>[131]</sup>.

Прихлебывающая бурду, из которой поднимались пузырьки углекислого газа, Джон Робертсон мурлыкал песню, из которой поднимались пузырьки кислых пророчеств. Не звучит ли в голосе поющего безотчетная догадка о возможном и реальном? Не отзываются ли в нем вещие сны наяву? Со мной не раз случалось то, о чем я пел когда-то, не подозревая, что сам предупреждаю себя. Мудрость окутана тайной. Не ведая этого, Джон Робертсон напевал о том, что с ним случится в Бахаде. Но я всегда улавливал нечто реальное в том, что видел и слышал, наблюдая за англичанином, который подчас сидел на подлокотнике кресла, как сейчас сижу я, не в силах переменить позу. Робертсон с отсутствующим видом мычал идиотскую прелюдию, казалось, погруженный в подсчеты своих барышей и убытков. Но на самом деле он был занят не этим. А впрочем, именно этим. Подсчетом барышей и убытков, занесенных в книгу его судьбы. Тем лучше. Записи на странице кредита яснее, чем на странице дебета.

Какое воображение, Excellency! Во рту младшего Робертсона образовался огромный пузырь пены, как бы колеблющийся, взлететь ли вверх или упасть. Робертсон коснулся его ногтем мизинца, и пузырь лопнул. Прочистив горло, англичанин продолжал пускать пузыри, восхищаясь псом-сказителем. У Героя просто удивительная память! Вчера вечером он сказал: сочиню-ка я повестушку страниц на тридцать. Больше не понадобится, чтобы беспощадным пером описать поучительные эпизоды из жизни отступника, порвавшего со своим классом, или, лучше сказать, новообращенного... Я должен поразмыслить над разницей между этими понятиями: в зависимости от того, под каким углом зрения ее рассматривать, я окажусь достойным осуждения или восхваления...

Герой допил остатки пива из кувшина, искоса поглядывая на меня с самым зверским видом. Я приказал негру Пилару снова наполнить кружки. Герой опять напал на мою недоверчивость на своем гортанном наречии. Словно на конгрессе строителей вавилонской башни, наказанных смешением языков, англичанин отрывочно переводил то, что рычал Герой, в такт ему шевеля рыжими усами в клочьях пены. Он говорит о Ните... Матери Матерей, существо одновременно женского и мужского пола, скарабее и коршуне в своем женском естестве, пеликане в мужском... То, что пел речитативом испанский пес и переводил шотландский купец, привело мне на ум бестиарий Винчи. Пеликан любит своих птенцов. Если, вернувшись в гнездо, он видит, что они искушены змеями, он клювом раздирает себе грудь. Омывает их своей кровью. Возвращает к жизни. Разве я не Верховный Пеликан в Парагвае? Герой останавливается и насмешливо смотрит на меня сквозь свои катаракты: Вашество так же любит своих детей, как пеликанья matka; так пылко ласкает их, что убивает своими ласками. Будем надеяться, что, омывшись в вашей крови, крови отца-пеликана, они воскреснут на третий день. Если это произойдет, вы в образе пеликана и войдете в патриотические анналы. Чернецы будут чеканить этот образ на черни дарохранительниц, старики оправлять его в рамы вместо зеркал. Я не



счел уместным отвечать на сарказмы пса. У меня было впечатление, что остальные их не расслышали... Джон Пэриш продолжал переводить:... Женщина-коршун имеет своего двойника в небе: это тоже коршун-ягнятник, одновременно самец и самка... Откуда ты это взял? Не важно откуда! Может быть, из «Гимнов» Альфонса Мудрого, короля Кастилии и Леона, который, кстати сказать, в своих «Законах земель»<sup>[132]</sup> дает прекрасное определение тирана: тот, кто превыше всего ставит свою волю и превращает власть, которая зиждилась на праве, в неправый произвол. Тиран, сказал мудрый король, — это тот, кто под предлогом прогресса, благосостояния и счастья своих подданных подменяет власть народа властью своей собственной личности. Так он делается опасным лжепеликаном. С адской хитростью обращает в рабство тех, кого он якобы освобождает. Превращает их в рыбешек, которыми с ненасытной жадностью набивает свой розовый зоб. Выплевывает только колючки вроде тех, какими оцетинивается кактус или чертополох. Но самое худшее в тиранах то, что народ им докучает, и, чтобы скрыть собственный цинизм, они бесчестят свою нацию. Перед лицом невинности своих вассалов они чувствуют себя виновными и добиваются, чтобы всех разьедала та же проказа... Видно, улица тебя многому научила, Герой, но я не прошу тебя сейчас рассказывать эти тираноборческие побасенки. Не строй из себя Тупака Амару. А то ведь четвертуют. Меня интересует миф о коршуне-ягнятнике, который в одно и то же время самец и самка. Я спрашиваю тебя, откуда ты его взял. Какая разница. Я мог взять его из Каббалы, из Корана, из Библии, из «Сентилокио» маркиза де Сантильяны<sup>[133]</sup>, из воздуха, который проникает в щели между дверьми и дверными косяками. Язык везде одинаков. Мифы тоже. Они не однозначны. Мне думается, они родились не из литературы, а из устной речи, предшествовавшей всякой литературе. А впрочем, какая разница — ведь не так важно знать истоки, как результаты. Все символично. Мы лишь меняем полет фантазии. Два глаза дают одно видение. Одна книга порождает все книги. Но от каждой вещи исходит некая особая эманация, подобная другим и в то же время отличная от них. Свой собственный аромат, свое дыхание. Больше всего знают, больше всего видят всегда слепцы. Самый нежный голос у немых. Самый тонкий слух у глухих. Все величие Гомера в том, что он повторяет других слепых и глухонемых. Главная болезнь человека — его ненасытное любопытство, его стремление познать вещи, которые ему не дано познать.

Дело ясное, сказал я зеленым. На этого пса напала та же блажь, что на моего секретаря Патинью: золотить металлы, амальгамировать зеркала, затуманивать их своим дыханием. Герой стусевался. Ладно, джентльмены, нелепо поддаваться мистификациям какого-то пса! Да еще бывшего пса последнего испанского губернатора! Султан зарычал, оскалив гнилые зубы. Выгнать отсюда взашей этого наглеца? Нет, пусть остается на своем месте, хотя ему здесь не место, а ты, невежда и невежа Султан, ступай на место и знай свое место, Робертсоны и Герой, воспользовавшись паузой, с насмешливой улыбкой осушили свои кружки.

Джентльмены, то, что рассказывает этот пес, старо как мир. Из древних книг, включая «Бытие», мы знаем, что первозданный человек был мужчиной-женщиной. Совершенно чистого рода не существует. Каждые сто лет и один день, или, лучше сказать, каждый день, делящийся сто лет, мужское и женское начала воплощаются в одном существе, порождающем различные существа, факты, вещи.

*Хорхе Луис Борхес в своей «Истории вечности», цитируя Леопольда Лугонеса<sup>[134]</sup> («Иезуитская империя», 1904), отмечает, что в космогонии племен гуарани луна*

приписывался мужской пол, а солнцу женский. Там же он говорит: «В тех германских языках, где есть грамматическая категория рода, луна имеет мужской род, а солнце женский». В другом произведении Борхес сообщает нам: «Для Ницше луна — это кот (Kater), который ходит по звездному ковру, а также монах. Ограниченный ум, во всем ищущий симметрии, сразу задался бы вопросом: ну а солнце?»

*Как же должен был рассматривать Ницше солнце? Как монахиню? Как кошку? По какому ковру, согласно Ницше, она должна была ходить?» Из Записок Верховного можно увидеть, что он разрешил загадку, которую задал Ницше. В своей инвективе против историков, писателей и прочих надоед он разделяется и с другой загадкой: «Одно насекомое съело слова. Оно решило, что сожрало знаменитую песнь человека и все то, что служит ей прочной основой. Но, пожрав слова, вороватый гость ничему не научился». (Прим. сост.)*

По закону мучительных родов и принципу смешения. Здесь, у нас, старики из индейских племен, хоть и не читали «Пира» Платона, тоже знают, что первоначально всем был присущ дуализм. Каждый полностью воплощал в себе оба начала. Был как бы высечен из одного куска. Являл собой цельную, гармоничную личность. Существовали определенные и неизменные породы людей. Много пород. Лучшее в них накапливалось, передаваясь по наследству. Так продолжалось до тех пор, пока мысль не оторвала людей от природы. Не разделила их. Не раздвоила. Они все еще думали, что сохраняют цельность, не зная, что половина их существа ищет другую половину. Что эти половины превратились в непримиримых врагов, движимых тем, что Человек-нашего-времени называет любовью. Близнецы не рождены одной матерью; так называемую Мать Матерей, утверждают индейские ведуны, сведущие в своей космогонии, сожрал Синий Тигр, который спит под гамаком Ньяндерувусу, Первого Прародителя. Близнецы родились сами собой и породили свою мать. Они перевернули понятие материнства, рассматриваемого как исключительный дар женщины. Они уничтожили различие полов, столь дорогое и необходимое для западной мысли, которая умеет обращаться только с парами. Они постигли или вновь осознали возможность существования не одного, а множества, бесчисленного множества полов. Хотя мыслящий пол — мужской. Только мужчина способен на размышление. И потому именно он призван, предназначен, обречен осмысливать бессмыслицу. Возможно ли, чтобы у нас были только один отец и только одна мать? Разве нельзя родиться от самого себя?

*Мне кажется, единственно возможное и реальное материнство — это материнство мужчины. Я мог быть зачат без женщины, одной силой своей мысли. Разве, если верить слухам, у меня не две матери и не две даты рождения, разве не называют как подлинные имена моего мнимого отца и моих четверых мнимых братьев и разве не доказывает все это лживость рассказов, которые ходят обо мне? У меня нет родственников; если я действительно родился, что еще требуется доказать, поскольку умереть может только тот, кто родился. Я родился сам от себя, и Я сам сделал себя двойким. (Прим. Верховного.)*

Yes, certainly, Excellency, but... [\[135\]](#) я позволю себе заметить, что тут играет роль наслаждение. Мудрый инстинкт сохранения рода! Высшее блаженство! Э! О! Ууу! Is it not so? Very, very nice [\[136\]](#). Согласен, мистер Робертсон. Но без конца сохраняющийся род не то же самое, что неизменные виды. All right, Excellency, but... [\[137\]](#). Позвольте, дон Хуан. Существует не один вид людей. Знаете ли вы, слышали ли

вы о других видах? О тех, какие, может быть, были. Может быть, есть. Может быть, будут. Живые существа имеют живые корни; они рождаются только тогда, когда случается встреча на перекрестке дорог. Но такие встречи случаются не случайно. Лишь нашему тупому уму представляется, что повсюду царит случайность. Природа никогда не устает повторять свои попытки. Однако тут нет ничего похожего на божественную или пантеистическую лотерею. Представим себе, что Один растет из самого себя, и все разрастается и разрастается. Тогда Множество исчезнет. Останется только Один. Потом этот Один опять станет Множеством. Вы высказываете мысль продолжать род без помощи другого пола, Excellency... как же это возможно? Зеленые молодые люди с красными волосами насмешливо смотрели на меня. Что они могли знать о моем двойном рождении или нерождении? Я пронзил их взглядом: я только сказал, что повсюду с необходимостью действует закон мучительных родов и принцип смешения. Человек до идиотизма глуп. Он способен только копировать, подражать, заниматься плагиатом, обезьянничать. Можно даже предположить, что он придумал деторождение путем соития, увидев, как совокупаются цикады. Ах, Excellency, тогда признаем, что цикада — разумное существо. Оно знает, что хорошо, и соответственно поступает. Будь я первым человеком, я не последним стал бы ей подражать. Я бы даже научился стрекотать, как она. Что ж, попробуйте, благо сейчас лето, дон Хуан. Потом я снова видел его на вилле доньи Хуаны Эскивель, которая находится по соседству с моей в Ибирае. Я видел Джона Пэриша, но не в роли победоносной цикады, а скорее в роли жертвы старой нимфоманки. Скарабея, коршуна в своем женском естестве. Черной женщины, которая делала на земле своего «двойника» из шотландского зеленого ягненка.

Тсс, тсс. I beg your pardon, Excellency<sup>[138]</sup>. Герой как раз рассказывает что-то в этом роде. Пока я говорил, невоспитанный пес, бывший роялист в собачьем образе, не умолкал, так что мои слова сопровождалось глухими обертонами его рычания. Только бы противоречить мне, даже в области языков и неизвестных, исчезнувших мифов. Я прислушался к иероглифическому голосу пса и к полупьяному голосу его английского переводчика: Герой рассказывает кельтскую легенду. Два персонажа сливаются воедино. Old hag — старая колдунья — загадывает загадку молодому герою. Если он ее отгадает, то есть ответит на домогательства отвратительной старухи, то, проснувшись, найдет в своей постели молодую, сияющую красотой женщину, которая доставит ему королевство... Dear Него<sup>[139]</sup>, мы плохо слышим тебя. Немножко погромче. И нельзя ли помедленнее? Пес презрительно мотнул головой и продолжал без всякого перехода по-испански, перестав ухмыляться: отвратительная старуха, она же красивая женщина, была брошена своими близкими во время трудного переселения в новые края, когда она рожала... Еще немножко пива, please<sup>2</sup>. С тех пор женщина бродит по пустыне. Это Мать Зверей, которая спасает их от охотников. На того, кто встречает ее в ее окровавленных одеждах, нападает страх, вызывающий неодолимое эротическое влечение. Он бесконечно жаждет соитий... Готов без конца блуждать в дремучем лесу блуда. Готов потонуть в море семени. Пользуясь его состоянием, старуха насилует охотника и вознаграждает его обильной добычей. В таком случае... Я весело рассмеялся, прервав рассказчика. О, наконец-то вы опять пришли в хорошее расположение духа, Excellency! Наверное, оттого, что повеяло приятной ночной прохладой: подул южный ветер. Он редко поднимается в полночь. Значит, северный ветер перестал дуть в час, когда появляются призраки. Ах, капризы ветров! И призраков, прибавил я, чтобы скрыть разбиравший меня смех. По

какому поводу вы так весело смеетесь, сэръ? О, по самому пустячному, дон Хуан! Я вдруг вспомнил нашу первую встречу в Ибирае.

*В своих «Письмах» Джон Пэриш Робертсон так описывает эту встречу:*

*«Однажды, в приятный вечер, какие бывают в Парагвае, когда юго-восточный ветер очистит и освежит атмосферу, я пошел поохотиться в мирной долине неподалеку от дома доньи Хуаны. Внезапно я натолкнулся на чистенькую и непритязательную хижину. Взлетела куропатка. Я выстрелил, и птица упала. Хороший выстрел! — раздался голос у меня за спиной. Я обернулся и увидел кабальеро лет пятидесяти в черном плаще.*

*Я извинился за то, что выстрелил так близко от его дома; но он весьма сердечно и любезно, как водится в этой стране, жители которой отличаются прирожденным, безыскусственным гостеприимством, пригласил меня посидеть с ним на веранде, угостил сигарой и велел негритенку подать мне мате.*

*Хозяин заверил меня, что мне не за что извиняться и что его угождать в моем распоряжении, когда бы мне ни захотелось поразвлечься охотой в этих местах.*

*Через маленький портик я увидел небесный глобус, большой телескоп, теодолит и разные другие оптические и механические инструменты, из чего сейчас же заключил, что передо мной не кто иной, как «серое преосвященство» правительства собственной персоной.*

*Инструменты подтверждали то, что я слышал о его познаниях в астрономии и оккультных науках. Он не заставил меня долго колебаться в своей догадке. Перед вами, сказал он мне с иронической улыбкой, указывая рукой в сторону темноватого кабинета-лаборатории, мой храм Минервы, который дал пищу для множества легенд.*

*Я полагаю, продолжал он, что вы тот английский кабальеро, который живет в доме моей соседки доньи Хуаны Эскивель. Я подтвердил это. Он добавил, что уже собирался навестить меня, но что ввиду политической обстановки, сложившейся в Парагвае, и в частности обстоятельств, касающихся его лично, он считает необходимым жить в полном уединении. Иначе, пояснил он, его самые безобидные поступки непременно будут истолковываться как самые злонамеренные.*

*Он провел меня в свою библиотеку, комнату с низким потолком и крохотным окном, в которое едва просачивался меркнувший вечерний свет. Поперек комнаты в три ряда стояли книжные шкафы, в которых помещалось, должно быть, томов триста. Тут были объемистые труды по юриспруденции, а также книги по математике, экспериментальным и прикладным наукам, иные на французском языке и на латыни. На столе лежали раскрытые «Начала» Эвклида и несколько работ по физике и химии с закладками между страниц. Целый ряд занимали книги по астрономии и всеобщей литературе. На конторке лежал тоже открытый на середине «Дон Кихот» в изящном издании, с золотым тиснением и розовым обрезом. Подальше, в полутьме, которая уже начинала сгущаться, теснились Вольтер, Руссо, Монтескье, Вольней, Рейналь, Роллен, Дидро, Макиавелли, Юлий Цезарь.*

*Большой письменный стол, скорее походивший на грузовой галион, был завален бумагами, документами и материалами судебных процессов. Там же были разбросаны несколько книг в пергаментных переплетах.*

*Диктатор снял с себя плащ и зажег свечу, при которой стало слегка светлее, хотя она годилась скорее для того, чтобы прикуривать от нее сигары, чем для*

освещения комнаты. На другом краю стола красовались чашка для мате и серебряная чернильница. На кирпичном полу не было ни ковра, ни даже циновок. Кресла были такие старомодные, что казались доисторической утварью, найденной при каких-нибудь раскопках. Они были обтянуты кожей старинной выделки с инкрустациями из какого-то неизвестного мне, почти фосфоресцирующего материала, на котором были выгравированы странные иероглифы, напоминающие наскальные надписи. Я хотел приподнять одно из этих кресел, но, несмотря на все мои усилия, не смог даже сдвинуть его хотя бы на миллиметр. Тогда диктатор пришел мне на помощь и с любезной улыбкой легким мановением руки заставил подняться в воздух тяжеловесное седалище, а потом опустил его на то самое место, которое я мысленно предназначил ему.

На полу валялись письма и вскрытые конверты, но не в беспорядке, а в соответствии с каким-то предустановленным порядком, что придавало царившей здесь атмосфере что-то загадочное и злое.

В одном углу, на грубом трехногом столике, стояли глиняный кувшин с водой и кружка, в другом, поблескивая в полутьме, лежали седла и сбруя.

Пока мы разговаривали, негритенок принялся медленно, заученно размеренными движениями, как бы преисполненный сознания важности своей миссии, подбирать туфли, шлепанцы, башмаки, разбросанные по всей комнате, но тем не менее, как уже сказано, не нарушавшие строгого и неизменного порядка, раз навсегда установленного в этом скромном жилище, таком чистеньком и так идиллически выглядевшем среди куп деревьев, словно это было обиталище человека, всего более любящего красоту и покой.

Снаружи, возможно, из патио или корралей, находившихся позади дома, стал доноситься все возрастающий шум — странные звуки, похожие на визг голодных грызунов. Я насторожился; мне взбрело в голову, будто эти звуки, пронзительные и в то же время приглушенные, исходят из какой-то подземной пещеры, чтобы не сказать: из могилы.

Только тогда диктатор, который, беседуя со мной, все время прохаживался по комнате взад и вперед, остановился.

Он жестом подозвал другое тяжелое кресло и сел напротив меня. Заметив, что я удивлен все более громким визгом, он успокоил меня со своей характерной улыбкой: «Сейчас время ужина в моем питомнике крыс. Я велел негритенку заняться ими».

О, вы повели себя в этой гостеприимной стране, как истинный кабальеро. Вы заплатили чем могли за небескорыстное гостеприимство восьмидесятилетней девицы из Ибиря.

«Дом доньи Хуаны Эскивель был как нельзя более удачно расположен: куда ни глянешь, открывался прекрасный пейзаж. Поодаль виднелись великолепные леса, радовавшие глаз сочной зеленью всевозможных оттенков; здесь простиралась широкая равнина, там тянулись заросли кустарника; журчащие родники и ручьи орошали землю; белое здание было окружено апельсиновыми рощами, плантациями сахарного тростника и маисовыми полями. Донья Хуана Эскивель была одной из самых необыкновенных женщин, каких я знал. В Парагвае женщины, как правило, стареют к сорока годам. Однако донья Хуане было уже восемьдесят четыре, а она, конечно, морщинистая и седая, тем не менее сохраняла лукавый взгляд, смешиливость,

живость движений и ума, подтверждая поговорку о том, что нет правил без исключения.

Я жил в ее доме, как принц. Испанскому характеру, особенно и условиях южноамериканского изобилия, присуще столь великодушное понимание слова «гостеприимство», что я позволил себе, всячески выказывая со своей стороны учтивость и любезность, во многом уступать радушию доньи Хуаны. Во-первых, все в доме—слуги, лошади, припасы — было в моем распоряжении. Затем, если я восхищался чем-либо, принадлежавшим ей — любимым пони, богатой филигранью, отборными ньяндути<sup>[140]</sup> или упряжкой красивых мулов, — она принуждала меня принять это в подарок. Так, однажды утром раб принес мне в комнату золотую табакерку, которую я накануне похвалил, а стоило мне как-то раз полюбоваться бриллиантовым колечком, его положили мне на стол с такой запиской, что отказаться от него было невозможно. В доме не готовили ни одного блюда, не удостоверившись, что оно мне нравится, и, хотя я всеми возможными средствами пытался как-то отплатить донье Хуане за ее любезность и в то же время показать, что она меня стесняет, все мои усилия оказывались тщетными.

Я уже собирался поэтому покинуть жилище, где нашел чрезмерно радушный прием, как вдруг произошло одно происшествие, хотя и неправдоподобное, но тем не менее подлинное. Оно изменило, а в дальнейшем поставило на лучшую основу мои отношения с этой странной женщиной.

Мне нравились жалобные песни, которые поют парагвайцы под аккомпанемент гитары. Донья Хуана это знала, и, к моему великому удивлению, однажды вечером, вернувшись из города, я застал ее в обществе гитариста, под руководством которого она пыталась своим надтреснутым голосом петь тристе<sup>[141]</sup> и своими костлявыми желтыми, сморщенными пальцами аккомпанировать себе на гитаре. Мог ли я при этом зрелище старческого слабоумия не улыбнуться насмешливо, задев за живое чувствительную даму? «Боже мой, — сказал я, — как вы можете спустя четырнадцать лет после того, как, согласно естественным законам, должны были бы сойти в могилу, делать себя мишенью для насмешек врагов и предметом сострадания для друзей?»

Это восклицание, хотя и обращенное к даме восьмидесяти четырех лет, признаюсь, не было галантным, ибо какая женщина может снести упрек, затрагивающий ее возраст?

Незамедлительно выяснилось, что донья Хуана в этом отношении вполне разделяет слабость, присущую ее полу. Она швырнула на пол гитару. Грубо приказала учителю пения выйти из комнаты, выгнала слуг и вслед за тем с яростью, на которую я считал ее неспособной, обратилась ко мне со следующими ошеломляющими словами: «Сеньор дон Хуан, я не ожидала подобного оскорбления от человека, которого я люблю. — В последнее слово она вложила необычайный пафос. — Ведь я была готова, — продолжала она, — и еще сейчас готова предложить вам мою руку и мое состояние. Если я училась петь и играть на гитаре, то для чего же, как не для того, чтобы доставить вам удовольствие? О чем же еще я думала и для кого же я жила в последние три месяца, как не для вас? И вот какую награду я нахожу?»

Тут старая сеньора явила любопытное сочетание страстной патетики и комизма, разразившись слезами и излив в них свое негодование. Это зрелище вызвало у меня безмерное удивление, но и тревогу за бедную старуху. Поэтому я вышел из

*комнаты; послал к ней ее служанок, сказав им, что их хозяйка серьезно больна, и, когда все стихло, лег в постель, не зная, смеяться ли мне или сострадать восьмидесятичетырехлетней даме, у которой пробудил нежную страсть молодой человек двадцати лет. Надеюсь, никто не припишет тщеславию рассказ об этом любовном приключении. Я привожу его просто как пример хорошо известных выходов Купидона, самого пылкого и капризного из богов. Никакой возраст не предохраняет человека от его стрел. Восьмидесятилетний старец и мальчик равно становятся его жертвами; и его проделки особенно экстравагантны, когда сочетание внешних обстоятельств — возраст, привычки, немощи — делает невероятной и абсурдной мыслью о том, что он может поразить сердце. (Ibid.)*

Когда я вышел из Хунты из-за моей войны против военных, я оказался невольным свидетелем другой войны, менее скрытой, хотя и более интимной, которая имела своим театром сельскую Трою моей соседки Хуаны Эскивель. Я повсечасно слышал шум, выдававший похотливость почти столетней старухи. Я видел, как она гонялась за вами по галереям, в зарослях, по берегу ручья. Фаллопиева труба воинственно гремела в тени и на солнце, способная обратить в бегство целую армию. От сладострастных воплей старухи лопались мои евстахиевы трубы. От них содрогались деревья и бурлила вода в ручье, куда оба бросались нагишом. Пылкая страсть доньи Хуаны продлевала на ночь полуденный зной. От нее закипала ночная роса, и едкий туман стлался при свете луны. Он проникал в мой наглухо запертый дом. Мешал мне сосредоточиться на моих занятиях. Отвлекал меня от уединенных размышлений. Мне пришлось отказаться от моего главного пристрастия — вытаскивать телескоп и созерцать созвездья. Я видел, как похожая на скелет old hag, несчастная цикада, со стоном тащила по лугу, влача за собой длинный шлейф дыма. Вы, дон Хуан, молодой герой кельтской легенды, оказались бессильны разгадать загадку, которую задавала вам отвратительная колдунья, так и этак варьируя ее. Вы всякий раз ждали нового насилия, заранее зная, что никогда не увидите в награду на месте старухи прекрасную девушку. Однако вы не можете пожаловаться: ведь, несмотря на все, она вознаградила вас, принесла вам редкую удачу в охоте если не за голубями, то за дублонами.

У меня плохая память, дон Хуан. Не помню, у какого античного автора говорится о Старухе-Демоне с зубатым ртом и зубатым лоном. Так же и здесь, в Парагвае, где коренные жители считают демона существом женского пола, некоторые племена сохраняют культ этой суккубы<sup>[142]</sup>. Что означает лоно-с-зубами, как не воплощаемое самкой пожирающее начало в противоположность порождающему? Джон Робертсон слегка передернулся. Не выпадают ли эти зубы, Ваше Превосходительство, когда самка стареет? Нет, уважаемый дон Хуан. Они становятся все крепче и острее. Вы чего-нибудь боитесь? С вами случилась какая-нибудь неприятность? Нет, не думаю, Ваше Превосходительство. Во всяком случае, дон Хуан, вам нелишне узнать, как отвращают индейцы связанные с этим опасности. Они принимают день и ночь танцевать вокруг женщины-демона. Они танцуют как безумные, добиваясь, чтобы она тоже танцевала, прыгала, тряслась. На третий день на восходе солнца происходит одно из двух. Либо клыки выпадают и белеют на полу в Доме Церемоний. Тогда мужчины гонятся за этими зубами, которые дрожат и прыгают с места на место, подвешенные на пупочно-вагинальном канатике, пока они не останавливаются, превратившись в сухие колючки кокосовой пальмы, чертополоха, кактуса. Эти колючки собирают и сжигают на костре, где они тлеют еще три дня, наполняя заросли

едким, густым, липким дымом в соответствии со своим происхождением и характером. Либо зубы не выпадают. В этом случае мужчины-танцоры, потрясенные и подавленные, себе на беду превращаются в тех, кого мы называем сометико, то есть содомитами. С этого времени они обречены на самые унижительные работы. Надо остерегаться таких напастей. Самый сметливый и искушенный может вдруг, не предвидя того, оказаться у быка на рогах. Э, э, смотрите, что сделала с Пабло дьяволица!

Джон Робертсон зажал руки между ног и скорчился от позыва к рвоте. Комнату наполнила вонь от извергнутого пива. Даже собаки наморщили носы. Герой бросал вокруг себя испытующие взгляды и принимался, поворачивая голову во все стороны. Судя по этой омерзительной вонючке, Ваше Превосходительство, можно подумать, что к нам ворвалось сто тысяч дьяволиц! Может быть, может быть, Герой. Я ничего не чувствую. У меня насморк. Пес прижался к англичанину, который боролся со спазмами, скрючившись, уткнувшись подбородком в грудь и упираясь локтями в бедра. В виде утешения Герой неуверенно пробормотал: сейчас пройдет, дон Хуан. Это всего лишь моральные колики, и, как бы для того, чтобы я не понял, добавил по-английски: *Fucking awful business this, no, yes, sir? Dreamt all night of that bloody old hag Quin again...*<sup>[143]</sup> Я велел негру Пилару бросить на раскаленную докрасна медную пластину крупинки ладана и ликидамбара<sup>[144]</sup> и вылить еще пинту водки. Заплясали красивые огоньки, погасили скверные запашки. Сходи на кухню, Пилар, и скажи Санте, чтобы она приготовила отвар из цветов укропа, омелы, мальвабланки и ятеи-ка'а. Сквозь ароматный дым виднелись головы Робертсонов, на которые падали синеватые отсветы. Герой и Султан дремали, презрительно повернувшись друг к другу задом. Они взъярились, только когда Кандид со своим спутником, тукуманским мулатом Какамбо<sup>[145]</sup>, прибыл в Парагвай воевать на стороне иезуитов. Это изумительная империя! — восторженно воскликнул Какамбо, стараясь соблазнить своего хозяина. Я знаю дорогу и приведу вас туда. Там монахам принадлежит все, а народу ничего. Это образец разумности и справедливости. Источник ликования и безграничного оптимизма. Султан уже ничего не слышал. Он думал, что находится в Парагвае, откуда навсегда изгнаны иезуиты, а тут два подозрительных иностранца скакали к исчезнувшему царству, с которым кое-кто осмеливается сравнивать мое. В полутемной комнате звучал топот копыт. И шум всего царства. Существующего, сохранившегося в целостности, ожившего. Гигантского улья, муравейника диаметром в триста лиг, насчитывающего сто пятьдесят тысяч индейцев<sup>[146]</sup>. Высекая шпорами искры, вошел отец-провинциал. Он сразу узнал Кандида. Они нежно обнялись. Султан и Герой в едином порыве стали с бешеной яростью кидаться на стены, двери и окна, рыча, как сто драконов и змей-собак. Но они были бессильны против этого огромного, переливающегося всеми цветами радуги мыльного пузыря. Среди колонн из зеленого с золотыми прожилками мрамора и клеток, полных попугаев, колибри, кардиналов, всех пернатых на свете, Кандид и отец-провинциал преспокойно завтракали на золотой и серебряной посуде. От пенья птиц и звуков цитр, арф, флейт самый воздух, казалось, превратился в музыку. Какамбо, смирившись со своей участью, ел маис из деревянной миски вместе с парагвайцами, сидевшими на корточках под палящим солнцем среди полевых ирисов, коров и собак. Кандид, что такое оптимизм? — крикнул издали мулат из Тукумана, которого на ружейный выстрел не подпускали к площади, окруженной колоннами из зеленого мрамора. Насколько я знаю, ответил ему Кандид, быть



оптимистом — значит утверждать, что все хорошо, когда явным образом все очень плохо. Надменное лицо отца- провинциала, окутанного винными парами, оставалось бесстрастным — казалось, он ничего не замечал. Герой и Султан бросились в атаку на сияющего тонзурой генерала театинцев. Покончим с этим содомом, сказал я Робертсонам, которые с увлечением охотились за колибри, изображенным на странице книги. Если вы начали читать эту сказку, чтобы убить время, вообразите, что оно уже умерло под тяжестью таких фантазмагорий, или собаки убьют нас самих — в лучшем случае оставят половину задницы, но, уж во всяком случае, не оставят даже половины жизни. Младший Робертсон захлопнул книгу, оставив между страниц пух колибри. Братья встали, опасливо ощупывая свои ягодицы, и — спокойной ночи, преподобный отец-провинциал, простите, я хотел сказать, Ваше Превосходительство.

*Инсинуации по поводу «питомника крыс», которых Верховный мог действительно разводить в своей усадьбе с экспериментальными целями, еще один пример того, как доктор Диас де Вентура и брат Веласко извращают факты, чтобы его ошельмовать и оклеветать. Следующие отрывки взяты из уже цитированной частной переписки между этими заклятыми врагами Пожизненного Диктатора: «Преподобный отец и дорогой друг, я заранее взволнован Вашим «Воззванием одного парагвайца к своим землякам которое благодаря присутствию Вам искусству убеждать внушит Вашим соотечественникам, что их долг, пока не поздно, восстать и покончить с этой эпохой позора и траура.*

*Быть может, ко множеству чудовищных фактов, которыми Вы располагаете, будет бесполезно добавить последнее безумство диктатора, хранимое им в глубочайшей тайне. Как мне конфиденциально сообщили, он в подражание узникам, которые в своих застенках приручают мышей, устроил на своей вилле близ Тринидад огромный питомник крыс. Он собрал там этих грызунов всех видов, имеющих в стране. Сторожами вивария назначил двух или трех глухонемых, над которыми надзирает его камердинер, негритенок Хосе Мария Пилар. Доверие, которым он пользуется, и простодушие этого негритенка, по мнению Диктатора, достаточные гарантии от всякой нескромности. Но именно устами детей, даже если это рабы, глаголет истина, иногда принимающая форму символов или иносказаний.*

*Как мне стало известно из заслуживающих доверия источников, негритенку поручено наблюдать со сторожевой башни за всеми движениями тысяч грызунов и аккуратно записывать все замеченное. Часто диктатор собственной персоной приезжает в усадьбу, чтобы проверить полученные сведения По слухам, основанным на словах самого негритенка, «великим человек» превратил виварий в странную лабораторию. Там он занимается опытами по скрещиванию различных видов и в особенности наблюдениями над обычным поведением этой огромной массы зубастых млекопитающих. Кормежки по звонку; нечто вроде эволюций войск; собрания; наконец, длительные периоды голодания, во время которых бьют в набат, доводя до остервенения это скопище крыс и мышей, — все это, преподобный отец, по-моему, дает основание подозревать, что дьявольский диктатор пользуется виварием, как своего рода черновиком, испытывая на живом материале свои методы правления, с помощью которых он доводит наших соотечественников до животного состояния.*

*Последний опыт выходит за пределы всего, что может вообразить порядочный и здравомыслящий человек. Представьте себе, Ваша милость, нечто поистине демоническое. Диктатор приказал отнять у окотившейся кошки котенка и с первого дня держать его в полной темноте. В течение трех лет, прошедших с того*

момента, когда диктатор установил свою абсолютную власть, котенок находился в полном одиночестве, не соприкасаясь ни с каким другим живым существом. И вот уже взрослого кота вытащили в кожаном мешке из его глухой темницы и отнесли в залитый полуденным солнцем питомник. Там его выбросили из мешка, и он оказался среди тысяч голодных грызунов, а негритенок зазвонил в колокол. Представьте себе, друг мой, как обжигает солнце глаза кота, привыкшего к полному мраку, в котором он жил со дня рождения. Свет ослепляет его в то самое мгновение, когда он познает его! Пока он находился в своей пещере, где всегда была ночь, его хорошо кормили, и вот животные исконно враждебной породы, тоже ему неизвестные, свирепо набрасываются на него. В считанные секунды от кота остаются лишь мелкие косточки, которые крысы, подняв ужасающий визг, растаскивают во все стороны.

*Это нечто поистине сатанинское, не правда ли, преподобный отец?*

Главная сила правителя кроется в совершенном знании своих подданных, сказал диктатор в торжественной речи, вступая на свой пост. Неужели же мы, парагвайцы, по крайней мере те из нас, которым не удалось уйти от своры бешеных собак, обречены на участь этого несчастного кота, выросшего в подземном каземате? Используйте, Ваша милость, в своем «Воззвании» эту историю в виде спасительного предостережения. Ваш преданный друг *q. b. s. t.* <sup>[147]</sup> Буэнавентура Диас де Вентура. (Прим, сост.)

По ночам, запершись в своей мансарде, я тер череп фланелькой. Лишь через долгое, очень долгое время он начал слегка поблескивать. Потом порозовел и залоснился, словно разогрелся от трения, и на нем выступил пот. Тру я, а потеешь ты, сказал я ему. Я все тер и тер в полной темноте. Ночь за ночью в течение девяти месяцев. Только после этого из него начали вылетать крохотные искры. Он уже начинает думать! Напоенный теплом и светом. Знакомый во всех подробностях. Весь белый снаружи, весь черный изнутри. С провалом рта, из которого исходит хрип души. Я весь дрожу от радости! Детские мысли варятся в собственном соку. Или, лучше сказать, мысли еще не родившегося ребенка инкубируются в кубе черепа. В качестве такого инкубатора годится любое вместилище, даже мертвая голова человека, который сошел в гроб от внезапной болезни или от предвиденной старости. А еще лучше, мертвая голова человека, которого просто зарыли в землю. Но я был еще не родившимся существом, я сознательно прятался от жизни, запершись в шести стенах черепа. Воспоминания взрослого человека, которым я когда-то был, тяготели над ребенком, которого еще не было, наполняя его тревожными предчувствиями. Не бойся! — ободрял я его. Люди просвещенные — самые темные. Они жаждут вернуться к природе, которой они изменили. Из страха перед смертью они хотят вернуться в состояние, которое всего больше похоже на смерть. Сходное с заключением в тюрьме, в подземном каземате, в камере полицейского участка, в пенитенциарной колонии или в концентрационном лагере. Всего этого я не думал тогда, в полутьме чердака. Мне пришло, мне придет это в голову потом.

Родиться — это моя нынешняя мысль... (Край страницы обуглился, и остальное не поддается прочтению.)

Сколько времени похороненный человек может пролежать в земле, не разложившись? Самое большее — восемь или девять лет, да и то, если он не прогнил еще до смерти. Но если этот человек был добрый христианин и умер, как подобает христианину, он может дотянуть до Страшного суда, да, да. И по слову божию воскреснуть из мертвых. Уж это известно, маленький Иисус Навин. Меня зовут не

Иисус Навин. Я знаю, что говорю, малыш. Со времен папочки Адама до Христа всегда так было. Ты Иисус Навин. Или Адам. Или Христос. А может человек продлить свою жизнь, мачу<sup>[148]</sup> Эрмохена Энкарнасьон? Что ее продлять! Кто не виноват в своей смерти, тот не укорачивает свою жизнь, вот и хватит с него. Человек начинает стареть со дня рождения, Иисус Навин. Старость всегда пятится, всегда она впереди. Но где вы видели живого человека, который сам не укорачивал бы свою жизнь? Никто от своей беды никуда не спрячется.

Няня, намазывавшая черепашьям жиром свои курчавые волосы, шею, груди, повернулась ко мне спиной. Перестань приставать с вопросами, дружок Иисус Навин, и разотри мне поясницу. Я уже стара, и мне не дотянуться рукой, да и сил в руках нет. Она повалилась на пол. Я начал рассеянно растирать дряблое тело, думая о черепе, а няня, лежа ничком, тем временем напевала:

... Я никогда не умру,  
не зная почему, почему,  
почему,  
почему,  
оэ, оэ, оэ.

Сколько времени, по-вашему, находился в земле этот череп? Ох, боже мой, зачем вы его держите? Все черепа тупицы безмозглые. Почему, мачу Энкарна? Да потому что в них уже нет мозга! Этот череп, сказала она, вертя его в своих пепельно-бурых руках, был похоронен девять тысяч сто двадцать семь лун тому назад. А эта луна уйдет, он опять умрет. Хи-хи! Послушайте моего совета, отнесите-ка его лучше на кладбище, бище, бище. Скажите, мачу Энкарна: это была голова мужчины или женщины? Мужчины, мужчины. Вот петушиный гребешок. Это был очень знатный сеньор. По запаху чувствуется. Чем важнее был человек при жизни, тем хуже пахнет его череп после смерти, ерти, ерти. Когда-то был у него язык, и он мог петь:

Когда я молод был, с гитарою в руках, с гитарою в руках я время проводил, и аватисока<sup>[149]</sup> без усталости долбил, в ту пору я, ава<sup>[150]</sup>, веселый парень был.

Теперь языком сеньора завладел сеньор червь. Хи-хи-хи. Ах, сеньор страшилище, не предстать тебе перед Страшным судом! Хи-хи-хи. Этот череп, малыш, только и может сгодиться ему для игры в кегли, егли, егли. Да и для этого ему не послужит. Теперь я присмотрелась и вижу, что это была голова индейца. И сама песня это сказала. Чтобы узнать, что и как, нет ничего лучше, чем петь. Посмотри-ка: вот пятно от аргольи<sup>[151]</sup>, вдавившейся в кость, вот след винчи<sup>[152]</sup>. Брось ты его в реку пайагуа<sup>[153]</sup>, гуа, гуа. Брось его, дружок, не то он может принести тебе большое несчастье! Оэ, оэ, оэ! Голос няни отдавался эхом в шести стенах. Это не игрушка для ребенка!

Я не был ребенком. Еще не был. И мне уже не суждено было им стать. Няня со смехом: когда вы сосали мою грудь, я и не чувствовала твоих губок. Не такой вы, каким должны бы быть по природе.

*Ах, беда, что за злая беда,  
когда ослица хочет, осел не может...*

Смех. Белое в черном. Твоя мама вас уж очень избаловала, маленький Иисус Навин. Да и вообще плохо, когда у ребенка две матери. Замолчите, Эрмохена! У меня не было матери! — сказал я, но няня уже вылетела в окно, хотя еще отдавался ее смех, смех зловещей птицы.

Помню, как я при свете плошки рассматривал череп. Первый глобус, попавший мне в руки. Маленькую темницу, в которой была заточена мысль человека. Не важно, индейца или знатного сеньора. Этот череп был для меня больше земного шара. Теперь он был пуст. Кто знает, какие мысли, какие образы роились в нем.

Вот так штука. Воображение живого рисует воображение мертвого. Пустоты не существует. Во всяком случае, в пустоте нет ничего страшного. Те, кто пугаются понятия, которое они сами создали, просто дети. Я свечу внутрь черепа. Полупрозрачная пористая скорлупа предоставляет догадываться о заполнявшем ее когда-то веществе, о лабиринте извилин. Теперь там остались только следы, пятнающие белизну окружья. Я измеряю, размечаю, определяю. Радиусы, диаметры, углы, сечения, глазные впадины, височные доли, лобные пазухи, теменную область, экватор, параллели, меридианы. Места, где бушевали бури мышления. Бездонные ямы. Кратеры. Весь этот лунный шар. Старый череп. Череп старика или юноши. Череп без возраста. Шов делит его на две половины. Детство — старость. Теперь, когда я пребываю в старости, не выйдя из детства, которого у меня не было, я знаю, что мне суждено быть своим собственным началом и концом. Будь мне даны три, или четыре, или, может быть, сто жизней, я мог бы чего-нибудь достичь в этой неблагодарной стране. Мог бы узнать, что я сделал лишнего и что недоделал. Узнать, что я сделал плохо. Знать, знать, знать! Хотя мы уже знаем из Священного писания, что знание прибавляет страдания.

Студентами мы тайком читали книги писателей-«вольнодумцев» в склепе готической пагоды Монсеррат, сидя на черепах, уже века никому не внушавших почтения. При свете свечей, горящих на гробницах, среди перелетающих из угла в угол нетопырей, в атмосфере, насыщенной миазмами смерти, эти книги «анти-Христов» приобретали для нас странный вкус новой жизни.

*Много позже брат Мариано Веласко сообщает своему другу Вентуре Диасу де Вентуре следующие сведения о племяннике-студенте*<sup>[154]</sup>:

*«Бойкий мальчик сразу становится одним из первых учеников. Его усердие позволяет ему продвигаться в науках быстрее своих товарищей. За два года он проходит два курса, обязательных для получения степени бакалавра, а затем сдает экзамен по логике и по трем полным курсам философии и получает звание лиценциата и магистра искусств. Как одержимый поглощает труды по эстетике. Особенно силен он в латыни. Он безупречно говорит на этом языке и на нем пишет свои эссе и научные работы, любовные письма, а равно и анонимные пасквилы, которыми бомбардирует конвикторий*<sup>[155]</sup> *и ректорат.*

*Когда происходила церемония приема в интернат нового воспитанника, мы еще не предчувствовали, что этот пятнадцатилетний подросток со временем станет героем одной из самых страшных политических драм в Южной Америке.*

*В Тайном Зале Сообщества ректор дал ему эспальдорасо*<sup>[156]</sup>*. В знак приветствия и добрых чувств воспитанники облобызали асунсьонца. Мы все целовали в обе щеки, усыпанные прыщами, скрытного и молчаливого Иуду. Целовали его руки которые потом раздавали пощечины всем тем, кто ему помогал и сделал какое-нибудь добро, касалось ли дело брэнного существования или жизни вечной.*

*По натуре нервный и вспыльчивый; углубленный в себя; необщительный; строптивый и высокомерный с преподавателями и соучениками, он ничего не делает для того, чтобы завоевать их симпатии, но импонирует им своим умом и упорством.*

На занятиях и вне аудитории эта незаурядная личность производит на всех сильное впечатление. Память о его проказах и подвигах надолго сохранилась в преданиях монастыря. Он чрезвычайно любит верховодить товарищами, и ему это удается, потому что он дерзок, своеволен и бесстрашен в осуществлении своих планов. Он часто ссорится с однокашниками и грозит им кинжалом, с которым никогда не расстаётся. Но что внушает уважение его соученикам, так это его храбрость. Ее показывают некоторые истории.

В церкви Ордена (которую он прозвал «готической пагодой») существовало глубокое подземелье, тянувшееся через добрую часть города и выходявшее в подвал здания, именуемого Старым Новициатом<sup>11571</sup>. В этом подземелье, где находились многочисленные гробницы святых и прославленных людей, имелись также казематы для тех, на кого налагались телесные наказания. У студентов повелось, прихватив фонарь, удирать в эти катакомбы, устраивать там попойки и веселиться. Асунсьонский стипендиат был первым заводилой в таких эскападах. Однажды ночью он предложил одному товарищу составить ему компанию. Умирая от страха, но не отказавшись из самолюбия, как он потом сам признался, тот прошел с ним из конца в конец по этому мрачному подземелью. На полдороге им попался череп, валявшийся между гробниц. Товарищ асунсьонца споткнулся об него и упал, полуживой от испуга. Тогда запальчивый гуляка вытащил рапиру и несколько раз кряду ткнул ею в глазницы черепа. Своды подземелья задрожали от визга раненого животного. С рапиры закапала кровь, к ужасу смельчака поневоле, который, как в кошмаре, смотрел на эту жуткую сцену. Главарь пинком отшвырнул череп, и он, ударившись об стену, разбился на куски, а из-под обломков выскочила крыса. Этот эпизод стяжал парагвайцу несколько злоеущую славу, и его влияние на товарищей еще возросло.

Однажды во время студенческой прогулки в окрестностях города, близ виллы Каройас, он нацарапал свое имя на камне, увенчивавшем, казалось, недоступную кручу. Много позже молния расколола камень и уничтожила надпись. Зато на пюпитре, за которым он сидел, его имя осталось неизгладимым — так глубоко он врезал в дерево буквы острием ножа.

В другой раз он заставил одного товарища, который воровал у него фрукты, проглотить несколько персиковых косточек. Уже тогда сто прозвали Диктатором, и это прозвище, к несчастью, оказалось знаменательным, предвестив то, что сбылось позднее, вне стен Реаль Колехио, где прошел этот этап его юношеского формирования. В кондуите, который вели отцы ректоры Паррас и Гуиттиан, они отмечают, что этот воспитанник весьма привержен к дьявольским учениям анти-Христов, в великом множестве возникавшим во Франции, в Нидерландах и в Северной Америке. Неутомимый читатель уже не рыцарских романов, пустых или непристойных историй, вроде приключений Амадуса, а куда более опасных книг, он глубоко проникся макиавеллиевскими идеями тех, кто стремится воздвигнуть новое общество на мерзостной основе безбожия.

Смутьяна исключили из Реаль Колехио, и ему пришлось продолжать образование в университете в качестве экстерна или вольнослушателя (в данном случае правильнее было бы сказать вольнодумца). По окончании его он получил диплом доктора теологии и философии из рук самого Сан-Альберто.

Совершилась новая несправедливость, в которой я повинен вдвойне, как преподаватель и как родственник. Сбившегося с истинного пути воспитанника

надлежало исключить совсем; его следовало примерно наказать. От скольких тиранов, скольких зловещих фигур, по чьей милости пролились реки крови и слез, можно было бы избавиться, раздавив их вовремя, когда змееныш только начинал показывать свои ядовитые зубы. Эти исчадия ада от рождения несут метку на своей треугольной голове. Я имел слабость вступить за племянника. Я не только ходатайствовал за него и поручился за его добропорядочное поведение в будущем. Я даже заплатил его денежный долг коллежу. Наконец, к вящему осмеянию и наказанию за мои грехи, я был его свидетелем на церемонии вручения дипломов.

Если всего этого мало, чтобы дать представление о его ужасном характере, достаточно добавить один факт, который раскрывает во всей глубине душевную извращенность этого юноши. В ту пору, когда его исключали из Реаль Колехио, он получил печальное известие о кончине своей матери. Это событие, прискорбное для всякого благородного и добросердечного человека, не произвело на него никакого впечатления. Вы думаете, дорогой Вентура, диктатор выказал хоть малейшее огорчение? Ничуть не бывало! Его душе была чужда сыновняя любовь, свойственная даже животным, и казалось, он и не подозревает о случившемся. Вместо горя и скорби он проявил полную бесчувственность, умножив дерзкие выходки и саркастические выпады против преподавателей и соучеников. Я мог бы без конца рассказывать подобные случаи, но об этом выродке, уважаемый друг, можно говорить лишь скрепя сердце, и к тому же я боюсь, что Вы устанете читать, как я сам устал рыться в столь горестных и позорных фактах», — заканчивает брат Мариано свое длинное письмо Диасу де Вентуре. (Прим, сост.)

Меня вызывает ректор. Он велит мне стать на колени перед его креслом и, положив руку на плечо, отечески говорит мне на ухо, как на исповеди, глядя мочку другого уха шелковистыми подушечками пальцев: нас весьма огорчает и беспокоит, что вы танком читаете лживые книги вольнодумцев, которые отравляют ваши умы ядом бунтарства и атеизма. Каждое слово в этих безбожных и крамольных книгах подсказано дьяволом, сын мой. Это он оплевывает Священное писание через посредство отвратительных чужеземных учений. Но, ваше преподобие, в нашу Америку вы тоже принесли чужеземного бога, поставив ему на службу богов индейских и освятив миту и янакону<sup>[158]</sup>. Не будь еретиком, сын мой! Нет, преподобный "отец, мы не еретики. Мы просто хотим знать новое слово, а не повторять, как попугаи, Paternicas, Summa, сентенции Петра Ломбардского<sup>[159]</sup>. Вы все еще хотите уничтожить Ньютона посредством силлогизмов, но можете лишь подпирать ваш обветшалый теологический бастион такими же ветхими подпорками. А мы хотим построить все заново с помощью таких добрых каменщиков, как Руссо, Монтескье, Дидро, Вольтер и другие. Omnia mea mecum porto<sup>[160]</sup>, преподобный отец, а раз так, то эти новые идеи составляют неотъемлемую часть нашего нового существа. Вы не можете их конфисковать, разве только промоете нам мозги соляной кислотой. Свинья, поганый бунтовщик! Ректор влепил мне в ухо смачный плевок. Я заметил, что от этого полоскания еще лучше слышу ход времени. Таковы парадоксы, возникающие на почве плохого умывания. Когда идет сильный дождь, люди перепачкиваются в грязи, а свиньи делаются чистыми.

Я держу в руках старый череп. Пытаюсь проникнуть в тайну мысли. В какой-то точке самые великие тайны соприкасаются с самыми малыми. Вот эту точку я и ищу, водя ногтем по кости. Lustravit lampade terras<sup>[161]</sup>. Долго ищу на ощупь и наконец, как мне кажется, нахожу тронное место воли. И место языка под наростом афазии. И

забытый экран памяти. Недвижимы машины, вырабатывающие движения. Исчезли чувства; разум, который делает нас несчастными; совесть, которая делает нас подлецами, потому что говорит нам, что мы подлы и жалки.

Я верчу в руках известковый шар. Долины, темные котловины, где прыгает и скачет Козерог с пылающими рогами. Горы. Гора. Тень горы. Гребень еще слегка фосфоресцирует. Гаснет. Я убираю дымящийся огарок свечи. Вхожу внутрь. На горизонте ничего, кроме кости, по которой я ступаю. Я тащусь по этой пустыне к единственной точке, не подвластной бреду. Непроницаемая темнота. Глубокая тишина. Даже эхо не отзывается на мои крики в одиночной камере с вогнутым полом. Шум шагов. Я поспешно выхожу.

Донос няни. Засада. Стук каблуков артиллерийского капитана королевской службы. Скрип двери. Вот он, мамелюк, паулист<sup>[162]</sup>, которого называют моим отцом, огромный, грозный, темный, как мулат. Громкий, громовой голос, грохочущий высоко надо мной. Великан медлит подойти ко мне. Гремит пушечный выстрел: негодяй! Jogar-se jogo<sup>[163]</sup> в мяч человеческим черепом! Haverem vergonha<sup>[164]</sup>, паршивец! Vai'mboga<sup>[165]</sup> и сейчас же похорони его в ограде Энкарнасьон! А потом покайся в этом надругательстве ao senhor<sup>[166]</sup> священнику! Сеньор, няня говорит, что это голова индейца, а не христианина. Тогда брось ее в реку! Капитан выходит, мрачный как туча, с такой яростью хлопнув дверью, что у меня чуть не раскалывается голова. Череп отскочил в темный угол и покачивается там, шагах в десяти от меня. Умоляя. Умоляя. Умоляя, чтобы его снова предали земле. Он воплощает бытие вне времени — без начала и конца. Весь белый, он льет в темноту молочную тень. Окаянный, забытый обычаем живых, он умоляет, чтобы о нем вспомнили, чтобы его, обратившегося в землю, вернули в землю. Он тихонько подкатывается ко мне. Унеси меня, похорони меня снова! Он качается, как пьяный. Я всего лишь череп человека, который был сукиным сыном! Из его пустых глазниц текут слезы. Ну хватит, мошенник неблагодарный! Теперь нечего плакать. Если ты в жизни был слаб, то хоть в смерти будь тверд. Не обманывай меня. Ты не сукин сын, как тот, который говорит, будто он мой отец. Ах, мальчуган, ничего ты не понимаешь, потому что ты еще не родился. Няня мне сказала, что ты череп индейца. Нет, малыш, нет! Будь это так, как же тогда я говорил бы на староиспанском языке, на котором говорили в самой доброй старой Кастилии? Да еще с ламанчским акцентом, если хочешь знать. Конечно, ты еще не искушен в таких вещах. Иначе ты понял бы, что я действительно отпетый сукин сын. Я создал себе славу лжеца, чтобы безнаказанно говорить правду. Нянькам соврать — раз плюнуть. Как дубы приносят всего лишь желуди, которые годятся только на корм для свиней, так эти дубины рассказывают сказки, которым верят одни дурачки. Ради бога, закопай меня в землю или брось в реку! Только бы было потемней, чтобы я мог скрыть свой позор! Я стою перед ним, но в голове у меня еще гудит от громового голоса, который меня оглушил, как дубинкой, и я едва слышу его умоляющее, умоляющее, умоляющее молчание. Я поднимаю серый горшок. Все оттенки серого восходят к первичному, с которого начался спад. Ртутно-серый цвет — промежуточный между белым и черным; темно-белый. Мой череп наполняет жужжание, вырываясь из ушей, изо рта, из глазных впадин того же темно-белого цвета, что и череп, который я держу в руках, баюкая, как ребенка. Все известное — белое. Все прошлое — серое. Все осуществленное — черное. Мне на уста приходит песенка, что напевала няня. Я цежу ее сквозь зубы, прижимая рот к покаянно-окаянному черепу, от которого исходит зловоние. Что с тобой? Я очень страдаю,

мальчуган! Меня истерзало чувство собственной вины. Когда-то, глядя на меня остекленелыми глазами, мать сказала мне: если, лежа в постели, ты услышишь, как на воле лают собаки, укройся с головой одеялом. Не шути с ними. Белый шар опять задрожал. Ладно, череп, забудь об этих пустяках! Забудь о своей матери! Подумай о чем-нибудь серьезном; мне нужно, чтобы ты подумал о чем-нибудь серьезном. Ты начал надоедать мне своей меланхолией. Куда веселее было, когда ты задавал мне загадки и подшучивал над могильщиками. Я запер его в коробку из-под вермишели, а коробку спрятал на чердаке, среди рухляди, которую там держал артиллерийский капитан.

На некоторое время сукин сын паулист должен был оставить меня в покое. Вскоре он отправился в одну из своих инспекционных поездок вниз по течению и вверх против течения, до отдаленного форта Бурбон. Таким образом, я располагал драгоценным временем и не мог терять время. Я обосновался на чердаке. Отнес коробку в самый темный угол. Сидя перед ней, я сквозь стеклянный глазок следил за белесоватым узником, не замечая, как проходят часы и солнце клонится к закату. Я чувствовал, что наступает ночь, только когда во мне самом сгущалась темнота. Тогда я доставал череп и брал его к себе в кровать. Когда начинали лаять собаки, я прятал его под одеяло: от страха у него дрожали челюсти и на темени выступал холодный пот. Весь белый под одеялом, он излучал в темноте нездешний мертвенный свет и источал могильную сырость. Я засыпал его вопросами. Скажи мне, ведь ты не распутный сукин сын, правда? Скажи, что это неправда! Ты череп очень знатного сеньора! Отвечай! Он зевал. С каждым днем у него слабела память. С каждым днем ему все меньше хотелось разговаривать. Когда череп наклонялся набок, я знал, что он опять умер-уснул. Немой, глухой, белый, пылающий в своей белизне, холодный как лед, потный, череп видел меня во сне, и была в этом сновидении такая сила, что я сам чувствовал себя внутри его сна. Рядом с моим телом лежало его тело, состоявшее из мыслящих членов. Устав искать руками, ногами это тело, прильнувшее к моему, не касаясь его, устав тщетно измерять эту глубину, я в конце концов тоже засыпал под саваном-простыней. Я силился не заснуть, и это меня усыпляло. Меня одолевал сон, но лишь на мгновение. Не проходило и секунды, как я опять просыпался. Может быть, я никогда и не спал: ни в ту пору, ни потом. Так же, как сейчас, только притворялся спящим. Сторожил его сон. Ловил момент, когда он проснется, подстерегал малейшее сонное движение: вот-вот он не только раскроет глаза, но и пошевелится, чмокнет языком от горечи во рту, сплюнет слюну, отравленную ночными миазмами. Я трепетно ждал этого и все-таки всегда опаздывал. Приходилось повторять все сначала, начинать с конца. Надо было преодолеть сохранявшееся между нами расстояние — бесконечно малую единицу времени, которая разделяла нас больше, чем тысячелетия. Послушай! Я так понижал голос, что он уподоблялся его молчанию. Ты не думаешь, что, если бы мы пошли навстречу друг другу, мы смогли бы понять друг друга, и тогда наша мысль обрела бы более мощный полет? Не могли ли бы мы вместе построить нечто вроде двускатной крыши, с конька которой по противоположным скатам стекали бы твоя смерть и моя жизнь? Теперь умолял я: я хочу родиться из тебя! Разве ты не понимаешь? Сделай маленькое усилие! Что тебе стоит? Мои детские слезы смешивались с его молчанием и обращались в холодную испарину, выступавшую у него на лбу. Но даже если бы это было возможно, отозвался он наконец, ты родился бы таким старым, что, не успев родиться, снова оказался бы в плену у смерти и в действительности никогда не смог бы выйти из



этого плена. Ты не понимаешь! Ты ничего не понимаешь, старый череп! У тебя не голова, а чурбан, замшелый кастилец! Бедная Испания! Когда же она сможет выбраться из средневековья с такими тупицами, как ты! Я прошу только о том, чтобы ты позволил мне инкубироваться в твоём кошмарном кубе. Я не хочу зародиться в чреве женщины! Я хочу возникнуть из человеческой мысли. Остальное предоставь мне. Ну парень, если дело только в этом, чего ты канителишь, черт побери? Вылезай из той дырки, какая тебе нравится, и перестань морочить мне голову. Большой разницы не будет, можешь мне поверить, уж я знаю в этом толк.

С тех пор череп стал моим домом-маткой. Как долго я пробыл в нем, вынашивая себя самого? Я был там с самого начала и даже до начала. Сильный жар. Пылающие оболочки. Коловращение материи в процессе горения. Потоки раскаленной магмы захлестывают меня, не сжигая. Затопят мое небытие. Погружают меня в безвоздушный воздух. Первобытный огонь. Не так ли стряпается пища индейцев? Не так ли зарождаются дикие существа, не нуждаясь в матери, а тем более в отце?

Бесконечная тишина. Более глубокая, чем в космосе. Она врывается, ударяет о кость, отдается в воображении. И вот вибрируют пол, своды, купол. Вибрирует даже мрак. То серо-белый, то дымчато-черный. Мы не слились воедино. Мы нераздельны. Он уже не существует. Я еще не существую. Я чувствую, как вселенная сжимается, со всех сторон давит на меня и как я еще в черепе старею от этого. Поторапливайся! — бормочет мой домохозяин, череп. Уж не собираешься ли ты сидеть здесь и высиживать себя целую вечность, если не дольше? Сейчас, сейчас, успокойся! Я провожу рукой по влажному темени. Глажу его, липкое от пота. Нет, это не пот, а зародышевое вещество. Может быть, он чувствует, как у него растут волосы. Это уже кое-что; признак, симптом. Наконец-то! Волосы растут. Растут, растут, заполняют всю мансарду. Опутывают меня. Душат. Тепло. Темнота. Вязкое вещество. Пуповина, обжигающая рот. Немота. Слепота. Громовой голос: Лазарь, *veni fora*<sup>[167]</sup>. Разве я не велел тебе закопать в землю этот череп? От него в доме вонь, как от навозной кучи. Брось в реку эту гнилую голову индейца! А не то я *mesmo*<sup>[168]</sup> выброшу тебя вместе с черепом!

Я опять выхожу. Отступаю назад. Маленькое строение исчезает. Поднимись, беги! Быстрее! Купол поднимается, белый на белом фоне. Свет меркнет. Все одновременно темнеет. Пол. Стена. Свод. Температура вещества в состоянии горения-кипения понижается. Падает до минимума. Почти до нуля. И в этот момент опять появляется черное. Черная точка. Она растет. Это я на четвереньках. Галлюцинация. Тень мулата-паулиста или марианца<sup>[169]</sup> из Рио-де-Жанейро, темный силуэт артиллерийского офицера верхом на черепе, который трепещет и содрогается белой дрожью в последних схватках. Вот в какую историю ты меня втянул, чертенок! Артиллерийский капитан верхом на двенадцатилетнем мальчике, который постарел внутри черепа на тридцать или на триста лет, так и не сумев родиться. Что может показаться странным, если подумать о том, что все начинается и кончается; если иметь в виду, что смерть — единственное средство от жажды бессмертия, которая наталкивается на дверь склепа. Так как дверь моего склепа уже закрыта, ее надо будет снова открыть, чтобы можно было объяснить сон. Кому? Только самому себе. Но нет; может быть, это и не так. Жизнь человека не имеет конца. Нет, а может быть, да. Что такое мысль благородного человека или сукиного сына? Должна же она быть чем-нибудь порождена. Разве что-нибудь рождается из ничего? Нет. Что есть жизнь-смерть? В чем ее тайна, расщепляющаяся на бесконечное множество других тайн,

спрашиваю я себя. Повешенная на суке сука- няня уже не может ни просветить меня, ни донести на меня. Смысл тайны в самой тайне. Я знаю, что нигде больше не может быть ничего подобного тому, что было со мной. Нечего и мечтать вновь найти ту белую точку на белом в самой глубине черного. Великая Белизна неизменна в свой изменчивости. Ей нет конца. Она снова и снова рождается из черноты.

Я положил череп в коробку из-под вермишели. Я принес его на то место, куда в будущем, которое для меня уже отойдет в прошлое, принесут коробку с моим черепом. Дом, улица, весь город были полны могильного смрада. Я медленно направился к обрыву. Сидя на корточках, передохнул под апельсиновым деревом, прислонив коробку к его стволу. Стекланный глазок пламенел на солнце, и внутри ничего не было видно. Я стал спускаться; вернее, пошел дальше, не зная, поднимаюсь я или спускаюсь.

Полный покой. Спать. Спать. Спать. Голос лейб-медика доносится до меня откуда-то издалека. На этот раз я слушаюсь его. Делаю вид, что сплю. Я чувствую, что кто-то следит за мной. Притворяюсь мертвым. Приподнимаю крышку гроба. Выхожу из могилы сквозь надгробную плиту, которая раздается с гранитным скрежетом. Открываю глаза. Встаю, симулируя воскресение. Передо мной Не-знающий-сна, Не-знающий-старости, Не-знающий-смерти. Он бдит. Он бдит.

*(Периодический циркуляр)*

Я засел в своей обсерватории на чакре Ибирай. Однако, когда я увидел, что офицеры, одержавшие победу на Такуари, но оказавшиеся бездарностями в политике, под руководством портеньо Сомельеры, который хозяйничал в самом Доме Правительства в Асунсьоне, готовятся довершить капитуляцию, передав весь Парагвай связанным по рукам и ногам буэнос-айресской Хунте, я решил преградить им дорогу. Напрасно так ликовал дон Педро Алькантара, ловкий шпион портеньо, развивавший лихорадочную деятельность. Станным образом вообразив, что я стану им помогать, офицеры единогласно постановили срочно послать за мной. Когда 15 мая я, к их несчастью, появился в казармах, Педро Хуан Кавальеро<sup>[170]</sup>, встретив меня в дверях, сказал: вы уже, конечно, знаете, дорогой доктор, что мы обломали быку рога. Ваша Милость — единственный человек, который может руководить нами в этих чрезвычайных обстоятельствах. Когда мы шли через двор, я спросил у него: что решено, что делается? Решено послать в Буэнос-Айрес судовладельца Хосе де Мариа<sup>[171]</sup> с донесением о том, что произошло, ответил капитан.

В кордегардии Сомельера дописывал донесение. Я вырвал его у него из рук. Это донесение не будет отправлено, сказал я. Если бы спесивые портеньо получили его, они были бы вне себя от радости. Но этого не будет. Мы только что сбросили иго одного деспотизма и должны действовать осторожно, чтобы не подпасть под иго другого. Мы не пошлем буэнос-айресской Хунте наше молчаливое признание в виде доклада нижестоящего вышестоящему. Парагваю нет надобности выпрашивать помощь у кого бы то ни было. Он сможет собственными силами отразить любое нападение. Потом я обернулся к разъяренному хамелеону Сомельере и очень мягко сказал ему: вы здесь больше не нужны. Я сказал бы даже, что вы скорее мешаете. Каждый должен служить своей стране в своей стране. То самое каное, с которым вы собирались отправить донесение в Буэнос-Айрес, без промедления доставит туда вас. Сеньор, я должен взять с собой семью, а вода спала, и река сейчас не судоходна. Отправляйтесь сперва вы сами. А семья ваша отправится потом, в полноводье. Мои

слова вызвали глубокое разочарование и замешательство в группе портенъистов. На них лица не было, одни личины остались. Этого я и хотел.

Капитулянта Кабаньяса вызвали из его эстансии Кордильера — только для того, чтобы выяснить, что он собирается делать. Послали сказать ему: присоединитесь к борьбе за свободу родины. Примкните к патриотам, собравшимся вместе с войсками в казармах. Он имел наглость ответить, что придет, только если его призовет губернатор Веласко. Но Веласко уже не был губернатором, и у него не осталось даже свеч для своих собственных похорон. Вскоре он попадет в тюрьму вместе с епископом Панесом и самыми видными людьми из числа испанцев, которые не прекращали составлять заговоры. Испарились и другие виновники капитуляции на Такуари: Грасия бежал на север в надежде заручиться поддержкой португальцев. Хорош! Гамарра ответил, что примкнет к нам только при условии, что мы не пойдём против Государя. Он даже имел нахальство написать это слово с большой буквы. Безнадежный дурак! Он хотел совершить революцию, не восстав против государя, — спечь майсовую лепешку без маиса.

На остальных военных, казалось бы лояльных, тоже нельзя было положиться. С момента образования Первой Правительственной Хунты они старались постоянно держать в страхе правительство, чтобы путем угроз заставлять его плясать под свою дудку, а не бороться за благо страны. Вместо того, чтобы заниматься общественными делами, они проводили время в игре, устраивали парады и празднества — словом, веселились напропалую. Помпеи и баярды. Хунты упивались звоном своих шпор и собственным пустозвонством. Щеголи. Шаркуны и волокиты. Бодливые козлы. Фанфароны. Затянутые в свои блестящие мундиры, с блестящими от пота лицами, они уже видели себя в блеске славы, глядясь в кривое зеркало воображения, которое они принимали за зеркало истории. Они сами себе присваивали военные звания, наряжаясь в подражание бывшему губернатору то бригадными генералами, то драгунскими полковниками. Еще в колониальные времена они блистали этими военными доблестями. Прокурор Марко де Бальдевино, завзятый портенъист, писал о них в своем докладе Ласаро де Рибере: навсегда остались в памяти невыносимые притеснения, которым подвергались патриоты со стороны военных, живших за их счет и превратившихся в настоящий бич провинции.

Они торговали всем на свете, чтобы покрывать расходы, которых от них требовала неумемная страсть к показной пышности, еще возросшая теперь, когда они были не только военными, но и правителями. Так, для того чтобы удовлетворить это смехотворное пристрастие к показному блеску, они, злоупотребляя своим положением, за крупные суммы выпускали на свободу государственных преступников. Не зная толком, что такое национальная независимость, права гражданина и политическая свобода, они допускали, чтобы их подчиненные совершали повсюду тысячи актов произвола. В особенности в деревне — главной вотчине этих насильников.

В Икуамандию один капитан, зарекомендовавший себя пылким революционером, захотел объяснить крестьянам, что такое свобода. Он произнес перед ними пустопорожнюю шестичасовую! речь, а после всех его разглагольствований священник, сказал, что свобода — это не что иное, как вера, надежда, любовь. Потом, они взялись под руки и отправились пьянствовать в командансию, откуда посыпались приказы об арестах, варварских расправах и

несправедливых притеснениях во имя высоких истин, которые они только что провозгласили.

Управлять для этих революционеров значило незаконно арестовывать людей, иногда действуя анонимно и навлекая на других подозрение в этом произволе, осуждать или освобождать их, повинувшись низкой злобе или корыстолюбию. Без конца кричали о патриотизме; тем, кто прикрывался этим щитом, все было позволено; они могли удовлетворять свои страсти, совершать преступления, творить любые бесчинства.

В то время дело обстояло так. Войска почти целиком состояли из самых невежественных и самых дурных людей в стране. Убийц, отъявленных преступников, взятых из тюрем. Безнаказанные, всевластные в своей форме, они считали, что им позволено всячески оскорблять и унижать мирных граждан. Если крестьянин, проходя мимо солдата, забывал снять шляпу, его избивали саблей. Потом стали утверждать, будто это я ввел недостойный обычай здороваться, обнажая голову, хотя такое приветствие само по себе не столько знак уважения к вышестоящим, сколько символическое обезглавливание приветствующего. Ведь в этой стране, где солнце стоит над головой двадцать четыре часа в сутки, широкополая шляпа составляет часть человеческого организма. Но не было никакой возможности искоренять этот унижительный обычай наших соотечественников, не расстающихся со своими огромными соломенными шляпами.

Еще хуже солдат вели себя офицеры. Без малейшего уважения к своему званию и должности они вмешивались в споры между крестьянами, пуская в ход палку, когда не доставало доводов или терпения. А так как почти все офицеры и унтер-офицеры были родственниками членов Хунты или командиров главных военных частей, последние оставляли без внимания самые скандальные беззакония.

Напрасно я, входя в Хунту, пытался положить конец этим безобразиям. Я дважды выходил из нее, обескураженный тщетностью усилий, которые я прилагал, чтобы обуздать своих товарищей по правительству. Я переехал к себе на чакру, чтобы следить за ними на расстоянии. Управление страной было полностью парализовано. В отсутствие пьяных хозяев в курульные кресла \* усаживались их конюшие. Зачеркни «курульные кресла». Зачеркни «конюшие». Напиши: конюхи этих ничтожеств, возомнивших себя великими людьми, не хуже их решали бы вопросы государственной важности. Хуже было уже нельзя. Дела не делались. Зато граждане бесчестно обворовывались, а добыча честно делилась между сообщниками. Так же, как теперь водится у вас. Зачеркни последнюю фразу. Я не хочу, чтобы они уже ясно представляли себя на скамье подсудимых.

Оба раза, когда я предоставлял хлыщей из Хунты самим себе, они сами просили меня вернуться. Блистательный председатель, мой двоюродный брат Помпей-Фульхенсио, Баярд-Кавальеро, фарисей Фернандо де Мора написали мне... Какой датой помечено это письмо, Патиньо? 6 августа 1811, сеньор. Твердо уповая на Ваше великодушие, мы берем на себя смелость обратиться к Вам в настоящем письме с нижайшей просьбой. Поскольку наши познания весьма уступают нашему рвению, мы не нашли иного выхода, как умолять Вашу милость вернуться к кормилу корабля, которое нынешняя буря в слепой ярости вырвала у нас из рук. Иначе пропала родина и революция. По-прежнему горячо любящие Вас товарищи.

Ненадолго прервав свои развлечения и празднества, председатель Хунты пишет мне почерком малограмотного, как бы дружески хлопая меня по плечу: давайте

помиримся, дорогой соотечественник и родственник, и ведите снова государственный корабль, чтобы он не пошел ко дну, опрокинутый злыми ветрами, и не пропали даром все наши усилия.

Другой мой родственник — Антонио Томас Йегрос, командующий вооруженными силами, — именует меня Высокочтимым Сеньором, как будто я прелат: капеллан, податель сего, взялся доставить Вам это письмо, чтобы осведомить Вас о принятом сегодня Хунтой и всеми офицерами решении просить Вас возобновить государственную деятельность. Преодолейте то незначительное препятствие, которое мешает Вам вернуться в Хунту, чтобы руководить нами, как того требует Ваш долг. Если Вы, дорогой родственник, прославивший свое имя, действительно любите родину, завтрашний рассвет застанет Вас в этом городе, где мы торжественно примем Вас ко всеобщей радости. Потом у Вас будет время уладить Ваши домашние дела, послужившие причиной Вашего отсутствия. Ваш горячо любящий родственник, благословляющий Вашу милость.

Я даже не ответил им.

Баярд-Кавальеро пишет мне... Четыре дня спустя, сеньор, 10 августа: Ваш отход от дел и уединение на чакре под предлогом необходимости привести в порядок Ваше жилище глубоко огорчили меня как в силу особой любви, которую я к Вам питаю, так и потому, что великие дела, начатые под Вашим влиянием и руководством, без Вас, вероятно, не смогут быть доведены до конца и благополучно завершены.

Вот как, мошенники! Все это после стольких угроз, анафем, громов и молний!

Ходатайство кабильдо: Главный штаб и народ призывают Вас вернуться и снова войти в Правительственную Хунту. Умоляем Вас об этом с горячей любовью, искренним восхищением и величайшим уважением к присущему Вам таланту вождя. Ибо мы твердо уверены, что, стоит Вам появиться здесь и занять место, принадлежащее Вам по праву, нынешние тучи, предвещающие бурю, рассеются и на ясном небе воссияет радуга.

Для этих людишек, разрывавшихся между своими интересами, своими страхами, своей беспомощностью и взаимными подозрениями, мое возвращение в Хунту превратилось в метеорологическую и навигационную проблему. Что и подтвердилось 16 ноября, когда я вновь вошел в Хунту: в этот день была ужасная гроза и лил проливной дождь. Кабильдо в полном составе собрался, чтобы приветствовать меня, единодушно провозглашая меня Штурманом Бурь. Толпа подхватила это прозвище со слезами счастья: счастье часто оборачивается слезами.

Первый раз я вышел из Хунты — через месяц и десять дней после ее образования — из-за столкновения с военными; или, лучше сказать, из-за попытки некоторых вояк оказать на меня давление, бряцая оружием: они считали себя вправе пользоваться им не так, как того требует дело, которому они должны служить, а по своему произволу. Военные, как говорится, опирались на штыки; и не только военные, но и их штатные прислужники из штатских. В дворцовой игре они цинично показывали свои козыри.

Меня объявили смутьяном, преступником перед лицом общества. Обвинили в том, что я, добываясь каких-то новшества, сею разногласия и раздоры. Позвольте, сеньоры военные и аристократы, приклеить первый попавшийся ярлык еще недостаточно. Нельзя, злоупотребляя властью и силой, выдвигать клеветнические обвинения, бросил я в лицо этим шулерам из Хунты, выступив перед кабильдо, который взял на себя роль посредника в этом споре.

Зачем обвинять в пристрастии к новшествам и в сеянии раздоров того, кто предлагает заменить временную и уже ненужную Хунту настоящим правительством, которое получило бы свои полномочия от Конгресса, где были бы представлены все граждане? Зачем чернить, называя смутьяном того, кто предлагает, чтобы власти избирались широкими народными ассамблеями?

Как вы сами заявили, сеньоры советники, хорошо известно, что я в качестве первого алькальда и синдика-генерального прокурора один нес на своих плечах бремя управления делами не только со дня образования Хунты, но и с самого начала революции. Я всегда буду равнодушен к подобным обвинениям, потому что моей единственной целью было по мере сил служить родине, принимая на себя все тяготы и нападки. Вы прекрасно знаете, что другим членам Хунты в тягость было даже братья за перо.

Нет надобности напоминать о предосудительных и коварных средствах, которые были пущены в ход, чтобы добиться моего ухода, после чего был отстранен от должности другой член Хунты, священник Хавьер Богарин. Хунта, состоящая теперь всего из трех человек, была уже незаконна и некомпетентна. Ни один здравомыслящий человек, знающий людей и обстоятельства того времени, не может представить себе, чтобы Конгресс имел в виду, хотя бы в подобном случае, уполномочить трех лиц, абсолютно неопытных и несведущих, более того, совершенно невежественных и бездарных, сосредоточить в своих руках всю полноту власти. Если тем не менее им это удалось, то именно в результате ухода первого алькальда, который они спровоцировали потому, что их цели и интересы не совпадали с интересами революции и независимости страны.

Только сомнительная и шаткая власть способна вызывать разногласия и не способна покончить с теми, которые возникают. Только те, кто боится оценки своей деятельности, боятся конгрессов. В новшествах самих по себе нет ничего такого, что не позволяло бы честным гражданам использовать их на благо страны. Ведь если есть дурные новшества, то есть и хорошие и даже очень хорошие. Разве сама наша революция не была большим и даже величайшим новшеством? И самым блестящим. Самым справедливым. Самым необходимым из всех новшеств.

Свобода не может сохраняться без порядка, без правил, без единообразия, составляющих в своей совокупности систему, которая отвечает высшим интересам Государства, Нации, Республики. Таков всеобщий закон: даже неодушевленные существа являют нам пример строгой упорядоченности. Без этого свобода, во имя которой мы приносили, приносим и будем приносить величайшие жертвы, выльется в необузданное своеволие, а оно в свою очередь приведет к хаосу, смутам и распрям, следовательно, к разорению, горю, ужасающим преступлениям, подобным тем, какие совершаются до сих пор, и сильные мира сего неизбежно пойдут по пути насилия верхов над низами. Мы не можем требовать от наших сограждан, чтобы они спокойно смотрели, как горит их дом. Вы, офицеры, которых Правительственная Хунта назначила на ваши посты и которым она платит жалованье из народных денег, сами по себе еще не народ. Действуя так, как сейчас, вы превращаетесь скорее в силу, враждебную народу. По самой профессии своей вы, военные, должны были бы первыми подавать пример неукоснительного выполнения своих обязанностей, лояльности по отношению к Хунте, уважения к гражданам, покровительства самым незащищенным, темным и униженным, которых приучили принимать притеснения, как благословение божие.

Я без обиняков сказал чучелам из кабильдо: нельзя оставлять без внимания угрожающий, повелительный тон офицеров, своевольно противопоставляющих себя Хунте. Вы можете поручиться мне, что в дальнейшем они не поднимут голову, не примутся снова за свои бесчинства? Что они будут держать себя в руках и носить оружие только украшения ради?

Я всецело готов служить правительству и нации, делу защиты ее суверенитета и независимости, коль скоро вооруженные силы подчинятся строгой дисциплине, как того требует общественное спокойствие, единство народа, хорошее правление и оборона нашей страны.

Я сторонник решительных и безотлагательных мер. Необходимо утвердить власть правительства, заставив военных строго повиноваться волеизъявлению конгрессов. Всякое проявление слабости со стороны правительства ставит под угрозу еще не упроченную независимость родины.

Революция не может ждать никакой поддержки от контрреволюционной армии. Нельзя мириться с. Этой армией гренадеров-живодеров, наемников-скотоводов, всегда навязывающих нации то, что отвечает только их интересам. Мы не можем ни потребовать от них, ни добиться унижительными уговорами, чтобы они встали на службу революции. Рано или поздно они погубят ее. Всякая настоящая революция создает свою собственную армию, потому что революцию и представляет вооруженный народ. Без шпор самые лучшие петухи в конце концов превращаются в каплунов. А, как известно, из самого боевого петуха можно сделать каплуна, но из каплуна петуха не сделаешь. Это было последнее, что я сказал, но не последнее, что я сделал...

Хунта продолжала показывать себя во всей красе. В доме родственников Йегроса каждый вечер гремел оркестр, устраивались роскошные празднества, пиры и кутежи<sup>[172]</sup>).

*«Балаган продолжается, уже сопровождаемый ропотом народа», — пишет полковник Савала-и-Дельгадильо в своем «Дневнике знаменательных событий». (Цит. по Юлию Цезарю.)*

Честные граждане — и горожане, и сельские жители — приезжают ко мне со своими жалобами. Раскиньте умом, говорю я им. Кто такой дон Фульхенсио Йегрос? Неграмотный гаучо. Чем лучше Педро Хуан Кавальеро? Ничем. А при всем том они облечены высшей властью и так же, как другие военные, пускают вам пыль в глаза пустой помпой, которая была бы только смешна, не будь она достойна презрения. Что же нам делать, сеньор, в сложившемся положении? Я скажу вам в подходящий момент, что нужно делать, чтобы покончить с этими бедами. Люди уезжали ободренные.

Вчера вечером, после заседания Хунты, нас посетили некоторые иностранцы. Джон Робертсон рассказал, что он получил письма от брата из Англии. По его сведениям, русский император Александр вступил в союз, направленный против Наполеона. Британская империя послала много кораблей с оружием и снаряжением своей союзнице Московской империи. В добрый час! — воскликнул Фульхенсио Йегрос с таким же энтузиазмом, с каким Архимед, выйдя голым из ванны, вскричал «Эврика!», когда открыл свой знаменитый закон. В добрый час! — повторил архиглупец председатель Хунты. Хорошо бы подул крепкий южный ветер и не утихал

до тех пор, пока все эти корабли не поднимутся вверх по реке до порта Асунсьон! Ну разве может такой болван править республикой?

Баярд-Кавальеро приказывает арестовать алькальда за то, что он не распорядился покрыть его кресло в соборе красным ковром в День всех святых, а в другой раз в день двух святых, его заступников.

Военщина продолжает сорить деньгами. Шуметь. Буянить. Возбужденные разгулом насилия, опьяненные властью, которая кружит головы слабохарактерным людям, подонки в военной форме своей хвастливой расточительностью подрубают сук, на котором сидят, и делают шатким положение правительства. Я не желаю больше возиться с этими сеньорами, ни во что не ставящими благо родины. Я исчерпал все средства и собственное терпение, стараясь просветить их и вернуть наименее испорченных на истинный путь, подвигнув лучше служить нашему делу. Я всячески убеждал их; я пытался добиться, чтобы они прочли хотя бы одну- другую главу из «Духа законов». Прочтите это, уважаемый дон Педро Хуан. Я не охотник до чтения. Ну я вам сам прочту. Послушайте вот этот отрывок из Монтескье о федеративной республике: Если бы я должен был привести пример образцовой республики, я назвал бы Лигию. Я не знаю, где эта Лигия, отмахивается невежа-баярд. Не важно, где находится эта страна, дон Педро Хуан. Важен ее образ правления, основанный на союзе суверенных и равноправных городов или государств. Здесь, у нас, только один город, упрямится он. Да, говорю я ему, но существуют другие города, которые хотят нас покорить и поработить. Нет, сеньор, этого не будет, отвечает он. Лучше умереть, чем жить рабами. Хорошо, дон Педро Хуан, я рад слышать это от вас. Но суть дела в том, что, как говорит тот же Монтескье, жить свободными можно, только наведя порядок в республике. Может быть, еще лучший, чем в Лигии. Послушайте, доктор, вы человек ученый, вам и книги в руки. Занимайтесь сами всей этой хреновиной, а меня увольте. Если вы считаете нужным, напишите этому сеньору Монтескье. Мы можем дать ему местечко платного секретаря Хунты, чтобы он нам привел в порядок бумаги. Разговаривать с такими людьми значило метать бисер перед свиньями. Я снова хлопнул дверью и вернулся на чакру.

*Он два раза выходил из Хунты, подтверждает Юлий Цезарь. Первый раз на период с начала августа 1811-го до первых чисел октября того же года, во второй раз на более длительное время — с декабря 1811-го по ноябрь 1812 года. (Прим. сост.)*

Не замедлили опять посыпаться письма с мольбами вернуться. Сам генерал Бельграно пишет мне из Буэнос-Айреса с искренностью, которой не хватает моим коллегам из Хунты, называя меня дорогим другом: Я не могу не сказать Вам, как меня огорчает, что Вы в столь трудных обстоятельствах, в каких мы находимся, думаете о частной жизни. Вернитесь к своей деятельности; жизнь лишается всякой ценности, если утрачивается свобода. Примите во внимание, что свобода под угрозой и, чтобы не погибнуть, нуждается во всякого рода жертвах.

Вот слово честного человека.

Не то чтобы я последовал совету Бельграно, но я прислушался к голосу совести — единственного повелителя, которого я признаю, и утром 16 ноября, почти через год после моего выхода из Хунты, в непогоду, бушевавшую с ночи, вернулся в Асунсьон.



К этому побудило меня то, что произошло накануне, когда я встал после сиесты. Уже проснувшись, я увидел такой сон: мой питомник крыс превратился в человеческий муравейник. Люди куда-то текли рекой, а впереди всех шел я. Мы приблизились к колонне из черного камня, в которую до подмышек был вмурован какой-то человек. На образ человека наплыл образ ружья, до половины ствола всаженного в апельсиновое дерево, под которым расстреливали приговоренных к смертной казни. Потом опять появилась фигура человека, до подмышек вмурованного в камень. Тоже черного и толщиной со ствол старой пальмы. У него было два огромных крыла и четыре руки. Две походили на человеческие, две другие — на лапы ягуара. На ветру развевались его косматые волосы, длинные, как лошадиный хвост. Мне пришло на память видение Иезекииля: четыре зверя или ангела с четырьмя лицами у каждого —лицом льва справа, лицом вола слева, а также лицами человека и орла — идут в ту сторону, куда обращены их лица. Однако человек, вмурованный в камень, не имел ничего общего с этими зверями или ангелами. Казалось, он взывал, чтобы его освободили. Сзади теснилась и вопила толпа.

Теперь я на своем вороном вплавь перебирался через бурные потоки, грудью встречая ветер и дождь. Я вошел в зал заседаний кабильдо, с ног до головы заляпанный грязью, промокший до нитки, ошеломив, как привидение, немногих советников и писарей, которые были здесь в этот час. Прежде чем снова занять место в Хунте, сказал я присутствующим, воззрившимся на меня с раскрытыми ртами, я пришел заявить кабильдо, что делаю это с единственной целью: чтобы правительство правило твердой рукой.

Легчайшими шажками, несмотря на свое круглое брюшко, перекрещенное золотыми цепочками, выступил вперед Серда, самый бессовестный интриган в Асунсьоне. Воспользовавшись моим отсутствием, он узурпировал пост советника-секретаря, который я занимал. Он протянул мне руку, но она повисла в воздухе. Я счастлив снова видеть вас здесь, сеньор первый алькальд, после столь долгой отлучки! Я посмотрел в упор на этого мошенника; мало того, что он попытался захватить мой пост, он еще старался подражать мне в одежде. Серда снял треуголку и расправил складки пурпурного плаща. Он счел своим долгом отпустить одну из своих обычных шуточек: сразу видно, сеньор первый алькальд, что воды наших рек не расступились перед вами, как море перед Моисеем. Ничего, отрезал я, зато они очень скоро сомкнутся за вами. Я провожу вас, доктор, в резиденцию Хунты, сказал он невозмутимо, приоткрывая плащ, из-под которого заблестели золотые пряжки на штанах и туфлях. Нет, Серда, я обойдусь без вас. А вы ступайте попрощаться со своими кумушками и собрать свои вещи, потому что вам придется убраться отсюда как можно скорее: нам не нужны здесь иностранцы, сующие нос в чужие дела и нечистые на руку \*).

*Из записок Юлия Цезаря: Серда никогда не исполнял обязанности секретаря Хунты. По-видимому, это был доверенный человек Фернандо де ла Мора (другого члена Хунты); а поскольку ни Мора, ни Йегрос, ни Кавальеро не проявляли большой склонности к государственным трудам, он (Серда) превратился в их фактума. Это был живописный кордовец, славившийся тем, что у него полсвета кумовья. А такие люди в Парагвае пользуются большим почетом. Когда-нибудь надо будет показать влияние кумовства на развитие нашей политической жизни.*

*Он (Верховный) питал глубокую антипатию к своему коллеге де ла Море, так как считал его ответственным за некоторые шаги, предпринятые за время его*

*(Верховного) отсутствия для присоединения Парагвая к Буэнос-Айресу, и в особенности за утерю документа, содержавшего дополнительную статью к договору от 12 октября<sup>[173]</sup>, — обстоятельство, которым Триумvirат (буэнос-айресский) воспользовался для того, чтобы незаконно повысить пошлину на парагвайский табак. В конце концов Мора был выведен из Хунты на основании обвинений, предъявленных ему Первым Алькальдом, в частности обвинения «в изъятии и утере указанного важнейшего документа в то время, когда я отсутствовал, в соучастии с неким Сердой, не являющимся ни гражданином, ни уроженцем нашей страны, старым и близким другом и доверенным лицом вышеозначенного Мора. По распоряжению последнего Серда унес из Секретариата домой несколько объемистых дел, в одном из которых, по всей вероятности, находилась упомянутая дополнительная статья. Пьяница, по большей части являвшийся даже на заседания Хунты в состоянии полного опьянения, Мора замешан также в преступных происках доктора Чикланы, шпиона и осведомителя буэнос-айресского Триумvirата, поскольку держал его в курсе деятельности и решений нашего правительства». Мора и Серда были таким образом, что называется, брошены на растерзание диким зверям.*

Треуголка упала на пол. Серда нагнулся поднять ее. Я повернулся к нему спиной и направился в Дом Правительства. Внезапно выглянуло солнце и, как по волшебству, прекратились буря и дождь. От моей одежды шел красноватый пар. Я прошел через Пласа-де-Армас, сопровождаемый все растущей толпой, которая шумно приветствовала меня. Я вернулся другим человеком. На моей чакре, этой дозорной вышке, откуда я следил за событиями, я многому научился. Уединение приблизило меня к тому, что я искал. Впредь я не стану мириться ни с чем и ни с кем, мешающим нашему святому делу. Все мои условия были приняты и документально зафиксированы на предмет строгого выполнения. Согласно этим условиям я получал полную самостоятельность, абсолютную независимость в своих решениях. Формировались подчиненные мне вооруженные силы, необходимые для того, чтобы обеспечить их выполнение. Я потребовал, чтобы в мое распоряжение была передана половина оружия и боевых припасов, имеющихся в арсеналах. Я подобрал людей из народа, которые образовали ядро народной армии — еще более прочный оплот республики и революции, чем пушки и ружья.

*(В тетради для личных записок)*

Пародия па похороны, устроенная по указанию викария, и мрачный прогноз лекаря довели до пароксизма пасквилянтскую свистопляску. Да я и не думал, что болтуны будут молчать. На фасадах домов появляются все новые диатрибы, карикатуры, угрозы. Мне бы следовало приказать, чтобы здания красили дегтем, а не отечественной известью, которую попусту изводят из-за этих подлых пачкунов.

Позавчера на рассвете перед окнами Дома Правительства появилась фигура из осинового воска, изображающая меня с отрубленной головой. Голова лежала на животе. Из рта торчала огромная сигара в виде фаллоса. Я успел увидеть это оскорбительное изображение, прежде чем воск растопился в костре, который разожгли мои нерадивые охранники. Они были в таком ужасе, что один из них упал в огонь. В жарких объятиях восковой фигуры он превратился в дымящуюся головешку. От огня взорвался патрон в ружье, которое он держал на ремне, и пуля попала в раму окна, откуда я смотрел на пародию моего погребения. Негодяи пытаются запугать меня с помощью подобных ухищрений, которые в ходу в чужих краях. Они хотят ввести в

заблуждение невежественный народ и толкнуть его на насилия. Вызвать террор. Но террор не вызовешь этими бессмысленными происками. В других странах, где анархия, олигархия, синархия<sup>[174]</sup> апатридов возвели на трон деспотов, эти методы были, возможно, эффективны. Но здесь в государстве воплощается единство народа. Здесь я с полным правом могу утверждать: государство — это я, ибо народ сделал меня своим верховным уполномоченным. Поскольку я и он — одно и то же, чего нам бояться, кто может заставить нас потерять голову, заморочив этими блефонадами?

Я прощаю некоторые ошибки. Но не те, которые могут стать опасными для благополучия граждан, желающих жить достойной жизнью. Я не потерплю посягательств на совершенную и неприкосновенную систему, на которой зиждутся порядок, общественное спокойствие, государственная безопасность. Я не могу щадить тех, кто ведет против меня тайную войну. Это самые опасные злодеи. Ненависть гложет их. Душит. Оставляет им разве только жалкую, трусливую смелость нападать на меня под покровом темноты с пером или углем в руке. Они боятся солнечного света. Всегда прячутся в тени. Они не достойны гордости за свою принадлежность к народу самой процветающей и самой независимой страны на Американском континенте. Гордости, которую испытывает даже наш последний крестьянин, каким бы темным он ни был. Последний мулат. Последний раб, получивший свободу.

Несмотря на все, я иногда пытался прийти им на помощь. Бросить веревку этим утопающим. Вытащить их на берег и приобщить к человеческому существованию. Они не захотели этого. Они полны страха. Они страшатся всего и всех, даже того, кто мог бы им помочь, — такова сама природа страха.

Страшная вещь — потерять рассудок. У этих ископаемых бредовая ненависть и бессильное честолюбие иссушили все серое вещество до последнего атома. Они угрожают мне вздеть на пику мою голову рядом с мачтой, на которой развевается флаг республики. Они требуют как минимум *scrutinium chymicum*<sup>[175]</sup> моего пепла. Ни больше ни меньше. Поскольку они не могут сжечь меня самого, они сжигают мое изображение, заставляя меня курить свой собственный фаллос. Опять генеральная репетиция. Уфф! Мне уже надоело их гаерство. Я и не подумаю на него отвечать. Ничто так не возвышает, как молчание. Я очень терпелив. Но я доберусь и до вас, сопливые крикуны. Духовные кастраты. Инкубы-суккубы пасквилянтской герильи. Скопище евнухов и недоносков. Вы грызете удила государственной власти, но только обламываете свои испорченные молочные зубы. Болтливые, как бабы, призраки. Вы выщипываете волосы у себя на срамных местах, чтобы делать из них кисти, которыми пачкаете стены домов. Мерзавцы, подрывающие общественное спокойствие и мир. Я даже не потружусь приказать, чтобы вас на манер римлян бросили в реку в одном мешке с обезьяной, петухом и ядовитой змеей. Тайные агенты тех, кто блокирует судоходство, вы не нуждаетесь в пропусках, чтобы спуститься вниз по течению, в более заманчивые края. Поганое отродье, я заткну вам глотки, надев на вас колодки, они вам поубавят пылу, чтобы вы не распяляли других. Чем больше вы проклинаете меня, тем больше возвеличиваете мое дело. Тем больше оправдываете мою власть. Вы мои лучшие пропагандисты. Тем, кто исполняет пасквилянтские серенады, могут разбить гитару о голову. Не все разбираются в музыке. Я не собираюсь церемониться с вами. Что вы воображаете о себе, проходимцы? Неужели вы думаете, что реальная жизнь этой нации, которую я породил и которая породила меня, приспособится к вашим фантазмагориям и галлюцинациям? Приспособьтесь лучше сами к закону,

бездельники! Мир таков, каким и должен быть! Закон — первый полюс. Второй, противоположный ему, — анархия, разорение, запустение, то есть пустынная земля и пустынная история. Выбирайте, если можете. Третьего не дано. Не существует третьего полюса. Не существует обетованных земель. А тем более, тем более для вас, мастера нашептывать и жужжать, сортирные мухи! Знайте же это, вы, ничего не знающие, ничего не умеющие, знайте это, негодяи!

Они не дают себе передышки. Они не дают мне передышки. Болезнь точит меня изнутри и осаждает снаружи. Распространяется по всему городу. Передается от одного к другому. Носится в воздухе. Я лежу без сна, и от этого разносится неистребимый вирус бессонницы. Эта болезнь заразнее сибирской язвы. Это моровое поветрие. Днем такая тишина, что слышно, как муха пролетит. Вернее, наоборот: и мухи не слышно. Те, что настороже, затаивают дыхание с рассвета до темноты. Только с ее наступлением слышится жужжание жужелицы. Царапанье лапок жуков. Взмахи крыльев летучих мышей. Шорох чешуек. Ночь наполняется призванными звуками. Я смотрю в окна через подзорную (трубу, через телескоп. Ничего! Ни единой теин. Только построенные мною дома белеют среди деревьев. Этот млечный путь белее нашей галактики. Словно из другого мира доносятся голоса перекликающихся в часовых. Внезапный выстрел. Заливистый лай. Он распространяется все дальше и дальше. Все собаки Парагвая лают в темноте, гнетущей, как кошмар. Потом снова встает на якорь тишина. Возникают силуэты людей, закутанных в черные пончо. Их ноги обернуты овечьими шкурами. Они рыщут вокруг, крадутся между домами. Ищут врагов в галереях храмов, в парках, в кривых улочках и проулках, во рвах. Я знаю, что ничего они не увидят и не найдут, несмотря на свой инстинкт и собачий нюх. Ничего не услышат сквозь щели окон и дверей. Ночь длиннее и однообразнее, чем день. Она переносит их в иную жизнь. Вот им что-то мерещится. Прочерчивает зигзаг огонек серной спички. Они бросаются в эту сторону. Поздно. Поодаль слышится музыка серенады. Они бегут туда. Закрытые ставни. Ничего, кроме отзвука, замирающего под стрехами крыши. Люди с мохнатыми ногами ничего не слышат и не видят. Они изрыгают грязные ругательства. Посасывают кариозные зубы. Плюют. Обалдело моргая, топчутся на заплеванном тротуаре. Только на это они и годятся.

Здесь, в моей комнате, слышится тихое тиканье часов, в том числе и тех, которые Бельграно подарил Кабаньясу на Такуари. Шорох моли в книгах. Легкое поскрипывание дерева, в котором ведет свой тайный ход червяк-древоточец. Время от времени раздаются надтреснутые звуки соборного колокола, отбивающего не часы, а века. Как давно я не сплю! Все повторяется и повторится снова. И самое великое, и самое малое. Поистине нет ничего нового под солнцем, и само солнце есть повторение бесчисленных солнц, которые существовали до него, и прообраз бесчисленных солнц, которые будут существовать после него. Древние знали, что солнце находится на расстоянии двух тысяч лиг от земли, и удивлялись тому, что видят его в двухстах шагах. Они знали, что глаз не мог бы видеть солнце, если бы сам не был в некотором роде солнцем. Как нельзя более важно уметь не поддаваться болезни, сделаться неуязвимым для всего. Касик Авапору, по словам иезуита Монтойи, жевал волшебную траву Яйеупа-Гуасу, потом три раза чихал и становился невидимым. Таким образом, я, даже если бы был мертв, не умер бы, потому что существовало бы мое повторение. Только скорлупа моей первой души разбилась бы и омертвела, уже не нужная для других душ, которые вылупились из нее.

Расскажи мне про это, приказал я вождю нивакле. Расскажи все, что ты знаешь об этом. Изукрашенное татуировкой лицо индейского ведуна становится еще более мрачным. Его черные, как уголь, глаза всплывают из глубины морщин. Говори же. Дикий Кот опирается на свой жезл, символ власти, и начинает невнятно говорить сквозь зубы. Кажется, будто это бормотание доносится через его тело откуда-то издалека. Часехк, толмач, переводит: все вещи и существа имеют двойников. Предметы одежды, домашняя утварь, оружие. Растения, животные, люди. Этот двойник предстает человеку как тень, отражение или образ. Тень, которую отбрасывает любое тело, отражение предметов в воде, образ, который мы видим в зеркале. Мы можем называть этих двойников тенями, хотя они состоят из более тонкой материи. А ведь и солнечная тень только накрывает предметы, но не скрывает их, так же как отражение на воде не позволяет рыбам совсем укрыться от взгляда. Тени в точности такие же, как вещи и существа, которые благодаря им удваиваются. Только они очень-очень тонкие, больше-чем-прозрачные. К ним нельзя прикоснуться. Их можно только видеть. Да и то не всегда глазами, подчас только внутренним оком, которое мыслит. Значит, тень есть образ всякого предмета и существа. Все предметы и существа имеют своего двойника. Но двойник человеческого существа одновременно един и тройствен. А иногда и множествен. Каждая из душ, которые в нем живут, отлична от других, но, несмотря на свои различия, все они образуют одну. Я сказал толмачу, чтобы он спросил нивакле, не похоже ли это на тайну христианства: единого Бога в трех Лицах. Колдун засмеялся сухим смешком, не разжимая сморщенных от татуировки губ. Нет, нет! Этот бог не с нами, лесными людьми. Первая душа называется яйцом. Эта душа, душа-девочка, находится в самой середине. Яйцо со всех сторон окружает скорлупа или кожа — ватхече. Это твердая кора, защищающая мягкую душу или мозг. Так же как яйцо — душа тела, скорлупа — душа яйца. Их нельзя видеть и трогать. Они созданы из чего-то меньшего, чем ветер, потому что ветер мы чувствуем; а в этих двух душах нет ничего, что можно потрогать или увидеть. Они проходят сквозь более плотные вещи. Никогда ни на что не наталкиваются. Когда один человек дышит в лицо другому, тот это чувствует. А яйцо и скорлупа легче дыхания. Третья душа — ватахпикль, тень. Душа скорлупы, в которой «что-то есть». Многие видят тень недавно умершего человека в окрестностях его могилы. Она настолько схожа с телом, «которого уже нет», что кажется, будто тело все еще существует, что оно по-прежнему движется и остается таким же, как было. Но эта бродячая душа совершенно пуста, в ней нет ничего. Для нас тело важнее, чем души, потому что души происходят из него. Без тела не существует душ, хотя они переживают его. Так думают Старейшины. Нет слов, чтобы объяснить это, но они, Старейшины, знают, что в одной душе живут несколько душ: душа-яйцо, дитя души, или душа-девочка; тень, производимая солнцем; отражение в воде, образ в зеркале; утренняя или вечерняя тень; тень, которую человек, когда идет вперед, отбрасывает назад; тень, которая падает, когда солнце на самой вершине неба; тень, какая бывает, когда солнечный свет просачивается сквозь облака; тень при лунном свете; сама луна, просвечивающая через облака. Но из всех них главные три души, на которые опираются здоровье и жизнь человека. Их дело — сохранять его здоровым, бодрым и сильным, не знающим страданий и немощей. В этом их назначение; священное назначение, которое они могут выполнять только все вместе. Если у человека не хватает одной из них, например души-яйца, то такой неполный человек по-прежнему ходит и выполняет свои обязанности, но у него всегда все болит, и голова, и тело. Это

знак, что души-девочки уже нет. Она ушла. Заболевший человек может и дальше жить, но, если его вовремя не вылечат, будет беда: когда нет одной части его существа, злым духам легче украсть и две остальные. Эти злые духи — чивосис, карлики, живущие под землей, уродливые души умерших новорожденных и мертворожденных детей. Там, под землей, они мучат украденные тени. Пьют маисовую водку и забавляются, муча их, как индейцы-выродки мучат тех, кого держат в подземельях Большого Белого Господина. Несколько чивосис сразу набрасываются на украденную душу и выкручивают ее, как мокрую тряпку. Тогда тело корчится в судорогах, которые означают, что быть ему мертвым. Спроси его, часехк, может ли он меня вылечить. Он говорит, нет, Ваше Превосходительство. Он говорит, что видит нутро Вашей Милости — оно совсем пусто. Там одни кости, говорит. Три души ушли. Остается только четвертая, но он не видит ее. Скажи, пусть посмотрит получше, пусть разглядит. Он говорит, что с тенью трудней совладать, чем с яйцом. Что у него нет власти над ней; что он не может ее увидеть. Он говорит, Ваше Превосходительство, что, если даже он будет дуть, пока не испустит дух, ему не вдуть духов выздоровления в бездушное тело. Туда упал большой камень смерти, и нет способа его вытащить. Так говорит нивакле, Ваше Превосходительство.

Итак, согласно диагностике этого дикаря-агностика, у меня разбиты все яйца души. Он видит во мне только пустоту между костей. Но пустота — это тоже кое-что; все зависит от того, какая это пустота и чему она служит. Разве нет? Выкидыши-пасквилянты, чивосис, выжимают под землей мокрую тряпку моего тела. Пьют маисовую водку. Продолжают выкручивать меня с помощью клеветы, которой у них полны карманы. Опять пьют водку. Бросают меня в огонь. Мое тело в испарине от смертных судорог. Но им не покончить со мной. Я вода, кипящая и без котла, как сказала обо мне одна маленькая школьница. Моя сила в том, что я могу быть мертвым и оставаться на ногах, и, хотя все возвращает меня к прошлому, я всегда прощаюсь с ним и, не оборачиваясь, иду вперед. Что вы на это скажете? То-то! Разве деревья растут вниз? Разве птицы летят назад? Разве проглотить произнесенное слово? Можете ли вы слышать то, чего я не говорю, ясно видеть в темноте? То, что сказано, сказано. Если бы вы услышали хотя бы половину, вы поняли бы вдвое больше. Я чувствую себя только что снесенным яйцом.

Что там еще у тебя в этой писанине? Вдова часового Хосе Кустодио Арройо, который вчера упал в огонь, подала прошение Вашеству. Чего она хочет? Чтобы мы воскресили ее мужа в награду за его тяжелую провинность, небрежность на посту?

С полным уважением и почтением к Верховному Правительству, говорится в прошении вдовы, я заявляю, что держу дома гроб с телом умершего и не могу его похоронить, а от жары, которая сейчас стоит, оно уже воняет на весь квартал Мерсед. По этой причине соседи поднимают крик и шум. Требуют, чтобы я наконец похоронила его. А сеньор священник в приходе Энкарнасьон, Верховный Сеньор, наотрез отказывается отпеть его и разрешить, чтобы мой покойный, ваш бывший слуга, был похоронен по-христиански, я уж не говорю, под полом церкви, как он заслуживает, но хотя бы на церковном кладбище, где хоронят всех христиан. Пусть священник скажет, почему он не дает его похоронить. Сеньор приходской священник ссылается на то, что мой покойный Хосе Кустодио был отъявленный безбожник и масон. И еще говорит, недаром люди видели, как он в толпе чертей с адским неистовством плясал вокруг костра, который поглотил Верховного, но это я неладно сказала, а надо сказать: вокруг костра, который мой покойный Хосе Кустодио развел,

чтобы сжечь кощунственную фигуру нашего Верховного Караи Гуасу, в чьих объятиях, я хочу сказать, не самого Верховного, а только его восковой фигуры, он потом изжарился, упав в огонь.

Вот что говорит сеньор приходской священник, когда я прекрасно знаю, что мой покойный Хосе Кустодио сделал это только потому, что всей душой хотел спасти эту фигуру, священную для нас, потому что она изображает нашего Караи, хотя и сделана с дурным умыслом теми, кто хочет посмеяться над нашим Верховным Вождем Правительства, будь они прокляты во веки веков с соизволения Господа и Пресвятой Девы Марии.

В результате всего этого по наущению паи прихожане обвиняют меня в том, что я ведьма. Они день за днем выносят Святейшего и устраивают процессии с плачем и молитвами, что запрещено. И еще выносят образ Пресвятой Девы Асунсьонской, которую держит у себя донья Петронита Савала де Мачаин как пожизненная хранительница, что тоже запрещено.

Они отовсюду привезли плакальщиц и молельщиков, которых наберется больше тысячи. Напротив моего дома и на многих улицах разожгли костры из освященного дерева, пальмы и лавра, говорят, для того, чтобы распугать злых духов, будто бы выходящих из тела моего Хосе Кустодио. Они ни днем ни ночью не дают мне покоя, кричат под окнами и ругают меня на все лады.

Вчера вечером несколько мужчин и женщин, которых я знаю, подлинная правда, в одеянии терциариев<sup>[176]</sup> ворвались ко мне в дом. Они связали меня и намотали мне на голову четки Пятнадцати Таинств. Потом вытащили меня из дому и приволокли к одному из огненных ручьев, которые разливаются по улице и по рвам, как потоки воды в непогоду. Притащили и гроб с покойником и привязали меня к крышке. Они бы бросили нас в ров, где полыхал огонь, и мы, упаси Боже, сгорели бы, мой Хосе Кустодио во второй раз после смерти, а я в первый перед смертью, если бы как раз вовремя не подоспела стража и не спасла нас, начав стрелять.

Что так поступили с моим покойником, который уже мертв, и со мной, которая еще жива, я не принимаю близко к сердцу и из-за этого ни о чем не стала бы просить нашего Верховного Диктатора. Но у меня двенадцать детей, и старшенькому исполнилось только пятнадцать лет. Он играет на барабанах в оркестре Госпитальной Казармы. Я прачка, но того, что я зарабатываю, стирая грязное белье богатых людей, нам с моими деточками не хватит на жизнь.

Но и это для меня еще не самое важное, Сеньор Верховный. Важнее всего для меня то, что из-за клеветы и козней злых людей я не могу по-христиански похоронить покойника, по которому я плачу. Кто бы знал, какой добрый, услужливый, душевный человек был бедный Хосе Кустодио. Неужели я должна закопать в нашем патио или бросить в реку этого человека, который честно служил нашему Верховному и умер за Родину и Правительство?

Встаньте, сеньора. Как вас зовут? Гаспара Кантуариа де Арройо, Ваше Высокочрепосходительство. Встаньте. Ни один парагваец, будь то мужчина или женщина, не должен становиться на колени перед кем бы то ни было, даже передо мной. Я не могу это допустить. Встаньте и примите мое соболезнование. Ваше желание будет исполнено.

Она ушла, Патиньо? Кто, сеньор? Вдова, болван. Ваше Превосходительство, ее здесь не было. Ваша Милость отменила аудиенции. Я только прочел вам ходатайство

вдовы, сеньор. Дурак, ты не понимаешь, что это только внешняя сторона дела. Вечно ты в каком-то опьянении или дурмане, никогда не знаешь, что происходит на самом деле. Неужели ты не чувствуешь, как страдает народ? Люди в тисках нищеты, в глубоком унынии. Бедняки, которые одни только любят честность, хотя любовь эта не приносит им радости. Деревья, на которые оседает вся пыль. Если бы они не могли даже и вздохнуть, они задохнулись бы. Я выяснил, Ваше Превосходительство, что между священником и супругами Арройо давняя вражда из-за того, что они не заплатили ему установленную мзду за крещение двенадцати детей.

Пиши предписание священнику прихода Энкарнасьон.

Пусть он установит, куда попала душа покойного Хосе Кустодио Арройо. Если он найдет ее в аду, пусть там ее и оставит. Если же установить это окажется невозможно, пусть немедленно похоронит труп как положено, предварительно отслужив панихиду по усопшему. Бесплатно. Ознакомь с этим документом викария. И кроме того, прикажи ему от моего имени перевести священника прихода Энкарнасьон в исправительную колонию Тевего.

Верховный указ:

Выплатить 30 унций серебра вдове Гаспаре Кантуариа де Арройо в возмещение морального ущерба и материальных убытков. Сверх того назначить ей пенсию в размере шести песо и двух реалов на каждого ребенка впредь до достижения старшим из них совершеннолетия, после чего он будет зачислен в оркестр Госпитальной Казармы с присвоением ему чина капрала.

Кстати, чтобы оркестры всей страны снова оглашали воздух звуками военных маршей, как я приказал, сделай следующий заказ бразильским коммерсантам в Итапуа<sup>[177]</sup>: 300 латунных рожков и столько же бронзовых, 200 корнетов-а-пистон, 100 гобоев, 100 труб, 100 скрипок, 200 кларнетов, 50 треугольников, 100 флейт, 100 бубнов, 50 литавров, 50 тромбонов, два гросса нотных тетрадей, 1000 дюжин гитарных струн. Таким образом будет восполнена потеря предыдущей партии, затонувшей на слиянии Парагвая с Параной из-за небрежности и неумелости перевозчиков.

Выдать полный комплект этих инструментов музыкантам-индейцам, составляющим оркестр 2-го Пехотного батальона под руководством маэстро Фелипе Сантьяго Гонсалеса, расширив состав этого оркестра до ста человек. Музыкантов Грегорио Агуаи (гобой), Хасинто Тупавера (труба), Крисанто Аравеве (скрипка), Лукаса Арака (кларнет), Олегарио Иеса (флейта), Хосе Гаспара Куарата (бубен), Хосе Гаспара Хаари, входящих в оркестр, который играл на похоронах, уволить в отставку с соответствующей пенсией.

Что ты выяснил относительно кражи 161 трубки из органа, который находился на хорах церкви Ла Мерсед? Вот, Ваше Превосходительство, рапорт его преосвященства главного викария Д. Роке Антонио Сеспедеса Ксерии: ввиду особой тяжести преступления, которое совершили лица, виновные в святотатственной краже, я пригрозил предполагаемым ворами и их сообщникам, что против них будет пущена в ход вся мощь государства, однако это пока не дало никакого результата, о чем я и ставлю в известность Ваше Превосходительство. Несмотря на эти предостережения и на угрозу отлучения от церкви *post mortem*<sup>[178]</sup>, мне удалось только выяснить, что музыканта Феликса Шестипалого (прозванного так потому, что у него действительно было по шести пальцев на каждой руке и ноге), органиста упраздненного монастыря



Ла Мерсед, слугу и раба покойного священника О'Хнггинса, подозревают в том, что он продал трубки ювелиру Агустину Покови как свинцовый лом. Но и это оказалось невозможно подтвердить, Ваше Превосходительство, поскольку ювелир Покови вскоре после кражи умер от апоплексического удара, а вышеназванный раб и органист Шестипалый утонул в потоке дождевых вод в тот самый ненастный день, когда Ваше Превосходительство пострадали от несчастного случая. Pede raena claudol<sup>[179]</sup> В настоящее время мы намереваемся предпринять дознание в государственных школах, так как, по полученным мною сведениям, образовались тайные оркестры флейтистов из учащихся означенных учебных заведений. Сообщаю Вашему Превосходительству эти известия, не дожидаясь последующих, так как полагаю, что быстрота будет способствовать успешности мер, которые Ваше Превосходительство примет для пресечения зла.

Распорядись, Патиньо, чтобы расследование кражи прекратили. Добавь к списку музыкальных инструментов, который я тебе продиктовал, 500 флейт-пикколо для раздачи всем ученикам государственных школ. Я приказываю, кроме того, чтобы в каждой из них были созданы оркестры флейтистов из наиболее одаренных учеников. С сегодняшнего дня включить в программу школьного обучения теорию музыки и сольфеджио.

Что еще? Музыкант в чине капрала Эфихенио Кристальдо ходатайствует перед Вашим Превосходительством об увольнении его в отставку с должности тамбурмажора, которую он занимал в течение тридцати лет. Он ссылается на возраст и плохое здоровье, не позволяющие ему надлежащим образом выполнять свои обязанности, и просит разрешения вернуться к себе на чакру и заняться хозяйством, намереваясь главным образом выращивать водяной маис<sup>[180]</sup> на озере Ипоа. Болезнь хуже смерти, Патиньо, видишь, что она делает с людьми? В момент, когда я сею семена, из которых должны вырасти тысячи музыкантов в этой стране музыки и пророчеств, старейшина-барабанщик, лучший из моих барабанщиков, сделавший из своего инструмента настоящий резонатор моих приказов, хочет обречь себя на молчание. И ради чего? Чтобы разводиться в виктории-реги в грязной воде озера! Какие могут быть виктории без барабана? Вызови его. Это вопрос, который мы должны решить при личной встрече.

Что еще? Ходатайство Хосефы Уртадо де Мендоса, которая просит вернуть ей участок земли, приходящийся на ее долю из наследства мужа, но присвоенный другими наследниками. Весь вечер вдовы, музыканты, органные трубки, барабаны и всякой твари по паре — все суются ко мне, виляя хвостом, в самый неподходящий момент! Ты ознакомился с материалами дела? Да, Ваше Превосходительство. Судья Альсады в порядке кассации вынес постановление в пользу вдовы. А ты не погрел руки над этой вдовьей свечкой? Боже мой, сеньор! Я тут ни при чем. Правда на стороне вдовы. Ну, если это правда, пиши: просьбу удовлетворить.

Что еще? Вдова де Носеда просит у Вашества разрешения доставить в Итапуа груз йербы. Опять вдова! Где справки о выплате алькабалы, пошлины на вывоз, акцизного сбора, военного и других налогов, установленных законом? Они еще не получены, Ваше Превосходительство. Будут представлены дополнительно. Ну и мошенник же ты. Скажи-ка... Подними глаза! Не кашляй. Эта вдова де Носеда, которой палец в рот не клади, должно быть, твоя старая приятельница? Рука руку моет? Нет, клянусь вам, Ваше Превосходительство! Ладно. Она у нас получит по заслугам. Пиши: дать коммерсантке вдове де Носеда разрешение, которое она

испрашивает. Пусть отправляет свой товар, если заплатила налоги, а если не заплатила, пусть расплачивается за эту контрабандистскую хитрость. Наложить на просительницу штраф в три тысячи песо, которые должны быть внесены в казначейство звонкой монетой.

Твоей протееже еще грех жаловаться, Патиньо. Несколько лет назад, когда мулат Хосе Фортунато Роа, скрытый портенъист, попытался проделать со мной подобную штуку при соучастии своего компаньона Парги, такого же вора, как он, я наложил на него штраф в 9539 песо. Я, Ваше Превосходительство... Ты пока что отправь исходящие, а я тем временем разделаюсь с другими делами. Всякая дорога хороша, когда она кончается.

Как обстоит дело с этими уключинами для лодок? Ах да, Ваше Превосходительство! Возчик, который их вез, утонул, пытаюсь перебраться с повозкой через Пирапо, вышедший из берегов с последними дождями.

Я спрашиваю, где железные уключины. Прибыли на место назначения, сеньор. Староста селения Юти, которое находится недалеко от места происшествия, собрал на совет всех жителей, и они решили отвести в другое русло ручей, превратившийся в бушующую реку. На работу вышли все до одного, даже прокаженные из лепрозория. Через трое суток уключины оказались на суше. Сто верховых, скача во весь опор, отвезли их делегату<sup>[181]</sup> Итапуа.

Послать отношение этой бездари.

Делегату Итапуа Касимнро Рокасу.

По получении настоящего отношения немедленно приступить к выполнению следующих приказов:

1) Совершенно необходимо ускорить строительство шаланд. Флотилия должна быть готова не позже чем через месяц. Для руководства работами посылаю Трухильо. Он знает, где, в каком именно месте на палубе устанавливают пушку и где закрепляется пушечный брюк, как я его учил, чтобы судно не опрокинулось от отдачи.

2) Посылаю также сто лафетов для морских орудий и столько же для сухопутных. Позднее будет прислано все недостающее. Более подробные указания будут даны в секретной инструкции, которую вам надлежит разослать во все командансии. Общий замысел состоит в том, чтобы эта военная флотилия, когда настанет время, способствовала прорыву речной блокады и обеспечению свободы судоходства. Вскоре я прибуду сам, чтобы организовать надлежащие приготовления. Я сам встану во главе войск и буду командовать операциями в соответствии с разработанным мною планом. Я проверю наличие боевых припасов и затраты на них; и предупреждаю, что я не намерен покупать снаряжение у ненасытных бразильских купцов по немислимым ценам, которые фигурируют в ваших списках. Ни за щепотку пороха не будет заплачено больше того, что она стоит.

3) Сказать командующему гарнизоном: чтобы не испортить лошадей, надо не давать им все лето нагуливать жир, а почаще надевать на них вьючные седла и упряжь и использовать их на лагерных работах. Сказать ему также, что он может продолжать рубку леса, пока луна не войдет в четвертую фазу, что будет в пятницу. Сваленные деревья делить на две части: те, что годятся для строительства судов, оставлять себе, а остальные сбывать бразильским и уругвайским контрабандистам в

обмен на оружие. Перестань в своих рапортах писать «дон»: это слово уже вышло из употребления.

4) Что с доньей Пуресой? Прибыла ли она уже к вам? Хорошо ли ты принял ее, оказал ли ей должное внимание, как я приказывал в предыдущем отношении? Обращайся с ней с уважением, какого заслуживает столь знатная сеньора, оказавшая стране много услуг, о которых я один знаю. Не нужно важничать перед ней и пускаться в разглагольствования, по глупости воображая, что этим ты возвысишь и утвердишь свою власть. Власть, которой ты облечен только по полномочию Верховной Власти.

5) Я получил много жалоб на тебя от бразильских купцов. Недопустимо поддаваться гневу, как бы он ни был оправдан. Распалиться на кого-нибудь гневом — значит, в сущности, позволять этому человеку постоянно владеть нашими мыслями и чувствами. Значит отказаться от своей независимости. А это большая глупость. Заруби себе это на носу. И пусть из моего совета вырастут полезные мысли и поступки. Следуй только своему долгу, почтенный Роккас.

6) Прислать буэнос-айресские газеты. Последняя, которую ты мне прислал, имеет уже шестимесячную давность. Платить за них с надбавкой, даже если это старые номера. Покупать также брошюры и любые тамошние публикации. Я прочел, что Росас<sup>[182]</sup> начинает благоприятно относиться ко мне, что может иметь известное значение, если только это не хитрый маневр Восстановителя, предпринятый для того, чтобы выиграть время и склонить меня на свою сторону в момент, когда Лавалье<sup>[183]</sup> двинул свои войска против него. Тряпка Ферре<sup>[184]</sup> опять стал правителем коррентинцев. Так им и надо. Проверить, действительно ли он предложил этому лжецу Ривере<sup>[185]</sup> взять на себя командование армией, которая выступит против Росаса, и поставил во главе своих войск однорукого Паса<sup>[186]</sup>.

7) Настоятельно попросить англичанина Спалдинга прислать обещанную книгу братьев Робертсонов о моем «царстве террора» вместе с их «Письмами о Парагвае». Я хочу знать, какие новые гнусности придумали эти мошенники спустя четверть века. Ты можешь дать за эти переплетенные сплетни терсио йербы. И еще один, если они в двух томах. Поторгуйся. Не думаю, чтобы эти жалкие книжонки стоили дороже пары альпаргатов<sup>[187]</sup>. Во всяком случае, больше двух терсио йербы не давай. А мало — пусть идут к черту и англичанин Спалдинг, и оба шотландца, и Британская империя вместе со всеми своими погаными подданными.

8) Сказать поставщику Леону, чтобы он своевременно отправил в Асунсьон новую партию игрушек для раздачи детям в сочельник. Игрушки на этот раз будут оплачены Казначейством в звонкой монете за счет моего неполученного жалованья. Обоз, который доставит вам лафеты и пушки, может обратным ходом привезти ящики с игрушками согласно прилагаемому списку.

9) Постарайся улучшить на своем участке нашу секретную службу по ту сторону границы. Добейся, чтобы она действовала быстрее, энергичнее, с большей скрытностью. При том положении вещей, которое существует сейчас, я последним узнаю о происходящем. А это недопустимо, в особенности теперь, когда я разрабатываю один план большого размаха. Касательно этого плана ты получишь особые указания в секретной инструкции.

10) Позондируй у сеньоры Пуресы, какие у нее связи в Рио-Гранде, Банда-Ориенталь, Энтре-Риос. Но пока ничего ей не говори, а то ты, как всегда, все

испортишь. Лучше пригласи ее от моего имени приехать в Асунсьон, чтобы побеседовать со мной. Не выдвигай никаких мотивов. Если она захочет предпринять это путешествие, дай ей повозку и надлежащий эскорт. Там у вас, кажется, есть старый губернаторский экипаж, который оставили мошенники Робертсоны после своей поездки в Мисьонес. Приведи его в порядок и предоставь в распоряжение сеньоры Пуресы. В случае, если она согласится, заблаговременно предупреди меня о ее приезде.

11) Поставь еще три почтовые станции между Асунсьоном и Итапуа. Одну в селении Акаай; другую на реке Тебикуари-ми; третью на слиянии рек Тебикуари и Пирапо. Построить плоты для перевозки тяжелых грузов через обе реки. Выделить для этих переправ самых сноровистых гребцов-плотовщиков, каких ты сможешь завербовать в этих местах. Послать людей из лепрозория Юти для охраны станций. Выделять ежедневно плотовщикам и патрульным одну голову скота, помимо провианта и обмундирования. Такое же содержание выдавать людям, назначенным для сохранения и ремонта строений и оборудования.

12) Я не понимаю, почтенный Роксас, одного из твоих последних рапортов, где ты вдруг заговариваешь о том, что нуждаешься в одежде для твоего батальона. Я здесь, в Асунсьоне, не могу одеть больше тысячи рекрутов. Имеется всего три портняжные мастерские, где в три смены работают трое портных и двадцать работниц\*. Этого, конечно, недостаточно. Поэтому рекрутам, которые уже надлежащим образом обучены и готовы пополнить собой регулярные войска, до сих пор нельзя было устроить смотр. Пусть ваши подождут, пока до них дойдет очередь, а если они действительно раздеты и разуты, пусть сами находят выход из положения, потому что я сейчас занят и другими очень важными делами, помимо поставки обмундирования войскам. Что это у тебя за разнобой в одежде? Ты прекрасно знаешь или по крайней мере должен был бы узнать за двадцать лет, что у нас существует единая форма. Синяя куртка с отворотами, цвет которых зависит от рода войск. Белые брюки. У кавалеристов в отличие от пехотинцев желтые канты. Круглая кожаная шляпа с трехцветной кокардой и надписью «Независимость или смерть» над ней. Такая же, но более крупная надпись на кителе, слева, где сердце. Если не соблюдать форменные различия, части не смогут сохранять порядок в бою. В первой же настоящей схватке батальоны, эскадроны, роты смешаются. Каждый будет атаковать и стрелять сам по себе, как это и случилось у Ролона во время его стычки с коррентинцами.

С повозками, на которых вам доставят лафеты, будет послано также все, что удастся заготовить из предметов обмундирования. Быть может даже, все необходимое, кроме галстуков, которые будут присланы позднее.

Заказ на игрушки

2 генерала верхом на лошадях с подставками на четырех колесиках, каждый в 10 дюймов высотой.

6 офицеров также верхом на лошадях и также с подставками на колесиках в 7 дюймов высотой.

770 гренадеров в 6 дюймов высотой, из них 10 с трубами.

10 заводных барабанчиков разных размеров, от 5 с половиной дюймов высотой, играющих на барабане.

1000 заводных часовых в 3 дюйма высотой, выходящих из своей будки и входящих в нее.

600 пушечек на лафетах длиной в 3 с половиной дюйма.

1200 ружей, покрашенных в разные цвета, со стволом длиной 12 с половиной дюймов.

100 труб, покрашенных в разные цвета, длиной в 13 дюймов.

20 заводных фигурок женщин, одетых в белое и играющих на гитаре, в 6 с половиной дюймов высотой.

20 заводных танцоров со своими партнершами, вальсирующих по кругу, в 5 дюймов высотой.

20 заводных фигурок женщин, которые, сидя на стуле, играют на пианино, в 9 дюймов высотой.

40 девочек в 3 дюйма высотой, которые, сидя на корточках, кормят птичек.

30 заводных фигурок девочек в 3 дюйма высотой, обучающих своих собачек.

400 заводных фигурок женщин в цветных платьях, идущих с младенцами на руках, в 4 дюйма высотой.

50 девочек, сидящих с птичками в подоле на подставке в виде гармошки, в 2 дюйма высотой.

120 заводных фигурок женщин, баюкающих своих младенцев, в 6 дюймов высотой.

200 крестьянок в 9 с половиной дюймов высотой.

7 монахов (босых) в 3 с половиной дюйма высотой на подставках в виде гармошки.

4 заводные фигурки стариков, идущих за мулом, нагруженным фруктами, в 3 с половиной дюйма высотой.

80 детей, сидящих в гамаках.

77 гуайкуру<sup>[188]</sup> верхом на лошади с копьём в руке высотой в 3 с половиной дюйма.

20 тигров в 3 с половиной дюйма высотой и 7 с половиной длиной на подставках в виде гармошки.

20 кошек в 2 с половиной дюйма высотой на подставках в виде гармошки.

20 крольчат на подставках в виде гармошки.

20 заводных лисиц с петухом на спине в 9 дюймов длиной.

60 трещоток в 3 дюйма длиной и полтора шириной.

*(В тетради для личных записок)*

Я опять достаю из-под бумаг цветок-мумию амаранта. Тру его о грудь. Снова, рождаясь в его глубинах, доносится легкая вонь; шероховатый запах, скорее шорох, чем запах. Магнетическая иррадиация, волны которой сообщаются непосредственно мозгу. Слабый ток, существующий там ИЗНАЧАЛА. Но только кажется, что это ископаемый запах. На самом деле это туманность вне времени и пространства, распространяющаяся с фантастической скоростью одновременно в разных, сосуществующих временах и пространствах. Конвергентно-дивергентных. Предметы не имеют тех свойств, которые мы им приписываем. Я всем телом слушаю то, что шепчут волны на своем электрическом языке. От накопившихся излучений амаранта вибрирует барабанная перепонка. Память возвращается назад, проецируя в обратном порядке неисчислимы мгновения. Сцены, вещи, факты, которые накладываются друг

на друга, не смешиваясь. Сохраняя отчетливость. Momentum<sup>[189]</sup>. Светящаяся волна. Непрерывная. Неиссякаемая. Значит, достаточно заслониться зеркалом, чтобы созерцать, не рискуя быть уничтоженным. Хотя этот луч, несущий в себе бесконечно малый сгусток энергии, более мощной, однако, чем энергия десяти тысяч солнц, мог бы вдребезги разбить мир зеркала. Зеркало мира.

Лучи солнца отвесно падают на двухмачтовую сумаку, на которой мы плывем в Кордову. Река плавно катит свои воды. Ни малейшего ветерка. Косой парус бессильно свисает с бизани. Воняет горячей тиной, которая окаймляет песчаные берега. На воде играют солнечные блики. Я могу различить каждый из них в отдельности. Я вижу то, что произойдет в следующее мгновение, и то, что произойдет через век. Судно пересекает плавучее поле викторий-регия. Круглые, черные, шелковистые бутоны впивают свет, издавая запах траурных венков. Я срываю один из этих бутонов. Раскрываю горячий шарик. Внутри белой и глянцевиной, как слоновая кость, сферы нахожу то, что ищу. Круглый, голубовато-серый с холодным отливом глазок, мерцающий между ресниц, черных, как вороново крыло. Ночью бутоны погружаются под воду спать. С зарей они всплывают, но даже при полуденном свете, как сейчас, плюмаж у них остается ночным. Абсолютное простодушие. Я могу подчинить себе время, начать сначала. Я выбираю наудачу какой-нибудь момент моего детства, которое разворачивается перед моими закрытыми глазами. Я еще по-настоящему не выделился из природы. Я подобен школьнику, уже стершему последнее слово с классной доски, но еще не начавшему писать. Моя детская мысль принимает форму вещей. Мои оракулы — дым, огонь, вода, ветер. Вихри учат меня своей математике, запорашивая пылью глаза. Сам собой идет посох — медленно-медленно. Быстрее стрелы проносится в воздухе яку<sup>[190]</sup>. Я плыву на своем каноэ. Заглядываю там и тут в свитые природой гнезда, где выводится то-чего-нет. Там таятся предзнаменования, предвестия. Я мочусь в грязную воду. Рябь на воде для меня новый источник предсказаний, которые уже сбылись. Когда события, пусть даже самые незначительные, происходят не так, как мы предвидели, дело не в ошибочности вещных пророчеств. Дело в том, что мы неправильно прочли эти пророчества. Надо перечитать их, исправляя все до последней ошибки. Только так, с течением времени, когда вы уже не ожидаете этого, возникает нить, по которой вслед за последней каплей пота соскальзывает первая капля истины. Только самый совершенный человек может, не солгав, сказать о себе, что он так и поступает. Но кто может знать, что собой представляет самый совершенный человек, если даже у человечества нет цели, в направлении которой оно совершенствовалось бы. А раз так, не значит ли это, что человечества еще нет? Появится ли оно когда-нибудь? Или так и не появится? Как бесчеловечно наше жалкое человечество, если оно еще не начало свой путь!

Почему ты хочешь распроститься с барабаном, Эфихенио Кристальдо? Я уже стар, Ваше Превосходительство. Мне уже не под силу барабанить, как полагается при оглашении указа, декрета, эдикта. А тем более в эскорте Вашего Превосходительства. Не тот звук. Ты ведь знаешь, что я больше не выезжаю на прогулку. Может, и поэтому тоже, Верховный Сеньор, у меня не получается настоящий звук. Я старше тебя, а не говорю, что отбарабанил свое и надо сменить правительство. Самое громкое еще не самое слышное, Эфихенио. И какой бы там звук ни получался, я буду бить в свой барабан, пока жив. Вы проживете дольше всех, Ваше Высокопревосходительство. Вашество никто не может заменить, а меня заменит любой из молодых барабанщиков, которых я сам обучил. Я позволю себе особенно

рекомендовать трубача Сиксто Бритеса родом из Ньяндуа де Хуагарон. Это лучшая труба в эскортном батальоне, но на барабане он играет еще не так. Он рожден быть барабанщиком, Верховный Сеньор, тут его никто не переплюнет. Он умеет всей грудью, всем брюхом вобрать в себя воздух, а потом как трахнет кулаком и такую дробь отобьет, что за целую лигу слышно и даже дальше, если нет ветра. А в особенности после того, как наестся до отвала порото-хупика<sup>[191]</sup> и один упишет целую коровью голову. Не надо давать мне рекомендации, Эфихенио, а тем более навязывать этого обжору, который к тому же имеет скверную привычку на ходу запускать руки в штаны, а потом обнюхивать свои вонючие пальцы. Что это за манера играть своей висюлькой, играя на трубе? Он уже не раз отведал палок за эту привычку. Я даже приказал сшить для него особые штаны, без ширинки. Тогда он прорвал карманы. Правда, будучи уже младшим офицером, он отличится во время войны против Тройственного Союза<sup>[192]</sup>. А будущему герою можно простить некоторые нынешние недостатки.

Поликарпо Патиньо трудился здесь над бумагами до последнего дня, когда переписал свой собственный смертный приговор. Твой отец, каменотес, дожил до глубокой старости и до конца своих дней обтесывал камни. Это было его ремесло, Ваше Превосходительство, как ваше — быть Верховным Правителем. Кому что на роду написано. Что это значит? Разве тебе не написано на роду играть на барабане? Кто его знает, Ваше Превосходительство. Так значит, ты хочешь уйти со службы? Может, ты тоже думаешь, что я уже покойник? Никогда я этого не думал и не подумаю, Ваше Превосходительство! Я только позволил себе попросить Вашу Милость освободить меня от должности, которую я уже не могу исполнять по старости и потому, что барабан с каждым днем все дальше от меня. В нашей краткой жизни главное — сохранять ритм, Эфихенио. Посмотрите на это, Верховный Сеньор. Что это такое? Мозоль, которая образовалась у меня оттого, что столько лет мне давил на грудь барабан. Большая, как горб у зебу, и твердая как камень. Мне приходится играть очень длинными палочками, а от этого звук у меня получается слабый. Да, ты нажил себе горб, Эфихенио. Ты тоже несешь свой крест. А чем тебе хотелось бы заниматься теперь? Я, сеньор, сызмальства хотел быть школьным учителем. И ты тридцать лет молчал об этом? Я бы и дальше молчал, Ваше Превосходительство, если бы мог по-прежнему служить барабанщиком, если бы на груди у меня не вырос этот горб вдобавок к тому, что на спине. В прощении, которое ты подал, ты говоришь, что хочешь вернуться на свою чакру и разводить водяной маис в озере Ипоа. Это тоже верно, сеньор. Но занятие, для которого я рожден, — это учить детей. В твоём прощении ты этого не написал. У меня не хватило духа, Ваше Превосходительство, самому предложить себя на такую высокую должность, как должность школьного учителя, но для меня одно и то же: разводить цветы и учить детей — только для этого я и родился на свет. Хотя, конечно, мне выпала большая честь: не всякий может похвалиться тем, что служил в прямом подчинении у Вашего Превосходительства. Здесь я учил маленьких иидейцев-музыкантов, но им только и нужно научиться читать и писать. Все остальное, самое важное для них, они сами узнают в лесах, где родились. Довольно! Ты освобождаешься от должности, которую временно занимал в течение тридцати лет. Довлеет дневи злоба Его. Всему свое время. Отправляйся к твоим водяным цветам. Передай привет бутонам, которые всплывают на рассвете, издавая нежный звук на такой ноте, какой нет в гамме. Посмотри, если сможешь, на эти цветы моими глазами. Потрогай их, если сможешь,

моими руками. Ты увидишь, как эти бархатные плавучие круги вычерпывают тучи. Моисею было бы приятно родиться в одной из этих корзиночек. Возьми вон ту треуголку, что висит на вешалке. Надень ее на голову. Ну надень же! Возьми окаменевший цветок, который лежит на столе, вон там, возле черепа. Засунь его под треуголку. Выше. Прижми к голове. Вот, вот. Получше прижми. Это антенна, как у слепых насекомых. С ее помощью ты услышишь неумолкающий голос. Тепло жизни, которое мы ощущаем во всем, дает наш собственный уголь. Ууу! Как много времени прошло! А может, не прошло и секунды. Где ты, Эфихенио? Ты меня слышишь? Не очень хорошо, Ваше Превосходительство! Как будто ваш голос доносится из-под земли! Он доносится не из-под земли, а из жестянки из-под вермишели! Гдее тыыы? Здесь, на озере, среди зеленых черпаков с их шелковистыми черными бутонами! Ты тоже неважно выглядишь, Эфихенио. Плохо себя чувствуешь в последнее время? После всего пережитого еще грех жаловаться, сеньор! Чего только не было, и революция, и войны! Дети быстро стареют! И цветы тоже! Не успеешь оглянуться! Я убеждаюсь в этом и иду дальше.

Связь с бывшим барабанщиком прерывается. Жесть плохой проводник. Ты стар. Я стар. Старики были. Старики есть. Старики будут. Не в том пространстве и времени, которые мы знаем, а в неизвестном времени и неизвестных пространствах, которые сквозят между известными. Они берут за глотку живых. Но не видят их. Не могут их видеть. Пока еще не могут их видеть. (Незнакомым, почерком.) Ты можешь только выслеживать их в темноте... (Разорвано, сожжено.)

... терпеливо ждут, потому что знают, что возродятся. Они старые, потому что мудры. Ты не должен спрашивать, говорит тебе Голос Былого. Ты не должен спрашивать, потому что ответа нет. Не ищи сущности вещей. Ты не найдешь правды, которую ты предал. Ты потерял себя самого, после того как подорвал революцию, которую хотел совершить. Не пытайся очистить душу от лжи. Не к чему столько разглагольствовать. Улетучится как дым многое другое, о чем ты не подумал. И против этого твоя власть бессильна. Ты не ты, а другие... (Следующего листа не хватает.)

*(Периодический циркуляр)*

Шлюп, груженный йербой, — один из многих, которые гниют на солнце с тех пор, как взошло солнце революции, — получил разрешение на отплытие. При условии, что возьмет на борт высылаемого Педро де Сомельеру. Сомельера отбыл вместе со всей своей семьей, европейской мебелью, огромными баулами.

В 1538 году кораблю, которым командовал генуэзский лоцман Леон Панкальдо, из-за штормов не удалось пройти через пролив Одиннадцати Тысяч Дев (ныне Магелланов пролив) и пришлось повернуть назад. Трюмы «Св. Марии» были полны товаров, предназначавшихся разбогатевшим конкистадорам Перу. Но судно преследовали неудачи. Оно прибыло в Буэнос-Айрес (Порт Богоматери добрых ветров), когда там дули злые ветры. В экспедиции первого аделантадо<sup>[193]</sup> начался голод, и дело дошло до того, что люди пожирали людей. При правлении Доминго Мартинеса де Иралы в Парагвае остатки населения опустевшего Буэнос-Айреса сконцентрировались в Асунсьоне, превратив его в «оплот и щит конкисты». Сокровища Панкальдо тоже были перевезены в этот город, что позволило конкистадорам обставить и украсить свои неприязательные серали с роскошеством настоящих калифов. С 1541 года до революции (и даже долгое время после нее) товары Леона Панкальдо были в Асунсьоне предметом купли-продажи и переходили



из рук в руки. Так получилось, что испанцы, у которых не было ни кола ни двора, тем не менее имели шпаги с великолепно отделанными эфесами, богатые чамарры<sup>[194]</sup>, бархатные камзолы и штаны. Нередко в крытых соломой ранчо, пишет один летописец, можно было найти вместе с апои (очень грубой хлопчатобумажной материей) дорогие ткани, атласные занавеси, инкрустированные ларцы и бюро, туалетные столики с зеркалами, кровати с расшитыми золотом пологам и балдахинами; скамейки для молитвы, банкетки и оттоманки, обитые коврами тончайшей работы, соседили с грубыми лавками и скамьями, сделанными индейцами для своих хозяев. То же самое можно было наблюдать и много позже, у местных уроженцев — креолов и метисов.

*Мебель и домашняя утварь, которую привез в Асунсьон Сомельера, без сомнения, имела своим источником торговлю сокровищами Панкальдо, на что и намекает «периодический циркуляр». Один из тех журналистов, пишущих на исторические темы, которых так много именно в Парагвае, где история сдана в архивы и в музеи, взял на себя труд воспроизвести опись имущества, вывезенного из Парагвая доном Педро. Это внушительный список. Для такого груза нужен был целый флот, а не маленький шлюп, у которого, когда он снялся с якоря, ватерлиния была ниже уровня воды, в то время как река совсем обмелела и, казалось, вот-вот покажется дно. Составитель описи утверждает также, что дон Педро, прежде чем уехать, заставил своих обезьян, свиней и прочих животных проглотить золотые и серебряные монеты, вывоз которых в то время уже был запрещен под страхом сурового наказания. (Прим, сост.)*

И с клетками, битком набитыми сотнями обезьян, домашних животных, птиц и диковинных зверей. Некоторые другие главари портеньо, непрестанно конспирировавшие, чтобы вызвать новое выступление Буэнос-Айреса против Парагвая, были тоже посажены на корабль и, закованные в кандалы, притулились между мешками с йербой и клетками. Там же был и кордовец Грегорио де ла Серда.

Перегруженный шлюп отплыл, зарываясь носом и грозя затонуть. Плавучий зверинец и ботанический сад. На крутом берегу толпились и знатные дамы, и простолоудинки, которые пришли вместе с детворой проститься с omni compadre<sup>[195]</sup>. Женщины размахивали косынками и шляпками всех цветов. А когда шлюп отдал концы, кумушки разразились плачем. Они в отчаянии рвали на себе шелковые платья, вытирали подолами слезы и сопли, соперничали в столах и воплях с обезьянами и попугаями.

Серду я выслал некоторое время спустя, когда во второй раз вернулся в Хунту. В данном случае не имеет значения, что мы временно спровадили его на шлюпе вместе с Сомельерой и прочими аннексионистами.

Однако тайные происки контрреволюционеров, замышлявших вернуть себе власть посредством переворота, не прекратились. Утром 29 сентября 1811 года рота солдат под командой лейтенанта Мариано Мальяды вышла из казармы, выкатив пушки, и двинулась по улицам с криками: Да здравствует король! Да здравствует наш губернатор Веласко! Смерть изменникам- революционерам! Это была ловушка, устроенная дураками из Хунты. Инсценировка реставрационного мятежа. Многие испанцы клюнули на эту удочку, а некоторые и проглотили крючок. Тут из казармы вышли резервные силы и схватили бунтовщиков.

Но мнимое восстание было так плохо задумано и осуществлено, что ничего не дало. Получив срочное сообщение о происходящем, я прискакал с чакры в город. На

площади уже начиналось представление. Я приехал, когда расстреливали, а потом вешали слугу Веласко, Диаса де Бивара, и одного каталонского лавочника по имени Мартини Лексиа. Снимите трупы, и довольно крови! — крикнул я громовым голосом. Солдатня, возбужденная запахом крови, утихла. Возвышаясь посреди площади на своей взмыленной лошади, я внушал уважение.

*«Вид у него был величественный. Вырисовываясь на фоне облачного неба в своем черном плаще с алой подкладкой и меча молнии из глаз, он был подобен карающему Архангелу; голос его прогремел громче трубы», — пишет свидетель событий того времени из роялистского лагеря, полковник Хосе Антонио Сзвала-и-Дельгадильо в своем «Дневнике памятных событий».*

Бездарный фарс прекратился. Впоследствии нашлись шелкоперы, соизволившие приписать мне его постановку. Но я бы поставил дело на широкую ногу. И позднее действительно поставил дело на широкую ногу. Только бездари могли разыграть эту дурацкую комедию, когда была пущена в ход целая армия, чтобы убить лавочника и конюха бывшего губернатора.

Повешенных, на которых с ужасом смотрел народ, сняли с виселицы. И тут толпа испанцев, вооружившихся палками и старинными аркебузами, снова забурлила и зашумела, на этот раз охваченная воодушевлением и радостью. Все восхваляли меня как своего освободителя. Женщины и старики плакали и благословляли меня. Некоторые даже становились на колени и пытались целовать мои сапоги. Хорош триумф для ацефалов из Хунты! В результате их грубой махинации я выступил в роли спасителя и союзника испанцев. Уж не этого ли они добивались?

Пародия на реставрацию в конечном счете способствовала делу революции, окутав ее на первых порах дымовой завесой. В этот момент было полезно, чтобы Я, ее руководитель и гражданский вождь, предстал арбитром в столкновении сил, борющихся за различные формы политического устройства страны. Я должен примирять их, объявил я, на основе совпадения взглядов хотя бы по самым мелким вопросам, не мешающего всем партиям и группам сохранять свое лицо и свою обособленность. (На полях: это всего лишь полуправда — никакого «совпадения взглядов по мелким вопросам» не было; было соучастие в мелких делишках — вот полная правда.) Я буду маневрировать ими, как фигурами на шахматной доске, в соответствии с продуманной стратегией, которой я положил себе неукоснительно придерживаться. Случай начинал содействовать мне. Я уже убрал слона Сомельеру, коня де ла Серду и некоторых пешек-портеньо, которые мимоходом обчистили сундуки государства, и не собирался останавливаться, пока не сделаю шах и мат. Конечно, вы не знаете игры в шахматы, этой королевской игры, но зато прекрасно знаете плебейскую игру в труко. Читайте, что я сказал: пока у меня на руках не окажется козырной туз и я не сорву банк.

Большая часть богатых испанцев попала в тюрьму. Не я, порядочный человек и человек порядка, дал приказ об этих беспорядочных арестах. Но выкуп арестованных мог по крайней мере изрядно пополнить дублонами казну, так же как конфискации, экспроприации и штрафы, которых требовали обстоятельства для справедливого возмещения убытков.

В то время как монахи сурово порицали военных, заседавших в Хунте и командовавших войсками, как признал шелкопер Педро де Пенья в своих письмах другому подлецу, бумагомараке Моласу, меня они осыпали благословениями. Я был

для них великодушный Доктор, выпестованный в благочестивом Кордовском университете.

Сначала в городе, а потом во всей провинции заговорили о том, что я воспротивился замышлявшемуся членами Хунты поголовному расстрелу заключенных, арестованных в качестве заложников, в том числе епископа и бывшего губернатора. Семьи арестованных обращались ко мне, умоляя о правосудии и защите.

*«В эти дни он действует в духе примирения. Он хочет завоевать всеобщее доверие, зарекомендовать себя человеком порядка, привлечь к себе происпанские круги. Он даже меняет манеру держаться. Становится любезным, приветливым.*

*К нему на прием в числе многих других аристократических дам приходят Клара Мачаин де Мтурбуру и Петрона Савала де Мачаин, чьи супруги тоже были арестованы, просить его ускорить рассмотрение их дел. Он весьма вежливо выслушивает их, соглашается на их просьбу, и они уходят от него «очень утешенные», как рассказывает отец Петрониты в своем «Дневнике памятных событий». Суровый адвокат стал очень мил. Власть так изменяет людей. Он даже не обратил внимания на то, что младшая из дам — его бывшая любовь. Забыл? Простил?» (Комментарий Юлия Цезаря.)*

*«После его несчастной любви к Кларе Петроне, дочери полковника Савала-и-Дельгадильо, которая отказала ему, за ним не было известно других увлечений и ухаживаний. Нежные чувства занимали мало места в душе этого холодного человека, поглощенного фундаментальным замыслом. Нелегко было пробраться в его сердце». (Комментарий Хусто Пастора Бенитеса<sup>[196]</sup>.)*

*«Как необычен душевный мир этого человека, о котором говорят, что у него каменное сердце, не поддающееся огню любви, подобно сердцу Квинтуса Фикслеяна<sup>[197]</sup>, поскольку единственные соблазны, которым он уступал, таились в его занятиях. Однако другие уверяют, что он легко воспламенялся, будучи чувствителен к андалузским глазам, все еще не утратившим своего блеска в десятом или двенадцатом поколении. Нам думается, что в таких случаях он должен был пылать, как антрацит, судя по тому, как сверкали глаза этого урубу<sup>[198]</sup>. Но на этот счет ходят разные слухи.*

*Бедный Верховный! Жаль, что не нашлось пары глаз, в которых светилось бы достаточно ума, глубины чувств и душевной красоты, чтобы навсегда пленить его, превратив в добродетельного отца семейства. А с другой стороны, существует ли уверенность, что смуглая, живая, легкомысленная девушка, склонная к беспорядочной жизни, которая двадцать лет спустя продавала цветы на улицах Асунсьона, была его дочь? Темна вода. Слова, слова, слова, как сказал Гамлет, меланхоличный принц датский, устами нашего Шекспира, (Комментарий Томаса Карлейля.)*

Уехали Сомельера и Серда. Приехали Бельграно и Эчеваррия<sup>[199]</sup>. Добралась потихоньку-полегоньку. Они прибыли уже не как захватчики, а с мирной миссией. С миссией, которая, как пишет буэнос-айрссский Тацит, была хорошо продумана: предстояло вести переговоры с таким простодушным и в то же время подозрительным народом, как парагвайский, столь же предрасположенным к недоверию, сколь легковерным. Бельграно представлял в этой делегации искренность, добросовестность, благородство. Висенте Анастасио Эчеваррия — ловкость, знание людей и практической жизни, красноречие. Я видел в этом легковесном человеке

змеиное отродье, слышал в его речах всего лишь отголосок сумбурных и несурзных мыслей, которые проглядывали в его гадючьих глазах. Вот Бельграно был много лучше, чем его описывает Тацит-бригадный генерал. В его ясных зрачках, как в зеркале, отражалась прозрачная душа, не ведающая злобы и коварства. Это был мирный человек, обреченный не быть самим собой.

Два эmissара не только не дополняли друг друга, как утверждает бригадный генерал, но так мешали и противодействовали друг другу, что усилия обоих сводились на нет. Положение их страны требовало восстановления добрых отношений с нашей страной, игравшей роль яблока раздора в бывшем вице-королевстве. Однако правительства Буэнос-Айреса преследовали иную цель, нежели мир и честное соглашение. На самом деле бедным портеньо приходилось туго. В вихре анархии одно правительство сменяло другое. Приходившее к власти утром не знало, продержится ли оно до ночи. Все на всякий случай держали наготове чемоданы. Не лучше обстояло дело и во внешней политике. После злосчастного сражения при Уаки испанцы снова завладели Верхним Перу. Бразильские португальцы оккупировали Банду-Ориенталь. На реках господствовала роялистская эскадра. Буэнос-Айрес раньше, чем Парагвай, вкусил прелестей блокады и изоляции.

Вот в этот момент не то витающему в облаках Ривадивии, не то твердолобому Сааведре<sup>[200]</sup>, уже не помню, кому именно, пришла в голову мысль послать генерала Бельграно и шарлатана-адвоката Эчеваррию в Асунсьон с инструкцией добиться присоединения Парагвая к Буэнос-Айресу. А если достигнуть этой цели окажется невозможно, то по крайней мере объединить их посредством союза. Под любым предлогом «объединить»! Любой ценой аннексировать! Но революция в Парагвае совершилась не для того, чтобы заштопывать и латать старую ветошь. Я кроил для страны новое платье по ее мерке.

Бельграно и Эчеваррии пришлось долго ждать в чистилище Корриентеса. Еще до их визита, 20 июля 1811-го, Хунта послала очередному правительству Буэнос-Айреса ноту, в которой недвусмысленно выражались цели и задачи нашей революции. Я заявил, что ни один портеньо не ступит больше на территорию Парагвая, пока Буэнос-Айрес с полной ясностью и определенностью не признает его независимость и суверенитет. Конец августа. Буэнос-Айрес намеренно медлит с ответом. Я намеренно продлеваю ожидание его эmissаров в Пуэрта-дель-Суд. Я повторил правительству Буэнос-Айреса партитуру ноты: после уничтожения колониального господства, пел ему тенор, вся полнота власти переходит к нации в целом. Каждый народ с этого времени считается свободным и имеет право самостоятельно править своей страной. Отсюда следует, что все народы, вернувшие себе свои первоначальные права, находятся в равных условиях, и каждый из них должен заботиться о самосохранении. Это было трудно проглотить спесивым портеньо. А в ноте были и другие шпильки: жестоко ошибся бы тот, кто вообразил бы, что Парагвай намерен подчиниться чужой власти и поставить свою судьбу в зависимость от чужой волн. Будь это так, оказались бы бесплодными все его жертвы: он лишь сменил бы одни оковы на другие и переменял бы хозяина. Заявляя о своих правах, Парагвай не посягает на права никакого другого народа и не отвергает ничего разумного и справедливого. Он исполнен желанием объединиться с вашим городом и его союзниками не только для того, чтобы жить с ними в дружбе и добром согласии, пользуясь свободой торговли и корреспонденции, но и для того, чтобы создать общество, основанное на началах

справедливости и равенства, — подлинную федерацию независимых и суверенных государств.

Хотя эта кость застряла у них в горле, Тацит- бригадный генерал вынужден признать: впервые в американской истории прозвучало слово «федерация», впоследствии столь популярное во время гражданских войн, столь часто произносимое на учредительных конгрессах и столь употребительное в прогнозах будущих судеб наших государств. Эту знаменитую ноту можно рассматривать как первый документ, где была выдвинута идея конфедерации в Рио-де-ла-Плате.

Парагвай дарил портью эту идею, которая могла разрешить сразу все их проблемы.

Хунта направила письмо Бельграно, застрявшему в Сан-Хуан-де-Вера-де-лас-Сиете-Коррентесе: мы заверяем сеньора уполномоченного, что лишь необходимость полностью покончить с разногласиями, имевшими место в прошлом, заставляет нас сохранять сдержанность до тех пор, пока Ваше правительство не примет наши честные предложения, поняв одушевляющие нас священные стремления, которые остаются и должны оставаться неизменными. Мы заявляем также о своей искренней дружбе, уважении и лояльности к братским народам; о своей готовности доблестно биться с вооруженными врагами; о своем презрении к предателям и решимости покарать их. Таковы чувства парагвайского народа, и таких же чувств мы ожидаем со стороны Буэнос-Айреса. Таким образом, сеньор уполномоченный может быть уверен, что, как только мы получим благоприятный ответ от его правительства, мы с величайшим удовольствием предоставим миссии возможность следовать в этот город.

*[(На полях) Багр, выловленный на Такуари, превратился в рыбью кость. Рыба рождается из колючки. Обезьяна из кокосового ореха. Человек из обезьяны. Тень яйца, снесенного Христофором Колумбом, кружит по Огненной Земле. Тень не прихотливее яйца. Тень убегает от себя самой. Все достигает своей цели. Двигаться к цели уже значит достигать ее. ]*

Наконец прибыл ответ Буэнос-Айреса. Он полностью принимал наши условия и даже соглашался на большее, чем от него требовали. В Асунсьон прибыли его полномочные эмиссары. Они стояли на носу корабля, и их парадные мундиры горели на солнце в это весеннее утро. Им был оказан великолепный прием. Теснясь на крутом берегу, их встречали двадцать самых знатных семейств. Тысячи любопытных из простого народа толпились у пристани, оглашая воздух грохотом барабанов и бомбо<sup>[201]</sup>, как на празднествах в становищах негров и мулатов.

Хунта в полном составе приветствовала гостей под оружейные и ружейные залпы. Генерал Бельграно выступил вперед, навстречу офицерам. Отдав друг другу честь, бывшие противники в сражении на Такуари обнялись и долго не выпускали друг друга из объятий, что позволило им незаметно пошептаться. Под оглушительный шум толпы мы в бывшей губернаторской карете направились в Дом Правительства. Из-за лопнувшей шины мы невольно кланялись друг другу при каждом обороте колеса. Как в ригодоне, одновременно качали головой и улыбались. Когда мы проезжали по Пласа-де-Армас, гости увидели виселицы. Облезлые собаки лизали пятна крови лавочника и конюха Веласко. Эчеваррия повернулся ко мне и, лукаво подмигнув, спросил: показ этих сооружений тоже входит в программу приема? Мне сразу не понравился этот человек. Смесь сухаря латиниста и судейского ворона. И в то же время общипанный цыпленок. Цыпленок с моноклем. Какая угодно птица, только не человек, которому можно доверять. Нет, доктор, эта декорация послужила для

другого представления. Дело в том, что в Парагвае время идет слишком медленно как раз потому, что очень спешит. Оно все перетасовывает и перепутывает. Судьба рождается здесь каждое утро и уже к полудню стареет, как гласит старая, но не устаревшая поговорка. Единственный способ помешать этому состоит в том, чтобы подчинить себе время и начать все сначала. Вы видите это? Нет. Это уже не существует. Это обратилось в призрак. Понимаю, понимаю, сказал полномочный цыпленок, прищуривая свой единственный глаз. Изнемогая от умственного усилия, он вытирал гребешок пестрым платком. У генерала, очень сдержанного, очень серьезного, тряслась голова при каждом толчке колеса.

Всплывает в памяти и напрашивается на перо другой прием, который я устроил посланнику Бразилии пятнадцать лет спустя. Я могу позволить себе роскошь перемешивать факты, не смешивая их. Я экономлю время, бумагу, чернила и избавляю себя от скучного труда рыться в справочниках, календарях, пыльных архивных папках. Я не пишу историю. Я ее делаю. Я могу по Своей воле переделывать ее, уточняя, подчеркивая, обогащая ее истинный смысл. Когда историю пишут дельцы и фарисеи, они начинают ее своими лживыми измышлениями, продиктованными многообразными интересами. Но даты для них священны. В особенности ошибочные. Для этих грызунов ошибка заключается как раз в том, чтобы вгрызаться в достоверные факты, изложенные в документе. Они соперничают с молью и мышами. Что касается этого циркуляра, то здесь нарушение хронологического порядка не нарушает логического хода мысли.

26 августа 1825 года Антониу Мануэла Корреа да Камару<sup>[202]</sup>), полномочного представителя Бразильской империи, везут в Дом Правительства в той самой карете, в которой я ехал с Бельграно.

*«Наряду с буэнос-айресской миссией (речь идет не о миссии Бельграно и Эчеваррии, а о миссии Хуана Гарсии де Коссио) в Асунсьон прибывает бразильская в лице Антониу Мануэла Корреа да Камары. Это необыкновенная личность. Известный своей романтической жизнью и авантюристическим характером, он скорее, чем кто-либо другой, был призван написать драматический рассказ о поездке в изолированный от всего мира Парагвай. Повествование о его путешествии, о пребывании в Асунсьоне и в Итапуа, о переговорах, которые он вел в столице, читалось бы как увлекательный роман. Воин в Индии, повстанец в Португалии<sup>[203]</sup>, узник Наполеона, путешественник в Турции, революционер в Рио-де-Жанейро, близкий друг Жозе Бонифасиу<sup>[204]</sup> поклонник муз, он постучал в двери затворнического Парагвая, чтобы разгадать загадку сфинкса. Это был самый подходящий человек для такой миссии. (Записки Юлия Цезаря.)*

Я его, конечно, не сопровождаю. Хватит с него и коменданта города. Карету эскортирует батальон индейцев и мулатов. Это самая большая честь, какую я могу оказать сумасброду, имевшему дерзость в официальном письме с просьбой разрешить ему въезд в Парагвай опустить наименование «республика» \*, которое по праву принадлежит нашей стране. Я наблюдаю за ним из окна кабинета. На главной улице из окон и дверей высовываются гроздьи голов. Простонародье толпится на углах, глаза на гостя в расшитом золотом мундире, увешанного орденами. Друг султана Баязета церемонно машет из кареты своей шляпой с плюмажем. Она заменяет ему флаг парламентария. Люди теснятся, стараясь получше разглядеть посланника Империи. Но не слышно приветственных возгласов и криков «ура». Любопытство смешано с инстинктивной неприязнью. Я знаю, в чем тут дело. Это оживают

кровавые тени прошлого. Простой народ не может не видеть в Человеке-который-приехал-издалека бразильского камба<sup>[205]</sup>, потомка мародеров-бандеиранте, поджигателей, грабителей, торговцев рабами, насильников, убийц. Лопнувшая шина обезглавливает его с каждым оборотом колеса. Его приветственные жесты остаются втуне. Когда смолкает труба эскорта, слышны насмешливые выкрики. Глухой Гул: Камба! Камба! Камба-тепоти!<sup>[206]</sup> Как непохоже это на встречу Бельграно!

Я решил пока не принимать Корреа. Пусть он еще немножко подождет. Мне не к спеху. Я хочу досконально узнать, чего хочет Империя, что привез мне ее легкомысленный эмиссар. Пусть его отвезут в отведенную ему резиденцию. Из черной кареты высовывается белая рука, сверкающая драгоценными камнями. Бразилец машет своей шляпой с султаном, кланяется налево и направо. Народ молча следит за этим спектаклем, в котором безучастно участвует. В атмосфере неудавшегося карнавала Человек-который-приехал-издалека отодвигается в глубину кареты. Представление провалилось. Раззолоченные декорации не помогли сохранить декорум: за ними угадывается невидимое. Впереди кареты движется шумная орава танцовщиц-негритянок, одетых в одни ожерелья. Гаеры, капоэйра<sup>[207]</sup>, размахивают дубинками, запачканными красной краской. Недостаточно. Недостаточно красной. Не такой, как кровь, может быть, под солнцем Бразилии, к западу от Африки, она и сходит за кровь. Но у нас совсем другое дело. Совсем другое дело — пылкое солнце Асунсьона. Его лучи всегда падают отвесно, раскалывая камни. Оно показывает без прикрас, во всем их убожестве, картонные сокровища этого карнавала. В его сиянии расплываются, стусеваются фигуры танцовщиц и капоэйры. Белая рука, белая-белая на черном лаке кареты, сжимает шляпу-ибиса. Королевскую цаплю. Райскую птицу. У Человека-который-приехал-издалека пуговицы из чистого золота — не иначе как из тигля алхимика. Его костюм усыпан разноцветными блестками. Если угодно, разоденьте его еще богаче. Разоденьте, как хотите. Для меня все равно это будет только театр. Для меня имперский посланец ничем не лучше любого посыльного. Этот вертопрах ищет моей руки. Но я ее никому не отдам.

Время от времени экипаж, в котором я еду с Бельграно, и экипаж, в котором едет Корреа, поравнявшись, катят колесо к колесу. Соединяются. Сливаются в один экипаж. Мы все вместе едем в нем, церемонно раскланиваясь. Тряска принуждает нас к согласию. Каждый из нас от непрерывных толчков утвердительно кивает своим противникам.

Буэнос-Айрес прислал Бельграно вести переговоры об объединении или союзе с Парагваем. Бразильская империя прислала Корреа вести переговоры о союзе, но не объединении с Парагваем.

*«Корреа сам напросился на эту миссию, горячо желая заключить союз с Парагваем, чтобы разгромить Ла-Плату в неизбежной войне в Банда-Орненталь».* (Ibid.)

Антониу Мануэл Корреа да Камара выходит из кареты перед отведенным ему домом. На фоне белой стены выделяется его фигура, типичная фигура бразильской макаки. Я из окна рассматриваю его. Незнакомое животное: спереди лев, сзади муравей. Или бурый медведь, не столько медведь, сколько бурый. Таких людей не бывает. Однако его самая удивительная особенность состоит в том, что на солнце он отбрасывает не тень животного, а тень человеческого существа. Я смотрю в подзорную трубу на этого выродка, которого Империя направила ко мне в качестве своего посланца. С лица не сходит ослепительная улыбка. Сверкает золотой зуб. На

голове парик — серебристые локоны до плеч. Прищурился глаза, он озирается вокруг, не подавая виду, с осторожностью двуличного мулата.

*«Высокий, белокурый, с гордо посаженной головой, пронизательными карими глазами, умным лицом, слегка горбатым носом, энергичными и волевыми чертами — одним словом, красивый мужчина. Держится степенно, в соответствии с этикетом. Одевается по моде со свойственной дипломатам элегантностью, которую он усвоил за долгие годы своего пребывания при старых европейских дворах». (Порто Аурелио. Семья Корреа да Камара, т. 2, Введение.)*

Он из тех, кто сначала видит песчинку, а уж потом дом. Эта бестия португало-бразилец пытается построить дом на песке, хотя еще не приехал. А может быть, уже приезжал и уехал обратно. Нет. Он здесь, поскольку я его вижу. Пусть прошлое оживет под лупой-сувениром. Какая красивая шляпа с плюмажем! — шепчет, стоя возле меня, государственный казначей. Оставьте глупости, Бенитес<sup>[208]</sup>, и принимайтесь за работу!

*(В тетради для личных записок)*

Я неограниченный властелин. В моей власти решать. Вершить. Управлять событиями. Я мог бы устранить войны, нашествия, грабежи, опустошения. Расшифровать кровавые иероглифы, которые никто не может расшифровать. Вопрошать сфинкса — значит дать ему сожрать себя, будучи не в силах разгадать его загадку. Попробуй отгадай, и я тебя сожру. Они приближаются. Никто не ходит только потому, что так хочет и имеет две ноги. Мы движемся во времени, у которого тоже лопнула шина. Два экипажа, слившиеся в один, катят в противоположных направлениях. Половина вперед, половина назад. Разделяются. Задевают втулками о втулки. Скрипят оси. Экипажи удаляются в разные стороны. Во времени уйма щелей. Отовсюду течет. Зрелище разворачивается безостановочно. Минутами у меня такое ощущение, будто я вижу это всю жизнь. А иногда мне кажется, что я вернулся после долгого отсутствия и вновь увидел то, что уже произошло. Но может быть, на самом деле ничего не произошло, только перо вышивает на бумаге узоры иллюзий. То, что целиком на виду, никогда не видишь целиком. Всегда находится что-то такое, что еще надо рассмотреть. Этому нет конца. Но во всяком случае, у меня есть дубинка... я хочу сказать, это перо-сувенир с линзой, вделанной в ручку.

*Речь идет о трубчатой, полый ручке, какие изготавливали арестанты, осужденные на пожизненное заключение, в уплату за еду. Легко заметить, что это не просто поделка изобретательного заключенного, а предмет, сделанный по точным инструкциям. Он из слоновой кости — материала, которым заключенные не располагали. Верхний конец ручки представляет лопатку, на которой видны следы надписи, стершейся от многолетнего покусывания. Одним из излюбленных выражений Верховного было: «Что толку стучать зубами, когда нечего есть». Он мог бы сам ответить на это: «Так стираются надписи, а на их месте появляются другие, более заметные, но и более таинственные». На нижнем конце ручки мы видим запаянную чернилами металлическую капсулу, образующую ячейку, куда вставляется перо. В канал ручки вделана крохотная линза, которая превращает ее в необычный инструмент, имеющий два различных, но согласующихся назначения: писать и в то же время делать зримыми элементы другого языка, состоящего исключительно из образов, так сказать, из оптических метафор. Эти образы проецируются в промежутки между строками не в перевернутом, а в нормальном виде, и притом в увеличенном размере и в движении, как это происходит в наше*



время при демонстрации кинофильма. Я думаю, что в прошлом ручка должна была иметь и третью функцию: воспроизводить письмо фонетически и озвучивать текст, состоящий из зрительных образов, что создавало бы речевое время этих бесформенных слов и бессловесных образов, позволяющее Верховному сопрягать три текста в некоем четвертом, вневременном измерении, где осью вращения служит нейтральная точка между возникновением письма и его уничтожением, тонкое, как тень, средостение между завтрашним днем и смертью. Незримая черточка, тем не менее торжествующая над словом, над временем, над самой смертью. Верховный очень любил мастерить (он сам говорит о своем странном пристрастии) такие вещицы, как перламутровую дубинку, метеорические ружья, слуховые горшки, счеты из семян кокосовой пальмы для исчисления бесконечно малых, летающих гонцов, ткацкие станки, позволяющие ткать ткани даже из клочьев дыма («самой дешевой шерсти в мире»), и многие другие устройства собственного изобретения, о которых говорится в другом месте.

К несчастью, перо-сувенир, чувствительный механизм которого частично пришел в негодность, теперь пишет очень жирно, царапает бумагу, зачеркивает слова в то самое время, когда пишет их, проецирует безостановочно одни и те же лишние звукового измерения, немые образы. Они появляются на бумаге сломанные пополам, какими кажутся палочки, погруженные в жидкость, причем верхняя половина у них совершенно черная, так что, если это человеческие фигуры, создается впечатление, что они в капюшонах. Бесформенные, без лиц, без глаз. Другая половина расплывается под поверхностью жидкости в гамму водянистосерых тонов. Цветовые пятна, игравшие живыми красками и искривившиеся в каждой точке, бледнеют и рассеиваются во всех направлениях, в то же время оставаясь неподвижными. Это оптическое явление может быть определено только как движение, застывшее в абсолютном покое. Я уверен, что под белесой, как разбавленное молоко, как каолиновая глина, водой образы сохраняют свои первоначальные краски. Должно быть, их делает серыми, почти невидимыми ослепительный свет, который все еще таится в них. Никакая кислота не может сжечь их, никакая вода не может их погасить. Другая возможность состоит в том, что они повернулись к нам обратной стороной и показывают неизбежно темную изнанку света. Я уверен также, что образы сохраняют под водой, или как там называется эта серая плазма, свои голоса, свое звучание, свое речевое пространство. Я в этом уверен. Только не могу этого доказать.

Волею случая перо-сувенир (я предпочитаю называть его памятным пером) попало в мои руки. Я завладел «перламутровой дубинкой». Удивительный инструмент теперь мой! Я понимаю, как много это значит. Мне самому это кажется невероятным, и многие этому не поверят. Тем не менее это правда, хотя и выглядит ложью. Тому, кто захочет в этом удостовериться, достаточно прийти ко мне и попросить, чтобы я его показал. Вот оно, лежит на столе, уставившись на меня своим искусанным верхним концом, кусая меня своим глазом, вделанным в ручку. Мне дал его Раймундо по прозвищу Чудик, праправнук одного из секретарей Верховного. Фактически я отнял его у своего бывшего школьного товарища, к которому я довольно неправдоподобно наведывался в его лачугу на берегу Хаэна, поблизости от военного госпиталя, бывшей Госпитальной Казармы. Под конец жизни Раймундо выходил из своего нищенского жилища только за самыми необходимыми продуктами, а главное, за водкой и наркотиками, которые потреблял в большом количестве. Время

от времени я приносил две-три бутылки тростниковой «Аристократа» и мясные консервы. Мы часами сидели молча, не глядя друг на друга, не шевелясь, пока наши тени не сливались в темноте. Раймундо знал о моем тайном страстном желании завладеть его сокровищем. Он делал вид, что не знает, но прекрасно знал и знал, что я это знаю, так что, собственно говоря, у нас не было никакого секрета друг от друга. Это тянулось с 1932 года, когда мы познакомились в школе юле имени Франции. В шестом классе мы сидели на одной парте. Я хорошо это помню, потому что в тот год в городе повсюду гремели оркестры и распевались патриотические песни. В Чако вспыхнула война с Боливией<sup>[209]</sup>. Началась мобилизация, и на фронт ушли даже карлики. Для нас война была нескончаемым праздником. Хоть бы она продолжалась всю жизнь! Мы прогуливали занятия и ходили в порт провожать рекрутов. Прощайте, будущие те онгуэ (трупы)! Отправляйтесь и не возвращайтесь, падлы! — кричал им Раймундо. Смотри, и до нас дойдет очередь! — останавливал я его, толкая локтем в бок. Чего там дойдет! Они уже нас имеют! Сколько войн было, и всегда нас имели! А мы все еще в школе с книжками возимся, будь они прокляты! Но уж меня-то не заберут в Чако, пусть хоть на коленях просят, не пойду! Я поеду в Африку! Почему в Африку, Чудик? Потому что хочу сильных ощущений, а на эту дерьмовую войну с боливийцами мне начхать! Пусть себе выпускают кишки друг другу!

В тот год я помог Раймундо на письменных экзаменах. И сдал за него устные. По всем предметам, от первого до последнего. В школе уже был настоящий бедлам. Учительницы в патриотическом раже только и знали писать письма на фронт своим подопечным, а мы почему зря жульничали на экзаменах. Раймундо, не вставая со своего места, получил десять баллов, а я, отдувавшийся за двоих, три. Зато в виде награды и утешения он в первый и последний раз показал мне легендарное перо, которое он, праправнук Поликарпо Патиньо, «унаследовал» не столько в силу прав секретарской династии, сколько благодаря запутанному клубку мелких случайностей. Вот оно, сказал он. Мне едва удалось прикоснуться к перу. Он тут же вырвал его у меня из рук. Я покупаю его у тебя, Раймундо! — чуть не закричал я. Не чуди! — сказал Чудик. Я продам тебе, если хочешь, то, что мне приснилось вчера ночью, но только не это. Лучше умереть! От прикосновения к перламутровой дубинке у меня пощипывало кончики пальцев.

Накануне Исхода<sup>[210]</sup>, который начался в марте 1947 года, я в предпоследний раз навестил Раймундо. На него было страшно смотреть — кожа да кости. По тебе можно изучать анатомию, пошутил я. Он, моргая, посмотрел на меня из-под набрякших век своими остекленелыми глазами в красных прожилках. Да, проронил он, похоже, это меня и ждет в ближайшее время. А после долгой паузы сказал; послушай, Каршито, я тебя знаю как облупленного, знаю целую вечность, кажется даже, не с тех пор, когда мы шатались по борделям на улице Генерала Диаса, и не со школьной скамьи, а с самого рождения, если не раньше. Единственное, чего ты хочешь, — это перо Верховного. У тебя прямо слюнки текут. При одной мысли о нем у тебя ум за разум заходит и руки дрожат почище, чем у меня, пьяницы, эпилептика, потребителя гуэмбе и кокаина, который мне дают медицинские сестры и который ты сам мне приносишь. Ты кружил вокруг меня, ты меня осаждал, ты помогал мне умереть с терпением, на какое не способна даже любовь. В конце концов любовь — это только любовь. Твое желание — нечто другое. Это желание, предмет которого не я сам, а то, что я имею, приковало тебя ко мне. Сделало из тебя раба, собаку,

которая приходит лизать мою руку, мои ноги, пол моего ранчо. Но между нами нет ни дружбы, ни любви, ни привязанности. Ничего, кроме этого желания, не дающего тебе спать, жить, мечтать о чем-нибудь еще. Желания, не оставляющего тебя ни днем ни ночью. Я тебе не завидую. Тебе куда хуже, чем мне. Подумай сам, Карпинчо. Я медленно родился и умираю тоже мало-помалу. Что сделано, то сделано. По моей воле. Некоторые ищут смерти и не находят ее. Они хотят умереть, а смерть избегает их. У них львиные зубы, но они как женщины. Женщины, не знающие, что они шлюхи. Ты один из них. А может, и хуже их, много хуже. Тебя ждут скверные времена, Карпинчо. Ты станешь эмигрантом, предателем, дезертиром. Тебя объявят гнусным изменником родины. Единственное, что тебе остается, — это дойти до конца. Не остановиться на полпути. Пора тебе призадуматься над этим. Он замолчал, тяжело дыша, пожалуй не столько из-за усилия, которое потребовалось от него, чтобы произнести эти слова, сколько от усилия, которого потребовало долгое молчание, теперь наконец взорвавшееся. Его изъеденные туберкулезом легкие производили больше шума, чем груженная камнем повозка. Он выхаркнул на стену сгусток крови и тоненьким, как у карлика, голосом продолжал: по меньшей мере еще век на эту страну будут сыпаться несчастья. Это уже чувствуется. Много людей умрет. Много людей уедет и не вернется, а это хуже, чем умереть. Но все это не так уж важно, потому что на этой земле люди растут как грибы и вместо одного появляется пятьсот. Важно другое... но я уже не помню, что хотел тебе сказать. Я собрался было перебить его. Он поднял руку: нет, Карпинчо, обо мне больше не беспокойся. Военные хотят отправить меня в дом призрения — говорят, что я подаю дурной пример и, кроме того, отравляю атмосферу возле госпиталя. А что же тогда будет с девками из всех борделей этого квартала? Ведь я здесь единственный Ангел Тьмы. Лазарь Истребитель. Семьи офицеров, помещенных в госпиталь, возопили к небу. Послали письма президенту, архиепископу, начальнику полиции. Но я не пойду в дом призрения. В дом призрения меня не затащат, пока я жив. Пусть я Чудик, но Чудиком и останусь до конца. Не дам упрятать себя в дом призрения! Уж лучше я утоплюсь в этой речке, которая уносит окровавленную вату, отбросы и нечистоты из военного госпиталя, грязные тряпки проституток, их выкидышей... Он снова харкнул на стену из необожженного кирпича. Не знаю, переживу ли я эту ночь. Знаю, что не переживу. Вон там, на балке, в жестяной трубке, перо. Достань его, возьми себе и иди ко всем чертям. Это не подарок. Это наказание. Ты долго ждал своей гибели. В эту ночь я стану свободен. А ты больше никогда не будешь свободен. Теперь уходи, Карпинчо. Бери перо и поскорее уматывайся. Я не хочу тебя больше видеть. А, подожди минутку. Если тебе удастся писать этим пером, не читай того, что пишешь. Смотри на белые, серые или черные фигуры, которые втискиваются между строками и словами. Ты увидишь в сумраке нагромождение ужасных вещей, способных вышибить пот и вырвать крик даже у иссушенных солнцем деревьев... Смотри на них, пока собаки лают в ночи. И если ты человек, свою кровью смой с классной доски последнее слово... Какое слово, Раймундо?

Он больше ничего не сказал. Повернулся ко мне спиной, покрытой засохшими ссадинами: он обдирал кожу, когда бился в эпилептических припадках или катался по полу, галлюцинируя под действием наркотиков. От прозрачной фигуры Раймундо только и осталась эта сгорбленная спина, глядевшая на меня. Но нет, это я созерцал собственную спину. Сквозь загрубелую кожу, подобную коре, иссеченной надписями и

зарубками, на меня пялились изуродованные артритом острые позвонки, похожие на клюв попугая. Покроется ли испариной, закричит ли этот позвоночный столб, белевший в полутьме, — мой собственный позвоночный столб, уставившийся мне в глаза? Я услышал свое собственное затаенное дыхание. А за окном, как предсмертный хрип, все явственнее слышался шорох сухих листьев — предвестие грозы.

Только много позднее я узнал, что Раймундо, как и предвидел, умер в ту самую ночь. Всю жизнь или по крайней мере с тех пор, как я с ним познакомился, он лелеял мысль о собственной смерти и в то же время боялся смерти. Его тело обнаружили лишь через несколько дней. Оно загоразживало вход в лачугу, которую при жизни он никогда не запирает, поскольку там не было ни засова, ни замка. Это человеческое тело, похожее на труп птицы, было таким легким, что дверь раскрылась не от его тяжести, а просто от ветра. Из проема потянуло запахом Чудика, от которого только и остался запах, возвекая, что он поместил себя в свой собственный дом призрания. Войдя в предание госпитального квартала. Излечившись в свое отсутствие. Превратившись навсегда в прозвище, которым озаглавлена неизбежно ложная легенда о человеке.

Одни говорят, что его похоронили на кладбище военного госпиталя, что представляется невероятным, учитывая строгие военные порядки. Другие утверждают, что его труп бросили в речку. Это было бы по крайней мере более естественно, если иметь в виду желание самого Чудика. С другой стороны, большой разницы между этими двумя церемониями я не вижу. (Прим. сост.)

Когда я пишу, оно вставляет в скобках свой взгляд. Все переносит в иной масштаб. Вторгаются все углы вселенной. Вторгаются все перспективы, сконцентрированные в одном фокусе. Я пишу, а ткань слов прошивает нить зримого. Нет, черт побери, я говорю не о Слове и не о Святом Духе! Не об этом речь! Если писать, не выходя за пределы языка, невозможно уловить ничего из прошлого, настоящего или будущего: все ускользает. Эти заметки, эти судорожные записки, эти безрассудные рассуждения, эта зримая речь, хитроумно вложенная в перо, точнее, этот кристалл aqua micans<sup>[211]</sup>, вправленный в мою ручку-сувенир, являет сферический пейзаж, видимый со всех точек сферы. Машина, вделанная в предмет для письма, позволяет видеть вещи вне языка. Только мне. Ведь зримая речь уничтожится вместе с письменной. Сок тайны не просочится наружу, самый запах ее улетучится как дым. Не важно, что перламутровая дубинка, переходя из рук в руки, будет отражать залитый солнцем берег, где строят «Парагвайский ковчег». Воспринимать крики, шумы, голоса корабельщиков, маслянистый блеск влажной от пота кожи негров-мастеровых. Их непередаваемые поговорки, междометия, грязную брань. Внезапную тишину. Ее беззвучное звучание. Какой смысл по сравнению с этим могут иметь слова, которыми играют люди? Какой смысл, например, говорить: рай — это цветущий край в небесной выси, где праведники превращаются в хористов. Или: поздно светает — зима на носу. Или, как утверждает ученый Бертони: верование, согласно которому ребенок происходит исключительно от отца и лишь проходит через тело матери, превращало метиса в исчадие ада. Или: народ отупляют с помощью его собственной памяти.

Что-либо говорить или писать не имеет никакого смысла. Имеет смысл действовать. Самое низменное кряхтенье последнего мулата, работающего на верфи, в гранитной каменоломне, в известковых копиях, на фабрике пороха, имеет больше

значения, чем письменный, литературный язык. Жест, взгляд, поплеывание на ладони перед тем, как снова взяться за тесло, — вот это нечто конкретное, нечто реальное! А какое значение может иметь письменная речь, когда она по определению не имеет того же смысла, что повседневная речь простых людей?

В зале заседаний председатель Хунты вертит в руках верительные грамоты буэнос-айресских посланцев, не зная, что с ними делать. Наконец он сует их в карман и, крутя усы, говорит Бельграно: мы вас слушаем, сеньор генерал.

Буэнос-Айрес не стремится поработить народы вицецарства, начинает Бельграно, и, конечно, готов дать полное удовлетворение Парагваю за ущерб, причиненный вспомогательной экспедицией. Сам он считает себя уже вознагражденным за свои жертвы революцией 1 мая и установлением нового правления. Теперь необходимо, чтобы Парагвай примкнул к Буэнос-Айресу и подчинился центральному правительству, ибо надлежит создать единый центр, без которого невозможно согласовывать планы и приводить их в исполнение. Существует серьезная опасность посягательств со стороны Португалии, и опасность эта угрожает не только Буэнос-Айресу, но и Парагваю. Единственно возможное средство сдерживать принца бразильского<sup>[212]</sup> состоит в том, чтобы Парагвай сообразовывал свою позицию и политику с позицией и политикой Буэнос-Айреса. Перед лицом общего врага провинции должны объединить свои усилия, а отделение Парагвая было бы пагубным примером для всех остальных. В правительстве Буэнос-Айреса в настоящее время представлены все провинции, составлявшие бывшее вицецарство. Не хватает только парагвайских депутатов, и необходимо, чтобы они как можно скорее в него вошли. (Аплодисменты стада баранов, именуемого Хунтой. Я сохраняю молчание. Невозмутимое молчание.)

Дон Фульхенсио выступил с ответной речью. Он пытался поймать ускользавшие от него слова и помогал себе звоном шпор, топчась на месте. Едва смолк его лепет, взял слово я. Прежде всего, господа уполномоченные, сказал я, экспедиция, о которой вы упомянули, была не вспомогательной, а завоевательной, как явствует из акта о капитуляции, подписанного на Такуари. Это верно, согласился Бельграно. Впоследствии он признал в своих мемуарах: этот ошибочный шаг могли предпринять лишь горячие головы, люди, которые видят только свою цель и которым ничто не кажется трудным, потому что они невежественны и не умеют размышлять. Хорошо, сеньор генерал, оставим этот печальный эпизод. Перейдем к другому пункту, самому главному: Парагвай уже не провинция. Это независимая и суверенная республика, которую ваша Хунта безоговорочно признала. Не стоит употреблять слово вицецарство, сеньоры. Вицецарство — это огромный труп. Не будем терять время на реставрацию этого ископаемого. Мы создаем наши страны из бывших провинций, которые в Заморских Владениях были низведены до уровня простых колоний и терпели иноземный гнет. Это должно братски сплотить наши народы. Там, где царят единство и равенство, ни угнетателей нет, ни рабов, поют у нас даже школьники. Парагвай предложил Буэнос-Айресу проект конфедерации свободных государств, — единственной формы, которая позволит претворить в жизнь их собратство, не превращая союз в аннексию. Казуист Эчеваррия вмешался, высказав оригинальную мысль, что прекрасно можно было бы заключить договор *ad referendum*<sup>[213]</sup> о вступлении Парагвая в федерацию и посылке его депутатов в центральное правительство с последующим утверждением этого договора конгрессом. Я могу заранее сказать вам, господин уполномоченный, что конгресс не

заклучит и не одобрит такого договора. Мы не можем ничего делать за спиной народа, чья воля — высший закон. А тем более навязывать ему документ, который снова подвергнет нас чужеземному господству. Вы помните собственноручные инструкции Мариано Морено<sup>[214]</sup>? Это были ясные и категорические требования. Морено выражался без обиняков. Объединиться значило для него навести полный порядок в Парагвае, сместить кабилдо и прочие власти, заменить их своими ставленниками и выслать из страны подозрительных лиц. Пламенный трибун вашей Майской революции, сеньоры, декретировал: в случае, если будет иметь место вооруженное сопротивление, архиепископ, губернатор и все главные зачинщики умрут. Нет, сеньоры, не следует воскрешать эти идеи, означающие смерть и разрушение. Мы стараемся навести порядок в Парагвае без такого пафоса, но и без такого кровопролития. В соответствии с нашими собственными взглядами и потребностями, а не по чужой указке.

Двуличный Эчеваррия поклевывает свой корм: дебаты. Диалоги глухих. Мертвых. Полумертвых. Речи. Контрречи. Бельграно теперь молчит, глядя в одну точку отсутствующим взглядом. Наверное, вспоминает пункт за пунктом инструкции пылкого Морено. Вот с этим человеком, а не с крючком Эчеваррией хотелось бы мне сейчас обсуждать принципы «Общественного договора» применительно к нашим странам. Но призрачная монархическая корона, предмет вожделений буэнос-айресских республиканцев, уже похоронила его под своей тяжестью в морском иле<sup>[215]</sup>. Мне только и остается терпеть китайские церемонии, нелепые выкрутасы и глупости адвокатишки-портеньо.

В настоящее время, говорю я в заключение, Парагвай всецело поглощен организацией своего управления и своих вооруженных сил. Он может использовать их только для собственной обороны. Ему угрожает внутренний и внешний враг, приверженцы испанцев и португальская армия, и, чтобы отразить эти опасности, ему необходимы все его средства и ресурсы. Он должен обеспечить свою самостоятельность. Не рассчитывать на сомнительную помощь извне. Трудные переговоры вступили в промежуточную стадию под знаком надежды; но я уже видел в них немногим больше пользы, чем в старой ружляди, которую отправляют куда-нибудь на чердак. Если в твою дверь стучат с дурными намерениями, сказал я себе, запишись на ключ. Однако нужно было еще повременить; довести до логического конца эту нескончаемую канитель. Заключительное заседание и подписание договора назначено на 12 октября, День расы.

Знатные семьи оказывают гостям утонченные знаки внимания. Наперебой дают балы в их честь. Устраивают званые обеды, прогулки, танцевальные вечера. Портеньисты во главе с председателем Хунты ходят перед ними на задних лапках. Готовится большой военный парад, который будет проведен в день подписания договора. Самые видные приверженцы «союза» прилежно посещают Бельграно и Эчеваррию. От этих сборищ не приходится ждать ничего хорошего, и я приказываю установить за ними секретное наблюдение. Слуховые горшки, тайно расставленные в нужных местах, записывают подозрительные разговоры. Тем не менее я решаю повсюду лично сопровождать гостей. В особенности Бельграно. Я превращаюсь в его тень, и если не провожаю его до двери нужника (везде можно ждать подвоха) и не охраняю его сон, то только потому, что должен подготовить проект договора. Во всех деталях. Договор — это мой вшивый колпак, в котором не заспишься. Мне и не снится сон. Худой, как лозинка, и цепкий, как вьюнок, я могу пробраться куда угодно.

И выжать из любой мелочи все, что мне нужно, как выжимают виноградный сок. Даже самые зеленые виноградины для меня достаточно спелы.

Под давлением англичан и французов, новых опекунов Буэнос-Айреса, его план объединить бывшие испанские владения под своей эгидой воплотится всего лишь в загон для скота, где хозяйничают портеньо. Я говорю, стоя под дверью. За ней моется генерал. Он не отвечает мне. Я слышу плеск воды в умывальном тазу. Стадо провинций будет тихо-мирно лизать соль, положенную в кормушку англичанами. Он не слышит меня. Плеск воды усиливается. Генералу, должно быть, мнится, что он еще переправляется в кожаной лодке через Парану, а потом через вышедшую из берегов Такуари во время своей экспедиции в Парагвай. Я отпускаю шуточку: и что это вам вздумалось, дорогой генерал, вторгнуться к нам верхом на мертвой корове! На какой мертвой корове? — говорит он, выходя из ванной комнаты. Он улыбается, похожий на шейха в тюрбане из полотенца. Вы сказали что-то насчет мертвой коровы, сеньор первый алькальд? Я пошутил, уважаемый дон Мануэль, просто пошутил. Не принимайте это всерьез. Я вспомнил о вашей лодке. Лодке? Да, о лодке из коровьей шкуры, в которой вы переправлялись через реки. Вы так занятно рассказывали об этом вчера вечером! Да, эта мертвая корова спасла мне жизнь! — подыгрывает мне генерал, Создается атмосфера шутливой фамильярности. Ведь я не умею плавать даже на песке. Великолепная лодка. Вот видите, генерал! А это была всего лишь кожа мертвой коровы! Бельграно добродушно смеется. Если бы Паскаль вместе с вами прибыл сюда в кожаной лодке, он не сказал бы того, что сказал: реки — это дороги, которые сами идут и ведут нас туда, куда мы хотим прийти. У Бельграно упал с головы тюрбан. Но на самом деле Паскаль побывал здесь только в виде корабля. Что вы хотите сказать, сеньор первый алькальд? Вы, наверное, помните, генерал, что в середине прошлого века Вольтер, занявшись коммерцией, снарядил и отправил в Южную Америку корабль, называвшийся «Паскаль», под предлогом войны с иезуитами. Потом «Паскаль» был зафрахтован испанским правительством, которое использовало его как военный транспорт в борьбе против патриотов. Вольтер был не лишен цинизма и чрезвычайно жаден до денег. Эта алчность сделала его философом-судовладельцем. Он прельстился легендой об Эльдorado и послал в Парагвай Кандида, слугу которого тукуманского мулата Какамбо, я потом взял к себе на службу, освободив от письменной формы. Не понимаю, покачал он головой. Да ведь я взял его из книги. Какамбо у меня жилось хорошо. Он пользовался моим доверием. Разумеется, он его обманул, потому что предательство у мулатов в крови. Генерал все смеялся, подхлестываемый моей серьезностью, очевидно в уверенности, что я рассказываю ему новую басню.

Подошел кривоногий Эчеваррия и вмешался в разговор. Видите ли, сеньор первый алькальд, отказ Парагвая войти в Объединенные Провинции Рио-де-ла-Платы означает не что иное, как продолжение политики самоизоляции, которую вы проводите. Вовсе нет, сеньор юрисконсульт. Парагвай оказался изолированным не по своей воле. Не станете же вы утверждать, если мы запрем вас в этой ванной комнате, что ваша милость находится там только потому, что вам так нравится, и что это лучший из миров. Помилуйте, доктор Эчеваррия! Разве это была бы самоизоляция? Разве можно было бы, не кривя душой, сказать, что вы оказались в таком положении по собственной воле? Это правительства бывшего вице-королевства узурпировали господство над рекой и держат нас взаперти с тех пор, как революция освободила наши страны от чужеземного гнета. Теперь Буэнос-Айрес предлагает нам мир, союз и

свободную торговлю. Разве вяжется это предложение с позицией и поведением государства, которое присваивает себе функции жандарма по отношению к другим, а в особенности по отношению к свободному, независимому, суверенному государству, каким является Парагвай? Никоим образом, сеньор юрисконсульт! Разве не послала буэнос-айресская Хунта военную экспедицию во главе с присутствующим здесь генералом Бельграно покорить эту страну? Мы уже обсудили и выяснили это недоразумение, так называемое недоразумение. Мы предпочли бы, сеньор первый алькальд, не запутывать вопрос, вдаваясь в рассуждения, не имеющие прямого отношения к делу. Вы один из самых просвещенных людей в нашей Америке. К чему нам терять время, толкуя о прошлом? Знаете, доктор, у нас в Парагвае самый просвещенный человек — это фонарщик. Он зажигает и гасит пятьсот тысяч свечей в год. Даже он знает, что наше будущее определяется прошлым. Давайте и мы снимем нагар со свечей. Поговорим о будущем. Почему бы нет. С удовольствием. С величайшим удовольствием. Это моя область. Я вижу, сеньор первый алькальд, вы очень любите каламбуры, но мы обсуждаем здесь весьма серьезные вопросы, которые требуют от нас величайшей серьезности. Согласен, достопочтенный доктор. Таково проклятое свойство игры слов: она затемняет то, что хотят сю выразить. А главное, сеньор первый алькальд, не будем нарушать простые формы вежливости. Не полагаете ли вы, что мы можем вести наши переговоры здесь, у двери ванной? Вы правы, доктор. Что же, пройдемте в зал совещаний.

Какую выгоду рассчитывал извлечь буэнос-айресский буквоед из своих выпадов? Он хотел говорить о будущем. Но меня не могли обмануть громкие слова. Мне было ясно, что бессовестный интриган заинтересован в том, чтобы как можно скорее покончить с задачами миссии и заняться еще более темными делами: он торопился предложить невежественным болванам из Хунты продать типографию «Приют подкидышей». Готовилась контрабандная сделка между мошенниками.

Что касается нас, сеньоры уполномоченные, то мы видим цель парагвайской революции в том, чтобы принести счастье родной земле, иначе она потерпит крушение и похоронит нас под своими обломками. Наше решение бесповоротно. Нет такой силы на земле, которая могла бы заставить нас отказаться от этой цели и средств к ее достижению. Если нам преградят избранный нами путь, мы ни перед чем не остановимся. Вы, сеньоры уполномоченные, можете этого избежать. Мы вместе можем избежать наихудшего и достичь общего блага. Сделать так, чтобы слово «конфедерация» означало нечто реальное и полезное. У Парагвая уже отняли много земли и воды. Но у него не отнимут огня, который горит в груди парагвайцев, и воздуха свободы, которым они дышат. Эчеваррия подпер кулаком подбородок. Лицо у него было землистое, зеленоватое. Белая фигура Бельграно тонула в полутьме.

Будем говорить начистоту, сеньоры. Если для объединения нужен единый центр, то таким центром может быть только Парагвай. Это ядро будущей конфедерации свободных и независимых государств. Почему бы Буэнос-Айресу не присоединиться к Парагваю? Именно Парагваю принадлежало центральное место среди бывших провинций с начала колонизации. Тем более оно должно принадлежать ему с начала деколонизации. Не только потому, что он уже стал первой республикой Юга, но и потому, что имеет на это исконное право. В Парагвае произошло первое восстание против феодального абсолютизма. В иерархии, которую устанавливают исторические события, Асунсьон стоит выше Буэнос-Айреса. Он мать народов и кормилица городов, как сказано в одной королевской грамоте, которая, как она ни глупа, на свой



лад выражает правду. Когда Буэнос-Айрес превратился в развалины, Асунсьон заново отстроил его. А теперь Буэнос-Айрес хочет поглотить нас. Но было бы ошибкой надеяться, что ему это удастся. Буэнос-Айрес, друзья мои, сам по себе большая ошибка. Огромный желудок, привешенный к порту. С Буэнос-Айресом во главе мы рискуем быть проглочены живыми. Судьба такого объединения predetermined. Отец Каэтано Родригес, мой бывший преподаватель в Кордовском университете, пишет мне: ты не представляешь себе, сын мой, как ненавидят портеньо во всех разъединенных провинциях Рио-де-ла-Платы!

Это не случайно. Еще в те времена, когда в подземельях пагоды Монсеррата мы в свете новых идей размышляли о судьбах этой части континента, мы уже с полной ясностью видели, что произойдет. Некоторые из моих соучеников, которые теперь входят в Хунту, знают это не хуже меня. Когда город господствует над деревней, так называемая революция оборачивается распрями и смутами. Это произошло и здесь, когда потерпела неудачу революция комунерос. Ее предал столичный патрициат. Когда власть берет в свои руки общество, народ в целом, революция побеждает. Но потом народ, совершив трагическую ошибку, передает власть людям «просвещенным», главарям патрициата, и тогда революция побеждена. Ее подлинные вожди обезглавлены, освободительное движение разгромлено.

Здесь, в Парагвае, силы революции коренятся в свободном крестьянстве и зарождающейся сельской буржуазии. В своего рода «третьем сословии», которое, однако, еще не способно непосредственно, в лице революционного парламента, править страной. Еще не способно довести до конца борьбу за независимость.

В Буэнос-Айресе революцию возглавляют жирондисты из торговой, портовой буржуазии. Все их усилия направлены к сохранению системы, господствовавшей в вице-королевстве, при некоторых реформах, которые выльются в установление новой монархии. На этот раз креольской. Их «просвещенные» руководители оторваны от народных масс точно так же, как здесь оторваны от них высокомерные военные, заседающие в Хунте.

Генерал встал. Начал прохаживаться взад и вперед. Покачал головой. Я не согласен с вами, сеньор. Я не торгаш. И вы тоже. Вы любите свой народ. Я тоже. К несчастью, мы в меньшинстве, сеньор генерал. От нас зависит, чтобы большинство народа было с нами. Разве Корнелио Сааведра не обвинил Морено в том, что он, подобно злодею Робеспьеру, отстаивает неумеренные требования свободы, неосуществимые теории равенства? А потом он вытеснил эту секту якобы-якобинцев, которые стремились установить, по словам дона Корнелио, разнузданную демократию, предназначенную ниспровергнуть религию, нравственность и наш традиционный образ жизни. Морено отправили мутить воду в морских глубинах.

Висенте Анастасио Эчеваррия с самым серьезным видом делал заметки. Вместо того чтобы всасывать через бомбилью мате, который подал ему мальчик- слуга, мулат Пилар, он в нее дул. Так не годится, доктор. Трудно сосать и дуть в одно и то же время, правда? Он заморгал, не зная, что ответить. Вот что, сеньоры, я иногда бываю простодушен, но не настолько, как кажется. Я совершенно уверен, что вы приехали просить меня, чтобы я дал Буэнос-Айресу остаток того, что ему уже дали. Но у того, кто дает и дает, в конце концов ничего не остается, и он остается на бобах. Поэтому у меня не остается другого выхода, кроме как запереться изнутри. И держать ключи при себе. Построить цепь крепостей от Сальто до Олимпо. Оставить лишь амбразуры,

которые нужны для страны. Это я и сделаю. Считайте, что это уже сделано. Исполнено.

Однако, насколько я знаю, сеньор первый алькальд, ехидно замечает адвокатишка, Ваше Превосходительство — лишь один из членов Правительственной Хунты Парагвая. У нас здесь идет революция, господин юрисконсульт, и это поважнее парадной Хунты. А вождь революции я. Нас на каждом шагу подстерегают предательские удары термидорианцев. Чтобы отразить их, нужна железная рука. Так что не тратьте время на фигурантов. Если вам недостаточно моих слов, чтобы отдать себе отчет в реальных фактах, сами факты докажут мою правоту. Победоносный на поле боя, Парагвай, дорогие друзья, тем не менее не отказывается от соглашения. Он лишь не дает победить себя с помощью договора. Хунта и кабиљдо в полном составе рукоплещут моим словам. Изложив вам принципы, которые я предлагаю положить в основу конфедерации, я открываю двери для справедливого, братского решения вопроса. Решения, отвечающего одновременно национальным и общеамериканским интересам. Это и значит говорить о будущем как можно более конкретно. Не будем полагаться на волю судьбы, когда дело идет о нашей судьбе. Не будем заниматься словесной эквилибристикой, чтобы оправдать неправду. Не будем признавать никаких прав за неравноправием. Только при этом условии мы сможем жить, как дружная семья, а не как пауки в банке. Давайте вместе искать правильный путь. Весьма печально уже то, что нам приходится облекать наши соглашения-расхождения в речи, ноты, ответные ноты и тому подобные документы. Подменять податливыми знаками упрямые факты. Бумаги могут быть разорваны. Неверно прочитаны. Истолкованы в самых разных смыслах. Забыты. Подделаны. Украдены. Растоптаны. Факты — нет. Они сами говорят за себя. Они сильнее слов. Они живут своей собственной жизнью. Будем же придерживаться фактов. Постараемся всеми силами выработать форму конфедерации. Но я не вижу возможности ее создать иначе как через посредство подлинно народного революционного процесса.

Во время нашей верховой прогулки по Камино-Реаль и предместьям города жители стекаются нас приветствовать. Генерал Бельграно улыбается и раскланивается. От него как бы исходит сияние. Это настоящий святой в генеральском мундире. Мы едем по улицам Асунсьона не среди враждебной толпы, а среди тысяч горячих приверженцев, сыновей этого красного Иерусалима Южной Америки. Эчеваррия беспокойно ерзает в седле; у буквоеда чешется язык: без оси, без распорядительного центра, каким является Буэнос-Айрес, и вне орбиты права содружество свободных и независимых государств, о котором вы говорите, сеньор первый алькальд, будет мертворожденным и бесформенным. Послушайте, досточтимый доктор, ни вам, ни мне не следует противиться тому, что в природе вещей. Посмотрите на этот простой народ, который, как и все, жаждет свободы и счастья, посмотрите, как он кипит! Эти реальные, живые существа шумно приветствуют нас, взывают к нам, вручают нам свою судьбу — нам, сомнительным людям, уже не помнящим родства, кичащимся своими идеями, которые мертвы, если мы не претворяем их в действия. Они рукоплещут нам, но они и судят нас. Они ждут своей очереди. Им суждено замкнуть круг. Посмотрите, доктор, на эти машущие нам мозолистые, черные руки! Они обожжены солнцем, но они чисты. Они тянутся к нам, чтобы сделать из нас светильники, чтобы зажечь нас, передав нам свой жар! Сами по себе мы, залитые светом, лишь отбрасываем тень, лишь дымим. Я не совсем понимаю,

что вы хотите сказать, сеньор первый алькальд. Не меня вам надо понять, доктор Эчеваррия. Вам надо понять их. Генерал Бельграно их уже понял.

Мы старались перекричать шум, но не слышали собственных слов и только по движению губ угадывали слова другого. Я уже привык к тому, что меня не понимают доктора, доктор Эчеваррия. Ваш Тацит скажет, что концепция конфедерации будет злонамеренно использована в парагвайских дебрях самым варварским из тиранов. Он клеветает на меня. Он клеветает на вас, говоря о вашей полной слепоте и глухоте. Это слово, зафиксированное в договоре и получившее таким образом зримую форму, говорит ваш Тацит, не замедлит привести в брожение все народы Рио-де-ла-Платы, дав точку опоры анархии и знамя сторонникам политического и социального разъединения, которое поставит под удар достижения революции и обессилит общество, даже если потом преобразуется в конституционную форму, синтезирующую органические элементы жизни наших народов. Ваш Тацит со своим неправильным синтаксисом одновременно утверждает и отрицает последнее, уповая на английскую колониальную опеку. Но не из этой материи мы должны выкроить платье, которое всем нам придется впору, не то вопреки утверждениям Тацит-генерала (генерала-разбойника) обновка, шитая белыми нитками, будет переходить из рук в руки, пока не превратится в окровавленное, заразное тряпье. Ваш образ, сеньор первый алькальд, весьма красочен. Но, как и всякий образ, обманчив. Мы имеем дело не с образами и не с платьем, а с политическими реальностями. Мы не портные. Мы мыслящие люди. Нам нужно править и устанавливать законы по примеру мудрых законодателей античности. Извините меня, доктор, но конгресс Буэнос-Айреса или Тукумана будет иметь место не в античности. Не хотите же вы, чтобы конфедерация, еще не родившись, устарела на две тысячи лет. Ныне, сеньор юрисконсульт, в этой банке с пауками, которую являют собой в совокупности наши колонизированные провинции, мы, «просвещенные люди», как вы провозглашаете, должны сначала создать учреждения, с тем чтобы они в свою очередь устанавливали законы, воспитывали людей, приучали их быть людьми, а не шакалами, норовящими урвать чужое. Используйте свою вкрадчивость, свою проницательность, свое знание людей и практической жизни не для того, чтобы подрывать наши планы, а для того, чтобы расстраивать интриги, которыми хотят нас опутать враги нашей независимости. Если вы считаете, что наши народы рождены для вечного рабства, то это не делает вам чести. Посмотрите на этот народ, так восторженно приветствующий нас, еще верящий в нас. Неужели вы думаете, что эти люди просят, чтобы мы снова превратили их в рабов, на этот раз в рабов привилегированного меньшинства, которое с такой же выгодой для себя эксплуатировало бы их, как их прежние, иностранные хозяева?

Я пустил лошадь в галоп и нагнал генерала Бельграно, который ехал по самому краю обрывистых склонов Чакариты, где раньше лепились домишки прихода Сан-Блас. Посторонитесь от этих оврагов, генерал! Они опасны из-за обвалов! Не беспокойтесь! — ответил он, скача над пропастью. Я знаю, какая земля подается, а какая не подается! Это верно. Генерал прав. Когда он в первый раз отправился в Парагвай, ему пришлось сформировать свое войско из простого народа. Это сильные и ловкие люди, от природы наделенные глубокой мудростью. Повсюду одинаковые, выросшие в одинаковых условиях, с одинаковыми судьбами. Из этих людей был набран и отряд, посланный на помощь Буэнос-Айресу, куда вторглись англичане незадолго до того, как вы, генерал, вторглись в нашу страну. Да, сеньор первый алькальд. Парагвайцы сражались, не щадя своих сил, крови, жизни в этой первой

патриотической войне против иностранцев. А потом мои войска в свою очередь пришли в Парагвай оказать ему помощь. Когда мои солдаты поняли, что парагвайцы не понимают, что экспедиция направлена не против них, а против испанцев, которые продолжали здесь господствовать, они предпочли скорее с честью потерпеть поражение, чем стяжать ложную славу, продолжая проливать братскую кровь.

Беседа становилась все более оживленной. Освобожденные от земного тяготения, всадники должны быть скупы на слова. Сидя в седле, нельзя пускаться в рассуждения о высоких материях. Но это не относится к тем, кто едет на таких конях, как мои, которых кормят сеном из аэродвигательного клевера и такой же люцерны, выращиваемых на моих опытных фермах. В особенности на вороном и пегом, самых прожорливых, а на них и ехали мы с Бельграно. На этом фураже они за одну ночь запасаются летучим газом, которого хватает на несколько часов лета. Аристотель измыслил «воздушных животных». Леонардо да Винчи построил летательные аппараты, похитив у птиц тайну крыльев, позволяющих им двигаться и парить в воздухе. Юлий Цезарь кормил своих лошадей морскими водорослями, вливая в них нептунову мощь. Я, исходя из идеи, что теплота есть не что иное, как особая субстанция, более тонкая, чем дым, позволяющая телам подниматься в высоту, источник энергии для материи, превзошел стагирита и флорентинца. Вместо того чтобы строить механические и аэродинамические аппараты, я вырастил злаки, дающие теплотворный корм. Волшебное сено. Фабрику природных сил, открывающую неисчислимые возможности совершенствования животных и генетического прогресса человечества. Создания сверхчеловеческой расы посредством питания, этой альфы и омеги существования живых существ. Вот Эльдорадо, позволяющее обогатить наш жалкий человеческий удел! Не кажется ли вам, генерал, что эту задачу мог бы решить и планктон, огромное количество которого имеется в океане? Ведь это неиссякаемый источник энергии! Я не знаток моря, но уверен, что это возможно. Вы живете на его берегу, и вам следовало бы начать эксперименты: Втайне. Не то могут взбунтоваться скотоводы и скотобойцы, уже не говоря о еще более алчных портовых торгашах, этих гнусных стервятниках.

Мы уже скакали в облаках на своих монгольфьеровских конях. Красная, как киноварь, карта города с высоты казалась еще более красной. Зелень лесов еще более зеленой. Пальмы со своими плюмажами еще более стройными, хотя и карликовыми, крошечными. Тени в котловинах еще более глубокими. Заходящее солнце лило на бухту, на деревушку, прилепившуюся к склону холма, жидкий огонь. Какой прекрасный вид! — воскликнул Бельграно, полной грудью вдыхая воздух. Он привстал в стремях. А где же Эчеваррия?

Я не смог сдержать злорадной улыбки. Назойливый секретарь ехал по рвам, размытым паводками и ливнями. Вон он, генерал! В низине! Не повезло дону Висенте Анастасио! — пожалел его Бельграно. Потерять такое зрелище! Действительно не повезло, генерал! Ваш секретарь едет на кляче Фульхенсио Йегроса, которая только и годится для манежа.

Пора спустить на землю наших воздушных буцефалов, сказал Бельграно. Как это делается? Надо их куда-нибудь кольнуть? Есть у них выхлопной клапан? Нет, генерал. Все происходит естественно. Не бойтесь. Это ведь тепловые животные. Когда у них кончается газ, они сами приземляются. Все происходит совершенно естественно. В это время года здесь несравненные закаты. Полюбуйтесь, генерал.

Пользуясь отсутствием докучливого секретаря-адвокатишки, я вернулся к затронутой теме: с вице-королевством случилось два раза подряд то, что Парагвай испытал лишь однажды и больше никогда не испытает. По крайней мере пока я жив. Бельграно недоуменно заморгал. Англичане вторглись в Ла-Плату, предприняв типичную пиратскую операцию, чтобы завладеть накоплениями от сбора алькабалы с товаров Чили и Перу в порту Буэнос-Айреса. Не так ли? Да, сеньор первый алькальд. Эти накопления составляли примерно пять миллионов песо серебром, верно? Да, приблизительно пять миллионов. Вице-король приказал перевезти казну в другое место и спрятать. Но английские пираты захватили деньги. Часть разделили между собой коммодоры и генералы, остальное было отправлено его величеству королю Великобритании. Все было сделано с британской аккуратностью. Английские командующие и офицеры располагаются в домах видных людей. Провозглашается свобода отправления культа и свобода торговли с пиратской страной. Знать в восторге от душистого мыла, которое привозят из Лондона в виде скудного вознаграждения портенью. Разумеется, до предместий, где ютится простонародье, индейцы, метисы, гаучо, ароматная пена не докатывается. Там пахнет только возрастающим недовольством.

Грабительская операция превратилась в политическую акцию. Увидев, с какой легкостью горстка решительных людей, не стесняемых чрезмерной щепетильностью, завладела богатой добычей, англичане, по-видимому, решили, что могут заменить испанцев, прибрав к рукам колонию, хотя бы под знаком «защиты независимости».

Тем временем сундуки с серебряными песо везут по улицам Лондона. Триумфальную процессию встречает обезумевшая толпа, совсем не похожая на ту, которая приветствовала вас там, внизу. Лошади, запряженные в повозки с награбленным, живописно разукрашены. На повозках флажки и надписи золотыми буквами: «TREASURE!» «BUENOS AYRES!» «VICTORY!»<sup>[216]</sup> Вы их видите? Вон они едут под звуки волынок и барабанов!

*Эти отрывки, касающиеся первого вторжения в Буэнос-Айрес британских войск под командованием Бересфорда и под общим руководством Попэма и Бейрда (1806 год), взяты из заметок, набросанных Верховным в первые годы своего правления. Хотя он не цитирует и не упоминает братьев Робертсонов — и они тоже не пишут об этом в своих сочинениях, — не вызывает сомнения, что молодой Джон Пэриш Робертсон, очевидец событий — как прибытия в Лондон буэнос-айресской казны, так и начала британского господства в Буэнос-Айресе, — во время своего пребывания в Асунсьоне был услужливым информатором Верховного. В этих заметках содержатся весьма точные справки, трудно сказать, достоверные или нет, относительно важных и даже незначительных фактов, вплоть до сумм, которые пришлось на долю Бейрда, Попэма и Бересфорда при разделе пиратской добычи, захваченной в Лухане после бегства испанского вице-короля. Верховный отмечает, например: «Завоевание голландской колонии Кап»<sup>[217]</sup>, по-видимому, пробудило аппетит у англичан». И далее: «Бейрду досталось 24 тысячи ливров (точнее, 23 тысячи ливров, пять шиллингов и девять пенсов), Бересфорду больше одиннадцати тысяч, Попэму семь тысяч, и каждый из них смог на эти деньги купить себе имение». Но он замечает также, что в то же время на другом краю континента Миранда<sup>[218]</sup> пытался на британские деньги (которые позволили ему наемников и закупить оружие) завоевать «независимость» Венесуэлы. «Что это за гадость? — негодуяще восклицает Верховный. — В августе 1806*

*Миранда высаживается в Веле. Он никого не находит там. Патриоты бегут от освободителей, думая, что это пираты. В сентябре англичане высаживаются в Буэнос-Айресе и, как настоящие пираты, грабят его, выдавая себя за освободителей!» (Прим. сост.)*

Если мы подойдем к южноамериканцам как торговцы, а не как враги, мы усилим их местнические устремления и таким образом в конце концов всех их приберем к рукам, думали британские правители и соответственно действовали, давая блестящий пример своим потомкам из Новой Англии. Несмотря на все это, несмотря на Майскую революцию, несмотря на все пережитые бедствия, новая Правительственная Хунта не только обязалась оказывать покровительство англичанам. Она готова была сделать для них гораздо больше. В силу этого за новыми хозяевами осталось «косвенное господство» над Рио-де-ла-Платой, именуемое также «защитой независимости». Разве не правда, господин генерал? Бельграно попал в рот кусок крупитчатого облака, и он, поперхнувшись, закашлялся. Я знаю, уважаемый генерал, что вы не содействовали, а противились этому. Я знаю даже, что вы уехали в Банда-Ориенталь, не желая иметь дела с захватчиками: ваша честь отвергла это бесчестье. От одного моего друга из Капильи-де-Мерседес на реке Уругвай я знаю, как вы страдали в эти дни. Я знаю также, что во время британских зверств вы, как истинный патриот, не сидели сложа руки. А потом вас послали сюда.

Мне тоже довелось быть свидетелем перипетий, которые привели к вашей экспедиции. Я находился в гу пору у себя, на чакре Ибирай, и из своего уединения следил за событиями, как вы следили за ними из Мерседес. Но я оказался счастливее вас. Во-первых, потому, что ваше вторжение кончилось поражением; во-вторых, потому, что теперь я имею честь быть вашим другом; в-третьих, потому, что имею удовольствие ехать бок о бок с вами по голубому парагвайскому небу. Почетный глава мирной миссии, вы приехали, генерал, предложить Парагваю не обманную «защиту независимости», а равноправный и братский договор. Вы, как и я, прилежный читатель и приверженец Монтескье и Руссо, и, стремясь обеспечить свободу наших народов, мы можем руководствоваться идеями этих мыслителей. Вы, генерал, один из очень немногих католиков, которым папа дозволил читать всякого рода осужденные книги, в том числе еретические, за исключением книг по юдициарной астрологии, <sup>[219]</sup> непристойных сочинений и безбожной литературы. Я не скажу, что в «Общественном договоре» и других книгах передового направления заключена вся мудрость, в которой мы нуждаемся для того, чтобы действовать с непогрешимым тактом и благоразумием. Нам достаточно следовать их главным идеям. Исходить из них в борьбе за независимость, свободу и процветание наших отечеств. В этом духе я и составляю проект договора, который мы должны завтра подписать.

К купели со святой водой движется длинная чередя родителей, принесших своих законных и незаконных детей на обряд крещения, в котором генерал Бельграно играет роль общего крестного отца. Его всем миром умоляли об этом, с присущей ему добротой он сдался на просьбы, и вот через его руки проходят тысячи младенцев, которых святая вода превращает в крестников, а их отцов и (или) матерей в кумовьев генерала. Уже несколько часов он стоит у купели. Патриарх парагвайских церквей, собор, до того покосился, что напоминает Пизанскую башню и грозит вот-вот рухнуть. Сверху донизу в трещинах и щелях, здание зловеще скрипит, но бесстрашный Бельграно продолжает поднимать детей над круглым Иорданом. Первой

была новорожденная Мария де лос Анхелес. Хосе Томас Исаси и его супруга льют слезы умиления над своей дочкой, комочком плоти, копошащимся в кружевных простынках.

В театре, устроенном перед кабильдо, идет представление «Федры».

*В этот вечер ставили не «Федру», а «Танкреда», единственное произведение, которое в то время было известно в Парагвае. (Прим. сост.)*

Петрона Сабала в роли дочери критского царя и Пасифаи просто восхитительна. Можно подумать, что она и есть супруга Тезея, восплававшая преступной страстью к своему пасынку Иполито Санчесу. На сцене, где, терзаемая угрызениями совести, царица, взойдя на Венерину гору<sup>[220]</sup>, вешается на собственном девичьем поясе, правдоподобие граничит с галлюцинацией. Мы, сидя под апельсиновым деревом, смотрим с обрыва на это тонкое, длинное-длинное тело. На призрочно белую фигуру, колеблющуюся над черным зеркалом воды, озаренным пламенем факелов. На волосы, которые развеваются на ветру, закрывая лицо несчастной.

Четвертый перерыв тринадцатого заседания, устроенного по просьбе Эчеваррии, потного, раздраженного, с таким выражением лица, как будто ему неприятен даже запах мате, которым угощаются вокруг него. Председатель Хунты велел принести корзину с маисовыми лепешками. Все жадно едят и пьют. Слышно только чавканье и посасывание бомбилы. Чтобы прервать затянувшееся молчание, я опять начинаю говорить о том, как был заново отстроен Буэнос-Айрес, который теперь хочет поглотить парагвайцев. Эта тема всегда хороша. Так я по крайней мере избавляю присутствующих от глупостей моего родственничка Фульхенсио, пытающегося рассказать один из своих прескверных анекдотов. Это было в 1580 году. К тому времени город существовал лишь на географической карте — он исчез уже сорок лет назад. Давным-давно сгорели последние ранчо и травой поросли пепелища. Как много все мы выиграли бы, сеньоры, если бы там так и осталась пустошь! Но Асунсьону, плодovитой матери селений и городов, на роду написано вскармливать грудью поросят. Именно из Асунсьона вышли основатели нового Буэнос-Айреса. Губернатор Хуан де Гарай решил создать в Рио-де-ла-Плате порт, чтобы связать Испанию с Асунсьоном и Перу. Был объявлен набор добровольцев. Под звуки трубы и барабана глашатай приглашал всех желающих принять участие в походе. На призыв откликнулось 10 испанцев и 56 креолов. Они отправились на юг со своими семьями, скотом, семенами, земледельческими орудиями, надеждами. Гарай со своими спутниками спустился вниз по реке на корабле. Некоторые двинулись посуху, гоня 500 коров. Хорошее стадо, правда? Хорошая рассада. 11 июня 1580 года происходит второе рождение города-порта. Все совершается спокойно. Гармонично. Эпопея кончилась. Убивает зверя один, а подбивает мехом шубу другой. Не следует опускать церемонию закладки. Губернатор срезает траву и размахивает шпагой, как предписывает обычай. Нотариус Гарридо произносит торжественную речь. Добрый бискаец Гарай улыбается собственным мыслям. Его улыбка отражается на клинке шпаги. Видите, как расписывают летописцы. Теперь Буэнос-Айрес основан окончательно. Все как полагается. Кабильдо. Колонна. Крест. Пергамент с планом города. Почва здесь ровная, так что мудрить не приходилось, сказал Ларрета<sup>[221]</sup>. С севера на юг и с востока на запад проводят перпендикулярные улицы. Настоящая шашечница. Семнадцать кварталов вдоль реки, девять в глубину. Крепость. Три монастыря. Главная площадь. Госпиталь. Земельные участки для чакр жителей. И вот город уже ползает на четвереньках, уже начинает говорить. Об этом можно

рассказывать без конца. Среди пятидесяти парагвайских креолов была одна девушка, Ана Диас. Адвокатишка шумно всасывает мате через бомбилью и издает смешок. Над чем вы смеетесь, сеньор юрисконсульт? Ни над чем, сеньор первый алькальд. Ваш рассказ о втором рождении города больше двухсот лет назад напомнил мне о почести, которую недавно отдали этой женщине, Ане Диас, парагвайские дамы, проживающие в Буэнос-Айресе. Это было прекрасное завершение истории его основания! Расскажите нам про это, доктор Эчеваррия, говорит Фульхенсио Йегрос. Эчеваррия не спешит. Потягивает из бомбильи, пока мате не остается только на доньшке. Так вот, наконец говорит адвокатишка, чествование Аны Диас парагвайскими дамами окончилось неожиданным образом. Нет, нет! — протестуют члены Хунты. Начните с самого начала! Тут и рассказывать нечего, просто парагвайские дамы с раннего утра, еще до восхода солнца, принялись искать участок земли, который Хуан де Гарай отвел Ане Диас как участнице основания города. Они хотели отдать ей почесть в тот самый час, когда предположительно Гарай взмахами шпаги отметил знаменательное событие. Около ста знатных дам с утра до вечера скитались среди вилл, солилен, харчевен, пустошей, белесых от стлавшегося тумана, в поисках призрачного участка парагвайки, не страшась холодного ветра, дувшего с устья реки. К вечеру они добрались до места, которое, судя по имевшемуся у них неясному плану, соответствовало искомому участку. Там находился убогий домишко, не то скит, не то солильня, не то кабачок. Одна из дам, моя добрая знакомая, по каковой причине я не назову ее имени, взобралась на кучу отбросов и начала подходящую к случаю речь. Ее ежеминутно прерывали мужчины всякого пошиба, которые входили в заведение, встречаясь с выходящими оттуда пьяными гуляками. Когда моя знакомая дама, произносившая речь, трижды торжественно возгласила имя Аны Диас, в дверях показалась полуодетая женщина. Я здесь, чего вам нужно, дамочки? — спросила она хриплым голосом. Дом Аны Диас, ответила дама. Мы пришли почтить ее память. Я и есть Ана Диас. Это мой дом, и сегодня как раз мой день рождения, так что, если желаете, заходите. Дамы пришли в ужас. Тогда подождите минуточку, сейчас я позову моих приятелей и прихожан, пусть они тоже позабавятся. Вы уже, наверное, догадались, о каком заведении идет речь. Это был самый обыкновенный храм Эроса, счел своим долгом пояснить адвокатишка, хотя это было и без того яснее ясного. Показалась горланящая толпа, с сотню мужчин и женщин, включая музыкантов с инструментами. Дамы снова справились с планом. Сомнений не было. Участок был тот самый; игривый случай поместил сюда другую Ану Диас. Как бы то ни было, моя знакомая с новым пылом продолжила свою речь. Она была так красноречива и взволнована или смущена, что вскоре матроны и девки, обнявшись, плакали в три ручья, а музыканты сопровождали мажорными аккордами эту церемонию невиданного и неповторимого женского братания. Буэнос-айресский адвокатишка, как всегда, наврал. Пустил в ход грубую выдумку. Гнусную инсинуацию. Все для того, чтобы вызвать меня на спор и таким образом отсрочить заключение договора — шах и мат, уже маячивший в парах мате. Мое расследование этого факта даже в отдаленной степени не подтвердило его. На земельном участке, который Гарай отвел Ане Диас, находится вовсе не храм Эроса, а самая обыкновенная шорная мастерская.

Вечером ко мне пришел председатель Хунты спросить, не следует ли отложить подписание договора ввиду внезапного паралича обеих рук, случившегося с Эчеваррией. Понимаете ли, свояк, если договор не подпишут оба уполномоченных, буэнос-айресская Хунта может потом оставить нас с носом, заявив, что он



недействителен, не имеет силы, лепечет Фульхенсио Йегрос. Вот что, свояк, мы назначили подписание договора на завтра, 12 октября, День расы. Завтра он и будет подписан. Подтвердите это остальным членам правительства. Вы уже составили договор, свояк? От начала до конца. Он уже переписан начисто. Это окончательный текст. В него не будет внесено никаких поправок. Можем мы прочесть его? Не трудитесь, завтра услышите. Предоставьте это мне. Займитесь парадом. Когда заиграют зорю, все должно быть готово, с тем чтобы, закончив переговоры церемонией подписания договора, мы могли проводить наших гостей со всеми почестями. Сделайте одолжение, немедленно пошлите за Ла'о-Ксимо, знахарем из Ламбаре. И пусть он сразу придет ко мне.

Эчеваррия скрепя сердце согласился вытянуть руки и положить их на циновку, отвернувшись к стене. Сжатые кулаки выделяются на альфе<sup>[222]</sup> в пятнах засохшей крови. Ла'о-Ксимо, худой, как скелет, но сильный, как бык, уже немало времени старается их разжать, однако сведенные судорогой руки не поддаются, окоченелые, как у мертвеца. Растирание, массаж, удары, способные расколоть кусок мрамора, — все бесполезно. Гладкий череп Ла'о-Ксимо блестит при свете свечей, мокрый от пота, который струйкой стекает по косичке на жилистую шею. Он оборачивается ко мне: сеньор, это просто апава, иначе говоря, паралич. Но куручи, то есть узел, не в руках. Он в какой-то точке мозга. Есть точки, в которых узел уже нельзя развязать. Но у этого человека еще можно; мешает то, что он не хочет. Ну вот, ты тоже толкуешь о точках. Да, сеньор, есть точка, в которой все дело. Сейчас узнаю, где она. Я немножко обожгу ее, и руки раскроются, как листочки разворачиваются. Он тщательно, пору за порой, осмотрел и обнюхал кулаки. Вдруг остановился на точке параграфов, статей, заковык. На огоньке свечи размягчил смесь полыни, росного ладана и ликидамбара. Скатал два шарика. Один втиснул между большим и указательным пальцами правой руки, другой придавил к пясти левой. Зажег веточку ладанника и поднес ее к нашлапкам. Через минуту они растопились и улетучились в виде дыма, испарения, запаха. Руки мало-помалу раскрылись, как бы медленно оживая. К пальцам постепенно вернулась подвижность. Все в порядке, сеньор, говорит Ла'о-Ксимо. Эчеваррия мрачно смотрит на свои руки; подозревает, что ему подменили их. Невольно шевелит пальцами. Собирая свои микстуры, иглы, палочки, циновку, Ла'о-Ксимо говорит мне на диалекте пайагуа: он хотел оставаться больным и вылечился против желания по воле святой Либрады и Великого Праотца Ла'о-Ксе, который связывает и развязывает. Когда он выходил, я бросил ему монету. Ла'о-Ксимо поймал на лету серебряный колибри и спрятал его в свой гуайяка<sup>[223]</sup>. Будьте поосторожнее, сеньор! У этого чужестранца языкастые руки! Не беспокойся. Ступай. Его фигура исчезла за углом.

Новое торжественное собрание Хунты и Кабильдо. Я спокойно и размеренно читаю договор. Подчеркиваю голосом наиболее важные места, на несколько децибеллов повышая громкость. Статья первая: учитывая, что Парагвай крайне нуждается в финансовых средствах, чтобы в интересах своей безопасности сохранять реальную и внушающую уважение силу и противостоять проидам внешних и внутренних врагов, принадлежавший короне табак, имеющийся в провинции, будет продан самим Парагваем, а доход от его продажи употреблен на указанные и им подобные нужды. Статья вторая: сиса и арбитрио<sup>[224]</sup> с каждого терсио йербы, вывозимой из Парагвая, которые прежде выплачивались в Буэнос-Айресе, впредь будут взиматься в Асунсьоне и расходоваться строго по назначению, указанному в

предыдущей статье. Статья третья: право взыскания алькабалы будет осуществляться на месте продажи товаров. Статья четвертая: часть Канделарии, расположенная на левом берегу Параны, объявляется входящей в пределы Парагвая. Статья пятая: поскольку Парагвай сохраняет независимость, Хунта Буэнос-Айреса не будет чинить препятствий выполнению дальнейших решений, принимаемых Правительственной Хунтой Парагвая, в Соответствии с провозглашенным в настоящем договоре желанием обеих сторон укреплять тесные узы, которые их связывают и должны привести к их объединению в федерацию. Договаривающиеся стороны обязуются не только поддерживать между собой искреннюю, прочную и вечную дружбу, но и всеми средствами, насколько каждой из них позволяют обстоятельства, оказывать взаимную помощь и содействие всякий раз, как того потребует священная цель сокрушить и уничтожить любого врага, который вознамерится противодействовать нашему правому делу и нашей общей свободе.

Чтение заканчивается под громкие аплодисменты. Дискуссии больше не возникают. Мы все подходим подписать папирус-партитуру нашего дуэта, при исполнении которого не должна прозвучать ни одна фальшивая нота. Каждый хочет быть первым. Мне пришлось притащить Эчеваррию из отведенного ему жилища. Он продолжает уверять, что его руки не его руки. Ну же! Поторапливайтесь! Это ваши руки, чьи же еще! Да перестаньте вы!.. Я тяну его за рукав. Толкаю. Тащу на буксире этот баркас, тяжелый от груза криводушия. Волоку его через площадь, заполненную лошадьми. Он видит, как Бельграно с удовлетворением ставит свою подпись; ему не остается ничего другого, как тоже подписать. Все очень довольны. Уполномоченные — тем, что добились пусть не вожделенного объединения, но тесного союза. Военные из Хунты — тем, что достигли соглашения с портеньо. Я — тем, что предотвратил господство Буэнос-Айреса. Тацит Платы впоследствии сурово упрекнет в своей летописи уполномоченных за то, что они уступили всем требованиям Парагвая и согласились на союз в форме федерации, не получив взамен ни малейшего преимущества. Каждый по-своему с ума сходит, и каждый мелет свое. К черту Тацита! Пусть себе ворчит, зато мы веселимся! Снова раздаются крики: «Да здравствует святая федерация!» Овации. Аплодисменты. Даже Эчеваррия — загребущие руки — принимается хлопать. Гром аплодисментов сливается с топотом кавалерии.

С трибуны, сооруженной на Пласа-де-Армас, мы смотрим на парад. Две с половиной тысячи всадников, участвовавших в сражениях при Парагуари и на Такуари, дефилируют, отпустив поводья, в боевом строю.

С опущенным оружием в честь Бельграно, который улыбается, тронутый этой посмертной почестью, воздаваемой ему при жизни. Фульхенсио Йегрос и Педро Хуан Кавальеро, то есть половина Хунты, возглавляют парад. Гремит оркестр. Потом сомкнутый строй рассыпается. Разыгрываются атаки, налеты, рукопашные. Кажется, будто лошади и всадники делятся надвое, а чуть подалее половина всадника снова соединяется с половиной коня, образуя кентавра. Каждый в отдельности изощряется в вольтижировке, но при этом не теряется общая слаженность, делающая эту эквилибристику похожей на балет. Два солдата на одной полудикой, необъезженной лошади несутся галопом, вдруг соскакивают на разные стороны, делают сальто и ножницы и снова садятся верхом, поменявшись местами. Десять всадников, стоя, едут друг за другом вперемежку на оседланных и неоседланных лошадях. Спешиваются, бегут рядом с лошадьми. Оседланных на бегу расседлывают. Бросают вверх седла. В

мгновение ока все опять оказываются на лошадях, но теперь те, кто ехали на неоседланных, едут на оседланных. Всадники бросают на сто вар перед собой копья и, зацепившись одной ногой за стремя, свешиваются с лошадей и подбирают их с земли. Я не думаю, генерал, чтобы в какой-нибудь стране нашлись наездники, превосходящие парагвайских в искусстве эквилибристики. Действительно, сеньор первый алькальд, удивительная вольтижировка! Да, неплохо, бормочет Эчеваррия, но в провинции Буэнос-Айрес я видел такие скачки и конские состязания, которые поразили бы вас, сеньор первый алькальд. В Терсиос-де-Мигелетес есть гаучо, умеющие без помощи рук, одними зубами заседлывать своих фрисландских лошадей. Некоторые показывают такой трюк: скачут во весь опор на двух лошадях сразу — одна нога на одном, другая на другом седле, — держа на руках человека; подразумевается, что это раненый товарищ, которого выносят из боя. А еще один гаучо, опираясь на спину первого, стреляет из аркебуза или арбалета, прикрывая отход. Я знал одного наездника из Брагадо, который заставлял своего скакуна проделывать всевозможные курбеты и танцевать всякие танцы. Он зажимал между седельными подушками и коленями, между стременами и большими пальцами ног серебряные монетки, и они у него никогда не падали, держались, точно пришитые, крепче тех, что на кожаном поясе. Секретарь уже жестикулирует; его дряблые руки мелькают перед глазами, словно длинные языки, которые он пускает пастись на лугу показной эрудиции. Кто может его остановить! Мне вспомнилось предупреждение Ла'о-Ксимо. Эчеваррия все громче кричит, стараясь перекрыть шум: в Индии самым почетным считалось ездить на слоне, а не на плебейской лошади. Менее почетным — на колеснице, запряженной большерогими быками. Еще менее — на верблюде. Наименьшей честью, если не бесчестьем, было ездить в повозке, запряженной одной-единственной клячей. Один современный писатель пишет, что он видел в этой стране древнейшей культуры, как добрые люди едут верхом на быках с седлами, стременами и уздечками, и добавляет, что они этим очень кичатся. Если уж зашла речь об этом, напомним вам, уважаемый Эчеваррия, что Квинт Фабий Максим Рутилий<sup>[225]</sup> во время войны с самнитами, видя, что его конные воины тремя или четырьмя атаками почти разбили противника, приказал им отпустить поводья и изо всей силы пришпорить лошадей, чтобы их не могло удержать никакое препятствие, и таким образом проложить сквозь ряды лежавших на земле неприятельских воинов дорогу своей пехоте, которая и довершила кровавый разгром. Той же тактики придерживался Квинт Фульфий Флакк<sup>[226]</sup> в войне против кельтиберов. *Ib cum majore vi equorum facietis, si effraenatos in hostes equos immititis; quod saepe romanos equites cum laude fecisse sua, memoriae proditum est... Detractisque fraenis, bis ultro citroque cum magna strage hostium, infractis omnibus hastis, transcurreunt*, как описывает Тит Ливий.

*Чтобы натиск был стремительнее, отпустите поводья ваших лошадей. Этот прием не раз применялся римской конницей и приносил ей славу... Едва услышав приказ, они разнуздывают своих лошадей, врезаются во вражеский строй, ломают все копья, поворачивают назад и довершают ужасное избиение (лат.).*

*Этот отрывок из Тита Ливия приводится в «Руководстве по боевым действиям кавалерии» — одном из многих сочинений по стратегии и тактике, собственноручно написанных Верховным. (Прим. сост.)*

Примерно то же самое, уважаемый доктор, произошло при Горе Портеньо и на Такуари. Уклоняясь от разговора об этом, Эчеваррия переменял тему: в старину, когда татары присылали послов к князю Московии, ему приходилось выполнять

следующую церемонию: он пеший выходил им навстречу и подносил чашу кобыльего молока. Если, когда они пили, капля молока падала на гриву коня, князь должен был слизнуть ее языком. Вот видите, как вам повезло, уважаемый Эчеваррия: ведь вам еще не пришлось лизать гривы коней победителей. Но ведь и вы, сеньор первый алькальд, не предложили нам кобыльего молока, которое князь Московии подносил иностранцам. Как же, предложил, сеньор секретарь, предложил, и вы половину выпили, а половину пролили на гривы лошадей Хунты. Произошло то же, что случилось с Крезом, когда он проезжал через город Сарды. Ему повстречался луг, кишевший змеями. Его кони стали с жадностью пожирать их, что было дурным предзнаменованием для его предприятий. Как рассказывает Геродот Галикарнасский, почти все кони остались без передней или задней ноги. А мы называем целым конем такого, у которого в целости не только грива и уши, но и все остальные члены, не говоря уже о детородном члене. Прочие кони лишь наполовину кони, а выхолощенные вообще не кони. Посмотрите, посмотрите только! — воскликнул Бельграно, предотвращая новую глупость, которую неминуемо изрек бы Эчеваррия. Зрелище было действительно фантазмагорическое. Разрывается полог ослепительной темноты, которая исходит от огненного полуденного солнца. От грозного топота дрожит земля: вздымая вихри пыли, мчатся во весь опор две с половиной тысячи лошадей. Одних лошадей. Оседланных и неоседланных. Всадников не видно. Стремительно надвигается плотная масса. Конская лавина. Взмыленные лошади с копьями в зубах неудержимо проносятся мимо трибуны. Когда наконец глаза привыкают к этой ирреальной атаке, мало-помалу становятся различимы на крестцах неоседланных лошадей и в пустых, как казалось издали, седлах крохотные, не больше человеческой ступни, всадники: на самом деле это и есть скрещенные, сцепленные ступни каждого всадника. Видите, Эчеваррия! В этом и крылась тайна битвы на Такуари. Как можно было стрелять в этих несчастных животных, которые, казалось, попросту ошалели! Кому могло прийти в голову, что эти крестообразные выступы — парагвайские всадники, скакавшие вниз головой! Когда мы это поняли, они уже были верхом и крошили нас мачете и копьями. Никогда бы нам этого не знать, генерал! — пробормотал Эчеваррия, кусая ногти.

Три тени. Молчание. Тройное молчание в полутьме кабинета. Нельзя сказать, чтобы они хорошо выглядели. Единственное средство хорошо выглядеть — это мириться со всеми неприятностями. Извините, благородные сеньоры. Ваши милости, наверное, устали от всего этого балагурства. Прошу вас, забудьте о нем. Помните нужно о благе наших стран. Мы должны поразмыслить над тем, о чем мы договорились. Взвесить все значение нашего справедливого договора. Добиться его выполнения. Это главное. Добиться выполнения того, что сказано, занесено в договор, подписано. Вы должны сделать это в вашей стране через посредство своего правительства при поддержке суверенного народа, представленного в ваших почтенных законодательных ассамблеях. Я со своей стороны сделаю здесь то же самое. Лучше сказать, считайте, что это уже сделано, поскольку моя воля представляет и выражает непреклонную волю свободного, независимого и суверенного народа.

Две тени не отвечают. Сквозь них пролетает синяя муха. Вы здесь, сеньоры, или нет? Да, сеньор первый алькальд, мы здесь, говорит Висенте Анастасио Эчеваррия, откидываясь на спинку кресла. Я встаю. Снимаю со стены гравюру: портрет Бенджамена Франклина. Буэнос-айресский крючок мрачно смотрит на изобретателя

громоотвода. Мануэль Бельграно раскрывает глаза. Перед вами, друзья мои, первый демократ Нового Света. Образец, которому мы должны подражать. Быть может, лет через сорок в наших странах будут подобные ему люди. Конечно, при условии, что в великой северной стране будут по-прежнему рождаться такие люди, как Франклин. Тогда мы сможем в будущем пользоваться свободой, к которой пока еще не подготовлены. Может случиться, к несчастью, что в Северной Америке больше не появятся люди того же закала, как изобретатель громоотвода, и что в наших странах гром анархии разразит наших лучших людей. Может случиться, что там изобретут Великую Гарроту<sup>[227]</sup>, а здесь мы все перемрем от крупа, сибирской язвы и клеща, как наш скот. Мы должны остерегаться попасть в руки новых хозяев, которые будут сдирать с нас шкуру. Эчеваррия поднял руку с крючковатыми пальцами. Вы не очень-то оптимистичны, сеньор первый алькальд. Напротив, доктор, возразил я. Я в высшей степени оптимистичен, но не беспамятен. Минимум памяти необходим для человеческого существования. Утрата этой способности влечет за собой идиотизм, и мы здесь, в Парагвае, пьем не отвар кардамона, заменяющий черный кофе забывчивым берберам, а настой йербы-мате, который помогает сохранять память и удерживать в памяти дурное и хорошее. Мы много раз видели лицо несчастья. Теперь мы хотим увидеть и видеть всегда лицо счастья, даже если, к несчастью, нам придется за это заплатить дорогой ценой. Таким образом, вы видите, что я несомненный оптимист. Подлинный оптимизм рождается из жертвы. Жертвы, свободной от всякого эгоистического расчета, вы понимаете? Тот, кто жертвует собой, бесповоротно отдает себя, но погибает всегда тот, кто жертвует другим. Запомните это, доктор Эчеваррия. Франклин это знал. Как скупец бережет каждый грош, так этот великий мечтатель берег для благородного дела всю свою энергию и сохранял ради него строжайшую дисциплину. Он был исполнен веры, доверия, человеколюбия, надежды. Он хотел быть равным среди равных, генерал, вы понимаете? Бельграно плохо слушал меня, поглощенный своими мыслями. Старина Бенджамен был оптимист даже в отношении смерти, сказал я. В возрасте двадцати трех лет он уже составил свою эпитафию. Она записана у меня на оборотной стороне гравюры. Прочтите ее, доктор. Буквоед пролепетал:

Здесь покоится, став пищей червей,  
тело Бенджамена Франклина,  
как обложка старой, растрепанной книги.

Но произведение не погибнет,  
ибо, как он надеется, ему суждено  
опять появиться в новом издании,  
пересмотренном и исправленном  
Автором.

Вот бы каждому из нас составить себе эпитафию в таких простых и мудрых словах, правда? Хотя, если бы мне надо было написать свою, я обошелся бы двумя словами:

Мне хорошо.

Генерал Бельграно улыбнулся. Я вручил ему портрет, который он принял с явным волнением. Медная проволочка-проводник от крошечного громоотвода, укрепленного на верху гравюры, зацепилась за ноги адвоката. Эчеваррия запутался в ней и упал. Он поднялся, чуть не обуглившись от ярости. Не в силах вымолвить ничего, кроме

междометий. Я сунул ему в руки, цепкие, как паучьи лапки, рукопись ин-фолио — историю Парагвая. Возьмите ее на память. Если хотите, отдайте ее отпечатать, только не сокращайте. Ее содержание и без того гораздо беднее действительности этой страны. А тем более ее будущего. Если только мы сумеем оберечь его от грозы.

Длинноволосый Бенджамен на груди генерала подмигнул мне. Я поднял глаза на лицо Бельграно. Увидел на нем мрачную тень грядущих бедствий. Предвестие страданий и крови. Услышал гром, приглушенный адской скачкой, от которой дрожит американская земля. Глумление над побежденным. Голоса свидетелей, соскальзывающих в лжесвидетельства. Я видел самого себя. Даже если бы тебе было суждено прожить три тысячи лет или в десять раз больше, ничто не изменилось бы: никому не дано прожить другую жизнь, кроме той, которую он теряет. Самый долгий срок равен самому краткому. Настоящее принадлежит всем. Никто не теряет прошлое или будущее, потому что ни у кого нельзя отнять то, чего у него нет. Вот почему, старина Марк Аврелий, как ты выражаешься, мы всегда застегиваемся в чужом доме в неподходящий час. Ставлю мой последний коренной зуб против лопаты могильщика, что вечности не существует. Что, и этого мало? Тогда ставлю фальшивую половину своего черепа. Не шутите делом! Ладно, успокойся. Я легко возбуждаюсь, когда дело касается проклятых вопросов, будь они прокляты!

Генерал Бельграно пристально смотрит на меня своими ясными глазами. Покачивает головой. Не без сокрушения. Подходит ко мне. Мы молча пожимаем друг другу руку.

Едва вернувшись в Буэнос-Айрес, адвокат Висенте Анастасио Эчеваррия негласно повел переговоры с членами Хунты относительно продажи типографии «Приют подкидышей», в то время единственной на побережье. В ней было напечатано первое американское издание «Общественного договора» в переводе Мариано Морено. Но это не остановило мошенника адвоката. Мало того, он еще предложил чуть ли не с торгов распродать библиотеку самого Морено. Мои подозрения подтвердились: вот о чем секретничал этот прохвост с членами Хунты, вот почему он так торопился вернуться в свою страну.

Мой бывший зять Лариос Гальван, секретарь Хунты, пишет ему: мы, конечно, согласны приобрести типографию за условленную сумму в 1800 песо. Благоволите сообщить, требуются ли от нас какие-либо дополнительные затраты и будет ли печатная машина доставлена вместе со всеми необходимыми принадлежностями. Благоволите также, Ваша милость, взять на себя труд прислать нам описание библиотеки покойного доктора дона Мариано Морено с указанием стоимости книг. Мы охотно купим те из них, в которых трактуются вопросы права, политики, изящных искусств, а также редкие книги, высоко ценимые библиофилами, и в особенности представляющие большую материальную ценность из-за своих переплетов, украшенных драгоценными металлами, слоновой костью и тому подобными материалами. За ценой мы не постоим.

Узнав об этом заговоре, я прервал переговоры. Как синдик-генеральный прокурор, я был обязан воспрепятствовать этой сделке. Я и воспрепятствовал ей. Расстроил я и другую, относительно книг дона Мариано, которому уже не суждено было их читать. Я продиктовал мошеннику Лариосу Гальвано отказ от этой аферы, пахнувшей подкупом: пока мы воздержимся от приобретения типографии и книг, поскольку располагаем собственными источниками просвещения и не нуждаемся ни в большем, ни в лучшем.

Фанфароны из Хунты и ареопагиты из Двадцати семейств завопили, что это большая потеря для культуры нашей страны. Это потеря для ваших кошельков, которые вы рассчитывали набить с помощью новой плутни! — бросил я им в лицо. Пока у меня есть силы и насколько хватит сил, я не допущу, чтобы обкрадывали государство. Новая метла чисто метет, и я подмел пол новой метлой. А там, где чисто выметено, курам нечего клевать. Но эти негодяи придумали кое-что похуже. Лишившись «Приюта подкидышей», они основали притон игроков. Из останков бревенчатой типографии, существовавшей в иезуитских редукциях, они изловчились соорудить подпольную печатню, выпускающую игральные карты. Из селения Лорето, где они были погребены, привезли руины осадной машины, превратившей в руины индейскую цивилизацию. Из Буэнос-Айреса вызвали типографа Апулейо Перрофе. Очень скоро начали тайно выходить и распространяться образцы его искусства. Они наводнили всю страну, которая из-за этого осталась без книг, без календарей, без молитвенников. Апулейо пустил в дело даже дела из архивов Хунты.

Перрофе почти достиг совершенства в своем ремесле. Самые заядлые игроки того времени не могли отличить его карты от привозных ни с лица, ни с рубашки, как не отличишь яйцо от яйца. Различие само собой вкрадывается в создания человеческих рук. Ни одно искусство не может достичь абсолютного сходства. Сходство всегда уступает различию. Сама природа как бы вменила себе в обязанность никогда не повторяться. А вот изделия Перрофе были одновременно одинаковы и различны. Он так тщательно отбеливал и лощил бумагу, из которой делал карты, и так искусно раскрашивал рубашку и фигуры, что самый опытный игрок, видя, как их тасуют его противники в руэдо, никогда не подозревал, что дело нечисто. Меня самого вводили в заблуждение колоды Апулейо. С таким же совершенством он отпечатал, украсив миниатюрами, молитвенник епископа Панеса, который после его смерти перешел в собственность государства; вот он, среди моих редких книг. Да, действительно, редкостная книга, сеньор, в последний раз, когда я ее видел, она была уже совершенно белая. Это нередко случается, Патиньо, нет ничего странного в том, что книги тоже седеют. Тем более часословы. Буквы изнашиваются, стираются, исчезают. С книгами происходит то же самое, что с ртутью. Ты ведь знаешь, когда ее месят, толкут, дробят, она распадается на ускользящие капельки. Так и во всем. Тонкие подразделения лишь умножают трудности. Увеличивают сомнения и разногласия. Все, что без конца разделяют и подразделяют, становится смутным и рассыпается в пыль. Этим и пользовался проклятый Апулейо Перрофе. Только после долгих лет дознания и слежки правительство смогло наложить руку на подпольную типографию. Я словно сейчас вижу, сеньор, как палач пинком вышибает скамейку из-под ног Перрофе с петлею на шее. Это был толстый, круглый, как шар, человек, и, когда он качался в воздухе, казалось, на нем вот-вот лопнет его попугайски пестрая одежда. Но под порывами ветра, который мел по площади, повешенный тощак на глазах. Из-под одежды разлетались и разлетались карты, и скоро они заполнили весь город. В первую минуту людям почудилось, что это сто тысяч бабочек, которых выпускают в честь Вашего Превосходительства в день вашего рождения. Но, не слыша ни орудийных залпов, ни грома ста военных оркестров, ни крика негров-балаганщиков, народ отдал себе отчет в том, что это не День поклонения волхвов. Казнь преступника, волхвовавшего над колодами карт, окончилась. Труп сняли с виселицы. От Апулейо Перрофе осталось только его платье, из которого, как из прорвавшегося мешка, высыпалось множество колод, гравюрок с ликами святых и картинок с

изображением голых женщин. Но несмотря на эту казнь, несмотря на то, что силы безопасности усилили бдительность и приняли чрезвычайные меры, с тех пор, Ваше Высокопревосходительство, в Асунсьоне, во всех городках, селениях, деревушках, гарнизонах, пограничных заставах стали играть больше, чем когда бы то ни было. Даже в последней караульне и в самой жалкой лачуге в стране, даже в становищах индейцев играют, сеньор. Напрасно городские стражники разгоняют игроков. Не успевают они уйти, те как ни в чем не бывало снова тасуют колоду. Да и сами стражники заходят в игорные дома. Однажды, еще до того, как министр Бенитес впал в немилость, он, беседуя со мной, сказал, что, будь он высшим должностным лицом в государстве, он не запретил бы карточную игру и не отправил бы Перрофе на виселицу. Будь я Верховным, сказал он мне, я бы легализовал игру и назначил Перрофе начальником государственного управления игорных заведений. Я бы всю страну превратил в игорный дом и покрыл ее сетью агентств по взысканию налога на игру и их филиалов, которые можно было бы разместить даже в цирюльнях. Этот налог приносил бы больше дохода, чем все государственные чакры и эстанции, вместе взятые; больше, чем алькабала, десятина, акциз, натуральная подать; больше, чем военный налог, гербовый сбор, таможенные пошлины; налог на игру, сказал бывший Бенитес, давал бы огромные поступления в государственное казначейство, способствуя благосостоянию и счастью народа. Он обратил бы всеобщий порок в высшую гражданскую добродетель и питал бы многие полезные для общества начинания, сделав язву азартной игры самым чистым источником национальных сбережений. Страсть к игре, все более воодушевляясь, сказал бывший министр, — это единственная страсть, никогда не угасающая в сердце человека. Она не то что огонь, детище двух кусков дерева, которое, едва родившись, пожирает отца и мать, как это бывает в племенах, где его добывают трением; и не то что огонь, рождающийся от трута и огнива или от палочки с фосфорной головкой, как это происходит у белых; не то что огонь, который служит для того, чтобы варить похлебку, чтобы сжигать жнивье для удобрения поля, чтобы сжигать лес, расчищая землю для пашни... А также для того, Патиньо, чтобы сжечь наши трупы, как нам угрожают в пасквиле. Ах да, Ваше Превосходительство, это ускользнуло от Бенитеса! Но мы не ускользнем от огня, Патиньо. От того, что сейчас ты чихаешь и чихаешь, костер, в который нас бросят потом, не погаснет. Простите, Ваше Высокопревосходительство, не могу удержаться. Должно быть, это к дождю. Тем более сейчас август, самый дождливый и простудный месяц. А Бенитес добавил, сеньор, что не следовало бы запрещать ни огонь, ни игру. Они сами по себе и полезны, и запретны. Первое, что мы узнаем об огне, — это что к нему нельзя прикасаться. Последнее — что он служит для приготовления пищи. Только к картам можно и нужно прикасаться, сказал бывший министр Бенитес, и игра полезнее огня, потому что дает деньги бедняку. Значит, ее нельзя запрещать. Это было бы жестокостью...

*(Заметка на полях)*

Этот идиот в чем-то прав. Наше первое знакомство с огнем порождает общественный запрет. В этом истинная основа почитания огня. Если ребенок подносит руку к огню, отец бьет его по пальцам. Огонь делает то же по-своему. Его способ наказать состоит в том, чтобы сказать: я обжигаю. Вопрос, который требует решения, — это вопрос о намеренном неповиновении... (Остаток листа сожжен.)

Игру не следовало бы запрещать, сказал Бенитес, Ваше Превосходительство. Страсть к игре — единственная страсть, не угасающая в сердце человека, повторил



он. Нужда только разжигает ее, как ветер раздувает пламя. Если оставить в стороне последнюю фразу, которую ты, конечно, где-то вычитал, не тебе ли принадлежит эта маленькая речь в защиту игры? Ведь ты тоже не прочь перекинуться в картишки. Ёй-богу, нет, Ваше Превосходительство! Прикажите отрезать мне язык, зашить рот, если вру!

Идея бывшего министра Бенитеса о налоге на игру — шулерская мысль. Другие правители шулерски сделали из своих стран настоящие притоны, где людей обкрадывают, заманивают в ловушки, убивают.

Здесь, в Парагвае, победили не они, а я. Я уничтожил преимущество, которое имели эти шулера, противопоставив им свое собственное преимущество, которое состояло в том, что я распознал в них жалких шулеров. Я знаю все крапленые карты, которыми они играют. Знаю, из каких книг они понаделаны. Слышу, как ползут эти червовые черви, эти червивые червы. Но у меня на руках четыре туза. Туз крестей — мой добровольный крест, моя власть. Туз червей — червонное золото в сундуках казначейства. Туз бубен — бубновый туз на спинах преступников. Туз пик — пики, на которые насаживают головы предателей. Вот какими картами я играю в труко. И без всяких трюков хладнокровно делаю ставки и срываю банк. В конце концов темные махинации Эчеваррии кое-что прояснили, и я вывел на чистую воду тех, кто пытался ловить рыбу в мутной воде.

Возвращаюсь к Корреа да Камаре. На этом же месте пятнадцать лет спустя я сижу с Мануэлом, но мы присутствуем на представлении «Гаспарины», а не «Танкреда». Эту пьесу написал и поставил мой офицер связи Кантеро, которого я приставил к имперскому уполномоченному в качестве адъютанта, с тем чтобы на этой должности он служил не столько ему, сколько мне. Перед зрителем уже не подвиги Танкреда, а сценическое выражение нашего кредо. Гаспарина — женщина во фригийском колпаке, которая, по замыслу автора, представляет меня и республику. Ее воплощает не Петрона Савала, а девушка пайагуа со скульптурными формами, которая появляется на сцене, прикрытая лишь ресницами, татуировкой и пестрой раскраской, придающей ее лицу вид маски. Корреа да Камара рассыпается в похвалах пьесе. Но я знаю, что на самом деле они относятся к индианке-актрисе. Он, как замороженный, не сводит с нее глаз. Пожирает ее взглядом, затуманенным от желания. Республика выходит на середину сцены, где ее должен короновать Великий Волшебник в треуголке и сюртуке. С весами в одной руке и шпагой в другой Республика останавливается у подножия пальмового трона, напротив которого стоит на задних лапах внушительных размеров бутафорский лев. Республика медленно, величаво поворачивается лицом к публике. Утверждается на ножницах ног. Ее срамные губы слегка раздвинуты. Лобок чисто выбрит. На нем играют блики. Фосфоресцирующие лучи, нарисованные ачиоте, уруку, тапакуло, орельяной<sup>[228]</sup>, превращают ее лоно в черное солнце. То же самое с ее ртом. Два фонаря поочередно освещают ее, и когда одна половина ее тела черная, другая серая, и наоборот. Корреа облизывается. По обыкновению щеголя своей ученостью и изысканностью выражений, восклицает: эта Женщина-пришедшая-из лесов ослепительна в своей первозданной наготе. В ней тождественны зримое и незримое. Она при каждом своем движении и даже когда притворяется абсолютно недвижимой предстает одновременно ночной и солнечной. В этом заключена глубокая тайна. Нерушимая тайна. Только в каком-то берберском серале я видел нечто подобное, Ваше Превосходительство. Эта женщина — комета, прорезавшая огненную борозду в космической тьме. Смотрите, смотрите! Она

раздваивается! Она недвижима, но вся в движении! Она раздваивается! В ее теле два тела, в ее лице два лица! Наш доморощенный драматург, сеньор консул, хотел представить в «Гаспарине» одновременно женщину в своем природном естестве и республику. Он этого достиг, Ваше Превосходительство, и я без колебаний заявляю, что он выше самого Расина! Глупейший разговор, но приходится терпеть. Уполномоченный обязался от имени Империи прислать нам ружья и пушки. Mais<sup>[229]</sup> поставки еще свет не видывал! Вот это важно. Только ради этого я и слушаю благоглупости разряженного эмиссара Рио-де-Жанейро. При упоминании об оружии у меня текут слюнки, а ведь слюну надо беречь: она не только очищает и заживляет раны, mais<sup>[230]</sup> убивает змей, как я говорю макаке, передразнивая его. Пока Корреа пожирает глазами обнаженную Женщину-пришедшую-из-лесов во фригийском колпаке, пока поклонник муз пускает рулады на своих восторженных фразах, я смотрю на левый уголок его рта: только там его губы, справа неподвижные и сомкнутые, шевелятся и произносят знакомые слова наполовину по-испански, наполовину по-португальски. Это прием придворных лжецов, из которых берут имперских посланников. Благодаря долголетним упражнениям они научаются раздваивать губы и язык, произносить в одно и то же время разными голосами и с разными интонациями разные, как бы переплетающиеся фразы. Сейчас с левой стороны губы у Корреа задираются, как у лошади, обнажая зубы, что не мешает им с правой стороны оставаться бесстрастно сомкнутыми, причем слышатся и произнесенные, и, казалось бы, произнесенные фразы. Я знаю этот трюк. Я сам умею раздваивать язык. Изменять голос. Говорить с закрытым ртом. Для меня это детская забава. Я не уступлю этому имперскому уроду в искусстве чревоуговения. Он хочет убедить меня, что Империя предлагает Парагваю союз только для того, чтобы защитить его от козней Буэнос-Айреса. Он знает мое больное место; но и я знаю, где свербит у Империи. Она стремится к прямо противоположному: завладеть Бандой-Ориental, раздавить Плату. А под конец проглотить своего «союзника». Только л всего. Пустяк пустяком. Пусть его разевает рот в свое удовольствие. Как бы он сам не попал ко мне на крючок. Я ослабляю леску — не клюнет ли имперская золотая рыбка. А тем временем получаю копии всей его тайной переписки с английскими и французскими шпионами. Тогда я дергаю удочку. Тащу эмиссара к берегу моих требований и не отпускаю его до тех пор, пока он не заверяет меня, что они будут удовлетворены. А требования эти таковы: полное и безоговорочное признание независимости Парагвая. Возвращение захваченных территорий и городов. Возмещение убытков, причиненных набегами бандейры. Новый договор о границах, уничтожающий разграничительные линии, установленные буллой папы Борджиа<sup>[231]</sup> и договором в Тордесильяс<sup>[232]</sup>. Обмен оружия и боевых припасов на дерево и йербу.

Я прошу вас, сеньор консул, закрепить письменно все, что вы обещали. Я принимаю ваши слова так же, как если бы слышал их из уст самого вашего императора. Дело идет о чести империи. Гм, гм, гм. Ну конечно, совершенно правильно, Ваше Превосходительство! Você<sup>[233]</sup> получите mais grande do mundo<sup>[234]</sup> груз оружия! Что же, пусть прибывает поскорее, сказал я и добавил, передразнивая его: Que sabe faz a hora não espera acontecer. Os amores na mente as flores no chão. A certeza na frente, a história na mão<sup>[235]</sup>. Как? Как? Совершенно верно, Ваше Превосходительство! Совершенно верно! Когда прибывает груз, seor conselheiro<sup>[236]</sup>? Embora, embora, que esperar não é saber<sup>[237]</sup>, жужжу я ему в ухо. Совершенно верно! Голос консула переместился слева направо. Корреа всосал воздух и прищелкнул

языком. Кроме того, нам надо договориться о некоторых зыбких границах, seor консул. О водопадах. О плотинах. В особенности о плотинах, из-за которых мы можем впасть в полную зависимость ao gosto do imperio mais grande do mundo<sup>[238]</sup>. Гм. Гм. Гм. Тэк, тэк, тэк. Совершенно верно! — продолжал невнятно бормотать растерявшийся обманщик, подергивая губами в обоих уголках рта. И не забывайте больше должным образом именовать Республику и ее Верховное Правительство. Это не театр. То, о чем мы договоримся с Империей, должны скрепить не аплодисменты, а подписи, твердые, как прописи. Искренние и честные. Уважаемые повсюду, от одного горного хребта до другого. Совершенно верно, Ваше Превосходительство! Увидев, что посланец Империи наклоняется ко мне, чтобы что-то шепнуть на ухо, я поднял руку. Você хотите попросить меня, чтобы после представления я прислал в вашу резиденцию Женщину-пришедшую-из-лесов, не так ли? Вы желаете, чтобы она повторила для вас приватно сцену с ножницами, seor consulheiro? Вы гений, Сеньор Пожизненный Диктатор Республики Парагвай! Вы наделены чудесным даром угадывать мысли! Вы самый удивительный ясновидец! Это чистая телепатия! Но, мой дорогой телепат, вы же понимаете, что я не могу проституировать республику, посылая ее к вам в спальню. Нет, да Камара, это лакомство не про вас. Разве я могу просить вас о том, чтобы вы положили Империю ко мне в постель? Разумеется, нет. Это было бы, мягко выражаясь, нехорошо, правда, seor consulheiro? Совсем не beim<sup>[239]</sup>! Os amores na mente, as flores no chaо, верно? Вы совершенно правы, Ваше Превосходительство. Тогда, значит, продолжим нашу беседу в Доме Правительства, поскольку agora<sup>[240]</sup> представление окончено. Немного погодя ко мне входит министр Бенитес в украшенной перьями шляпе имперского посланца. Вы разве не знаете, мошенник, что ни от кого не должны принимать подарки? Немедленно верните, пугало огородное, эту дурацкую шляпу, которой вас хотели подкупить! А за вашу провинность налагаю на вас месячный арест.

На то самое место, где 12 октября 1811 года сидел Эчеваррия, глядя на парад и кусая ногти, я два года спустя сажаю третьего посланца портеньо, Николаса де Эрреру. Конгресс в составе тысячи с лишним депутатов без голосования, единодушным шумным одобрением выдвинутого предложения установил Консулат<sup>[241]</sup>. Я занимаю кресло Цезаря, Фульхенсио Йегрос — кресло Помпея. Мой свояк, бывший председатель Правительственной Хунты, теперь отодвигается на второе место после меня.

Формирующаяся в Буэнос-Айресе после падения Триумvirата Верховная исполнительная власть посылает к нам угрюмого Эрреру. Он прибывает в Асунсьон в мае — злосчастном месяце для портеньо. С тех пор он ждет, чтобы его приняли. Я распорядился держать его в складе таможни. Роскошное помещение этот барак для товаров, папахивающих контрабандой. Эррера, у которого пальцы унижены перстнями, в ярости от этой роскоши. Незадачливый посланник изливает злость в конфиденциальных посланиях своему правительству.

*«Меня водят за нос, прибегая к оттяжкам. Меня практически держат под арестом в складе таможни. Мне говорят, что я буду принят только после Конгресса, но никто не знает, когда созовут этот пресловутый Конгресс. Несомненно лишь одно: здесь портеньо ненавидят больше сарацинов. Если Конгресс откажется послать делегатов и объявит нам войну, половина провинции возьмется за оружие... Серое преосвященство этого правительства, все более тиранического и все более порабоощающего народ, стремится лишь выиграть время и без помехи*

*пользоваться преимуществами независимости. Этот человек, проникшийся максимами римской республики, смехотворным образом пытается перенять у нее образ правления. Он выказал невежество, непоследовательность и ненависть к Буэнос-Айресу. Он убедил парагвайцев, что провинция сама по себе государство, не имеющее себе равных; что Буэнос-Айрес ущемляет ее, потому что нуждается в ней; что под предлогом объединения он хочет поработить континент; что он насильственно вынудил народы послать своих представителей на ассамблею; что все наши преимущества — вымысел. И в его обхождении со мной сквозит даже враждебность, поскольку я так и не был признан посланцем Верховной исполнительной власти провинций Рио-де-ла-Платы и ко мне относятся лишь как к представителю Буэнос-Айреса; равным образом и за Вашим превосходительством не признают никакой власти за его пределами». (Памятная записка Николаса де Эрреры Верховной исполнительной власти, ноябрь 1813.)*

Теперь он сидит на той самой скамье, где сидел Эчеваррия. Еще одна безличная личность, олицетворяющая вероломство. Перед тем я разрешил ему присутствовать на Конгрессе и изложить свои притязания. Ему на все было сказано, нет, нет и нет. Я заявил ему, что Парагвай не нуждается в договорах, чтобы защитить свою свободу и сохранить братские отношения с другими государствами в соответствии с его естественными устремлениями и принципами. Через два месяца Эррера уедет восвояси с пустыми руками. Не добившись ни объединения, ни союза, ни договора. Только и получив пару новых башмаков и полосатое пончо, подаренные ему взамен одежды и обуви, которую он вконец истрепал, обивая пороги. Едва избежав взбучки, которую хотели задать ему граждане за его наглое поведение на Конгрессе.

*«Депутаты были так возбуждены, что сочли это предложение оскорбительным. Воспользовавшись этим, правительство убедило их решительно отвергнуть его. Когда был оглашен мой меморандум, поднялась настоящая буря, и депутаты чуть не убили меня; если бы на трибуну не поднялся один священник и не успокоил толпу, я не избежал бы бесславной смерти». (Там же.)*

*И вот он, насуспенный, нахохленный, под сильной охраной присутствует на параде, полагая, что он устроен в его честь и в искупление нанесенной ему обиды, и не понимая, какую цель преследует в действительности этот смотр.*

*По сходству характеров я ставлю рядом с портеньо Эррерой бразильца Корреа да Камара, уже знакомого нам имперского посланца. В ту пору мы еще не знали его, потому что он приехал в Парагвай лишь десять с лишним лет спустя. Мое любимое развлечение — помещать двух скорпионов в одну банку. А где два, там и три. Так посадим туда еще одного буэнос-айресского скорпиона. Этот последний, Коссио, так же, как брюзга Эррера и прохвост Эчеваррия, — большой любитель писать письма. Гарсия Коссио жалуется на меня своим буэнос-айресским доверителям. В то же время он мне льстит с присущим портеньо бесстыдством. Не знаю, почему все эти мошенники думают, что смогут одолеть Парагвай с помощью потока посланий. Но тем хуже для них.*

*Речь идет о Хуане Гарсии Коссио, которого послал в Парагвай в декабре 1823 года Бернардо Ривадивия, глава буэнос-айресского правительства. Он добился не большего успеха, чем его предшественники. Коссио жалуется, что Верховный обращается с ним до крайности неприветливо и даже невежливо. А тот, замечает Юлий Цезарь, так и не объяснил причины такого отношения к нему; в своей обширной корреспонденции с делегатами, в которой затрагивались все вопросы*

внутренней и внешней политики, он никогда не упоминает о Гарсии Коссио, о его миссии, о его записках. По словам Хуана Франсиско Сеги — секретаря Висенте Фиделя Лопеса, — основной целью миссии Коссио было договориться о союзе с Парагваем перед неминуемой войной с Империей в Банда-Ориенталь. (*Anais*<sup>[242]</sup>, т. IV, с. 125.)

Коссио многократно сносился с Верховным, так же как другие буэнос-айресские и бразильские посланцы, проходившие через чистилище долгих проволочек. Подвергнутые «пытке ожиданием», все эти «докучливые попрошайки и прохиндеи» отводят душу в умоляющих, обиженных и меланхолических посланиях. За доставку каждого из 37 писем, которые Коссио посылает из Корриентеса в Асунсьон, ему приходится платить нарочным 6 унций золота, одевать их с ног до головы и выдавать полную сбрую, от уздечки до шпор, а сверх того десятилитровую бутылку тростниковой водки.

В феврале 1824 Коссио сообщает своему правительству из Корриентеса, что Верховный Диктатор все еще не отвечает и что гонцы не вернулись. О них ни слуху ни духу. И след простыл. Как будто сквозь землю провалились. Коссио вы сказывает грустную мысль: «И это молчание, столь несовместимое с правами человека и с цивилизацией, без сомнения, показывает, что он не собирается ни в малейшей мере изменить то поведение, которого неукоснительно придерживается, оставаясь в странной изоляции. И все это несмотря на то, что ему напоминают об усилиях обеих наших стран в войне за независимость и об угрозе, которую в настоящее время представляют для Америки далеко идущие замыслы Священного Союза и возможность экспедиции для отвоевания бывших колоний». 19 марта 1824 Коссио снова пишет Верховному. Его послание заканчивается так: «Парагвай наносит себе ущерб, ибо перестал продавать свои товары: йербу, табак, лес; его торговля сокращается из-за речной блокады и отсутствия внешних рынков. С другой стороны, правительство Буэнос-Айреса встревожено открытием порта для судов Бразилии и просит предоставить ему, хотя бы в одном пункте, такую же возможность, как Португалии». Внизу рукой Верховного написано наискось красными чернилами: «Наконец-то пойдет другая музыка!» (Прим. сост.)

Итак, я сажаю в банку этих трех пауков. Скорпионов. Назовите их как хотите. Они сцепляются хвостами, клешнями. Источают яд. Надо как следует потрясти банку. И подержать ее на холодке, пока эти твари не утихомятятся. Тогда яд становится благодетельным зельем. Принимать его надо рано утром, натощак. В гомеопатических дозах. Регулярно. Регулярность и точность — самое важное при лечении от всякого рода недомоганий.

Дипломированные скорпионы Николас де Эррера, Хуан Гарсия Коссио, Мануэл Корреа да Камара служат мне укрепляющим средством. Они хотели использовать меня, но я сам их использовал.

Корреа все еще держится настороженно, опасно. Он всегда ходит боком. Показывает только один глаз, одну щеку, одну руку, одну ногу, полсердца и никакой головы. Он напоминает рака. Не поймешь, куда он идет, вперед или назад. Только у него выросли перья на шляпе и волосы по всему телу. На горностаевом плаще, в котором он щеголяет среди лета, сзади проступает черное пятно его замыслов, по форме похожее на карту империи, тоже сложенную вдвое: видна лишь половина, растущая к западу. Пока это что-то вроде чернильного следа бандейры. А там увидим.

Камару преследует мысль о возможном вмешательстве Буэнос-Айреса. Это мне на руку. Он опасается, что Коссио с помощью интриг помешает моим переговорам с Империей. Кроме того, он боится покушения на свою жизнь со стороны портеньо и асунсьонских портеньистов. Вчера вечером, во время ужина, он сообщил мне, что замышляется против него. Он прямо обвиняет правительство Буэнос-Айреса в намерении подослать к нему убийц. Посмотрите, Ваше Превосходительство, что говорится в письме, которое доктор Хуан Франсиско Сеги послал Бонифасио Исасу Кальдерону и которое моим агентам удалось перехватить: император направил в качестве своего эmissара к парагвайскому правительству одного вертопраха, в настоящее время находящегося в Монтевидео и готовящегося выехать в Асунсьон. Надобно, чтобы его захватили на пути в Парагвай и доставили в Буэнос-Айрес, где его примут, как он того заслуживает, или убили на месте. Если возможно, следует поручить это какому-нибудь тамошнему жителю, который захочет заработать шесть тысяч песо. А нет, так подсыпать ему в суп хорошую порцию мышьяка. Это подлинное письмо, Корреа? Без всякого сомнения, Ваше Превосходительство! Не подделка? Não é!<sup>[243]</sup> Это настоящее письмо! Не беспокойтесь, дорогой смертник! Сейчас вы спокойно ужинаете со мною, и я вас уверяю, что этот протертый мясной суп, который мы называем со'йо, — самая здоровая и питательная еда на свете. Ешьте его без опасений. В Парагвае вам не угрожает никакая опасность. Совершенно верно, Ваше Превосходительство! Mais me hei salvado por um relinho!<sup>[244]</sup>

Итак, я решил объединить все эти празднества. Л раз уж мы заговорили об этом веселом предмете, начнем с того торжества, положившего начало праздничным гульбищам, которое имело место еще до завоевания независимости. Вернемся немного назад. В общении с раками я приобрел дурную привычку пятиться, и это отразилось на моих записках.

К несчастью, народные празднества всегда припахивают трюком, мошенничеством, ловушкой. Бедный народ стекается, желая развлечься и пошуметь, чтобы отвести душу, забыть о своей нищете, о своем унижительном существовании. Каким образом? Глядя на подмостки, где играют свои роли важные сеньоры. Для этого хорош любой повод. Остриженный ноготь на пальце ноги монарха. Именины жены дофина. Крушение империи. Появление вместо нее другой. День рождения фаворита. Подписание договора. Все что угодно. Народ стекается на химерические и дорогостоящие торжества. Его обманывают, его приводят в раж фейерверками. У него крадут рабочее время. Швыряют на ветер государственные деньги. Похоже, только разжигая коллективный фанатизм, можно скрывать от народа его собственные бедствия. Что поделаешь, что поделаешь. Это древнейший обычай, так повелось еще со времен римлян. Когда-нибудь мы снова будем вести строгий образ жизни, какой вели первые христиане в своих катакомбах. Посадив в клетки тигров, императоров, консулов, важных сеньоров. А пока надо дать жить народу. И мало-помалу искоренять дурные обычаи.

Что касается предлогов, то решительно наихудшие из них — даты, в том числе и 12 октября, День расы. В календарях они выглядят бессмертными. Создают иллюзию реальности. Хорошо еще, что по крайней мере на бумаге время можно экономить, сжимать, уничтожать.

1804

Фаворит королевы Мануэль Годой, Князь Мир<sup>[245]</sup>, принял почетное звание Пожизненного Правителя города. Асунсьон — первая столица в Заморских

Владениях, заслужившая такое отличие. По случаю символического приема Князя Мира в аюнтамьенто<sup>[246]</sup> и имели место вышеупомянутые торжества. Самые помпезные на памяти парагвайцев. Они начались грандиозным банкетом на семьдесят четыре персоны, который дал ненавистный губернатор Ласаро де Рибера-и-Эспиноса де лос Монтерос.

*В начале 1795 года Ласаро де Рибера был назначен губернатором-интендантом Парагвая. Перед тем как отправиться в свою резиденцию, он вступил в брак с родовитой дамой Марией Франсиской де Саватеа, что связало его с буэнос-айресской аристократией. Одна из его своячениц была женой Сантьяго де Линье (будущего вице-короля). Рибера как губернатор не уступает своим выдающимся предшественникам — Пинедо, Мело, Алосу, а во многих отношениях, пожалуй, даже превосходит их. Он глубоко проник в жизнь и душевный склад гуарани, познал их горести и нужды и протянул руку обездоленным и беззащитным. Он пророчески указал, что главный порт для Парагвая — Монтевидео, и предугадал величие Ла-Платы, написав: «Провинции вице-королевства Буэнос-Айрес достигнут невиданного изобилия, коль скоро облегчится добыча сырья, которое надобно вывозить за океан, чтобы питать мануфактуры на Пиренейском полуострове». Он верил в будущее Парагвая, уповая на его плодородную землю, на богатые урожаи, которые она дает, на реки, которые орошают ее и связывают с миром. (Прим. Юлия Цезаря.)*

«По натуре горячий и запальчивый, нетерпеливый перед лицом препятствий, кичившийся своими собственными достоинствами и своей родословной, Ласаро де Рибера был тем не менее одним из самых просвещенных сановников, представлявших Испанию в этой части Америки на исходе XVIII века». (П. Фурлонг, цит. по Юлию Цезарю.)

Почетное место во главе стола занимает доблестный Мануэль Годой, то есть его портрет, прислоненный к золотой дарохранильнице и увитый гирляндами цветов. Возле него красуется заверенная огромной сургучной печатью королевская грамота о присвоении ему звания Великого Аюнтадора. Со своего портрета он важно приветствует нас медлительным жестом; пальцы его унижены перстнями. После банкета, который продолжается шесть часов, Князя Мира под звуки оркестра везут в карете, запряженной восьмью черными жеребцами и восьмью белыми кобылами. Ее эскортирует взвод драгун. Позади, тоже в карете, едут губернатор и епископ. За ними следуют пешком командиры полков и старшие офицеры, сановники, знать. Шествие завершает толпа клириков. Сколь достойные времена!

На Марсовом поле возведены четыре триумфальные арки. В одной из них, Арке Бессмертия, торжественно установлен портрет, украшенный цветами, пальмовыми и лавровыми венками. На площади и вокруг нее повсюду реют флаги и вымпелы. Балконы прилежащих домов заполнены дамами из высшего общества и кабальеро невысокого полета, которым их неказистые плащи и бумазеевые камзолы не мешают свысока смотреть на толпу.

Вечером иллюминируют улицы, общественные здания, дома именитых жителей. Пускают фейерверк, и в небе на миг загораются андромеды и альдебараны и распускаются огненные цветы.

С высоты подмостков, сооруженных посреди площади, Ласаро де Рибера взмахами жезла управляет торжествами, то и дело проводя рукой по завиткам запылившегося парика, похожий на дирижера оркестра, которого раздражает разлад

между музыкантами. Князь Мира выглядит на портрете, где он небрежно поглаживает рога королевского оленя, весьма довольным собой.

Из ворот особняка рехидора<sup>[247]</sup> Хуана Батисты де Ачар под звуки скрипок, бубнов и свирелей выезжает открытый экипаж. Подъехав к портрету, из него выходят наряженные для сцены сеньоры и начинают представление «Танкреда». Мария Грегория Кастельви и Хуан Хосе Лоисага (дед предателя-триумвира, который будет держать мой череп у себя на чердаке) блистают в ролях Крестonosца и Клоринды. На представлении присутствуют десять тысяч человек.

Празднества продолжаются девять дней без перерыва. Устраиваются корриды и состязания. Удальцы под музыку гарцуют на лошадях и ратоборствуют, как рыцари на средневековых турнирах. Пятьдесят всадников, наряженных сарацинами и индейцами, на конях в богатой сбруе соперничают в ловкости, играя в кольцо. Накинув его на серебряное острие, очередной победитель галантно преподносит кольцо своей невесте, даме сердца или жене. Женщины берут его за ленту и опускают в вырез платья. Не подозревая того, они ребячливо подражают церемонии Реставрации. Не реставрации монархии, нет, мы ведь говорим о временах, когда монархия была еще в полном расцвете! Реставрации того-что-теряют-только-раз. Величия. Девственности. Благородства. Достоинства. Хотя находятся и такие, которые, теряя их однажды, восстанавливают их дважды.

Ласаро де Рибера с чванливой небрежностью бросает епископу: вы не находите, ваше преосвященство, что воскресение вполне естественная идея? Епископ со снисходительной улыбкой соглашается: воскресить что-либо один-единственный раз не более необыкновенное деяние, чем дважды создать одно и то же.

Прелестная дочь Ласаро де Рибера, не переставая наблюдать за турниром, наклоняется к отцу и спрашивает: что вы сказали, ваша милость, если это не секрет? Ничего, дочка. Ничего такого, что могло бы заинтересовать тебя сейчас, во время столь прекрасного празднества, что дух захватывает от восхищения. Посмотри на этого воителя-индейца, который скачет сюда во весь опор! В самом деле, стоя на неоседланной рыжей лошади, блестящей от пота, всадник с перьями на голове и с татуировкой во вкусе ка'айгуа приближается к почетному месту, где восседает губернатор. Гигантского роста, стройный, весь мокрый от пота. В головокружительной скачке лошадь стелет хвост, как комета. На всаднике всего лишь набедренная повязка из какой-то поблескивающей ткани. В вытянутой руке он держит длинный шип кокосовой пальмы, продетый в кольцо с красной лентой, которая тянется за ним в воздухе, как след. Рыжая лошадь без узды замедляет бег. Теперь она пританцовывает. Ее копыта стучат не в такт музыке оркестра, а в такт другим звукам, внятным только ей и всаднику. Из ее раздувающихся ноздрей со свистом вырывается пар, и клочья розовой пены падают с губ. У нее ходят бока, а стелющийся хвост придает ей вид сказочного животного. Полулошади, полуягуара. Фуналы и декстарии римлян, бредит епископ-эрудит, показались бы насекомыми по сравнению с этим индейским гипокентавром. Древние называли подобных лошадей *desultorios equos*<sup>[248]</sup>; о всадниках, сливавшихся с ними, говорили... Но тут Ласаро де Рибера встает, побагровев от гнева, и зовет стражников, распарывая воздух своим жезлом-рапирой: о, Вельзевул! Кто этот неверный, позволяющий себе такую дерзость! Стража, ко мне! Ко мне, аркебузиры! Гипокентавр с головой человека и головой ягуара внезапно осаживает перед подмостками и взвизгивает на дыбы. Копыта, как когти, царапают воздух. Человеческая часть сказочного животного



наклоняется и бросает кольцо в подол дочери губернатора. Стреляйте, стреляйте, дубины! — кричит он, от гнева и страха срываясь на фальцет. Стреляйте же, ублюдки! — гремит в воцарившейся тишине голос губернатора, уже потерявшего всякое самообладание. Наконец раздаются выстрелы. Слышен свист пуль. В дыму и пыли сверкают зубы индейца. Его татуировка фосфоресцирует в наступающих сумерках. Тем же шипом кокосовой пальмы он сам себе раздирает бронзовую кожу от горла до паха. Он срывает с головы сплетенную из лианы шапочку, открывая волосы, выстриженные в виде короны-спирали. В наряде из перьев, узоров, чешуек, значков он похож на какого-то лесного Христа-Адама. Почти альбинос. Белое лицо. Раскаленные добела глаза. Назарейская борода; борода Христа-тигра. Вот он, таинственный вождь лесных племен, самых воинственных и свирепых в верховье Параны! Касик-колдун-пророк каайгуа-гуалачи, которых не смогли покорить ни конкистадоры, ни миссионеры. Лошадь под ним тоже превратилась в тигра, в совершенно синего тигра. Синими стали язык, влажная розовая пасть, клыки цвета слоновой кости. Пятна на шерсти отливают металлическим блеском. Вот она, живая легенда, — посреди площади, перед подмостками губернатора. Его дочь в экстазе созерцает того, в ком видит чуть ли не архангела во плоти.

Епископ, опустившись на колени, осеняет нагрудным крестом ошеломляющее видение. *Vade retro, Satanas!*<sup>[249]</sup> Губернатор выкрикивает приказания, и эти крики походят на мышиный писк, заглушаемый рыканьем льва. При новом залпе легендарный индеец щелкает пальцами. Тигр, прыгнув в воздух, возносится над объятым ужасом скопищем народа. Теперь он и впрямь превращается в метеор, в комету. Он перелетает через реку и, несясь в сторону восточных гор, исчезает в небе.

Кольцо в виде змеи, кусающей себя за хвост, разрослось в подоле дочери губернатора.

*«Вскоре после прибытия в провинцию Ласаро де Риберы произошло ужасающее событие. В округе Вилья-Реаль сто пятьдесят человек вооружились под тем предлогом, что должны дать отпор индейцам, нарушившим мир, напали на одно становище и убили 75 покорных и беззащитных индейцев. Перебив их всех дубинками, саблями и копьями, трупы разорвали на куски, привязав их к лошадям, которых разогнали в разные стороны. Все это явствует из пяти судебных решений, обнародованных по этому поводу. Главным виновником происшествия был команданте Хосе дель Касаль. Варварский акт имел место 15 мая 1786. Рибера занял свой пост 8 апреля. Он поручил вести следствие по этому делу команданте Хосе Антонио Сабала-и-Дельгадильо.*

*Неслыханная резня с четвертованием при помощи лошадей, приводившим на память зверскую казнь Тупака Амару в Куско, взволновала всю провинцию. Но Касалю благодаря своим связям и богатству удалось избежать наказания». (Юлий Цезарь, *op. cit.*)*

*Однако через некоторое время герой геноцида Касаль впал в немилость. Из судебных материалов видно, что Хосе дель Касаль-и-Санабрия всеми средствами добивался, чтобы его защищал Верховный, который в ту пору занимался адвокатской практикой, еще не будучи выдвинут ни на какой пост и не имея никакого влияния в официальных кругах. «Это единственный адвокат, который может меня выручить, — пишет судье убийца индейцев. — Я предложил ему за столь важную услугу половину моего состояния и даже больше. Но все было напрасно. Гордый адвокат не только наотрез отказался вести мое дело, тем самым*

*оставив меня безоружным и беззащитным, но и позволил себе оскорбительно отозваться о моих действиях против этих лесных дикарей и во всеуслышание заявил, что за все золото мира не пошевелит пальцем в мою защиту, хотя, как известно Богу и Его Высокосупремодительству Сеньору Губернатору, вышеупомянутые действия были совершены лишь на благо всего общества» (Прим, сост.)*

Скоро оно охватило девушку, ее взбешенного отца, епископа, членов кабильдо, рехидоров, коррехидоров и клириков. Змея все росла и росла. Она опоясала площадь и прилежащие дома с балконами, откуда на празднество смотрели аристократические дамы. Вместе с тем похожий на итербий металл, из которого было сделано кольцо, размягчался, превращаясь в вязкое вещество. Легчайшие чешуйки летали и парили в воздухе. Внезапно огромная змея взорвалась, рассыпавшись на частицы, играющие всеми цветами радуги. На трибуне поднялась сумятица. Дочь губернатора, истекая кровью, лежала на подушках, которыми был покрыт помост. Ее белое платье стало алым, как лента, привязанная к кольцу. Толпа в суеверном страхе разразилась воплем: кара господня! Кара господня! Среди шума и сутолоки губернатор и епископ горячо спорили о том, посылать ли за врачом или за святыми дарами.

Князь Мира и Великий Аюнтадор вышел из рамы портрета, прошел через Арку Бессмертия и обнял ошеломленного Ласаро де Риберу. Прекрасно, прекрасно, дорогой губернатор! Настоящая волшебная сказка! Позвольте мне поздравить вашу дочь с чудесным исполнением роли лебедя. Это что-то потрясающее! Убийца лебедей всегда сводил меня с ума! Что за странное существо этот изверг, убивающий лебедей только для того, чтобы услышать их последнюю песнь! Ах, ах, ах! В этом есть нечто несказанное, ни с чем не сравнимое, не поддающееся определению! Фаворит королевы наклонился над головой змеи. Посмотрите, посмотрите! Убитые животные до разложения сохраняют в своих глазах образ того, кто их убил! А теперь, дорогой Ласаро, я возвращаюсь в портрет. Продолжайте празднество.

Торжества длились девять дней и сверх того еще один.

*В отчете кабильдо об этих торжествах говорится: «Наша провинция еще никогда не знала столь блестящей эпохи, как нынешняя. До недавнего времени ее благополучие было обманчивым и непрочным; ее торговля, стесняемая всякого рода помехами и препятствиями, пребывала в состоянии застоя; казна была тощей; незащищенные границы постоянно нарушались; природные богатства оставались под спудом; но празднества в честь сиятельного Князя Мира, имевшие место, когда он оказал кабильдо нашего города невиданную честь, приняв звание Пожизненного Рехидора и Аюнтадора о наивысшей властью, служат верным доказательством ее нынешнего могущества, процветания и величия».*

*В «Анналах и хронике провинции Парагвай», где регистрируются мельчайшие факты и события этой монотонной и монохромной эпохи: свадьбы, крестины, смерти, соборования, конфирмации, панихиды, похороны, девятины, болезни, кулинарные рецепты и даже рецепты снадобий, усиливающих или умеряющих способность к деторождению, — подробнейшим образом описываются и упомянутые празднества. Однако там ничего не говорится о странном эпизоде, героями которого были дочь губернатора и крылатый всадник аксе-гуайаки, как теперь именуют этнологи племя индейцев, которое встарь называли племенем сerratов, каайгуа, бородачей, гуалачи и разными другими именами.*

*Равным образом и в «Дневнике памятных событий», где с маниакальной скрупулезностью отмечается каждая мелочь, не содержится ни малейшего намека*

на происшествие, о котором рассказывает Верховный. Надо обратиться к самым ранним хроникам колонии, чтобы найти кое-какие указания, наводящие на след. Дю Туа<sup>[250]</sup> (1651) говорит о гуалачах: «Это дикари, превосходящие свирепостью варваров Гуайары, по всей вероятности, людоеды. Они живут охотой и едят всяких тварей, но их главную пищу составляет пчелиный мед, к которому они питают настоящую страсть. Конкистадоры так и не покорили их, а миссионеры не обратили и, наверное, никогда не обратят в нашу святую веру, дабы посеять в их сердцах семена христианского человеколюбия. Индейцы этого племени отличаются светлым цветом кожи, что породило нелепый миф об их европейском происхождении. В действительности это самые дикие из дикарей, населяющих эти дикие области. Ими с незапамятных времен правит знаменитый касик, колдун и жестокий тиран, которому его подданные приписывают дар бессмертия. Они распространили не менее нелепую легенду о том, что он не только неуязвим для европейского оружия, но и способен изменять свое обличье посредством самых удивительных метаморфоз и даже становиться невидимым. Они говорят, что он объезжает или облетает свои владения верхом на синем тигре. Таков один из зооморфных мифов их космогонии». (Рассказ о народе каайгуа.)

Я внимательнейшим образом изучил не только корреспонденцию Ласаро де Рибера (губернатора, приказавшего сжечь единственный в Парагвае экземпляр «Общественного договора»), но и его генеалогические и биографические заметки. Все эти документы сходятся в утверждении, что у губернатора были две дочери: одна от законной супруги, другая от наложницы-индианки. Одна из дочерей умерла в раннем возрасте; другая достигла совершеннолетия, а если верить Престе Хуану, то и дожила до старости. Однако мне не удалось установить, какая именно. С другой стороны, в устном предании существует миф о крылатом всаднике, похитившем дочь Караи-Рувича-Гуасу, Великого-Белого-Вождя. (Прим. сост.)

На следующий день, ободренный явными знаками доверия и поддержки со стороны Князя Мира, Ласаро де Рибера подписал указы о сохранении энкомьенды и об освобождении табачных плантаторов от уплаты военной подати. Наконец он смог, сославшись на королевскую волю, осуществить два своих давних стремления.

1840

Конгрессы. Военные парады. Процессии. Представления. Рыцарские турниры. Негритянские и индейские маскарады. Престольные праздники. Двойные похороны. Тройные панихиды. Заговоры, частые. Казни, очень редкие. Апофеозы. Воскресения. Побияния камнями. Ликующие толпы. Всеобщая скорбь (только после моего исчезновения). Празднества разного порядка. Вот именно, порядка — они проходили в полном порядке. И еще находятся пасквилянты, которые осмеливаются представлять пожизненную диктатуру мрачной эпохой гнета и тирании! Да, для них это была мрачная эпоха. Но не для народа. Первая республика юга, превращенная в царство террора! Подлые архилжецы! Разве им не известно, что это была, напротив, самая справедливая, самая мирная, самая светлая эпоха, эпоха полнейшего благосостояния и счастья, эпоха величайшего процветания, какое знал парагвайский народ в целом на протяжении всей своей несчастной истории? Разве он не заслуживал его после стольких страданий, лишений и бедствий? Не это ли гнетет и печалит моих врагов и хулителей? Не это ли наполняет их злобой и коварством? Не это ли они вменяют мне в вину? Не это ли они не прощают мне и никогда не простят? Хорош бы я был, если бы нуждался в их прощении! Слава богу, в мою защиту выступают, в мою

пользу свидетельствуют память простого народа и пять или шесть чувств, которыми все наделены. Или у вас нет глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать, консигнаторы вздора и клеветы?

Вот вам для начала первое свидетельство. Вы слышите звуки военной музыки, от которых дрожат барабанные перепонки даже у глухих? Я горжусь тем, что моими стараниями в Асунсьоне больше оркестров, чем в любой другой столице. Ровно сто их сейчас оглашают город почти в унисон, лишь на бесконечно малую величину различаясь по тону, ритму, настройке, выверенным с математической точностью. Чтобы добиться такой четкости звуков, синкоп, пауз, нужны были бесконечные репетиции, бесконечное терпение дирижеров и исполнителей. Стерефонические (а не стервофонические, как жужжание пасквилянтов) диапазоны таковы, что для звуков этой музыки резонатором служит небосвод, а естественными средами распространения — земля и воздух. Как будто сами стихии составляют оркестр. Смолкают инструменты, а конические сечения тишины продолжают вибрировать, полные воинственной музыки. Звук переживает себя, подобно свету угасшей звезды. Прислушайтесь. Еще звучит музыка военного оркестра, сопровождающая один и тот же единственный парад, на который я пригласил всех этих имперских, директориальных, провинциальных посланцев, мастеров по части козней и происков. Чтобы утереть им нос. Это было в 1811, 1813, 1823-м.

Полномочные представители Буэнос-Айреса — Эррера и Коссио, и Бразилии — Корреа как бы накладываются друг на друга. По моей воле они перенесены в особое измерение. Они сидят друг у друга на коленях. Находятся в одном и том же месте, хотя и не в одно и то же время. Смотрите, наблюдайте: я предлагаю вашему вниманию парад, который разворачивается на протяжении первых двух десятилетий Республики, но захватывает и последнее десятилетие колонии. Отличайте законное от незаконного. Чистое от нечистого. Безобразное прекрасно и прекрасное безобразно. Вы ошарашены, болваны? Тем хуже для вас! Надо видеть границы. Водоразделы. Грани реальности. Всевластной реальности, мерцающей в тумане, который стелется по бумаге между чернильных строк. Пусть перо, как шип, вонзается вам в глаза и в уши. И вы, достопочтенные гости, закрепляйте в вашей сетчатке, в ваших душах, если они у вас есть, эти безобразно-прекрасные видения. В земле, так же как в воде, бывают пузырьки воздуха, бормочет болтун Эчеваррия. Поднимались они и из этой земли. Но они испарились. Нет, уважаемый доктор. Пузырьки продолжают подниматься. Если вы их не видите, вдохните их. Невидимое дыхание тоже телесно. Ведь если вы перестанете дышать, вы умрете, верно? В жизни не видел такой удивительной *manha!*<sup>[2511]</sup> — восклицает Корреа. Да существуют ли на самом деле существа, которых мы видим? — спрашивает бразилец.

Эррера, которому случилось подавать руку Наполеону, чувствует себя униженным и с досадой бросает: неужели вы не понимаете, что это призраки? Наверное, нам подсыпали в еду какого-нибудь дурманного зелья. Корреа вздрагивает. Не беспокойтесь, уважаемые гости. Не так страшен настоящий страх, как воображаемый. Мысль о преступлении еще только фантазия. Совершенное преступление — уже нечто вполне реальное. Разве вы не знаете, сеньоры, что существует только то, что еще не существует? Косые глаза Эчеваррии моргают в дальнорких глазах Корреа. Кошачьи усы Коссио топорщатся на жабьем лице облезлого Эрреры. Простите, благородные сеньоры. Ваши демарши занесены в книгу, которую я буду изо дня в день читать и перечитывать до конца моей жизни. Что бы ни

произошло, время и обстоятельства помогут нам избежать подводных камней. А пока не будем упускать случай посмотреть на парад.

Дефилируют две с половиной тысячи всадников, ветеранов битвы на Такуари. Мой прославленный родственник Йегрос, бледный как полотно, едет во главе эскадронов кавалерии. Вот он уже привязан к стволу апельсинового дерева. Он признался в измене. Ему было нелегко это сделать, и он сделал это лишь после того, как ему дали сто двадцать пять плетей. Палата Правосудия творит чудеса. Он выказал глубокое раскаяние. Мне волей-неволей пришлось расстрелять его. Это было двадцать лет назад. Наилучшим в его жизни было то, как он расстался с ней. Он умер как человек, вдруг понявший, что должен бросить свое самое драгоценное сокровище, словно ничтожную безделушку. Подумать только, я доверял ему, полагаясь на его простодушие и глупость! Ах, боже мой! Не существует искусства, которое позволяло бы читать на лице скрытую под маской злобность души. Он едет среди лучших всадников, участвующих в смотре. На груди его алеют пулевые раны, следы расстрела, и блестят ордена, которые он заслужил в битве на Такуари. Ордена говорят о чести, раны о бесчестье. Это относится и к Баярду-Кавальеро. И к семи братьям Монтель. И к некоторым другим. Почти ко всем кабальеро-заговорщикам из числа семидесяти восьми преступников, расстрелянных под апельсиновым деревом 17 июля 1821.

*«Ужасный, траурный, скорбный день! Ты навсегда останешься годовщиной наших бедствий! О роковой день! Если бы можно было изгладить тебя, лишить места, которое ты занимаешь в гармоничном круговращении месяцев!» (Примечание аргентинского публициста Каррансы к «Гласу парагвайца», обращенному к Доррего<sup>[252]</sup> и приписываемому Мариано Антонио Моласу, автору «Исторического описания бывшей провинции Парагвай».)*

*В этом памфлете аргентинского руководителя снова умоляли о вторжении в Парагвай. (Прим. сост.)*

Бледные, но бестрепетные, они стоят, четко вырисовываясь на фоне неба, перед наведенными на них ружьями. Исхудалые. Почти бесплотные. Уже очистившиеся от греха неблагодарности. Искупившие вину перед родиной. Они так быстро мелькают в стекле подзорной трубы, увлекаемые центробежной силой времени, что даже воспоминание не может угнаться за ними.

Мои визитеры-полномочные представители-шпионы-контрагенты сидят на паперти собора. Ни глотка воды, чтобы смочить пересохшие губы. Ни глотка воздуха, чтобы расправить легкие. Огненное солнце растапливает мародерски-дипломатические мозги. Войска идут и идут. Мулы тащат орудия. Стоит адский шум. Корреа все больше распухает. Его роскошный костюм лопнул, и в прорехи проглядывает покрытая волдырями кожа, по которой ползают насекомые, сосущие пот и сукровицу. Не легче приходится Николасу де Эррере.

*«Я, словно в кошмаре, видел, как проходят бесконечные когорты темных призраков, ослепительно сверкая оружием. В ушах у меня глож шум, топот копыт. Беззвучно проезжали пушки, диковинные катапульты, сложные военные машины. Казалось, они летели или скользили по земле.*

*Под желтым балдахинном — в былые времена под ним во время церковных процессий несли Святые Дары — сидел в курульном кресле с высокой спинкой, в котором его худая фигура выглядела еще более тщедушной и смешной, загадочно*

*улыбавшийся Консул-Цезарь, донельзя довольный впечатлением, производимым его триумфальным представлением. Время от времени он искоса поглядывал по сторонам, и тогда его лицо приобретало выражение безумной гордости.*

*Огромная катапульта, по меньшей мере в сто метров высотой, бесшумно прокатила своим ходом, движимая, по-видимому, паровой машиной. Из-под этой деревянной громады вырывались мощные струи пара, образуя настоящую газовую перину, поднимавшую ее над землей, как перышко. Это было последнее, что я видел.*

*В полдень я упал в обморок, и меня увезли в мою резиденцию на таможене» (Из неизданных записок Н. де Эрреры.)*

Я вижу, как он борется с мучительной жарой. У него мутится сознание. Он с трудом ворочает языком: парад отмененный, сеньор первый алькальд, но я плохо понимаю, почему вы упорно противитесь союзу с Буэнос-Айресом.

Корреа да Камару пришлось привязать к креслу шнурами от знамен и его собственными аксельбантами. Освещенный вешим солнцем, имперский посланец отбрасывает перед собой звериную тень.

Мираж парада ширится, заполняет весь оком. Убыстряется круговращение фантомов-отражений. С головокружительной скоростью мелькают образы людей, лошадей, орудий, яркие и рельефные, словно вышитые на пальцах. Я не даю Корреа потерять сознание или уснуть. Негр Пилар обмахивает его опахалом и время от времени брызгает ему на лицо померанцевой и розовой водой. Вместо треуголки с плюмажем на голове у бразильца огромная соломенная шляпа, от которой исходит ароматный пар.

Я с таким же успехом использовал мираж и в других случаях. На севере, когда имел дело с бразильцами. На юге, где сталкивался с войсками Артигаса, с коррентинцами, с бандами из Бахады и Санта-Фе. Мои командиры прекрасно знают механизм рефракций. Когда враг наступает в пустыне или в болотистой местности, они приказывают отступать. Намеренно заставляют бежать свои войска. Противник, преследуя их, углубляется в раскаленные пески или заболоченные низины. Прячась в дюнах или в осоке, парагвайцы оставляют за собой образ своего войска. Таким образом, на расстоянии оно становится одновременно воображаемым и реальным. Обманчивые перспективы создают видимость чуда. Захватчики продвигаются вперед. Притаившиеся парагвайцы ждут. Захватчики стреляют. Парагвайцы имитируют смерть на далеком экране. Захватчики бросаются на «трусов гуарани». Но все уже исчезло. В течение многих дней, на протяжении многих лиг захватчиков вводит в заблуждение все тот же мираж. Изумленные непостижимым наваждением, они ломают голову, каким образом парагвайские пехотинцы, при всем их проворстве, и кони, пусть горячие, как огонь, и легкие, как дым, могут исчезать в одно мгновение вместе с телами убитых. Эта борьба с призраками изнуряет их. Наконец парагвайцы окружают захватчиков и, с ревом обрушившись на них со всех сторон неудержимой лавиной, уничтожают в мгновение ока. Враги умирают, унося с собой ужасное видение, которое ирония делает еще более дьявольским.

Осечки не бывает. Тут нужны только хорошая выучка и способность чутьем улавливать параллаксы и углы падения света, которая у этих людей в крови. Они могли бы даже обходиться без оружия, потому что эффект этой кровавой шутки смертоноснее пуль. Всякое слово в сфере своего действия создает то, что выражает, говорил француз и чувствовал себя чудотворцем, держа перо с видом кудесника,

взмахивающего волшебной палочкой. Я не испытываю такой уверенности в себе, вооружаясь своей перламутровой дубинкой, изготовленной в тюрьме. На всякий случай я снабжаю своих солдат ружьями и патронами. Хотя я нетороват, потому что небогат. Только пехотные карабины правофланговых, которые проходят ближе всего к помосту с балдахином для официальных лиц, — настоящее оружие. Остальное подделки, деревянные ружья. И пушки тоже бутафория: они вырублены из стволов тимбо, дымного дерева, цветом похожего на железо и легкого, как дым. Вот оно, мое секретное оружие! Что касается личного состава, то численность войск, которые вот уже тридцать лет дефилируют на парадах, не достигает и трех тысяч человек. Они проходят строевым шагом мимо трибуны. Огибают квартал Мерсед. Спускаются во рвы Бахо. Проходят мимо голого и пьяного чурбана<sup>[253]</sup> в Саму'у-пере. Доходят до кладбища и церкви Сан-Франсиско в квартале Тику-Туйа. Потом сворачивают на Камино-Реаль, направляются снова к Мерсед и опять проходят тем же порядком мимо помоста. А хвоста колонны так и не видно.

Имперский посланец проявляет поразительную выносливость. Нечеловеческую. Антропоидную. Но долго он не выдержит. Он уже сдает. Он не спал трое суток, пока шли празднества на улицах и переговоры в Доме Правительства. Вчера вечером давали представление в Театре Бахо, а сразу после него, на рассвете, началась негритянская церемония с целованием руки. Она кончилась, когда солнце уже стояло высоко. Африканская кровь оказала себя. Негры без передышки танцевали перед портретом императора, установленным в чаше триумфальных арок. А теперь гремит военный парад, и это будет продолжаться до самого заката.

Голова Корреа да Камары свешивается с золоченых шнуров. Бесплезная амуниция. Время от времени он еще выпрямляется. Пытается смеяться над своим положением. Но легкие в этом смехе не участвуют. А порой он хранит молчание. Сидит, высунув язык, и пускает молочно-белую слюну. Я сбоку смотрю на него. Он выглядит так же, как вначале. Один глаз. Половина лица (хотя на нем нет лица). Половина тела. Одна рука. Одна нога. Перегревшись на солнцепеке, он слегка дрожит; вот-вот его хватит солнечный удар.

Один круг занимает час шесть минут в соответствии с графиком парада, который я вычертил с точностью до миллиметра. Таким образом, за двенадцать часов войска в своем непрерывном движении покрыли расстояние ровно в двадцать шесть лет<sup>[254]</sup>. Крохотные, четко очерченные фигурки, разбитые на шесть батальонов, шагают как заведенные в одном и том же направлении. Красная пыль. Завораживающая вибрация отсветов. Монотонная поступь пехоты. Послушайте, Корреа, вам не кажется, что мои войска почти так же многочисленны и так же хорошо вооружены, как армия Наполеона? Имперский эмиссар не отвечает. Зеленая струйка стекает с его лошадиных губ на грудь, пачкая переливающийся камзол.

У меня мало друзей. По правде говоря, я никогда не раскрываю душу присутствующему другу, распаиваюсь только перед отсутствующим. Я имею в виду не только тех, кто далече, но и тех, кого уже нет или еще нет. Один из них — генерал Мануэль Бельграно. В иные ночи он приходит ко мне. Теперь уже свободный от забот, от воспоминаний. Не надо открывать дверь, чтобы он вошел. Я скорее чувствую его присутствие, чем вижу его. Он присутствует и в моем отсутствии. Ни малейший шум не предвещает его появления. Он просто здесь. Я мысленно поворачиваюсь на бок. Генерал здесь. Чудовищно распухший, не столько от водянки, сколько от горя, Бельграно парит на пол-ладони от земли. Он занимает половину с

половиной не-комнаты, а моя распухшая нога остальное помещение. Не имея надобности тесниться, мы занимаем во времени больше места, чем в этой жизни нам отведено в пространстве. Доброй ночи, дорогой генерал. Он слушает меня и по-своему отвечает мне. Человек-туманность слегка шевелится. Вы хорошо себя чувствуете? Он говорит, да. Дает мне понять, что, несмотря на наше несходство во многих отношениях, он хорошо себя чувствует возле меня. Я нахожу в вас, шепчет он, то, что больше всего ценил в людях: мудрость, строгость нравов, правдивость, искренность, независимость, патриотизм... Ладно, ладно, генерал, не будем говорить друг другу учтивости, учитывая, что теперь это уже не идет в счет. Наше несходство, как вы говорите, не так уж велико. Погруженные в эту темноту, мы не отличаемся друг от друга. Между неживыми царит абсолютное равенство. Значит, слабый и сильный равны. Тем не менее я предпочел бы жить, пусть жизнью простого пеона. Вспомните, Ваше Превосходительство, утешает меня генерал пустым утешением Горация: Non omnis moriar<sup>[255]</sup>. А, кухонная латынь! — думаю я. Изречения, годящиеся только для похоронных речей. Беда в том, что никто не постигает, каким образом деяние переживает нас. Ни те, кто верят в потустороннее, ни мы, верящие только в посюстороннее. О, altitudo!<sup>[256]</sup> — сказал мой гость, и его слова отдались в каменных стенах... udo... udo... udo... Когда эхо смолкло, заглушенное жужжанием мух, на нас снова снизошла тишина глубин. Я желаю только, генерал, чтобы вы не отчаялись в идеях вашего Мая, как я отчаялся в нашем безыдейном Мае, что и побудило меня действовать революционно. Вы помните, что вы сами посоветовали мне так действовать в одном из писем? Воспоминание много значит. Память о деяниях имеет больше значения, чем сами деяния. Наши души-яйца общались не нуждаясь для этого в голосе, в словах, в письме в мирных и военных договорах, в торговых сделках. Сильные в своей высшей слабости, мы проникали в суть вещей Мы обладали безграничной мудростью. Беспредельной истиной. Ведь теперь для нас не было границ и пределов.

Удрученный своими поражениями, он, чтобы утешиться, начал писать мемуары. Он говорит в них о том, как революционная идея зарождается, зреет и терпит крах в столкновении с экономическими интересами, связанными с иностранным господством. Один из первых пропагандистов свободного обмена в Южной Америке, Бельграно при этом умалчивает о своей причастности к планам основания монархий, которые, по мысли буэнос-айресских ученых мужей, должны были содействовать свободному обмену. Мыльные пузыри!

Мне кажется, я понял вашу мысль, генерал. Он не отвечает мне, погруженный в глубокое молчание. Быть может, он молится. Я слегка съезживаюсь, чтобы не мешать молитве. Я не стану сейчас спрашивать его, в чем смысл его химерических прожектов восстановить монархии в этих диких землях. Мой огромный гость, как и я, ненавидел анархию. Поскольку крикуны, краснобаи, циничные политиканы еще не выдвинули никакой догмы, никакой формы государственного устройства, ограничиваясь грызней в борьбе за власть, мой друг генерал Бельграно ошибочно искал залог единства в принципе монархической иерархии. Но в то время, как так называемые республиканцы Буэнос-Айреса хотели посадить на трон иностранного короля или королеву, Бельграно стремился лишь к установлению скромной конституционной монархии. Республиканские монархисты вели переговоры с Карлоттой Жоакиной Бурбонской. Они пытались навязать стране какого-нибудь наемного инфанта, ставленника господствующих европейских держав. Не случайно Родригес Пенья и



другие буэнос-айресские монархисты проводили свои тайные совещания на мыловарне Вьейтеса. Бывают пятна, которые никаким мылом не смоешь. А в чем можно упрекнуть вас, дорогой генерал? Вы не покушались основать теократическую монархию в американском мире, который наполовину избавился от монархов и теократов. Не покушались создать папство по образцу римского, как бы оно ни называлось: пампа, ранкель или диагита-кальчаки<sup>[257]</sup>. Вы хотели лишь креольской монархии, хотели, чтобы на трон взошел потомок инков, восьмидесятилетний брат Тупака Амару, который угасал в каземате испанской тюрьмы, осужденный на пожизненное заключение. Не это ли ваши сограждане не могли вам простить, генерал?

Сквозь молчание Бельграно я наблюдаю его агонию, начавшуюся, когда он застрял на почте Крус-Альта, еще до своего крестного пути, своих скитаний в течение четырнадцати месяцев. Ему были полной мерой отпущены страдания, лишения, унижения. Он хотел умереть в Буэнос-Айресе. Мне уже не добраться туда! — жалуется он. Мне не на чем ехать. Он посылает за начальником почтовой станции. Тот отвечает со зловещей наглостью: если генерал хочет со мной говорить, пусть придет ко мне. От него до меня такое же расстояние, как от меня до него. Несмотря на все, умирающий дотащился до родного города, который столько раз отвергал его и обрекал на самые суровые испытания. Он прибыл туда в тот самый день, когда в Буэнос-Айресе, охваченном анархией, оказалось три правителя, за неимением одного. А вы умирали, генерал, умирали со словами «О моя родина!» на устах, распухший, с огромным сердцем, поразившим хирургов, которые делали вскрытие. Это сердце, сказал один из них, не от этого тела! Вы далеко, вы безмолвны. Сквозь ваше молчание, дорогой генерал, я вижу мраморную плиту, под которой похоронено ваше тело, ваши дела и память о вас.

Со мной происходит обратное. Мне пришлось только поворачиваться в своей выгребной яме. Меня предали те, кто больше всего боялись меня, самые низкие и бесчестные. Сначала они устраивают мне пышные похороны. Потом выкапывают меня из могилы. Сжигают мой труп и бросают пепел в реку, как говорят один; мой череп хранит у себя дома предатель-триумвир, а позднее его отвозят в Буэнос-Айрес, как утверждают другие. Мой второй череп остается в Асунсьоне, как доказывают те, кто считают себя наиболее осведомленными. Все это много лет спустя. А с вами, генерал, дело обстоит совсем по-другому: всего лишь через месяц после вашей смерти ваши друзья собираются на траурный банкет, как было в обычае древней Греции и древнего Рима. Стены зала увешаны флагами, а на почетном месте красуется ваш портрет, увенчанный лаврами. Когда входят приглашенные, сообщает Тацит-бригадный генерал, слышится печальная и торжественная музыка гимна, сочиненного для этого случая, и все запевают антифон, взывая к вашим манам. Среди этих ужасных песнопений, слова которых впоследствии были опубликованы в «Деспертадор теофилантропико», неумолчно звучит, подобно отголоску, доносящемуся из сокровенных глубин —... altitudo... udo... udo!.. — вопль; «О моя родина!» Но этот вопль не услышали ни Тацит-бригадный генерал, ни буэнос-айресские патриции, которые, совершая возлияние, опрокидывали на цветы свои чаши с вином.

А для меня прошлое уже слилось с будущим. Ложную половину моего черепа мои враги продержат на чердаке в коробке из-под вермишели целых двадцать лет.

*Как читатель увидит из приложения, также и это предсказание Верховного полностью сбылось. (Прим, сост.)*

Остальное мне уже не принадлежит. Какой череп, раздробленный врагами родины, какая частица мысли, какие люди, оставшиеся в стране, живые или мертвые, не будут впредь нести на себе моей печати, неизгладимей, словно выжженной раскаленным железом, печати: Я — ОН? Это нетронутое и непреходящее, сохраняющееся впрок достояние еще не обретшей себя расы, которой волей судьбы выпали на долю страдание вместо радости, не-жизнь вместо жизни, ирреальность вместо реальности. На ней останется наша печать.

Мой личный врач — единственный человек, который имеет доступ в мою спальню и у которого в руках моя жизнь, — сумел лишь укрепить мое нездоровье. А вот лекарства Бонплана, находившегося больше чем за сто лиг от меня, помогали мне в возмещение политических трений, причиной которых он же и послужил. Я отпустил его только после того, как вельможи и знаменитости всех стран перестали докучать мне, требуя его освобождения. Я предоставил им поливать меня грязью, но не допустил, чтобы ученые, государственные деятели, сам Наполеон или кто угодно, хоть Александр Македонский, хоть семь мудрецов Греции, вообразили, что могут заставить меня отклониться от моих начертаний. Разве не угрожал Симон Боливар, как напомнил об этом отец Перес на моих похоронах, вторгнуться в Парагвай и раздавить свободный американский народ, чтобы освободить своего французского друга? От чего освободить? Ведь французик-натуралист пользовался здесь большей свободой, чем где бы то ни было, и благоденствовал так же, как любой гражданин этой страны, когда научился подчиняться ее законам и уважать ее суверенитет. Разве сам Эме Бонплан не заявил, что не хотел покидать Парагвай, где нашел потерянный рай? Так что же, освободить его хотели или вырвать из райского сада? Что за жульничество скрывалось за требованиями сильных мира сего, использовавших как предлог для своих мошеннических происков этого бедного человека, который здесь был богат миром и счастьем? Достоинство правителя должно быть выше его желания избавиться от поносов, то бишь от поношений. Я отпустил Бонплана, вернее, выслал его против его воли, только когда ко мне перестали приставать и мне самому так заблагорассудилось. Я отпустил его и снова попал в руки лейб-медика с его микстурами, помогающими как мертвому припарки.

Послушай, Патиньо, что бы ты сказал о человеке, который, будучи другом великих людей всего мира, будучи сам знаменитым ученым, вдруг забрался в глушь сельвы под предлогом сбора и классификации растений? Что сказал бы ты о столь важном лице, которое почему-то обосновалось у границ нашей страны? Я бы сказал, сеньор, что тут за сто лиг можно почуять неладное. Французик тишком и молчком пустился конкурировать с парагвайским государством. Контрабандой разводя йербумате под видом медицинских и других трав, великий человек непрестанно высматривал, что происходит у нас, стакнувшись с заклятыми врагами нашей страны. Заодно с Артигасом, главарем бандитов и грабителей, который теперь стал вольным парагвайским крестьянином — звание куда более высокое, чем титул Протектора Банды-Ориенталь; с заместителем протектора в Энтре-Риос, подлым предателем Панчо Рамиресом, этим стервятником, который в конце концов попал в клетку; с другим подручным Артигаса, индейским изменником-каудильо Николасом Арипи, и со всякой сволочью помельче знаменитый путешественник и ученый принялся искать поживы в нашей отчизне. Почему? По какому праву? Не сказал ли бы ты, что этот

великий человек — интриган низкого пошиба, гнусный шпион? Конечно, сеньор, без всякого сомнения! Прохвост и подлый шпион, которого следовало бы поджарить на вертеле. Ну уж ты перехватил, мой любезный секретарь-людоед. Я ограничился тем, что послал отряд в пятьдесят человек против вторгшейся к нам орды индейцев-бродяг, воров и буянов во главе с проклятым Арипи, который стал телохранителем, но также и хозяином француза (как это часто бывает с мошенниками, исполняющими обязанности секретарей). При захвате шайки злоумышленников пострадал и ученый, раненный в голову. Шпионское гнездо было разгромлено. Только одному индейцу удалось ускользнуть благодаря глупости и нерасторопности моих солдат. Я приказал, чтобы пленному оказывалось всяческое внимание и даже чтобы хорошо обращались с четырнадцатью индианками и оравой негров, захваченных вместе с ним. Я отвел ему для местопребывания лучшие земли в селении Санта-Мария, где сами солдаты, захватившие его в плен, построили ему усадьбу. Что ты на это скажешь? Сеньор, я могу только повторить то, что не раз говорил с того времени, когда произошли эти события: Ваше Превосходительство — добрейший из людей и великодушнейший из правителей. Особенно по отношению к этому подлому шпиону! А теперь возьми назад свое фальшивое негодование. Этот подлый шпион, попав в плен, начинает облегчать мои недуги, ничего не прося в обмен. Что ты скажешь по этому поводу? Что это святой человек, сеньор! Хотя, если вдуматься, Ваше Превосходительство, не такой уж святой, не такой уж святой, ведь он это делал не ради удовольствия, а по обязанности. Конечно, ты думаешь, что пленный ученый, недавно прибывший от наполеоновского двора в эту сельву, мог безнаказанно прервать нить моей жизни. Конечно, Ваше Величество... то есть Ваше Превосходительство! А ты сделал бы подобную вещь, мой многоумный секретарь? Я? Нет, сеньор! Упаси от этого господь вашего верного слугу! Такие вещи нельзя делать с бухты-барахты, Патиньо. Когда у меня зудит глаз, я ищу глазные капли, а не колючку кокосовой пальмы. У тебя зудит зад. Не воображай, что уймешь зуд, если чешешься о мое кресло. Ты кончишь петлей. Тебе это на роду написано. Считай, что это уже произошло.

Есть люди, которые говорят о волосах, костях и зубах земли. Для них это огромное животное. Оно несет нас на своем хребте. В один прекрасный день ему это надоедает, оно сбрасывает нас и пожирает. Из его чрева появляются на свет другие люди, люди-двойники. Прародитель лесных индейцев, согласно легендам и песням, в которых живут их предания, подобные смутному сну, вышел из недр земли, разодрав ее ногтями. В поисках Земли-без-зла из Земли-пожирательницы-людей вышли муравьеды. Вышли есть мед. Одни из них превратились в медведей, другие в белых ягуаров. Они едят мед и едящих мед. Но волосатой, костистой, зубатой земле нет дела до этих пустяков. Она всегда в конце концов пожирает и тех, кто входит в нее, и тех, кто выходит из нее. Она здесь, внизу. Ждет. Совершенно верно, сеньор!

*(Написано на рассвете. Луна на ущербе.)*

В ту ночь, переодевшись крестьянином, я прибыл в Санта-Марию. Я оставил моих людей в лиге от селения и приказал им ждать меня, спрятавшись в лесу. Надвинув на глаза широкополую соломенную шляпу, я присоединился к больным, ожидавшим перед хижиной на склоне холмика. Я оказался между парализованным и прокаженным, лежавшими на земле. Один был весь в язвах, и о его болезни предупреждала шляпа, увенчанная свечами; другой, наполовину превратившийся в животное, пребывал в полной неподвижности. Я тоже лег и притворился спящим, уткнувшись лицом в голую землю, истоптанную больными и пропахшую миазмами.

Когда я открыл глаза, я увидел перед собой коренастого, свежего, цветущего человека с мягкими седыми, почти платиновыми волосами до плеч. Таким же сильным и чистым голосом, как он сам, он сказал мне: не снимайте шляпы. Он не прикоснулся ко мне. Не выслушал меня. Не спросил, на что я жалуюсь. Не поговорив со мной, не расспросив меня, он сразу узнал обо мне больше, чем знал и мог рассказать ему я сам. Возьмите это. Он протянул мне пригоршню цветочных луковиц и корней. Казалось, они вымазаны в какой-то липкой смоле. Велите сварить их и три ночи кряду держать на свежем воздухе. Он достал коробочку, похожую на мою табакерку. Раскрыл ее. Внутри фосфоресцировал зеленоватым светом, как светлячки, какой-то порошок. Насыпьте это в отвар. У вас получится настой Корвизара. Я, чуть дыша, спрятал луковицы и коробочку в свою котомку. Хотел было достать несколько монет. Он удержал меня, положив руку мне на руку. Не надо, сказал он, я не беру денег с больных. Узнал он меня? Или не узнал? Темна вода. Зрительно он меня не узнал. А может, и узнал. Во всяком случае, он не нарушил тайны, поведенной без слов под тенью сомбреро, надзиравшего за моей тенью. Я ушел, от радости не разбирая дороги и спотыкаясь в темноте о множество тел, валявшихся на земле, как трупы на поле боя. Я шел, наступая на руки, на ноги, на головы людей, которые приподнимались и ругали меня со свойственной больным ужасающей злобой. Но от этой брани я чувствовал себя еще более счастливым. Здоровье не знает языка гнева. А я нес здоровье в своей котомке.

Я три дня пил настой и на три года избавился от всех недугов.

Нисколько не тоскуя о Мальмезоне<sup>[258]</sup>, о пышности наполеоновского двора и забыв о своей собственной славе, дон Амадео наслаждался райским уединением в парагвайской глуши. Покровительствуемый, любимый, почитаемый. В то время как приводились в боевую готовность войска, плелись заговоры, писались бумаги, приезжали эмиссары со всех концов света, выступали несомненно авторитетные ученые, но также и сомнительные политиканы, которые старались использовать Бонплана в своих интересах, старина Эме присылал мне целебные травы, смолистые луковицы и фосфоресцирующий порошок Корвизара.

Грансир<sup>[259]</sup> был не таков, как другие. Он приехал за Бонпланом. Увидел Парагвай и убедился в лживости росказней о нашей стране. Сказал с полной ясностью то, что должен был сказать, не слишком греша против истины. За океаном от него ждали известий самые выдающиеся ученые того времени. Издалека они видели в Бонплане человека, которым он уже не был: Гумбольдт<sup>[260]</sup> — Бонплана, который спас его от кайманов во время кораблекрушения на Ориноко, был его спутником в снегах Чимборасо, среди ночи разыскивал своего товарища в чаще эквадорской сельвы; другие, люди с павлиньими глазками вместо глаз, — ученого царедворца из Мальмезона и Наварры, искусного садовника Жозефины. Самые прозорливые — корифея науки, естествоиспытателя, который, исколесив вместе с Гумбольдтом всю Америку, где они в общей сложности проделали путь в девять тысяч лиг, вернулся в Париж с коллекцией растений, в которой были представлены шестьдесят тысяч видов, в том числе около десяти тысяч доселе неизвестных. Гумбольдту и Бонплану, Кастору и Полуксу природы, не суждено было встретиться вновь под экваториальными созвездьями.

Как вам живется в Мисьонесе, дон Амадео? — спрашиваю я. Чудесно, Ваше Превосходительство! Любопытно, что он не выпаливает это по-французски. Следит за собой, извлекая урок из того, что произошло с Грансиром, когда тот приехал

«выручить его из плена». Верни этому пришельцу, приказал я майордомо<sup>[261]</sup> Итапуа, его дерзкое письмо и скажи ему от моего имени, что его до смешного надменный тон, неразборчивый почерк и скверные чернила делают эту легковесную бумагу непонятной и не заслуживающей внимания. Скажи так называемому и, без сомнения, мнимому посланцу Института Франции, что мы не даем разрешения на въезд лицам, которые могут быть заподозрены в попытках подрыва безопасности, спокойствия и независимости нашей республики. Что за смехотворный предлог выдвигает француз, заявляя, что приехал сюда в поисках слияния или соединения Амазонки и Рио-де-ла-Платы<sup>[262]</sup>? Даже если бы оно существовало, хотя всем известно, что его здесь нет, мы не открыли бы доступ в нашу страну натуральным шпионам под видом натуралистов: прикрываясь интересами науки и утаивая свои истинные цели, они всюду суют свой нос и занимаются другими делами, помимо научных изысканий, которые ведут на словах или для виду. И кроме всего этого, как может посланец Института Франции ссылаться на незнание испанского языка? Что же здесь делать невеждам? Если он не знает нашего языка, то и правительство не обязано знать его язык. Скажи поэтому кабальеро Грансиру, что мы здесь не говорим по-французски и что правительство Парагвая не намерено оплачивать переводчика для того, чтобы выслушивать и уразумевать его лживые речи, так что он не только не будет принят, но и должен смазывать пятки. Иначе говоря, дорогой майордомо, пусть этот новый шпион, или кто он там есть, немедленно убирается восвояси, если не хочет, чтобы ты с ним расправился по-свойски, то есть попросту расстрелял его, как ты привык поступать с непрошеными гостями с того берега.

Старина Амадео знает, что я говорю по-французски, но у него лишь ненароком срываются с языка словечки и междометия, которые людишки, щеголяющие ученостью, намеренно вставляют в свои писания, чтобы сделать вид, будто знают то, чего не знают. Как вы думаете, удастся вам здесь собрать шестьдесят тысяч видов растений? О, я думаю, oui, oui, Monsieur le Dictateur<sup>[263]</sup>, если Dieu<sup>[264]</sup> и Ваше Превосходительство позволят! Я слышу веселый смех жизнерадостного дона Амадео. Парагвай — обетованная земля для растений, Ваше Превосходительство: их здесь больше, чем звезд на небе или песчинок в пустыне. Я упорно обследовал оболочки нашей планеты. Я раскрывал их, как книгу, в которую три царства природы вместили свои архивы. На каждой странице этой книги каждый вид, прежде чем исчезнуть, оставил свой след, память о себе. Сам человек, последним появившийся на свет, оставил доказательства своего древнего существования. Вы прочли все эти страницы, дон Амадео? Это невозможно, Ваше Превосходительство! На это потребовались бы миллионы лет, да и через миллионы лет мы были бы еще только в начале! Что вы скажете о страницах этой книги в Парагвае? Мне нужно их еще изучать и изучать, Ваше Превосходительство. Обшаривать оболочку за оболочкой до самой глубины. Читать слева направо и справа налево, сверху вниз и снизу вверх, на лицевой стороне и на обороте. Этого мало, дон Амадео. Здесь вы должны читать эти страницы с бескорыстной страстью. Абсолютно бескорыстной. Тот, кто достиг бы этого, положил бы начало невиданной породе людей на этой планете. Такие, какие мы есть, мы не способны даже представить их себе. Вы правы, Ваше Превосходительство. Я собрал в вашей стране, где все три царства природы в высшей степени богаты и разнообразны, около ста тысяч растений и открыл двенадцать тысяч совершенно неизвестных видов. Я хотел бы, Monsieur le Dictateur, остаться здесь до конца моих дней, если Ваше Превосходительство мне позволит. По мне, дон Амадео, вы можете

оставаться здесь сколько угодно. Здесь мы имеем дело с вечностью, Я — в своей сфере, вы — в вашей. Но он был впутан в клубок заговоров, козней, происков врагов нашей страны. Я не говорю, что он предоставлял себя в их распоряжение, но так или иначе ничтожные фальсификаторы использовали его.

Большая ошибка, сказал сам Грансир, — думать, как думают в Париже и в Лондоне, что диктатор Парагвая не отпускает Бонплана по причине личной ненависти или по капризу. Нет, господа, дело обстоит не так, и, если бы не крайне трудное положение, в котором находится диктатор Парагвая, окруженного беспокойными республиками, если бы не его горячее желание заставить всех уважать его страну и установить свободное общение между нею и остальным миром, г-ну Бонплану не приходилось бы вот уже пять лет томиться в плену вместе с другими французами, итальянцами, англичанами, немцами и американцами, которым выпала та же участь. Наконец кто-то кое-что понял. Эти немногие узники особого рода, не принадлежащие к числу предателей и заговорщиков, взяты в заложники ради свободы целого народа. Думать, что Верховный Диктатор способен поддаться страху и уступить угрозам, — значит плохо знать его дух и характер, добавляет Граисир. Да, господа, это значит плохо знать меня. Не верите, спросите у самого Боливара, которому я даже не ответил на его ноту, эту смесь мольбы, жалобы и угрозы. Или у Пэриша, генерального консула Британской империи в Буэнос-Айресе, и других авантюристов рангом пониже, которые осмелились сунуть нос в Парагвай, — они тоже могут кое-что сказать на этот счет. Граисир правильно писал барону Гумбольдту. Истины ради я должен сказать, замечает француз, что, судя по всему, что я здесь вижу, жители Парагвая в последние 12 лет пользуются полным покоем благодаря хорошему управлению. В этом отношении Парагвай являет разительный контраст с другими странами, где я побывал до сих пор. Здесь путешествуют без оружия; по большей части даже не запирают двери домов, потому что всякий вор карается смертной казнью, а владельцы дома или коммуна, где произошло ограбление, обязаны возместить потерпевшему убытки. Нищих не видно; все работают. Дети учатся за счет государства. Почти все жители умеют читать и писать. (Я опускаю его суждения обо мне, поскольку мне докучают даже искренние похвалы со стороны частных лиц.) Быть может, со временем эта страна приобретет большую важность для европейской торговли. Диктатор весьма раздражен поношениями по его адресу, которые правительство Буэнос-Айреса распространяет в европейской печати. Вчера я имел случай побеседовать с одним земледельцем, соседом Бонплана, с которым тот видится каждый день. Этот земледelec утверждает, что Бонплан прекрасно чувствует себя, возделывает земли, отведенные ему диктатором, занимается медициной, перегоняет мед на алкоголь и по-прежнему с увлечением собирает и описывает растения, изо дня в день пополняя свои коллекции. «Узник» Бонплан писал своему коллеге, ботанику Делилю: «Я все такой же веселый и бодрый, каким вы меня знали в Наварре и Мальмезоне. Денег у меня немного, зато все меня любят и уважают, а для меня это и есть настоящее богатство».

Я позволил ему увезти с собой все свое имущество — скот, деньги, коллекции, бумаги и книги, ликерно-водочную фабрику, столярную и слесарную мастерские, кровати и прочую обстановку госпиталя и родильного дома. Парагвайские крестьяне проводили француза до границы и простились с ним с пением гимнов, плачем и хвалебными кликами. Батальон, расквартированный в Итапуа, эскортировал флотилию путешественника при переправе через Парану. Овация не смолкала, пока

толпа не потеряла его из виду. Солдаты из эскорта по возвращении рассказали, что, едва он ступил на другой берег, у него украли четырех лошадей. Сразу видно, что мы уже не в Парагвае! — сказал дон Амадео, обернувшись в нашу сторону со слезами на глазах. Воспользовавшись этим, коррентинцы украли у него остальных лошадей вместе с поклажей.

В начале февраля 1831 года Бонплан нехотя уехал из Парагвая, где он прожил десять лет. Делегат Ортельядо, который оказывал ему покровительство в течение всего этого времени, рассказывает, что, когда настал час расставания и они со слезами обнялись, Бонплан сказал ему: меня привезли сюда против воли, дон Норберто, и уезжаю я тоже против воли. Не говорите так, дон Амадео! Ведь ваша милость прекрасно знает, что, если бы вы захотели остаться, наш Верховный не отказал бы вам в разрешении на жительство. Бедняга Ортельядо всегда был чувствительным глупцом. Бонплан дал ему урок: нет, дон Норберто. Я благодарю вас за ваши слова, но прекрасно знаю, что Верховный так же непреклонен, как и добр. Когда он этого не хотел, никакая сила в мире не могла меня вырвать отсюда. Теперь он считает, что я должен уехать, и никакая сила в мире не заставит его отменить свое решение. Так и было, дон Амадео. Страницы этой земли вас кое-чему научили.

За последние десять лет я имел лишь смутные известия о нем и его трудах. Он покинул Парагвай вскоре после смерти надменного Боливара. Бонплан отправился в изгнание, провожаемый благословениями и слезами чужого народа, с которым он сроднился. Боливар бежал на чужбину, видя, как рвет его портреты родной народ, который он освободил и который его изгнал. Умер, забытый и презираемый, и декан Грегорио Фунес, агент и шпион Боливара в Ла-Плате. Когда этот дикий декан соблазнял Боливара химерическими надеждами, подстрекая его вторгнуться в Парагвай, я сказал ему: оставьте эти глупости, отец Грегорио. Есть вещи возможные и невозможные. Вы должны понимать, что хотите невозможного. Во всяком случае, если Боливар собирается напасть на нас, пусть он знает, что погибнет много народа и что его не ждет ничего хорошего. Жаль, если такой благородный и заслуженный человек останется здесь и будет чистить мне сапоги и седлать лошадей. Советую вашему преподобию основать здесь бюро похоронных процессий, что сделает честь вашему славному имени и будет отвечать вашим природным наклонностям. Здесь много хорошего дерева для гробов и лучшие в мире гробовщики. Гробы обойдутся вам очень дешево, почти даром, и вы сможете оптом продавать их родственникам тех портеню, которым вздумается ступить на эту священную землю, вы меня слышите? Священную! Если дела у вас пойдут хорошо, вы сможете расширить торговлю за счет контрабандных поставок Разъединенным Провинциям. Алькабала, акцизный сбор, налог с годового дохода и военный налог, а также пошлина на вывоз составят в общей сложности не больше 50% стоимости каждой единицы товара, поступившей в продажу. Транспортировать гробы можно было бы на недогруженных судах или плотах, что сэкономило бы вам, уважаемый декан, расходы на фрахт. Мало этого. Флотилии гробов, превращенных в каноз, за изъятием тех, которые будут уже заняты их хозяевами, с честью павшими на поле боя, могли бы перевозить в виде бесплатного приложения разного рода товары размером и весом с человека. Не знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь, преподобный отец, но я хочу сказать именно то, что говорю: таким способом предприниматель мог бы возместить себе расходы на феральные перевозки... Как? Нет, отец Грегорио, вы не расслышали. Я сказал не «федеральные», а феральные. От латинского *feralis* — погребальный. Никак не

отделаюсь от своей проклятой привычки придумывать или образовывать слова! Впрочем, применительно к Разъединенным Провинциям «феральный» теперь синоним федерального, а не варварский неологизм, обозначающий воображаемую реальность. Реальность, которая стала еще более варварской, погребальной и ирреальной по милости таких людей, как вы, достопочтенный Грегорио Фунес.

Несчастный Симон Боливар умер в изгнании. Похоронили и декана-интригана, его агента и шпиона в Ла-Плате. Отдали червям, беспристрастным и безучастным читателям праведников и грешников, эту старую, растрепанную книгу.

*(Написано в полночь)*

Чудом выжил только старый Бонплан. Я говорю «чудом», отнюдь не воздавая этим хвалы так называемому божественному провидению, а просто признавая тайный закон случайности. Едва выехав из Парагвая, дон Амадео попал в вихрь анархии. Переживая перипетию за перипетией, испытание за испытанием, несчастье за несчастьем, он, должно быть, с тоской вспоминал годы своего мирного уединения в Санта-Марии. Я узнал, что недавно, в кровопролитной битве при Паго-Ларго<sup>[265]</sup> между войсками Риверы и Росаса (мои безмозглые и невежественные соглядатаи не умеют осведомлять меня об общей диспозиции сражающихся сил), Бонплан едва уцелел в числе немногих из тысячи трехсот пленных, попавших в руки генерала Эчагуэ. Говорят, он снова где-то поблизости от Сан-Борхи, на берегах реки Уругвай, в Санта-Ана-де-Мисьонес или в Япейу. Дон Амадео всегда ухитрялся быть сразу в нескольких местах. А это все равно что иметь несколько жизней. Одни видят его на востоке, другие на западе. Тот утверждает, что встречал его на севере, другой — на юге. Кажется, что речь идет о многих разных и разных людях, но это один и тот же человек. Хорошо бы, мои сыщики отыскали его и прислали гонца с луковицами страстоцвета и порошком для волшебного настоя. Но главное, с известиями о нем. Я представляю его себе таким же, как всегда: даже среди конского топа, потоков крови и леса копий он перелистывает страницу за страницей Великой Книги. Я вижу его голубые, как небо, глазки, вопрошающие следы древних существований. Изучающие секретные архивы. Тайники, где природа держит на огне свои реторты к тигли. Где она терпеливо ждет миллионы лет, поглощенная своей филигранной работой. Создавая соки, крупинки, камни. Станных существ. То, что уже ушло. То, что еще не пришло. Невидимые творения, переходящие из эпохи в эпоху. Эй, дон Амадео! Что вы видите на этих страницах? Издалека доносится его голос: мало что вижу, Grand Seigneur<sup>[266]</sup>. Уж очень много пыли от этого кавардака. Вихри пыли. Целые пустыни опустели: с огромных, больше Сахары, пространств тучами взметнулся песок. Песчаные галактики заволакивают небо, окутывают солнце. Какая тяжесть нависла! Ржущий самум несется, тысячи и тысячи копий скачут по дюнам, и на каждом по трупу. Надо подождать, пока все это уляжется, поутихнет, прояснится, чтобы снова можно было читать. А огни, вы видите огни? Неужели при вашем остром зрении вы не видите горящих костров? Mais oui, Monsieur, Grand Seigneur!<sup>[267]</sup> Огонь я вижу. Я повсюду вижу огни. Вы говорите, это биваки? Да, да, и зола боев, под которой тлеют угли. Блуждающие огни светятся в лесах, на полях сражений. Загораются, гаснут. Но пламя жизни не угасает. О да! Оно всегда здесь и повсюду. Всегда пылает, пылает. При свете этого костра я иногда читаю. Вижу, обдумываю, раскрываю темные загадки, которые хорошо видны только с оборотной стороны... Что это, французик принимается копировать Грасиана<sup>[268]</sup>? Хорошо, дон Амадео, тогда ничего не потеряно. Только... Подождите! Слушайте, слушайте хорошенько то, что я вам скажу.



Я слушаю вас с полным вниманием, Grand Seigneur. Только этот огонь, дон Амадео, адский огонь, разве нет? Я снова слышу веселый смех Бонплана, который доносится до меня со всех четырех сторон света. Mais non, mon pauvre sir<sup>3</sup>. Если ад существует, как мы привыкли думать, то он не может быть ничем иным, кроме вечного отсутствия огня. Этот старый французик, более простодушный, чем Кандид, корифей универсального оптимизма, хочет утешить меня, ободрить, воодушевить. Хотя, может быть, он и прав. Он совершенно прав. Если существует ад — это абсолютная пустота абсолютного одиночества.

Один. Один. Один в черноте, одни в белизне, один в сером сумраке, один в тумане, один в небытии. Железный стержень в центре солнечных часов. Точка, где сходятся наконец начало и конец. Старый крестьянин сидит под навесом у своей хижины в Тобати и курит сигару, недвижимый среди окутывающего его дыма, белесого, как тамошняя каолиновая глина. Его не-жизни уже сто лет. Но в нем больше от живого человека, чем во мне. Он еще не родился. Он ничего не ждет, ничего не желает. И все-таки в нем больше от живого, чем во мне. Эй, дон Амадео! Эй! Теперь вы позволяете мне уйти. Отпускаете меня, освобожденного от чрезмерного самообожания, этой формы смертельной ненависти ко всем. Если вы ненароком найдете здесь след того вида, к которому я принадлежу, сотрите его. Затопчите. Если где-нибудь в глуши, в какой-нибудь расщелине вы обнаружите этот сорняк, вырвите его с корнем. Вы не ошибетесь. Он должен походить на корешок маленького растения, напоминающего чешуйчатую ящерицу с зубчатым хребтом и хвостом и с изморозью в глазах. Это растение-животное такое холодное, что огонь гаснет при одном соприкосновении с ним. Я не ошибусь, добрейший сеньор. Я прекрасно знаю этот сорняк. Он пробивается повсюду. Его вырывают, а он опять появляется. Растет. Растет. Превращается в огромное дерево. Гигантское дерево абсолютной власти. Приходит кто-нибудь с топором. Валит его. Но на его месте вырастает другое. С этой зловредной породой, самовластьем, не будет покончено, пока массы не вступят в свои права и сами не возьмут власть над всем уродливым и ядовитым в человеческом роде. Э, дон Амадео! Вы заговорили моими словами? Вы подражаете мне? Или это мой правщик и комментатор опять прерывает нашу беседу? Эй, дон Амадео! А? Он мне уже не отвечает. Молчит как немой. Как мертвый. А может, он тоже умер? Ответь мне, французик! А? Il n'y a pas de mais qui tienne!<sup>[269]</sup> Вставлю-ка и я словечко по-французски, хотя мой французский из рук вон плох. Не знаю, правильно ли я это написал, но у меня уже нет словаря под рукой. Эй, французик! Если ты не умер, если твоя голова еще не попала в клетку, скажи мне что-нибудь! Ах, как ты можешь молчать теперь, именно теперь, когда в этой могильной тишине мне так нужно услышать голос, любой голос, хотя бы кваканье лягушки!

*Эме Бонплан вернулся в Парагвай в 1857 году на французском судне «Ле Биссон» с целью коллекционирования растений в округе Асунсьона, столичного города, где он не смог побывать во время своего десятилетнего мягкого плена в правление Верховного. Как оказалось, его также живо интересовало, что случилось с останками Пожизненного Диктатора. Указывавший место захоронения монолит перед главным алтарем храма Эикарнасьон исчез, и могила была осквернена. Все усилия что-либо выяснить натолкнулись на непроницаемое молчание как в официальных кругах, так и в народе.*

*На следующий год, в возрасте 85 лет, знаменитый естествоиспытатель скончался (11 мая 1858). Его тело было перевезено в Рестаурасьон (ныне Пасо-де-*

лос-Либрес). К моменту смерти он был директором-учредителем Музея естественных наук Корриентеса — почетный пост, предоставленный ему вскоре после свержения Росаса. Губернатор отдал распоряжение набальзамировать труп, чтобы все население Корриентеса могло принять участие в похоронных почестях, которые должны были продолжаться семь дней. Однако предусмотренная церемония была нарушена одним пьяным, набросившимся с кинжалом на труп, выставленный на свежий воздух в переднем патио дома и окутанный дымом ароматических и медицинских трав, употребленных для его мумификации по методу, указанному в рукописях самого Бонплана. Выходка пьяного объяснялась тем, что он вообразил, будто знаменитый и всеми любимый врач отказывался лечить его — вещь совершенно невозможная, учитывая вошедшие в поговорку благожелательность и любезность покойного.

Потомок Верховного, старый Макарио де Итане, рассказал этот эпизод одному посредственному писателю, который так излагает его:

«За несколько лет до Великой Войны я поехал к врачу-гуасу из Санта-Аны попросить у него лекарств для моей сестры Канде, которая была тяжело больна: у нее остывала кровь. Я вспоминал свою прежнюю поездку к нему, двадцать лет назад, когда меня послали вместе с отцом за бальзамом для Караи Гуасу (Верховного). На этот раз мне не повезло. Я приехал напрасно. Француз тоже был болен. Так мне сказали. Я три дня ждал, сидя напротив его дома, когда он выздоровеет. По вечерам его выносили в кресле на веранду. Он тихо сидел в нем, толстый и бледный, и дремал при свете луны. В последний вечер какой-то пьяный стал расхаживать туда и назад перед больным, крича ему: Добрый вечер, Караи Бонплан! Хвала Пресвятой Деве Марии, Караи Бонплан!.. Он все больше злился и все громче кричал, а под конец уже прямо обругал его. Врач-гуасу, голый, грузный и белый, не обращал на него внимания — дремал себе и дремал. Наконец пьяный не выдержал. Он вытащил нож и, поднявшись на веранду, с яростью ударил старика. Тут я бросился на пьяного и вырвал у него нож. Сбежался народ. Потом мы узнали, что врач-гуасу умер за три дня до того. Для меня это было все равно как будто он умер во второй раз, и за то, что я хотел спасти его, хотя бы на этот раз, я был арестован вместе с преступником-пьяницей, который через три дня вышел на волю живым и здоровым. А меня продержали в тюрьме три месяца на хлебе и воде, потому что полиция думала, что я был заодно с пьяным. Видно, никому в этом мире нельзя делать добро. Даже мертвым. Приходят живые и сажают тебя в темную, обвиняя в чем попало. Тем более если ты беден. Обвиняют тебя в том, что ты убил мертвого, в том, что ты подтер себе задницу птицей, в том, что ты жив.

В чем попало. Только бы всыпать тебе. Пьянице, который приходился губернатору дальним родственником, ничего не пришлось объяснять. А я объяснял, как было дело, да чем больше объяснял, тем меньше мне верили и тем сильнее меня дубасили. Под конец обо мне забыли. Ни воды, ни лепешки. Я жарил москитов на окурке сигары, тем и питался. Но они были очень тощие. Тощее меня. Я удрал оттуда, только когда совсем исхудал — кожа да кости. С последней затяжкой смешался с дымом, пробрался через трещину в самане и был таков — духу не перевел, пока до своих мест не добрался». (Прим. сост.)

На двухмачтовую сумаку падают отвесные лучи солнца. Она плывет на веслах вниз по обмелевшей реке. Ни малейшего движения воздуха. Парус на бизани бессильно обвис. В иные часы его надувают порывы горячего ветра с низовья, толкая

судно назад, против течения. Тогда двадцать гребцов с удвоенной силой налегают на весла. Слышатся гортанные крики. Сверкают белки выпученных от натуги глаз. Маслянисто блестят от пота черные тела, налегающие на шесты. Солнце пригвождено к зениту. Если проходят дни и ночи, то проходят они за щитом Иисуса Навина, и мы не знаем, спит ли нас полуденный свет или окутывает полуночный мрак. Теперь солнце мужского рода, а луна женского. Она расстегивается по фазам и вот, полнолицая, нагло показывается нагой. Гребцы, индейцы и мулаты, изнывая от желанья, корчась от желанья, смотрят на нее, пока гребут, а гребут они и при молодой луне, и при ущербной. Только они видят, как она меняет форму. Видят, как она качается в своем старом кресле-качалке. Когда-нибудь и человек будет качаться в нем, сожительствуя с этим животным цвета цветов. Одиноким и тихим животным медовой масти. Хамелеоном ночи. Бесплодной свиньей, которая надувается, показывая круглый, как у беременной, живот с темной впадиной пупка, или поворачивается на бок, так что вырисовывается лишь изгиб бедра. Это плодоноснейшее бесплодие. Она проращивает семена. Вызывает приливы и отливы. Правит кровями женщин и мыслями мужчин. Да ну тебя к черту, самка-спутник. Я уже обломал об тебя зубы.

Мы пересекаем поле виктории-регии. Оно протянулось больше чем на лигу. Вся река покрыта черпаками водяного маиса. Черные шелковистые бутоны всасывают свет и испускают дыхание траурных венков. Пахнет тинной, окаймляющей раскаленные пляжи. Несет воню с отмелей, где, как опара, пузырится ил. Смердят дохлые рыбы. Тянет гнилью с островов камалоте<sup>[270]</sup>.

Бьет в нос, беспощадно преследуя нас, зловоние землисто-ржавой воды.

Сумака переполнена дубленой кожей. Йербой-мате. Бочками с салом, воском, жиром. Время от времени бочки трескаются от жары, и их содержимое выливается в яло. Вспыхивают язычки пламени. Хозяин, прыгая, как козел, из стороны в сторону, тушит их своим пончо. Тюки специй. Лекарственные растения. Пряности. Но внутри вони — другая вонь. Невыносимая вонь, путешествующая вместе с нами. Неисчислимы кубические вары, тонны, вздымающиеся в сто раз выше грот-мачты горы зловония. Оно исходит не из трюма сумаки, а из трюма нашей души. Вокруг нас смердит, как на воскресной мессе.

*Покойников хоронили под полом церкви или вокруг нее; от жары, сопутствующей парагвайскому вечному лету и усугубляемой скоплением верующих, из щелей в полу поднимался смрад, который и по родил поговорку, существующую и поныне, хотя происхождение ее уже забыто: «Смердит, как на воскресной мессе». (Прим сост.)*

Этот смрад не может издавать что-либо здоровое или земное. Это богохульная вонь. *Negotium perambulans in tenebris*<sup>[271]</sup>. Такая вонь донеслась до меня лишь однажды, когда я стоял возле умирающего предмета — старика, которого больше семидесяти лет считали человеческим существом. И, может быть, еще в затхлом помещении генеалогического архива провинции, где я искал данные о моем происхождении. Разумеется, я их не нашел. Их нигде не было. Была только вонь, и воняло внебрачным рождением. Я обратился к правосудию с ходатайством установить и удостоверить мое происхождение и добропорядочное поведение. Твое происхождение? Ты узнаешь его по вони, шепнул мне кто-то на ухо. Родовитость узнается по запаху, говаривала няня Энкарнасьон. Чем родовитее человек, тем хуже он пахнет после смерти. Выходит, эта вонь — вся моя родословная? Семь лжесвидетелей, отвечая на поставленные вопросы, показали под присягой, что им

известно мое происхождение, что я принадлежу к благородному и достославному роду, сохранявшему из поколения в поколение чистоту крови, и что оный упоминался как таковой и признавался таковым в документах, кои никем не оспаривались. Что за язык! Они оспаривались многими, в том числе и мною самим. Разве не говорили, что донья Мария Хосефа де Веласко-и-де Йегрос-и-Ледесма, знатная дама, не моя мать? Разве не говорили, что карио-лузитанский мошенник<sup>[272]</sup> прибыл в Парагвай из Бразилии со своей любовницей, которую потом бросил, чтобы сделать приличную партию? Обвенчавшись, как велит Святая Матерь Церковь, он продолжал под ее покровительством не просто кривить душой, а скручивать ее, черную, как скручивают сигары из черного табака. Тем не менее свидетельство о моей генеалогии и добропорядочности было мне выдано с одобрения аудиторов и прокуроров, не высказавших никаких возражений. Они попали пальцем в небо. Мое родословное дерево растет в канцелярии. Хотя у меня нет ни отца, ни матери и я даже еще не родился, согласно нотариально заверенным лжесвидетельствам, я был зачат и произведен на свет в законном браке. Но это не разгоняет вонь темного происхождения, фальсифицированного в дворянском гербе моей несуществующей фамилии, где изображена черная кошка, вскармливающая белую мышь, на сером поле, разделенном красными полосами на девять частей в ознаменование семейных разделов.

*В неизданной переписке между доктором Вентурой и братом Мариано Игнасио Веласко по поводу «Воззвания» последнего затрагивается эта генеалогическая тайна:*

*«Другое замечание Ваших критиков, преподобный отец, относится к спорной генеалогии тирана.*

*Они полагают, что для того, чтобы заинтересовать наших соотечественников, Вам не следует останавливаться на том, что диктатор — сын иностранца, поскольку в наших провинциях в силу отсталости и невежества коренных жителей наиболее способные руководители всегда или почти всегда иностранцы.*

*Равным образом, находят они, не имеет смысла бросать тень на его происхождение, упоминая о двух матерях, которых ему приписывают: одной знатного происхождения, другой- простолюдинки и иностранки, а также о сплетнях, которые ходят насчет дат его двойного рождения.*

*На самом деле, как Вы знаете лучше меня, будучи его родственником, по общепринятому мнению, Диктатор — сын доньи Марии Хосефы Фабианы Веласко-и-де Йегрос-и-Ледесма, Вашей двоюродной сестры, рожденный в странном браке этой знатной дамы с пришлым простолюдином, португальцем Хосе Энграсией, или Грасиано, или Гарсией Родригесом, родом из округа Мариана вице-королевства Жанейро, как утверждают некоторые и как поклялся сам иммигрант перед губернатором Ласаро де Риберой.*

*Перед Алосом и Бру он поклялся, что он португалец родом из Опорто в Португальском королевстве. В одном из своих многочисленных, с какой-то одержимостью повторяемых заявлении с требованием установить и удостоверить в судебном порядке его происхождение Диктатор утверждает, что его отец был француз. А некоторые из его приверженцев уверяют, что он был испанец из Сьеррас-де-Франсиа — области, расположенной между Саламанкой, Касересом и Португалией.*

*Чтобы увеличить путаницу и с ее помощью скрыть свое ублюдочное происхождение, карио-лузитанский авантюрист хитро использовал намеренно неправильное написание своей фамилии: он заменил португальский суффикс es испанским ez, и в этой форме она и фигурирует в некоторых документах; испанизировал он и материнскую фамилию (которая писалась через с — franca), хорошо известную среди паулистских бандеиранте.*

*Достоверно только одно; после того как он прожил в Парагвае шестьдесят лет, подвизаясь на самых различных поприщах — был он и рабочим на табачной фабрике, и военным, и рехидором, и управителем индейских селений, — никто не знает, кто он и откуда взялся.*

*Это иностранец, скажет о нем один губернатор, и мы даже не знаем, португалец ли он, француз, испанец или лунатик. В последнем, во всяком случае, нельзя сомневаться, судя по явным признакам вырождения у его потомства.*

*Нас, патрициев, особенно мучит загадка союза доньи Марии Хосефы Фабианы с карнолузитанским авантюристом; этот брак не имеет приемлемого объяснения, кроме скабрёзной сплетни, которая ходит на этот счет и о которой Вам, Ваше преподобие, полагаю, тоже известно.*

*По одной версии, как я уже сказал, Диктатор — сын доньи Хосефы Фабианы и родился 6 января 1766 года, по другой — он родился в тот же день и месяц, но в 1756 году, то есть на десять лет раньше, от любовницы или сожительницы Хосе Энграси, или Грасиано, или Гарсии Родригеса, которую этот субъект, по-видимому, привез с собой в Парагвай, куда он прибыл в числе португало-бразильцев, завербованных в 1750 году губернатором Хайме Санхустом по просьбе иезуитов для работы на табачной фабрике.*

*Как одна, так и другая версия окутана туманом более или менее апокрифичных свидетельств и документов; таким образом, неизвестно ничего достоверного относительно фактов, касающихся происхождения и генеалогии Диктатора, которые он старался сохранить в тайне, пока не достиг абсолютной власти.*

*Но это уже другое дело».*

Не я ли крюк, на котором висит ноктоуз зловонной буссоли? Сжимая руль, лоцман украдкой поглядывает на меня и время от времени меняет румб, лавируя между предательских песчаных банок. Однако, отягощенная плотной массой вони, более весомой, чем груз, сумака погружается ниже ватерлинии. Добро пожаловать, звериный запах, если ты один! Мой спутник, мой товарищ. Бесплезно собираться с мыслями, разбегающимися под яростным натиском жизни. Я останавливаюсь на том, что мне памятно: на том, как взывают к Живому, который не умирает и не умрет. К имени Того, кому принадлежит слава и непреходящность. Но не слова. Слова ничьи. А мысли принадлежат всем и не принадлежат никому. Точно так же как эта река и как животные. Они не знают смерти, не знают воспоминаний. Беглецы из прошлого и из будущего, они не имеют возраста. Эта вода вечна, потому что быстротечна. Я вижу ее, касаюсь ее именно потому, что она в одно и то же мгновение утекает и притекает. Жизнь и смерть образуют пульс ее материи, и это не только фигуральное выражение. А что я могу сказать о себе? Я значу меньше, чем текущая вода. Меньше, чем животное, которое живет и не знает, что живет. В эту минуту, когда я пишу, я могу сказать: моему рождению предшествовала бесконечная длительность. Я всегда был Я; иначе говоря, все, кто говорили Я в течение этого времени, были не кто иные, как Я и

Он вместе. Но к чему накапливать столько глупостей, которые уже изрекали и повторяли другие глупцы. В ту минуту, в эту минуту, когда я сижу на прочной вони, я не думаю о таком вздоре. Я четырнадцатилетний мальчик. Иногда я читаю. Иногда пишу, примостившись на корме среди кип йербы и тошнотворно пахнущих шкур. Беззаботность. Забавы. Я еще не выделился из природы. Время от времени я опускаю руку в теплую воду.

Мы в пути уже двадцать дней. Человек, который называет себя моим отцом и который теперь занимается торговлей, командует своим судном, выглядывая из-за бочек, как из бойниц крепости. Он плывет в порт Санта-Фе, где неумолимо взимается пошлина на табак вместе с другими грабительскими налогами на парагвайские товары.

Мой предполагаемый отец решил послать меня в Кордовский университет. Он хочет, чтобы я стал священником. Хочет, чтобы я стал плутом. Хочет избавиться от моего докучливого присутствия. Но также хочет сделать из меня свою опору после того, как его отпрыска выдубят в церковной дубильне. Пока что он погрузил меня на сумаку вместе с кожами и специями, салом и маисом. Я последний, самый никудышный из его товаров.

Кто-то, возможно знатная дама, которая считается его женой и моей матерью, предсказал: «Когда-нибудь этот невзрачный мальчик проклянет своего отца на вершине Серро-дель-Сентинела!» Знатная дама была нема. Из-за какой-то болезни горла она потеряла речь. По крайней мере я никогда не слышал из ее уст человеческого голоса и даже напоминающего его звука. Так что предсказание, должно быть, было написано на табличках, которыми она пользовалась для общения. Однажды во время сиесты, когда она спала, я утащил у нее грифельную доску и мелки. Истолок их молотком в порошок. Затаптал в землю на пустыре. Ее снабдили новыми грифельными досками и мелками. Она опять написала, теперь более твердым почерком: «Когда-нибудь этот невзрачный мальчик проклянет своих родителей!» Написав это, немая сломала грифельную доску и разразилась рыданиями. Она безостановочно плакала семь дней кряду. Приходилось то и дело менять ей мокрые от слез простыни, наволочки, пододеяльники. Никто не знал, что это значит. Возможно, кто-нибудь из друзей дома — полковник Эспинола-и-Пенья (о котором тоже ходили слухи, что он мой отец), или хитрый брат Веласко, или кто-то еще — прочел в какой-нибудь книге это загадочное пророчество. Няня повторяла его в своих песнях. Она пришила его к подкладке моей судьбы.

Я никогда никого не любил, иначе я это вспомнил бы. Что-нибудь осталось бы от этого в моей памяти. Я любил только во сне, и тогда предметом моей любви были животные. Фантастические, потусторонние животные. И неописуемо совершенные человеческие существа. В особенности одно, в котором воплощались они все. Призрак-женщина. Звезда женского пола. Блуждающая комета. Неземное создание, сияющее белизной. С голубыми глазами. С длинными-длинными волосами, которые проступают сквозь дымку, заволакивающую горизонт, сметают облака и с невероятной скоростью покрывают весь небосвод.

Я не любил Клару Петрону Савала-и-Дельгадильо. По крайней мере нормальной любовью, которую не дано испытать такому, как я, аномальному существу. Разве ты не понимаешь, что в нормальном мире невозможное недостижимо? — твержу я себе. В особенности для человека с таким характером, как у меня, всю жизнь бдительно

следящего за самим собой, всю жизнь не доверяющего ничему, даже самому надежному.

Откуда эти внезапные приступы, пароксизмы ослепляющей ярости? Эти дикие вспышки? Этот гнев, это остервенение, вдруг поднимающееся во мне с опустошительной силой урагана? Беспричинные и бессмысленные, эти ужасные извержения сделали мою жизнь адом. Стоило труда родиться дважды, чтобы так долго умирать! И одного-то раза больше чем достаточно. Я так устал!

В известном смысле, пожалуй, даже жаль, что так получилось. Что я не нашел, не заслужил хорошей жены, которая помогла бы мне быть спокойным человеком. Мужем. Не более того. И смириться с этим.

Тогда, быть может, я сидел бы на солнышке, покуривая сигару и шлепая по задочкам внуков и правнуков. Вдыхая аппетитные запахи, доносящиеся из кухни, прислушиваясь к звону приборов и гадая, что будет на ужин. Всеми уважаемый, почитаемый. Что за счастье жить в шлепанцах вместо того, чтобы стаптывать башмаки, тащась да тащась по старым и новым дорогам. Быть. Оставаться. Пребывать. По характеру своему я не любитель путешествий и дорожных передраг.

Ах, если бы не это ужасное внутреннее беспокойство, которое никогда не покидало меня! Я провел бы свою жизнь взаперти, в просторном пустом помещении, обиталище эха, а не в этой помойной яме. Ничего не делаю, только слушаю давнюю тишину. В обществе больших настенных часов. Мне бы только слушать сквозь дрему. Не шумы больного, взбаламученного ума, не урчание в животе, а тиканье часов. Следить глазами за маятником. Видеть, как свинцовые гири опускаются все ниже, пока я не поднимаюсь со стула. Я подтягиваю гири раз в неделю.

По латинской пословице, свое дерьмо хорошо пахнет (*stercus cuique suum bene olet*), но вынесла ли бы моя жена, как бы терпелива она ни была, превратности супружеской жизни? Что, если бы ей выпало на долю выйти замуж за человека, который, как рассказывает епископ гиппонский<sup>[273]</sup>, из-за скопления газов в желудке непрестанно пукал в течение шестидесяти с лишним лет, пока жизнь не отлетела от него, можно сказать, на крыльях ветров?

Но возьмем наилучший случай. Представим себе оптимистический вариант, опираясь на пример, приведенный Вивесом, толкователем святого: пример человека, который сохранял власть над своим задом, самым мятежным, самым шумным из наших органов. Он привел его к такому повиновению своей воле, что выпускал газы в сопровождении музыкальных пьес, постоянно меняя партитуру, так что многие посещали его, чтобы насладиться этими благоуханными концертами. Вивес утверждает, что подчас, когда виртуоз был в ударе, он поднимался на высоту искусства лучших волынщиков и самых знаменитых флейтистов страны. Это было нечто исключительное. Но подумаем на минуту о бедной жене человека с музыкальным задом. Как ей не сойти с ума, Слыша в течение сорока с лишним лет не прекращающиеся ни на минуту соло этого кларнета?

А ревматизм, каменная болезнь, бесчисленные расстройства, связанные с возрастом! Но не только эти неизбежные недуги расшатывают, подтачивают, разъедают супружеский союз. Надо иметь в виду наихудшее: одиночество вдвоем. Необходимость волей-неволей видаться, соприкасаться, выносить друг друга изо дня в день, до самой смерти. Следить друг за другом. Терпеть капризы, мании, прихоти другого. Духовный деспотизм, когда один не способен признать за другим право

думать иначе, чем он. Тут остается только никогда не садиться вместе за стол. Избегать другого. Никогда не разговаривать с ним. В особенности когда другой принадлежит к породе фанатиков, которые воображают, что возвеличиваются, извращая свою собственную природу; влюбляются в свое презрение; самосовершенствуются, становясь все хуже. Что за чудовище такой фанатик, который ужасается самому себе, для которого его собственные наслаждения тяжкое бремя! В этих условиях даже общество собаки достойнее человека, чем жизнь с сумасбродом-мужем, с истеричкой-женой. *Nostri nosmet poenitet*. Мы сами свое наказание, справедливо говорил Теренций.

Есть люди, скрывающие свою жизнь.

Нет; я не любил ни одной женщины, кроме этой кометы-женщины.

Я не смог полюбить Клару Петрону Савала-и-Дельгадильо. Если она и заняла место моей небесной Дульциней, то лишь на мгновение.

Как бы то ни было, Клара Петрона сливалась воедино со своей матерью, доньей Хосефой Фабианой. Она была сумеречной тенью этой женщины, которой я, а не портенью, дал имя Северной Звезды. Но это имя в действительности относится к светилу моего тайного космоса, который неведом и мне самому.

Когда любят, сердце расширяется. Любит ли человека тот, кто любит его за красоту? Нет; ведь он разлюбил бы его, если бы тот заболел оспой, которая убивает красоту, не убивая человека. Людей не любят. Любят их достоинства. Достоинства Клары Петроны, казалось бы непревзойденные, все же уступали достоинствам ее матери, а достоинства той не могли сравниться с достоинствами Северной Звезды — моего небесного божества.

Ребенком я называл ее Леонтиной. Быть может, потому, что чувствовал, как звучание этого имени, заимствованного из рассказов няни, вызывает во мне светлые отголоски. Из этого имени выросла история белокурой девочки. В нем сочетались фейерверочные огни, сила, хрупкость. То был бесполой звук, который только для меня обретал высшую женственность.

Ах, Северная Звезда! Переполненное сердце повсюду следовало за тобой. Бродило, как бездомный пес. Рыскало, как лев. В особенности по ночам. Ждал ли я найти в ней неожиданное? Когда идешь, не считай ворон, а смотри себе под ноги, не то попадешь в яму, говорила мне няня.

Я закрывал глаза в темноте. Шептал это имя. Видел сквозь веки ее сияние. В ту пору она тоже была ребенком. Я уже чувствовал тогда, что только ее мог бы любить. Ее белокурые волосы падали ниже пояса на тунику из ао-пой<sup>[274]</sup>, подпоясанную побегом испанского дрока. Ее волосы еще не стали хвостом кометы, озаряющей черные пятна в Южном Кресте между тремя Каплунами, о которых говорит Америго Веспуччи, повествуя о своем третьем путешествии. Но первое описание черных пятен, Угольных мешков, я через много времени нашел в «*De rebus oceanicis*»<sup>[275]</sup> Педро Мартира де Англии<sup>[276]</sup>.

Когда-то я ложился навзничь на траву и искал Северную Звезду в созвездиях Большой и Малой Медведицы. А моя кормилица, покрытая язвами, и Гераклит, которого она приводила за руку, потешались надо мной. Ты найдешь ее в яме, хрипела она. Женщина возникает из сырости, говорил он. Ищи ее в круговращении времен года, там, где луна подходит к цифре семь.



В сердце смешивается любовь с любовью. Все вмещается в эту сферу, в этот мир. В маленький мозг, который пульсирует, словно мыслит.

Много раз в моей жизни влюбленность подменяла любовь к Северной Звезде. Но лишь на миг. Только Северная Звезда неизменно оставалась в моем сердце, виделась мне в детских мечтах, стояла надо мной в пору возмужалости, светила мне в старости — этом печальном втором детстве.

Попробуй снова закрыть глаза. Видишь ли ты сквозь веки ее сияние? Нет, теперь темнота внутри тебя, снаружи, везде. Близ Южного Креста черным пятном зияет беззвездная область неба. Мертвый свет созвездий, превратившись в уголь, наполняет мешки у меня под глазами. А мягкий, хотя и неровный, блеск Магеллановых облаков превращается в глазной гной.

Неужели ты так и не перестанешь говорить о себе самом? Перед кем теперь ты хочешь разыграть сцену? Ты стараешься не смешать черные пятна Южного Креста со светящимися Магеллановыми облаками. Ты говоришь о тех существах, для которых единственный полюс — ночь. Ты ищешь северное небо. Я ищу Северную Звезду между Угольными мешками Креста.

В ту пору я лишь наполовину отделился от природы. Я заперся с нею на чердаке. Отвергнутый человеческими существами и даже животными, я углубился в книги. Не в книги из бумаги, а в книги камней, растений, насекомых. В особенности в книгу знаменитых камней из Гуайры.

*Этот отрывок состоит из фрагментов, заимствованных у Асары («Описания», с. 31), у Руй Диаса Гусмана («Аргентина», LIII, гл. XVI), а главным образом из распоряжения маркиза Монтеса Клароса, губернатора и генерал-капитана Перу, Тьерра-Фирме и Чили, о том, «чтобы камни из Гуайры были посланы под надежным эскортом в королевское казначейство в Потоси», от 1 апреля 1613-го. Цит. по Вириато Диас-Пересу. (Прим. сост.)*

Кристаллических камней. Я должен теперь извлечь их из памяти, где они погребены на глубине сотен вар. Кристаллические камни образуются внутри кремневых глыб. Они ярко окрашены, как зерна граната, бывают разных цветов и до того прозрачны и блестящи, что поначалу считались драгоценными камнями чистой воды. Но они гораздо ценнее рубинов, изумрудов, аметистов, топазов и даже алмазов. Им поистине нет цены. Самые красивые встречаются в горной гряде Мальдонадо. Я, и только я, знаю, как сок проникает сквозь внешнюю оболочку каменных глыб, образуя внутри их кристаллы. Эти кристаллы растут. Когда они уже не вмещаются в полости и распирают изнутри глыбу, она лопается с грохотом взорвавшейся бомбы или пушечного выстрела. Обломки далеко разлетаются или врезаются в другие породы, образуя уникальные составные камни. В глубине такого камня, в его ядре часто можно видеть прожилки, напоминающие крошечные, не больше булавочной головки, городские стены и башни, так четко вырисовывающиеся, точно они возвышаются на вершине горы. Некоторые из этих обломков уходят глубоко в землю и опять лопаются, сотрясая и оглашая грохотом холмы и горные гряды, озера и реки. Я приносил эти камни на чердак, который превратил в алхимическую лабораторию, питая химерическую надежду изготовить из их вещества камень камней, камень с большой буквы.

Из этих мечтаний меня вырвал мой предполагаемый отец, и, ах, меня не спасли прекрасные, но предательские камни. Он отправил меня в Готическую Пагоду,

прежде чем окончательно спятил, переплюнув своего брата Педро, который день-деньской миловался с мулатками и индианками.

Он изрек: *Andando, doutorsinho da merda*<sup>[277]</sup>! — и вот мы плывем вниз по реке, придавленные колонной, пирамидой вони. Я пишу, держа тетрадь на коленях. Я обращаюсь к обмелевшей реке — может, она услышит меня: ты ведь знаешь, что я еду против воли. Разве можно насильно везти того, кто еще не стал собой? Ты, которая никогда не останавливаешься; ты, которая всегда в родах; ты, у которой нет возраста; ты, вобравшая в себя совесть земли; ты, которая тысячами давала свою влагу целой расе, не можешь ли ты помочь мне излить душу, множественные души, еще только зародившиеся во мне, и слиться с твоими водами? Если ты способна на это, если ты только способна на это, сделай мне хотя бы маленький, едва приметный знак. Не веди себя, как скупые духи Серро-дель-Сентинела. Некоторое время назад я оставил им под камнем записку, в которой спрашивал их о Северной Звезде. Когда я пришел за ответом, бумажка оказалась скомканной в комок и испачканной не очень-то духовной субстанцией. Кхе, кхе, прокашлялась река, плеща о песчаный берег. Такумбу очень старый холм. Он уже выжил из ума. К тому же он страдает каменной болезнью и у него каверны в легких, образовавшиеся от культа Змеи. Почему, по-твоему, туда отправляют присужденных к каторжным работам за политические преступления? Великая Жаба-Покровительница приказала добывать там камень, чтобы замостить этот проклятый город. Асунсьон останется вымощен дурными намерениями... Ее прервал крик гребцов. Сумака накренилась, задев песчаную банку. Отталкивались и выгребали с таким трудом, что ломались шесты из такуары<sup>[278]</sup>. Наконец опасность миновала. Я, воспользовавшись суматохой, засунул листок в бутылку и бросил ее в воду среди кувшинок.

Всю ночь мой названный отец расписывал, как он трудился в Парагвае с того времени, когда прибыл из Бразилии работать на табачной фабрике. Бахвалился своей карьерой, своими похождениями. Рассказывал, как он поступил на военную службу. Как изготовлял порох. Чинил аркебузы. Инспектировал крепости, форты, бастионы провинции и в низовье, и в верховье. Как он основал крепость Сан-Карлос. Командовал крепостями Ремолинос и Бурбон. Строил новые форты и бастионы. Сотрудничал с Феликсом де Асарой<sup>[279]</sup> и Франсиско де Агирре<sup>[280]</sup> в демаркации границ между испанской и лузитанской империями. Он бесконечно перечисляет свои заслуги перед короной. Монотонно, уже не думая о том, что говорит, в тысячный раз повторяет старую историю. Сейчас он хочет только развлечь поочередно сменяющихся гребцов. Тех, что отдыхают, спят, убаюканные его козлиным голосом.

Минутами голос моего опекуна заглушается скрипом весел, плеском воды о борт судна, потрескиванием йербы в кипах, взрывом бочки с жиром. Прерывая рассказчика, эти шумы по-своему рассказывают другие истории, которые тоже никто не слушает: воспринимается лишь их звучание, но не смысл. Только я один вслушиваюсь в них, ловя и то и другое.

*(Голос опекуна)*

В 1774 меня произвели в капитаны<sup>[281]</sup>: двадцать лет себя не щадил, душой и телом преданный нашему монарху. Спустя три года я оказал короне самую большую услугу за всю мою карьеру. Мне было поручено секретно разведать, в каком положении находятся вассалы христианнейшего короля, живущие по берегам реки Игатими и построившие там форт того же названия. Через непроходимые урочища, где полным-полно язычников, диких индейцев мбайя, которых на нас науськивают

бандейры, я с одним только перебежчиком из этого племени в качестве проводника проник на вражескую территорию. Рискуя жизнью, я под покровом noite<sup>[282]</sup> дважды пробирался в упомянутый форт, который в те дни был вероломно захвачен коварными португало-бразильцами. Я с полной точностью выведаль их укрепления и диспозицию и все нанес на план, оказавшийся, как disse<sup>[283]</sup> потом сам губернатор Пинедо, весьма полезным и favoravel<sup>[284]</sup>, когда мы отвоевывали эту крепость.

Осада продолжалась три дня и три ночи. Была суровая зима. Люди и лошади дрожали от холода и скользили на покрытом густым снегом льду. Он проламывался под нашей тяжестью, и мы проваливались в глубокие рвы и траншеи, в то время как осажденные осыпали нас пулями, а индейцы стрелами.

Орудия увязали в снегу, своим сверканьем озарявшем темноту. Три раза противник рассеивал нашу кавалерию. Раздетые, без еды, мы превратились в настоящие сосульки.

Наш jefesinho<sup>[285]</sup>, офицер дон Хосеф Антонио Йегрос, отец ныне здравствующего капитана дона Фульхенсио Йегроса, моего дальнего родственника, приказал начать притворное отступление, с тем чтобы наутро предпринять последний штурм. Isso<sup>[286]</sup> значило попытаться обмануть макаку нарисованным бананом. Зажечь свечу sem<sup>[287]</sup> фитиля.

Сидевший на шкурах, опершись на грот-мачту, среди зловония, которое теперь еще усиливал смрад разлагающихся трупов павших под Игатими, рассказчик на минуту замолчал. Фонарь, который он держал на коленях, высвечивал его козловатые черты — получеловек, полуживотное. Всецело поглощенный своими воспоминаниями, он лишь телом был здесь. Его античеловеческая душа бродила в краю льда и ветра, где свистели тысячи стрел, гремели пушки и ружья, слышались крики на португальском языке и индейских наречиях. Дьявольский шум. Грохот.

По голосу опекуна заметно, что он уже не думает о команде, о лоцмане, о боцмане, о мулатах-плотовщиках, о гребцах-индейцах. И уж тем более обо мне. Он всегда смотрел на меня не иначе как на смешное, безобразное существо. Я существовал для моего названного отца лишь как объект отвращения, брани, наказаний. У португальца тяжелая рука, он отвешивает пощечины, способные свернуть челюсть льву. От затрецины, которую он мне вlepил в тот вечер, когда застучал с черепом, у меня до сих пор звенит в голове. И такую же оплеуху он дал мне, когда стемнело, за то, что я еще не выполнил его приказания бросить череп в реку. Но на этот раз он почувствовал и мою силенку: я нанес ему молниеносный удар кулаком. А вслед за тем вцепился когтями в шею главы дома. Сжал ее. Не выпускал до тех пор, пока слезы бессильного бешенства не выступили у него на глазах, в которых померк свет. Могут ли плакать две пустыни? Я впиваюсь глазами в его глаза, и теперь пустынь четыре. Наконец португалец сдается. С хрипом, едва не ставшим предсмертным, он выдавливая из себя: Отпусти, garazinho<sup>[288]</sup>! Ну отпусти же, я задыхаюсь! Брось череп в реку, и дело с концом! Я медленно убрал руку с адамова яблока. Каиновы пальцы остались сведены судорогой. Мне пришлось всю ночь держать их в зловонной воде, пока они мало-помалу не расслабились и не возвратились в естественное состояние.

*(Голос опекуна)*

... В ту ночь я не умер, хоть и лежал раздетый во рву, дрожа от холода, неподалеку от вражеских засек. Сделав над собой сверхчеловеческое усилие, я

прополз через заиндевелый кустарник к двум еще не совсем остывшим трупам. Я укрылся ими, как одеялом. Крепко обнял один из них, уцепившись за стрелу, которая торчала у него из спины. Прильнул губами к губам мертвеца, стараясь вобрать в себя остаток его тепла. Прости меня! — прошептал я, касаясь застывшей кровавой пены, такой же жесткой, как его усы. Помоги мне, мертвый солдат! Не deixe<sup>[289]</sup> мне умереть, раз voce<sup>[290]</sup> уже мертв! Труп ничего не говорил, но как бы давал мне понять: что же, пользуйся чем можешь, приятель, мне уже ни к чему то, что у меня остается. По голосу, хотя и беззвучному, я узнал в темноте Брихидо Барросо. Второго такого прижимистого и скаредного человека испокон веков не было во всей Тьерра-Фирме, и я удивился, что он вдруг стал таким щедрым. Я хорошенько укрылся его телом. Если ты уже добрался до ада, скажи мне, дружище Барросо, что там делается, а если ты в самом деле находишься в геенне огненной, вдохни в меня хотя бы brasinha<sup>[291]</sup> от этого огня. Но губы Барросо мало-помалу леденели: он и после смерти торговался, скряжничал, придерживал то, что ему не принадлежит...

У меня вырвался крик, далеко отдавшись в ночи. Козерог поднялся. Он был готов броситься на меня. Я направил на него карабин. Он сдержался. Только осыпал меня бранью на своем варварском диалекте бандеиранте. Под порывом встречного ветра сумака зарылась носом в воду и села на мель. Боже мой, Ваше Превосходительство, что это с вами! Вы так ужасно закричали! Ничего. Патиньо. Кажется, мне снилось, что я плыву по реке. Я держал руку в воде. Может быть, меня укусила пиранья<sup>[292]</sup>. Ничего серьезного. Иди. Не беспокой меня, когда я пишу в одиночестве. Не входи, когда я тебя не зову. Но... Ваше Превосходительство! У вас капает кровь с пальцев! Я сейчас же позову врача! Оставь. Это скоро пройдет. Не стоит беспокоить этого старого дурака из-за этой старой раны. Ступай.

*В этой части тетради буквы, действительно, расплываются, покрытые чем-то вроде красноватой плесени, которой всласть полакомилась моль, издырявив бумагу.*

Когда рассвело, оказалось, что сумака сидит на мели в излучине реки, у высокого, обрывистого берега, словно на дне оврага. Все — и хозяин, и команда — спали как убитые, как павшие при Игагими. Из-за другого берега взошло солнце и, как пригвожденное, застыло в зените. Зловоние усилилось. Ты узнаешь его по вони, сказал голос у меня за спиной. В эту минуту я увидел тигра, притаившегося над обрывом. Я мог предугадать, что произойдет. Разморенная душным зноем команда продолжала спать под импровизированными тентами из парусов. Я сопряг свою волю с волей зверя, который уже изгибался, готовясь прыгнуть с восьмиметровой высоты. За тысячную долю секунды до того, как пятнистый и рычащий метеор обрушился на сумаку, я бросился в воду. Я упал на островок водяных растений. Тихо плавая, я видел оттуда, как тигр растерзал дону Энграсию, когда тот вскочил и схватился за ружье. Оно описало параболу и упало мне в руки. Я тщательно, не спеша прицелился по всем правилам. Помедлил, с каким-то наслаждением созерцая сумаку, превратившуюся в жертвенный алтарь. Нажал спусковой крючок. Вспышка выстрела осветила фигуру тигра в кольце дыма и гари. От рева раненого зверя задрожала вода, затряслись островки, прокатилось эхо на высоких берегах. Разъяренный тигр с окровавленной головой снова зарычал. Глаза его впились в мои. Этот взгляд длился нескончаемые века. Казалось, он хотел передать мне какую-то весть. Я опять медленно прицелился в горящий желтоватый зрачок. Выстрел погасил его. Я закрыл глаза и почувствовал, что рождаюсь. Качаясь в колыбели водяного маиса, я почувствовал, что рождаюсь из грязной воды, из вонючего ила. Я вступал в мир,

полный зловония. Пробуждался к жизни в смраде вселенной. Подобный шелковистому черному бутону, плывущему на плоту листа, я с дымящимся ружьем в руках встречал зарю иного времени. Действительно ли я рождался? Да, рождался. И в плаче новорожденного, моем первом плаче, звучала жалоба на судьбу, навсегда согнавшую меня с моего подлинного места. Найду ли я когда-нибудь его? Да, найдешь, там же, где потерял, слышался хриплый голос реки. Рядом со мной плыла бутылка. С другой стороны царила густая тьма. Я откинул ее полог. Увидел поросший лесом крутой берег, озаренный стоящим в зените солнцем. Я приложился к бутылке. Одним глотком выпил свои собственные вопросы. Сок молочая. Пососал свое собственное молоко из лобных грудей. Медленно встал, сжимая ружье.

Я огляделся вокруг. Увидел врезавшуюся в берег, накренившуюся сумаку с грузом, от которого несло вонюю. На судне не было ни души. Голова тигра была насажена на верхушку бизани. Над обрывом на фоне темной зелени мерцали огоньки, в два ряда окружавшие что-то вроде гроба. Передо мной вырос черный и в то же время прозрачный силуэт: боцман сбегал вниз по откосу. Он замешкался, не зная, как начать. Сеньор... вашу милость зовет ваш отец!.. Оставьте эти глупости, боцман. Во-первых, у меня нет отца. Во-вторых, если речь идет о том, кого вы называете моим отцом, то разве не его отпевают там, наверху? Да, сеньор; дон Энграсия только что умер. А я только что родился. Как видите, нам не по пути. Но сеньор ваш отец настаивает на том, чтобы ваша милость поднялись к нему. Я уже сказал вам, что с этим человеком, будь он живой или мертвый, я не связан никаким родством. А кроме того, если он хочет во что бы то ни стало увидеться со мной, пусть на минуту вылезет из гроба и спустится ко мне. Я не тронусь с места. Сеньор, как вашей милости известно, только хромые легко спускаются под гору, а хозяин протянул ноги и при всем желании не может сделать ни шагу. Он хотел бы проститься с вашей милостью, помириться с вами, получить ваше прощение, прежде чем его похоронят. Мое прощение не избавит его от мух, за которыми придет очередь червей. Сеньор, дело касается души старика. У этого старого мерзавца нет души, разве только оплошал раздатчик душ. По мне, пусть провалится в тартарары.

*В письме XLVIII Уильям Пэриш Робертсон рассказывает этот эпизод следующим образом:*

*«За много лет до того, как он стал общественным деятелем, Верховный по пустячному поводу поссорился со своим отцом. Они долгие годы не виделись и не разговаривали. Наконец отец слег и на смертном одре горячо пожелал, прежде чем предстать перед вышним судьей, помириться с сыном. Он дал ему знать об этом, но тот отказался увидеться с ним. Болезнь старика обострилась: его приводила в ужас мысль о том, что он покинет мир, не достигнув примирения и взаимного прощения. Он говорил, что спасение его души под угрозой. За несколько часов до того, как он испустил последнее дыхание, родственники по его просьбе снова обратились к строптивому сыну, умоляя его принять и дать благословение и прощение. Но тот оставался непреклонным в своем злобном упорстве. Ему сказали, что умирающий в отчаянии: он думает, что душа его не попадет на небо, если он отойдет, не помирившись со своим первенцем. Человеческое естество содрогается от его ответа: тогда скажите этому старику, пусть отправляется в ад.*

*Старец умер, бредя и призывая сына с душераздирающими воплями, которые запечатлела история».*

Томас Карлейль, основываясь на сочинениях Робертсонов и других свидетельствах, описывает эту сцену не в столь патетическом духе. По его словам, когда Верховному передали, что старик молит о примирении и не хочет умереть, не увидев сына и не облегчив душу взаимным прощением, из страха, что не сможет попасть на небо, тот ответил просто: «Скажите ему, что я не могу приехать: я очень занят, а главное, это не имеет смысла».

Другое свидетельство, притом исходящее от лиц, которых нельзя заподозрить в снисходительности или в пристрастии, мы находим в переписке доктора Буэнавентуры Диаса де Вентуры, предшественника Верховного на посту синдика - генерального прокурора, впоследствии обосновавшегося в Буэнос-Айресе, где он стал влиятельным политическим деятелем, с братом Мариано Веласко, автором яростного памфлета против Верховного, опубликованного вскоре после назначения последнего Пожизненным Диктатором, под заглавием «Обращение одного парагвайца к своим соотечественникам». Оба они не могли не примешать к своей лжи правды (хотя, как говорит обличаемый, любое показание современника подозрительно).

Существо этого двухголосого свидетельства сводится к следующему:

«После возвращения из Испании он избавился от одежды, приличествовавшей ему как клирику низшего сана, и предался еще более распущенной жизни, чем в Кордове. По этой причине он и порвал со своим отцом, который в то время был управителем индейского селения Хагуарон, и никогда больше не поддерживал с ним никаких отношений.

За много лет до того, как дурной сын стал Верховным Правителем, старик, будучи при смерти, пожелал помириться со своим первенцем. Он послал к нему родственников с мольбою побыть с ним в смертный час и дать ему последнее благословение. Тот ответил самым решительным и беспощадным отказом.

Напрасно старик призывал сына и просил у него прощения. Однако в агонии, судя по его бреду, ему привиделось, что сын наконец появился, вошел в комнату, закутанный в красный плащ, и приблизился к постели. Несчастный умер, крича: *Vade retro, satanas* — и из последних сил проклиная его.

В те дни, когда происходили эти печальные события, нашему будущему Диктатору досаждали постоянные намеки на его незаконное происхождение. Он раздобыл себе хитростью ложное генеалогическое свидетельство и с тех пор всегда: в кабилдо и на всех должностях, — нередко синекурах и пребендах, служивших ему ступеньками для восхождения к Верховной Власти, — начинал свои речи сакраментальными словами: Я, Первый Алькальд, Синдик-Генеральный Прокурор, уроженец города Асунсьона, потомок самых родовитых идалго, завоевателей Южной Америки... Он рассчитывал таким образом обезопасить себя от обид, которым он подвергался как сын иноземца, пришлеца, мамелюка-паулиста, а в особенности от ужасающе оскорбительного и унижительного для него определения «мулат», которое жгло его, словно позорное клеймо на его темной коже.

Не вызывает сомнения, преподобный отец, что его разрыв с отцом относился к тому времени, когда он предавался разврату и порокам. Свидетели этого разрыва изложили факты с известной предвзятостью, которая сделала их рассказы сомнительными и двусмысленными. Однако истина, по-видимому, заключается в том, что, когда отец по какому-то поводу сделал ему выговор за отвратительное

поведение, напомнив и о других, не менее гнусных и недостойных поступках, этот негодяй, потерявший человеческий облик, не постыдился, будучи мужчиной в расцвете сил, поднять руку на старика и безжалостно надавал ему пощечин.

Некоторые говорят, что только вмешательство соседей помешало мерзавцу убить его. Не то наш Диктатор достойно начал бы свою деятельность как отцеубийца».

«Нет, друг Вентура, не поддавайтесь Вашему справедливому негодованию. Нет никаких оснований говорить о «предвзятости» свидетелей ссоры между отцом и сыном и о сомнительности или двусмысленности их рассказов. Да будет высказана истина, тем более между нами, хотя нам и не стоит сейчас особенно распространять ее, поскольку это могло бы привести к нежелательным результатам. Я выскажу Вам ее, но Вы сохраните ее в секрете с присущей Вам осторожностью и осмотрительностью.

Разрыв между доном Энграсией, в ту пору управителем Хагуарона, и его гневливым сыном был вызван излишествами и оргиями, которым сам дон Энграсия с самого начала предавался в индейском селении вместе со своим сыном Педро, уже тогда выказывавшим явные признаки помешательства.

Злоупотребления артиллерийского капитана, превратившегося в управителя, все возрастали, судя по тяжким обвинениям, которые выдвигают против него жители селения Хагуарон в жалобе, направленной касиком Хуаном Педро Мотати, коррехидором названного селения, непосредственно вице- королю».

(Жалоба касика Мотати)

«Мало того, что индейцы страдают от столь тяжкого ига, здесь их бедствие усугубляется тем, что управитель отличается ненасытной алчностью, обременен детьми и долгами и ни в чем не знает удержу. Вступив в должность, этот властолюбивый человек стал всячески притеснять индейцев и, принуждая к непосильному труду и лишая скудного имущества, унаследованного от предков, довел их до плачевного состояния.

Кто бы мог подумать, сеньор, что в своих насилиях он дойдет до того, что будет отнимать у нас дочерей и жен, совершая над ними самое ужасное надругательство, какое может измыслить человеческая порочность.

Ввиду всего этого умоляем Ваше Высокопревосходительство прислать к нам, как того требуют столь печальные обстоятельства, честного ревизора, с тем чтобы он, основываясь на фактах, подтвердил это секретное сообщение, которое мы покорнейше отдаем на Ваше высокое рассмотрение. Да будет управитель отрешен от занимаемой должности, объявлен преступником и примерно наказан, как предусмотрено законом, за совершенные им бесчеловечные злодеяния и несправедливости...»

«Вероятно, обвинения касика Мотати несколько преувеличены. В нарисованной им картине бедствий его селения в результате вымогательств, жестокостей и бесчинств управителя, быть может, слегка сгущены краски.

Что тут доподлинные факты, что клеветнические измышления? Попробуйте узнать!

В то же самое время предшественник моего родственника на посту управителя, старый священник аспар Касерес, уже на пороге смерти нашел в себе силы сформулировать суровые обвинения против капитана-управителя.

*Он собственноручно писал... Простите, отец мой, умирающий собственноручно писал?.. Ну, хорошо, дорогой Буэнавентура, вероятно, он написал это несколько раньше, когда заварилась каша. Отец Касерес заявил: его насилия таковы, что местные жители массою перебираются в другие провинции вместе с женами и детьми. В селении Хагуарон не осталось никого, кроме стариков, инвалидов и тех индейцев, которых управитель с помощью плети и ружья, как во времена янаконата и энкомьенд, силой заставляет работать на своих землях. Страх, который он внушил к себе, и ненависть, которую он оставил после себя, были единственными плодами его деятельности в этом селении, утверждал Гаспар Касерес на своем смертном одре, независимо от того, писал ли он эту инвективу собственноручно или диктовал кому-нибудь из родственников».*

*«Можете быть уверены, брат Мариано, бывший управитель, немощный старик, потерявший эту синекуру, был движим уязвленным самолюбием и неприязнью к сменившему его энергичному и предприимчивому капитану. Умирающие часто выказывают ужасное злопамятство».*

*«Как бы то ни было, дорогой доктор, несколько лет спустя, когда капитан снова служил в армии, все еще тянулось дело о массовой эмиграции индейцев во главе с касиками, в том числе самым строптивым и решительным из них по имени Асукапе (Кусок Сахара). Управитель мог повесить его, если бы он вовремя не бежал.*

*В этих фактах и следует искать причину разрыва между отцом и сыном. Мне известно, что мой племянник отказался от церковной карьеры и предался распущенной и порочной жизни не до, а после этого разрыва; возможно даже, вследствие этого разрыва.*

*До тех пор он вел монашескую жизнь, полагает некто, считающийся хорошо осведомленным. Но чего стоят строгие нравы и достойное клирика одеяние? — наверное, не раз спрашивал он себя. Что толку приносить такие жертвы ради чести имени, которое стало мишенью ужасных нападков, когда там, в Хагуароне, его отец и братья Педро и Хуан Игнасио в вакханалиях с индианками и мулатками затаптывают в грязь не только имя, но и традиции всей семьи?*

*Он коренным образом меняется. В то время как угнетенные индейцы покидают прародительские очаги, бывший кордовский послушник пускается во все тяжкие.*

*Он превращается в безумного поклонника Венеры. Ищет легких связей, фривольных походов, доступных женщин. Посвящает ночи нескончаемым кутежам. Шатается с приятелями по предместьям города, дает серенады, танцует на улицах, замешавшись в толпу гуляк. Он всегда душа общества, потому что восхитительно играет на гитаре и умеет петь.*

*Он особенно увлекается картами. Часто до рассвета играет в монте или в труко, так же легко спуская деньги, как он зарабатывает их на судебных процессах, прославившись тем, что ни один не проиграл с тех пор, как стал адвокатом». (Прим. сост.)*

*Закопайте же его в землю, и как можно глубже. А потом приведите людей. Снимем сумаку с мели и немедленно вернемся в Асунсьон. Боцман ушел. Промелькнул на крутом откосе, как отсвет среди отсветов. Над обрывом в полуденной белой мгле красиво мерцают огоньки свечей. Перспектива и рефракция света придают удивительную прелесть зрелищу воздушного велорио<sup>[293]</sup> между деревьями, которые шестью огромными свечами поднимаются к самым облакам.*



Паруса на обеих мачтах потихоньку расправились и надулись под порывами поднявшегося северного ветра, и сумака в сгущающихся сумерках поплыла дальше, вниз по реке. Снова слышался козлиный голос: хозяин опять принялся рассказывать о том, как он трудился в качестве капитана королевских войск. Он по-прежнему сидел, прислонившись к грот-мачте, но его фигура казалась более высокой и прямой, чем в предшествующие тридцать дней, голос звучал более отчетливо, а лицо в красноватом свете корабельного фонаря выглядело более здоровым. Большая часть команды сидела вокруг него и слушала, кляня носом, его размеренный и нескончаемый рассказ. Лишь несколько гребцов-индейцев помогали ветру, орудуя баграми. Ровно через семь дней мы завидели порт Санта-Фе.

*(Периодический циркуляр)*

Несмотря на все, несомненно и прекрасно то, что у нас революция не погибла. Страна с честью вышла из испытания. Презираемое доселе простонародье заняло место, принадлежащее ему по праву. Те, кто были прежде одушевленными орудиями, стали ныне вольными крестьянами. У них есть имущество и средства к существованию — а это лучшее средство от всех их бед. Им уже не приходится батрачить ни на кого, кроме государства, их единственного хозяина, которое заботится о них, применяя справедливые, равные для всех законы. Земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает, и каждый получает то, что ему необходимо. Не больше, но и не меньше.

Основывая Асунсьон, Хуан де Саласар привез сюда семь коров и одного быка; теперь только в шестидесяти четырех государственных эстансиях не меньше десяти миллионов голов скота, а сколько еще в коллективных чакрах, которых у нас сотни! Вся страна изобилует богатствами. Необходимость умножать их обратилась в необходимость убавлять. Ведь, как подтверждает опыт, всякий излишек благ фатальным образом перерождается во зло. Процветание государства определяется не столько численностью населения, сколько правильным соотношением между народом и средствами, которыми он располагает. Настанет день, когда парагвайцы не смогут шагу ступить, чтобы не наткнуться на кучи золота. Это уже много лет назад предсказал мулат с берегов Рио-Гранде, Корреа да Камара, который не раз приезжал сюда, пытаясь от имени Империи всучить мне химеры в обмен на нечто более существенное. Временами предсказания хитрых шарлатанов оказываются более верными, чем прорицания ясновидящих, которым видятся лишь неправдоподобные вещи, порождения хронической приверженности к утопиям. Вычеркни эту галиматью. Пиши: мы, парагвайцы, близки к тому, чтобы ходить по земле, вымощенной золотом, как нам пророчил этот португало-бразилец.

Я всегда говорил; наш народ добьется своего, когда настанет время, или само время даст ему то, чего он добивается. Пусть реки откроются для внешней торговли; только этого недостает для того, чтобы наши богатства затопили внешний мир. Когда суда под флагом нашей республики смогут свободно плавать до самого моря, тогда мы позволим и иностранцам приезжать к нам и торговать с нами на равных условиях.

Только тогда будут урегулированы торговые отношения и, что еще более важно, вопрос о границах между государствами, искусственно разделенными в интересах колониального господства. На месте колонии возникли субколонии и субимперии, сохраняемые в интересах олигархий. Они тоже донельзя разрослись, проводя захватническую политику под маской патриотизма. Пока конфедерация американских государств не станет осязаемой реальностью, а не просто пустословием в виде речей и

договоров, мы будем регулировать торговлю, внешние отношения и все прочее так, как нас устраивает, и с наибольшей выгодой для парагвайцев, а не исключительно на пользу иностранцам, как это было до Пожизненной Диктатуры.

Парагвай своими собственными силами заложил фундамент родины, нации, республики. Парагвайцы получают национальное образование. У них национальная церковь, национальная религия. Дети узнают из Отечественного Катехизиса, что Бог не призрак, а святые не воплощения темных суеверий с венцом из позолоченной жести. Они чувствуют, что, если Бог нечто большее, чем короткое слово, он везде и во всем — в воздухе, которым они дышат, в земле, по которой они ступают, в благах, которые добывают, участвуя в коллективном труде, а не христарадничая, не выклянчивая что Бог не пошлет на папертях, на улицах, на рынках, в селениях, городах, пустынях. Возращенные в лоне земли, они считают ее своей истинной матерью и относятся к согражданам как к единоутробным братьям. Вычеркни это. Образ матери-земли недоступен этим сукиным детям.

Ради общего блага я здесь национализировал все. Деревья, красящие и лекарственные растения, ценную древесину, минералы. Даже кусты йербы-мате национализировал. Я не говорю — зверей, птиц; они никогда не покидают своих родных мест. Облака образуются из испарений земли, рек, растений. Обращаются в дождь, в росу. Возвращаются в землю, реки, растения. Облака, птицы, звери, даже неодушевленные существа учат нас любви к родине. Что ты на это скажешь, Патиньо? Сеньор, от ваших слов у меня слезы выступают на глазах, и сквозь пот глаз, то есть слезы, я смутно и в то же время ясно вижу все, что вы говорите. Я способен на это, потому что вы своими словами вдуваете истину в человека... (Следует непечатное замечание Верховного; остаток листа сожжен.)

*(На отдельном листе)*

... улитка, червь, слизняк, булыжник, цветы, бабочки. Особая любовь к закрепленному, устойчивому, укоренившемуся. Бесчисленные виды растений. Всех их невозможно назвать. Я охотился на обезьян, тигров, лисиц, оленей, кабанов. На всяких тварей. Самых свирепых и самых кротких. Однажды я охотился на экземпляр зверя, именуемого мантикора, на гигантского рыжего льва с человеческим лицом и тремя рядами зубов, почти всегда невидимого, потому что благодаря своей шерсти в искорку он сливается с песками, искрящимися на солнце. Из его ноздрей вырывается ужасное дыхание пустынь. Размахивая хвостом, ошетилившимся колючками, он, как стрелы, мечет их во все стороны. Они вонзаются в деревья. Из листвы капает кровь. Я охотился на него в песках, о которых повествует Плиний, с дротиком, смоченным дурманящим веществом. Я оставил его на воле. Проснувшись, он вернулся в свое тайное обиталище. Проснувшись, я увидел, что я забрызган кровью. Животные не эмигрируют. Я видел, как все они, от мантикоры до белой с красными полосками улитки, по доброй воле возвращаются в родные места. Я видел птиц, которые летели так высоко, так далеко, что казались неподвижными, словно насаженные на острие моего взора. Они исчезали. Падали по ту сторону горизонта. Но через несколько минут со всех сторон слетались ко мне. Так было с воронами. И с другими пернатыми, летающими и водоплавающими. Все, все они, даже самые непоседливые, возвращаются. Живые существа, так же как неодушевленные, любят устойчивость, укоренелость, постоянство. Если бы камни могли самостоятельно передвигаться, они самое большее выходили бы погулять и возвращались бы на свое место. Камень держится за свою почву тяжестью, растение — корнями. Во всем упорное стремление

оставаться, пребывать. Я страдаю за каждое из деревьев, которые валят по моему приказу, потому что я вынужден менять их на порох, боевые припасы, оружие. Каждый удар топора по стволу отдается болью во мне; в самом сердце моем отзывается жалобный вопль отрываемого от своих корней, умирающего гиганта. Вниз по течению плывут плоты, сбитые из тысяч бревен. Ну, ну, говорю я им. Не будьте глупыми. Необходимо было, чтобы вы упали, для того чтобы родина поднялась; необходимо, чтобы вы спускались вниз по течению, для того чтобы родина устояла и пошла в гору.

*(Периодический циркуляр)*

Только жалкие эмигранты лишены национального чувства. Как это можно уехать, отречься от своего, от матери, из которой ты возник, от среды, которая породила тебя? Эти люди хуже животных!

Я не называю и не считаю соотечественниками этих перебежчиков, которые сами лишают себя родины, отказываясь от своего очага, покидая свою землю. Они превращаются в паразитов других государств. Теряют на чужбине свой язык. Отдают внаем свое слово. Сделавшись апатридами, они бесстыдно клеветуют на свою страну, чернят ее, оплеывают в пасквилях, полных измышлений и сплетен. Стакнувшись с врагом, они становятся его шпионами, проводниками, каптенармусами, осведомителями. Если они возвращаются, то как пособники захватчика. Они подстрекают его, помогают ему в завоевании, в порабощении их собственной страны. Если бы по крайней мере каждого из них можно было выменять на щепотку пороха!

Не воспрепятствуй этому мое правительство, люди такого пошиба поголовно эмигрировали бы. Они уезжали легионами, пока я не обрушил на них запрет: не расползайтесь, ползучие гады, не то я спущу с вас шкуру! Некоторые все же ускользнули от меня, как этот изменник Хосе Томас Исаси, который потом прислал в возмещение ущерба, причиненного его бегством, несколько бочек негодного пороха, отягчив этим издевательством свое преступление против правительства, против страны, которую он нагло обокрал.

Зато здесь затаилось много унитариев, портенъистов. Днем они тише воды, ниже травы. Ночью жужжат, как трубнозадые комары. Составляют заговоры, рыщут, выслеживают, шпионят. Лезут вон из кожи. Исходят желчью. Кусают себе ногти. Откладывают яйца в лужах собственной малярийной слюны. Они перерождаются, расчеловечиваются. Это гниды. Зараза. Поднимаешь гнилой кочан капусты или початок маиса. Под ним оказывается гусеница в виде крохотного человечка. Человекообразная личинка. Что ты тут делаешь? Не отвечает. Молчит. Нет голоса. Притворное отсутствие. Не сумев удрать, эти козявки старательно прикидываются мертвыми. Жвалы. Щупальце в виде волоска, нелепо торчащего на голом темени. Восемь ложноножек. Двенадцать слепых глаз. Сперва думаешь: черт побери! Не личинка ли это хлопковой тли? А может, бразильского жука-макроцефала, переносящего микроба сибирской язвы? Значит, здесь появились бандейры ядовитых личинок! Я раздавливаю насекомое каблуком. От него остается мокрое пятнышко. Подошва прилипает к этой ядовитой и липкой, как смола, слизи. Однажды такое жесткокрылое-бандеиранте вползло на пряжку моего башмака. Я сбросил его концом жезла. Оно оставило на нем такой след, словно металл был разъеден кислотой. Я велел вымыть это место черным мылом, полить карболкой, экстрактом никотина, муравьиной кислотой, выжатой из свирепых муравьев гуайкуру. Все было тщетно. Подобный плесени след не исчезал. Эти насекомые скапливаются в болотах. Кишат в

ядовитых лагунах, как в своей стихии. Образуют колонии. Говорят на диалекте португальцев-бандеиранте или на жаргоне кочующих портеньо. С наступлением ночи они превращаются в паутину. Я наблюдал за ними в течение многих ночей. На заре они исчезают, оставляя след своих нечистот на воротах, ставнях, фасадах. На бумаге пасквилей, приколотых к двери собора...

Не вноси последние два абзаца в черновик циркуляра. Я не вношу, сеньор. Когда Ваша Милость диктует циркулярно, как Пожизненный Диктатор, я пишу ваши слова в периодическом циркуляре. Когда же Ваша Милость думает вслух как Великий Человек, я записываю их в записной книжке. Если, конечно, могу, Ваше Превосходительство, я хочу сказать, если мне удастся поймать эти слова, которые быстрехонько ускользают, едва погарцевав на ваших устах. На чем ты основываешься, проводя различие между Верховным Диктатором и Великим Человеком? По какому признаку ты их распознаешь? По вашему тону, сеньор. Тон вашего голоса показывает, обращаетесь ли вы вниз или вверх. Я сказал бы, с вашего позволения, в зависимости от веяния, которое исходит из ваших уст, подобно порывистому ветру. Только Вашество умеет говорить самой манерой говорить. Бичофео<sup>[294]</sup> слышит, как копошится червь под землей. Вы, должно быть, слышите, как я копошусь под бумагами, которыми я завален. Вы командуете мне. Руководите мной. Вы научили меня писать. Вы водите моей рукой. Я могу и разрубить тебя надвое, червяк-писака! Совершенно верно, Ваше Превосходительство. Конечно. В вашей святейшей воле сделать это, как только вам заблагорассудится. Тогда в вашем распоряжении будут два писца. Хотя, как вы сами, сеньор, имеете обыкновение говорить, секретарь ни за что не отвечает. Впрочем, Ваша Милость высказывает ту же истину и в другой форме, перевернув ее наизнанку: кто может гордиться тем, что он жалкий писец? Об этом я всегда помню, сеньор. Нет, Патиньо, ты должен постоянно спрашивать себя, не является ли слуга подлинным виновником всех бед и неудач. Любой слуга — начиная с того, который чистит мне ботинки, кончая тем, который пишет под мою диктовку. Ну, продолжим.

Я хочу защитить, оберечь нынешнее благосостояние и будущий прогресс нашей страны, а если можно — и продвинуть ее еще дальше вперед. В этих видах теперь, когда, как я считаю, сложились более благоприятные условия, я принимаю подготовительные меры к избавлению Парагвая от тяжкого ига. К освобождению торговли от помех, секвестров, варварских обложений, посредством которых приморские страны препятствуют парагвайскому судоходству, по своему произволу присваивая себе господство над рекой, чтобы наживаться на своих грабежах, жиреть за счет нашей республики, которую они хотят держать в рабской зависимости, обрекая на отсталость, унижение, нищету.

Я воспрепятствовал последовательно замышлявшимся нашествиям на нашу страну с целью покорить ее, предав огню и мечу. Нашествию Боливара с запада, через Пилькомайо. Нашествию полчищ португало-бразильской империи с востока, по старинным путям бандитов-бандеиранте. Посягательствам портеньо, непрестанно предпринимавших попытки вторжения с юга, из коих самой подлой была задуманная подлецом Пуэйрредоном, который, признавая нашу страну самой богатой во всей Америке, захотел не только захватить нашу территорию, но и просто-напросто очистить наши сундуки.

Проект усмирения Санта-Фе, подчинения Энтре-Риос и Корриентеса.

Собственноручный черновик Пуэйрредона

Экспедиция в Энтре-Риос должна, очевидно, закончиться в Корриентесе. Когда в нашу армию будут указанным мною способом включены войска этой провинции, ее численность достигнет 5000 человек при более чем достаточном вооружении. Именно здесь открывается самая легкая возможность прекраснейшим образом вознаградить себя за все наши труды, покорив мятежную провинцию Парагвай. При одном виде столь мощных сил она сдастся без единого выстрела. Вторжение в эту страну отнюдь не вызовет неудовольствия у наших людей, а, напротив, придется им весьма по нраву, так как сейчас это самая богатая страна во всей Америке, если принять в расчет как ее государственное казначейство, где имеется от миллиона до полутора миллионов песо, так и благосостояние ее населения, которому не приходилось нести бремя налогов, пошлин и прочих отчислений, как жителям других провинций. Оставляя в стороне все выгоды присоединения этой населенной провинции и избавления от опасности, которой чревато поведение ее деспотического правителя, основанное на сомнительном патриотизме, следует иметь в виду главное: покорение Парагвая послужит уроком для других народов и уберет камень преткновения, уничтожит гнездо раздоров, каковым он был и остается.

Пока в Парагвае не будет наведен надлежащий порядок, люди злонамеренные и невежды не перестанут кричать, что одни парагвайцы идут по верному пути.

(Документы Пуэйрредона, т. III, стр. 281.)

За два года до того, в 1815-м, другой жулик-портеньо, генерал Альвеар, Верховный Правитель портовых жуликов, изъявляет желание возобновить отношения с нашей республикой. В каких выражениях? В выражениях мошенника-ростовщика! Он уверяет меня в своем письме, что, если Буэнос-Айрес падет, Парагвай не сможет остаться свободным. Хитрец пытается меня запугать угрозой нового европейского вторжения. Он предлагает мне, исходя из этого, не договор о свободной торговле и дружбе, а сделку работоторговцев: двадцать пять ружей за каждую сотню парагвайских рекрутов для его армии. Я не знаю примера подобной низости даже со стороны самых подлых и циничных правителей в американской истории.

Хотят вторжения в Парагвай и многие другие. Сами парагвайские эмигранты умоляют о нем генерала Доррего. Гнусные перебежчики! А сколько еще спесивых каплунов наскакивало на нас и до и после Доррего! И Артигас, и Рамирес, и Факундо Кирога<sup>[295]</sup>. Тигры, хозяева льяносов, и дикие кошки, обитатели лесов, рычали, мяукали, точили зубы на нас. Все они плохо кончили: одни убиты, другие забыты — прозябают в изгнании; кое-кто в нашей собственной стране.

Собирается двинуться на нас и Симон Боливар. Освободитель половины континента готовится напасть на Парагвай и покорить единственную свободную и независимую страну, которая уже существует в Америке! Под тем предлогом, что он хочет освободить своего друга Бонплана, он проектирует вторжение по Бермехо<sup>[296]</sup>. Горе ему, если нога его ступит на парагвайскую землю! Уж тогда воды Бермехо действительно станут алыми. Сначала он мне пишет лицемерное письмо, в котором среди цветов красноречия и околичностей таится шип высокопарного ультиматума.

*«Сеньору Верховному Диктатору Парагвая.*

*Ваше Высокпревосходительство, с ранней юности я имел честь поддерживать дружеские отношения с сеньором Бонпланом и бароном Гумбольдтом, чьи знания принесли больше блага Америке, чем все завоеватели.*

*До меня дошло, что мой обожаемый друг сеньор Бонплан в настоящее время задерживается в Парагвае по причинам, мне неизвестным. Я подозреваю, что этот добродетельный ученый стал жертвой каких-то наветов, которые ввели в заблуждение возглавляемое Вами правительство.*

*Два обстоятельства побуждают меня убедительно просить Ваше Превосходительство об освобождении сеньора Бонплана. Во-первых, я виновник его приезда в Америку, так как я пригласил его в Колумбию, а когда он уже предпринял это путешествие, военная обстановка принудила его направиться в Буэнос-Айрес; во-вторых, этот ученый может просветить мою страну, если Ваше Превосходительство благоволит отпустить его в Колумбию, правительство которой я возглавляю по воле народа.*

*Без сомнения, Ваше Превосходительство не знает моего имени и моих заслуг перед Америкой; но, если бы мне было позволено ради свободы Бонплана сказать самому о себе все, что может быть сказано в мою пользу, я осмелился бы сделать это, обращаясь к Вашему Превосходительству с такой просьбой.*

*Внемлите, Ваше Превосходительство, гласу четырех миллионов американцев, освобожденных армией, сражавшейся под моим командованием. Они вместе со мной умоляют Ваше Превосходительство о милосердии к сеньору Бонплану во имя человечности, мудрости и справедливости. Сеньор Бонплан может поклясться Вашему Превосходительству, прежде чем выедет за пределы территории, находящейся под Вашей властью, что он покинет провинции Рио-де-ла-Платы и, следовательно, будет не в силах причинять какой бы то ни было вред провинции Парагвай. Я между тем жду его с нетерпением стосковавшегося друга и почтительностью ученика и готов был бы дойти до Парагвая с единственной целью — освободить лучшего из людей и знаменитейшего из путешественников.*

*Ваше Высокоспревосходительство, я надеюсь, что Вы не оставите без последствий мою горячую просьбу, и надеюсь также, что Вы причислите меня к Вашим самым верным и благодарным друзьям, если невинный человек, которого я люблю, не будет жертвой несправедливости.*

*Имею честь оставаться Вашего Превосходительства покорным слугой.*

*Симон Боливар Лима, 23 октября 1823».*

*(Прим. сост.) Верховный Диктатор действительно не ответил на это письмо Боливара. Ответ, который приводят некоторые историки-романисты, есть апокриф; во всяком случае, он отличается такой учтивостью, которая была отнюдь не свойственна Верховному.*

*Письмо Хосе Антонио Сукре, президента новообразованного государства Боливия, генералу Франсиско де Паула Сантандеру, вице-президенту Колумбии (и тот и другой были сподвижниками Боливара): «Освободитель, по-видимому, собирается отправить экспедиционные корпуса из Верхнего и Нижнего Перу в Парагвай, который, как вы знаете, стонет под властью тирана, не только жестоко угнетающего эту провинцию, но и изолировавшего ее от всего человечества, ибо никто не имеет туда доступа без соизволения ее Пожизненного Диктатора». (11 октября 1825.)*

*Сантандер — Сукре «Просвещенная Европа весьма возрадовалась бы, если бы Парагвай вышел из-под жестокой опеки тирана, который его угнетает и который отделил его от остального мира». (Сентябрь 1825.)*

Я даже не дал себе труда ответить на него. Пусть приходит, сказал я тем, кого испугало фанфаронство освободителя-свободоубийцы. Если он доберется до нашей границы, я дам ему переступить ее только для того, чтобы сделать его своим денщиком и конюхом. Поскольку я храню молчание, он пишет своему шпиону в Буэнос-Айресе, декану Гриморио Фунесу, прося его ходатайствовать о разрешении пройти через территорию этой страны, чтобы вторгнуться в Парагвай, «вырвать его из когтей этого узурпатора и вернуть в качестве провинции Рио-де-ла-Плате». Угрюмый декан не достигает успеха своими интригами и происками. Да и как мог достигнуть его этот мрачный посредник! Он выказывает глубокое разочарование, убедившись в том, что Буэнос-Айрес остерегается начать «облаву на этого зверя», под которым подразумеваюсь я. Ведь Боливар стремится не только раздавить Парагвай. Он стремится также проникнуть в Рио-де-ла-Плату. И это после встречи с Сан-Мартин<sup>[297]</sup> в Гуаякиле<sup>[298]</sup>!

*Декан Фунес — Симону Боливару*

*«Узнав от министра Гарсии о том, что произошло (то есть о том, что Диктатор Парагвая грубо прервал переговоры, начатые с английским посланником в Буэнос-Айресе), я воспользовался случаем, чтобы сделать для него очевидным, насколько ошибочна была попытка убедить этого зверя доводами рассудка и насколько правы были Вы, Ваше Превосходительство, намереваясь двинуться в Парагвай по Бермехо и сломить тирана силой оружия... Я счел своим долгом поставить Ваше Превосходительство в известность обо всем этом, потому что полагаю, что таким образом доставлю Вам пищу для плодотворных размышлений, и потому что, по моему мнению, от этого предприятия не следует отказываться».* (28 сентября 1825.)

*Записка Жана Батиста Ришара Грансира «В вышеупомянутой выдержке из газеты говорится об угрозах со стороны генерала Сукре, которые он намерен привести в исполнение, если глава парагвайского правительства оставит без внимания шаги, предположительно предпринятые Боливаром, чтобы добиться освобождения Бонплана. Полагать, что Пожизненный Диктатор способен поддаться прямому или косвенному запугиванию, — значит очень плохо знать его характер; человека, который вот уже двенадцать лет держит бразды правления в Парагвае и который сумел утишить страсти и обеспечить спокойствие и безопасность обширных территорий, находящихся под его управлением, несмотря на происки соседних государств и происходящие в них революции, разумные люди никогда не будут рассматривать как заурядную личность. Угрозы рискуют лишь навлечь на господина Бонплана плачевную катастрофу, которую можно предотвратить прямым ходатайством генерального консула Франции в Рио-де-Жанейро, а еще лучше просьбой, направленной непосредственно из Парижа».* (6 сентября 1826.)

На совещании с буэнос-айресскими лисами Альвеаром и Диасом Велесом в Потоси 8 октября 1825 года дон Симон возвращается к своим «освободительным» поползновениям. Я хочу вам предложить, говорит он, нейтральное решение. Ну и нейтральное решение! Сеньоры, говорит он, я распорядился обследовать Пилькомайо на всем ее протяжении до самого устья, с тем чтобы, если она окажется наилучшим путем в Парагвай, отправиться по ней в эту провинцию и свергнуть тирана. Я могу справиться с ним в течение трех дней. Как вы находите этот план? Дудки, отвечают лисы Ла-Платы. Вот уже десять лет мы сами собираемся это сделать. С этой курочкой

не так-то легко совладать. Она кладет золотые яички в своем глухом курятнике, превратившемся в неприступную крепость, и не видать нам ни курочки, ни яичек. Конечно, недоноски, ведь я сам каждое утро съедаю их за завтраком, не дожидаясь, когда выведутся цыплята.

Итак, мне пишут Боливар, Сукре, Сантандер. Я только пожимаю плечами. Я не читаю нечестных и неуместных писем и не отвечаю на них. Мне дела нет до кичливых властителей любых широт.

И какое различие между Боливаром и Сан-Мartiном! Только последний отказывается принять участие в безрассудном предприятии, имеющем целью покорить Парагвай. Он видит свою миссию не в том, чтобы поработать свободные народы, а в том, чтобы освободить американскую нацию. «Моя родина — вся Америка», — говорит Сан-Мартин вместе с Монтеагудо<sup>[299]</sup>. Их борьба начинается с октябрьской революции двенадцатого года, единственной в Рио-де-ла-Плате заслуживающей этого названия<sup>[300]</sup>. Ее вдохновляют эти два человека, которые достойны звания парагвайцев за свои принципы и образ мыслей, уже не говоря о том, что первый из них и родился на земле гуарани. Нет нужды, что в конце концов они остались с пустыми руками, словно море пахали. Сан-Мартин был обманут в своих ожиданиях, когда встретился с Боливаром в Гуаякиле, Бернардо де Монтеагудо, военный министр в правительстве Сан-Мартина, в результате реакционного мятежа был смещен, а потом убит в Лиме. Глубокое разочарование испытал и сам Боливар, которому Монтеагудо споспешествовал в его великой попытке создать американскую конфедерацию: он еще за несколько лет до Боливара, будучи членом буэнос-айресской хунты, вчерне подготовил ее проект.

Когда-нибудь одержимость идеей американской родины, которая могла родиться только в Парагвае, самой теснимой и гонимой стране на этом континенте, найдет выход в катаклизме, подобном извержению огромного вулкана, и он внесет поправки в «советы» географии, извращенной хитрыми захребетниками народов. Всему свое время. Пока опасности новых вторжений нет.

Конечно, некоторые из вас знают эти события и деяния или, лучше сказать, злодеяния лишь понаслышке; другие забыли их, а большинство не понимает их истинного значения. Просто потому, что им не приходилось, как мне, встречать их лицом к лицу и в надлежащий момент принимать надлежащее решение. Вкушая зрелые плоды, возвращенные для всех Верховным Вождем, жестокости забывают, чего стоило их взрастить. В счастливые времена мало кто помнит о несчастьях времен безвременья. Но минимум памяти все же необходим для того, чтобы жить или хотя бы выжить. В ленивой безмятежности, которая, по-видимому, стала вашим естественным состоянием, вы не должны забывать о страданиях, перенесенных для того, чтобы достичь нынешнего благополучия. За всякое благо, даже самое малое, приходится платить. Не нужно недооценивать, уважаемые начальники и чиновники, цену, которую нам пришлось заплатить за то, чтобы наша страна стала самой богатой во всей Америке, как сказал один из наших злейших врагов.

*(В тетради для личных записок)*

Парагвай — это Утопия в натуре, а Ваше Превосходительство — Солон нашего времени, льстили мне на первых порах братья Робертсоны. Я еще не смог прочесть книгу этих честолюбивых молодых людей, которые теперь уже, верно, состарились, а значит, стали еще гнуснее. Судя по названию, я не могу надеяться, что их письма о моем «Царстве террора»<sup>[301]</sup> (не знаю, одна это книга или две) скрасят картину,



которую вероломно нарисовали десять лет назад Ренггер и Лоншан. Без сомнения, это новое варево из лживых измышлений и подлых наветов, приправленное по вкусу европейцев, обожающих рассказы о царствах дикарей, — дикарство утонченных и пресыщенных умов, которые в поисках новых оргазмов разжигают себя бедствиями низших рас. Чужая боль — хорошее возбуждающее средство, которое путешественники изготавливают для тех, кто остается дома. Ах, эти слепоглухонемые! Они не понимают, что их сумбурные писания свидетельствуют лишь об их озлобленности и забывчивости. Чего можно ожидать от этих сбившихся с пути, бездарных и вороватых путешественников? Откуда берут они материал для подобных воспоминаний? Если даже мои собственные рукописи и под семью замками не в надежной сохранности, то записки этих странствующих торгашей, которых интересует лишь охота за дублонами, уже двадцать раз должны были бы сгинуть в каких-нибудь сортирах.

*«Письма» и «Царство террора» появились с большим опозданием, ибо оригиналы этих книг затерялись, как Верховный словно бы предвидел и предрек. Однажды ночью в январе прошлого года, когда все в природе сковал мороз, когда дороги были покрыты снегом, а тротуары стали скользкими от наледи, один из авторов этих «Писем о Парагвае» ехал в лондонском омнибусе из центра в Кенсингтон. Он держал под мышкой рукопись книги. Когда он вылез из экипажа, перед ним, как призрак, вырос негр в плаще и треуголке и преградил ему дорогу, пристально глядя на него. Путешественник поскользнулся и упал. В бледном свете газового рожка странная фигура показалась ему еще более призрачной. Потом негр исчез. Оправившись от ушиба и испуга, путешественник встал и, сильно прихрамывая, удалился от места происшествия. Уже через несколько минут он почувствовал, что у него ооченели руки. И тут до его сознания внезапно дошло, что он потерял рукопись. Он вернулся к злополучному месту падения и принялся искать ее в снегу не без смутного страха при мысли о том, что может снова встретиться с похожим на привидение незнакомцем. Тот больше не появился, но не нашлись и бумаги. На следующий день мы развесили на улицах и дали в газетах объявление о пропаже. Нашедшему предлагалось вознаграждение. Но утерянную рукопись мы так больше и не увидели. Через несколько дней мы получили анонимную записку, где было сказано: «Вернитесь в Парагвай. Там вы найдете рукопись». Мы подумали, что это дурного вкуса шутка кого-нибудь из наших друзей. В Парагвай мы, конечно, не вернулись. Легче было восстановить «Письма». Они имели самый лестный для нас успех. В три месяца, скорее, чем прошел ушиб, весь тираж был распродан. Однако не обошлось и без возражений и критических откликов. Сурово отнесся к нам, например, Томас Карлейль. Он видел в парагвайском Диктаторе самого выдающегося человека в этой части Америки. От Верховного исходил злоеющий и мрачный свет, гнездившийся в его уме, утверждает глашатай культа героев, но им он, насколько было возможно, просветил Парагвай. Впрочем, такие враждебные высказывания не только не обесценили наш труд в глазах публики, но и усилили интерес к нему, показав, что его не обошли вниманием люди масштаба великого Карлейля, что весьма способствовало его распространению».*

С другой стороны, некоторые современные авторы утверждают, что «Письма» в известном смысле апокрифичны, то есть что Робертсоны, по крайней мере отчасти, воспользовались материалом, рассеянным во многих брошюрах о Верховном, ходивших в то время в Рио-де-ла-Плате, приписав себе авторство.

*Учитывая «крохоборческие» склонности Робертсонов, благодаря которым они в годы своих южноамериканских походов сначала разбогатели, а потом разорились, это утверждение не лишено правдоподобия. «Единство стиля» бывших коммерсантов, превратившихся в мемуаристов или романистов, свойственное им умение «рисовать великолепные портреты» и другие литературные достоинства действительно наличествуют в «Письмах» и в «Царстве террора», но это не исключает возможности плагиата. Рассказ или сказка о потере рукописи выдает способность авторов на обман. Это впечатление еще усиливает, без сомнения, тоже выдуманый эпизод фантасмагорического столкновения на лондонской улочке со зловещим призраком во вкусе литературы тайн и ужасов, в то время уже вошедшей в моду. Авторы, по-видимому, хотят намекнуть на появление Верховного из загробного мира с целью похитить у них рукопись, которая, по их словам, должна была послужить могильной плитой для Диктатора. Очевидно, авторы полагали, что их бывший амфирион уже скончался и что они могут под видом ребяческой побасенки безнаказанно приписать ему еще и эту потустороннюю кражу. Но Верховный был еще жив и ждал у себя в Асунсьоне возможности прочесть уже анонсированные «Письма», которые вышли в свет в 1838 и 1839 гг., незадолго до его смерти. (Прим. сост.)*

Жажда продать дьяволу душу, которой у них уже не было, то есть сбыть свои воспоминания воображаемому читателю, эти твари самой гнусной породы, какую я знаю, измышляют ради его секс-сусального наслаждения сплетни, наветы, небылицы. Они выдают свои собственные пороки за пороки других.

Не столько для того, чтобы угодить этим подлипалам, пресмыкающимся перед деньгами и властью, сколько для того, чтобы использовать их на благо родине, которую они использовали для наживы, я решил назначить их, как подданных Великобритании, то есть Англии, моими представителями в этой стране. Они уже давно осаждали меня просьбами предоставить им эту должность. Для них это было бы ни с чем не сравнимым отличием, а также и средством расширить свои торговые и контрабандистские операции с помощью бумаг, гарантирующих дипломатическую неприкосновенность. Я, разумеется, понимал, что целью этих алчных торгашей было не честное содействие экономическому процветанию нашей нации, а собственное преуспеяние. Их задним мыслям я противопоставлял свои сокровенные и, читая первые, мог не скрывать вторых.

Итак, я вызвал Джона Пэриша Робертсона, старшего из братьев, и изложил ему дело со своей обычной откровенностью.

*Д. П. Робертсон в своих «Письмах о Парагвае» так рассказывает об этой встрече.*

*«Сегодня ночью ко мне явился офицер из дворцовой охраны с не допускающим отказа приглашением: Верховный велит, чтобы вы немедленно пришли к нему.*

*Я вышел вместе с посыльным, младшим лейтенантом — негром, от которого пахло салом и кухонным чадом. Мне уже было известно, что означают визиты так называемых «офицеров» из эскортного батальона. Он шагал впереди меня, и в темноте был виден лишь его белый уланский китель; я шел на эту встречу, не предвещавшую нам ничего хорошего, с таким ощущением, будто сопровождаю зловонную тень в военной форме, не производившую ни малейшего шума, если не считать шороха шпаги, тершейся о бедро.*

Однако, когда я пришел во Дворец, Верховный принял меня приветливее и любезнее, чем обычно. Лицо его светилось чуть ли не жизнерадостностью. Красновато-коричневый, с золотистым отливом плащ ниспадал с его плеч изящными складками. Казалось, он курит сигару с необычайным удовольствием, и в маленьком, скромном зале для аудиенций, где обыкновенно зажигали лишь один светильник, на этот раз горели две большие свечи наилучшей выделки на круглом столике, за которым могли поместиться не более трех человек: это был обеденный стол Абсолютного Властителя той части мира. Он сердечно пожал мне руку: садитесь, пожалуйста, сеньор дон Хуан. Потом пододвинул свой стул к моему и выразил желание, чтобы я его внимательно выслушал.

— Вы знаете, какова моя внешняя политика. Вы знаете, что Парагвай хотели впрячь в одну упряжку с другими провинциями, где царит тлетворная анархия и коррупция. Парагвай благоденствует, как ни одна другая страна. Здесь господствуют порядок, субординация, спокойствие. Но стоит выехать за наши границы, слух ранят пушечный гром и шум распри. Как вы сами могли убедиться, там — разорение и запустение; здесь — процветание, благополучие и порядок. Почему это так? Потому что, кроме того, кто с вами говорит, нет в Америке человека, который знал бы характер народа и был бы способен править им согласно его нуждам и чаяниям. Это верно или нет? — спросил он меня. Я согласился. Я не мог возразить ему, потому что Верховный не терпит противоречий.

— Портеньо — самый ненадежный, пустой, своевольный и развращенный народ из всех, какие находились под испанским господством в этом полушарии. Они требуют институтов, гарантирующих свободу, но единственные цели, которые они преследуют, — это грабеж и нажива. Поэтому я решил не иметь с ними никакого дела. Я желаю установить прямые отношения с Англией, равноправные отношения государства с государством. Корабли Великобритании, преодолевая просторы Атлантики, будут прибывать в Парагвай. В союзе с нашими флотилиями они отразят любую попытку воспрепятствовать свободному судоходству на всем протяжении торгового пути от устья Параны до озера Ксарайес в пятистах лигах к северу от Асунсьона. Британское правительство будет иметь здесь своего посла, а я своего при Сент-Джемском дворе<sup>[302]</sup>. Ваши соотечественники будут торговать промышленными изделиями и военными припасами и получать взамен превосходные продукты этой страны.

На этом месте своей речи он в чрезвычайном возбуждении вскочил со стула и, кликнув часового, велел позвать сержанта — начальника караула. Как только тот появился, Верховный приказал ему принести «это». Сержант вышел и через минуту вернулся с четырьмя гренадерами, которые несли тюк табака в двести фунтов весом, такого же размера кипу йербы, большую оплетенную бутылку с тростниковой водкой, большую голову сахара и много свертков сигар, перевязанных красивыми разноцветными лентами. Наконец вошла старая негритянка с образцами хлопчатобумажных тканей в виде скатертей, полотенец и всякого рода предметов одежды. Я подумал, что это подарок, который Верховный хочет мне сделать накануне моего отъезда в Буэнос-Айрес. Каково же было мое удивление, когда он вдруг сказал мне:

— Сеньор дон Хуан, это лишь немногие из плодов парагвайской земли и мастерства ее обитателей. Я постарался достать для вас лучшие образцы производимых в стране разнообразных товаров. Вы знаете, что в этом, позволю себе

так выразиться, земном раю такие товары могут быть получены в неограниченном количестве. Не будем входить в обсуждение вопроса о том, созрел ли этот континент для либерально-буржуазных институтов (я думаю, что нет), но нельзя отрицать, что в такой древней и цивилизованной стране, как Великобритания, эти институты практически вытеснили старые, обычно феодальные, формы правления, обеспечив незыблемость и величие вашей державе, ныне самой могущественной на земле. Я желаю поэтому, чтобы вы отправились к себе на родину и по прибытии в Лондон явились в палату общин. Возьмите с собой эти образцы. Попросите выслушать вас, объявите депутатам, что вы представитель Парагвая, первой республики Южной Америки, и представьте палате продукты этой свободной, богатой и процветающей страны. Скажите, что я уполномочил вас предложить Англии установить со мной политические и торговые отношения и что я готов и горячо желаю с должным почетом принять у себя в столице посланника Сент-Джемского двора, как это принято между цивилизованными нациями. Как только он прибудет сюда и засвидетельствует формальное признание нашей независимости, я назначу своего посланника при английском дворе.

Почти дословно в таких выражениях обратился ко мне Верховный. Я был изумлен его решением назначить меня своим посланником не при Сент-Джемском дворе, а в палате общин. Он специально рекомендовал мне не вступать в переговоры с главой исполнительной власти, «потому что, — сказал Верховный, — я хорошо знаю, что высокопоставленные лица в Англии склонны рассматривать столь важные вопросы, как этот, лишь после того, как палата общин обсудит их и решит положительно».

Никогда, в жизни я не попадал в такое затруднительное положение. Я не знал, что сказать и как поступить. Отказаться от донкихотской миссии значило тут же навлечь беду на свою злосчастную голову и голову брата, если не потерять их под топором палача. Мне не оставалось ничего другого, как согласиться. Так я и сделал, хотя меня душил смех, когда я представлял себе, как я вламываюсь в зал заседаний палаты общин в сопровождении полудюжины носильщиков, оттесняю спикера, несмотря на протесты и попытки мне помешать, вываливаю из кожаных мешков парагвайские товары и воспроизвожу *verbatim*<sup>[303]</sup> речь Верховного. Но Асунсьон находился очень далеко от Сент-Джемса. Поэтому я принял полномочия, которыми меня облек диктатор (что еще не означало принять его предложение), и доверился случаю в надежде найти какую-нибудь отговорку, чтобы снискать извинение за то, что я не смог выполнить столь почетную миссию — войти с кожаными мешками в указанную мне дверь по ту сторону океана».

Вот что, дон Хуан, сказал я ему, будем говорить начистоту. Я склонен оказать вам честь, которой вы домогаетесь. Я сделаю вас торговым представителем Парагвая при правительстве вашей империи. Я желаю установить прямые отношения с Англией, как я полагаю, полезные для обеих стран: вашей, самой могущественной державы в современном мире, и моей, самой процветающей и чуждой смут и неурядиц республики Нового Света. Вам подходит эта синекюра? Он рассыпался в восхвалениях моей особы и изъявлениях благодарности. Но в эту самую минуту, как всегда бывает со мной, когда я сталкиваюсь с людьми, которые играют краплеными картами, я уже понял, что раболепный англичанин не выполнит ничего из того, что сам угодливо обещал. Больше того: по тону, которым он произносил свои комплименты, я узнал, что он обманет меня.

Но несмотря на все, я не мог не сделать этой ставки. Миссия Робертсона была пробным шаром: я хотел выяснить, не существует ли возможности под британским флагом прорвать блокаду судоходства, сломив своеволие сменяющих друг друга бесчестных правительств Рио-де-ла-Платы, которые уже тогда находились в вассальной зависимости от британской короны, подчинившей их себе под видом мнимого «протектората». Мне даже показалось, что это удобный случай попытаться заставить англичанина таскать для меня каштаны из огня. Эти мошенники иного и не заслуживают.

Я хочу, дон Хуан, сказал я ему, впиваясь ногтями в его руку, чтобы вы добились восстановления свободы торговли и судоходства, которой без всякого на то права Буэнос-Айрес лишил Парагвай. У меня есть все возможности это сделать, Ваше Высокочтимейшее, заверил меня купец. Я в самых дружеских отношениях с протектором и командующим британской эскадрой в Рио-де-ла-Плате. Стоит мне поговорить с ним, парагвайские суда смогут без всяких затруднений входить в любые порты и выходить из них под охраной военных кораблей капитана Перси. Однако я хочу, чтобы ваши функции не ограничивались рамками торговли. Она станет возможной лишь при условии предварительного признания Великобританией независимости и суверенитета Парагвая. Для меня будет честью, сеньор, ответил торговец, хлопотать об этом справедливом признании, и я уверен, что моя страна тоже будет гордиться тем, что завязала отношения со свободной, независимой и суверенной нацией, каковой является народ Парагвая, уже во всем мире именуемого земным раем. Не надо громких слов, дон Хуан. Не обольщайтесь, Парагвай не Утопия в натуре, как вы говорите, а вполне реальная реальность. Он может поставлять свои продукты в неограниченном количестве, удовлетворяя все потребности Старого Света. По моим сведениям, сложилось такое положение: падение Наполеона и восстановление на троне Фердинанда VII вызвало в Буэнос-Айресе переполох. Теперь Верховным Правителем стал Альвеар. Артигас разбил при Гуайабосе директориалов<sup>[304]</sup>, которые остались без руководителя и, изгнанные из Банда-Ориенталь, захлестнуты событиями. Это удобный момент для попытки, которую я предлагаю вам предпринять. Я снаряжу флотилию доверху нагруженных судов. Я поставлю их под ваше командование, и вы не останетесь до самого Уайтхолла, я хочу сказать — палаты общин, где покажете эти товары, предъявите ваши верительные грамоты и изложите мою просьбу о признании независимости и суверенитета нашей республики. Договорились? Гениальная идея, Ваше Превосходительство!

Через несколько дней Робертсон отплыл в Буэнос-Айрес на своем корабле «Инглесита». Всеобщая эйфория. Радужные перспективы. Первая попытка позондировать почву по совету Хосе Томаса Исаси. Его я тоже выпустил с двумя бригантинами, нагруженными так, что не оставалось ни одного свободного закоулка.

*В «Записках» опять смешение дат. Хосе Томас Исаси покинул Парагвай не вместе с Джоном Робертсоном, а десять лет спустя, с Ренггером и Лоншаном и другими европейцами, которым Верховный дал разрешение на выезд в 1825 г.*

*Это необычайное событие было вызвано ходатайством Вудбайна Пэриша, британского консула в Буэнос-Айресе, который просил парагвайского правителя освободить английских купцов, позволив им выехать со своим имуществом. Молчаливое признание суверенитета Парагвая со стороны Великобритании, содержащееся в просьбе ее поверенного в делах в Рио-де-ла-Плате, произвело свое*

действие, пишут в своей книге Ренггер и Лоншан. Пожизненный Диктатор согласился отпустить не только английских купцов, но также и некоторых других подданных европейских держав. Он дал им пропуск и разрешил снарядить суда с единственным условием, чтобы их команды были набраны из европейцев или негров. Кроме того, он запретил им вывозить иные вещи и товары, кроме приобретенных ими за свои собственные деньги, приказав произвести строгий досмотр багажа. На Томаса Исаси, который пользовался самыми широкими привилегиями, это, естественно, не распространялось. «Он смог обмануть меня, — скажет позднее его кум, — так как ему благоприятствовали два обстоятельства. Я выпустил его для того, чтобы никто не подумал, будто я уступаю необходимости или давлению англичанина, ходатайствовавшего лишь за своих соотечественников. С другой стороны, мой вероломный кум— ах, этот проклятый институт кумовства! — использовал кашель своей дочери как прикрытие для своего предательства и пиратства». Исаси так и не вернулся в Парагвай и еще усугубил свое вероломство издевательством, прислав через некоторое время несколько бочек негодного пороха в виде смехотворного возмещения за причиненный им огромный убыток. Возмущенный Верховный пытался любой ценой добиться выдачи своего бывшего друга.

Он издал указ о конфискации всего его имущества, а ровно через год после побега, 26 апреля 1826, по приговору военно-полевого суда был расстрелян Грегорио Селая, молодой служащий его торгового дома в Асунсьоне. И в каждую годовщину казнили нового заложника, причем жертвами этой ритуальной заочной казни, восходящей к незапамятным временам символических жертвоприношений, были совершенно невинные люди. Однако многолетние усилия могущественного Диктатора ни к чему не привели. Браги Артигаса, нашедшего убежище в Парагвае, предлагали выдать Исаси в обмен на бывшего верховного главу Банда-Ориенталь. Но ни одно соглашение Пожизненный Диктатор не отвергал с подобным негодованием. Он приказал расстрелять без суда эмиссара, предложившего эту сделку. Тем не менее он не отказался от навязчивой мысли наложить руку на беглеца, который бесследно исчез, словно сквозь землю провалился.

Что касается намека на официальное признание, свободное судоходство и торговлю, то после того, как путешественники выбрались из-за «китайской стены» через южные ворота в Унион-де-лас-Сьете-Корриентес, мистер Пэриш без конца откладывал выполнение своего «подразумеваемого» обещания. Делая ставку на последнюю карту, Диктатор отправил в Буэнос-Айрес еще одно судно с единственным назначением — доставить английскому консулу меморандум, где оскорбленная гордость была завуалирована вежливостью. Меморандум, впрочем, не слишком политичный. После общих фраз по поводу благополучного окончания путешествия освобожденных коммерсантов следовали язвительные строки: «Подданные Его Величества короля Великобритании лишь испытали ту же участь, на какую обречены жители Парагвая в силу этой несправедливой блокады. К тому же у них нет никаких оснований жаловаться, поскольку они приехали в Парагвай, хотя никто их туда не звал». Британский поверенный в делах оставил без внимания «подразумеваемую» жалобу и написал Диктатору, прося его теперь освободить Бонплана. Диктатор выразил свой гнев молчаливо, но недвусмысленно. Он вернул письмо в том же конверте, приказав своему секретарю сделать на нем наклейку с надписью: «Пэришу, английскому консулу в Буэнос-Айресе». В то же время он разослал по всей стране своим чиновникам лаконичный циркуляр: «Вы никогда больше

*не должны верить европейцам, к какой бы нации они ни принадлежали и какие бы намерения ни выказывали. Захлопывайте дверь перед носом у любого из них, а если он не перестанет стучаться, вместо того чтобы сказать «милости просим» с присущим нам исстари гостеприимством, дайте ему по зубам и крикните погромче: вон отсюда, гадина!»*

*Об уважении, которое освобожденные иностранцы вдали от Парагвая по-прежнему испытывали к Пожизненному Диктатору — в не меньшей степени, чем сами граждане и иностранцы, проживающие в парагвайской Аркадии, — свидетельствуют примеры, приведенные Ренггером и Лоншианом, которых потом цитировал консул Франции в Буэнос-Айресе г-н Эме Роже: «Капитан Эрво, которому после длительного плена в Парагвае было разрешено выехать на одной из бригантин сеньора Исаси, умер в Буэнос-Айресе в 1832 году. В течение семи лет, прошедших с момента его освобождения до его смерти, он всякий раз, когда произносил или слышал имя Верховного (это было единственное звание Пожизненного Диктатора, которое он признавал), вставал навытяжку, щелкал каблуками и отдавал честь. Один парагваец тайно бежал на другой бригантине. Я спросил его: почему вы покинули Парагвай? Я двадцать пять лет прослужил солдатом. Это единственная причина вашего бегства? Единственная, сеньор. Вы чувствовали себя там несчастным? Нет, сеньор, никоим образом! Хорошая земля, хороший народ и, главное, прекрасное правительство. Но двадцать пять лет!» (Прим. сост.).*

Я выдаю Исаси из казначейства пятьдесят тысяч песо в золотых монетах на покупку пороха и вооружения наилучшего качества. Мне изменяет англичанин Робертсон. Мне вдвойне изменяет парагваец Исаси. Я должен был заподозрить его, когда он попросил у меня разрешения взять с собой жену и дочь. Он скрыл свой коварный замысел, воспользовавшись слабостью, которую я питал к девочке. Зачем ты хочешь подвергнуть свою семью тяготам такого трудного путешествия? Из-за дочки, сеньор. Она больна коклюшем, а доктор Реиггер уверяет, что от перемены климата она может выздороветь. Послушайте только, как кашляет бедняжка! День и ночь, без остановки! Хорошо, Хосе Томас, раз дело идет о здоровье моей крестницы, я согласен. Будь осторожен на обратном пути. Ты уже не будешь плыть под конвоем британских кораблей, и еще надо посмотреть, выполнит ли британский консул свое обещание, вернее, намек на обещание вступить в переговоры о торговом соглашении между Англией и Парагваем. Что-то не нравится мне этот Джон Пэриш. Англичане — хитрый народ. Им лучше не доверять, пока они не докажут, что им можно доверять. Хосе Томас Исаси, мой друг, мой кум, мой сподвижник на протяжении многих лет, слушает меня, потупив глаза. Уставившись на свои башмаки. Он берет на руки и протягивает ко мне дочку, которая обнимает меня за шею с необычной нежностью: до сих пор она выказывала по отношению ко мне скорее инстинктивный страх. Коклюш не отразился на удивительной, поистине ангельской красоте ребенка. Напротив, он придал девочке какую-то сверхъестественную прелесть. Может быть, по контрасту с еще невидимым черным вероломством ее отца. Когда на минуту утихает судорожный кашель, который душит ее, она целует, меня в обе щеки. До свидания, крест...! — всхлипнув, произносит она, и ее прерывает новый приступ кашля. Дети инстинктивно угадывают расставания навсегда. Хрипящую от удушья девочку унесли, и портовый шум сразу заглушил этот хрип. Золотистые волосы моей крестницы на мгновение вспыхнули на солнце, ярко сиявшем в это апрельское утро, и больше я уже никогда ее

не увидел. Со странным чувством какого-то смутного опасения я погрузился в лихорадочные приготовления к отплытию бригантин.

Возвращаясь из своего последнего путешествия, Джон Робертсон отчасти заплатил за свои подлости. Получить с него эту плату, наказать его, как он того заслуживал, выпало на долю моих заклятых врагов, бандитов-артиговцев. Между Санта-Фе и Бахадой этот потомственный пират попал в руки пиратов Протектора. Они подвергли его ужасным надругательствам. Раздев донага, его положили ничком на землю и привязали к колышкам руки и ноги, после чего над ним часами трудилась орда тапе<sup>[305]</sup> и коррентинцев. Я помню его сумбурный рассказ о том, что ему довелось пережить среди ночи, о том, что мерещилось ему в полуденный зной. Не знаю, был ли искренен гринго. Мне бы хотелось прочесть ту версию этого эпизода, которую он дает в своей книге, если только у него хватило духу его рассказать.

*Эпизод, о котором идет речь, рассказан Робертсоном в «Царстве террора». Если там опущены некоторые отталкивающие подробности, что надо отнести не столько за счет пуританского жеманства, сколько за счет вошедшей в поговорку сдержанности и благопристойности англичан, а также за счет давности событий, о которых повествуют авторы своей размеренной прозой, то тем не менее эта версия в общих чертах совпадает с версией Верховного. (Прим. сост.)*

Осыпая англичанина упреками и поношениями, я вдруг вспомнил, как он, бывало, напевал себе под нос, во время партии в шахматы или моих разглагольствований о звездном небе, индейских мифах, галльской войне или пожаре, в котором погибла александрийская библиотека<sup>[306]</sup>. There is a Divinity that shapes our ends, Rough-hew them how we will. Я слышу голос Джона Пэриша. Благодетельное божество в конце концов любовно обтесало его судьбу в полях Бахады.

Разбойники Артигаса дочиста разграбили «Инглеситу». Растащили парадные формы и кепи, заказанные офицерами, входившими в Хунту, фахи<sup>[307]</sup>, кружева, отрезы руаны<sup>[308]</sup> и мадаполама, драгоценности и безделушки, предназначавшиеся для их жен.

*Ко времени этих событий уже не существовало ни Правительственной Хунты, ни заменившего ее Консульства. Временная Диктатура была на пороге превращения в Пожизненную Диктатуру Верховного. Военные, входившие в первую Хунту, по большей части находились в тюрьме и ссылке. (Прим. сост.)*

Захватили треуголку, оптические и музыкальные инструменты, телескоп, различные электрические приборы, оптом закупленные для меня англичанином. И, само собой разумеется, оружие и боевые припасы, которые по моему приказанию везли для армии, спрятав под грузом угля.

Полосатая тряпка, флаг британской империи, ему не помогла: пришлось голой рукой взяться за раскаленную ручку сковороды, на которой жарились каштаны. Когда английский эфеб очнулся от кошмара, он оказался зрителем занятого спектакля, импровизированного в его честь. Банда артиговских негодяев, нарядившихся в парадные мундиры и священнические облачения или напяливших на себя женские платья и украшения, бесновалась вокруг него, как взбесившиеся бесы, потрясая новехонькими саблями и пистолетами. Крича во все горло, они бились об заклад, кто сумеет зарезать его с одного взмаха. В эту минуту, должно быть, и Джон Пэриш, как старик из рассказа Чосера (и как это случилось недавно со мной), застучал кулаками в двери матери-земли, прося впустить его. Не знаю, что в этот момент должен был



думать Джон Робертсон. Уж наверняка это были невеселые думы. Судя по тому, что он уже испытал, ему не приходилось ожидать ничего хорошего. Хотя англичанин всегда старается возвыситься над временным, преходящим, Джон Пэриш был в отчаянии: рядом с ним не было Хуаны Эскивель, и некому было врачевать его раны и баюкать его своими песнями.

Вечером накануне его отплытия, когда еще веселья не сменило похмелье, его брат простился с ним, не скупясь на шутки и пантомимы, оказавшиеся в некотором роде пророческими. Не смейтесь так, сеньоры, в особенности вы, дон Джон, мой будущий торговый консул. Накличете беду. Как в воду глядел.

Джона Пэриша спасла флейта, на которой он имел обыкновение играть в кругу друзей. Когда вандалы Бахады сделали с ним все, что хотели, они нашли среди его вещей октавин. Играй на флейте! — поминутно требовали переряженные похитители, пока везли его, привязанного к грот-мачте его собственного корабля, в комендатуру города. Мои раны и ссадины еще кровоточили, а сатиры в женском платье, сутанах священников и мундирах военных заставляли меня без передышки играть на флейте, отплясывая вокруг меня сарандео и негритянские дансоны, так что дрожала палуба, рассказывал Джон Робертсон, ища у меня сочувствия. Играй на флейте! Играй на флейте! — понукали меня и били плашмя саблей всякий раз, как у меня перехватывало дыхание. Я задыхался и в отчаянии впивался ногтями в инструмент. Мне больше не за что было уцепиться, кроме этой звучащей соломинки. Уверяю вас, Ваше Превосходительство, нет ничего печальнее, чем, фальшивя, играть на паршивой флейте реквием самому себе ради увеселения тех, кто тебя убьет!

Джон Робертсон не умер. Проклятый вертопрах! Его не убили бандиты Артигаса. Более того, он в свою очередь заставил уругвайцев дорого заплатить за нанесенные ему оскорбления и убытки. При содействии британской эскадры он добился щедрого возмещения. С помощью охранной грамоты, которую выдал ему Протектор Банда-Ориенталь, он, торгуя по всему побережью, сделал выгодные дела и нажил вдвое или втрое больше, чем потерял от грабежа. Каждую каплю крови, пролитой им на бахадской голгофе, бесстыдный купец-англиканец продал за золото. А потом он имел наглость явиться сюда, несмотря на то что я запретил ему снова ступить на парагвайскую землю.

Не могу вам простить, сеньор Робертсон, что вы согласились вступить в гнусный торг с правителем Альвеаром относительно продажи оружия за кровь парагвайцев. Мошенник портеньо предложил мне менять людей на мушкеты. За 25 ружей — сто парагвайцев. Четыре гражданина этой свободной страны за один мушкет! Подлые торгаши! Так вот как вы оценили моих соотечественников! И вы, которому я оказал больше внимания и почета, чем любому другому иностранному подданному, привозите мне это предложение! Торговец человечинной! Пират-работорговец! Что вы вообразили? Да будет вам известно, что на всей земле нет золота, которым можно было бы оплатить даже ноготь с мизинца последнего из моих сограждан!

Жалкий, ничтожный, словно разрезанный надвое червяк, копошащийся в пыли, Джон Робертсон робко попытался оправдаться: я не вел таких переговоров, Ваше Превосходительство! Я только согласился на то, чтобы правитель Альвеар послал с почтой, которую я вез на своем корабле, запечатанное письмо, адресованное Вашему Превосходительству. Лицемер и вдобавок еще трус! Разве вы не знали содержания этого гнусного письма? Не стану уверять, что совсем не знал, Ваше Превосходительство. Генерал Альвеар мне кое-что говорил в крепости Буэнос-Айреса

насчет своего предложения. Он сказал мне, что ему нужны рекруты из Парагвая, чтобы усилить легионы Рио-де-ла-Платы. Я заранее предупредил Альвеара, что вы не согласитесь на подобную сделку; что, как мне известно, Ваше Превосходительство выменивает оружие и боевые припасы только на деревья и йербу, табак и шкуры, но уж никак не на людей! Верховный Диктатор Парагвая никогда на это не пойдет! — сказал я главе буэнос-айресского правительства и наотрез отказался посредничать в таких переговорах. Однако вы согласились привезти это гнусное письмо на своем корабле. Впрочем, нет. Вы не привезли письмо. Вы только положили его в почтовую сумку, которую привез ваш корабль. Тонкая хитрость. Прекрасное алиби. Кроме того, вы дали похитить у себя оружие, которое я заранее оплатил в сто раз более ценным грузом товаров. Сеньор, у меня украли все, что можно украсть у человека. И даже больше того. Но я намерен полностью возместить вам наличными деньгами, в звонкой монете, стоимость похищенных товаров. Да уж конечно, возместите до последнего сентимо и сверх того уплатите неустойку. Но это не все. Пока что Артигас повсюду разослал копию перехваченного письма, чтобы весь мир узнал, что моих сограждан собираются продавать, как рабов. Я чрезвычайно сожалею об этом, сеньор. Но очень скоро будет восстановлена истина. Разве вы еще не знаете, что истины не существует и что ложь и клевета никогда не изглаживаются? Но оставим эти бесполезные умствования. Я хочу знать, когда мне передадут оружие, на которое наложен арест.

Мне очень жаль, Ваше Превосходительство, но, к несчастью, это невозможно. Потрудитесь объяснить мне, сеньор Робертсон, на что же тогда пушки английской эскадры, которые, однако, позволили вам с лихвой вернуть все похищенное. Почему вы не настояли перед консулом вашей империи и его другом-приятелем, командующим этими военными кораблями, чтобы мне было возвращено то, что мне принадлежит? Разве этот флот не защищает британский протекторат над Рио-де-ла-Платой? Неужели он не способен воспрепятствовать безнаказанному пиратству, лишаящему мою страну вооружения, необходимого для ее обороны? Оружие, Ваше Превосходительство, рассматривается как военное имущество, и в таких случаях британский консул и командующий воздерживаются от вмешательства: оно означало бы нарушение суверенитета и самоопределения государств. Вы сами знаете это, Ваше Превосходительство, и тоже не были бы расположены допустить подобное вмешательство в ваши дела. Не говорите пустяков. Я сыт по горло хитрыми уловками, прикрываемыми британской флегмой! Итак, если подвести итог всем этим рацеям, ваши командующие и консулы не могут обеспечить мне свободное судоходство по реке, которая согласно международному праву не является исключительным достоянием или собственностью какого-либо из лимитрофных государств. Да, Ваше Превосходительство. Это вне их возможностей. Мне очень жаль, но это так. Так, значит, сеньор работорговец, когда дело касается Протектората, его суверенитет признается, а когда дело касается такой свободной и суверенной страны, как Парагвай, ее суверенитет не признается. Прекрасный способ защищать самоопределение народов! Их защищают, если они поработочены, их угнетают, если они свободны. Выходит, теперь надо делать ставку либо на английского, либо на французского хозяина, либо на тех, кто их сменит, — другой альтернативы нет. Что касается меня, то я не намерен терпеть подобные посягательства со стороны какой бы то ни было державы.

Послушайте, Робертсон, вас и вашего брата радушно приняли в нашей республике. Вам дали желанный простор для торговли. Вы торговали всем, чем хотели, и мы смотрели сквозь пальцы даже на то, что вы занимались контрабандой, включая и куплю-продажу контрайербы<sup>[309]</sup> и мулаток.

*Вот относящиеся сюда отрывки из письма, написанного по-английски:*

*«Мне поистине тяжело сообщить вам известие, которое я только что получил о том, что дон Агустин, капитан брегантины Йисасиса (sic: речь идет о Хосе Томасе Исаси) встретил на реке Сан-Хуан, примерно в трех лигах вниз по течению от порта Кабалу-Куатиа вашего брата, захваченного солдатами Артигаса, которые напали на него в Бахаде, когда он плыл вверх по реке с оружием для Верховного Правителя Парагвая. 25 этого месяца я собираюсь отправиться к этому месту и, если смогу ему как-нибудь помочь, сделаю все, что будет в моих слабых силах, и оттуда дам знать, как обстоит дело.*

*Я послал вам с доном Энрике де Аревало (по прозвищу Тукутуку) золотую цепочку, крест idem<sup>[310]</sup> четыре кольца idem и другие вещи, которые стоят меньше, чем весят, но блестят гораздо больше, чем стоят. Пожалуйста, напишите, получили вы их или нет, потому что в таких случаях посылному нельзя полностью доверять. Золотая цепочка была двух ярдов длиной, и было бы жаль, если бы она досталась кому не надо, тем более, что мне еще не заплатили ее цену.*

*Надеюсь, к настоящему времени моя мулаточка уже продана, и так как ваш брат взят в плен и один Бог знает, когда его выпустят, будьте добры, пошлите мне сами при первой возможности плату за нее в йербе первого сорта». (Робертсон. Примечания.)*

В этом отношении характерно одно из «Писем». В нем приводится verbatim et literatum<sup>[311]</sup> письмо, которое шотландский сержант Дэвид Спалдинг (дезертировавший из английских экспедиционных войск и обосновавшийся в Корриентесе) написал своим друзьям, братьям Робертсонам, требуя у них выплаты маленького «долга». Письмо сержанта Спалдинга относится ко времени происшествий, случившихся с Джоном Пэришем в Бахаде, и, таким образом, также и в этом плане является документальным свидетельством очевидца, который, правда, не слишком силен в орфографии и синтаксисе.

Меня душит негодование. Я достаю мешочек с бальзамом Корвизара, который мне дал Бонплан. Несколько раз кряду втягиваю его носом, как нюхательный табак (мне не до отваров!), пока у меня все лицо и руки не начинают фосфоресцировать зеленоватым светом. Джон Робертсон в ужасе отшатывается. Послушайте! На вас лица нет, Ваше Превосходительство! Зато вы потеряли не лицо, а совесть, черт побери! Не только вы с братом, но и многие другие англичане жили здесь и торговали в свое удовольствие. Кто хотел уехать, уезжал и увозил с собой целое состояние.

Вы с братом здесь сказочно разбогатели. Я стремился, как вы знаете, установить прямые отношения между вашей нацией и этой богатой страной. Я хотел назначить вас своим торговым представителем, своим консулом, своим поверенным при палате общин. И вот чем вы мне платите! Когда речь идет о товарах, в которых я нуждаюсь, мне говорят, что ваши власти не могут гарантировать мне свободный ввоз оружия! Когда надобно учесть мои интересы, мне говорят, что предназначенное для моей республики должно остаться в руках монтенеро<sup>[312]</sup> и убийц, и английские официальные лица скандальным образом оставляют без внимания мои справедливые

требования! Так знайте же, что я не разрешаю больше вам, вашему брату и вообще ни одному британскому купцу находиться на моей территории. Я не разрешаю вам больше торговать английскими тряпками. На словах «английские тряпки» я громко чихаю. Раздражение слизистой на почве отвращения. Я беру еще понюшку фосфорического табака. В окно роями залетают светляки. Я давлю их у себя на лице, на шее. Я весь покрываюсь светящейся смазкой их внутренностей. Все помещение озаряют мертвенно-бледные отсветы. Мой гнев пылает с полу до потолка. Чихание, как шквал, опрокидывает погребальную урну, в которой я держу бразильский нюхательный табак. Комната наполняется черным туманом с желтыми проблесками. Я знаю это теперь, когда пишу. А тогда это видел ошарашенный Робертсон. Обратившись в зеленое пламя, я расхаживаю перед ним, оцепеневшим от страха, взад и вперед, из угла в угол. Убирайтесь отсюда, подлые тряпичники, со своими вшивыми тряпками! Не нужна нам эта дрянь! Вы и ваш брат должны в двадцать четыре часа оставить Республику, если не хотите оставить здесь свою шкуру. Позвольте, Ваше Превосходительство, нам ведь нужно собраться, не можем же мы бросить свое имущество... Ничего я вам не позволю! У вас нет никакого имущества, кроме вашего паршивого существования! Уносите ноги, пока наши парагвайские вороны не расклевали ваши британские потроха! Вы меня поняли? А? I beg your pardon. Excellency! Shut up<sup>[313]</sup>, Робертсон! Прикусите ваш поганый язык и уезжайте. Вы с вашим братом высылаетесь, изгоняетесь из нашей страны. В вашем распоряжении 1435 минут, и ни минутой больше, чтобы отчалить и освободить этот город от вашего тлетворного присутствия! Вы меня слышали?

Обманщик удаляется, пятась задом и не сводя глаз с застежек моих башмаков, с застежек моих штанов, с застежек моего терпения. Пошатываясь, возвращается, словно не может высвободиться из невидимого силка. Простите, Ваше Превосходительство! Виляет хвостом. Ползает передо мной на брюхе. Лижет мои подошвы. Робертсон, я сказал вам, чтобы вы уезжали! Не испытывайте моего терпения! Уезжайте с Богом или убирайтесь к черту, но чтобы вас здесь не было! Передайте от меня командующему вашей эскадрой, что он прохвост! Передайте от меня вашему консулу, что он отъявленный прохвост. Передайте от меня вашему прохвосту королю и вашей прохвостке королеве, что таких прохвостов, как они, еще земля не рожала! Передайте им, что я не дал бы за их паршивую корону моего ржавого ночного горшка. И если я не прошу вас передать от меня достопочтенным членам палаты общин, что они прохвосты и отъявленные мошенники, то только потому, что общины составляют народ, а единственно кого я еще уважаю — это представителей народа в любой стране, даже в такой грязной дыре, как ваша империя. Лейтенант, отведи этого green-go-home в казарму и скажи коменданту, что я приказываю держать его под арестом вместе с его братом, другим green-go-home, до самого отъезда. Kóã pytaguá tekaká oñemosê vaêrã jaguaicha!<sup>[314]</sup> С этого момента в вашем распоряжении остается 1341 минута. Словно залп из семи ружей, со стола раздался бой семерых часов, нацеливших свои острые стрелки в одну и ту же точку на циферблате. Ну, возьми под стражу этого проходимца! А потом разбуди моего секретаря. Поддай мне его живым или мертвым. Я сейчас же продиктую ему указ о конфискации имущества и высылке. Джон Робертсон с плачем бросился к моим ногам в последней, отчаянной попытке смягчить меня. По моему знаку лейтенант дернул его за руку и вытолкнул из помещения. Пока не стихли их шаги, по-военному четкие у, одного, шаркающие у другого, я неподвижно стоял посреди комнаты. Через открытую

дверь я отбрасывал в темноту зеленоватый свет. Потом я вышел проинструктировать часового. На ходу застегивая штаны и продирая глаза, словно затянутые паутиной, пришел Патиньо. Как всегда, тебя пришлось ждать целую вечность, мошенник! Меня только что позвали, сеньор! Иди ложись опять. И завтра успеется. Я запер двери на засовы, вошел в спальню и начал писать в белом конусе света, падавшего от свечи в шандале.

Вокруг трепещущего пламени свечи, обжигаясь, кружит насекомое. Моя вера в закон необходимой случайности тоже всего лишь насекомое. Залетела ли сквозь щель, вылетела ли из меня самого эта муха, эта дрозфила? Первая. Первая? Кто знает, сколько их уже прилетало выведать, не склонен ли я сдаться, безоговорочно капитулировать? Во всяком случае, первая, какую я вижу. Черная посланница, присланныца, подосланныца ночных тварей. Скоро начнется их нашествие. Но пока она одна, как будто одна. Муха неотступно стремится к самосожжению. Безуспешно. Не то чтобы муха не могла сгореть. Это пламя свечи не может ее сжечь. Моя спальня-могила наполняется вонью: пахнет свечным салом и опаленным насекомым. Я не могу сейчас проветрить комнату. И не могу вытащить муху из ореола над пламенем свечи, как, бывало, вытаскивал мух, потонувших в чернильнице, кончиком моего пера-копья. Пера-памяти. Теперь тону я. Кто меня вытасчит кончиком пера? Без сомнения, какой-нибудь ублюдок-книгокака, которого я заранее проклинаю. *Vade retro!*<sup>[315]</sup> Муха становится похожа на раскаленный уголек. Она радостно машет крылышками. Чистит крылышки лапками. Смотрит на меня своими фасеточными глазами. Красноватый брильянт, искрящийся в темноте. Ты вылетела из меня самого, сукина дочь! Дрозфила стреляет в меня одним из своих многогранных глаз, выскакивающих, как на пружинах. Это оказывает на меня действие пушечного выстрела. *Vae victis!*<sup>[316]</sup> Настает время, час, минута, частица вечности, когда я бросаю железный скипетр на чашу весов, на которых взвешивается мой вклад — клад, предназначенный для выкупа нашей нации.

Подчинить себе случайность! О безумие! Отвергнуть случай. Случай здесь, откладывает яйца в огонь. Яйца своего бессмертия, не похожего ни на какое другое. Из трепещущего пламени случай выходит невредимым. Тщетно пытался я покорить его и поставить на службу Абсолютной Власти, более хрупкой, чем яйцо мухи. Ты узнаешь это по вони, пишет-повторяет мое перо. Во всем, должно быть, есть нечто сокровенное, тайное. Старина пространство, не существует случая. Старина время, ты таишь в себе несуществующий случай. Нет? Да! Не пытайся меня обмануть. Обман уже не по твоей части. По крайней мере со мной это дело не пройдет. От свечи исходит запах надвигающейся гибели, близкого конца. Обреченный жить в сердце своей расы, Я тоже привязан к апельсиновому дереву, под которым смертники ждут казни. Я уже живая падаль, которой гнушаются поживиться даже мои собственные вороны. Кто-то диктует мне: задуй свечу бытия, для которой все уже позади. Ну-ка попробуй. Дуй. Я дую изо всех сил. Свет ничуть не меркнет. Только слегка разгорается тлеющий уголек, в который обратилось насекомое. И то лишь самую малость. Чуть-чуть. Ничуть. Попробуй-ка еще раз. Не могу. Я очень слаб. Я попытаюсь это сделать по-другому: путем наивысшей слабости; путем слова; путем мертвого, письменного слова. Тогда пусть в ход в этот раз, в этот последний раз по возможности самую пошлую, самую идиотскую риторику. Выполняй это упражнение в элоквенции так, как будто действительно веришь в то, что вещаешь. Притворство

должно быть совершенным. Тайным, как заговор, околдовывающим, как заговор. Ну! Пиши. Пиши под взглядом насмешливо наблюдающей за тобой дрозofilы.

Раса моя... (Это обращение отдает проповедью, торжественным обнаружением, воззванием. Зачем оно, если уже никто не должен читать то, что я пишу; если то, что я пишу, уже не будут оглашать под звуки барабана и фанфар?) Все равно слушай, раса моя. Слушай, пока моя свеча не погасла. Слушай рассказ о моей жизни. То, что я скажу тебе, я скажу тебе так, как будто это правда.

Отвергший случай, как анахронизм, как одно из многих устаревших слов, которые мы употребляем в борьбе со временем, я тот фантастический персонаж, именем которого с берега на берег перебрасываются прачки, колотя вальками грязное белье. Пусть это имя означает для них кровь и пот. И слезы. Все равно. Не важно, сакраментальное ли оно для них или экскрементальное. Я этот ПЕРСОНАЖ и этот ЧЕЛОВЕК. Высшее воплощение расы. Вы избрали меня и вручили мне пожизненно бразды правления и вашу судьбу. Я, ВЕРХОВНЫЙ, который бдит над вашим сном и вашим сном наяву (между тем и другим разницы нет); который ищет переход через Красное море среди травли и запугивания со стороны наших врагов... Как это звучит? Черт знает как! Даже самый глупый каплун из множества петухов, которые поют среди ночи в надежде раньше времени разбудить зарю, даже самый невежественный из писцов, которые роются в архиве в поисках бумаги, написанной тем же почерком, что и пасквиль, не поверил бы ни единому слову из того, что ты написал. Даты и сам не веришь этому. Ну и пусть, наплевать.

Тошнотворная вонь. Сквозь щели доносятся шаги фонарщика, бдящего над моим бдением, и его простуженный голос: ровно двенадцать, все на покооой! Постеели стелииите, свеечи гасиите! Вдали перекликаются часовые: незавииисимость или смеертть! Ах, как от привычки плесневеют обычаи и профанируется самое священное... (Углубить это, если смогу...)

Вернувшись на годы назад по пути, усеянному плутнями и изменами, Хосе Томас Исаси, помимо собственной воли, черной волн вора и обманщика, поднялся вверх по реке, против течения. Я наконец схватил его. Я должен был это сделать, даже если бы он бежал на край света. Зачем ты предал нашу дружбу? Каменное молчание. Зачем ты обокрал государство? Гробовое молчание. Зачем ты изменил родине? Пороховое молчание. Из Палаты Правосудия его тащат на площадь, посреди которой горит костер из присланных им бочек с негодным порохом. Теперь этот желтый порох, символизирующий его вероломство, по крайней мере пригодился для того, чтобы сжечь негодяя. Привязанный к железному столбу, он подвергается казни, к которой я приговорил его в тот самый час, когда раскрылось его гнусное преступление. Я вижу из окна, как он горит. Вот уже десять лет я вижу, как он горит. Его пережаренное мясо дымится, и дым образует над его головой фигуру чудовища, которое плачет и плачет, умоляя о пощаде. Его слезы походят на капли расплавленного золота, словно в них превратились пятьдесят тысяч дублонов, которые он похитил из казначейства. Но этот золотой плач не вызывает никакой жалости у народа, присутствующего при казни. Скорее даже, люди чувствуют себя униженными от одного того, что слушают его, что слышат и видят, как эти слезы из брошенных на ветер монет с жалобным писком свисают с листьев деревьев. Никто, даже дети, не делает ни малейшего движения, чтобы собрать эти слезинки из сверкающего черного золота. Ручей золотой лавы течет к Дому Правительства, и она сквозь щели просачивается в здание. Вот уже она лижет язычками пламени подошвы моих башмаков.

Сбегаются гренадеры, гусары и другие военные с ведрами воды и тачками песка. В один миг они тушат проглянувший пожар. Смывают золотую грязь. Соскребают следы лавы. Еще долго сквозь топот грубых солдатских башмаков отечественного изготовления из невидимых щелей между половиц доносятся потеки черного плача. Эти хнычущие остатки выковыривают остриями сабель, вычищают швабрами и банниками, вымывают с помощью жавеля и мыла.

Меня выводит из дремы чье-то немое присутствие. Я размыкаю веки. Еще не увидев ее, я знаю, что это она. Мария де лос Анхелес. Руки скрещены на груди. Голова слегка склонена на плечо, на левое плечо. Пепельно-золотистые волосы падают до пояса. Она стоит, выпрямившись во весь рост, без высокомерия, но и без ложной скромности, не выказывая и не внушая жалости. Пристально смотрит на меня из недосыгаемой дали. Озаряет мертвое пространство. Ты была на площади, когда казнили твоего отца? Она улыбается. Только радужная изменила свой цвет (чуть-чуть). На фоне бумаги зрачки кажутся синеватыми. Я замечаю все это в одно мгновение, такое огромное, что оно не помещается на листе. Хосе Томас Исаси, погонщик скота в Санта-Фе, умер бедным и больным. Он упал с лошади, и, где упал, там его и похоронили.

Тебя приютила старая индианка; она увезла тебя в Кордову, а потом в Тукуман. Я вижу тебя еще девочкой, когда ты бегала вокруг дома, где после своих битв отдыхал и молился твой крестный Мануэль Бельграно. Где началась его агония; где была последняя почтовая станция на пути в его Сад Забвения. Сквозь лохмотья, в которые превратилось твое платье, я вижу у тебя пятно на левом плече. Я знаю, что это такое. Это след монтонерской жизни. Его оставили древко копья и ружейный ремень. Я могу подсчитать, сколько времени давили они на это женское плечо. Шрам на шее. Рубцы от ран, нанесенных жестокой жизнью. Такого старика, как я, которого уже не греет, а только сушит солнце, подле любимого существа снедает печаль. Ему уже нечего ждать, нечего искать.

Я приказал казнить ее отца, потому что он похитил золото государства. Она пришла возместить это золото. А может быть, и помочь мне возместить утраченное мною самим. Теперь я знаю, что такое помощь. Только теперь я это знаю. Но почему же только теперь, когда «теперь» для меня не существует?

Ты не говоришь, а я тебя понимаю. Я пишу, а ты не понимаешь меня. Даже если бы я мог выбраться из этой дыры, я все равно не мог бы быть с тобой. В былое время мы шли вместе. Но огромная наполовину черная, наполовину белая лошадь разделяла нас своей чернотой, своей белизной. Мы шли рядом в разных эпохах и были бессильны соединиться. Все эти дали я прошел один, без единого спутника. Один. Без семьи. Один. Без любви. Без утешения. Совершенно один. Один в чужой стране — тем более чужой, чем более родной. Один в моей отрезанной от всего мира, чуждой всему миру стране. Одинокой. Пустынной. Заполненной моей опустошенной личностью. Когда я выходил из одной пустыни, я попадал в другую, еще более пустынную. Между нами проносится ветер, пахнувший близким дождем. Так хочется мочь любить! Когда встречаешь только страх, начинаешь тянуться к ненависти, как будто это любовь. Идет сильный дождь. Падают крупные, тяжелые капли. Повисает свинцовый занавес между двумя эпохами. Не Потоп ли это? Потоп. Мы продолжаем идти. Сорок дней. Сорок веков. Сорок тысячелетий. Между широкими листьями и огромными кроткими чудовищами играют два ребенка. Они не знают друг друга. Виделись ли они когда-нибудь? Они не помнят. Адам и Ева? Не знаю, не знаю... Мы

еще не научились говорить. Но мы уже понимаем друг друга. Мы играем среди медлительных, тихих чудовищ. Ты будишь один за другим шелковистые черные бутоны водяного майса. Я топчу ногой страстоцвет. Я зову тебя, не называя по имени. Ты оборачиваешься и смотришь. Внутри страстоцвета что-то шевелится. Живое семя. Что это? Что это? Мы не знаем, как называются вещи, существа. И теперь-то мы и знаем их лучше всего. Их названия — они сами. Они тождественны по форме, по образу, по идее. Они трепещут в нас. Искрятся снаружи и внутри. Появляется крошечная пташка. Металлическое оперение. Малюсенькая человеческая головка с птичьими глазками. Наши руки соприкасаются в нежном пушке. Мы берем ее из ее тюрьмы. Это колибри. Птица-муха. Первозданная птица. Наш Первый-Последний-Последний Отец в первобытной тьме исторг ее из себя, чтобы она сопровождала его. Ньямандуи, создавшего основу человеческого языка, / Ньямандуи, создавшего зернышко любви, / маленький колибри питал и освежал, / принося ему райские плоды..,

Да, нелегкая это была работа — создать основу человеческого языка! С нашего Первого-Первого-Последнего Отца пот катился каплями величиной с колибри. Готово: вот вам человеческий язык! С тех пор мы тоже говорим. Спустя миллионы лет бездельники и мошенники, именующие себя философами, и вороны, каркающие с амвона, скажут, что мы не извлекли язык из простого страстоцвета, а обрели его с помощью «сверхъестественной силы». Теперь мне уже не нужна сверхъестественная помощь. Я слышу и понимаю тебя с помощью памяти. Все остальное утрачено. Между нами огромная черная лошадь.

Ты прибыла сегодня, 12 мая, как раз в день твоего рождения. Мне уже нечего тебе подарить. Подойди к столу. Возьми вон ту игрушку, оставшуюся от раздачи в прошлом году. Она представляет дни недели, бегущие по кругу, и сообразно с их сменой меняет цвет и звучание. В темноте можно по звуку представить себе очертание и цвет каждого дня. Однажды, верно в какое-нибудь воскресенье *tenebrío obscurus*<sup>[317]</sup>, пружину заело. Пришел оружейник Трухильо. Повозился с ней. Сказал: ничего не могу поделывать, сглазили! Пришел цирюльник Алехандро. Долго орудовал бритвой. Потом вдруг отшатнулся и вскричал: я видел что-то ужасное! Пришел Патиньо. Взял часовой механизм. Сел за свой стол на трех ножках, поставил ноги в таз. Потыкал пером в ноздри механизма, но не вывел его из обморока. Не смог даже перевести стрелки. Патиньо может только переводить бумагу, крутить ручку периодического циркуляра. Сеньор, эта игрушка заколдована! — воскликнул он. Какое там заколдована! Сами они заколдованы, пустомели! Темнота этих стариков делает их боязливее детей. Пуганая ворона куста боится. Пусть не сваливают вину на ни в чем не повинную вещь! Они не разобрались, в чем дело. Убежали, поддавшись страху. Я тоже уже не завожу часы. Возьми эту игрушку. Может быть, ты сумеешь привести ее в порядок. Она не хочет. Осторожно кладет ее на место. Может быть, для нее время идет по-другому. Жизнь человека делает семь оборотов, говорю я. Да, но жизнь не принадлежит человеку, слышу я в ответ, хотя она не шевелит губами. Она уже не ребенок. Что я могу подарить тебе? Может быть, это ружье... Среди ружей, сделанных из метеоритного вещества, есть одно, за которое я взялся, когда родился. Вон то, вон то! Возьми его. Берешь? Она берет! В историях, которые рассказываются в книгах, такие вещи не случаются. Она внимательно рассматривает ружье. Кажется, она не совсем удовлетворена. Она берет сломанные часы. Ставит время. Часы бьют двенадцать. Полдень, воскресенье. Цвет индиго. Я спрашиваю, собираешься ли ты



остаться на родине. Ты единственная эмигрантка, которая вернулась. Ты хорошо сделала, что перестала партизанить, плетясь в хвосте у маленьких аттнл. Разъединенных Провинций, всех этих Рамиресов, Бустосов, Лопесов и прочих разбойников низкого пошиба. Они только и умеют резать друг друга. Насаживать головы на пики. Панчо Рамирес хотел в сговоре со здешними прохиндеями вторгнуться к нам. Он оставил голову в клетке. Факундо Кирога, «тигр льяносов», тоже хвастливо разглагольствовал о вторжении, которое вознамерился предпринять. Ему размозжили голову выстрелами из пистолета, когда он ехал в своей барской карете. Только мы совершили у себя революцию и добились освобождения. Одни парагвайцы кое-что понимают, говорили даже наши злейшие враги. А? Ты так не считаешь? Я тебе докажу. Парагвай — единственная свободная и независимая страна в Южной Америке; единственная страна, где совершилась действительно революционная революция. Как видно, ты в этом не совсем убеждена. Чтобы разобраться в происходящем, надо посмотреть на вещи с изнанки. А уж потом с лица. Что? Для этого ты и приехала? Ах, вот как, прекрасно, прекрасно. Тут я должен был бы написать, что слегка саркастически смеюсь. Только для того, чтобы скрыть свое замешательство. Я спрашиваю тебя, хочешь ли ты заняться каким-нибудь полезным трудом. Это и есть выкуп, который ты должна заплатить. За тобой нет никакой вины. Я не могу вынести тебе законный приговор. Не могу на законном основании послать тебя на казнь, скажем на расстрел или на виселицу. Я принимаю во внимание, одобряю и высоко ценю безмолвное выражение твоей твердой воли. Когда она пошевелила рукой — это было до крайности медленное, едва приметное движение, — я подумал, что она выстрелит из ружья моего рождения в мою безлично-надличную личность. Я не то чтобы усомнился в ней, а разве только почувствовал некоторую грусть. Но сначала я должен тебя слегка испытать, говорю я ей, стараясь заглянуть ей в глаза. Твердая воля и наилучшие намерения ничего не стоят, пока не претворятся в действие. Ты должна начать с низшего; иногда низшее — это как раз самое высокое. Конец определяется началом. Нет иной иерархии, кроме иерархии достижений. Ты согласна? Тогда я назначаю тебя директрисой Дома призрения для девушек — сирот и подкидышей. Он бездействует с 1617 года, когда умерла Хесуса Боканegra. Монахиня, и притом старая кляча, Боканegra была тем не менее первой поборницей образования в наших краях. Безотлагательно переустрой Дом призрения. Добейся, чтобы он выполнял свое назначение. Там окажутся и мои сироты, если они еще живы и не загублены неудачными браками и бедами, какие случаются с женщинами, которые созданы, чтобы ими помыкали.

Когда я вышел из госпиталя, Патиньо доложил мне, что Дом призрения для девушек — сирот и подкидышей мало-помалу превращается в дом терпимости. Даже самых закоренелых проституток, которых держали в тюрьмах, взяли, сеньор, в этот Дом, где они чувствуют себя как дома и живут припеваючи. По ночам он похож на казарму, так много там бывает военных — гренадеров, гусаров, городских стражников, которые напропалую веселятся с девицам *in cueribus*<sup>[318]</sup>. Эти твари хуже индианок. Я послал туда инспектора, но его выставили чуть не пинком под зад. Говорят, командует в этом бардаке, простите за выражение, какая-то чертова баба, которую никто не знает; по крайней мере до сих пор ее никто здесь не видел. На двери они вывесили патент, подписанный собственноручно Вашим Превосходительством. Меня берет сомнение, сеньор: может, это такой же кощунственный пасквиль, как тот, который был вывешен на двери собора. Я приказал

заслать туда шпионов, сеньор. Убери их оттуда. Как, Ваше Превосходительство, вам не угодно, чтобы мы следили за Домом? Я сказал, убери шпионов, шельмец!

Входит викарий со свернутой в трубку бумагой. Что с вами, Сеспедес? Я очень обеспокоен вашим здоровьем, Ваше Превосходительство. Этот вопрос вас пока не касается. Подождите, наступит момент, когда вам придется взять на себя труд прочесть надо мной заупокойную молитву. Я подумал, что, быть может, Ваше Превосходительство пожелает, чтобы пришел священник. Вы мне уже предлагали это. Разве вы не получили ответ, который я послал вам с лейб-медиком? Зачем вы пришли, Сеспедес, нарушив мои распоряжения? Он берет трубку под мышку. Нервно потирает руки. Начинает медленный контрданс вокруг моей кровати. Тайнство исповеди, как известно Вашему Превосходительству... Священник... Нет, Сеспедес, я не нуждаюсь ни в каком толмаче, который перевел бы мою душу на божественный язык. Я ем из одной миски с Богом. Не то что вы, скопище плутов, опустошающих роскошные блюда, которые потом облизывает дьявол. Викарий наткнулся на метеор. У него посыпались искры из ушей. Подождите минутку, Сеспедес. Может быть, вы и правы. Может быть, настал момент приватно свести мои публичные счета с церковью. Благодарение Богу, Ваше Превосходительство! Я счастлив, что вы решили принять тайнство исповеди! Нет, достопочтенный Сеспедес Ксерия, речь идет не о тайнствах и не об исповедях. Моей двоякой Особе нечего таить и не в чем исповедоваться. Ею скоро займутся щелкоперы с тонзурами и без тонзур. Что же касается моего отношения к церкви, то разве оно не было великодушным, милостивым, как нельзя более мягким? Добавьте к этим определениям какие угодно суффиксы и префиксы, чтобы выразить превосходную степень. Разве не так, викарий? Да, Ваше Превосходительство. Мы никогда не найдем слов, чтобы воздать должную хвалу вашему попечительству над католической церковью, которая стала истинно национальной, превратившись из римской в парагвайскую. Я предоставил церкви полное самоуправление на основе Отечественного реформированного катехизиса. Вы это знаете, ваше преподобие. С тех пор как Я двадцать лет назад, когда епископ Панес сошел с ума, поставил вас во главе церкви как генерального викария, вы по своему усмотрению управляли алтарным промыслом, памятуя, что, как сказал апостол, священнодействующие питаются от святилища. Это справедливо, но не справедливо то, что служители алтаря, как вашему преподобию тоже небезызвестно, извлекают из этого промысла в сто раз больше, чем нужно для пропитания. Ваше Превосходительство сказали чистую правду. Я буду вечно благодарен вам за вашу щедрость... Не торопитесь, Сеспедес. Позовите сюда секретаря суда. Я хочу, чтобы исповеди, которыми обмениваются между собой попечитель и пастырь, были занесены в протокол для всеобщего сведения. Таким — освященным не тайной, а гласностью, — в сущности, и должно было бы быть тайнство исповеди. Грех и вина никогда не сводятся к тому, что сознает или бессознательно чувствует отдельная личность. Они всегда затрагивают ближнего, даже наименее близкого. Поэтому я хочу, чтобы это объяснение *in extremis*<sup>[319]</sup> после моей смерти было оглашено со всех амвонов столицы, селений и деревень республики.

Какие за мной грехи? В чем моя вина? Мои клеветники из числа внутренних и внешних врагов обвиняют меня в том, что я превратил нацию в псарню, охваченную водобоязнью. Они утверждают, что по моему приказу зарезаны, повешены, расстреляны самые видные лица в стране. Это верно, викарий? Нет, Ваше Превосходительство, абсолютно неверно. Патиньо, сколько человек было казнено при

моем правлении, этом царстве террора? В результате Великого заговора 20-го года под апельсиновое дерево поставили 68 заговорщиков, Ваше Превосходительство. Сколько времени продолжался процесс этих гнусных изменников родине? Сколько было необходимо, чтобы не рубить сплеча, а выяснить все обстоятельства дела. Обвиняемым было предоставлено право защиты. Были приняты все предосторожности против судебной ошибки. Процесс, можно сказать, не кончился до сих пор. Все еще продолжается. Не все виновные были осуждены и казнены. Некоторые ускользнули. Так, только через пятнадцать лет после смерти Мануэля Анастасио Кабаньяса, который первым изменил родине при Парагуари и на Такуари, обнаружилось, что он был замешан в заговоре, и ему задним числом вынесли тот же приговор, что и остальным. Да, уважаемый викарий, здесь от правосудия не спасается ни один виновный, будь то живой или мертвый. Но больше чем за четверть века было казнено меньше сотни уголовных и государственных преступников. Так вот, я вас спрашиваю, викарий: по-вашему, это бесчеловечная жестокость? Что же вы тогда скажете о вандализме бандитов, от которых стонет вся Америка? Они безнаказанно грабят и убивают, сметая все в своей адской скачке, от которой дрожит земля, а покончив с безоружными селениями, режут друг друга. Каждый везет притороченную к седлу голову противника, когда его собственную голову сносят одним ударом сабли, чтобы привязать к другому седлу. Обезглавленные всадники скачут по лужам крови. Я не слишком преувеличил бы, сказав, что они привыкли жить и убивать без головы. Да и на что она им, когда их лошади думают за них.

Я не слишком преувеличил бы также, сказав, что по сравнению с этими дикими аттилами я предстаю кротким и скромным. Патриарх Парагвая, этого оазиса мира, я не применяю насилия и не позволяю, чтобы его применяли против меня. Фигурально выражаясь, я чувствую себя богобоязненным Авраамом с ножом в руке среди этих зарослей, созданных в третий день творения. Одиноким Моисеем, воздвигающим скрижали своего собственного Закона. Без огненных облаков вокруг головы. Без приносимых в жертву тельцов. Без откровений Иеговы, в которых я не нуждаюсь, чтобы познать истину, ибо сам раскрываю сокровенную ложь.

Меня нельзя сравнить с этими патриархами. Но даже если сопоставить с ними, с учетом времени и места, это не принизит меня. В конце концов у них были свои трудности, озаменованные числом 40. Моисею понадобилось 40 лет, чтобы привести свой народ в обетованную землю, и евреи еще доныне бродят от Сиона к Сиону, одержимые влечением к недостижимому. Несчастный Моисей провел 40 дней, которые стоили 40 лет, чтобы получить десять заповедей, которые никто не исполняет. Я потратил меньше времени: мне хватило 26 лет, чтобы приучить мой народ соблюдать три главные заповеди и привести его не в обетованную, а в обретенную землю. Я достиг этого, не уклоняясь со своего пути. Как сказано в Библии, когда случился потоп, вода 40 дней покрывала землю. Нашу страну всякого рода бедствия затопляли в течение трех веков, а парагвайский ковчег цел. В Новом завете мы читаем, что Иисус 40 дней постился в пустыне, искушаемый дьяволом. Я в этой пустыне постился 40 лет, и меня искушали 40 тысяч дьяволов. Меня не победили и не распяли при жизни. Так неужели вы думаете, викарий, что меня пугает каббалистика сорока!

Вы, каплуны с тонзурами, говорите о Боге, рисуя тени и вызывая в воображении людей, попавших в мышеловки храмов, мрачные пропасти. К истине, которая всегда меняет форму и характер, можно прийти не веря, а сомневаясь. Вы рисуете Бога в

образе человека. Но и дьявола рисуете в образе человека. Значит, вся разница в бороде и хвосте. Вы говорите: Иисус родился в правление Понтия Пилата<sup>[320]</sup>. Он был распят. Сошел в преисподню. На третий день воскрес из мертвых и вознесся на небо. Но я вас спрашиваю: где родился Иисус? В мире, Сеспедес. Где он трудился? В мире. Где принял мученичество? В мире. В таком случае где же ад? В мире. Ад в мире, а вы сами дьяволы и дьяволята с тонзурой и хвостом, который у вас болтается спереди.

В Библии мы читаем, что, когда Каин из зависти убил своего брата Авеля, Бог спросил его: Каин, что ты сделал со своим братом? Спросил, но не покарал. Значит, если Бог существует, он никого не карает. Он сам несет кару за то, что учил истине. Какой истине? Какой Бог? Это я и называю рисовать тени, за которые не уцепишься, какие бы длинные у тебя ни были ногти, и которые не рассеешь никаким благочестием.

Несмотря на все, я не запретил ни одного культа. И мне не взбрело в голову создать культ Верховного Существа, которое иные слабые правители возводят на алтарный трон, как бы раскрывая зонт на случай, если завтра пойдет дождь. Настоящий Диктатор нации не нуждается в помощи Верховного Существа. Он сам Верховное Существо. Итак, я взял под свою защиту свободу культов. Единственное, него я потребовал, — это чтобы культ был подчинен интересам нации. Я издал Отечественный реформированный катехизис. Подлинный культ предполагает не пустую возню, а понимание и исполнение. Я дел хочу, а не слов. Слова легки, а дела трудны не потому, что трудно действовать, а потому что изначальная порочность человеческой природы все извращает и отравляет, если нет непреклонной души, которая бдит над природой и людьми, направляя и оберегая их.

Я защитил национальную церковь от злоупотреблений со стороны тех, кто, вопреки своему долгу служить ей и возвышать ее, своей порочностью, распущенностью, безнравственностью позорил ее и приводил в упадок. Вы, священники и монахи, открыто жили со своими любовницами. И не только не стыдились, но даже хвастались этим. А? Так-то! Загляните в книжонку Ренгера и Лоншана. В этом отношении она неоспоримое свидетельство. Приор доминиканского монастыря, рассказывает, между прочим, Хуан Ренго, в одном обществе весело признался, что он отец двадцати четырех детей от разных женщин. А сколько вы прижили, Сеспедес? Господи Боже и Пресвятая Дева! Вы ставите меня в неловкое положение, Ваше Превосходительство! Вы знаете, Вашество... Да, знаю, что вы наплодили больше сотни детей; по большей части в Мисьонес, с дикими язычницами, которых вы должны были крестить, а не брюхатить. Многие из ваших отпрысков служат теперь в пограничных войсках. Это более достойные люди, чем вы. Не скажу, что в столице, под моим надзором, вы стали целомудренны. Но по крайней мере здесь вы немного обуздали свое сластолюбие. Если бы еще вы распутничали для того, чтобы бросить вызов каноническому праву, противопоставив ему право первой ночи! Но у нас распутники с тонзурой внесли поправки в оба права в угоду своей извращенной чувственности. А это непростительно. В 1525-м Мартин Лютер женился на монахине. Я женился, объяснил дон Мартин, не по любви, а из ненависти к некоторым прогнившим от старости установлениям. Я мог бы воздержаться от этого, поскольку меня к этому не побуждала никакая причина личного свинства. Но я сделал этот шаг для того, чтобы насмеяться над дьяволом и его приспешниками, над князьями и епископами, надо всеми, кто измышляет препоны действию законов природы, когда увидел, что они достаточно безумны, чтобы воспретить священникам

вступать в брак. Я с удовольствием вызвал бы еще больший скандал, сказал дон Мартин, если бы знал, как еще можно поступить, чтобы угодить Богу и вывести из себя моих врагов.

Не сомните бумагу, Сеспедес. Признайте ваши провинности, как я признаю свои. На этой нашей взаимной исповеди мы должны отпустить друг другу грехи. Ваше Превосходительство, я буду вечно благодарен вам за ваше милостивейшее великодушие. За честь, которую вы оказали мне, поместив моих бедняжек в Дом для бедных девушек. Он больше так не называется, Сеспедес. В Парагвае уже нет бедняков. Вы ведь знаете, что по Верховному указу это заведение теперь называется Домом для девушек — сирот и подкидышей. Кто же они, как не сироты, хотя их отцы и живы. Они сироты, но не бедные. Это приемные дочери государства. Дети не должны расплачиваться за вину отцов.

С другой стороны, как вы знаете, я конфисковал имущество, монастыри, бесчисленные владения церкви не для того, чтобы обратить страну в еретическую веру. Я сделал это для того, чтобы подрезать крылья развратившимся служителям церкви, которые в действительности лишь пользовались именем Божиим как прикрытием, ведя распутную жизнь за счет невежественного народа. Еще немного, и они стали бы разгуливать по улицам *in puribus*<sup>[321]</sup>, выставляя напоказ свои жирные тела: зачем им прикрывать срам, когда они сраму не имеют. Одинаково паскудные, принадлежали ли они к черному или к белому духовенству, они готовы были развратничать где угодно и когда угодно. Как монахи Ходили купаться, Патиньо? Нагишом, Ваше Превосходительство. В каком-нибудь укромном месте? Нет, сеньор, у Ла-Луци, где всегда полно прачек. Вот видите, Сеспедес. Многим вашим приспешникам пираньи и палометы<sup>[322]</sup> укорачивали неугомонный член. Они вылезали из воды в крови. Но это, как видно, не обрекало их на вынужденное воздержание, так как скоро они опять принимались за свое, словно культияпка дала молодой росток. Разве правительство не должно было принять меры против этих бесчинств? Разве это значило восставать против Бога? Не значило ли это, напротив, защищать его от самых ужасных оскорблений со стороны этих клериканалий?

Как повел себя, Патиньо, епископ Панес, когда повредился в уме? В ту пору, сеньор, он каждый день приходил докучать Вашему Превосходительству, уверяя вас, что держит Духа Святого в алтаре собора, как в клетке. Он утверждал, что Бог-Птица диктует ему его пастырские послания и что он, епископ, собственноручно пишет их под диктовку перьями, которые вырывает из крыльев Духа Святого. В последний раз, когда он попросил об аудиенции, Ваша Милость приказали мне сказать епископу, что если он собирается опять ни с того ни с сего говорить о Голубе-Ипостаси, то пусть лучше велит зажарить его и съест. Мол, от хорошего голубя у него пройдет вся хмарь, а если и этого окажется недостаточно, чтобы вылечить его, пусть найдет себе подружку, как прочие священники, которые не ходят на гулянья, но развлекаются получше других. Вот как, если не ошибаюсь, было дело, сеньор, а я умываю руки. Ах ты дурак! Все-то ты перевираешь и путаешь, Патиньо. Что за идиотизм! Я не приказывал тебе сказать сумасшедшему епископу, чтобы он зажарил и съел Голубя-Ипостась. Я приказал сказать ему, чтобы он велел разрезать голубя надвое и приложить в виде компресса к голове. Ты прекрасно знаешь, что и у нас, и в других краях употребляют это средство, чтобы вытянуть из мозга вредные соки. Речь шла об обыкновенном голубе, а не о Святом Духе, богохульник! А насчет подружки ты прибавил от себя, нахальный мулат, в насмешку над этим бедным стариком почти

девятина лет. Я не приказывал тебе говорить епископу эти глупости, пустобрех. Я велел тебе сказать ему, что я не столь праздный человек, как он, и не могу то и дело принимать его и что, если он хочет ладить со мной, пусть занимается своими делами, а не то я его смецну. Впоследствии распространился клеветнический слух, будто я отравил его, послав ему в подарок несколько бутылок церковного вина, в которое был подмешан яд. Ради Бога, не вспоминайте об этом, Ваше Превосходительство! Ведь не осталось и тени сомнения: смерть постигла его преосвященство по причине плохого здоровья и более чем преклонного возраста. Что нашли в алтаре, когда умер епископ? Паутину, Ваше Превосходительство. Видите, викарий, какой тонкий скелет у Святого Духа. Я лишь конфисковал имущество церкви. Изгнал из нее орду грязных развратников. Очистил мышеловки монастырей. Превратил их в казармы. Приказал разрушить и сжечь обветшалые храмы. Но я сохранил культ. Не коснулся таинств. Я отстранил от должности умалишенного епископа и поставил на его место вас, который не лучше его, но и не хуже. Ибо, даже когда правительство перестало быть католическим, оно должно по-прежнему уважать религиозную веру, коль скоро это добросовестная вера, не мирящаяся с безнравственностью, чуждая лицемерия, фанатизма, фетишизма.

Здесь по вашей вине, достопочтенные паи, религия превратилась в нечто противоположное. Вы помните, викарий, начальников застав, которые посылали за образами святых для охраны границ? Вы только что видели, как хотел поступить священник прихода Энкарнасьон с вдовой моего часового Арройо. Повсюду мздоимство. Подлое мздоимство.

Паи-священники совратили этот честный народ, исполненный природной доброты и простодушия. Если бы по крайней мере ему дали жить в духе первоначального христианства! Но уже в Ветхом завете описывается гнев Иеговы на Иерусалим, где завелась червоточина из-за книжников и фарисеев, описываются гнусности негодных священников и лжепророков. Если это происходило во времена Иеговы с так называемым избранным народом, то легко себе представить, что должно было твориться в этих землях, превращенных католическими конкистадорами и миссионерами в прообраз ада ради вящей славы Божьей.

Епископа Панеса я сместил в 1819-м, после того как он долгие годы не желал исполнять свои обязанности и вести себя сообразно со своим саном. Само его безумие, подлинное или притворное, было не чем иным, как выражением его яростной ненависти к патриотам. Безбожник! Еретик! Антихрист! — вопиют к небу мои тайные клеветники. А что здесь, в дольном мире, делают клирики? Пенки снимают. Я отнял у них большую ложку. Я вытащил за ушко да на солнышко монахов и священников, погрязших в разврате и бесчестии. Если позволите и мне вставить словечко, Ваше Превосходительство, я напому вам, как начальник гарнизона Бехарано по вашему приказанию вынес исповедальни из церквей и сделал из них будки для часовых. Любо-дорого было видеть на улицах эти ниши из красного дерева, украшенные резьбой и позолотой! Внутри сидели караульные и смотрели в окошечки из-за атласных занавесок. Высовываясь наружу, сверкали на солнце примкнутые штыки. Ваше Превосходительство были очень довольны и с геморроическим смехом говорили: ни у одной армии в мире нет на вооружении таких роскошных будок для часовых. Женщины по-прежнему преклоняли колени перед исповедальнями-будками, желая исповедоваться в своих грехах. Несли сюда доносы, жалобы, споры между кумушками. Все это хорошенько просеивалось, и нет-нет в сите застревало зернышко-

другое. Караульный-священник накладывал на грешниц епитимью в оврагах, а грешников отправлял в ближайший участок. Однажды какой-то умалишенный пришел исповедоваться часовому в том, что убил Ваше Превосходительство. Я хочу искупить свою вину! Понести расплату за свое преступление против нашего Верховного Правительства! — кричал он во всеуслышание перед Казармой Отшельников. Я убил нашего Караи Гуасу! Хочу это искупить, искупить, искупить! Хочу, чтобы меня казнили! Часовой не знал, что делать с сумасшедшим. Идите с повинной в казарму, там ваг арестуют. Нет, я хочу, чтобы меня убили на месте! — продолжал кричать тот с пеной у рта, стоя на коленях перед будкой-исповедальней. Вдруг он вскочил, ухватился за штык часового и всадил его себе в грудь. Я убил правительство! Теперь я добил его! — были его последние слова.

Об этом я и говорю, Сеспедес. Вот видите, какую порчу наводят на бедных людей ваши пан. Все они занимаются обманом. А потом пытаются помочь беде, залечить раны моего народа, говоря: все хорошо! Мир и покой! Мир и покой! Мир и покой! Но нигде нет покоя и мира. Священники не пасут людей на лугах Евангелия. Они пасут бесов. Не сказал ли это недавно сам первосвященник, папа римский! Не подчеркнул ли он ужасающую множественность дьявола? Сколько бесов было, Сеспедес, по Новому завету? Семьдесят семь, Ваше Превосходительство. Нет, викарий, вы отстаи, не знаете демонологических новостей. Папа в своей последней булле, перепечатанной в буэнос-айресской «Гасете», утверждал, что существуют тысячи миллионов бесов. Вы слышали? Тысячи миллионов! Они расплодились больше, чем человеческий род. Видите, как плодovit сатана. Теперь на каждого грешника приходится не один жалкий черт, а миллионы сильных и буйных бесов. Что значит один ангел-хранитель против такого множества лукавых! Выходит, мы все бесповоротно обречены попасть в ад? Что можно сделать против князя тьмы? Для начала упразднить остаток церковного аппарата, поскольку очевидно, что он не служит орудием в борьбе против сатаны, а, как говорится в народе, переводит добро на дерьмо. С 1547-го, когда в Парагвае была учреждена церковь, алтарный промысел принес столько богатств, что в это трудно поверить. Я сделал точный подсчет. Даже половины этих богатств хватило бы, чтобы купить втрое больше земель, чем все Заморские Владения, которые составляли необъятную овчарню Божию, взыскующую веры, как гласит булла об учреждении церкви. В целом булла посвящена лишь жалованью, стипендиям, плате за требы, пребендам, синекурам и прочим доходам всего персонала, который должен был бдеть над господней овчарней. Епископу назначалось двести золотых дукатов годового содержания, помимо бенефиций, которые он мог увеличивать в своем диоцезе, когда и как ему заблагорассудится. Декану — сто пятьдесят ливров. Архидьякону и регенту — сто тридцать песо. Каноникам — сто. Что же делают эти анахореты? Архидьякон, Ваше Превосходительство, экзаменует клириков при возведении в должность. Регент должен присутствовать на аналое и учить певчих петь. Каноникам полагается служить мессу в отсутствие епископа и петь Страсти, Послания, Пророчества и Плачи. Ладно, ладно, Сеспедес. Поскольку у нас больше нет прелатов, хоров, аналогов, а страстей, пророчеств и пасквилянтских посланий хоть отбавляй, все эти должности отменяются. Вы меня поняли, викарий? Никаких канюников, аллилуйщиков, пьяномарей. Равным образом упраздняются пребенды приbedняриев как на полном содержании в семьдесят песо на брата, так и на половинном, в тридцать пять рупий *per capita*<sup>1</sup>. Что за синекура у магистрала? Он должен обучать клир грамматике, Ваше Превосходительство. Упразднить. А у

органиста? Его обязанность, сеньор, играть на органе во время торжественных служб по указанию прелата или кабильдо. Он же, как и декан, дает разрешение певчим выйти по нужде во время богослужения, когда их органы того настоятельно требуют. Видите, Сеспедес, сколько потрачено в этом краю с 1547 года на людей, которым нужно в нужник! Прочь! С этим покончено! Пошлите работать на государственные чакры и эстансии всех этих облаченных в сутаны приспешников сатаны, которые уцелели после реформы 1824 года. А тех, кто по возрасту или состоянию здоровья работать не может, поместите в больницы, богадельни, сумасшедшие дома.

Единственный настоящий органист в Парагвае— Модесто Сервин. Вот с кого надо брать пример, Сеспедес. Это гений! И он никогда не стоил государству ни реала. Он ест свою душу. Этим и живет. И дает самым нуждающимся маниоку и маис, посаженные собственными руками на своей чакре. Он мог быть органистом в Соборе Святого Петра. Но он предпочел сохранить верность своей родине, играя в маленькой церкви индейского селения. Этот органист и школьный учитель из Хагуарона поистине святой человек. Место, где он родился, уже должно было бы считаться священным. Пусть тот, кто играет на органе, делает это ради удовольствия, из любви к искусству, как Модесто Сервин.

Кто еще, Сеспедес, входит в причт, уже ставший притчей во языцех? Ризничий, он же казначей, эконоом или ключарь, чья обязанность следить, чтобы вовремя запирали и открывали церковь и звонили в колокола; хранить всю церковную утварь; смотреть за лампадами и чашами; запастись все необходимое для службы: ладан, хлеб и вино, свечи и прочее. Затем, Ваше Превосходительство, есть еще сторож, который должен выгонять из храма собак и подметать в Божьем Доме по субботам и в канун престольных праздников. Какое же жалованье назначено буллой этому собачьему маршалу? Двенадцать ливров золотом, Ваше Превосходительство. А знаете ли вы, викарий, сколько получает школьный учитель? Шесть песо и одну голову рогатого скота в месяц. Знаете, сколько получает солдат линейных войск? Столько же плюс обмундирование и снаряжение. Посылайте ваших собачников помогать городским стражникам в ежегодных облавах на собак в городе, селениях и деревнях. Они уже это делают, Ваше Превосходительство. Со времени церковной реформы, проведенной Верховным Правительством, они участвуют в ловле собак, и на них лежит обязанность убивать бешеных, которых с каждым годом все больше и больше. Сколько получаете вы, Сеспедес? Содержание епископа, поскольку я замещаю его, сеньор. Плюс к этому содержание архидьякона, регента и каноника. Плюс пребенды, которые мне полагаются как высшему духовному сановнику в Парагвае и правителю нашей церкви. Это просто чудовищно! Отныне вы будете получать жалованье армейского офицера. А все священники, какой бы сан они ни носили и ни грязнили, жалованье школьного учителя. Вы не возражаете, викарий? Как вы сказали, Ваше Превосходительство, так тому и быть. Да исполнится ваша верховная воля. Что слышно насчет прибытия нового епископа? Нового епископа, Ваше Превосходительство? Не делайте вид, что вы меня не понимаете, Сеспедес. Или вы боитесь потерять его вакантное место? Не в этом дело, Ваше Превосходительство; просто я не получал никаких известий о прибытии нового епископа. Он не новый, а очень старый. Речь идет о богатом клирике Мануэле Лопесе-и-Эспиносе, которого папа назначил епископом в этот диоцез в 1765 году. Это невозможно, сеньор! Доктору теологии дону Мануэлю Лопесу-и-Эспиносе было бы сейчас больше ста пятидесяти лет. Он должен был давно умереть. Нет, Сеспедес. Эти епископы живут



мафусаилов век. Разве епископ Карденес не скончался в возрасте ста шести лет? Лопес-и-Эспиноса так долго не прибывает, потому что его несут в портшезе из Верхнего Перу. Его сопровождает целая армия домочадцев и рабов.

Он взял с собой множество асьенд, которые имел в Трухильо, Кочабамбе, Потоси и Чикисаке. Скот. Повозки, нагруженные слитками серебра. *Opulentia opulentissima*<sup>[323]</sup>. По последним имеющимся у меня сведениям, он в своем медленном движении через Гран-Чако отклонился от старинной кордовско-тукуманской дороги, опасаясь северных геррилий. Я давно жду его прибытия. Уже годы хорошо обученные индейцы гуайкуру, бывалые солдаты, мои лучшие пастухи-следопыты, патрулируют в поисках его каравана по всем возможным дорогам через Чако. Я уверен, что этот странно странствующий портшез прибудет в Асунсьон, пусть с окаменевшим скелетом Лопеса-и-Эспиносы. Меня не интересует никчемный старик. Вы, Сеспедес, уже теперь можете рассчитывать на митру и посох столетидесятилетнего прелата, если он все еще жив. Если же нет, позаботьтесь по-христиански похоронить его путешествующие кости, когда они прибудут к нам. Имущество, привезенное патриархом-епископом, отойдет к государству, станет национальным достоянием. Вместе с деньгами, сэкономленными на церковном причте, оно даст сумму, достаточную для расходов на армию, которую я задумал создать для защиты независимости родины.

Парагвайская церковь, настоящее горчичное зернышко на наших просторах, едва успев прорасти из столь обильно орошенной земли, великолепно развивается, подобная густолиственному дереву, в чьих ветвях свили себе гнезда прекраснейшие и неисчислимые птицы небесные всех цветов и оперений, признают, очарованные этим зрелищем, словно райским видением, авторы первых сообщений о ней, появившихся вскоре после ее основания. Видите, как выросло горчичное зерно! Но слишком много хищных птиц на ее ветвях! Сделаем же так, чтобы это густолиственное дерево само избавлялось от нечисти: пусть не служит листва, пропитанная благодатной влагой любви, всего лишь удобным пристанищем для тех, что хочет быть важными птицами. Поставим на этом точку.

Следовало ли Богу позволять, чтобы совершались все те несправедливости, которые мы видим изо дня в день? А? Я у вас спрашиваю, вы ведь именуете себя служителем божьим. Нет, Ваше Превосходительство, по правде говоря, ему не следовало этого позволять. А как вы думаете, что такое Бог? Я думаю, Ваше Превосходительство, что, согласно Отечественному реформированному катехизису, праведный Бог, всемогущий Бог, мудрый Бог — это... Стойте! Я вам это скажу без такой трескотни: Бог есть сущий непреложно. В противоположность дьяволу. Ваше Превосходительство, это лучшее определение Бога, какое я слышал за всю мою жизнь!

Проведем теперь маленький экзамен. Какой первый вопрос катехизиса? С удовольствием, Ваше Превосходительство. Первый вопрос гласит: какое правление в твоей стране? Ответ: национально-реформаторское. Второй вопрос, викарий. Второй, сеньор, такой: что понимается под национально-реформаторским? Ответ: сообразованное с мудрыми и справедливыми принципами, основанными на природе и потребностях людей и на состоянии общества. Третий. Третий вопрос, Ваше Превосходительство, это... это... Да! Третий вопрос такой: чем доказывается, что наша система хороша? Ответ: неоспоримыми фактами... Вы ошиблись, викарий. Это ответ на пятый вопрос. Неоспоримый факт: у вас слабеет память. Вы вынуждаете меня

снизить вам жалованье до оклада младшего лейтенанта. Будьте умереннее, и к вам вернется память. Волшебные плоды умеренности не купишь ни за какие деньги. Истинная святость не имеет ничего общего с притворной. С той, которая скрывается под тонзурой размером с серебряный реал, принятый в булле об основании парагвайской церкви за денежную единицу при определении содержания клириков. Если это лицемерие и есть религия, то пусть ее проповедует дьявол! Какая разительная разница между дурными слугами церкви и теми, кто служит ей в крайней бедности, с полной самоотверженностью! Эти последние видят Бога в своем ближнем, в себе подобном. И тем острее чувствуют его божественность, чем он беднее, чем больше страдает. Вот вам пример: отец Амансио Гонсалес-и-Эскобар, священник, основавший в Чако селения, которые получили потом столь мелодичные названия. У меня нет, сеньоры, другого имущества, кроме бедности, неотделимой от моей религии, написал он перед смертью. Эту койку дал мне один эрманно.

Этот тюфячок уступила одна набожная старая женщина. Эту тинаху<sup>[324]</sup> сделал мне один индеец. Этот короб — добрый сосед. Стол и скамейку для молитвы — прокаженный столяр. Завещаю вернуть их хозяевам-беднякам, как я возвращаю жизнь тому, кому я обязан ею. В моей хижине грабителям нечем поживиться, если не считать того, что заберет смерть в мешке моего тела. У меня есть только душа, которая принадлежит Богу. Таковы были слова и деяния отца Амансио, который обратил в евангельскую веру индейцев в той же мере, в какой индейцы обратили в евангельскую веру его. Таким языком говорил кроткий священник из Эмбоскады. Его слышали все. То был язык апостола. Вы, Сеспедес Ксерия, не верите в Бога. Однако говорите так, как будто вы верующий. В отличие от вас я по-своему верю. Для меня не существует религиозного утешения. Существует только религиозная мысль. Для вас же существуют только награда и кара, которые после смерти не имеют смысла. Правда, жизнь может придать смысл смерти в этом бессмысленном мире. Ведь если она лишена смысла или мы не понимаем его, то потому, что смысл жизни не обязательно совпадает со смыслом нашей жизни. Наша цивилизация не первая, отрицающая бессмертие души. Но, без сомнения, первая, отрицающая значение души. После битвы, говорится в одной из самых древних книг в мире, бабочки садятся без разбору на мертвых воинов и на спящих победителей. Вы не бабочки, Сеспедес Ксерия. Если церковь, если ее слуги хотят быть теми, кем они должны быть, им придется принять сторону обездоленных. Не только здесь, в Парагвае. Повсюду на земле, где страдают люди. Христос хотел завоевать не только духовную власть, но и светскую. Свергнуть синедрин. Уничтожить источник привилегий. Разгромить привилегированных. Без этого обещание блаженства было бы пустыми словами. Христос поплатился за свой крах Голгофой. Пилат умыл руки. На основе этого первоначального краха лжеапостолы, происходящие от Иуды, создали ложную иудео-христианскую религию. Под знаком этой религии прошли два тысячелетия лжи. Грабежа. Разорения. Вандализма. И эту религию я должен исповедовать? Я не признаю Бога разрушения и смерти. И этому непризнанному Богу я должен исповедаться в своих грехах? Что же, вы хотите, чтобы он расхохотался мне в лицо? Нет, Сеспедес. Оставьте эти мрачные шутки! Вы имеете еще что-нибудь сказать? Я пришел, сеньор, только для того, чтобы покорнейше засвидетельствовать Вашему Превосходительству благодарность и преданность парагвайской церкви ее Верховному Попечителю. С согласия и по совету моих братьев во Христе я позволил себе принести, чтобы подать вам на рассмотрение, надгробную речь, которую отец

Мануэль Антонио Перес, наш самый блестящий церковный оратор, должен произнести на похоронах Вашей Милости... я хочу сказать, когда придет время, если оно придет, и если Ваше Превосходительство благоволит одобрить ее. Это время уже пришло, Сеспедес. Это время уже пришло. Возьмите ваш похоронный пасквиль и приколите его четырьмя кнопками к двери собора. Мухи, которые выигрывают все битвы, будут самыми прилежными и пунктуальными читателями этого опуса. Они исправят его пунктуацию и смысл. Избавят историков от лишней работы. Ego te absolvo<sup>[325]</sup>... (Последующее не поддается прочтению: оторвано, сожжено.)

Еще хуже, гораздо хуже, недостойнее штатские и военные чины. Предлагая всех их повесить, авторы последнего пасквилянтского листка до известной степени правы. Этот листок напомнил мне, что я должен действовать без промедления.

За истекшие тридцать лет мои продажные Санчо Панса навредили мне больше, чем все внутренние и внешние враги, вместе взятые. Стоило предписать им определенные меры, направленные к развитию революции, как эти поварята, перепутав мои указания, заваривали кашу, которую было нелегко расхлебать. Они расстраивали все мои планы. Они тащили страну назад, толкали ее на путь ретроградной контрреволюции. И это руководители, которых я вырастил, патриоты, в которых я верил? Мне следовало поступить с ними так же, как я поступил с предателями, которые с самого начала встали на этот путь.

Подлинно революционная революция не пожирает своих настоящих сыновей. Она уничтожает ублюдков. Сборище прохиндеев! Я их терпел. Я хотел сделать из них достойных служащих. Я вскормил стервятников, которые стали моими наследниками. Не смеялись ли они у меня за спиной, делая из меня своего жалкого пособника? Они превратили всю страну в сатрапии, где ведут себя как настоящие деспоты. Погрязшие в коррупции, они мало-помалу подменили мою власть своей собственной властью, замешанной на подлостях, угодничестве, лжи. В установленный мною порядок они контрабандой внесли свою беспорядочность. Они затупили мне зубы, вынудив разжевывать их писанину. И теперь они потешаются над полоумным стариком, который вообразил, что может править страной одними словами, приказами, словами, приказами, словами.

Нет никакой необходимости содержать этих вероломных людей. Нет никакой необходимости в промежуточной власти, в посредниках между нацией и Верховным Вождем. Обойдусь без соправителей. Они стараются лишь подорвать мою власть, чтобы укрепить свою. Чем больше будет людей, с которыми я делю власть, тем больше я ослаблю ее, а так как я хочу только творить добро, я не желаю, чтобы этому что-нибудь помешало, даже худшая из бед. Соглашусь ли я теперь, когда едва могу двигаться, подчиниться тысяче деспотов, завладевших моей нацией? Я превратился в излишнюю фигуру, и моя излишность дала множество хозяев моему народу. Следовательно, я превратил его в жертву множества различных страстей, вместо того чтобы править им как Верховный Вождь, одержимый одной идеей: обеспечить общее благосостояние, свободу и независимость родины.

Я беспощадно вырублю лес этих паразитических растений. У меня не слишком много времени. Но достаточно. Во мне закипает ярость. Мне приходится ее сдерживать. От этого у меня дрожит перо. Болит рука, судорожно сжимающая его. Я выплескиваю на бумагу мои слова-приказы. Зачеркиваю, вымарываю. Затаиваюсь за этими помарками.

Я не прикажу солнцу остановиться. Мне достаточно еще одних суток. Всего одних противоестественных суток, когда извратится сама природа, сочетав самый долгий день с самой долгой ночью. Достаточно! Мне не нужно большего, чтобы разделаться с этими тварями. Старшими офицерами, высшими должностными лицами, чиновниками. Ба! Даже лучший из них никуда не годится. Те самые люди, которые, возвысившись над собой, могли бы стать во главе республики, опустившись, оказались в клоаке.

Если взвесить обстоятельства, все говорит за то, что я могу поставить вещи на свои места, не оставив мокрого места от этих господ. Внезапно обрушиться на них с быстротой молнии. Испепелить их! Надо безотлагательно обдумать вопрос, как покончить с этим бичом, как истребить эту саранчу, а не просто поднять шум и треск в надежде ее разогнать. Тут нужно действовать исподволь, тихой сапой. Надою молока — будут сливки. Наломая дров — будут щепки. Не всполошить этих шатий. Хороший ловчий в рог не трубит. Пока что снять нагар со свечей, не гася их. Сделать все тайное явным.

Quidquid latet apparebit<sup>[326]</sup>. Доказать свое право на расправу. Начну с прохвоста, который у меня под рукой, — с моего секретаря и поверенного, который плетет интриги, чтобы, как только сможет, поднять мятеж и создать временное правительство из подобных ему фруктов. Пропустим для пробы вольтов ток через чувствительные органы этой делопроизводящей амфибии.

Будем справедливы, Патииньо. Ты не находишь, что в конце концов сочинитель пасквиля прав? Как вы сказали, Ваше Превосходительство? Когда ты не чихаешь, ты спишь. Я не спал, сеньор. Я только закрыл глаза. Так я не только слышу, но и вижу ваши слова. Я думал о словах, которые вы мне как-то продиктовали: жив ли человек или мертв, он не знает своей собственной смерти; человек всегда знакомится с нею через посредство другого, между тем как земля ждет его самого. Я сказал не совсем так, но именно это произойдет с тобой немногим позже, чем очень скоро. Я спросил, не находишь ли ты, что сочинитель пасквиля прав. Я не думаю, сеньор, что сочинитель пасквиля может быть прав. Тем более если этот пасквиль направлен против Верховного Правительства. А тебе не кажется, что я должен отправить на виселицу всех тех, кто на словах служит родине, а на деле лишь обворовывает ее без зазрения совести? Как твое мнение, недостойный доверия поверенный? Вам лучше знать, Ваше Превосходительство. Ты не знаешь, что я знаю. Но я знаю, что ты не знаешь всего того, что тебе было бы важно знать. Если бы воры-мошенники знали преимущества честности, они изловчились бы стать честными вовремя. Чего ты испугался? Ты один из них? Я только ваш покорный слуга, сеньор. Ты весь дрожишь. Под твоими ногами таз скрипит ниже ватерлинии. У тебя стучат зубы. Может, тебя тоже вдруг зазнобило от предвкушения встречи с костлявой зазнобой? Не пытайся скрыть свой страх. Как бы ты ни старался побороть, обуздать его, он все-таки будет сильнее тебя. Господин своего страха только тот, кто потерял его.

Он рассматривает через лупу, как через забрало, почерк, которым написан памфлет. Ты хотел бы докопаться, кому он принадлежит, не так ли? Найти себе замену, увидеть того, кто должен умереть вместо тебя. Я знаю, мой бедный Патииньо. Умереть, ах, умереть звучит жестоко даже для собаки. А тем более для тех, кто, как ты, зарабатывает на жизнь, посылая на смерть других. Ты чудовищно разжирел. Ком сала, да и только. Моя предполагаемая сестра Петрона Регалада смогла бы наделать из твоей гнусной персоны больше тысячи свечей для собора. И еще столько же для

освещения города. Завещай свой труп моей названной сестре. Она Превратит его в свечи для твоего собственного отпевания. По крайней мере после смерти ты будешь самым просвещенным секретарем, состоявшим у меня на службе. Подари ей грудку жира, которую являет твоя особа. Но сделай это законным образом, посредством завещания, заверенного свидетелями. Ты из тех, кто хитрит и изворачивается даже после смерти. Не знаю, как умудряется тебя повесить, когда придет твой черед. Тебя придется поднимать на виселицу с помощью ворота. Но тебе хватило веревок из твоего гамака. Ты, опередив палача, повесился сам, чтобы не давать отчета в своих изменах и преступлениях. Тяжесть предательства, замаскированного лестью, облегчила работу петли. Ты так спешил, что тебе некогда было написать угольком на стенах своей камеры прощальные стишки в духе тех, которые кто-то из писак приписывает моему родственнику Фульхенсио Йегросу, якобы написавшему их перед казнью, хотя этот вертопрах, бывший председатель Первой Хунты, а впоследствии изменник-заговорщик, едва умел выводить свою подпись. Ты мог последовать примеру Баярда-Кабальеро, который нацарапал оскорбительную надпись обмокнутым в кровь пальцем. Он вскрыл себе вены пряжкой ремня, на котором потом повесился, как по-прежнему врут в школах полтора века спустя. Не для того, чтобы воздать ему честь, даже если он заговорщик и изменник, а для того, чтобы очернить меня. Что ж! Прореви, как осел, эту ложь, которую ныне преподносят школьникам. Повтори его слова: я прекрасно знаю, что самоубийство противно божеским и человеческим законам, но не дам тирану утолить свою Жажду крови моею кровью... Сеньор, Вашество не тиран! Есть несколько версий этой посмертной лжи. Выбирай любую. Можешь придумать новую, еще более достопамятную, прежде чем потеряешь память в петле. По твоему толстому брюху катятся слезы или пот. Ты отдаешь себя в добычу всем чертям. Как сказал папа, множество бесов бродят вокруг одного человека, более гнусного, чем все они, вместе взятые!

Поступи так же, как поступили мулаты из Арегуа по совету мерседариев<sup>[327]</sup>, когда почувствовали, что на них напало полчище бесов. Они построили для нечистых дом, чтобы те не бесновались в их собственных домах. Однако велизары, люциферы, люцимеры, вельзевулы, Мефистофели, асмодеи, азазеллы, левиафаны, дьяволицы и лемуры трех полов, которых Данте не поместил в свои адские круги средневековой демонологии, с еще большим ожесточением накинулись на селение Арегуа, потому что не сочли построенный для них дом достаточно красивым и удобным. Их бесчинства продолжались до тех пор, пока тетушка Карлота Пальмерола не построила для них на берегу озера Ипакарай мраморный дворец, сохранившийся до наших дней. (На полях: продиктовать указ о конфискации этого заброшенного здания, которое принадлежит казне по праву владения находкой.) Лишь тогда нечистые утихомирились. Дьяволы потребовали только, чтобы женщины приносили им еду, а дьяволицы — чтобы самые здоровенные негры и мулаты по ночам дежурили в их альковах. Жители Арегуа весьма охотно пошли на эту сделку. Наступило самое счастливое время в истории селения. Плохо только, что счастье недолговечно; но хорошо, что оргии скоро утомляют и людей, и чертей. После ста дней сладострастных утех, когда Арегуа намного превзошел Содом и Гоморру с тем преимуществом, что его не спалил небесный огонь, мулаты, мужчины и женщины, вернулись к умеренности, и жизнь вошла в обычную колею. От былых вакханалий в белом замке, без сомнения, и проистекает красноватая пигментация кожи арегуанцев. как свидетельствует Бенигно Габриэль Каксаксия в своей правдивой истории, уже

переведенной на многие языки. Твой отец, служивший писарем у последнего испанского губернатора, был родом из Арегуа, и в лиловато-буром оттенке его толстых щек проглядывал и огонь и пепел. Внешне ты его точное подобие, но наглость у тебя бесподобная.

Революция фаррапосов<sup>[328]</sup> в Бразилии. Новые известия о старом знакомом, ублюдке Корреа да Камаре. Молодая республика посылает его ко мне в качестве своего полномочного министра. Он испрашивает разрешение на въезд с целью «упрочения отношений взаимного понимания, мира и доброго согласия, по счастью существующих между нашими двумя государствами».

Каковы истинные побуждения так называемой республики? Республики не может быть, раз есть империя. Я не жду от нее ничего нового и ничего хорошего. Корреа да Камара опять стучит в дверь Итапуа. Раньше он приезжал как эмиссар империи; теперь приехал как посланник республики. Этот молодчик вечен! Недаром он с Риу-Гранди, большой реки, которую не остановишь и не повернешь вспять: такой же упорный. Что значит эта фраза об отношениях взаимного понимания, мира и доброго согласия? Уж не хотят ли фаррапосы этой скверной шуткой завоевать мое расположение?

Письмо делегату Итапуа: я не знаю, по какому вопросу хочет вести переговоры со мною посланец так называемых бразильских революционеров. Бразильцы все те же прохвосты под другой личиной. Империя ли их или республика, они не меняются. И эти каналы считают пройти сквозь игольное ушко революции! Меня не удивляет, что в качестве парламентаря они опять послали горбуна Корреа, того самого верблюда, которого я столько раз выпроваживал, потому что он приезжал только для того, чтобы под нелепыми предлогами оттягивать удовлетворение справедливых требований, которые я выдвигал и буду выдвигать до тех пор, пока их не удовлетворят. Я думаю, что и на этот он приехал не по важному делу, а с какими-нибудь глупостями и неуместными исхищрениями, по части которых он считает себя мастером. Однако мы ничего не потеряем, если прощупаем этого мошенника; посмотрим, что у него на уме, независимо от того, что у него на голове — имперская шляпа, фригийский колпак, чамперго<sup>[329]</sup> хитрого гаучо или винча бандеиранте.

Десять лет назад я дал уполномоченному Бразилии последний шанс. Он его упустил. В течение двух лет, с сентября 1827 по июнь 1829, его по моему приказанию задерживали в Итапуа. Для того чтобы заставить людей раскрыть свои карты, нет лучшего способа, чем держать их в ожидании. Не полагаясь на полоумного Ортельядо<sup>[330]</sup>, я заменил его Рамиресом<sup>[331]</sup> — единственным, кто может потягаться с Корреа в цинизме и хитрости. Скажи ему с самого начала, дорогой Хосе Леон, что Бразилия должна полностью удовлетворить все требования республики Парагвай, а не затягивать переговоры на неопределенное время, быть может на годы, под пустыми предлогами, прибегая к легковесным и бесплодным демаршам, очевидно, с намерением таким образом уклониться от выполнения этих справедливейших требований по хорошо известным, совершенно ясным вопросам, без сомнения, в расчете на то, что мы не знаем всей подноготной ее политики, и с завидным упорством стараясь при этом разведать нашу территорию, что наводит на подозрения в вероломстве. Прочти мошеннику-бразильцу эту часть письма самым торжественным тоном, отчеканивая слова, выдерживая паузы и подчеркивая скрытые угрозы. Твоя задача — всеми возможными способами донимать его, пока он не уступит, не пойдет на наши условия или не уберется восвояси. Взять его измором,

сколько бы времени на это ни потребовалось. Но при этом действовать с величайшей осмотрительностью. Все должно исходить как бы от тебя лично, ни к чему не обязывая Верховное Правительство. Слушаюсь, Ваше Превосходительство. Буду осторожен. Размести Корреа и его свиту в бывшем комиссариате, Хосе Леон. Ортельядо мне сообщил, что посланник империи в виде взятки презентовал мне от имени императора сто арабских коней. Отправь их на самое скудное пастбище, какое найдешь, чтобы они вволю наголодались и как следует отощали и чтобы имперский прохвост при отъезде в таком виде забрал их с собой. Ты меня понял, Хосе Леон? Прекрасно понял, Ваше Превосходительство. Ни на йоту не принижайся перед эмиссаром. Ни на шаг не отступай перед ним. Ни на прыжок блохи. Вы же меня знаете, Ваше Высокопревосходительство. Я буду держаться очень надменно.

В ожидании дальнейших событий я запираюсь в Госпитальной Казарме, отрезая таким образом всякую возможность официальных сношений со мной, и всецело посвящаю себя своим научным занятиям и сочинениям.

Никаких известий от моего нового уполномоченного. Что там происходит? Я посылаю в Итапуа моего офицера связи Амадиса Кантеро. Корреа да Камара впоследствии ошельмует его в своих сообщениях и докладных записках. В этом единственном случае он скажет правду.

*«Усердный читатель рыцарских романов, пишущий и сам несносные опусы, один из самых завзятых любителей щегольнуть своей ученостью, этот испанский хлыщ, принявший парагвайское подданство, — гнуснейшая тварь, какую я встречал за всю мою жизнь. Послушать его, он силен в истории, но нередко Зороастр у него действует в Китае, Тамерлан — в Швеции, а Гермес Трисмегист — во Франции. Интриган худшего пошиба, он бился в когтях нищеты, пока не сделался шпионом Верховного Диктатора, у которого пользуется, по моим сведениям, прекрасной репутацией. Вечер за вечером он читал мне нечто смутно напоминающее романизованную биографию парагвайского Верховного. Отвратительный дифирамб, в котором он сажает желчного Диктатора на рога луны. Об империи и обо мне Амадис отзывается в самых неподобающих выражениях. Уверенный в своей безнаказанности, этот невежда и подлец выплеснул на бумагу ужасающую смесь мерзостей и лживых измышлений. Хуже всего то, что в течение двух лет приходилось выслушивать с притворным восхищением чтение его бредовой рукописи. Вместе с мошенником-автором я плакал горячими слезами, окутанный густым дымом, поднимавшимся от коровьего навоза, который здесь жгут, чтобы отгонять насекомых. Ваши слезы для меня лучшее свидетельство искреннего волнения, лучшая дань восхищения и уважения, внушаемого нашим Верховным Диктатором, осмелился сказать мне шпион и биограф парагвайского султана. Никогда более я не испытывал такой муки, такого жестокого унижения!» (Докладная записка Корреа, «Anais», op. cit.)*

*Корреа да Камара не может сдержать негодования: «Невозможно передать, что заставляет меня выносить Диктатор. Я представитель империи, а со мной обращаются, как с каким-нибудь конокрадом. Вместо того чтобы отвести мне достойные апартаменты, меня держат чуть ли не под арестом в грязном ранчо бывшего комиссариата, расположенном посреди болота. Несмотря на это, если бы дело касалось только меня самого, я бы не жаловался, ибо на службе своей стране и своему государю должен терпеть любые лишения. Но справедливо ли, чтобы моя супруга и мои дочери переносили столь недостойное обращение? Мы окружены*

топями, из которых поднимаются тлетворные миазмы, гнилостные испарения, насекомые — разносчики малярии, дизентерии, желтой лихорадки. То и дело бушуют бури, дуют бешеные ветра, льют проливные дожди, падает град. Молнии, сполохи — все ужасы на свете! Окрест становища индейцев. Повсюду бордели. Мои дочери и супруга вынуждены присутствовать при непристойных зрелищах. В помещении, где нам приходится ютиться, стены наполовину развалились. Со времени нашего прибытия мы не имели возможности выспаться и отдохнуть. На цинковую крышу с полночи до зари кидают камни. В любое время дня и ночи мимо дома проходят пьяные, крича и швыряя камни в двери и окна, словно забавы ради. Индейцы заходят в дом и пристают к моим рабам. Воруя провизию. Отравляют воздух зловонием, которое исходит от их грязных тел. Солдаты, притворяясь пьяными, ломают в двери и уходят, только когда я угрожаю им, что буду стрелять.

Вчера в двадцати шагах от моего окна расстреляли какого-то вора. Где делегат? Я посылаю за ним. Шпион Кантеро нагло заявляет мне, что делегат не может уделить мне внимания, так как занят ловлей блох. Не огорчайтесь, достопочтенный сеньор имперский посланник, с притворной учтивостью успокаивает он меня. Ваше превосходительство могут быть совершенно уверены, что если делегат Верховного Правительства Парагвая дон Хосе Леон Рамирес охотится за блохами, то он делает это не иначе, как в заботе о ваших удобствах. Блохи не единственный бич, от которого мы страдаем в этом аду, отвечаю я ему. Я прошу, более того, требую немедленного объяснения с делегатом, а вы мне говорите, что он находится в корзине, поднятой на крышу здания Правительственной делегации, и поглощен нелепой ловлей блох. Не забывайте, ваше превосходительство, невозмутимо говорит шпион-писатель, что у каждого свой способ истреблять блох и методы делегата Верховного Правительства критике не подлежат.

Это еще не все, *senhor*<sup>[332]</sup> Кантеро. Сегодня утром какая-то старая индианка потребовала от меня возмещения убытков, заявив, что ее ослицу изнасиловал осел, на котором возили воду в эту лачугу, отчего она сдохла. Мне пришлось дать старухе золотой дублон — на меньшее она не соглашалась. По-вашему, все это можно выносить? В довершение всего растет смертность от чумы. Я своими глазами видел с порога этой хижины больше пятисот несчастных, которых хоронили в окрестностях. Все беды в один день, а дни здесь неотличимы один от другого на протяжении всего года, так что я уж не знаю, приехал ли я сюда на прошлой неделе или в прошлом веке. Точно во сне, ваше высокопревосходительство, потешается Кантеро. Кстати, о снах: с неделю назад ему приснился сон о Парагвае и Бразилии. Ему снилось, что Бразилия станет величайшей империей в мире, если ее границы будут простираться до реки Парагвай на западе и до реки Парана на юге. Мне снилось, добавил хитрый шпион, что Парагвай и Бразилия не только вступили в тесный союз, но и полностью объединились. Однако я не думаю, что таковы виды Бразильской империи. С Другой стороны, я не верю в сны, сказал я. И еще меньше верю, пришлось мне заметить ему со всей строгостью, всякого-го рода хитросплетениям. Еще шаг по пути оскорблений, *senhor* Род<sup>[333]</sup>, и правительство Парагвая узнает, как умеет представитель империи защитить достоинство своего высокого звания и поруганное величие своего государя!» (Докл. зап. Корреа, *op. cit.*).

Корреа не без основания жалуется на Кантеро. Тем временем мой экзегет и офицер связи перехватывает его секретные сообщения и доклады. В Итапуа настоящий водоворот мелких происшествий, доносит Кантеро.



Они происходят почти неприметно, как бы втайне, пишет он, верный своей мании все облекать в литературную форму. Дон Хосе Леон Рамирес мобилизовал всех, включая субделегата, коменданта и весь гарнизон, на ловлю блох. Сам дон Хосе Леон, забравшись в огромную, больше каное, корзину с запасом воды и провизии, приказал поднять себя с помощью полиспафта на крышу здания Делегации, вероятно решив тоже участвовать на свой лад в этой охоте на блох. В последние три дня он не подавал никаких признаков жизни, если не считать того, что время от времени корзина сотрясается в вышине, словно от приступов жестокого озноба. Что мне делать, Ваше Превосходительство, спрашивает Кантеро. Жди, приказал я. Продолжай ходить по пятам за Корреа.

Мое доверие к Рамиресу еще не подорвано. Должно быть, он замышляет какую-нибудь хитрость против посланца императорского двора.

Как вы увидите, Ваше Превосходительство, пишет Кантеро в своем последнем донесении, я стараюсь всеми возможными средствами умиротворить эмиссара императорского двора и, как приказало мне Ваше Превосходительство, вывести его задние мысли. Для того чтобы он выболтал их, я прибег к маневру, который мне показался удачным и уместным: сказал ему, будто видел сон о союзе между Парагваем и Бразилией, которые-де вместе составили самую могучую силу на этом континенте. Имперский посланник, по всей видимости, так подавлен, что, откровенно говоря, начинает внушать жалость.

Прогуливаясь по прохладным галереям Госпитальной Казармы, я с наслаждением представляю себе, как посланца империи поедают москиты, клопы и блохи. Донимают болотные змеи. Иссушает летний зной в полуразвалившемся здании бывшего комиссариата, где воздух раскален, как в печи. Преследует назойливый Амадис Кантеро, который хочет при помощи вымышленных сновидений вывести экспансионистские планы Бразилии.

Вот наконец докладная записка Рамиреса. Он торжественно объясняет мне самым подробным образом, опираясь на измерения с точностью до миллиметра, соотношение между прыжком блохи и длиной ее лапок с учетом привходящих обстоятельств: прыжок не одинаков у самца и самки, до и после того, как блоха насосалась крови своих жертв, а также, с позволения Вашего Превосходительства, до и после совокупления. Негодяй изобразил даже в бесстыдных рисунках все моменты спаривания.

Секретное донесение Кантеро: как оказалось, Ваше Превосходительство, сеньор делегат Рамирес, поднимаясь на крышу, взял с собой не только воду и провизию; он поместил в корзину также одну из горничных императорского посланца. Сеньор делегат сделал это так осторожно, что никто ничего не заметил и не заподозрил. В корзине они веселились в свое удовольствие, сбивая масло и изображая животное о двух спинах. Между тем имперский посланец пожаловался мне, что количество блох не только не уменьшилось, но значительно возросло. Я стараюсь скрыть от него то, что произошло, хотя об этом уже известно всему селению. Даже индейцы смеются над корзиной-которая-поднялась-на-небо. Я очень опасаясь, что недоверчивый бразилец в свою очередь потребует, чтобы ему выплатили возмещение, как он выплатил его индианке за издохшую ослицу. Однако красивая мулатка-рабыня так и сияет после своего заточения в корзине с сеньором делегатом. Нельзя не признать, что дон Хосе Леон Рамирес, принеся себя в жертву, хитроумно содействовал нашему делу. Мулатка таскает нам тайную корреспонденцию своего хозяина, что позволяет

снимать с нее копии, с тем чтобы Ваше Превосходительство были полностью осведомлены о сношениях имперского посланника со своей государственной канцелярией.

Я приказываю Кантеро ослабить свой умиротворительный натиск. В последнем донесении он сообщает мне: я пригласил, Ваше Превосходительство, императорского посла и его семью на верховую прогулку по красивым рощам и перелескам на берегах Параны. Он сухо отклонил это приглашение. Тогда я послал ему в подарок парагвайские гамаки для него, его супруги и его дочерей. Потом сбрую с серебряным набором. Такой же отказ. Когда настал национальный праздник, день рождения Вашего Высокопревосходительства, императорский посланник воспользовался случаем для того, чтобы выказать свою обиду. В прошлом году он отпраздновал 6 января чрезвычайно пышно. Приказал разжечь два огромных костра и иллюминировать восемьюстами свечами фасад своей резиденции, узнав от меня, что население Парагвая таким способом выражает свою преданность нашему Верховному Диктатору. Помимо того, имперский уполномоченный раздал милостыню бедным и, одетый в праздничное платье, присутствовал вместе со своей семьей на танцах и играх, устроенных в селении. А в этом году двери и окна его жилища были закрыты, и он вызывающе прогуливался перед ним в самом затрапезном платье. Я позволил себе заметить, что удивлен этим различием между его прошлогодним и теперешним поведением. Разве обязан полномочный представитель империи, резко ответил он мне, праздновать день рождения правителя, который семнадцать месяцев держит его в захудалом индейском селении, в непристойной обстановке и нездоровой местности? Человек, которому постоянно наносят обиды, не должен и не может веселиться. Дайте знать вашему Верховному Диктатору, что, если он воображает, что Бразилия его боится, он весьма ошибается. Империю не так-то легко испугать, и она принимает оскорбления, нанесенные, ее посланцу, сообразно с тем, от кого они исходят. Передайте ему от меня, что если переговоры не подвигаются, то это объясняется двуличием в поведении парагвайского кабинета, моральной болезнью, неведомой при дворе Рио-де-Жанейро. Как я должен отвечать, Ваше Превосходительство, на дерзости этого жалкого посланника? Пусть его отведет душу. Передай ему, что если он действительно имеет сказать мне что-то важное, то пусть сначала даст доказательства выполнения обещанного относительно присылки оружия и всего прочего. А если ему нечего сказать, пусть уходит, откуда пришел. Я должен также сообщить Вашему Превосходительству, что кости арабских лошадей, предназначавшихся вам в подарок от императора, уже белеют на пастбище, и их клюют стаи хищных птиц. Скажи воронам от моего имени, Кантеро: приятного аппетита!

Последняя докладная записка Корреа своему правительству, сообщает мне Кантеро в зашифрованном донесении, гласит: международные связи диктатуры обширны. Ее щупальца простираются на Плату, Банда-Ориенталь, Риу-Гранди, Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Ее основная цель — образование великой конфедерации, центром и главою которой был бы Парагвай: Нет никакого сомнения, что парагвайское правительство в сговоре с риограндским маршалом Баррето и что оно не отказывается от плана поднять революцию в Риу-Гранди-ду-Сул и объединить его с Монтевидео в конфедерацию, направленную против Буэнос-Айреса, коль скоро сможет рассчитывать на союз с Бразилией, который позволит Парагваю противиться дерзким притязаниям портеньо. При первом известии о том, что внутренние провинции

отложились от Буэнос-Айреса, Диктатор, который является душой этого нового объединения, хотя и держится в тени, что никого не может обмануть, приказал вновь занять оставленный плацдарм или лагерь у Сальто и послал парагвайские корабли в порты своих новых союзников. Ах ты наглец и интриган! И это ты, Корреа, теперь приехал к нам в качестве посла от революционеров Риу-Гранди-ду-Сул! Если бы я позволил тебе приехать в Асунсьон, то только для того, чтобы вздеть твою голову на пику и выставить ее на Площади Республики. Ну и прохвост! Грязная тварь! Я не дам тебе даже запятнать своей кровью парагвайскую землю — много чести! Убирайся ко всем чертям! Простофиля Кантеро предупреждает меня с присущей ему глупостью: я выяснил, Ваше Превосходительство, что посланец империи, помимо всего прочего, франкмасон, притом одной из самых высоких степеней в этой ужасной, злокозненной ассоциации. Это было бы еще не самое худшее в Корреа, дорогой Кантеро. Напротив, его принадлежность к масонам, если он действительно масон, — то небольшое, если не единственное, что говорит в пользу этого проходимца, замаскированного бандеиранте, сегодня эмиссара империи, а завтра посла республики фаррапосов. Бедные республиканцы-фаррапосы! Бедные масоны! Иметь в своих рядах этого мошенника, который служит только своей мощне, для них поистине пагубно. В донесении Кантеро дальше говорится: представитель империи и республики, сеньор, считает Ваше Высокопревосходительство главой образующейся широкой конфедерации. В настоящий момент, пишет Корреа в своей докладной записке от 2 апреля, парагвайский Диктатор в большей мере хозяин Аргентинской федерации, чем сам Буэнос-Айрес. Он имеет тайные связи в Сисплатинском государстве<sup>[334]</sup> и Перуанской республике, может рассчитывать на поддержку сильной партии в Мисионес и Риу-Гранди и многих приверженцев в Мату-Гросу<sup>[335]</sup> и при первом удобном случае протянет руку помощи сторонникам полной независимости провинции Риу-Гранди, покончит с Буэнос-Айресом, открыто возглавит нынешнюю Федерацию, вторгнется в Мату-Гросу, завладеет Мисионес-Ориенталес под видом компенсаций или репрессалий и принесет ужасы войны в сердце провинции Сан-Паулу, под тем же предлогом вступив в нее через Сальто-де-Сете-Кедас. Непрерывавшиеся сношения между парагвайским правительством и диссидентскими провинциями Федерации Рио-де-ла-Плата через посредство Корриентеса во время последней кампании на юге, неожиданное возвращение парагвайским Диктатором Кордове, Санта-Фе и Паране<sup>[336]</sup> их подданных за несколько месяцев до того, как эти правительства восстали против Буэнос-Айреса и начали войну с ним, — все эти и другие обстоятельства, о которых я по-прежнему буду аккуратно сообщать в своих докладных записках, приводят к выводу, что нет другого способа предотвратить опасности, со всех сторон угрожающие империи, кроме как заключить союз с Парагваем и его хитрым и по-восточному деспотичным Диктатором... Чего же мне еще желать, отъявленный плут! Ты соперничаешь в словоблудии с Кантеро, как и он, выплескивая на бумагу ужасающую смесь противоречивых сведений, сплетен и всякого рода выдумок. Ты запутался в своих интригах: воображение у тебя беднее, чем у Хосе Леона Рамиреса, придумавшего такой оригинальный способ ловли блох. Вышли же, Хосе Леон, этого неисправимого выродка и позаботься как следует проверить его багаж. Не позволяй ему вывезти ничего принадлежащего нам, даже блоху. Смотри в оба! И скажи ему категорически: пусть не вздумает когда-нибудь вернуться в наши края, если не хочет окончательно

лишиться головы, безголовый болван. Пусть идет к дьяволу вместе со своей империей или республикой, или той и другой вместе!

*(В тетради для личных записок)*

Этот сумасброд высказывает совсем не плохую мысль. Я с самого начала задумал и предложил дуракам-портеню, дуракам-уругвайцам и дуракам-бразильцам широкую федерацию, ядром которой был бы Парагвай. Плохо, и не просто плохо, а прескверно другое: эти негодяи превращают в предмет интриг столь бесхитростный и благодетельный проект создания американской конфедерации по образу и подобию наших народов в соответствии с нашими собственными интересами, а не под давлением иностранных хозяев.

Другое дело.

Я сместил Хосе Леона Рамиреса. Прикажите расстрелять меня, Ваше Превосходительство! — взмолился он со слезами, бросившись к моим ногам, когда я потребовал у него отчета в его бесчинствах, потому что ты должен знать, Хосе Леон: блоха кусает, пока не поймают, а поймают, простыню марают. Фигляр из фигляров! Он лизал мои башмаки. Я с радостью пойду на расстрел, Верховный Сеньор, если этой ценой должен заплатить за то, что подшутил над имперским прохвостом, который захотел подшутить над нашей родиной и нашим правительством.

Мне не следовало верить в раскаяние этого лжеца. Через девять месяцев после его реабилитации на свет появился ребенок, которого он сделал моей предполагаемой племяннице Сесилии Марекос. Ему, конечно, не пришлось для этого укладывать ее в корзину и делать вид, что он занимается ловлей блох или вшей. Я приказал ему выплачивать матери ребенка предусмотренное законом содержание. А чтобы он мог для этого достаточно зарабатывать, я распорядился, стреножив его с помощью грильо, поставить на выгребку и очистку армейских нужников. У него еще много времени впереди до совершеннолетия ребенка. С годами у Хосе Леона блудливости поубавится.

*(Периодический циркуляр)*

Когда я, на свое несчастье, принял бразды правления, я не нашел в казне ни денег, ни товаров, ни оружия, ни снаряжения — короче, ничего. А между тем мне приходится нести возросшие расходы, заготавливать провиант, закупать военные припасы, необходимые для обороны, для национальной безопасности, уже не говоря о дорогостоящих работах, которые я веду, прибегая к чрезвычайным мерам и всячески изворачиваясь. Не зная ни отдыха ни сна, я выполняю обязанности множества должностных лиц по гражданской, военной и даже технической части. Я перегружен всеми этими обязанностями и всякого рода делами, которые ко мне не относятся и которыми должны были бы заниматься другие. Все потому, что я нахожусь в стране настоящих идиотов, где правительству не на кого положиться, и, стремясь вытащить Парагвай из пучины бедствий, упадка, нищеты, в которую он был погружен на протяжении трех веков, волей-неволей вынужден быть мастером на все руки и входить во все мелочи.

Я просто задыхаюсь под бременем задач, лежащих на меня одного в этой стране, где мне приходится исполнять пятьдесят должностей сразу. Если так будет продолжаться, лучше махнуть на все рукой. Предоставить Парагваю жить по-прежнему, иначе говоря по-парагвайски. Народ тапе склонен презирать людей других стран и насмехаться над ними. В конечном счете мои стремления останутся

тщетными, мои старания ни к чему не приведут. Все мои планы рухнут, все затраты пропадут даром. Парагвайцы всегда будут парагвайцами, и не больше того. Так что, хотя Парагвай и первая республика в Южной Америке, хотя он громко именуется суверенной и независимой республикой, на него всегда будут смотреть не иначе как на республику гуана<sup>[337]</sup>, на поте и крови которой жиреют другие.

Если тем не менее среди вас есть такие, кто хотят большего, чем то, что я могу дать стране, у меня нет другого выхода, как уволить их в отставку. Не в моих силах творить то, что монахи называют чудесами. Тем более в этой земле, где даже возможное невозможно. Хотел бы я видеть, как бы вы на месте правительства боролись с тупостью чиновников в ведомствах финансов, полиции, гражданского судопроизводства, общественных работ, внешних сношении, внутренних сношений и так далее, и так далее! А как мне приходится воевать с мастерами, работающими на фабрике извести, в оружейных мастерских и на верфях, где я не могу добиться, чтобы поскорее спустили на воду военную флотилию, которая обеспечит безопасное судоходство между столицей и Корриентес, уж не говоря о «Парагвайском ковчеге», большом торговом корабле, который покоится, погребенный в песке, вот уже двадцать лет. Прибавьте к этому формирование и обучение артиллерийских, пехотных и кавалерийских войск, а также личного состава флота, который должен отвечать всем нашим нуждам; управление государственными мастерскими, мануфактурами, складами, эстансиями, чакрами и постоянный надзор над ними; организацию службы шпионажа с использованием самых невежественных и самых бездарных в мире тайных агентов, разведчиков, осведомителей и связных.

Будучи Пожизненным Диктатором, я должен в то же время быть военным министром, главнокомандующим, верховным судьей, директором фабрики вооружения. Поскольку упразднены старшие офицерские чины, вплоть до капитана, я один составляю генеральный штаб всех родов войск. Как начальник общественных работ, я должен лично надзирать за всеми до единого ремесленниками, всеми до единого каменщиками, всеми до единого пеонами, прокладывающими дороги. А сколько работы, огорчений, неприятностей доставляете мне вы, штатские и военные чиновники всей страны, включая начальников самых отдаленных гарнизонов и крепостей!

Хотел бы я посмотреть, как вы справитесь со всем этим! Я предлагаю вам свой пост. Займите его, если вам кажется, что я делаю плохо то, что делаю. Сделайте лучше, если можете.

В одном пасквиле, появившемся на этих днях, меня обвиняют в том, что народ утратил доверие ко мне, что он сыт по горло моим правлением; что он изнемог; что я остаюсь у власти только потому, что у него нет возможности свергнуть меня. Так ли это? Я уверен, что нет. А что, если я утрачу доверие к народу, если он надоест мне, если я изнемогу от него? Разве я могу выбрать другой? Заметьте разницу.

Столпы республики, прежде всего вы должны спросить себя, порывшись в своей душе, свободны ли вы от птомаина, который образуется у тех, кто мертв еще до того, как умер. Напиши внизу пояснение: птомаин — это яд, который возникает в результате гниения животных веществ. Зловонный густой гной, производимый бациллой *vibrio proteus* в бракосочетании с так называемой запятой. Смертельно болезнетворный, словно вышедший из перегонного куба Танатоса<sup>[338]</sup>. Эти варвары, чего доброго, начнут гнать птомаин вместо тростниковой водки при помощи своих подпольных перегонных аппаратов, они вполне способны на это! В просторечии его

называют также трупным ядом. От этого яда, который образуется внутри живых мертвецов, я не могу предложить вам никакого противоядия. Я без колебаний заявляю, что на эту бациллу нет антибациллы. От птомаина нет воскресина. Во всяком случае, никто его еще не открыл и, по всей вероятности, никогда не откроет. Так что осторожнее! Эти ядовитые соки образуются не только в тех, кого должны похоронить на пустошах, за чертой города, без креста и надгробья. Они зарождаются также в тех, кто покоится под пышными «мамуентами». И даже в тех, еще более тщеславных, безмерно тщеславных, что повелевают возводить мавзолеи и пирамиды, где их смердящие трупы должны храниться, как сокровища в сейфе. Протокорифеи, протогерои, протобестии и прочие прото требуют, чтобы им воздвигали статуи и называли их недостойными именами площади, улицы, общественные здания, крепости, бастионы, города, селения, харчевни, увеселительные заведения, площадки для игры в мяч, школы, больницы, кладбища. Чтобы их священные мощи и немощи прославлялись и проституировались. Так было всегда и всюду. Так продолжается и теперь. Так будет продолжаться до тех пор, пока живые люди не перестанут быть идиотами. Положение вещей изменится лишь тогда, когда они без высокомерия, но и без ложной скромности признают, что народ не чернь, а единственный живой памятник, который никакой катаклизм не может превратить в развалины.

То же самое происходило и здесь до нашей революции. Я уже говорил вам о тщеславии и чванстве наших потомственных военных, этих вертопрахов, получавших по наследству эстансии, шпаги и расшитые золотом мундиры. Не было бы ничего удивительного, если бы эта каста возродилась. Сорняки пускают глубокие корни. Птомаин этой военщины мог проникнуть в вас извне и отравить вас изнутри. Я уже сказал и повторяю, что революция не может быть подлинно революционной, если не создает свою собственную армию, иначе говоря, если из ее революционного нутра как ее кровное детище не появляется во всеоружии новая армия. Но случается, что высшие чины этой армии в свою очередь развращаются и разлагаются, если вместо того, чтобы всецело отдаваться служению революции, они, перерождаясь, ставят революцию на службу себе. Вот почему, говорю я, оказалось недостаточно казнить сотню заговорщиков и изменников. Я думал, что покончил с отребьем военщины, этим гнездилищем лжи и предательства, со всеми теми, кто считал себя — каждый про себя именно себя — избранными и призванными возглавлять революцию, а на самом деле были всего лишь невежественными и продажными людишками, жалкими политиками, вообразившими себя блестящими политиками только потому, что носили блестящие мундиры. Но я мог бы убедиться в том, что позорные наказания, которым подвергались эти гнусные изменники родине и народу, не оказали желаемого действия. С помощью палок, расстрелов, виселиц, по-видимому, нельзя покончить с деградацией командующих и офицеров — деградацией, которая по градации передалась их подчиненным и распространилась на всю армию. Мне следовало бы сделать следующий вывод: есть нечто порочное в самой военной форме, и, в какой бы форме ни проявлялось это нечто, оно неизменно знаменует бесчестье, а не честь, недостойность, а не достоинство. Из века в век меняются нравы, но безнравственность военщины остается все той же.

Умейте быть не только честными, но и скромными солдатами родины, каковы бы ни были ваш чин, ваша должность и ваша власть.

*Главные авторы памфлетов против Верховного, чьи свидетельства могут быть пристрастны, но уж никак не могут быть заподозрены в том, что они*

*продиктованы желанием представить Пожизненного Диктатора в выгодном свете, объясняют и, не желая того, оправдывают его попытку, по-видимому не имевшую большого успеха, установить в вооруженных силах строжайшую дисциплину:*

*«Палочному наказанию обычно подвергаются только военные. Для его применения достаточно приказа Верховного Диктатора. Всех приговоренных к смертной казни расстреливают из мушкетов, как делалось уже в последние времена испанского господства. В день казни на площади ставят виселицу, на которую вздергивают тело казненного». (Ренггер и Лоншан, Исторический очерк, гл. II.)*

*Касаясь процесса и казни заговорщиков 20-го года (в большинстве своем офицеров, многие из которых отличились в военных действиях против экспедиции Бельграно), Виснер де Моргенитерн свидетельствует: «Атмосфера была накаленная, и явно надвигалась буря, так как все, кто не принадлежали к властям, были против диктатуры. Диктатор получил несколько анонимных писем, в которых его просили лучше беречься, и удвоил свою охрану. В ночь на второй день страстной недели пять заговорщиков было арестовано и подвергнуто строгому допросу. Еще один, которому удалось ускользнуть от облавы, некто Богарин, человек трусливый и малодушный, раскрыл на исповеди все, что знал относительно выработанного плана устранения Диктатора. Убить Верховного было намечено в страстную пятницу на улице во время его обычной вечерней прогулки. Исполнителем покушения был назначен капитан Монтьель. После смерти Диктатора возглавить правительство должен был генерал Фульхенсио Йегрос, его родственник, а взять на себя командование войсками — Кавальеро и Монтьель, которые опирались на замешанных в заговоре сержантов. Священник потребовал от покаявшегося Богарина, чтобы он в тот же день выдал этот план Диктатору, ибо как добрый христианин он никоим образом не должен участвовать в готовящемся преступлении». («Диктатор Парагвая», гл. XVII.)*

*В течение двух лет процесс был «доведен до кондиции» в подвалах Палаты правосудия, которую Виснер более осторожно именуется судебной палатой. Палачам, вербовавшимся главным образом из индейцев гуайкуру за время этого долгого следствия пришлось изрядно потрудиться под началом Бехарано и Патиньо. Наконец признания, вырванные с помощью плеток, так называемых «хвостов ящериц», не оставили ни малейшей лазейки для сомнений. 17 июля 1821 по обвинению в преступном сговоре и государственной измене были казнены 68 человек, после чего Верховный Диктатор до самой смерти вел государственный корабль без всяких осложнений. В его записках мы находим невозмутимое замечание: проблемы политической метеорологии были меньше, чем за неделю, разрешены раз навсегда командами, назначенными для расстрелов». (Прим. сост.)*

*«Диктатор с величайшим удовольствием говорил о своем военном министерстве. Однажды вошел оружейник с тремя или четырьмя починенными мушкетами. Великий человек стал брать их один за другим, прикладываясь к, целясь в меня, по несколько раз нажимать на курок, высекая искры из кремня. Донельзя довольный, он, хохоча, спросил меня: что вы думаете, мистер Робертсон? Я не собираюсь стрелять в моего друга! Из этих мушкетов будут выпущены пули в сердца моих врагов!*

*В другой раз явился портной с гренадерским мундиром для одного новобранца. Рекруга позвали в кабинет. Диктатор приказал ему раздеться донага, чтобы примерить обновку. После сверхчеловеческих усилий (было сразу видно, что бедный парень никогда не носил одежды с рукавами) ему удалось натянуть ее на себя.*

Мундир был смешон сверх всякой меры. Однако он был сшит по указаниям и собственноручному рисунку Диктатора. Тот похвалил портного и пригрозил рекруту ужасными карами, если он по небрежности посадит на форму хотя бы малейшее пятнышко. Портной и солдат выжили, дрожа от страха. Подмигнув мне, Диктатор сказал: «*C'est un calembour, monsieur Robertson, qu'ils ne comprennent pas!*<sup>[339]</sup>»

Я никогда не видел девчурки, которая одевала бы свою куклу с большей серьезностью и большим удовольствием, чем этот человек экипировал каждого своего гренадера». (Робертсон, «Письма».)

Если бы еще надобно было подтверждение постоянной заботы Диктатора о своих вооруженных силах, достаточно было бы привести вполне определенное и не вызывающее сомнений в правдивости свидетельство отца Переса, который сказал в своей надгробной речи на его похоронах:

«Каких только мер не принимал Его Превосходительство, чтобы обеспечить республике внутренний мир и заставить иностранные державы уважать ее границы. Тут и снабжение оружием, и обучение солдат, и экипировка их самыми великолепными мундирами, какие можно видеть в войсках американских республик и даже королевств Старого Света.

Я поражался, как этот великий человек находит на все время и силы. Он занялся изучением военного дела и скоро стал командовать военными учениями и маневрами, как самый опытный ветеран. Сколько раз я видел, как Его Превосходительство подходил к какому-нибудь рекруту и учил его целиться! Какой парагваец мог пренебрегать правильным обращением с ружьем, когда сам Диктатор показывал, как им пользоваться, как его чистить, разбирать, чинить? Он лично вставал во главе кавалерийских эскадронов и командовал ими с такой энергией и сноровкой, что его боевой дух передавался тем, кто за ним следовал. На маршах и маневрах его голос был слышнее рожка. И что удивительно: когда после таких маневров, имитирующих боевые действия, Диктатор устраивал смотр и лично самым тщательным образом оглядывал солдата за солдатом, он не мог обнаружить на их мундирах ни малейшего пятнышка».

«Все парагвайцы начинают военную службу как простые солдаты, и Диктатор производит их в офицеры лишь по истечении многих лет и только после того, как они пройдут все низшие чины. Общая форма состоит из синей куртки с отворотами и обшлагами, цвет которых варьируется в зависимости от рода войск, белых штанов и круглой шляпы; кавалериста от пехотинца можно отличить и со спины — по тесьме в швах. Только мулаты-улань составляют исключение. Их форма — белая куртка без пуговиц, красный жилет, белые штаны и под цвет жилету красная шляпа. Чтобы сшить эти куртки и все прочее, из упраздненных церквей и монастырей были взяты еще имевшиеся там камчатные облачения. Правда, Диктатор распорядился сшить также для драгунов и гренадеров-кавалеристов несколько сотен парадных мундиров, но их надевают только на праздничные смотры и в караул у Дома Правительства, назначаемый по случаю прибытия какого-нибудь иностранного посланника. В остальное время эти формы бережно хранятся на государственных складах». (Ренггер и Лоншан, *ibid.*)

Когда я потребовал от вас расписки в получении доставленного войскам обмундирования, один из вас обратился ко мне со смешным вопросом о набойках, как будто я должен заботиться о такой дряни, хотя, конечно, не собираюсь выбрасывать ее на улицу. Настоящего солдата узнают не по одежде. В вице-королевстве Новая



Гранада большая часть патриотической армии ходила в чирипа<sup>[340]</sup>, в рубахах, а чаще всего и вовсе нагишом, делая огромные переходы и ведя непрерывные бои с европейцами. Напомню вам суровые слова Освободителя Сан-Мартина, родившегося в Парагвае, в Япеу. В 1819 году в приказе по войскам Освободитель обращается к своим солдатам: товарищи, мы должны воевать как можем. Если у нас нет денег, то мясо и табак всегда найдутся. Когда у нас износится обмундирование, мы будем одеваться в рядно, которое ткнут наши женщины, а не то ходить голыми, как наши земляки-индейцы. Были бы мы свободны, а остальное не имеет значения.

Вот что провозглашал великий, достойный восхищения генерал в разгар освободительной войны. А наши франты-офицеры хотят щеголять в парадных мундирах на казарменных учениях и построениях на площади, когда играют зорю и отбой, поражая население своим великолепием, словно какие-то высшие существа. Нет, сеньоры. Военный должен привыкать к приличию и строгости. Для того чтобы быть хорошим солдатом, роскошь не нужна. Более того, она вредна для солдата. Не просите у меня больше жилетов из атласа, камки, шелка, парчи, тисненой кожи или тонкого полотна. Такие жилеты были заказаны один только раз для мулатов-уланов. Мундиров с позументами, какие носили белые офицеры, командовавшие цветными, больше не существует. Риз, конфискованных у церкви, хватило лишь на обмундирование гренадерских, драгунских, уланских батальонов. Все эти расшитые серебром жилеты, кители, портупей, выкроенные из церковных облачений, уже сгнили. Высокие бархатные моррионы<sup>[341]</sup>, украшенные белой каймой и желтой тафтой, развевающейся на ветру во время марша, превратились в отрепья. Больше нет облачений, которые можно было бы конфисковать. Простите, Ваше Превосходительство. Я хотел бы напомнить вам, что на государственных складах еще осталось двадцать тюков этих тканей, конфискованных в церквах индейских селений. Молчи, когда тебя не спрашивают! Пиши то, что я диктую, и не противоречь мне. Вам придется удовольствоваться одеждой из пунтеви, холста или льна. Кожаными штанами. Полотняными сорочками для офицеров, миткалевыми для рядовых. Школьные учителя одеваются еще скромнее. Только в последние два года они получают более или менее приличное белье, но все же низшего качества, чем солдатское. Они носят холщовые штаны, пестрядинные рубашки. Куртки из чего придется. Нанковые жилеты. Пончо, войлочные шляпы, шейные платки. А раньше сами пряли пряжу и носили домотканое. Им не нужно наряжаться, чтобы выполнять свои обязанности по отношению к детям, одетым только в собственную невинность. У меня самого всего один заштопанный сюртук, две пары штанов — одна для приема посетителей, другая для верховой езды — да два жилета, которые вели тридцатилетнюю войну с молью и термитами.

Кроме того, я не понимаю, зачем вам парадное обмундирование, которое вы вечно выпрашиваете у меня, если потом вы держите его в сундуках? Меня и без того возмущает, что командиры из подражания мне курам на смех щеголяют на службе в таких же переливающихся ирландских халатах, бумазеевых бомбачах<sup>[342]</sup> и ночных колпаках, какие я ношу дома, вместо того чтобы одеваться по форме, установленной для каждого случая. Это еще что за глупость?

Мне не нужны безмозглые и спесивые командиры, которые ходят как шуты гороховые и чванятся своими завитыми волосами и атласными камзолами, прикрывая бесстыдством свое постыдное ничтожество. Я предпочитаю невзрачных на вид, даже кривоногих, которые, однако, твердо стоят на ногах и всегда оказываются в нужном

месте в нужный момент. Вкладывающих в службу всю душу и всем сердцем преданных республике. Неукоснительно и безупречно выполняющих свои обязанности без бахвальства и наружного блеска. Всякая палка о двух концах. Смотрите же, беритесь за нужный.

Командиры должны следить как за дисциплиной, так и за здоровьем солдат. Парагвайская армия похожа на войско тщедушных мародеров. Ей наносят урон не враги, как бывает в других странах. Она сама обессиливает, губит себя, распадаясь на шайки, которые бесчинствуют, преследуя мулаток и индианок и хлеща водку, контрабандой ввозимую иностранными торговцами, чтобы подкупить наших солдат или, того хуже, поскорее ослабить их и вывести из строя.

Я приказываю вам сурово пресекать эти бесчинства. Немедленно чинить суд и расправу. Виновных в подобных безобразиях расстреливать на месте. В противном случае военный трибунал будет судить самого командира, возлагая на него ответственность за последствия его попустительства.

Индийское население, в особенности женщины, заслуживает особой защиты. Индейцы тоже парагвайцы. Как коренные жители этой страны, они имеют на нее больше прав, чем кто бы то ни было. Предоставьте им жить на своих исконных землях, в своих лесах, по своим обычаям, говорить на своих языках, отправлять свои обряды. Помните, что принуждать индейцев к рабскому труду категорически запрещено. С ними должно обращаться точно так же, как с вольными крестьянами, потому что они не лучше и не хуже их.

Не понимаю, как не постеснялся один из вас, важный начальник, попросить меня о переводе одного солдата в канцелярию командансии, ссылаясь на то, что нуждается в нем для составления докладных записок. Ведь это значило признать, что солдат, о котором идет речь, больше него пригоден для того, чтобы управлять делами, а то и быть начальником гарнизона. Разве только составление докладных записок было всего лишь предлогом, за которым крылась какая-то другая, тайная цель. А это было бы вдвое хуже.

Неужели многие из вас не умеют даже составить мало-мальски сносную служебную бумагу, нацарапать донесение, выжать из себя что-нибудь путное? Если так, это очень огорчительно для правительства.

Когда я получаю бумаги от начальников гарнизонов, я прежде всего обращаю внимание на то, как они написаны. Одно и то же можно сказать по-разному, в разных выражениях, которые подчас имеют различный смысл. Поэтому как от начальника гарнизона, не умеющего писать, так и от каптенармуса, пишущего о том, чего он не знает, исходят бумаги, в которых ничего нельзя понять. А если случается что-нибудь плохое из-за плохо написанного донесения, начальник гарнизона оправдывается тем, что его писал каптенармус, плохо истолковавший плохо продиктованное. Кроме того, если возникает надобность дать секретный приказ, правительство оказывается в затруднительном положении, не будучи уверено, что начальник гарнизона его поймет. В своем ответе он может написать любую чушь, как это часто и случается. Не следовало ли бы мне в таком случае назначить каптенармуса начальником гарнизона, а неграмотного начальника гарнизона разжаловать в рядовые?

Я всех вас возвысил из ничтожества в те времена, когда собирал коконы, из которых должны были вывестись бабочки. Мне нужны новые люди на государственной службе, сказал я себе. Самородки. Лучшие из лучших. И я отобрал

тех, кого считал лучшими. Не ждать же мне было, пока станут взрослыми дети, которых еще не родили наши женщины, чтобы только свободные от скверны по слову Иеговы вступили в обетованную землю! Я взял то, что нашел под рукой. Мне достаточно было, чтобы каждый из вас говорил о самом себе как о незнакомце; не владел ничем, даже самим собой. Я спрашивал: это твой дом? Нет, сеньор, общий. Это твоя собака? Нет, сеньор, у меня нет собаки. Но по крайней мере твое тело, твоя жизнь принадлежат тебе? Нет, сеньор, они лишь ссужены мне до тех пор, пока не понадобятся нашему Верховному Правительству. Столь полное отсутствие собственности означало безмерную силу. У них не было ничего. Они обладали всем, потому что в каждом было заключено все. Я сказал: эти люди крепко стоят на ногах. Они-то мне и нужны, чтобы поставить на ноги страну. Так я нашел, например, Хосе Леона Рамиреса. Быстрый ум. Соколиный взор. Проворство без спешки. Приказы прибывали к нему устаревшими. Он всегда немного опережал их. Это был один из моих лучших людей, пока не стал худшим. Он не любил ни льстить, ни ябедничать. Хосе Леон Рамирес годился на все, но всегда оставался самим собой. Я собирался через несколько лет произвести его в капитаны, сделать военным министром. А одно время подумывал даже назначить своим преемником. У него был шанс. Я дал ему шанс. Он потерял его в своей ширинке.

А вот вам другой бездельник, погубивший себя: Ролон, бывший капитан Ролон. Он поднялся на самую высшую ступень. И скатился на самую низшую. В течение многих лет я лично учил его военному искусству. Он был прирожденным артиллеристом. Бывало, подходил к пушке, похлопывал ее рукой, поглаживал, как смирную лошадь. Закрепляя ее на лафете, разговаривал с ней, тихонько объяснял ей, что от нее требуется. Поднося фитиль, чертил в воздухе пальцем параболу, указывая цель, подобно тому как всадник указывает лошади барьер, который она должна взять. Слегка щелкал языком, и пушка выпаливала. В девятости девяти случаях из ста снаряд попадал в цель, как бы далеко она ни находилась.

Ах, Ролон, Ролон! Я научил тебя тысяче хитростей, чтобы ты был способен победить любого врага, сокрушить любую крепость, в том числе и крепость своей собственной души, если в нее закрадется страх. Мы разыгрывали ожесточенные бои на суше и на море. Однажды на таких маневрах ты достиг ста попаданий. Ты чуть ли не превзошел меня. Из рядового солдата ты выдвинулся в капитаны. Стал военным наивысшего ранга, какой существовал в то время в нашей армии. Импозантный капитан артиллерии, готовый, как таран, обрушиться на врага и стереть его в порошок, ты был бесподобен и незаменим, единственный в своем роде.

Ты помнишь его, Патиньо? Как сейчас вижу сеньор. Высокий, до потолка ростом. Дородный. С усами и гривой волос чуть не до пояса. Одна его внешность внушала почтение, Ваше Превосходительство. Да, ты его верно рисуешь. Таков был Ролон, первый капитан республики.

После одной стычки с коррентинцами я послал его бомбардировать город, чтобы проучить их. Я предоставил в его распоряжение четыре военных корабля, вооруженных двадцатью с лишним пушками. Но они послужили только для того, чтобы Ролон дал противнику бесплатное представление и вдоволь потешил его. Он так провел экспедицию, что сделался настоящим посмешищем. Где же его любовь к родине? Где его честь, гордость, уважение к правительству?

На слиянии Параны с Парагваем, перед крепостью Корриентес, четыре корабля беспомощно закружились, заплясали в водоворотах и едва не затонули, не сделав ни единого выстрела.

На берегу жители и войска устроили шутовской карнавал в честь вторгшихся кораблей. Принялись состязаться с ними в пляске. И если коррентинцы не взяли их голыми руками, то только потому, что одурели от пьянства, как Ролон и его люди одурели от страха. Вернувшись после своего подвига, Ролон явился ко мне как ни в чем не бывало, ссылаясь в свое оправдание на какие-то пустяки. Вот что получается, когда поручаешь дело ничтожным фанфаронам без стыда и совести. Правда, я отправил эту экспедицию только для пробы, которая не дала желаемого результата. Лишь поэтому я не приказал казнить Ролона. Он был приговорен к пожизненной гребле. Что с ним случилось? Он все плавает в каноэ, сеньор. По последним донесениям из береговых гарнизонов, от него только кожа да кости остались. А еще сообщают, что он совсем зарос волосами и, когда гребет, они тянутся за ним по воде, как хвост метра в три длиной. Из прибрежного селения Гуарнипитан исходят странные слуги. Одни говорят, что на корме сидит уже не осужденный, а покойник, другие — что в черной, прогнившей лодке плавает сама смерть. И, должно быть, так оно и есть, потому что вот уже несколько лет он не забирает пищу в установленных местах между Пиларом и Гуарнипитаном, Что ты там делаешь? Соскребаю букву «г» в слове «слуги», сеньор, чтобы заменить ее на «х». Чтобы хоть так изменить судьбу бывшего капитана Ролона,

Мне вспоминается еще один жалкий трус, бывший начальник гарнизона Итапуа — Охеда. Прямая противоположность настоящего командира. Он оставил Канделарию войскам Ферре<sup>[343]</sup>, которые вторглись на нашу территорию, пытаясь завладеть Мисьонес, издревле принадлежавшим Парагваю. Мой начальник гарнизона отступил без сопротивления раньше, чем раздался первый выстрел. У этих мокрых куриц в мундирах оружие падает из рук, когда они должны его применить. Охеда постыдно бежал, бросая по дороге снаряжение, провиант, боевые припасы, которые стоили стране пота и крови. Я вызываю его. Хорош, наложил в штаны! Какой стыд для республики! Беспремерный позор. Неслыханное бесчестье. Ты вконец осрамил меня, соизволив без всякого оправдания просто-напросто оставить Канделарию — бастион, необходимый для безопасности республики, последнюю щелку в стене блокады. Что скажут иностранные торговцы? Что будут говорить в Парагвае, когда твои соотечественники узнают о твоём подвиге? Они наплюют тебе в лицо, и из начальника главного гарнизона республики ты превратишься для всех в предмет презрения и осмеяния.

Сам я не стану тебя шельмовать. Постараюсь не поддаваться ярости. Я не позволяю себе гневаться на таких ничтожных, таких никчемных людишек, как ты. Питать злобу к жалким прохвостам — значит допускать, чтобы эти безличности на какое-то время завладели нашей личностью, нашими мыслями и чувствами. А это двойная потеря.

Пока я не прикажу расстрелять тебя. Не думай, не по доброте и мягкости. Я не прощаю ужасной глупости, которую ты сделал. Попустительство — источник всех бед. Но, повторяю, я стараюсь не изливать бесполезный гнев на таких бесполезных людишек, как ты.

Я не требую от своих людей, чтобы они всегда действовали, как машина. Но ты, будучи начальником пограничного гарнизона, поддался пустому, беспричинному

страху и отступил без всякой необходимости, ничего не сделав, чтобы отразить врага. Это свидетельствует об отсутствии самообладания и энергии, а значит, от тебя мало чего можно ожидать. Не отговаривайся тем, что ты ждал приказаний. Всякий командир при малейшем признаке приближения противника обязан предпринять все, что в его власти, для того чтобы подготовиться к обороне. Это не мешает ему ждать приказаний, если позволяют обстоятельства. Нельзя бросать все на произвол судьбы под тем предлогом, что нет приказа от высшего командования. Ожидая его вмешательства, не надо приходить в замешательство. Ты должен был по крайней мере привести гарнизон в состояние готовности к обороне, для чего у тебя были все средства и возможности. Когда разгорается бой вокруг какой-нибудь часовни, надо драться за нее так, как будто дело идет о величайшей национальной святыне, даже если в данный момент ее защита имеет чисто тактическое значение и, возможно, играет роль только для этого сражения. У тебя было больше чем достаточно сил для того, чтобы бросить в Санто-Томе до пяти тысяч человек с мощной артиллерией плюс резервные части пехоты и кавалерии, да еще два отборных эскадрона уланов. Ты мог этим положить начало настоящей военной кампании для защиты наших границ, а если представится возможность, превратить ее в своего рода крестовый поход с целью укрепить и распространить до самого моря наше господство над реками, в поход против орд дикарей и вероломных правительств, которые мешают нам пользоваться нашим правом на свободное судоходство, оскорбляют наше достоинство и препятствуют нашей внешней торговле.

Такие идиотские поступки, как твой, позволяют нашим заклятым врагам болтать о нас все, что вздумается. Они считают парагвайцев плохими патриотами и простофилями, которых как нельзя легче обмануть, ввести в заблуждение чем угодно, даже блеском зеркалец, пуская зайчиков, как делали испанцы, чтобы озадачить и обмануть индейцев.

Эти мерзавцы так не думали бы, если бы на службе у Верховного Диктатора Парагвая был достойный военный, дорожащий честью республики. Не осел, а офицер, сведущий в военном искусстве. Способный, будучи сержантом, самое большое капитаном, действовать, как генерал, чтобы сровнять с землей Корриентес и Бахаду в возмездие за их разбойничьи набеги, грабежи и глумления.

У хороших солдат, а главное, у хороших командиров совсем иной дух, иная энергия, иная решимость. Огонь любви к отчизне, который горит у них в крови, не дает им показывать спину врагу и бросать оружие. Сердце каждого солдата, каждого командира вмещает всю родину. Видя, что обнаглевший враг оскорбляет ее, они как один человек бросаются на него и стирают его в порошок. Но у солдат, которые служат под начальством трусливых командиров, в крови не огонь, а лед. Они на все смотрят равнодушно. Если командирам ни до чего нет дела, то им и подавно.

По твоей вине, почтенный полководец, бежавший с рати, я был вынужден запереть лагерь Сальто, чтобы, чего доброго, и там не выкинули такого сальто. В предотвращение новых бед я повесил замок на ворота Сан-Мигеля и Лорето.

Пока я не велю тебя расстрелять при условии, что ты ни под каким видом больше не отступишь ни на пядь в стычках с неприятелем. Ты обязан всегда идти впереди своих войск в боях и атаках. А чтобы ты не наделал новых глупостей, я приказываю тебе в течение трех дней на утренней и вечерней поверке читать войскам прилагаемый указ, в котором я разрешаю и приказываю сержантам, капралам и даже всем до последнего солдатам стрелять тебе в спину при малейшем поползновении с

твоей стороны показать ее противнику. Я великодушно заменяю этим казнь, которую ты заслужил, и предоставляю тебе собственными руками или, вернее, ногами подписать себе смертный приговор, если ты снова струсил в бою. Ты должен самолично читать указ.

Единственное средство от этих бед — хорошая милиция. Не будем увековечивать военную касту. Мне не нужны кадровые паразиты, которые годятся только для того, чтобы нападать на соседа и захватывать его земли, а равным образом поработать своих собственных сограждан.

Я хочу, чтобы их заменили честные граждане-солдаты, пусть не вполне обученные, хотя военную подготовку они получают с начальной школы. В случае нападения врага все наши сограждане автоматически превратятся в солдат. Не найдется ни одного, который не предпочел бы скорее умереть, чем увидеть свою родину в руках захватчиков, свое правительство в опасности.

Граждане могут за один месяц стать отличными солдатами. Солдаты так называемых регулярных войск и за сто лет не избавятся от своих пороков.

Государственные служащие — категория, в которую следует включать два высших класса государства, то есть должностных лиц и их вооруженных помощников или исполнителей их решений, — должны получать надлежащее образование, которое позволяло бы одним защищать родину, а другим отправлять правосудие на благо народа, искоренять несправедливости, еще существующие после нашей революции.

Военные и чиновники должны пуще всего остерегаться одной рукой держать бразды правления, а другой загребать богатства, подрывая таким образом равенство как основу общества.

Во избежание этого я предписываю вам самый аскетический образ жизни, который я вменил в обязанность и самому себе. Ни вы, ни я не можем владеть имуществом какого бы то ни было рода. Я приказываю вам никогда не вступать в брак, чтобы не оставлять вдов. Нам с вами непозволительно обзаводиться семьями, потому что это привело бы нас к nepотизму. Воины, должностные лица и их помощники, своего рода вооруженные святые, отказавшиеся от имущества и семейной жизни, должны защищать имущество и семьи других, презрев всякую иную цель. Я хочу, чтобы вы это ясно поняли. Перечтите мои приказы. Выучите их наизусть. Я не желаю, чтобы предустановленное подменялось предполагаемым. Я хочу, чтобы вы усваивали науку головой, а не поротой задницей.

Я требую от вас всех строгого контроля над государственными имуществами, фондами, расходами. Неусыпной бдительности во избежание воровства, растрат, мздоимства, подкупов, вымогательств, гнусных жульничеств, в которых некоторые из вас, по-видимому, понаторели больше, чем в правильном применении установленных правил. Но к вопросу о разбойничестве чиновников я вернусь ниже. Я приструню вас, а струну натяну на колках ваших шей. Вычеркни этот абзац. После слова «жульничеств» напиши: оздоровление администрации необходимо для выполнения плана общественного спасения, который нам нужно осуществить общими усилиями.

Республика — это совокупность, объединение, союз тысяч граждан, которые ее составляют. Я имею в виду патриотов. Те, кто к ним не принадлежат, не должны фигурировать и рассматриваться как входящие в нее, не то фальшивая монета будет смешиваться с настоящей, как сказано в Отечественном катехизисе.

У нашей нации, самой богатой в мире по своим природным ресурсам, самое дешевое в мире государство. В течение долгих лет мы пользовались миром, спокойствием, благополучием, доселе неведомым на этом континенте, и теперь должны не щадить своих сил для защиты этого неизмеримого блага.

За состоянием длительного мира может последовать состояние непрерывной войны. Мы не собираемся ни на кого нападать, но и не потерпим, чтобы кто-нибудь напал на нас. Парагвай непобедим, пока остается сплоченным. Но по мере ослабления этой сплоченности его мощь станет убывать, будучи обратно пропорциональна квадрату расстояния, на которое рассеиваются его силы. Здесь закон тяготения действует в горизонтальной плоскости. Не каждый день на Ньютона падает яблоко. Зачеркни «яблоко». Напиши «апельсин». Нет, и это не годится. Вычеркни весь абзац. Кто здесь знает Ньютона?

В видах переучета населения вам надлежит безотлагательно провести всеобщую перепись жителей, включая индейцев, которые находятся под юрисдикцией каждого из вас во всех двадцати округах республики. При этом в специальные ведомости должны заноситься число взрослых, возраст, пол, занятия, особые способности каждого мужчины и каждой женщины; сведения относительно их прошлого; семейных событий, политической деятельности, полицейских преследований, главным образом в отношении глав семейств; указания о преданности или враждебности делу независимости нашей страны. Число детей, начиная с новорожденных и кончая достигшими призывного возраста. Положение учащихся. Пришлите мне списки детей, посещающих школу, с пометками, кто из них уже умеет писать. Тем из детей, которые сделали наибольшие успехи, предложите ответить в форме школьного сочинения на вопрос, что они думают о Верховном Правительстве. Им предоставляется полная свобода слова. Правительство направит в каждую школу инспекторов с целью проверки посещаемости, знаний, прилежания учеников, а равным образом для выяснения причин, которые мешают успеваемости или вызывают пропуски занятий и второгодничество. Сегодня как никогда нужно добиваться, чтобы чистой правдой были слова: в Парагвае нет ни одного гражданина, который не умел бы читать и писать, а значит, и правильно выражать свои мысли.

Хорошенько поразмыслите над этими принципами: на них зиждется наша республика и в них заключено предначертание ее будущего. Мне нужны начальники гарнизонов, делегаты, старосты, способные выполнять свои функции. Мне нужны люди, которым присущи чувство чести, строгие правила, мужество, честность. Мне нужны патриоты без страха и упрека.

Записывайте любое сомнение, мнение, соображение, которое вы считаете уместным высказать по главным вопросам, затронутым в этом циркуляре. Я задумал в скором времени созвать своего рода конклав, или конгресс командиров, чиновников, должностных лиц всех рангов от самого высокого до самого низкого в целях твердого и единообразного проведения будущей политики Верховного Правительства.

Каждый из вас должен подготовить отчет о всей своей деятельности на различных должностях, которые он занимал со времени поступления на государственную службу. Эти отчеты будут перед Конгрессом изучены Верховным Правительством. Ваши рапорты, обычно довольно расплывчатые, на этот раз должны быть написаны в соответствии с вопросником, который я пришлю вам следующей почтой. Означенные докладные записки вместе с ведомостями переписи населения, а также школьной

переписи, которую я приказал вам провести, должны быть отосланы мне в течение месяца, то есть не позднее чем в конце сентября.

Смысл этих отчетов не имеет ничего общего с бессмыслицей, какой было бы снятие вас с должностей за возможные провинности в прошлом. Осуждать вас за прежние оплошности было бы только лишней оплошностью. То, что сделано хорошо, хорошо. То, что сделано плохо, постараемся впредь делать хорошо. Мое желание — так руководить каждым из вас, чтобы вы стали безупречными должностными лицами республики. Для этого нужно, чтобы ваши донесения, отношения, докладные записки соответствовали реальным фактам. Не давайте воли своему воображению. Не принуждайте меня очищать от многослойной шелухи, как лук, ваши невразумительные бумаги — не бумаги, а горе луковое. Я хочу, чтобы вы приняли мои замечания как исходящие не столько от Верховного Начальника, сколько от друга, который вас не только уважает, но и любит. Быть может, гораздо больше, чем вы подозреваете.

Может статься, нам отпущено мало времени; значит, самое время наверстать упущенное и исправиться. Опираясь на личный опыт — лучше отрицательный, чем положительный. Я мало чему научился на благих примерах, которые никогда не изобиловали в нашей стране, и потому пользуюсь дурными, весьма обычными, но необычайно поучительными: стоит вывернуть их наизнанку, и благие примеры налицо.

В обычае нашего правосудия казнить виновных в назидание остальным. Для того чтобы зло не распространялось, исправляют не того, кого вешают, а остальных через посредство повешенного. Человек всегда умирает в другом. Пусть не приведется вам быть мертвыми и не замечать этого или забыть об этом. Меня нельзя обмануть. Я всегда разгадываю правду — ее не скроешь от меня даже в подметках башмаков. Суеверия и каббалистика не трогают меня и не вводят в заблуждение. Вам известна моя воздержанность, но также и моя непреклонная суровость. Эта суровость поставлена всецело на службу родине. Делу решительной защиты ее от врагов, как внутренних, так и внешних.

Поймите меня, бедные мои сограждане! Я предпочитаю скорее умереть, чем снова увидеть угнетенной мою бедную родину, и с удовлетворением думаю, что это чувство разделяет со мной вся республика. Если бы было иначе, то виноваты в этом оказались бы мы. Но тогда ни один из нас не спасся бы от бедствия, обрушившегося на родину. Почему? Потому что каждый из нас и все мы вместе и были бы этим бедствием. И тогда на останках нашей отчизны расположились бы звери пустыни.

Ходячее изречение гласит, что тот, кто полагается на народ, строит на песке. Может быть, это и так, когда народ не более чем песок. Но над Парагваем не тяготеет это проклятье. Я имею дело не с народом-песком и не с народом-призраком, а с народом, состоящим из живых людей, которые борются с тысячами невзгод. Парагвайцы, еще одно усилие, если вы хотите быть окончательно свободными!

Как только я получу результаты новой всеобщей переписи населения, которую я в настоящем циркуляре приказываю вам провести, вы будете поставлены в известность о выработанном мною проекте создания большой армии и мощного военного флота с целью раз навсегда освободить нашу страну от несправедливой блокады и усилить наши средства обороны, оплот независимости и самоопределения. Подробности проекта будут в надлежащее время сообщены начальникам гарнизонов в строго секретных инструкциях.



Пока что я сделаю следующее: как только будет вырублен лес сатрапов и покончено с язвой, с бешеными собаками, лающими на меня с пеной у рта, я прикажу погрести их останки под толстым слоем извести и забвения. Не будет больше негодяев и шутов в звании командиров. Не будет больше кадровых военных, которые бездельничают в ожидании нападения, готовые бежать при малейшей опасности. Не будет больше армии, которая ни на что не годится, потому что все до одного солдаты рано или поздно перенимают пороки своих командиров. Не будет больше ни мундиров, ни чинов, которые даются не за заслуги, а за выслугу лет, то есть за давность бесполезного существования. Армией республики будет весь народ, не облаченный в форму, но облеченный достоинством вооруженного народа, невидимое, но самое могучее из всех войск. Ее будут составлять свободные крестьяне под начальством командиров, естественно выдвинувшихся из этого естественного войска, предназначенного для труда и обороны республики. Днем они будут работать. Ночью учиться военному делу. Они так привыкнут действовать в темноте, что сама темнота станет их лучшим союзником. Днем свое оружие они будут прятать на поле, возле борозд. Леса заменят нам неприступные крепости, пустыни и болота — непреодолимые рвы, а по рекам, озерам и ручьям, как кровь по жилам, будет разливаться наша грозная сила в виде маленьких боевых отрядов, вездесущих и неуловимых. Пусть приходят слоны. Еще старина Конфуций говорил, что москиты поедают слонов. Когда вторгнется враг, он решит, что вступает в мирную и беззащитную землю. Но когда захватчик отдадут себе отчет в своей ошибке, ибо на них как гром среди ясного неба со всех сторон обрушатся словно выросшие из-под земли мужчины и женщины в рабочей одежде, защищающие свое исконное достояние, они поймут, что можно победить только тот народ, который хочет быть побежденным.

Тому послужили для начала хорошим примером войска, состоявшие из отцов семейств, издавна живших на берегах Параны, которые я бросил на вторгшихся коррентинцев. Отныне больше не будет никому не нужных регулярных войск. Я распушу это сборище лентяев и бездарей, улепетывающих при первом выстреле врага. Долой армию паразитов, которые только сосут кровь народа, не принося ему никакой пользы, да еще непрестанно притесняют его, чиня насилия и произвол.

Отныне армией будет сам народ: все мужчины и женщины, взрослые, подростки и дети, способные служить в Великой Армии Родины. Единственной в своем роде, невидимой, непобедимой. Надобно изучить все стороны ее организации. Разработать в мельчайших подробностях ее стратегию и тактику. Создать боевой устав гериллий и всеобщую систему самоснабжения соответствии с главными трудовыми и оборонными задачами.

Важнейшей основой этого превращения традиционной армии в народное ополчение является... (Остаток листа сожжен.)

Он вскидывает череп, отряхиваясь от земли. Приподнимает половину скелета, опираясь на задние четверти. Он готов бросить мне в лицо тайну негра Пилара. Вокруг морды поблескивает радужная ниточка слюны. Черный провал пасти оттеняет саркастическую улыбку. Я на шаг отступаю. Опасливо смотрю на него. Бешенство мертвого пса, быть может, вдвойне смертельно. Ты велел его убить за..! Он не договаривает, притворно закашлявшись. Тихонько, мой милый Султан. У тебя вся вечность впереди. Ну, ну, что ты хотел сказать насчет негра? Продолжай. Я тебя слушаю. Раньше ты не был таким внимательным слушателем, уважаемый Верховный.

Ты тоже был не очень-то разговорчив при своей собачьей жизни. Ты приказал его расстрелять в тот год, когда справлял серебряную свадьбу с Пожизненной Диктатурой. Никогда еще не текло столько растопленного свечного сала, как в этот год. Ты помнишь, Верховный, ту свечу? Это была всем свечам свеча. Твои придворные сукины дети велели сделать ее в сто вар длиной и в три толщиной. На нее ушло десять тысяч квинталов горячего жира, которым был залит деревянный остов. Фитиль был изготовлен с таким расчетом, чтобы его хватило по меньшей мере еще на четверть века, а пламя прикрывал слюдяной колпак. Свечу поставили ночью на Площади Республики. Накануне этого Рождества. Ты ничего не знал. Для тебя это было абсолютной неожиданностью. Тебя только удивил свет, ярко горевший после сигнала к тушению огней на том месте, где ты его прежде никогда не видел и где не приказывал зажигать. Ты через окно навел на него телескоп. Я услышал, как ты проговорил: Северная Звезда! Ты всю ночь созерцал ее, тихо повизгивая, как овдовевший пес. С тысячью вздохов. Впрочем, это был один вздох, прерываемый тысячью контрвздохов. То есть это были тысяча вздохов и в то же время один-единственный. Ты заставил и меня вздыхать и повизгивать, наступив мне на лапу кованым каблуком башмака. В то время как ты по-собачьи повизгивал и вздыхал, я по-человечески посмеивался над твоей любовной тоской. Когда забрезжил рассвет, я почти волоком оттащил тебя в постель. Ты заперся в своей камере. Я встал на стражу у двери.

Через несколько часов, привлеченный шумом, доносившимся с площади, ты обнаружил свечу. Размягчившись под палящим солнцем и отделившись от остова из такуары, она перегнулась и наклонилась к земле, дымясь и дождя жиром. Крики, смех, возгласы «ура» и «да здравствует Верховный!». Толпа распаляется. Скачет и пляшет вокруг гигантского светильника, который кротко склонил главу в ознаменование невиданного празднества. Женщины в неистовстве катаются по земле, взметая красную пыль. Самые смелые претендентки на вакансии вакханок бросаются на оплывающий конец свечи. Взъерошенные, в разорванных, превратившихся в лохмотья платьях, с вылезавшими из орбит глазами, они царапают горячее сало. Ловят в горсти жгучие капли. Натаируют жиром живот, груди, губы. Обезумев, горланят:

Ое... ое... yeke raka'e

ñande Karai-Guasú o nasé vaekué...<sup>[344]</sup>

Ты взбесился. То, что для них было праздником из праздников, ты принял как насмешку из насмешек. Ты приказал солдатам, примкнув штыки, очистить площадь. Твоим гренадерам пришлось трижды в боевом строю атаковать толпу. Придворные сукины дети дрожали.

В этот день ты приказал расстрелять негра Пилара. Я облизал раны от пуль у него на груди. Часов в девять негр, ухмыльнувшись, сказал мне замогильным голосом: ну и свечу закатали святому хрычу! А, Султан? Я обрюхатил индианку Олегарию. Когда она родит сына, скажи ей, что я велел назвать его моим именем. А этому дерьмовому старику, которому нет имени, передай от меня: пусть ему некуда будет идти и нечего сказать, пусть в душе у него будет ночь и пусть он наконец уснет, не зная, что умер. Вот что сказал негр Пилар. Таково было его посмертное желание.

Почему ты не записываешь эти достоверные факты, в то время как пишешь столько лжи, почерпнутой из твоих мнимых истин?

Ты же знаешь, что я приказал расстрелять его не просто из жестокости, а за то, что он сделал. Я отправил его в ад за его преступления, за его измену. В какой ад? В ад твоей нечистой совести? В твой Верховный Ад? Не оскорбляй меня! Что ж, прикажи и меня расстрелять, проклятый старик, мертвый от Верховности! Ты мне осточертел! Прикончи меня, пока твоя рука еще может водить пером! Теперь, когда мы оба покойники, мы можем столкнуться. Нет, Султан, все это требует такого понимания, какое, будь ты жив или мертв, тебе недоступно. Ба, Верховный! Ты еще не знаешь, какую радость, какое облегчение ты испытываешь под землей! Только в силу заблуждения ты еще пьешь последние глотки эликсира, который называешь жизнью, в то время как самому себе роешь могилу на письменном кладбище. Сам Соломон говорит: человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Ты только наполовину вошел в это собрание, а я в нем уже давно, и как новичок ты должен относиться ко мне с почтением, Верховный. Мудрость прибавляет скорби, мы это уже знаем. Но есть скорбь, которая обращается в безумие, и об этом нигде не написано. Не слишком углубляйся в созерцание огня, который, как тебе кажется из-за начинающейся слепоты, горит в книгах. Если он существует, его надо искать не в них. Он их только испепелил бы. А ты испекся бы на нем. В данную минуту я вернулся в твою вонючую конуру только для того, чтобы минутку побыть с тобой; в конце концов, я испытываю к тебе жалость, присущую мертвым по отношению к живым. Не пытайся понять меня. Ты мог бы вдруг сделаться счастливым. Но знаешь ли ты, как ужасно быть счастливым в этом мире?

Ослепленный своей Абсолютной Властью, в силу которой, как тебе кажется, ты господствуешь надо всем на свете, ты не приобрел ни на грош мудрости, отличавшей царя Соломона. Он не был христианином и спал со своими наложницами, держа под подушкой нож Экклесиаста. Подчас, когда они спали, он тихонько доставал выкованный-в-скорби клинок и отрезал им волосы, из которых делал себе красивые рыжие, золотистые, смоляные, волнистые, кудрявые, пышные бороды, доходившие ему до пупа. Он с улыбкой одним взмахом отрезал им груди, так легонько, что спящим, должно быть, мнилось во сне, что их еще ласкают. Во мгновение ока вырывал им очи. Что может быть красивее лежащей на ладони пары глаз, доверху наполненных сном! Между пальцев свешивается зрительный нерв, эта пуповина глаза. Зрачки с минуту фосфоресцируют в темноте. Горят адским огнем любви-ненависти. Потом заходят за край земли. В Псалмах этого нет.

Подожди, Султан! Кто сказал последнюю фразу? Не сбивай меня с толку! Это все равно, Верховный. Не волнуйся. Как мне не волноваться? Ведь я стараюсь понять; не морочь же мне голову своими замогильными выходками, собачий сын! Я уже сказал тебе, что ты не поймешь, пока не поймешь. Но это не произойдет, пока ты не перестанешь симулировать свое погребение в этих листах. Фальшивые могилы — прескверные прибежища. А самое скверное — гробница из писанины ценой полреала за стопу. Только под землей-земелькой ты найдешь солнце, которое никогда не гаснет. Зародышевый мрак. Ночь-ноченьку закатившихся глаз. Единственную лампу, освещающую жизнь-и-смерть. Ибо, если не всегда умирают во тьме, рождаются на свет только из тьмы, понимаешь, Верховный? Когда ты еще был жив, уважаемый Султан, ты был мне полезен. Бывало, я слышал, как ты рычишь во сне. Лаешь. Испуганно вздрогнув, просыпаешься. Поднимаешь правую лапу, чтобы отогнать дурное видение. В твоих глазах отражался образ Нездешнего. Неведомого. Не имеющего ни размеров, ни формы. Чего-то вещественного. Чего-то происходящего.

Переходного от черного к серому; от серого к белому; от белого к темному, к стоящей перед тобой тени. Теперь ты спишь слишком крепким сном. Ты уже не умеешь представлять смерть, как ты делал это когда-то, и превосходно делал, на забаву моим гостям. Не уступая в подобных буффонадах негру Пилару, мастеру передразнивать любые голоса, выражения лиц, жесты. Этому шуту. Миму. Гистриону. Балаганному комедианту. Фигляру. Гаеру. Клоуну.

Скажи мне, Султан, между нами, положи лапу на сердце: говорил тебе что-нибудь негр насчет басни, которую он вбил себе в голову, будто он король Парагвая? Вранье! Сплетня, которую пустил твой хитрюга-секретарь, чтобы получше дискредитировать негра! Пилару меньше всего на свете хотелось быть королем этой дерьмовой страны. Кто действительно мечтает когда-нибудь свергнуть тебя и стать королем, так это сам Поликарпо. Посмотри-ка на спинку стула твоего лакея. Видишь, что там написано угольком? «Поликарпо I, король Парагвая». Прикажи ему вылизать языком эту надпись. Не беспокойся, он это сделает, прежде чем его повесят и язык вывалится у него изо рта.

Итак, по указанию пса я пишу о негре Пиларе. В течение десяти лет он пользовался моим исключительным доверием. Помимо лейб-медика, он был единственным, кто входил в мою спальню. Он заваривал мне мате. Следил за приготовлением пищи. Пробовал ее до меня. Присутствовал на аудиенциях; служил мне телохранителем на прогулках. Бывало, я еду на вороном, медленно еду по улицам, где вырублены деревья, а он ястребиным взглядом озирает каждую щелочку в запертых наглухо домах. Из-за бурьяна выглядывают гроздьи голов в соломенных шляпах. Пилар хлещет по ним плеткой. Разгоняет любопытных мальчишек.

На военных учениях он скачет рядом со мной. Он владеет копьём и ружьем, как самый умелый из моих гусар. Негр вызывает у них зависть, изумление, восхищение. Во время ежегодных облав на собак Пилар всегда впереди. Он обожает врывать в дома знатных господ и на глазах у окаменевших от страха хозяев приканчивать штыком дворняжек, спрятанных под кроватями, в кухнях, в подвалах, под юбками женщин. В одной из таких облав он проткнул копьём Героя, сводя с ним старые счеты. Неправда, Верховный. Негр Пилар не убивал Героя, который и без того умирал с голоду с тех пор, как ты выслал Робертсонов. Никто не смел хотя бы украдкой бросить ему кость из страха впасть в немилость, если ты узнаешь об этом. Замолчи, Султан. Не перебивай меня. Не строй из себя диктатора: не диктуй мне и не поправляй меня. Я говорю о негре Пиларе, а не о тебе. Я пишу о нем, а бумага все терпит.

Больше всего он любил смотреть по ночам в телескоп, отыскивая в небе мои любимые созвездья. Смотри, Хосе Мария, я прочитаю тебе календарь зодиака. Что такое календарь, крестный? Нечто вроде небесного альманаха. А, понимаю, крестный, что-то вроде Альманаха почетных особ, который вы читаете время от времени. Не смешивай низменные вещи с космическими явлениями! Послушай, если я дам тебе огарок свечи и скажу, чтобы ты его съел, ты это сделаешь? Нет, сеньор, игра не сюит свеч: вы сами говорили мне, что не надо укорачивать свой век. Вникни, плутишка: солнце вращается по своему огненному кругу и не нуждается в иной пище, чем та, которую оно находит в самом себе. Кто может уподобиться солнцу! Как так, сеньор? Наедаться самим собой? Не перебивай меня. Зодиак — это круговая полоса с двенадцатью созвездьями, которую солнце обегает за год. Двенадцать знаков отмечают четыре времени года. Почитаем календарь. Вон Овен, похотливое

животное, которое нас порождает. Вон Телец, бык, который для начала бодает нас. А я стараюсь всегда брать быка за рога, как вы меня учите, сеньор. Посмотри на Близнецов, двойняшек, то есть на Добродетель и Порок. Когда мы стараемся достичь добродетели, приходит Рак и хватает нас своими зубатыми клешнями. А когда мы отдаляемся от Добродетели, нам навстречу выходит Лев, рыкающий лев. Он наносит нам свирепые удары лапой. Умиравший лев из басни Эзопа, которую вы мне часто рассказываете, сеньор? Тот, что устраивает смотр, чтобы сожрать остальных зверей? Если ты не дашь мне говорить, мы никогда не доберемся до конца. Прилепись своей черной душой к телескопу; слушай, что я тебе говорю. Мы убегаем от Льва и встречаем Деву, девственницу. Нашу первую любовь. Мы женимся на ней. Что тут смешного? Ничего, сеньор; просто я вспомнил, как вы говорили, что девок больше, чем дев. Выходит, и на небе есть девки. Мы считаем себя навеки счастливыми, но появляются Весы, на которых счастье весит не больше дыма. Нам становится очень грустно. Потом нас жалит в спину Скорпион, и - мы подсакиваем от ужасной боли. Мы залечиваем раны, но тут на нас со всех сторон сыплются стрелы: это забавляется Стрелец, лучник. Мы вырываем стрелы. Внимание! Мы уже в ковчеге. Пришел Водолей и устроил потоп, превратил землю в океан, где царствуют Рыбы, которые ловят нас без крючка и наживки. В каждой вещи сокрыт свой смысл. Каждый человек несет в себе свой знак. А какой знак ваш, сеньор? Козерог, горный козел тропиков. Живой таран. Ну и штука, крестный, эта Книга Неба! Солнце читает ее каждый год, Пилар. Оно всегда встает здоровым и бодрым и весело совершает свой круг в вышине. Я тоже так могу, сеньор. Могу и сам читать эту книгу. Я не знаю, когда я родился, в каком месяце, в какой день, в котором часу, но из этих хитрых знаков мой, наверное, Близнецы. Я кой<sup>[345]</sup> моего кой, свой собственный близнец. По-моему, твой знак скорее Рак, который следует за Близнецами. Если вы хотите сказать, что я живу, словно в песке копошусь, вы правы, сеньор. Неужели и Ваша Милость тоже этак — день за день, куда несет, туда и плывете? Нет, я думаю, вы сами свой знак. Вы не зависите от везенья, от случая, который скок-скок — выскакивает из-за угла, выталкивая то, чего мы не видим, пока происходит то, что мы видим. Как в историях, которые рассказываются в книгах, верно? Если Вашество мне позволит, я тоже буду читать этот Альманах почетных особ неба. Ты еще не умеешь читать. Научись сначала грамоте в школе. Не знаю, смогу ли, сеньор, я хочу сказать, смогу ли плести слова, как венки из цветочков.

Негр не минует рогов Козерога. Он горазд на выдумки, и это приводит его к непочтительности и нескромности. Он подхватывает старые сплетни моих хулителей, которые приписывают мою ненависть к знати несчастной любви к дочери полковника Савала-и-Дель-гадильо. Дерзкий болтун не называет имен. Но он позволяет себе скабрзные намеки на Северную Звезду, как шутливо называли донью Марию Хосефу Родригес Пенья, мать красавицы Петроны. В устах негра это общеизвестное прозвище связывалось с моей самой сокровенной тайной. С историей о мнимом созвездии. Явное доказательство, что даже через самые отдаленные галактики гнусный червь добирается до плода и подтачивает его. В сердце негра уже завелась червоточина. Я приказал дать ему плетей. Он вытерпел порку без единого стога. Потом встал передо мной на колени, прося прощения. Я предоставил ему возможность исправиться. Это был последний раз, когда я поддался глупой жалости. Некоторое время он продолжал меня обманывать. В моем присутствии он был сама скромность и кротость, а втайне вел себя как отъявленный негодяй. Он стал циником, распутником, пьяницей,

отпетым вором. С помощью индианки Олгарии Паре, своей любовницы, он начал обкрадывать государственные склады. Грязь к грязи липнет. Он стал брать взятки за предполагаемые ходатайства перед правительством. Со свойственной ему поразительной бессовестностью, изобретательностью и хитростью пустился во всякого рода темные махинации. Все наперебой заискивали перед знаменитым камергером, в которого превратился мой бывший паж. А индианка, уже беременная, на сносях, продолжала без стеснения продавать на рынке и даже приносить на дом врагам правительства товары, наворованные ее любовником. Английское и голландское полотно, атласные ткани, газ, кружевные жабо, разноцветные ленты, платки, игрушки попадали в руки отпрысков разгромленных родов, разорившихся чапетонов, знатных щеголей, которые готовы были душу прозакласть, чтобы купить эти предметы роскоши, похищенные с государственных складов. То-то было веселье. Как-то раз один городской стражник накрыл негра, когда он выбрасывал из слухового окна мотки лент, которые развевал ветер, дувший с реки.

*Показания стражника Эпифанию Бобадильи:*

*... Что вы делаете, ваша милость Хосеф Мария? — спросил, по его словам, подследственный у преступника. Ничего, часовой. Баклуши бью. А индианка, которая здесь, внизу, прячется во рву? В бирюльки играет. Вот что, друг, иди-ка отсюда, а то скажу начальству, что ты бросил свой пост. Никому не говори, что ты видел и слышал. Держи язык за зубами. Понял, часовой? Хорошо, ваша милость дон Хосеф Мария. Ну, шагом марш! — приказал мне Хосеф Мария. Вот тебе коробочка сладостей и передай привет твоей сестрице, сказал преступник, как заявляет подследственный, часовой Бобадилья. После чего последний ушел с коробкой сладостей.*

Однажды вечером, вернувшись с прогулки, я открыл дверь своего кабинета и остолбенел. Напялив на себя мою парадную форму, негр сидел за моим столом и, крича срывающимся голосом, диктовал невидимому писарю самые несуразные распоряжения. Совершенно пьяный, он листал наваленные на столе папки с делами, вырывая и роняя страницы. Я не мог опомниться от изумления и негодования. Хуже всего было то, что в каком-то умопомрачении от гнева я видел в тщедушном негре свой собственный портрет во весь рост. Пилар с безупречной точностью копировал мой голос, мои жесты, мою мимику. Вот он встает. Берет из тайника ключи от сейфа. Достает оттуда толстую папку с материалами дела о заговоре 20-го года. Начинает и из нее рвать листы и, скомкав, расшвыривать их, изрыгая брань по адресу каждого из шестидесяти восьми казненных предателей. Что за ужасные проклятья! Те самые, которыми я все еще осыпаю их спустя двадцать лет.

Он не слышал, как я вошел. Он не замечает моего присутствия. Наконец он видит меня и, хоть и пьян, чуть не подпрыгивает до потолка. Но охмеленный своей собственной бесстыдной пантомимой, он совсем сходит с ума. Не слушает моих ругательств и угроз. Бросается на меня. Срывает с меня сюртук, раздирает рубашку. Дразнит меня, как торреро быка. Скачет вокруг, гнусавя магическую мелолею. Загоняет меня в угол, прижимает к метеориту, насильно заставляет участвовать в дикарском фарсе, который разыгрывает эта обезьяна, нарядившаяся в платье Верховного Диктатора нации.

Теперь он превращается поочередно в каждого из шестидесяти восьми казненных, и они быстро мелькают передо мной, упавшим за каменную глыбу. Теперь меня оскорбляют и поносят шестьдесят восемь фигур, которые, сменяясь в головокружительном ритме движений наэлектризованного негра, сливаются в одну.

Шестьдесят восемь образов, более верных исчезнувшим оригиналам, вельможным изменникам, чем их портреты, написанные вельможным художником Альборно. Шестьдесят восемь загробных голосов, звучащих в голосе негра. Стража! Ошеломленные и перепуганные, прячась друг за друга, входят гусары, гренадеры, городские стражники, ожидая встретиться лицом к лицу с легионом демонов. В полутьме они не видят меня. Видят только негра, в котором видят меня: верховный павиан с дикими воплями прыгает с места на место по всему кабинету, сверкая золотой рукояткой шпаги и серебряными пряжками наполеоновских башмаков. Отскакивает от стены к стене. Чуть не проламывает головой потолок и грохается об пол. Снова и снова налетает на стены, натывается на мебель, оружейные козлы, знамена, решетки, которыми забраны окна. Наконец плюхается на метеорит и раздражается громовым хохотом. Подделываясь под мой голос, выкрикивает ругательства по моему же адресу. Похабные слова. Гадости, которым он научился, предаваясь самому грязному разврату.

Вон он! — указываю я пальцем на него, поднимаясь с полу. Хватайте же его, идиоты! — кричу я помимо воли голосом негра. Стража не знает, кого слушать. Меня ли, почти голого, черного от сумрака и от гнева, или оседлавшего метеорит переодетого негра, блестящего от пота и от золотого шитья. Вон он! — в свою очередь кричит негр. Возьмите его, болваны, скоты! Вытащите его оттуда!

В конце концов уволакивают нас обоих. Негр еще отбивается изо всех сил. Чуть не откусывает ухо у одного, вгрызается в толстый палец другого. Его дубасят прикладами, пока он не теряет сознания. Он оставляет за собой след: кровь и блевотину, воняющую водкой. Разбросанные по полу предметы одежды, моего парадного костюма, еще корчатся на полу — последний отголосок кошмара. В воздухе кружит башмак в поисках потерявшей его ноги и падает на стол, превращаясь в пресс-папье.

Он отрицал все предъявленные ему обвинения. Бехарано, Патиньо и палачи-гуайкуру на совесть потрудились над ним в Палате правосудия и буквально содрали с него шкуру плетью, но он продолжал стоять на своем. Однажды ночью я пришел взглянуть на него. Последил за ним сквозь щель в стене камеры. Лицо негра было пепельно-серым, но с его распухших, фиолетовых губ не сходила насмешливая улыбка. Он упорно не признавался в своих преступлениях. Даже пригрозил, что, если он заговорит, многим не сносить головы, в том числе и самым высокопоставленным лицам, офицерам и чиновникам, которым он ссужал деньги. Самой тяжелой его виной было воровство в сообщничестве с индианкой.

*Показания индианки Олгарии Паре:*

*Вышепоименованная Олгария Паре клянется говорить чистую правду и заявляет, что находилась в связи и сношениях со слугой Хосефом Марией Пиларом, каковой самолично домогался ее без чьего-либо посредничества и с сентября месяца тысяча восемьсот тридцать четвертого года начал пользоваться ею. Она заявляет также, что охотно удовлетворяла желания его милости сеньора Хосефа Марии ради удовольствия доставлять ему удовольствие, а не из корысти... (Конец абзаца вымаран.)*

*Вначале она отвергала домогательства дон Хосефа Марии, но потом по доброй воле согласилась сойтись с ним, что и произошло в октябре месяце, когда Его Высокопревосходительство находился в Госпитальной Казарме. Дон Хосеф Мария указал ей мыски по берегу речушки, протекающей напротив упомянутой казармы,*

как подходящее место для их сношений, и они встречались там, пока Его Высокопревосходительство не вышел из госпиталя и не начал снова заниматься учебной стрельбой. Сколько раз они встречались на этих заросших кустарником мысках, она не помнит.

Туда сеньор Хосеф Мария приносил ей мотки голубых и алых лент в один-два пальца шириной и приблизительно в 15 вар длиной, а также пакетики иголок, но она не помнит, сколько именно мотков лент и пакетиков иголок она получила от него. А для того, чтобы объясняться между собой невинным языком, как, по ее словам, говорил ей дон Хосеф Мария, и чтобы не вызывать подозрений, они называли ленты «баклушами», а иголки «бирюльками».

Она заявляет, что эти сношения между ними продолжались до середины великого поста, когда она поняла, что забеременела, и они прекратили свои свидания на мысках по ее собственной просьбе, чтобы не обнаружилось, что виновник ее беременности дон Хосеф Мария. Однако, по ее словам, однажды он сам пришел к ней и принес ей 3 вары голландского и 5 вар английского полотна, из которого ей сшили, она не помнит кто, юбку и блузку, а также пояс, чтобы скрывать плод, каковые вещи, весьма поношенные, но хорошо выстиранные и выглаженные она и предъявляет следствию.

Они опять свиделись, продолжает Олегария Паре, в июне месяце, когда она прошла позади Дома Правительства, поднимаясь вверх по реке с узлом белья, как прачка, чтобы скрыть свою беременность и свою связь с Хосефом Марией Пиларом. С этого времени она, прибегая к тем же уловкам, возобновила с последним преступные сношения. Из выходящих на улицу окошек складов Хосеф Мария Пилар бросал ей в ров, где она пряталась, дюжины по три мотков лент всевозможных цветов и другие товары разного рода, которые она продавала на рынке. На вопрос о лицах, покупавших у нее означенные товары, она отвечает, что ни с кем из них не знакома, но что все это были бедные люди, и она продавала им всякий хлам, за который брала сколько давали. Отвечая на другой вопрос, она говорит, что никогда не сбывала краденое в домах богатых семей, потому что ее, индианку, и на порог не пустили бы сеньоры из высшего общества. По ее словам, она отдавала деньги дону Хосефу Марии, который раздавал их нищим, а также арестантам на пропитание, как он рассказывал ей со слезами на глазах; и она думает, что это правда, потому что на следующий день у вышепоименованного Пилара уже не было денег и надо было опять что-нибудь продавать. Она утверждает, что из всей выручки он каждый раз давал ей 6 реалов и еще 3 в пользу будущего ребенка.

В понедельник, 13 июня, когда она шла на рынок купить чипа<sup>[346]</sup>, дон Хосеф Мария, замешавшись в толпу, незаметно пробрался к ней и сказал, что Караи-Гуасу, видно, пронюхал про «баклуши» и «бирюльки», потому что велел всыпать ему плетей. Он сказал ей, что она должна приготовиться ко всему. Она, по ее словам, ответила, что всегда готова ко всему и берет всю вину на себя и ничего не боится.

Тогда преступник дал ей 3 пары штанов из английского полотна, две в полоску и одну гладкую, одну рубашку из здешнего полотна с кружевным жабо и переливчатый платок с золотыми цветами и с желтой и красной каемками по краям, чтобы она все это выстирала и выгладила. Эти вещи вышеозначенный Хосеф Мария надевал, когда они вдвоем ходили на негритянские гулянья в Камоа-куа, в Угуа-де-Седа или в Кампаменто-Лома и там плясали, по выражению допрашиваемой, до упаду, и возвращались на заре, не чуя ног под собой.



*Он дал ей также серебряное кольцо и зеркальце в оправе из того же металла, сказав, что это последний подарок, который он может ей сделать, потому что ангела-хранителя у него нет и он чувствует, что ему судьба скоро расстаться с жизнью и что если это так, то, говорит индианка, «его милость дон Хосеф Мария и под землей будет помнить обо мне и о нашем ребенке, который родится, когда он уже будет мертв, как оно и случилось перед Рождеством прошлого года. И еще сеньор дон Хосеф Мария сказал мне, что, если мы захотим увидеть его, нам стоит только взглянуть в зеркальце, и там мы всегда найдем его лицо, которое будет смотреть на нас с любовью и преданностью...» (Конец абзаца вымаран и почти не поддается прочтению.)*

*Сегодня, 6 января, в день рождения Его Высокопревосходительства, она заявляет, что явилась по собственной воле, никем к тому не понуждаемая, дать показания касательно преступлений, вину за которые, как она уже выразилась *ut supra*<sup>[347]</sup>, она всецело берет на себя.*

*Она явилась также для того, чтобы вернуть государству все, что подарил ей покойный: праздничное платье, тоже выстиранное, выглаженное и надушенное веточками альваки и жасмина, зеркало и прочее за вычетом остававшихся у нее денег, которые, по ее словам, она потратила на тюремщиков, пытаясь повидаться с преступником, пока его не казнили... (Вымарано)... а последние полреала, говорит индианка дословно, «на покупку свечи, которую вчера вечером поставила в галерее дома Его Высокопревосходительства, так как других подарков Он не принимает. Я зажгла мою свечку посреди горевших там свечей, которых было больше, чем звезд на небе, и она сразу затерялась между ними, чего я и хотела, потому что не хотела, чтобы меня сочли дерзкой. Я только и могла поставить эту свечку в полреала святому Гаспару в честь Его Высокопревосходительства, который бдит над нами денно и нощно, а также в память его бывшего крестника и бывшего камердинера, моего сеньора дона Хосефа Марин Пилара, которого я любила больше всего на свете... (Конец зачеркнут и не поддается прочтению.)*

Ну и что? И за это ты приказал его казнить? Негр хотел свободы на тридцать золотых монет, которые ты заплатил за его освобождение. Он нашел благо, и только благо, в том, что ты называешь злом, и только злом: в том, что ниже пояса. Это и есть для тебя ватерлиния того, что ты то и дело напыщенно называешь доводами Универсального Разума? У Адама не было пупка. Ты, бывший Верховный, потерял его. Ты уже забыл о развеселой жизни игрока, гуляки и бабника, которую вел в молодости?

Негру тоже нравилось забавляться с индианкой Олегарией в кустах на берегу ручья. Он был в своей стихии среди запахов фританги, чипа, апельсинов, пота, мочи, среди веселых криков рыночных торговков. Он щипал их за ягодички, за груди. Запускал руку-хоботок им под юбку только для того, чтобы, как из чашечки цветка, вобрать в себя тот терпкий нектар чувственности, без которого мы обречены, как говорит Экклесиаст, на бесплодное томление духа. На то, что произошло со мной. На позор и нищету. Я состарился возле тебя. К тому времени, когда я покинул этот мир, от моего зада, которым я согревал твою подагрическую ногу, осталось не больше половины, а хвост облез, оттого что я четверть века подметал им пол в обиталище твоей Абсолютной Власти.

Негр Пилар был единственным свободным существом, жившим возле тебя. Выкупив его из рабства за тридцать унций золота, ты на следующий день заставил его

возместить тебе этот расход. Я приказал казнить его, потому что он был уже безнадежно испорчен. Понимаю, бывший хозяин, верховная тень. Ты приказал казнить человека, испорченного по природе, только потому, что не смог понять, что такое испорченная природа. Послушай, Султан, не пользуйся лживым языком церковников. Не будь неблагодарным. Когда ешь, корми и собак, даже если они укусят тебя, сказал великий Зороастр. Ты был единственным, с кем я не боялся поступать согласно этой заповеди. Мы, можно сказать, ели из одной тарелки. Но теперь уже ни я, ни ты не кусаемся. Неужели после смерти и ты перешел на сторону врага? Нет, бывший Верховный. Я слишком старый пес, чтобы изменить своей собачьей природе. Ты, преследовавший пасквилянтов, был хуже их всех в своем добровольном рабстве. Ты не хочешь это признать, потому что тебе говорит это бывший пес, но ведь, в конце концов, и ты всего лишь бывший человек. Глядя на тебя с собачьей точки зрения, я понял, что ты не знаешь той стороны своей природы, которую тебе мешает познать твой застарелый страх. Выслушай меня, Султан, без гнева, без презрения. Тебе известно, что я никогда не поступал жестоко просто так, ради удовольствия. Жестокости сами по себе еще не говорят о жестокости. Ты согласишься по крайней мере, что я добросовестно следовал великому принципу правосудия: предотвращать преступление вместо того, чтобы карать за него. Чтобы казнить виновного, требуется только команда солдат или палач. Чтобы виновных не было, нужен большой ум. Нужна беспощадная строгость, чтобы отпала надобность в строгости. Если несмотря на все, найдется глупец, который сам выроет себе могилу, что ж, в могилу его. Чего хотел, то и получает. Так было и с этим негром. Я убрал его. Убрал, как убирают неверное слово. Вычеркнул. Стер. Забычтожил. Тут не было никакого риска. Ведь один человек, как и одно слово, ничего не значит. Теперь мой способ говорить — молчание. Если бы мои враги понимали мою речь-молчание, они могли бы в свою очередь победить меня. Но эта система обороны непреодолима. Это ты так думаешь, Верховная падаль. Ты только путаешься в словах. Ты напоминаешь человека, блудившего с тремя дочерьми, которых он прижил со своей матерью, причем одна из них была замужем за его сыном, так что, блудя с нею, он блудил со своей сестрой, своей дочерью и своей снохой, а сына вынуждал блудить с сестрой и с мачехой... (Остаток листа сгорел.)

Скоро ты уже не сможешь читать вслух.

Что произойдет после первого иктуса? Проще говоря, что с тобой случится после первого апоплексического удара? Возможно, ты потеряешь речь. Потеряю речь? Что ж, потерять плохое неплохо. Нет, ты потеряешь не дар слова в собственном смысле, а память о словах. Всего лишь память; на этот случай у меня есть Патиньо. Нет, я имею в виду память о движениях языка, посредством которых словами что-то выражают. Словесную память, прокладывающую себе колеи по перешейку глотки. Прячущуюся на неведомом острове между теменной, затылочной и височными долями. Орошающую сухими дождями знойную пустыню, простирающуюся под знаком Козерога. Даже жалкого урожая слов не даст бесплодная почва, ни одно не извергнется из кратеров, погруженных в кромешную тьму. Ты не сможешь даже напевать «Песнь о Роланде», как ты обычно делал, наводя телескоп на полдневные небеса, — у тебя не получится ни единого такта. Ты не выберешься из сильвиевой ямы<sup>[348]</sup>, не сдвинешься с мертвой точки, которой станет для тебя центр Брока<sup>[349]</sup>.

Это все, минервин пес? Не совсем. Возможно, близкий конец бросит тень могильного креста на твой бедный и без того помраченный мозг. У тебя отяжелел

язык, верно? Но ты еще можешь шевелить им. У тебя еще действуют и гортань, и голосовые связки. И все же подчас ты не сможешь произносить нужные слова. Они будут у тебя на уме перед тем, как ты откроешь рот. Но получаться у тебя будут другие. Ошибочные, непохожие, изуродованные, не те, которые ты имел в виду и хотел произнести. А потом дуновение, исходящее из пещеры легких, обработанное языком, придавленное к нёбу, не скажу, разорванное зубами, потому что зубов у тебя уже нет, не произведет ни малейшего шума.

Пока появляются только первые симптомы. Вместо слова «трубы» ты произносишь «трупы»; вместо того чтобы сказать Патиньо: «что видят твои зрачки?», ты его спрашиваешь: «что видят соски твоих глаз?» Ах ты, старый плут! Ты хочешь сказать «мой язык», а у тебя получается «бритва, которая у меня во рту». Что не совсем неправильно. Ты рубишь фразы. У тебя каша во рту. Как у пьяного. Как у логопата. Говоря о самых простых вещах, ты употребляешь неуместные, странные, точно иностранные, слова. Ты ходишь вокруг да около, обдумывая то, что хочешь сказать, и все-таки говоришь не то, и тебе приходится поправляться. Неправильно строишь фразы. Говоришь инфинитивами и герундиями. Безглагольными предложениями. Пропускаешь слога и слова. Повторяешь слога и слова. Произвольно, сам не зная почему, сливаешь и разделяешь слога и слова. На каждом шагу прерываешь разговор. Заикаешься. Тянешь окончания, и они звучат, как эхо твоего опустошенного [его](#)<sup>[350]</sup>. Без надобности прочищаешь горло, откашливаешься, отхаркиваешься. Но это тебе не помогает; только еще больше першит в горле. Глотать слюну для тебя двойная пытка: потому что горит глотка и потому что это твоя слюна. Поглощая ее, ты становишься еще чувствительнее к действию этого яда.

Давай-ка попробуем. Скажи, например: у верблюда горб. Ну, открой рот; произнеси это предложение. Нет ничего легче: уверблю да гроб. Вот видишь? Перестановка букв. Произвольное разделение слогов. Изобретение нового слова. Возьмем другую фразу. Произнеси высший девиз. Ну! НЕЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ СМЕРТЬ! Хорошо, правильно. Это изречение тебе легче выговорить, потому что ты его постоянно повторяешь. В основе механизма речи лежит повторение, и даже изменения в языке порождаются повторением ошибок.

Как бы то ни было, ты быстро теряешь речевую память. Ты приписываешь себе фразы, которые прочел или услышал. Ты стал раздражительнее, чем раньше. Хуже того, у тебя начинает ослабевать также и слух. Напрасно ты пытаешься наострить его, расшевелив пером. Тебе не то что перо, и копые не поможет. Ты полным ходом движешься к абсолютной глухоте и немоте. Настанет час, когда ты сам себя не услышишь. Но не порть себе кровь. До этого пока еще далеко.

И кроме того, ты остаешься и останешься в здравом рассудке.

Как видно, бедный Султан, ты вымер из ума! Земля целиком поглотила тебя. Оставила только самое худшее в тебе. Дерьмо собачье. Ты всегда был неблагодарный, не помнил добра. Как я ни старался ублажить тебя, удовлетворить все твои желания, ты никогда не выказал ни малейшего чувства удовольствия и благодарности. Зато много раз злобился. И только на меня. Цинично насмехался надо мной. В старости ты не мог есть даже суп; я сам вливал его тебе в рот. А, наевшись, ты в благодарность норовил куснуть меня. Вот вам и спасибо. Когда ты, разлегшись на своем ложе, погружался в сон, тебя едва можно было растолкать. А потом ты заснул так крепко, что, кричи не кричи, толкай не толкай — не разбудишь. Что ты там рычишь, разлегшись в собачьей посмертной позе?

Сперва ты будешь забывать имена существительные, потом прилагательные, а под конец даже междометия. Во время свойственных тебе приступов гнева ты в лучшем случае сможешь произносить лишь некоторые, самые ходовые фразы. Раньше ты говорил, например: хотеть — значит мочь. Скоро, когда ты захочешь сказать «хочу», тебе после многих попыток удастся только пролепетать: «не могу сказать „хочу“».

Все начинается с местоимений. Знаешь ли ты, каково тебе будет, когда ты не сможешь вспомнить, не сможешь проговорить Я — ОН? Но твои страдания скоро кончатся: ты даже не будешь помнить, что помнил что-то.

К твоей глухоте прибавится речевая слепота. Ты полностью потеряешь и зрительную память, словно зрачки твои покроет пыль забвения. Когда это произойдет, ты, конечно, не перестанешь видеть, но, хоть ты и не сдвинешься с места, ты окажешься совсем в другом месте. Ты не сможешь припомнить ничего знакомого, а незнакомое как ты сможешь узнать?

Осаждаемый, с одной стороны, бессмысленными звуками чужого языка, мертвого языка, который на миг оживает под твоим языком-бритвой, режущим его на кусочки, с другой стороны, незнакомыми образами, ты будешь по-прежнему видеть некоторые предметы, но не сможешь видеть буквы в книгах и то, что ты сам пишешь. Это не отнимет у тебя способности списывать и даже подражать незнакомому почерку, не понимая смысла написанного. Я пишу, скажешь ты, как бы с закрытыми глазами, хотя и знаю, что они у меня открыты. Это будет для тебя замечательным опытом. Последним опытом. Если тебе станет скучно, ты сможешь играть в домино или в карты с Патиньо, и даже выигрывать у него сколько душе угодно.

Послушай, Султан...

Понимаю, понимаю; можешь мне ничего не говорить, бывший Верховный. Мне совершенно ясно все, что ты думаешь и чувствуешь. Ты хочешь писать. Пиши. У тебя еще есть немного того, что человеческие существа называют временем. Твоя рука будет писать до конца и даже после конца, хотя теперь ты говоришь: я прекрасно знаю, как пишется слово, но, когда хочу писать правой рукой, не знаю, как это сделать. Нет ничего проще. Кто уже не может писать правой рукой, может писать левой; кто не может писать руками, может писать ногами. Даже если правая рука у тебя парализована, а левая нога все больше распухает, ты все еще можешь писать. Не важно, что ты не видишь того, что пишешь. Не важно, что ты не понимаешь того, что пишешь. Пиши. По-прежнему тянется, вьется путеводная нить по горизонтально-вертикальному лабиринту страниц, ничуть не похожему на катакомбы, превращенные в подземные тюрьмы. Но твоя речь так темна, будто исходит из этих катакомб.

Послушай, Султан!..

Каково запоминание, таковы и воспоминания. Поясню тебе это примером. Если бы ты жил в эпоху, когда было изобретено кинетико-визуальное и звуковое репродуцирование, у тебя тут не было бы трудностей. Ты мог бы запечатлеть эти заметки, речь твоей памяти, включая и заимствованное у других авторов на кварцевой пластинке, на магнитной ленте, на фотоэлектрической эмульсии толщиной в одну десятитысячную волоса, и совершенно забыть об этом. Потом, случайно приведя в действие машину, ты вновь услышал бы и по известным особенностям узнал бы эту речь как свою собственную. Ты или кто-нибудь другой продолжил бы ее; цепь не прервалась бы. Но это будущее, в котором такое место займут машины и приборы,

еще не повернуло вспять и не пришло в дикую страну, которую ты любишь и ненавидишь, ради которой ты живешь и за которую умрешь.

Написанное в Книге Воспоминаний должно быть предварительно прочитано. Иначе говоря, должно вызвать в памяти все звуки, соответствующие памяти о слове, а эти звуки в свою очередь должны вызвать в памяти смысл, который не заключен в словах, но был связан с ними движением мысли в определенный момент, когда слово узрело себя через посредство вещи, а вещь постигла себя через посредство слова. Симпатически, как сказал бы ты. Это симпатическое чтение.

Второе, обратно направленное чтение раскрывает то, что скрыто в самом тексте, сначала прочитанном, а потом написанном. Таким образом, мы имеем дело с двумя текстами, причем отсутствие первого необходимо означает наличие второго. Ведь то, что ты пишешь сейчас, уже содержится, уже заранее дано в читаемом тексте, в невидимом подтексте.

Продолжай писать. Впрочем, это не имеет никакого значения. Ведь в конечном счете то неведомое, удивительное, страшное, что таится в человеческом существе, еще не выражено в словах или в книгах и не будет выражено. По крайней мере до тех пор, пока не исчезнет это проклятье, язык, как исчезают, развеиваются наваждения. Пиши же. Хорони себя в буквах.

Постой, Султан! Погоди минутку!..

Он опять повалился наземь. Вот он мало-помалу ступшевывается, расплывается, словно подшучивая надо мной. Остается только голый череп. Потом и он уходит в землю. Исчезает.

Я очень устал. Все оттого, что растабарывал с нелепой тенью собаки.

Пять раз в каждое столетие бывает месяц, самый короткий в году, когда луна сбивается с панталыку. Таким месяцем был прошлый февраль, безлунный февраль. А потом разразилась августовская буря — та самая, что сбросила меня с лошади во время моей последней вечерней прогулки. Упав навзничь, я отчаянно барахтался, пытаюсь выбраться из вязкой, засасывающей грязи. Дождь решетил мне лицо. Это был не обычный дождь, а ливень, плотный, сильный, ледяной. Капли расплавленного свинца, в одно и то же время горячие, как огонь, и холодные, как изморозь. Крупные и тяжелые, они, как пули, летели со всех сторон, и от них у меня звенело в костях и по телу пробегали судороги. Вороной, озаряемый белыми отсветами молний, бесстрашно двинулся дальше. Верхом на нем в развевающемся на ветру плаще, как всегда, высоко держа голову, ехал Он, оставляя меня за спиной и в то же время копошась в грязи, извергая рвоту, выкрикивая приказания и мольбы, визжа, как побитая собака, под лавиной воды. После упорных, героических усилий, на какие не способен ни один жук, опрокинутый на спину, мне удалось перевернуться, и, лежа ничком, я продолжал врукопашную битву с трясинной. Наконец я сумел встать, тяжелый от грязи и отчаяния. Всю ночь я бродил по городу, опираясь на подобранный сук. Я не решался приближаться к Дому Правительства из страха перед собственной стражей. Блуждал по самым пустынным кварталам, кружа, как слепой, снова и снова возвращаясь в тот же тупик, на тот же перекресток. Бродяга, Верховный Нищий, Великий Побирушка, какого не видел свет. Одинокий. Несущий на плечах бремя своей опустошенности. Одинокий, без очага, в чужой стране. Одинокий. Старик от рождения, чувствующий себя более мертвым, чем мертвец. Обреченный безжизненно жить до последнего вздоха. Одинокий. Без семьи. Одинокий, старый, больной, не нужный ни одной

собаке. Хватит, ублюдок! Перестань выть, как собака. Раз уж ты только тень, научись по крайней мере вести себя, как человек. Дождь стих. Царила полная темнота. И в переулке полная тишина. Тогда я сказал себе: единственный выход из тупика — сам тупик. Я пошел дальше, опираясь на сук. Встретился с патрулем. Стой! Кто идеет! Никтооо! — ответил я беззвучным голосом. Парооль! — крикнули мне, и послышался лязг затворов. Родина! — отозвался мой голос в этих телах, пропитанных дождем и патриотизмом. Где живешь? — не унимался капрал. Не имею постоянного местожительства! — сказал я. Как ты набрался смелости выйти на улицу в такую пору, старый мошенник? Я заблудился в непогоду, дети мои. Разве ты не знаешь, что запрещено выходить из дому после сигнала к тушению огней. Знаю, знаю, я сам отдал этот приказ. Они не поняли. Обругали меня. Да, да, дети мои, я прекрасно, знаю, что нельзя выходить после сигнала к тушению огней. Но во мне уже нечего тушить. Этот старик свихнулся или пьян, сказал капрал. Пусть идет. Ступай, старик, проспись у кого-нибудь в снях, раз у тебя нет дома! Смотри не попадайся нам больше!

Я пошел на дрожащий свет, забрезживший в конце улочки. Это не был еще свет зари. Я узнал кабачок Оррего. Дверь была открыта. Я поколебался, зайти или нет. Наконец решился. Кто мог узнать меня в таком виде? Шпионы — набитые дураки. Я знаком спросил стакан водки. Ну и собачья погодка, кум! Вы, видно, промокли до костей, начальничек! — попытался кабатчик завязать разговор. Я только показал рукой на горло. А, понимаю, кум, у вас даже голос пропал! Я бросил ему кварто. Монета упала на пол между мешками и ящиками. Оррего стал на колени и, выставив зад, принялся искать ее. Куда к черту закатилась проклятая! Я вышел, слыша за спиной ругательства по адресу разбитого под Трафальгаром монарха<sup>[351]</sup>, чей профиль был вычеканен на кварто.

На следующий вечер я увидел через подзорную трубу с крыши Госпитальной Казармы тучу странной формы, надвигавшуюся со стороны Чако. Она вихрилась и кипела, как вода у порогов. Опять буря! — мелькнуло у меня в голове, и меня пробрал озноб. Нет, саранча! Я подумал о двойном урожае, которому грозил этот бич. Снова вся страна поднимется на войну.

Затрещат трещотки, загрохочут барабаны, повсюду, от края до края, воздух огласят боевые клики. Туча остановилась на горизонте. Как будто отступила. Рассеялась. Исчезла в отсветах заката. Шалости подзорной трубы. Вздорной трубы. Непонятно, как и почему возникший эффект рефракции света. Когда я понял, в чем дело, с высоты падала огромная стая ласточек, ошалело летевших, куда несли крылья. Слепые птицы. В бурю дождевые пули повыбили им глаза. Я спасся, потому что, когда падал с лошади, треуголка налезла мне на лицо. Но этого было бы недостаточно. Меня выручила стальная пластина, которую я носил на груди под одеждой. Я выдержал обстрел расплавленным свинцом, холодным как лед, а ласточки не выдержали. Они несли с собой лето с севера. Потоп преградил им путь. Расправился с ними. Крышу тут же заполнили эти безглазые птички, смотревшие на меня сквозь капли крови в пустых глазницах. Они с минуту беспомощно махали крыльями и падали мертвыми. Я поспешно направился к лестнице. Под ногами у меня шуршало, будто я шел по сухой люцерне, — это хрустели косточки. Я понял, что буря распространилась очень далеко. Все эти пернатые прилетели из дальних краев умереть у моих ног.

Как с расследованием дела о пасквиле, вывешенном на двери собора? Ты нашел что-нибудь написанное этим почерком? Нет, Ваше Превосходительство, пока нам

ужасно не везло. Ни единой похожей буковки во всей писанине, которая хранится в архиве, а ведь мы просмотрели все до последнего листочка. Не ищи больше. Это уже не имеет значения. С вашего позволения я хотел бы только добавить, Ваше Превосходительство, что, возможно, просматривая архивные документы, я не нашел виновного потому, что те, кем подписаны эти бумаги, по большей части умерли или находятся в тюрьме, что примерно то же самое. Писцов я для верности отправил под усиленным конвоем в колонию Тевего. Так, подумал я, мы одним выстрелом убьем двух зайцев, или, лучше сказать, избавимся от двух зол: с одной стороны, не дадим больше этим прохвостам пособничать пасквилянтам, а с другой стороны, снимем заклятие с Тевего, поскольку, мне кажется, единственный способ для этого — дать колонии, так сказать, новую жизнь, опять поместив туда заключенных взамен тех, которые улетучились, вернее, превратились в камень. Потому что сегодня, подходя к Дворцу, я снова оказался свидетелем весьма странного происшествия. Что, мошенник, ты опять собираешься рассказать мне какую-нибудь сказку Шахразады, чтобы отнять у меня время и оттянуть момент, когда тебе будет вынесен приговор? Нет, Ваше Превосходительство, упаси меня Боже испытывать ваше терпение, пересказывая болтовню и слухи. В самом деле произошла невиданная и неслыханная вещь. Ну, выкладывай. Я начинаю, сеньор, и да помогут мне Бог и Вашество. Только это дело непростое. Не знаю даже, с чего начать. Начинай, по крайней мере будешь знать, чем кончить.

Когда Ваше Превосходительство находились в Госпитальной Казарме после того, как упали с лошади во время грозы — а с того злосчастливого дня прошел уже месяц, — в город пришли двое мужчин и женщина с ребенком. Пришли, видимо, просить милостыню. Во всяком случае, так они сказали, когда с них сняли допрос. Это само по себе было странно, поскольку с тех пор, как Ваше Превосходительство взяли бразды правления, в нашей стране нет нищих, убогих, побирušек. Откуда вы? — спросил я их первым делом. Я тут же вспомнил, что вы имеете обыкновение говорить: подо всякой личиной надо искать подлинное лицо. Но, глядя на этих людей, я не припоминал никакого знакомого лица. Откуда вы? — спросил я их еще раз, чувствуя легкую тошноту: уж очень от них воняло. Они не сумели или не захотели ответить. Только покачивали головой, будто глухонемые. Немые они или нет? — гадал я. Глухие или нет? На всякий случай я спросил: вы часом не из Тевего? Они продолжали молчать. Один из них, который потом развязал язык и сказал, что он отец ребенка, принялся с наслаждением чесаться. Вы ведь знаете, что нищенство запрещено и карается двадцатью пятью плетьюми. Мы не знали, сеньор, ответил второй мужчина, который потом тоже развязал язык и назвался дядей ребенка. У нас нет ничего, дрожащим голосом проговорила женщина — как потом оказалось, тетка девочки — и добавила, показав на нее: только этим мы и можем заработать себе на жизнь, а ведь мы голодны, за последние три дня и кусочка маниоки не съели. Никто нам ничего не дает. И большие, и маленькие боятся нас, захлопывают перед нами двери, убегают от нас, напускают на нас собак, бросают в нас камнями, сеньор, как будто у нас болезнь святого Лазаря или какая другая, еще хуже нее, заразная хворь.

Вначале я подумал, что они хотят обмануть власти. Девочка выглядела самым обыкновенным ребенком. Только ножки у ней были хилые, кривые. Но она ходила, как все дети ее возраста. Волосы у нее были беленькие-беленькие, их почти не видно было на солнце. А глаза пустые, как будто незрячие. Но они наверняка видели,

потому что, когда девочка хныкала, а тетка-мачу наклонялась унять ее, та хваталась за ее грудь. Уведите их в кордегардию, сказал я солдатам, и поучите как следует.

Девочка бросилась наземь, задрыгала ногами и заплакала. Голос у нее был надтреснутый, старческий и какой-то странный, как будто не ребенок плакал, а пищала испуганная игуана или еще какой-нибудь лесной зверек. Я подошел к ней и сунул ей в рот табачную жвачку. Она попробовала ее и выплюнула черный сок. Накоре!<sup>[352]</sup> — сказала она и еще пуще заплакала. Тетка-мачу стала на колени и дала ей грудь. Сколько ей времени? — спросил я. Два года исполнится в день рождения нашего Караи Гуасу, сказал отец. Она родилась как раз на Богоявление, сказал дядя.

Подошел один стражник. Попытался взять ее на руки, но не смог. Она тяжелая, как камень, арроб пять весит, сказал он и хотел поднять фуражку, которая свалилась с него на голову девочке, да не тут-то было. Изо всей мочи тянул, но так и не сорвал. Подошел другой стражник, но и у него сил не хватило. В ней арроб десять, сказал он. Стражники впятером не могли поднять девочку, которая теперь плакала и кричала за двоих. Таща ее туда-сюда, стражники разорвали ей платье, и тут мы вдруг увидели, что это за девочка. Пониже сосков она срослась с другим ребенком, маленьким мальчиком без головы и без заднего прохода. В остальном тельце у него было нормальное. Только одна рука короче другой. Она отломилась у него при рождении, сказала тетка, не вставая с колен. Два ребенка срослись в таком положении, как будто мальчик хотел обнять девочку, которая была побольше его. Перемычка между их телами была около четверти длиной, так что, приподняв увечного ребенка, можно было увидеть пупок другого. Руки, ляжки и ноги не срослись, и у мальчика как бы свешивались с тела девочки.

Тетка сказала нам, что мальчик отправляет свои естественные потребности за отсутствием соответствующих органов через посредство девочки, так что они питаются одним и тем же и живут одной жизнью. Когда я спросил этих людей, где мать, они сказали, что не знают. Отец только туманно объяснил, что в день, когда родились двойняшки, мать исчезла. Лучше сказать, поправился он, когда я вечером вернулся на чакру, я нашел там двойняшек, но не нашел матери. Мы с братом и сестрой, которая до сих пор кормит грудью обоих — спасибо, молоко не пропадает, — пошли в Ламбаре к знахарю, пайе<sup>[353]</sup> пайагуа, который разводит кабанов. Он сказал нам, чтобы мы пошли к нашему Караи Гуасу, потому что со временем эти уроды близнецы станут прорицателями и смогут быть полезны Верховному Правительству своими предсказаниями для сохранения законного порядка и единства всех частей нашего государства.

Я все еще думал, что они хотят только избавиться от плетей, которых заслуживали, как побирušки. Возможно, думал я, их подучили пасквилянты или отродья двадцати семей, чтобы посмеяться над правительством. Вы думаете, сказал я им, если бы даже это вранье было правдой и сросшиеся дети стали самыми лучшими прорицателями на свете, наш Верховный Диктатор захотел бы выпрашивать у этих уродцев близнецов предсказания и чудеса? Я сказал им, что вы, сеньор, против всякой ворожбы — этого пережитка влияния пайи на невежественный народ.

Отец, дядя и тетя-кормилица ничего не сказали на это. И не выказали ни страха, ни огорчения. Взять их и дать каждому по двадцать пять плетей! — крикнул я стражникам. Двойной ребенок тоже перестал плакать. Тетка без усилия подняла его, взяла на руки и пошла за стражниками, которые уводили мужчин. На ходу она сняла фуражку с головы девочки и отдала ее солдату. Я приказал сержанту, чтобы после



наказания на них набили колодки и держали их под караулом, пока Ваше Превосходительство не поправится и не скажет, что с ними делать.

На следующее утро, когда я пил мате, ко мне на дом явился сержант. На нем лица не было, хоть он и храбрился, скрывая страх, который солдат не должен показывать, даже когда мертв. Знаете, что произошло, сеньор Патиньо? — сказал он прерывающимся голосом. Если ты не будешь мычать, как глухонемой, может, когда-нибудь и узнаю, ответил я. Что случилось, сержант? У страха глаза велики. Он рассказал мне следующее. Когда обоих мужчин и женщину раздели для наказания, сеньор секретарь правительства, оказалось, что ни у кого из троих нет ни следа срамных частей. Ничего. Только отверстия, через которые они беспрестанно мочились. Самые крепкие плетки, которыми хлестали их влажные тела, тут же сгнивали. Нам пришлось раз пять их менять. Индейцы не захотели больше бить этих людей. Я приказал надеть на них колодки. И на двойняшек тоже. Сегодня утром их уже не было. В камере для задержанных осталась только лужа мочи. Да еще колодки — почернелые, обуглившиеся. Еще горячие. Вот это я и хотел рассказать Вашеству. Мне бы хотелось самому разобраться в этой истории, но только вы, сеньор, с вашим умом и ученостью могли бы понять, что произошло. Может быть, те, кого мы, невежды, называем уродами, вроде людей из Тевего, в ваших глазах не уроды. Может быть, эти существа из плоти и крови принадлежат к другому миру, неведомому заурядным людям; остались от какого-то мира, который существовал до нашего; вышли из книг, которые навсегда потеряны для нас. Может быть, они связаны с какими-то другими существами, которые не имеют имени, но существуют и более могущественны, чем мы. Ты никогда не будешь знать меры, если не узнаешь сначала, что переходит меру, говорите вы мне обычно, сеньор, когда я делаю глупости.

Я прочел всю Библию, ища для сравнения что-нибудь подобное этому происшествию. Исайя мне сказал, что ни в этом, ни в ином мире не пропало ни одно благое деяние, ни одно благое слово. Я спросил у пророка Иезекииля, почему он ел кал и столько времени лежал на левом, а потом на правом боку. Он ответил мне: из желания поднять других до ощущения бесконечного. Я не понимаю, что это значит.

Я знаю, что плохо рассказываю, сеньор. Но не думайте, не потому, что хочу отнять у вас время или скрыть свою мысль. Вот уж нет. Просто я не умею рассказывать по-другому. Вы сами говорите, сеньор, что факты нельзя передать никаким рассказом, однако вы способны вдумываться в мысль другого, как в свою собственную, даже если это мысль такого невежественного человека, как я.

Я преисполнен почтения к вам, Верховный Сеньор, глубокого и высокого уважения. Вы тратите свое время и терпение, слушая меня. Я очень благодарен вам за внимание. Вы даже прикрыли глаза, чтобы лучше слушать. Я завидую вашему образованию; больше всего завидую вашему уму, вашим познаниям, вашей опытности. Многое из того, что вы изволите говорить, выше моего понимания, хотя я чутьем понимаю, что вы говорите святую истину. Вы очень добры, больше того, чрезвычайно благодушны, раз выслушиваете благоговейные благоглупости, которые я мелю только потому, что у меня язык без костей, а у вас ангельское терпение.

Каждый раз, когда мне доводится испытывать сильную радость или горе, и я выражаю эти чувства в словах, я, слушая их, ощущаю себя другим человеком. Человеком-который-говорит. Говорит то, что много раз слышал. Слова потому и соскальзывают у меня с языка, что он увлажнен в чужих ртах. Это попугайские слова. Я знаю, что говорю нескладно, коряво. Но вы очень ободряете меня, так терпеливо

слушая. Я чувствую себя почти как на исповеди, вроде того сумасшедшего, который заколол себя штыком часового, потому что ему приснилось, что он убил Ваше Превосходительство.

Человек всегда чувствует себя другим, когда говорит. Но я хочу быть самим собой. Говорить как хозяин своего языка, своей мысли. Рассказать вам свою жизнь со всеми ее плюсами и минусами. Вы, сеньор, часто говорите, что жить — значит изживать себя. Вот про это я и хотел бы рассказать вам. Мне хотелось бы понять, как страх, отвага, желания толкают нас на безотчетные поступки. Бессчетные поступки, которых мы сами не понимаем, которые совершаем как будто во сне, в бессмысленном, бессвязном, безобразном сне. Сколько дурного мы делаем непонятно для чего, когда близехонько от нас то, что нам принадлежит по праву, что предназначено нам судьбой, но чего мы не знаем, не знаем, не знаем! Даже если держим ноги в самой холодной воде.

Все на свете ненастоящее: и люди, и вещи. Может, от этого нам так редко снится что-нибудь явственное и разумное. Обычно во сне все раздваивается и все шиворот-навыворот. Если мне снится что-нибудь явственное, то, когда я просыпаюсь, свет не так сильно бьет мне в глаза. Наверное, и с вами это бывает, сеньор. Хотя нет, Вашество скроены из другого материала. Вы, Ваша Милость, должно быть, всегда ясно видите то, что вам снится. Вы то и дело называете меня идиотом, скотиной. И вы правы. Я не такой, как вы. Наверное, я вроде ворона, который хотел бы, чтобы все было белым, или вроде совы, которая хотела бы, чтобы все было черным.

Я очень благодарен вам за внимание. Вы слушаете меня и обдумываете то, что я говорю, пусть очень глупо, но с полным почтением. Я говорю вам о том, чего не знаю, но знаю, что вы это знаете. Я хочу еще немножко поговорить с вами: память у меня сейчас превратилась в настоящее осиное гнездо, просто голова пухнет, а перо не оторвешь от бумаги, так и бежит, как будто кто-то водит моей рукой. То, что я рассказываю вам, вполне достоверно и очень серьезно. Выслушайте меня, сеньор, выслушайте без предубеждения; услышите больше того, что я говорю, потому что вы, и только вы, видите дальше всего видимого, слышите больше всего слышимого. Только Вашеству вместе со зрением дано прозрение. Разгадывать прошедшее легко. Совсем другое дело — предугадывать будущее. Грядущие радости не смеются, а печали не плачут. Молитвами поле не вспашешь, от похвал плоды не созреют — вот ваши любимые поговорки. А многие вещи даже не имеют названий. По крайней мере я не знаю, как их называть, и от этого они ускользают от меня. Я все больше теряюсь. То, что происходит, серьезнее, чем кажется. Потому что то, что произошло в злосчастный день, когда вы упали с лошади, повторилось сегодня утром. Снова, как по волшебству, в городе появились эти уроды. Еще более уродливые и куда более многочисленные, чем в первый раз, когда это была только одна семья. Я сам, пока шел из дома в Дом Правительства, раз десять встречал кучки этих бестий. Они вылезают из ровов, взбираются по крутым откосам, спускаются с Холма Часового. Они держатся очень уверенно и решительно. Похоже, не боятся ничего и никого. Хотя пока еще перед лицом вооруженных солдат они ведут себя смиренно, трудно сказать, какие злодейства они могут учинить, когда их соберется больше. Судя по донесениям со сторожевых постов и застав, они появляются со всех сторон. Но как появляются, так и исчезают в мгновение ока, словно сквозь землю проваливаются или прячутся за буграми и в заросших оврагах. Теперешние, сеньор, уже не говорят; вернее сказать, говорят только между собой — знаками объясняются или жужжат, как

кладбищенские мухи... Я не злоупотребляю вашим терпением, сеньор? А, Ваша Милость? Вы заснули, Ваше Превосходительство? А что, если он умер? О если бы он умер! Тогда... Нет, мой уважаемый секретарь. Не строй себе иллюзий. Кто от смерти другого спасения ждет, тот сам себя с головой выдает. Скоро ты головой и поплатишься. Ты говорил мне, что в город начали вторгаться чудовища в полу\* человеческом облике. А я тебе говорю, что есть еще более отвратительные существа, которым нет надобности вторгаться к нам, потому что они давно среди нас. По сравнению с ними те, о которых ты рассказываешь, наверное, невинны, как грудные младенцы. И, наверное, гораздо честнее, исполнительнее, добросовестнее, умнее. Поручу-ка я этим тихим, но деловитым уродам заняться переписью, которую я приказал провести моим людям. Что это за смехотворную писанину ты мне подал вчера? Если верить этим переписным листам, в одном Парагвае в общей сложности больше жителей, чем на всем континенте. За сто лиг видно лентяев, выдумывающих любую бессмыслицу, только бы не работать. Конечно, писать что попало — дело нетрудное. Бумага все терпит. Мои штатские и военные чиновники, чтобы не утруждать себя, поручили работу своим подручным, а те высосали сведения из пальца, лежа в гамаках, после того как целый день гонялись в лесу, в кустарнике и на ранчериях за молодыми мулатками и индианками. От их бумаг пахнет любовным потом. Под пером этих бездельников люди рождались из ничего. Неизвестным родителям они давали кучу несуществующих детей. В самой маленькой семье по спискам больше ста душ. Старые девы еще более плодовиты, чем замужние женщины, сожительницы, любовницы. Я нахожу здесь, например, некую Элену Чеве, которую какой-то распалившийся каптенармус наградил 567 детьми, дав им самые странные имена и возрасты: самый младший еще не родился, а старший старше матери. Ну и перепись! рот уж действительно гора родила мышь! Выходит, за последние десять лет численность населения увеличилась в сто раз, и, если бы я в это поверил, я мог бы немедленно объявить призыв с расчетом набрать не меньше ста тысяч человек. Полчище призраков, порожденных вышедшим из берегов воображением этих мошенников, которые сделали ширинки своими главными доспехами!

Сеньор, прибыли также первые списки от 140 школьных учителей с приложением ответов учеников на вопрос о том, как они представляют себе благоговейно чтимое Национальное Верховное Правительство. Ладно, оставь свое благоговение и читай ответы. Я начинаю, сеньор.

Школьный округ № 1, Асунсьон. Школа № 27, «Первая республика Южной Америки». Учитель Хосе Габриэль Тельес. Ученица Либерта Патрисия Нуньес, 12 лет: «Верховному Диктатору тысяча лет, как Богу, и он носит башмаки с золотыми пряжками, обделанными в кожу. Верховный решает, когда нам рождаться, и заботится о том, чтобы все, кто умирает, попадали на небо, так что там собирается очень много народу и у господ Бога не хватает маиса и маниоки, чтобы прокормить всех, кто молит о Божественной Благостыне». Другая ученица учителя Тельеса, Викторiana Эрмосилья, 8 лет, слепая от рождения, говорит: «Верховный очень-очень старый, старше сеньора Бога, о котором нам тихим голосом говорит учитель дон Хосе Габриэль», Хватит с меня учеников Тельеса. Он и Кинтана — мастера учить розгами и линейкой, да толку чуть. Вместо того чтобы преподавать Отечественный катехизис, они потихоньку протаскивают упраздненный, а буквари и хрестоматии, по которым полагается заниматься с детьми, подменяют пустыми, антипатриотическими

историями, которые только портят их. Если мне не изменяет память, Тельес и Кинтана исполняют обязанности учителей временно, пока не найдутся более пригодные, не так ли? Да, Ваше Превосходительство, они временно занимают эту должность с 11 марта 1812, когда их назначила учителями первая Хунта. Установи наблюдение за этими господами, которые позволяют себе тайно давать частные уроки отпрыскам двадцати семейств. Ваше приказание будет выполнено, сеньор.

Школа № 5, «Независимый парагваец». Учитель Хуан Педро Эскалада. Ученик Пруденсио Саласар-и-Эспиноса, 8 лет: «Верховному 106 лет. Он помогает нам быть хорошими и много работает, чтобы росла трава на пастбищах, цветы и растения. Иногда он моется, и тогда идет дождь. Но Бог или дьявол, точно не знаю, кто из них, а может, и оба вместе, растят сорную траву и яворай<sup>[354]</sup> в наших капуэра<sup>[355]</sup>». Гм. Этот ученик уже лучше, хотя учитель у него портеньо, оставшийся здесь как последыш ареопагитов.

Та же школа, следующие сочинения:

Ученица Генуария Альдерете, 6 лет: «Верховное правительство как вода, которая кипит, только не в горшке, всегда кипит, даже если гаснет огонь. Оно делает так, чтобы у нас была еда».

Ученик Амансио Рекальде, 9 лет: «Верховный ездит на лошади, не глядя на нас, но всех нас видит, а его никто не видит». Ха-ха. Сразу видно, что этот мальчик внук дона Антонио Рекальде.

Ученик Хуан де Мена-и-Момпокс, 11 лет: «Верховный Диктатор — тот, кто дал нам революцию. Теперь он командует, потому что так хочет, и всегда будет командовать».

Ученица Петронита Карисимо, 7 лет: «Мама говорит, что это Злой Человек, который приказал посадить в тюрьму нашего деда только за то, что лошадь, на которой он каждый вечер ездит на прогулку, споткнулась о расшатавшийся камень мостовой напротив дедушкиного дома. Он велел надеть ему на ноги тяжелое-претяжелое грильо и упрятать его под землю, так что мы уже никогда не сможем увидеть дедушку Хосе». Разорвать это сочинение, сеньор? Нет. Не надо. Правда, которую высказывают дети, не рвется и не гнется.

Ученик Леовихильдо Уррунага, 7 лет: «Верховный — это Хозяин Страха. Папа говорит, что это Человек, который никогда не спит. Он день и ночь пишет и хочет, чтобы мы были не такие, как есть, а наоборот. И еще он говорит, что Верховный — Большая Стена вокруг мира, через которую никто не может пробраться. Мама говорит, что он мохнатый паук, который всегда ткет свою паутину в Доме Правительства. Говорит, из нее никому не вырваться. Когда я делаю что-нибудь плохое, мама мне говорит: «Караи просунет в окно свою мохнатую лапу и заберет тебя!» Вызови родителей этого ребенка. И пусть они приведут его с собой, чтобы он меня увидел. Нехорошо обманывать детей. Их и так потом будут обманывать в школах, если останутся школы, говоря, что, когда мохнатый паук подох, пришлось просунуть в окно длинную такуару, чтобы потыкать в него и убедиться, что он действительно мертв. Вот так-то.

Школа № 1, «Родина или смерть». Учитель — индеец Венансио Тоуве. Ученик Франсиско Солано Лопес, 13 лет: «Прошу у Верховного Правительства шпагу Пожизненного Диктатора, чтобы хранить ее и защищать ею Родину». У этого ребенка храброе сердце. Пошли ему шпагу. Сеньор, с вашего позволения напоминаю вам, что

это сын дона Карлоса Антонио Лопеса<sup>[356]</sup> и что... Помню, помню, Патиньо. Карлос Антонио Лопес и индеец Тоуве были последними учениками колледжа Сан-Карлос, которых я незадолго до революции экзаменовал и которым дал самую высокую аттестацию. Ты тоже еще вспомнишь дона Карлоса Антонио Лопеса, будущего президента Парагвая. Раньше, чем его звезда взойдет на небосвод родины, веревка из твоего гамака затянется у тебя на шее. Продолжай.

Специальная школа «Дом девушек — сирот и подкидышей». Ученица Телесфора Альмада, 17 лет: «Верховное Правительство должно немедленно провести выборы для созыва суверенного народного собрания. Тем временем ему следует распустить паразитарную армию под командованием развращенных и продажных офицеров, заменив ее милицией, которая должна вместе со всем народом двинуть вперед революцию...» Так. Неплохая мысль, совсем неплохая мысль! Кстати, о Доме девушек — сирот и подкидышей. Я позволю себе, Ваше Высокопревосходительство, сообщить вам, что в этом заведении происходят очень странные вещи. Ты собираешься сказать мне, Патиньо, что там тоже появляются те невиданные уроды, которые начали наводнять город, а может быть, и всю страну? Нет, сеньор. Но что действительно достоверно, так это то, что там царит величайшее распутство, какое только можно вообразить. Эти девушки и женщины всякого пошиба занимаются бог знает чем, и неизвестно, когда они спят. Ночью Дом девушек — сирот и подкидышей — настоящий бордель, а днем — казарма. Там есть и белые, и мулатки, и негритянки, и индианки всех возрастов и состояний. Целый батальон. Перед рассветом они уходят в лес. Возможно, они занимаются там военными упражнениями. Весь день до темноты слышатся отдаленные выстрелы.

Я послал туда соглядатаев. Они вернулись, ничего не увидев. А одного из них эти женщины крепко привязали лианами к стволу дерева и повесили ему на грудь оскорбительную надпись. Исипо-мачо<sup>[357]</sup>, которой его связали, нельзя было рубить даже мачете, и пришлось ее прожечь, чтобы освободить несчастного. Его подвергли длительному допросу в Палате Правосудия, но он не смог или не захотел ничего сообщить, а под конец, получив пятьдесят плетей, лишился чувств. Я лично сегодня утром пошел посмотреть, что творится в этом Доме, но там не оказалось ни одной живой души, сеньор. Женщин и след простыл, и похоже было, что там давно уже никто не живет. При сложившихся обстоятельствах я позволю себе попросить у Вашего Превосходительства указаний, что делать. В отношении Дома пока ничего, мой верный бывший поверенный. Возьми перо и напиши то, что я тебе продиктую. Держи его покрепче и пиши самым твердым почерком, на какой ты способен. Я хочу слышать, как перо будет жалобно скрипеть, царапая бумагу моей последней волей.

### **ОПОВЕЩЕНИЕ**

*Я, ВЕРХОВНЫЙ ДИКТАТОР РЕСПУБЛИКИ, приказываю всем делегатам, начальникам гарнизонов, командирам линейных войск, майор- домам, алькальдам селений и деревень явиться в Дом Правительства на ассамблею, о предстоящем созыве которой сообщалось в периодическом циркуляре.*

*Заседание ассамблеи откроется в 12 часов дня в воскресенье 20 сентября.*

*Явка обязательна, и ссылки на какие бы то ни было причины, даже самые уважительные, в оправдание отсутствия кого-либо из перечисленных должностных лиц не будут приниматься во внимание.*

*А теперь я продиктую тебе особое приглашение, касающееся твоей уважаемой особы:*

*Я, ПОЖИЗНЕННЫЙ ВЕРХОВНЫЙ ДИКТАТОР, приказываю коменданту города по-получении настоящего предписания, которое будет ему собственноручно предъявлено моим секретарем Поликарпо Патиньо, заключить последнего под стражу со строжайшей изоляцией.*

*Как виновного в тайном замысле узурпировать власть Правительства вышеназванного Поликарпо Патиньо предать казни через повешение, а его труп похоронить на пустоши за чертой города без креста и надгробия.*

*За исполнение этого Верховного Указа вместе с комендантом города ответственны три остальных воинских начальника. Об исполнении все четверо должны немедленно и лично доложить нижеподписавшемуся, а в случае какого-либо упущения или самовольства подлежат наказанию за обман, попустительство или соучастие.*

Поддай мне бумаги. Я их сейчас же подпишу. Из таза снова, в последний раз, выплескивается вода. Приговоренный стал навтыжку. Исчез. Скорбная, как катафалк, фигура мулата растворилась в луже, которая разливается по полу, образуя ручейки в щелях между половиц. Давняя вонь усилилась вдвое. Однако огромные приплюснутые ступни все еще здесь. Пятки вместе, носки врозь. Трясутся роговые головы больших пальцев, и в этой дрожи мольба и ужас. Только влажные ступни и блестят в полутьме. Громадные. Мокрые от пота. Они так распухли, будто в них вместились вся тучная плоть секретаря, стараясь уйти как можно глубже. Спрятаться под землей. Но половицы, твердые, как железо, не способствуют этому стремлению скрыться, пропасть, а вызывают обратный эффект. Еще больше лезет в глаза эта чудовищная плоть, этот человек-опухоль, превратившийся в потеющие ступни. Ступни, которые смотрят вверх, моргая ногтями. Ступни, которые уже медленно двигаются из стороны в сторону, как качаются тела повешенных. Ну подойди же! Или ты хочешь дважды умереть? Поддай мне бумаги. Секретарь боязливо высовывается из своего тайника о двух пятках. Огромное туловище выходит на цыпочках из своих лап. Мало-помалу. Пугливо-трусливо. Пятки сморщиваются по мере того, как туловище снова обретает свой размер, но также и свое двуличие. Вот она, двуличная тварь рассеченная сверху донизу одним росчерком пера. Я подписываю. Подписано. Посыпь песком документы. Вложи в конверт предписание, касающееся тебя. Запечатай его сургучом. Сеньор, сургуч кончился. Неважно, на нем и без того печать твоей бывшей личности. Внезапно оказавшийся голым, он прикрывается одним указом спереди, другим сзади. Из груди его вырывается тоскливый вздох. Правой рукой, превратившейся в черную ручку с пером, он бьет себя по лицу. Неужели несчастный еще надеется разжалобить меня, подкупить этим последним трюком ярмарочного канатоходца? Он вдруг вонзает себе в горло руку-перо, протыкая адамово яблоко, так что металлическое острие выходит через загривок, а на кончике его показывается ребенок, распеваящий во все горло и выделяющий дьявольские пируэты. Тоненьким голоском бывший Патиньо умоляет меня: Ваше Высокопревосходительство, я покорно принимаю справедливую кару, которую Вашество соизволили назначить мне, ибо я отяготил свою совесть подлыми помыслами, вступив на гнусный путь подвохов и подлогов, святотатственный путь, на который толкнула меня самая черная неблагодарность к вашей Сиятельной Особе. Но я осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство, чтобы вы

не лишали мою могилу самого драгоценного для каждого доброго христианина знака, святого креста. Мне не важно, сеньор, что меня похоронят на голой пустоши за чертой города. Не важно, если крест будет сделан из самого скверного, пусть даже ядовитого, дерева. Не важно, что могилу не украсят надгробной плитой или разноцветными камешками. Но крест, крест, сеньор! — стонет мошенник, осеняя себя крестным знаменем. Если я буду лишен помощи и защиты креста, Милостивейший Сеньор, духи, с которыми у меня старые счета, придут сквитаться со мной, отомстить мне! Я умоляю, я заклинаю вас, сеньор, самым дорогим для вас!.. Судя по тому, что я слышу, ты уже считаешь себя повешенным и похороненным и хочешь тут же устроить себе велорио. Я, сеньор?.. Твои вздохи похожи на отрыжку: у тебя пахнет изо рта. Ты считаешь себя добрым христианином? Сеньор, я не святоша, но моя вера в крест нерушима. Он всегда был моей опорой, сеньор. А ты был самым отъявленным мошенником за последние сто лет. Так что же может значить для тебя крест? Итак, *pequaquam*<sup>[358]</sup>! Ни креста, ни надгробия! Ты ошибся, родившись, и ошибаешься, умирая. Я не стану препираться с моим бывшим выучным животным, отвечая пинками на его ляганье. Я просто выгоню его как бывшего секретаря. Ступай и попытайся угадать, в каком нужнике ты в последний раз справишь нужду, это поможет тебе как мертвому припарки. Иди и не вытягивайся больше, не то я услышу, как вместо каблуков щелкнут четыре копыта. Этот скот плохо понял меня. Он встает на четвереньки, ревет по-ослиному и удаляется, шлепая по грязи. Бывший Поликарпо Патиньо! Он останавливается как вкопанный. К вашим услугам, сеньор! Не забудь о лупе! О какой лупе, сеньор? Подставь лупу солнцу. Ах да, Ваше Превосходительство! Мулат встает отдуваясь. Ну, поторапливайся! Открой ставни. Вставь линзу в обод, который я *ex professo*<sup>[359]</sup> велел тебе вделать в раму. Слушаюсь, сеньор. Он с энтузиазмом прилаживает зажигательное стекло. Детская игра. *Expende Dictatorem nostrum Populo sibi comiso et exercitu suo.*

*Сочетание выражения Expende Hannibalem из стиха Ювенала: «Взвесь Ганнибала, сколько фунтов золы окажется в этом великом полководце?» (Сатиры, X, 147) и фразы из ежесдневного молебна, который Конгресс, избравший Верховного 1 июня 1816 г. Пожизненным Диктатором, предписал служить белому и черному духовенству вместо прежнего молебствия De Regem. (Прим. сост.)*

Сколько арроб золы получится из моих тощих костей? По меньшей мере сто, Ваше Превосходительство! *Echo-riare aliquis nostris ex ossibus ultor*) — шепчу я, видя как на двояковыпуклую линзу падают лучи солнца, стоящего в зените, и, пройдя сквозь нее, образуют массивный слиток золота, раскаленный до температуры плавления.

*О приди же, восстань из праха нашего, мститель! (Вергилий, Энеида, книга 4, 625.)*

Так. Хорошо. Вселенная продолжает расточать свои драгоценные дары, которые для меня имеют весьма малую цену. Подставь под этот слиток огня твой бывший стол с привязанными к его ножкам душами умерших. Навали на него кипу бумаг в форме костра. Немножко передвинь стол. Так, чтобы сноп солнца падал на самый гребень бумажной горы. Сюда, сюда. Когда показывается дым и его первые завитки поднимаются к лицу секретаря, он перестает улыбаться. Смотрит на меня, как верный пес, полными слез глазами. Заведи все семь часов. Ни одни из них больше не покажут тебе время. Часы с репетицией положи так, чтобы я мог их достать. Возьми таз и

уходи. Если нам не суждено больше увидеться в этой жизни, прощай, до встречи в вечности.

У меня не сонливая память. Раньше она работала даже во сне, если мне когда-нибудь удавалось заснуть. Что весьма маловероятно. Теперь она работает даже не во сне, а в беспомыслии: вспоминает мое исчезающее владычество. Я пишу среди клубов дыма, наполняющего помещение. Палату Правосудия. Комнату добровольных признаний. Посмертную исповедальню. Память обо мне — мои дела. В них моя невинность и моя вина. Мои ошибки и мои достижения. Бедные сограждане, вы плохо читали меня! И каков же баланс твоего дебета-кредита, слушатель собственного молчания? — спрашивает тот, кто у меня за спиной правит эти записки; тот, кто порой водит моей рукой, когда силы покидают меня и от абсолютной мощи я перехожу к абсолютной немощи. Каков баланс, пожизненный управляющий своего недоверия? Под завесой дыма он запускает руку в мои тайны. Шарит. Отделяет зерно от соломы. Зерен очень мало. Быть может, только одно. Очень маленькое, но ослепительно сверкающее, как брильянт на черной подушечке для регалий. Соломы много: почти все остальное. Ей предназначено сгореть. Железная рука правит моей рукой. Ты всегда настороже, пишет моя рука по велению той. Ты не можешь выносить подозрений и не можешь отрешиться от них. Замкнутый в своем вогнутом зеркале, ты видел и будешь видеть вместе со своим собственным, до бесконечности повторяющимся образом землю, где ты лежишь, предвкушая последний-последний-первый покой. Девственные леса. Болота. Облака. Окружающие тебя предметы. Призрачный образ твоей расы, рассеянной, как песок пустыни. Ты хладнокровно играл в ту игру, где ставкой была твоя страсть. Это верно. Но ты играл в нее на зеленом сукне случая. Незадачливый игрок! Страсть к абсолюту мало-помалу иссушала и подтачивала тебя, как подтачивает ржавчина железо, а ты, подсчитывая свои выигрыши и проигрыши с точностью до сентаво, не отдавал себе в этом отчета. Ты удовольствовался малым. Ты положил на аэролит свою чудовищно распухшую ногу. Вот он, твой узник. Но вместе с ним в заточении и ты. Только у тебя дыхание не такое ровное и глубокое, как у него. Ты чувствуешь в метеорите естественное биение пульса вселенной. В любую минуту он может вернуться на свои звездные пути. Эти космические собаки не болеют водобоязнью. Ты уже не можешь двигаться. Только рука твоя еще пишет по инерции. Это рудимент привычки, не имеющей решительно никакого разумного основания. Тебе остается только упасть в могилу. В самую глубину воронки-зеркала. Любой луч света, проникающий в нее через оболочку, в которой происходит необычайная рефракция, — оболочку, более плотную, чем атмосфера Венеры, — преломляется под углом, более острым, чем твоя собственная мысль... Я повторяюсь? Нет, ведь это не моя воля окунается в чернила и выражается в знаках. А все-таки да! Некий голос повторяет мысли, которые я когда-то записал в своем календаре. Я совсем забыл про эти заметки по астрономии души, написанные мною 13 сентября 1804-го! Это отсюда взят образ вогнутого зеркала, в которое падает луч света, отчего смотрящий глаз до бесконечности повторяется, пока не исчезает в своих отражениях. Нельзя понять, где реальный предмет в этой совершенной зеркальной камере. Все обстоит так, как будто реального предмета вообще не существует, а существует только его образ. В своей алхимической лаборатории я не добыл философского камня. Но я достиг гораздо большего. Я открыл абсолютно прямой луч, проникающий сквозь любую среду, не подвергаясь рефракции. Изготовил призму, которая может разложить мысль на семь цветов спектра. А



каждый из них снова на семь, и так далее, пока не возникнет одновременно черный и белый свет, там, где те, кто улавливают во всем только одинаковое и противоположное, увидят лишь смутное смешение цветов. Об этом открытии так и не узнал мой учитель Лаланд<sup>[360]</sup>, которому папа в тот же самый день, 13 сентября 1804 года, сказал, что такой великий астроном, как он, не может быть атеистом. Что сказал бы обо мне римский первосвященник, если бы приехал в Парагвай, где я резервировал для него должность капеллана? Что сказал бы его святейшество, погрузившись в плотную атмосферу Венеры и увидев в моем вогнутом зеркале призрак Бога, вышедший из призмы? Назвал ли бы он и меня атеологом?

В ту пору когда я сформулировал свое открытие, призмой и воронкой-зеркалом было мое собственное мышление. В нем отражалось все до последней пылинки. До мерцания эфира. В былое время, повторяю я про себя, я писал, диктовал, делал выписки. Я опрометью, как с крутых откосов, сбегал по страницам, оставляя чернильный след. И вдруг — стоп. Внезапный конец безудержного полета мысли. Точка, в которой абсолют начинает принимать форму истории, представлять ее оборотной стороной. Вначале я думал, что диктую, читаю и действую под властью мирового разума, по своей собственной суверенной воле, под диктатом Абсолюта. Теперь я спрашиваю себя: кто секретарь? Уж конечно, не мой поверенный, не заслуживающий доверия. Когда-то я приказал ему разуваться, чтобы кровь, скопляющаяся под действием тепла в его ногах, обутом в башмаки отечественного изготовления, отливала к голове. Прилив крови несколько активизировал гальванические элементы мозга, заплывшие жиром, не питаемые серым веществом. Кровь прихлынула, но и самомнение нахлынуло. Это было в начале Пожизненной Диктатуры. Не заслуживающему доверия поверенному показалось мало прохлады пола. Он усовершенствовал изобретение. Сам принес для себя таз с холодной водой. В течение четверти века он держал ноги в этой черной воде, сделавшейся гуще чернил. Не зная и не желая того, он сумел опровергнуть Гераклита<sup>[361]</sup>. Земноводные ноги секретаря всегда — а это «всегда» смахивало на вечность — омывались одной и той же водой. Вылей эту грязную и вонючую воду, Патиньо. Смени ее. Сеньор, с вашего позволения я пока оставляю се в тазу. Она уже приладилась к моим ногам. Если я перемену ее, может произойти Бог знает что. Чего доброго, я заржавею. Или, Боже упаси, в новой воде у меня растают ноги, а то и все тело. Почем знать! Я очень боюсь речной и даже дождевой воды. Речной, потому что она течет, а дождевой, потому что льет, как из-под лошадиного или коровьего хвоста. Соображения моего Санчо Пансы не лишены смысла. Разве не говорил мудрый царь Соломон, что время гложет железо зубами ржавчины, а человека зубами сомнения? Может ли быть что-нибудь незыблее, чем «Отче наш»? А между тем «Отче наш» движется в устах людей. Мысль, которую вкладывают в «Отче наш», проворнее двенадцати тысяч Духов Святых, даже если у каждого Духа двенадцать пар крыльев, а в каждой паре крыльев двенадцать ветров, а в каждом ветре двенадцать победительных сил, а каждая сила безмерна, как двенадцать тысяч вечностей. Гроции и Пуффендорфы<sup>[362]</sup> высказываются в том же смысле. Они говорят, что их клаузулы применялись еще в эпоху Христа. Попробуйте их опровергнуть! Как доказать обратное? Христос, утверждают дни, лишь собрал их, как крупинки золота, мирры и ладана, и нанизал на одну нить. А дым сгущается, и кашель поглощает функции мысли! Теперь я чихаю! По ночам я становился на колени перед тазом секретаря. В белом конусе света, отбрасываемого свечой, я наклонялся над круглым черным зеркалом. Молитвенно

складывал руки и ждал. По истечении некоторого времени я начинал различать — это случалось только иногда, не всегда, — смутные образы, скользившие, подобно облакам, по поверхности дегтя, в который превратилась вода. Значит, ноги секретаря мыслили в противоположность его памятливому и невежественному уму? Должно быть, эти земноводные растения думали что-то тайное. Иногда я также слышал голоса, нечто подобное гулу толпы, когда по улицам идет процессия за балдахином его святейшества. Думая о секретаре, я вспоминал Аристотеля, который утверждал, что слова Платона подвижны, летучи и, следовательно, одушевлены; вспоминал Антифана<sup>[363]</sup>, уверявшего, что слова, с которыми Платон обращался к детям, замерзали в холодном воздухе. Вследствие этого они становились внятными, только когда устаревали, а к тому времени и дети успевали состариться и понимали под ними нечто совсем иное, чем то, что они значили вначале. Но что думали ноги секретаря? Что они говорили? Были ли одушевлены их слова, как слова Платона? Если они что-нибудь говорили, то не по-испански, не на гуарани, не по-латыни и не на каком другом живом или мертвом языке.

Образы не прояснялись, оставались белыми облаками, принимавшими формы неведомых зверей. Фантастических, как в bestiариях. Сказочных. Иногда эти облака, окрашенные отсветами какого-то крошечного закатного солнца, отливали синевой, как белки косоглазых, опаловым цветом, как катаракты, или красным и желтым, как глаза тигров во время течки. Вот и все. Никаких откровений на Патмосе<sup>[364]</sup> таза. Однако надо быть осторожным. Как знать. Всякое бывает. Самые глубокие откровения иногда приходят самыми низменными и неожиданными путями. По мнению Петрония<sup>[365]</sup>, миры соприкасаются между собой, образуя равнобедренный треугольник, в центре которого находится обиталище истины. Там пребывают все слова, примеры, идеи и образы всего, что было и будет.

Летом, когда стоит адская жара и порой даже ночью не спадает зной, таз упорно безмолвствовал. При свете луны, свечи, фонаря ничего нельзя было разглядеть на глади тяжелой воды, спавшей без сновидений. Как мертвая. Только с первыми зимними холодами появлялись облака и начинали слышаться невнятные голоса. Я испробовал самые разные реактивы — кислоты, соли, вещества, полученные путем дистилляции из гречихи и ликоподия или плауна, и многие другие едкие эссенции. Пыльца растений вызывает сильное жжение. Все эти реактивы не оказывали никакого действия, самое большее начинали подниматься продолговатые пузырьки, и, когда они бесшумно лопались, мне в нос ударяла вонь: от мулата пахло не духами. Однажды я всю ночь работал с ацетиленовой горелкой, пытаюсь разморозить слова и образы, заключенные в этих облаках, в этих невнятных голосах. Пламя горелки делалось все белее, пока не стало ослепительно белым, как кость, вода становилась все чернее, а под конец закипела, и из таза повалил пахнувший серой пар. Горелка взорвалась. Ее обломки врезались в стены, как осколки гранаты. На следующее утро я, не подавая виду, стал внимательно следить за поведением секретаря. Время от времени, когда я делал паузу в диктовке, он, поднимая одну ногу, чесал ее под столом, и с нее падали капли, долбя камень моего терпения. Казалось, это падали капли расплавленного свинца на мою собственную подагрическую ногу, особенно чувствительную из-за головной боли после бессонной ночи. Что с тобой, Патиньо? Почему ты чешешь ногу? Ничего, сеньор, вода только малость тепловата. А у меня что-то ноги зудят — то ли крапивница, то ли краснуха или что еще. С вашего разрешения, сеньор, я сменю ее. Не надо! — чуть не крикнул я. Не меняй! Как вам

угодно, сеньор. Вообще-то я люблю теплую воду: ничего нет приятнее, чем прохладить потом ноги на ветерке, подремывая в гамаке в час сиесты. Я хотел сохранить эту воду с тайными мыслями ножищ моего секретаря. Но до чего же хитер мулат! Он предвидел эту возможность и нарочно опрокинул таз. Уходя, должно быть, сказал про себя: что было, то сплыло.

Веселые язычки пламени взметаются со всех сторон в полной гармонии с моим душевным состоянием. *Pabulum ignis!*<sup>[366]</sup> Добро пожаловать, огненная стихия! Милости прошу, дружище огонь! Действуйте. Поработайте на совесть. У вас не займет много времени покончить со всем этим. Со всем! С вашей помощью малое возьмет верх над великим. Тайное над явным. Не разбрасывайтесь. Сосредоточьтесь. Не давайте себя отвлекать слухами о том, что мужчины якобы всего лишь женщины, расширившиеся от тепла, а женщины скрытые мужчины, потому что в них таятся мужские элементы, не слушайте тех, кто распространяет эти слухи. Позволь мне перейти с тобой на «ты». Я вверяю тебе мой конец. Он настанет между твоим пламенем и камнем точно так же, как Я взял начало между водой и огнем. Я возник не из трения одного куска дерева о другой и не от мужчины и женщины, которые весело сбивали масло, изображая животное о двух спинах, как говорил мой соглядатай Кантеро. Ты не подавишься мной. Но ты и не сможешь совсем покончить со мной. Все-таки есть во мне кусок, который тебе трудно проглотить. Ты выплюнешь его. Плиний бросился в кратер Этны<sup>[367]</sup>. Вулкан вернул его в виде пара, который сохранял его фигуру, его ироническую улыбку и даже непрерывное подергивание левого, косоного глаза. Эмпедокл пьяным кинулся в жерло того же вулкана<sup>[368]</sup>, желая не столько покончить самоубийством, сколько обмануть своих соотечественников, заставить их, не найдя никаких следов его тела, поверить, что он вознесся на небо. Вулкан изверг парообразное подобие одного и бронзовые сандалии другого, разоблачив мошенничество этих двух горделивых обманщиков.

Я сгорю не на костре посреди Площади Республики, а в своей собственной комнате — на костре из бумаг, разожженном по моему приказанию. Пойми меня правильно. Я не бросаюсь с головой в твоё пламя. Я бросаюсь в Этну моей расы. Когда-нибудь во время извержения она выбросит из своего кратера мое имя, и только. Разольет во все стороны раскаленную лаву моей памяти. Напрасно похоронят мои останки под главным алтарем церкви Энкарнасьон. А потом в общей могиле на церковном кладбище. А потом в коробке из-под вермишели. Ни в одном из этих мест не отыщется даже пряжки от моих башмаков, даже осколка моих костей. Никто не отнимает у меня жизнь. Я сам отдаю ее. Я не подражаю в этом даже Христу. По словам меланхолического декана, Бог-Сын по собственной воле принял смерть на Голгофе. Не важно, что он это сделал для спасения людей. Пожалуй, самозванный «избранный народ» не заслужил, не заслуживает и никогда не заслужит, чтобы какой-нибудь бог принял смерть ради него. А если бы принял, это только доказало бы сугубо человеческую, убого человеческую природу Бога. Трижды Первый и Последний Бог-Бог-Бог не Бог, хоть он и воскрес на третий день. Хоть он и Бог единый в трех лицах, в трех различных и тождественных ипостасях. Если он действительно Бог, он должен существовать непрерывно, он не может умереть ни на мгновение. Кроме того, в скорбный час в Гефсиманском саду Бог-Сын поколебался. Отче мой, да минует меня чаша сия и т. д., и т. д.. Слаб, малодушен бедный Бог-Сын. Быть может, Спаситель не доплатил последней капли крови за искупление грехов человеческого рода, и человечеству еще предстоит испустить их в великом костре

всемирного уничтожения под апокалипсическим облаком в виде гриба. Но не будем углубляться в атеологические гипотезы.

Когда ты сам — бездна, откуда исходит смертельная эманация, горнило, пышущее горячим дымом, шахта, из которой поднимается удушающая сырость, можешь ли ты сказать, что не убиваешь самого себя своими собственными испарениями? Что я сделал, почему породил эти испарения? — продолжает писать моя левая рука, потому что правая уже безжизненно упала. Пишет, тащится по Книге, пишет, списывает, Я диктую ей запретное для Диктатора под властью чужой руки, чужой мысли. Однако рука моя. И мысль тоже. Если кто-нибудь вправе жаловаться на литературу, то это я, поскольку она везде и всегда служила для того, чтобы нападать на меня. Но надо любить ее, несмотря на злоупотребления ею, как надо любить родину, несмотря на множество несправедливостей, от которых страдаешь на родине, и даже если из-за нее теряешь жизнь, потому что как человек жил, так и умирает. Я беру у других, там и здесь, иные изречения для того, чтобы лучше выразить мою мысль, чем я сам могу это сделать, а не для того, чтобы хранить их на складе моей памяти, потому что лишен этой способности. Таким образом мысли, которые я высказываю, и слова, в которых я выражаю их, в той же мере мои, так же принадлежат мне, как и до той минуты, когда я их пишу. Нельзя сказать ничего, даже самого абсурдного, что не было бы уже где-нибудь кем-нибудь сказано или написано, говорит Цицерон (*De Divinatione*<sup>[369]</sup>, II, 58). «Я сказал бы это первым, если бы он этого не сказал» — бессмыслица. Кто-то что-то говорит, потому что другой это уже сказал или скажет много позже, даже не зная, что кто-то это уже сказал. Нам принадлежит только то, что остается невысказанным, что стоит за словами. То, что в нас сидит еще глубже, чем мы сами в себе. Хуже всех те, кто симулируют скромность. Сократ лицемерно опускает голову, произнося свое знаменитое лживое изречение: я знаю только то, что ничего не знаю. Как мог перипатетик знать<sup>[370]</sup>, что ничего не знает, если он ничего не знал? Значит, он заслужил наказание в виде цикуты. Тот, кто говорит «я лгу» и говорит правду, без сомнения, лжет. Но тот, кто говорит «я лгу» и действительно лжет, говорит чистую правду. Софизмы. Политиканские извороты. Жалкая честь наделять жаждой бессмертия слова, истинный символ брэнного, проповедует меланхоличный декан. А потом нечто противоположное: все человечество принадлежит одному автору.

Составляет один том. Когда человек умирает — это не значит, что данная глава вырвана из книги. Это значит, что она переведена на другой, лучший язык. Так переводится каждая глава. Руками Бога (ну и ну! Это говорит тот самый, кто говорил о самоубийстве Бога!) будут заново переплетены наши листы, рассеянные по Великой Библиотеке, где каждой книге предназначено покоиться рядом с другой, сохраняя весь свой текст до последней страницы, до последней буквы, до последнего молчания. Старина Франклин, во всем бережливый, все прибирающий к рукам, воспроизводит в своей эпитафии мысль декана. Старина Блез повторяет сеньора Монтеня, тоже с притворной скромностью: подчас, когда я пишу, моя мысль ускользает от меня. Это заставляет меня вспомнить о своей слабости, о которой я постоянно забываю. Что для меня столь же поучительно, сколь забытая мысль, ибо я стремлюсь лишь познать свое ничтожество. Еще ребенком, читая книгу, я как бы входил в нее, так что, когда я ее закрывал, я продолжал читать ее (как клоп или моль, не так ли?). Тогда я чувствовал, что эти мысли всегда жили во мне. Никто не может подумать нечто такое, чего еще не думалось; можно только вспоминать продуманное и содеянное. Тот, у кого нет

памяти, записывает: это его способ вспоминать. Так бывает и со мной. Когда от меня ускользает какая-нибудь мысль, мне хочется ее записать, а я пишу только, что она ускользнула от меня. С мухами этого не случается, от них никто не ускользает. Обратите внимание на их расовую мощь, на их мушиный патриотизм и мушкетерскую отвагу. Они выигрывают битвы. Сковывают нашу душу, приковывая к себе наше внимание, пожирают наши тела и на наших руинах откладывают свои яйца, которые делают их бессмертными, хотя каждая из них в отдельности живет всего лишь несколько дней. Мухи! Я спасся от них! Огонь и дым избавили меня от их вторжения, от их грабительских налетов! Когда они прилетят, они найдут лишь одного обугленного сотрапезника на Последней Вечере, которую мне не удалось разделить с тысячью иуд и еще с одним из моих предателей-апостолов.

Что ты так медлишь, огонь, что так вяло делаешь свою работу? У, лентяй! Что с тобой? Разве ты с известного возраста тоже становишься бессильным и бесплодным? Может, ты старше меня? Или ты тоже задыхаешься в моей выгребной яме? Я это откуда-нибудь взял? Если и так, мне наплевать. Спиритуалист Патиньо утешил бы меня: сеньор, кто может вам доказать, что этот другой древний сеньор не вы сами? Ведь доказано, что дух переходит от одного тела к другому и во веки веков остается все тем же! Мошенник был вполне способен изобразить себя пристанищем странствующих душ.

Не знаю, почему меня все еще занимает ход часов. Когда те, что с репетицией, бьют, в мертвой тишине города их похоронная музыка звучит особенно громко. Это единственный звук. Для живых и для мертвых. Умирать я не хочу, но быть мертвым меня уже не страшит, читаю я у Цицерона, который приводит изречение Эпикарна. И у Августина Гиппонского: смерть не зло, если не зло то, что за ней следует (*De Civitate Dei*<sup>[371]</sup>, I, II). Совершенно верно, старина. Не так страшно быть мертвым, как ждать конца жизни. В особенности когда я сам продиктовал себе приговор, и смерть, выбранная мной, — мое собственное детище. Сколько узников на этой земле сами для себя вырыли могилы! Другие сами командовали «огонь!», когда их расстреливали. Я видел, с какой решимостью, чуть ли не с радостью они это делали. А иные все еще покоятся на полу и в своих гамаках, отягощенные грильо. В этот час, час сиесты, когда для них по-прежнему царит непроницаемый мрак, они сладко спят, защищенные от ослепительного солнца. Во сне они работают, роют себе могилу, вминаются в землю собственной тяжестью, не превышающей веса более тощего из моих двух белых воронов. Я вижу, как эти птицы в затаенном ожидании топорщат покрытые паршою крылья, ловя блох. Два черных пятна среди солнечных бликов. Узники покачиваются в темноте. Чуть покачиваются в своих гамаках из стороны в сторону. Скрип их грильо баюкает меня, как колыбельная песнь. А я абсолютно неподвижен. На пороге неотвратимой смерти я на своем примере учу их умерщвлению плоти. С полудня я лежу поперек кровати, свесив голову к полу. В раме окна боязливо показываются перевернутые лица Патиньо и военачальников. Бывший секретарь держит уже не перо, а длинный шест. Он начинает тыкать им в мое тело не для того, чтобы расшевелить меня, а для того, чтобы убедиться, что я мертв. Я чувствую, как, подталкиваемый шестом, плыву по водам Стикса, но также и по другой, живой, ослепительно прекрасной реке, Великой реке, Реке-Реке. Мое тело распухает, растет, колыхается на воде моей нации, которую враги тщились заковать в цепи. Мой труп разбивает их одну за другой, углубляя и расширяя русло. Кто теперь может удержать меня? Моя рука посмертно хватывается за конец шеста.

Полумертвый от страха, бывший секретарь выпускает его. Мы вместе начертали последний знак.

*Всегда, до конца жизни, его неотступно преследовала мысль о реке — свободной дороге! (Юлий Цезарь, ор. сi.)*

*Поликарпо Патиньо, как и предвидел Верховный, ненадолго избежал исполнения приговора. После смерти Диктатора, последовавшей 20 сентября 1840 года, обезглавленную власть путем дворцовой интриги захватили высшие чины парагвайской армии, сформировавшие хунту. Эта хунта была свергнута в результате военного переворота, который возглавил другой «маршал» Покойного Диктатора — сержант Ромуальдо Дуре (пекарь). Поликарпо Патиньо, бывший секретарь Верховного, а потом секретарь и серое преосвященство свергнутой хунты, был арестован и повесился в своей камере на веревке от гамака. (Прим. сост.)*

*«24 августа 1840 года, в день святого Варфоломея, под влиянием своего слуги, этого исчадия ада, Диктатор перед смертью поджег все важные документы, письма, указы, приговоры, не предвидя, это прожорливый огонь может охватить и его кровать. Задыхаясь от дыма, он в отчаянии позвал на помощь своих слуг и охрану. Двери и окна распахнулись, и на улицу полетели тлеющие тюфяки, одеяла, предметы одежды и горящие бумаги. Сколь ясное предвестие пламени, в котором со следующего месяца будет вечно гореть его душа! Одно несомненно: при этом случае прохожие, сумевшие совладать с охватившим их ужасом, впервые увидели интерьеры мрачного Дома Правительства. Некоторые даже останавливались и разглядывали опаленные обрывки бумагеи, не известной в стране ткани, из которой делались простыни Верховного.*

*Католики считают 24 августа днем, когда бес сам выходит из одержимого. Многие сопоставили это обстоятельство с цветом плата, который носил Диктатор, и сделали вывод, что его конец близок». (Мануэль Педро де Пенья. Письма.)*

Огонь мешкает, как бы раздумывая, с какого конца по-настоящему взяться за дело. Шелестит бумагами, которые опалает и превращает в дым и пепел. Взметается искрами по углам. Но пока не отваживается приблизиться ко мне; наверное, не может перебраться через трясину, окружающую мое ложе. Вода и огонь, из которых я возник, теперь вступают в заговор, чтобы предать меня финальному одиночеству. Я один в чужой стране, стране настоящих идиотов. Один. Без происхождения. Без будущности. В вечном заточении. Один. Без поддержки. Без защиты. Обреченный без отдыха бродить. Последовательно изгнанный из всех прибежищ, которые я избрал. Бессильный сойти в могилу... Ну ладно, хватит! Смерти не удастся погрузить тебя в жалость к самому себе, которой ты не запятнал свою жизнь. Мертвые очень слабы. Но живой мертвец в смерти втрое сильнее.

Я согласен, что эта борьба *ad astra per aspera*<sup>[372]</sup> сделала меня межеумком с двумя душами. Одна, моя холодная душа, смотрит уже с того берега, где время останавливается и начинает пятиться назад. Другая, горячая душа, еще бодрствует во мне. Приверженец абсолютного сомнения, я еще могу передвигаться, волоча мою дневную, чудовищно распухшую правую ногу и опираясь на левую, ночную. Эта еще не сдала. Выдерживает мою тяжесть. Я сейчас встану на минутку. Надо раздуть огонь. Из моего Я выходит ОН, снова сваливая меня на кровать как бы толчком отдачи. Хлопает меня по плечу. Огонь сразу разгорается. Опять весело пляшет, с еще большей энергией, чем раньше. От его вспышек в комнате светает. ОН снова хлопает

меня по плечу. Этот хлопок гремит, как пушечный выстрел. Сбегаются драгуны, гусары, гренадеры с ведрами воды и тачками с песком. Весь личный состав со всеми наличными средствами. Как тогда, когда я приказал сжечь Хосе Томаса Исаси на пороховом костре, и огненная желтая лава захлестнула даже мою собственную комнату. Теперь пожар тоже потушен смерчами воды и песка. Грязь затопляет помещение, хлынув через двери, окна, отдушины. Просачивается через щели в потолке. Падает крупными каплями. Каплищами расплавленного свинца, одновременно раскаленного и ледяного. Этот ливень пробирает меня до костей. Там и тут взмываются грязевые смерчи. Все в моем логове пропитывает, сжигает, буравит, пачкает, леденит, расплавляет свинцовая грязь, превращая комнату в переполненную помойную яму, где плавают ослизлые ледышки и островки пламени. А посреди всего этого, высоко держа голову, со своей всегдашней неустрашимостью, стоит ОН, все тот же Верховный Властитель, что и в первый день. Одна рука за спиной, другая на груди, за лацканом сюртука. Его не касаются порывы ветра и брызги грязи. Собрав последние силы, я бросаю ему оскорбление, словно плюю в лицо сгустком крови. Я хочу вывести его из себя; даже если нас похоронят в разных концах света, один и тот же пес найдет нас обоих! Я не узнаю свой собственный голос, это дуновение, которое исходит из легких и приводит в движение весь фонический аппарат. Мои голосовые связки, мышцы, желудочки, нёбо, язык, зубы, губы больше не производят того эфемерного шума, что мы называем голосом. Я так давно не кричал! Согласовать слово со звучанием мысли — это самое трудное на свете. В темноте я провожу рукой по лицу. Я не узнаю его. Надо различать в лампе два фокуса света. Один черный, другой белый. А у человека два лица. Одно живое, другое мертвое. ОН остается безучастным. Не обращает на меня внимания. Открывает дверь. Направляется в вестибюль. Выходит из дому. Я вижу в портике его фосфоресцирующий силуэт в нимбе белого и черного света. Я слышу, как он говорит пароль начальнику охраны: РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ! Его голос наполняет ночь. Это последний пароль, который мне суждено услышать. С ним и остается сопряжена судьба моих сограждан. От этого клика дрожит земля. Он перекачивается от одного часового к другому и разносится во все пределы ночи. Теперь окончательно Я — это ОН. ОН — это Я, ВЕРХОВНЫЙ. Извечный и вечный. Мне остается только проглотить мою старую кожу. Я слинял, она уже не моя. А я немой. Теперь меня слушает одна тишина, терпеливая, безмолвная тишина, сидящая возле меня, на мне. Только рука продолжает беспрерывно писать. Наделенная самостоятельной жизнью, подобная зверьку, который непрестанно мечется и изворачивается. Она все пишет и пишет, содрогаясь и корчась в конвульсиях, как конвульсионеры. Ultimo ratio<sup>[373]</sup>. Последняя крыса с тонущего корабля. Взошедшая на бутафорский трон Абсолютной Власти Верховная Особа строит свой собственный эшафот. Вот она повешена на веревке, которую свила своими руками. Deus ex machina. Фарс. Пародия. Балаганное представление Верховного Паяца. На подмостках только пишущая рука. Рука, которой снится, что она пишет. Которой снится, что она бодрствует. Только проснувшись, спящий может рассказать свой сон. Рука-крыса пишет: я чувствую, что падаю вместе со слепыми птицами, падающими, когда падают сумерки в день моего падения. Из их лопнувших глаз на меня брызжет кровь. В них сохраняется мой образ, картина моего падения. Эти птицы безумны! Эти птицы — Я. Внимание! Они меня ждут! Если я не отправлюсь в путь с багажом справедливости, я их больше никогда не узнаю... никогда...

никогда...

никогда...

никогда...

никогда...

**НИКОГДА!!!**

ОН возвращается. Я вижу, как растет его тень. Слышу его шаги. Странно, что у тени такая тяжелая поступь. Стучат кованые сапоги и трость. ОН грозно поднимается по лестнице. Под его ногами скрипят деревянные ступени. На последней ОН останавливается. Это самая прочная ступень. Ступень Могущества, Твердости, Власти. Появляется сияние, знаменующее его присутствие. Ярко-красный ореол вокруг темного силуэта. ОН идет дальше. На мгновение скрывается за столбом. Снова появляется. ОН здесь. ОН закидывает край плаща за плечо и входит в комнату, озаряя ее алым фосфорическим свечением. На стену падает тень шпаги: ОН указывает на меня пальцем с острым ногтем. Пронзает меня им. Улыбается. На мгновение, которое длится двести семь лет, вперяет в меня взгляд своих огненных глаз. Я притворяюсь мертвым. ОН запирает двери на ключ. Задвигает тяжелые, в пять арроб, засовы. Я слышу, как он тем же шагом обходит тринадцать остальных помещений Дома Правительства, тщательно осматривает и запирает их. От оружейной до складов, не минуя и нужники. Я знаю, что он не оставил без внимания ни одного закоулка в громадном параллелепипеде Верховной Крепости — этой новой Вавилонской башни. Дым потухшего вечером пожара клубится и стелется в прихожей, в гардеробной, в спальне, где я лежу. Почему не рухнет наконец этот старый домище, пропитанный сыростью! — с досадой думаю я, вспоминая те дни, когда я по утрам, после мессы, шел посмотреть, как роют котлован для фундамента. Прячась между кучами красной земли, прикрываясь стихарем служки, я опрокидывал во рвы тачки соли вместо щебня, который засыпали рабочие. Я внимательно наблюдал, как они делают свое дело, пока я делаю свое. Хоть бы первый же дождь растворил соль — и ты рухнул бы, проклятый домище! — мысленно кричал я, видя, как он растет, тяжелый, монументальный, похожий на пирамиду. Развались же наконец! Мыслимая соль наверняка прочнее, чем гранитный гравий, чем песчаник, чем камень несчастья. Соль моего промокшего тела не поддается Третьему Потопу, обратившему все в вязкую грязь.

Несмотря на герметичность склепа, в котором я замурован, появляется первая муха. Наверное, она пробралась через щелочку или трещину в главном алтаре. Мух привлекает очарование смерти. Некоторые эманации возвещают ее приближение маленьким мушкам. А когда жизнь прекращается, слетаются другие виды. Волна за волной. Как только веяние разложения становится ощутимым, вступает в права трупной реальности, прибывает первая партия: зеленая муха, научное название которой *Lucilia Caesar*, синяя муха, *Passim-florata*, и большая муха с черными и белыми полосками на груди, именуемая *Sarcofaga*, — вождь этого первого нашествия. Первая колония мух, слетающаяся на вкусный запах, может, откладывая личинки в трупы, произвести до семи-восьми поколений потомков, которые скопляются и размножаются в течение примерно шести месяцев. Личинки *Sarcofaga* каждый день умножают свой вес в двести раз. Кожа трупов при этом становится желтой с розоватым оттенком, на животе светло-зеленой, на спине темно-зеленой. По крайней мере так они выглядели бы, если бы все это не происходило в темноте. А вот и следующий эскадрон гренадеров-труполобов: пиофилы, которые дают сырных



червей. Потом появляются жигалки, мясоедки, ежемухи и кровососки. Их куколки обсыпают трупы, как панировочные сухари мясо, плавают в сукровице, как фасоль в супе, который я так любил. Потом характер разложения меняется. Новая ферментация, более активная, чем прежние, приводит к образованию жирных кислот, в просторечии именуемых трупным жиром. Наступает пора кожеедов с роговидной булавой, личинки которых покрыты длинными волосками, и гусениц, которые потом превращаются в красивых бабочек, носящих название огневок или *Coronas Vorealis*. Некоторые из веществ, образующихся на этой стадии, впоследствии кристаллизуются и сверкают, как блески или крупники металла в пыли, которая в конце концов остается от трупа. Прибывают новые контингенты иммигрантов. Когда трупы приобретают восхитительно черную окраску, стекаются жадные мертвоеды со сверкающими, как брильянты, переливчатыми глазами; девять видов могильщиков, лироносные Гомеры<sup>[374]</sup> этой погребальной эпопеи. С появлением эскадрона круглых, с крючковатыми коготками клещей начинается процесс высыхания и мумификации. За ними следуют зудни. Они грызут, точат, крошат пергаментную кожу, связки, сухожилия, превратившиеся в клейкую массу, похожую на смолу, а также мозолистые образования, роговое вещество, волосы и ногти. Наступает момент, когда последние перестают расти (ведь общеизвестно, что у покойников растут ногти и волосы). Но у меня уже не будут расти ногти на ногах, а моя преждевременная лысина безнадежна. Наконец по истечении трех лет прибывает последний пришелец, огромный, больше Дома Правительства, черный жук, который называется *Tenebrio Obscurus*, и диктует декрет о полном распаде. Все кончено. Исчезло даже зловоние, последний след жизни. Все растаяло и улетучилось. Не осталось даже боли. *Tenebrio Obscurus* обладает волшебным свойством вездесущности и незримости. Он появляется и исчезает. Находится в одно и то же время в разных местах. Его глаза, состоящие из миллионов фасеток, смотрят на меня, но я его не вижу. Они пожирают мой образ, но я не различаю его черного одеяния на алой подкладке... (Десять следующих листов спрессовались и окаменели.)

*(Начало листа сожжено.)*... и уже не можешь действовать. Ты говоришь, что не хочешь быть свидетелем бедствий своей родины, которые ты сам подготовил, Умрешь раньше. Умрет та часть твоего существа, которая видит смертное. Но ты не сможешь не видеть того, что не умирает. Ибо хуже всего то, смешной архибезумец, что мертвый страдает всегда и везде, как бы глубоко он ни был погребен в земле и в забвении. Ты думал, что родина, которой ты помог родиться, что революция, которая во всеоружии вышла из твоего черепа, имеют в тебе свое начало и конец, В гордыне своей ты решил, что ты-то и произведен на свет в ужасающих родах, воплотив в себе принцип смешения. Ты впал в заблуждение и ввел в заблуждение других, вообразив, что твоя власть абсолютна. Ты ничего не добился, бывший теолог, сделавшийся республиканцем! Ты думал, что играешь ва-банк во имя своей всепоглощающей страсти. *Oleum perdidiste*<sup>[375]</sup>. Ты утратил веру в бога, но не поверил и в народ с тем подлинно революционным мистицизмом, который заставляет настоящего вождя отождествлять себя с народным делом, а не прикрываться им ради возведения в абсолют собственной личности, которую теперь черви низводят до абсолюта небытия. Когда пламя революции погасло в тебе, ты с помощью громких слов, с помощью, казалось бы, справедливых догм продолжал обманывать своих сограждан, не останавливаясь перед величайшими низостями, пуская в ход самое подлое и извращенное коварство, на какое способен впавший в маразм старик. Больной

честолюбием и гордостью, трусостью и подозрительностью, ты замкнулся в самом себе и превратил вынужденную изоляцию страны в бастион и тайное убежище своей собственной личности. Ты окружил себя негодьями, процветавшими под твоей эгидой, и держал на расстоянии народ, от которого получил Верховную Власть, сытый и опекаемый народ, воспитанный в страхе и почтении, потому что в глубине души ты со своей стороны боялся его, хотя и не почитал. Ты превратился для масс в Великую Темноту, в великого Дона-Хозяина, который требует послушания в обмен на полный желудок и пустую голову. Послушания и неведения на распутье истории. Ты лучше кого бы то ни было другого знал, что, пока город со своими привилегиями господствует над обществом в целом, революция — не революция, а карикатура на нее. Всякое подлинно революционное движение нашего времени в наших республиках с очевидной непреложностью начинается с практического осуществления действительно всенародной власти. Век назад революция комунерос потерпела поражение, когда народ был предан патрициями столицы. Ты хотел избежать этого. Но ты остановился на полпути и сформировал не подлинных революционных руководителей, а свору приспешников, укрывающихся в твоей тени, настоящий бич нации. Ты плохо прочел волю народа, а потому и плохо действовал, со старческим слабоумием кружа в пустоте своей всеобъемлющей власти. Нет, жалкая мумия, революция не пожирает своих детей. Она пожирает только своих ублюдков, тех, кто не способен довести ее до последних следствий. А если надо, и продолжить за ее пределы. Абсолютный разум бестрепетно доводит свою мысль до конца. Ты это знал. Ты копировал его в своих бумагах, ни для чего не предназначенных и никому не адресованных. Под конец ты поколебался. Но все равно ты осужден. Тебя ждет более тяжкая кара, чем других. Для тебя искупления нет. Других поглотит забвение. Тебе, бывший Верховный, придется дать отчет за все и заплатить все до последнего квадранта... *(Последующие листы склеились и не поддаются прочтению.)*

... среди ночи ты спустишься в подземные казематы. Пройдешь между рядами гамаков, висящих в несколько ярусов, одни над другими, прогнивших за двадцать лет от пота страдальцев, лишенных даже света. Они не узнают тебя. Они тебя даже не увидят. Не увидят и не услышат. Если бы у тебя еще был голос, ты с удовольствием обругал бы их, наорал бы на них по своему обыкновению, задал бы этим призракам, которые смеют тебя игнорировать. Слушайте, проклятые недоноски, хотелось бы тебе крикнуть им, в последний раз повторив то, что ты бормотал тысячи раз. Тебя уже никто не слышит, и это хорошо, это лучше всего. Не стоит драть горло в абсолютной тишине. Ты обойдешь ряды заключенных. Посмотришь каждому в гноящиеся, с бельмами глаза. Они не моргнут. Разве узнаешь, видят ли они сны и видят ли во сне тебя как неведомого зверя, как безымянное чудовище? Сон — самое тайное у человека и животного. Ты будешь для них только формой забвения. Пустотой. Темнотой в этой темноте. Наконец ты ляжешь в свободный гамак. В самом нижнем ряду гамаков, которые слегка покачиваются под арробами железа — кандалов, в сто раз более тяжелых, чем скелеты этих призраков. Истлевшие от плесени и времени веревки оборвутся, и ты упадешь на пол. Никто не засмеется. Могильная тишина. Всю ночь ты проведешь здесь, лежа среди смердящих останков. С закрытыми глазами, со скрещенными на груди руками. Пот этих несчастных, их испражнения, их моча, стекая с гамака на гамак, будут литься на тебя, падать каплями погребальной грязи. Они будут все больше придавливать тебя, эти перевернутые столбы, подпирающие твою неподвижность, сталактиты, растущие над твоим Верховным

бессилием. Когда клещи, жуки, саркофаги и все прочие крохотные грызуны-мертвояды со своими личинками и гусеницами покончат с остатками твоей личности, тебе тоже вдруг страшно захочется есть. Ужасный аппетит. Такой ужасный, что целого мира, всей вселенной было бы мало, чтобы утолить твой голод. Ты вспомнишь о яйце, которое ты велел положить в горячую золу для твоего последнего завтрака, но которое тебе не довелось съесть. Сделав сверхчеловеческое усилие, ты попытаешься встать из-под давящей на тебя громады мрака. Тебе это не удастся. У тебя выпадут последние волосы. Личинки будут по-прежнему спокойно пастись в твоих останках из своих длинных волосков они соткут для тебя парик, чтобы твой лысый череп не мерз от холода. Пока они, похваливая, будут уписывать тебя под музыку своих лютен и лир, ты, безголосый, утративший дар речи, онемевший от неизлечимого катара, обостренного сыростью, взмолишься, чтобы тебе принесли твое яйцо, яйцо с зародышем, яйцо, забытое в золе, яйцо, которое другие, более хитрые и менее забывчивые, к тому времени уже съедят или бросят в мусорное ведро. Так всегда бывает. Что, если на этом мы оставим тебя, Верховный Покойник, обреченный на вечный голод, на вечное желание съесть яйцо, за то, что ты не сумел... (Далее текст не поддается прочтению, последующие разрозненные страницы книги рассыпаются в труху, продолжение невозможно найти.)

## Приложение

### 1. Останки Верховного

31 января 1961 года парагвайские историки были официальным циркуляром приглашены на совещание с целью «предпринять шаги для разыскания останков Верховного Диктатора, которые должны быть снова приобщены к национальному достоянию как священные реликвии». Циркуляр призывал также всех граждан принять участие в этом патриотическом Крестовом походе для отвоевания как могилы Основателя Республики, так и его останков, исчезнувших, рассеянных неизвестными осквернителями, врагами Пожизненного Диктатора.

Весть об этом начинании донеслась до самых отдаленных пределов страны. Как и в другие решающие моменты национальной жизни, граждане поднялись, как один человек, и единодушно откликнулись на призыв правительства.

Единственный диссонанс во всенародный энтузиазм внесли — какой сюрприз! — голоса специалистов, хронистов, авторов работ по парагвайской истории. Казалось, на национальную историографию нашло внезапное умопомрачение: ее неожиданно охватила неуверенность в вопросе о том, какой череп можно считать единственно подлинным черепом Верховного. Мнения разделились; историки высказали различные точки зрения, и между ними поднялись горячие и шумные споры. Словно в подтверждение другого предсказания Верховного, начинание, долженствовавшее способствовать национальному единству, стало почвой, на которой вспыхнула маленькая гражданская война, по счастью бескровная, поскольку речь шла лишь о бумажной конфронтации.

Ниже приводятся в сжатых резюме некоторые из высказываний на эту тему наиболее известных историков (расположенные в порядке поступления):

*Бенигно Р. Гарсия (23 февраля 1961)*

*«Имею сказать Вашему превосходительству, что лично и, исходя из сведений, которыми располагаю, придерживаюсь мнения, что существуют веские основания для предположения, [что как останки, находящиеся в Буэнос-Айресском*

*Национальном Историческом Музее, так и останки, находящиеся в нашем Музее Годоя, извлечены из могилы, которая, несомненно, и была могилой великого человека, о коем идет речь.*

*Что касается уже приведенного утверждения, будто упомянутые останки не являются подлинными, то этот вопрос мог бы быть решен нейтральной экспертизой, прибегнуть к которой я почтительнейше рекомендую Вашему превосходительству и которую могли бы провести нижеследующие научные учреждения:*

*Smithsonian institution*

*United States National Museum Washington, D. C.*

*DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY Yale University U. S. A.*

*PEABODY MUSEUM OF AMERICAN ARCHAEOLOGY AND ETHNOLOGY Harvard University Cambridge, Massachusetts,*

*U. S. A.,*

*чья компетентность и беспристрастие не подлежат никакому сомнению.*

*Сознавая, что по понятным причинам, которые здесь нет надобности разъяснять, Правительство Республики, предпринимая соответствующие шаги, должно соблюдать надлежащую осторожность, я полагаю, однако, что ее не следует доводить до крайности, отказываясь от меры, разумность и справедливость коей неоспоримы, каков бы ни был вердикт научных центров, которые я позволил себе предложить в качестве арбитров». (Прилагается справка, в которой Бенигно Р. Гарсия излагает историю останков, находящихся в Буэнос-Айресском Национальном Историческом Музее, и подвергает критике исследование доктора Феликса Ф. Оутсса, иронизируя над его доказательствами и отвергая его выводы.)*

*Хесус Бланко Санчес (14 марта 1961)*

*«Я прежде всего должен сказать Вашему превосходительству, что чрезвычайно рад похвальному решению правительства почтить память героев нашей борьбы за национальную независимость. Но коль скоро наше правительство берет на себя заботу об этом, в высшей степени важно подойти к делу с полной серьезностью и, главное, принять необходимые меры, чтобы избежать неприятных сюрпризов, ибо правительство, представляющее нацию, не должно подвергать себя подобному риску.*

*Ваше превосходительство, конечно, понимает, что, если бы эти останки находились в нашей стране, не было бы больших трудностей на пути к успешному достижению поставленной цели, поскольку подобные предприятия в конечном счете имеют всегда главным образом символическое значение. Но так как эти останки должны быть привезены из Буэнос-Айреса, где герой нашей борьбы за независимость подвергался таким нападкам со стороны представителей мощного течения в общественном мнении, упорно враждебного его личности, а в особенности его деятельности на посту главы государства, этот вопрос по указанным причинам представляется деликатным и заслуживающим тщательного и объективного изучения. Я полагаю, что в настоящее время упомянутое течение в общественном мнении Аргентины снова набирает силу, и поэтому мы должны считаться с возможностью, что останки, находящиеся в Буэнос-Айресском Историческом Музее, не являются подлинными. В этом случае против нас, без сомнения, повели бы*

коварную пропагандистскую кампанию, и мы рисковали бы даже оказаться в смешном положении.

*Никто не может сомневаться в подлинности документа, о котором я говорю (речь идет о документе, по-видимому, доказывающем подлинность останков). Однако, на мой взгляд, он неубедителен, поскольку тот, кто долгое время держал эти реликвии «в коробке из-под вермишели», а потом подарил их иностранцу, недвусмысленно говорит нам, что они никогда не вызывали у него никакого интереса и не пробуждали патриотического чувства».*

*Мануэль Пенья Вильямиль (24 марта 1961)*

*«Чтобы информировать Ваше превосходительство, придерживаясь критериев строго научного исследования, необходимо ответить на два вопроса, хотя и связанных между собой, по требующих различной постановки. Во-первых, достоверно ли, что останки, находящиеся в Буэнос-Айресском Национальном Историческом Музее, принадлежали Пожизненному Диктатору? Во-вторых, позволяет ли правительству нынешнее состояние исторических исследований по данному вопросу предпринять официальные шаги для возвращения этих останков?»*

*Что касается первого вопроса, то я заявляю, что не могу с уверенностью ни отрицать, ни утверждать, что эти останки являются подлинными. Для любого ответа необходимо предварительное рассмотрение методов, которым следовал сеньор Лоисага при эксгумации останков в бывшей церкви Энкарнасьон. Рассказ об эксгумации содержится в письме самого сеньора Лонсаги аргентинскому историку доктору Эстанислао Себальосу. Парагвайский историк Рикардо Лафуэнте Мачаин в своей работе «Смерть Пожизненного Диктатора и эксгумация его останков» воспроизводит этот рассказ без существенных изменений, не опираясь на новые исследования. В качестве свидетелей эксгумации называются отец Векки и сеньор Хуан Сильвано Годой. Последний при этом достал из той же могилы другой череп, который хранится в Асунсьонском музее, носящем его имя.*

*Образ действий сеньора Лоисаги при упомянутой эксгумации вызывает у нас следующие замечания:*

*а) он был движим не духом серьезного и беспристрастного исторического исследования, а политическими страстями; б) он не позаботился о компетентном осмотре эксгумированных останков, чтобы устранить возможность ошибки». (Следуют другие соображения, ставящие под вопрос подлинность останков, которую доказывали, опираясь на сообщение парагвайского врача доктора Педро Пеньи, напечатанное в асунсьонской газете «Ла Пренса» от 19. 2. 1898, и на играющую главную роль в этом музейном споре знаменитую френологическую работу аргентинского врача доктора Феликса Ф. Оутеса, опубликованную в Бюллетене Института исторических исследований, фак. философии и литературы, том IV, с. 1 и далее. Буэнос-Айрес, 1925.)*

*Юлий Цезарь Чавес (28 марта 1961)*

*«В середине 1841 года парагвайскую политическую атмосферу возмутила начавшаяся горячая полемика относительно жизни и деятельности Верховного. По рукам ходили памфлеты и пасквили и в прозе, и в стихах. Противники и приверженцы покойного Диктатора рьяно ринулись в бой. Первые утверждали, что Верховный не достоин покоиться в церкви, и во всеуслышание заявляли, что доберутся до его останков и бросят их на мусорную свалку. Здесь уместно напомнить, что однажды*

утром, вскоре после смерти Верховного, на двери церкви появилось воззвание, написанное от его имени, в котором говорилось, что он в аду и умоляет убрать его прах из святого храма для облегчения его грехов. Некоторые семьи, которые Верховный яростно преследовал, в том числе семья Мачаин, не скрывали своего намерения выместить свою ненависть к нему на его останках. Но и приверженцы Верховного не оставались бездейственными. Они организовывали одну за другой народные демонстрации, и толпы манифестантов стекались к могиле своего вождя. В течение 1841 года напряжение возрастало и, по-видимому, достигло своей кульминации 20 сентября, в первую годовщину смерти Верховного Диктатора. Разгоревшиеся страсти грозили привести к гражданской войне; атмосфера накалялась, ставя под угрозу мир в стране, столь необходимый для решения внешнеполитических, экономических и социальных проблем. Тогда консулы энергично вмешались: распорядились разобрать склеп, где находились останки Верховного, и похоронить их «неизвестно где». По версии Альфреда Демерсэ («Доктор Франсия, диктатор Парагвая», 1856), «он был погребен в церкви Энкарнасьон, и гранитная колонна указывала приверженцам усопшего место его последнего пристанища, которое они благоговейно чтили. Говорят, что вскоре после годовщины этого скорбного дня склеп исчез, и распространился слух, по-видимому достоверный, что останки знаменитого доктора Франсии были перенесены на церковное кладбище. Однако консульское правительство, которое пошло на эту тайную меру, руководствуясь политическими соображениями, отвергало всякую мысль о бесполезном осквернении праха. Верховный покоится ныне в том месте, которое эти милосердные люди избрали для него, но его могила все еще бросает тень на его преемников».

Томас Джефферсон Пэйдж, командир американского корабля «Уотер Уич», прибывшего в Парагвай с разведывательной миссией, говорит по этому поводу: «Церкви содержатся в хорошем состоянии, но одну из них посещает заметно меньше верующих, чем другие. Добрые люди редко упоминают о ней, ибо из-за ее святой ограды исходит веяние некой тайны, внушающей страх. Однажды ясным утром, когда храм, как обычно, был открыт для молебна, надгробье оказалось разобранным, а кости тирана навсегда исчезли. Никто не знал, никто и не спрашивал куда. Прошел только слух, что дьявол потребовал свое: тело и душу. (La Plata, The Argentina Confederation and Paraguay. London, 1859.)

Можно ли считать, что останки, переданные в дар Буэнос-Айресскому Национальному Историческому Музею доктором Эстанислао С. Себальосом, действительно принадлежат Пожизненному Диктатору Парагвая? В течение долгих лет они экспонировались в названном музее; в настоящее время они находятся в его подвалах среди предметов, не имеющих ценности.

Нам лишь известны два мнения, оба авторитетные и оба отрицательные (речь идет об уже упомянутых работах). Оутес, выдающийся ученый, движимый любознательностью исследователя, осмотрел и обмерил предполагаемые останки Верховного, после чего заявил: «Прежде всего, свод черепа, судя по его морфологическому характеру и анатомическим особенностям, принадлежит индивиду женского пола не старше 40 лет, по всей вероятности неевропейского происхождения *sensu lato*<sup>[376]</sup>. Между сводом черепа и лицевым скелетом нет никакой связи. Даже если оставить в стороне особенности последнего, всякая попытка реконструировать череп, пользуясь обоими фрагментами, оказалась бы тщетной,

потому что в обоих обломки лобной кости слишком велики, чтобы дополнять друг друга. Это доказывает *prima facie*<sup>[377]</sup>, что фрагменты принадлежат двум индивидам. Наконец, челюсть принадлежит ребенку, у которого к моменту смерти полностью сохранились молочные зубы».

Оутес приходит, таким образом, к следующим выводам: во-первых, верхняя часть черепа принадлежала женщине не старше 40 лет неевропейского происхождения, то есть негритянке или индианке; во-вторых, лицевая часть принадлежала взрослому мужчине, но не старику; в-третьих, челюсть принадлежала ребенку, не достигшему шестилетнего возраста).

## 2. Странствия останков Верховного

Доктор Р. Антонио Рамос (6 апреля 1961)

«Франсиско Виснер де Моргеиштерн, написавший по поручению маршала Франсиско Солано Лопеса книгу о Верховном Диктаторе, отмечает следующее: «Через несколько месяцев после смерти Диктатора ризничий церкви, где он был похоронен, однажды утром обнаружил, что его гробница вскрыта. Кто были похитители его останков, установить не удалось; однако они оставили след, который терялся на берегу реки Парагвай, куда, как предполагают с достаточным основанием, эти останки были брошены, что подтверждал и осмотр берега. В Асунсьоне в то время ходили разные версии этого события. Согласно одной из них, останки Диктатора вытащили из могилы и бросили в реку люди, нанятые семьей М., желавшей отомстить покойному за членов этой семьи, которых Диктатор приказал расстрелять, когда был раскрыт последний заговор Йегроса. Согласно другой версии, одна семья извлекла останки из могилы, чтобы сжечь их, а пепел развеять по ветру. Наконец, по третьей версии, другая семья в сговоре со священником извлекла их, чтобы тайно похоронить в другом месте». (Комментарий составителя: поверив Виснеру, который, основываясь на слухах, рассказывает, что останки Верховного исчезли в воде, огне, воздухе или земле, мы должны были бы прийти к выводу, что не было никаких странствий этих останков, оскверненных из чувства ненависти или мстительности.)

Но вернемся к сообщению доктора Рамоса:

«Виснер де Моргеиштерн дает, однако, и другую версию, связанную со свидетельством, которое будет приведено ниже. Карлос Лоисага, который входил в состав триумvirата, созданного в Асунсьоне в 1869 году, и вел переговоры с бароном Котехипе о мирном договоре между Парагваем и Бразилией (речь идет о марионеточном правительстве, поставленном у власти за год до окончания войны в 1870 г.), в письме к доктору Эстанислао Себальосу сообщает, что он (бывший триумvir Лоисага) вместе с отцом Векки, священником церкви Энкарнасьон, эксгумировал «останки тирана». Первоначально, добавляет он, эти останки помещались в саркофаге, находившемся возле главного алтаря, но священник дон Хуан Грегорио Урбьета, впоследствии епископ, в 1841 г. извлек их оттуда и похоронил на церковном кладбище.

Итак, в упомянутом письме Карлос Лоисага утверждает, что в эксгумации «останков тирана» вместе с ним участвовал отец Векки. Но Рикардо де Лафуэнте Мачаин со своей стороны утверждает, что при ней присутствовал также Хуан Сильвио Годой. «Несмотря на то что этот план держался в секрете, доктор Хуан Сильвио Годон, секретарь Верховного суда, о нем узнал и, хотя и не был приглашен,

решил присутствовать при его исполнении. В назначенную ночь он дождался в церкви Энкарнасьон прихода сеньора Лоисаги, спрятавшись за колонной, а затем вышел из-за нее, закутанный в плащ, в широкополой шляпе, подобный огромной летучей мыши в человеческом облике.

Оправившись от страха, вызванного у него этим неожиданным появлением и вполне понятного, учитывая место, время и намерения сеньора Лоисаги, хотя ему они, возможно, казались безупречными, он легко согласился, чтобы чиновник Годой присоединился к нему и неонам, и те принялись за работу. Когда отвалили надгробную плиту и разгребли землю, начали показываться человеческие останки. Сеньор Лоисага предположил, что останки Верховного Диктатора самые верхние, и приказал забрать их и положить в принесенную специально для этой цели коробку из-под вермишели. Но сеньор Годой заметил другой череп, полузасыпанный землей и мусором, подобрал его и спрятал под плащом. Говорят, бывший триумвир сеньор Лоисага посмотрел ему вслед, когда тот ушел, с минуту раздумывая, какой из двух черепов подлинный. Однако после недолгих колебаний он укрепился в уверенности, что останки Верховного в коробке из-под вермишели, и распорядился отнести ее на чердак его дома, решив рассудить потом, что делать с ее содержимым». (Сеньор Годой поместил череп, подобранный в эту ночь, в свой частный музей, достойный гуманиста эпохи Возрождения; таким образом, замечают другие исследователи, история останков, так сказать, повисла в воздухе на перекрестке дорог, обозначенном раздвоившимся черепом тирана.)

Снова берет слово доктор Рамос: «Посмотрим теперь, что случилось с черепом, подобранным Лоисагой. В 1876 г., будучи в Асунсьоне в качестве врача на прибывшей туда аргентинской канонерке «Парана», доктор Онорио Легисамон узнал, что «останки Пожизненного Диктатора находятся в руках Карлоса Лоисаги». Это стало ему известно от семьи последнего. Легисамон стал добиваться возможности «увидеть и осмотреть драгоценные останки». Вначале Лоисага воспротивился этому, но потом согласился удовлетворить желание аргентинского врача (который пользовал его и вылечил от тяжелой болезни). Сам доктор Легисамон рассказывает по этому поводу следующее:

«Мне показали останки в коробке из-под вермишели. Велико было мое разочарование, когда я остался наедине с бесформенной грудой обломков костей, по-видимому раздробленных молотком. Зная темперамент моего пациента, а также его давнюю ненависть к Диктатору, я легко догадался, почему с ними так обошлись. Хорошо сохранился только свод черепа. От одежды осталась лишь подошва башмака с очень маленькой ноги, принадлежавшего, вероятно, малолетнему ребенку. Я добился от сеньора Лоисаги, поступившись своим гонораром, чтобы он разрешил мне увезти череп того, кто был Верховным Правителем Парагвая».

Впоследствии, заключает доктор Рамос, Легисамон отдал сохранившуюся часть черепа доктору Эстанислао Себальосу, который в свою очередь передал ее Буэнос-Айресскому Национальному Историческому Музею. По последним сведениям, череп перестали выставлять на обозрение публики. Исходя из кратко изложенных выше соображений, не претендующих исчерпать тему, нельзя утверждать, что череп, хранящийся в Буэнос-Айресском Национальном Историческом Музее, является черепом Верховного Диктатора. Для такого утверждения нет несомненных оснований».

Марк Антоний Лаконич (21 апреля 1961)



*«После того как Асунсьон пал и оказался во власти Тройственного союза, в разграбленном и плененном городе расположились легионеры (парагвайские) и принялись перерывать, как неистовые оборотни (так в оригинале), священную землю мертвых, чтобы найти останки Верховного и утолить свою ненависть к нему, не угасшую за полвека. В 1870 г. Лоисага входил в триумvirат, образованный в Асунсьоне союзниками в качестве временного «парагвайского» правительства. Лоисага был одним из главарей Легиона. Не вызывает никакого сомнения, что осквернение праха— дело его рук, чем он, по-видимому, даже кичится в своем ответном письме доктору Себальосу. Тем более что он находился в привилегированном положении, обеспечивавшем ему полную безнаказанность. Но если он думал, что нашел могилу Диктатора, и умер в этой сладкой для него уверенности, то он ошибался. Судя по всему, Лоисага напал на какую-то общую могилу и в ночной темноте извлек оттуда первые попавшиеся останки, которые долгое время держал у себя дома в коробке из-под вермишели. Мы говорим об общей могиле на основании результатов сделанного доктором Оутесом анализа некоторых из этих костей, привезенных доктором Легисамонем. Кто знает — Господу подчас бывает угодно обращать против злых людей их собственную злобу, — не было ли по иронии судьбы в коробке из-под вермишели, которую Лоисага держал на чердаке, костей кого-нибудь из его горячо любимых родственников. Ведь Диктатор, как я полагаю, умер без молочных зубов!*

*«Остальной скелет, — говорит Лоисага, — я перенес на открытое кладбище». Опять-таки отсутствуют свидетели этого тайного погребения. Мы вправе предположить, что если бы скелет был исследован так же, как череп, то оказалось бы, что он состоит, к примеру, из пяти тазобедренных костей, трех позВОНОЧНЫХ столбов, полусотни ребер и т. д., из чего следовало бы, что Диктатор по своему скелету совершенно исключительный феномен.*

*Во всяком случае, поистине курьезно, что Лоисага и Годой под покровом ночи унесли с церковного кладбища два черепа Диктатора, как будто он был двухголовым, каждый в убеждении, что у него подлинный череп Верховного».*

*(Примечание составителя: Лоисага, как рассказала одна старая рабыня этой семьи, держал в том же шкафу, что и коробку из-под вермишели, урну с прахом своей бабушки с материнской стороны. Эта бывшая рабыня, полностью сохранившая ясность ума, несмотря на свой возраст — ей больше ста лет, — призналась мне, что однажды вечером она по ошибке приготовила суп из этого пепла и подала его на ужин. Она поведала мне также, что для того, чтобы хозяева не догадались об этой ошибке и не разгневались на нее за такую провинность, она наполнила погребальную урну песком из патио. Старуха, ныне свободная, тем не менее очень просила меня не выдавать ее и «не расписывать эти глупости на бумаге». Но так как небрежность старухи куда более простительна, чем совершенное Лоисагой осквернение и похищение останков Верховного, я не только не злоупотребляю ее доверием, а, наоборот, считаю своим долгом во имя справедливости опубликовать рассказ бывшей рабыни бывшего триумвира.)*

*Доктор Лаконич продолжает:*

*«23 июня 1906 г. доктор Онорио Легисамон написал директору газеты «Ла Насьон» письмо, которое представляется мне чрезвычайно важным. В этом письме доктор Легисамон рассказывает, при каких обстоятельствах он, в те времена врач на аргентинской канонерке «Парана», получил от Лоисаги в 1876 г. останки, о*

которых идет речь, уступленные им впоследствии доктору Себальосу и наконец переданные последним в 1890 г. Буэнос-Айресскому Национальному Историческому Музею.

*«Сначала он мне наотрез отказал, пишет доктор Легисамон, сказав, что знать ничего не знает об останках Верховного; но, когда сеньор Лоисага убедился, что мои сведения исходят из самого надежного источника, потому что члены его собственной семьи объявили, что сами сообщили мне их, ему пришлось уступить моему желанию и признаться в истине: религиозные чувства побудили его извлечь эти останки, осквернявшие место, где они были похоронены. Мне показали эти останки, хранившиеся в коробке из-под вермишели». И он добавляет нечто примечательное:*

*«Велико было мое разочарование, когда я остался наедине с бесформенной грудой обломков костей...»*

*Испытав это разочарование, доктор Легисамон задумался над вопросом: не раздробила ли этот скелет в мстительном ожесточении какая-нибудь жертва Диктатора? «Я не решился тогда его задать», — пишет он.*

*В письме читается между строк подозрение, что Лоисага колотушкой переломал эти кости, мстя таким образом Диктатору. В постскриптуме доктор Легисамон подкрепляет свое подозрение ссылкой на «древний обычай гуарани мстить своим умершим врагам, выкапывая и ломая их кости».*

*По правде говоря, мы думаем, что этот обычай гуарани-открытие доктора Легисамон а, как раз подходящее для данного случая. Гуарани больше интересовало мясо, чем кости врагов: они их преспокойно съедали, если те были аппетитны. А если нет... Об этом пусть скажет Ганс Штаден<sup>[378]</sup>.*

*«Бесформенная грудa обломков костей», по-видимому, подтверждает версию об общей могиле, вполне согласующуюся с экспертизой доктора Оутеса, обнаружившего в грудe костей свод черепа женщины, лицевой скелет взрослого мужчины и челюсть ребенка. Однако...*

*Доктор Легисамон свидетельствует, что из одежды нашел лишь «подошву башимака с очень маленькой ноги». По слухам, у Верховного Диктатора были маленькие руки и ноги, чем он весьма гордился, как признаком благородного происхождения; но слова «с очень маленькой» заставляют думать о ребенке.*

*Мне не кажется поэтому подобающим организовывать национальное торжество по случаю репатриации останков столь сомнительной и спорной подлинности, как те, которые в настоящее время находятся в Буэнос-Айресском Национальном Историческом Музее. История о легионере Лоисаге сего коробкой из-под вермишели, — заключает доктор Лаконич, — неизбежно омрачила бы чествование славной памяти героя».*

Эта компиляция представляет собой выборки — честнее было бы сказать: выжимки — примерно из двадцати тысяч досье, опубликованных и неопубликованных; из не меньшего числа книг, брошюр, газетных и журнальных статей, писем и всякого рода свидетельств, обнаруженных, собранных по кусочкам, изученных в библиотеках, а также в частных и государственных архивах. К этому надо добавить версии, почерпнутые из устного предания, и занявшие в общей сложности около пятнадцати тысяч часов, записанные на магнитофон интервью с предполагаемыми потомками предполагаемых чиновников, с предполагаемыми

родственниками Верховного, который всегда хвастался тем, что у него нет никаких родственников, с его эпигонами, панегиристами и хулителями, сообщавшими неточные, путаные и туманные сведения, что весьма осложняло дело.

Мне хотелось бы уведомить читателя, что в противоположность обычным текстам этот был сначала прочитан, а уж потом написан. Вместо того чтобы сказать и написать нечто новое, я лишь точно изложил сказанное и сочиненное другими. Таким образом, во всей этой компиляции, начиная с названия и кончая настоящим заключительным примечанием, мне не принадлежит ни одной страницы, ни одной фразы, ни одного слова. «Всякая несовременная история сомнительна, — любил говорить Верховный. — Нет надобности знать, как возникали эти легендарные истории, чтобы понимать, что они не относятся к тому времени, когда писались. Существует огромная разница между книгой, которую пишет частное лицо для народа, и книгой, которую создает народ. Поэтому не приходится сомневаться в том, что эта книга такая же древняя, как народ, продиктовавший ее».

Таким образом, еще раз подражая Диктатуру (миссия диктаторов в том и состоит, чтобы заменять писателей, историков, художников, мыслителей и т. д.), составитель-копиист заявляет, пользуясь словами одного современного писателя, что смысл истории, заключенной в этих записках, сводится к тому, что история, которая должна была быть рассказана в них, не была рассказана. Вследствие этого фигурирующие в них персонажи и факты обрели в силу неотъемлемого свойства письменного языка право на воображаемое самостоятельное существование на службе у воображаемого самостоятельного читателя.

Аугусто Роа Бастос

Я, Верховный

Роман. Перевод с испанского Н.Наумова

Москва. Прогресс, 1980

Новый роман всемирно известного парагвайского писателя затрагивает чрезвычайно интересную тему — правление диктатора Франсин, представления о котором в различного рода литературе весьма противоречивы. Хотя в романе использованы и подлинные материалы, создающие иллюзию документальности, это прежде всего талантливое художественное произведение, раскрывающее психологию человека, который оказал большое влияние на историю Латинской Америки.

### **Примечания**

**1**

Seminario sobre Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. Publications du Centre de Recherches Latino-Américaines de l'Université de Poitiers. Octobre, 1976, p. 27.

**2**

«Художественная литература», М., 1967.

**3**

C. Báez. Historia diplomática del Paraguay, t. 1. Asunción, P 123-124.

**4**

Seminario sobre Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, p. 37.

**5**

Carlos L. Casabianca. La dictadura del Dr. Francia en Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. Seminario sobre Yo el Supremo, p. 53—54.

**6**

«Молодая гвардия». М., 1978.

**7**

Carlos L. Casabianca. La dictadura del Dr. Francia en Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. Seminario sobre Yo el Supremo, p. 54.

**8**

М. С. Альперович. Революция и диктатура в Парагвае 1810—1840 гг. М., «Наука», 1975, с. 159.

**9**

Пенья, Мануэль Педро — парагвайский публицист и политический деятель. Арестованный по ложному доносу в 1827 г., провел свою молодость в тюрьме, откуда вышел лишь после смерти Франсии. Позднее занимал ряд важных государственных постов, но вследствие разногласий с президентом Лопесом, которого считал верным последователем «ненавистного тирана» Франсии, покинул Парагвай и поселился в Буэнос-Айресе, где в течение ряда лет вел энергичную кампанию против парагвайского правительства.

Молас, Мариано Антонио — парагвайский политический деятель, один из руководителей движения за независимость. Первоначально единомышленник и горячий сторонник Франсии, Молас позднее выступил против предоставления диктатору бессрочного мандата, заявив, что пожизненная диктатура является «монархией, замаскированной под республику». В 1828 г. был арестован и до самой кончины диктатора, последовавшей в 1840 г., находился в заключении.

**10**

Первое Консульство — период совместного правления Франсии и Фульхенсио Йегроса, избранных консулами на национальном конгрессе 12 октября 1813 г. Продолжалось до 4 октября 1814 г., когда на втором национальном конгрессе Франсия был избран «верховным диктатором республики» на пятилетний срок. С этого момента началась «первая диктатура», которая продолжалась до 1 июля 1816 г., когда очередной конгресс провозгласил Франсию пожизненным диктатором.

**11**

Эрманно — член «братства», то есть ассоциации или религиозной общины.

**12**

Патиньо, Поликарпо — личный секретарь Франсии, его правая рука. После смерти диктатора, по-видимому, замыслил установление своей единоличной власти. Был арестован временной правительственной хунтой и, не дожидаясь суда, повесился в тюремной камере.

**13**

В конце 30-х годов в Парагвае началась эпизоотия клеща. После безуспешных попыток приостановить ее распространение Франсия разослал отряды солдат с приказом забить весь зараженный скот, кому бы он ни принадлежал, и сжечь шкуры

**14**

Безоары— округлые, различно окрашенные отложения в кишечнике жвачных животных. В старину безоарам приписывались чудесные целебные свойства.

## 15

Чапетоны — пренебрежительное прозвище испанцев, недавно прибывших в Латинскую Америку.

## 16

Первая Правительственная Хунта была образована на начальном этапе парагвайской революции, 17 июня 1811 г. так называемой Генеральной ассамблеей, представлявшей собой своего рода собрание нотаблей, то есть узкий круг именитых граждан столицы и ее окрестностей — землевладельцев, купцов, предпринимателей, адвокатов, чиновников, офицеров, духовных лиц. Душой Правительственной Хунты сразу стал Франсия.

## 17

Португальское написание фамилии Франсия.

## 18

Вместо «Te Deum» — начальных слов молитвы «Тебя, Бога, хвалим» (лат.).

## 19

Коррентинцы - жители провинции Корриентес, граничившей с Парагваем.

## 20

Гачупины — прозвище испанцев в странах Латинской Америки. (Согласно одному толкованию, это слово означает «люди со шпорами», согласно другому — «пришельцы».)

Портеньисты — сторонники Буэнос-Айреса, добивавшегося объединения под своей эгидой всех провинций Рио-де-ла-Платы в рамках бывшего вице-королевства.

## 21

Братья Робертсоны, Джон Пэриш и Пэриш Уильям, — шотландские купцы, которые вели торговлю в Парагвае, старший с 1812, а младший с 1814 г. В 1815 г. Робертсоны были высланы Франсией из страны, а в 1838—1839 выпустили «Письма о Парагвае», писавшиеся братьями попеременно, — крайне тенденциозное сочинение, проникнутое ненавистью к Франции.

Ренггер, Иоганн — швейцарский врач и путешественник. Вместе со своим соотечественником и коллегой Марселеном Лоншаном провел в Парагвае, куда они отправились для научных исследований, около шести лет, с 1819 по 1825. По возвращении в Европу Ренггер и Лоншан опубликовали книгу «Исторический очерк революции в Парагвае и диктаторского правления доктора Франсии» (1827), в которой, критически оценивая некоторые действия Франсии, отмечали и положительные аспекты его деятельности, пытаясь таким образом дать о ней полное и всестороннее представление. Несмотря на добросовестность и умеренность, проявленные Ренггером и Лоншаном, Франсия, крайне недовольный распространением нежелательной информации, всячески пытался дискредитировать их.

## 22

Комисионадо — здесь правительственный чиновник, возглавлявший партидо, административную единицу, входившую в округ (делегасьон или командансию). Выполнял административные, судебные, Фискальные и прочие Функции.

## 23

Лысуха (гуарани).

## 24

О библейских волхвах, поклонявшихся Христу, сложился целый цикл легенд, в которых восточные мудрецы предстают уже не простыми волхвами, а царями, символизирующими три расы человечества. В их честь на Западе и был установлен праздник трех царей (6 января).

## 25

Артигас, Хосе Гервасио (1746—1826) — вождь уругвайских патриотов, боровшийся за полную независимость Уругвая и решительно противившийся гегемонистским притязаниям Буэнос-Айреса, В 1820 г., потерпев поражение от своего бывшего союзника губернатора Энтре-Риос Франсиско Рамиреса, получившего из Буэнос-Айреса деньги и оружие, был вынужден навсегда покинуть родину и искать убежища в Парагвае, где Франция предоставил ему в Куругуати земельный участок с домом и назначил ежемесячную пенсию.

## 26

В 1815 г., после избрания Франции «верховным диктатором республики», монах Веласко выпустил воззвание, опубликованное в Буэнос-Айресе и получившее широкое распространение. В этом воззвании Веласко заявлял, что не было никакой необходимости вводить в Парагвае диктаторское правление, и, квалифицируя политику Франции как антипатриотическую, утверждал, будто обособление от других стран Рио-де-ла-Платы погубит Парагвай.

## 27

Локро — южноамериканское блюдо, тушеное мясо с маисом или тыквой, картошкой и т. д.

## 28

Сова (гуарани).

## 29

Броненосца (гуарани).

## 30

Вождь, глава (гуарани).

## 31

Верховный вождь (гуарани).

## 32

Летучих мышей (гуарани.).

## 33

Минга — добровольные, недолгие по времени работы, которые делаются пеонами в праздничные дни.

## 34

Конвульсионеры — возникшая в XVII в. во Франции кликушеская секта, называвшаяся так потому, что принадлежавшие к ней фанатики впадали в религиозный экстаз, сопровождавшийся конвульсиями.

## 35

Аудиенсия — судебный округ.

События, о которых здесь идет речь, — восстание, направленное против иезуитов и испанской монархии, — начались в 1721 г., когда креольская верхушка, группировавшаяся вокруг кабильдо — городского муниципалитета Асунсьона, сместила губернатора, а управление провинцией взял на себя Хосе де Антекера. В 1724 г. Хосе де Антекера возглавил ополчение, наголову разбившее войска, сконцентрированные по приказанию вице-короля на реке Тебикуари, которая отделяла Парагвай от иезуитских редукций. В 1725 г. против восставших были брошены войска губернатора Рио-де-ла-Платы, которые и овладели Асунсьоном. Однако сопротивление повстанцев было окончательно сломлено лишь в 1735 г.

### **36**

Энкомендеро — испанские колонизаторы, на «попечение» которых передавались индейцы, номинально считавшиеся свободными, но в действительности подвергавшиеся феодально-крепостнической эксплуатации. В парагвайской энкомьенде эта эксплуатация не ограничивалась взиманием подушной подати, как в некоторых других провинциях, а включала принудительную трудовую повинность в пользу энкомендеро, продолжительность которой нередко превышала четыре месяца в год.

### **37**

Ирала, Доминго Мартинес — конкистадор, губернатор Рио-де-ла-Платы. Стремясь обеспечить колонизаторов рабочей силой, в 1556 г. распределил между ними индейцев, живших близ Асунсьона, и положил таким образом начало системе энкомьенд.

### **38**

Мамелюками в Бразилии называли метисов.

### **39**

Палата Правосудия — пыточный застеноч, где допрашивали и жестоко истязали политических заключенных.

### **40**

Реминисценция из Сервантеса: Дон Кихот сделал Санчо Пансу губернатором острова Баратария. «Быть может, название это было образовано от названия городка, а быть может, намекало на то, что губернаторство досталось Санчо Пансе дешево». (Barato означает по-испански «дешевый».)

### **41**

В марте 1820 г. в Асунсьоне был раскрыт антиправительственный заговор, в котором участвовали главным образом бывшие офицеры и другие представители креольской знати, составлявшие оппозицию диктатуре. Заговорщики намеревались убить диктатора, после чего поставить во главе правительства Иегроса, который знал об этих планах, хотя активного участия в подготовке выступления не принимал. 17 июля 1821 г. Иегрос и его товарищи были расстреляны.

### **42**

Театинцы — монашеский орден. Работы Педро Лосано по истории стран Латинской Америки относятся к 70-м годам прошлого века. Таким образом, у Бастоса здесь намеренный анахронизм: Франция полемизирует с будущим историком.

### **43**

Отца (гуарани).

#### 44

Калой-кагатой — благородные люди, дословно «прекрасные и добрые» (греч.). Термин, заимствованный из сократической философии.

#### 45

Сомельера, Педро Антонио — политический деятель, участник парагвайской революции. «Портеньо», то есть уроженец Буэнос-Айреса, адвокат по профессии, прибывший в Асунсьон в 1808 г. в качестве юридического советника губернатора, Сомельера стал признанным лидером парагвайских портеньистов-унитариев. По настоянию Франции в июне 1811 г. был арестован, а в сентябре выслан из Парагвай. Автор «Замечаний» на книгу Ренгера и Лоншана, в которых дает Франции уничтожающую характеристику, отрицает какое-либо участие будущего диктатора в Майской революции, а главную роль в ней приписывает себе.

#### 46

Виснер де Моргенштерн, Франсиско — военный инженер, уроженец Венгрии, эмигрировавший в начале 40-х годов прошлого века в Южную Америку и служивший сначала в аргентинской, а затем в Парагвайской армии, где занимал различные командные посты. В 1863 г. президент Ф. С. Лопес поручил ему собрать материалы, относящиеся к эпохе Франции. При содействии правительства и местных властей Виснер успешно выполнил эту задачу, изучив архивные фонды, официальную документацию, воспоминания современников и т. д. Однако болезнь и начавшаяся война против тройственной коалиции помешали ему систематизировать и обобщить собранные данные. В конце 1868 г. Виснер, возглавлявший инженерную службу армии, оказался в плену, и его незавершенный труд попал в руки победителей, а в 1876 г. был приобретен аргентинцем Х. Богlichem, который почти полвека спустя издал эту рукопись под названием «Диктатор Парагвая Хосе Гаспар де Франция». Работа Виснера содержит чрезвычайно богатый и ценный фактический материал.

#### 47

Банда-Ориенталь — восточная провинция Рио-де-ла-Платы. С 1828 г. Уругвай.

#### 48

Урундей — южноамериканское дерево, достигающее более 25 м высоты.

#### 49

Васкес, Хосе Антонио — парагвайский историк, составитель книги «Доктор Франция глазами современников», сборника высказываний современников о «верховном диктаторе», которому, по словам Васкеса, благодаря постоянной поддержке широких масс удалось не только обеспечить независимость, материальный прогресс и проведение социальных реформ, но и воплотить в жизнь принципы демократии и народного суверенитета. Эта работа вышла в 1961 г., то есть через сто двадцать лет после смерти Франции. Роа Бастос, таким образом, и здесь прибегает к приему намеренного анахронизма.

#### 50

Мария Карлотта Жоакина — королева Португалии и Бразилии. Как дочь Карла IV, короля Испании, после отречения своего брата Фердинанда под давлением Наполеона претендовала также на испанский престол.

#### 51



Сарратеа, Мануэль — аргентинский политический и военный деятель. В 1811 г. входил в триумвират, заменивший временную правительственную хунту.

**52**

Ничтоже сумняшеся (лат.).

**53**

Неточное изложение мифа. Деянира сама выткала одежду, которую пропитала отравленной кровью Несса, собранной ею по его совету, чтобы, если понадобится, вернуть себе любовь мужа.

**54**

Образ (лат.).

**55**

Магеллановы облака — две туманности, лежащие в южном полушарии неба на расстоянии 20° одно от другого и представляющие собой скопления многих звездных куч и отдельных пятен. Название «Угольного мешка» получила расположенная около Южного Креста область небесного свода, совершенно лишенная видимых глазом звезд и резко выделяющаяся на фоне Млечного Пути.

**56**

Предположительный смысл: помни о мужчине. Забудь о женщине (испорченная латынь).

**57**

Бомбилья — тонкая, обычно тростниковая трубка для питья мате.

**58**

Сам Верховный! Сам Верховный! (гуарани)

**59**

Шлен Мамбрина — реминисценция из Сервантеса. Дон Кихот принимает таз цирюльника за сказочный «золотой шлем Мамбрина».

**60**

Страдиоты — иррегулярная конница в средние века, набиравшаяся преимущественно венецианцами в Албании и Греции.

**61**

В действительности Лукреций в отрывке, который здесь имеется в виду, излагает не свои собственные идеи, а учение Анаксагора. Далее он подвергает критике это учение. (См.: Лукреций. О природе вещей. I, 841—849.)

**62**

Литеромантия — гадание по буквам.

**63**

Гаруспиции — гадатели у древних римлян. Гадали преимущественно по внутренностям жертвенных животных.

**64**

«Дух законов» — главный труд Монтескье. «Государь» — знаменитая книга Макиавелли.

**65**

Деревянные и каменные изображения Приапа, бога садов и полей, стояли обычно в садах и виноградниках.

**66**

Имеется в виду диалог Лукиана «Сновидение, или Петух».

**67**

Контаминация образов: Тощий Рыцарь—Дон Кихот, Рыцарь Зеленого Плаща — прозвище, которое Дон Кихот дал своему случайному спутнику дону Диего де Миранде. (См. «Дон Кихот», часть вторая, глава XVI.)

**68**

Речь идет о маркизе де Саде.

**69**

За чрезмерно неприязнительный образ жизни Диоген, который довел свой аскетизм до крайних пределов, получил от современников прозвище собаки.

**70**

Имеется в виду Жан-Жак Руссо.

**71**

Не совсем точный пересказ отрывка из книги четвертой «Исповеди» Руссо: «У него были два голоса, совершенно различных, которые постоянно перемежались во время разговора, представляя контраст, сначала очень забавный, но скоро становившийся очень неприятным. Один был важный и звучный — это был, если смею так выразиться, голос его головы. Другой, высокий, резкий и пронзительный, был голосом его туловища... Стремясь показаться людям в выгодном для себя положении, он охотно давал утренние аудиенции, лежа в постели...»

**72**

Может быть (франц.).

**73**

20 сентября 1840 г. — день смерти Франции.

**74**

Под Королевской (буквально — коронной) рекой подразумевается река Парагвай.

**75**

Фабр д'Эглантин — французский писатель и политический деятель эпохи Французской революции. Ему принадлежит номенклатура республиканского календаря, где месяцы получили новые названия, а имена святых были заменены названиями растений, плодов, овощей, животных и т. д.

**76**

Бахада — впоследствии город Парана в Аргентине.

**77**

Маркиз де Гуарани (подлинное имя — Хосе Аугустин Форт) — испанский авантюрист. В середине 20-х годов прошлого века подвизался при различных европейских дворах, выдавая себя за эмиссара Франции. С его деятельностью было связано появление в печати инсинуаций, направленных против Франции, которому приписывались попытки тайного сговора с монархией Фердинанда VII и даже готовность способствовать восстановлению испанского владычества на Американском континенте.

## 78

Боливар, Симон (1783—1830) — один из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке. Принял активное участие в разгроме испанских войск в Венесуэле и провозглашении ее республикой. В 1819 г. был избран президентом республики Колумбия, куда вошли Новая Гранада и Венесуэла, а позднее и Кито (современный Эквадор). В 1824 г. разгромил испанские войска на территории Перу и в 1825 г. стал во главе образовавшейся там республики Боливии, названной так в его честь.

## 79

Орден иезуитов обосновался в Парагвае с начала XVII в. К середине XVII века иезуиты подчинили себе значительную часть коренного населения, согнав его в редукции. Актом Карла III, изданным 27 февраля 1767 г., иезуиты были изгнаны из Испании и всех ее владений.

## 80

Пасос Канки, Висенте — видный деятель южноамериканского освободительного движения, боливийский публицист и дипломат. Предположительно автор анонимной статьи «Парагвай», опубликованной в «Морнинг кроникл» 23 августа 1824 г., а также анонимной брошюры на ту же тему, вышедшей в Лондоне два года спустя.

## 81

Паулисты — потомки португальцев, обосновавшихся в Бразилии, главным образом в провинции Сан-Пауло, и в значительной мере смешавшихся с индейцами тупи. Бандеиранте — завоеватели внутренних районов Бразилии в конце XVI — начале XVII в. Бандейра — их отряд.

## 82

В 1821 г., возобновив военные действия против Буэнос-Айреса, Франсиско Рамирес потерпел поражение от Эстанислао Лопеса. Попав в плен, был убит, и его голову выставили напоказ в клетке.

## 83

Ривадавия, Бернардино; Альвеар, Карлос де; Пуэйрредон. Хуан Мартин де — политические и государственные деятели провинции Буэнос-Айрес, Объединенных провинций Рио-де-ла-Платы, а затем Аргентины.

## 84

Под «гидрой Платы» подразумевается Буэнос-Айрес.

## 85

В трафальгарском сражении франко-испанская эскадра была наголову разбита английской эскадрой под командованием адмирала Нельсона (1806).

## 86

В 1805—1807 гг. Великобритания, воспользовавшись кризисом испанского колониального управления, предприняла в Ла-Плату две вооруженные интервенции с целью превращения ее в свою колонию. Созданные патриотами отряды народной милиции возглавили оборону Буэнос-Айреса и изгнали англичан.

## 87

Пикана — длинная палка с железным наконечником, которой погоняют волов.

## 88

Кондор Канки, Хосе Габриэль — подлинное имя Тупака Амару, «последнего инки», вождя индейского восстания в Перу против гнета испанских колонизаторов и местных помещиков-креолов. В 1781 г. Тупак Амару был взят в плен и казнен.

**89**

Резвая (гуарани).

**90**

Хуаном Робертсоном Патиньо называет Джона Робертсона.

**91**

Чакра — ферма, небольшое поместье.

**92**

Хуаном Ренго Патиньо называет Иоганна Ренггера.

**93**

Марселино Лончан — Марселен Лоншан.

**94**

Мараведи и цехин — старинные монеты.

**95**

Жозеф Наполеон — брат Наполеона I, посаженный им в 1808 г. на испанский престол.

**96**

Эспинола-и-Пенья, Хосе — парагвайский полковник, во время Майской революции находившийся в Буэнос-Айресе и направленный временной правительственной хунтой в Асунсьон в качестве эmissара. Дезинформировал буэнос-айресскую хунту относительно положения в Парагвае, что и послужило одной из причин военной экспедиции Бельграно.

**97**

Никоим образом (лат.).

**98**

Достоверность эпизода с пистолетами, описанного в книге известного парагвайского историка С. Баэса «Дипломатическая история Парагвая», в историографии парагвайской революции подвергается сомнению, тем более что в сохранившемся перечне участников заседания имя Франции отсутствовало.

**99**

Исаси, Хосе Томас — парагвайский купец, первоначально сторонник Франции, в 1814 г. выступавший за передачу ему диктаторской власти, а в 1816 г. — за установление пожизненной диктатуры. Однако в 1825 г., когда Франция выпустил из Асунсьона две бригаантины, принадлежавшие Исаси, тот, прибыв в Буэнос-Айрес, отказался вернуться в Парагвай. Вместе с ним в Буэнос-Айресе остались обе корабельные команды (всего 30 человек). Вдобавок выяснилось, что Исаси удалось вывезти свыше 100 тысяч песо золотом и серебром.

**100**

Имеются в виду «Мысли» Паскаля, в частности отрывок «Место человека в природе: две бесконечности», который ниже излагается, а местами и цитируется дословно.

**101**

Речь идет о знаменитом памфлете Паскаля «Письма провинциала», направленном против иезуитов.

### 102

solis — «солнечные пятна» (лат.). Термин, заимствованный из «Мыслей» Паскаля. Комментаторы дают различные толкования этого термина. По мнению одних, Паскаль видел в этих «пятнах» начало затемнения солнца, другие считают, что речь идет о так называемом «Болонском камне», открытом в 1604 г. и обнаружившем свойство светиться в темноте.

### 103

Кварто — медная монета (1/4 мараведи).

### 104

Имеется в виду народная сказка о простодушном Перруримае и лукавом Урдемалесе.

### 105

Бельграно, Мануэль — генерал, видный политический и военный деятель Буэнос-Айреса, представитель радикального течения в Майской революции 1810 г. Член временной правительственной хунты, к которой в Буэнос-Айресе перешла власть после отстранения вице-короля.

### 106

Под аннексионистами подразумеваются сторонники присоединения Парагвая к Буэнос-Айресу.

### 107

Под «Тацитом Платы», с Тацитом-бригидным генералом» или просто «Тацитом» подразумевается аргентинский либеральный историк Бартоломе Митре, являвшийся также крупным военным и государственным деятелем. Автор труда «История Бельграно и независимости Аргентины», изданного в конце пятидесятых годов прошлого века, где он рассматривал Бельграно как подлинного инициатора революции в Парагвае, а Франсио наделил всевозможными отрицательными чертами и именовал «самым варварским из тиранов», запятнавшим себя бесчисленными преступлениями.

### 108

Хорив — библейская гора, место Моисеева законодательства израильскому народу.

### 109

Бамбука (гуарани).

### 110

Описанный выше бой вошел в историю Парагвая как сражение при Парагуари, где армия Бельграно потерпела поражение и понесла большие потери.

### 111

Кабаньяс, Мануэль Атанасио главнокомандующий парагвайскими войсками в сражениях с экспедиционной армией Бельграно при Парагуари и на Такуари.

### 112

Грасия и Гамарра — парагвайские офицеры, участники Майской революции 1811 г.

### 113

Сабала, Бруно Маурисио де — генерал-капитан Рио-де-ла-Платы, подавивший восстание комунерос.

### 114

Багр — рыба, изобилующая в водах Параны.

### 115

Под Юлием Цезарем здесь и далее подразумевается парагвайский историк Хулио Сесар Чавес, автор работы «История отношений между Буэнос-Айресом и Парагваем. 1810—1813» (1938) и фундаментального биографического исследования «Верховный диктатор» (1942).

### 116

Иегрос, Антонио Томас — офицер, участник сражений при Парагуари и на Такуари, а также переговоров о капитуляции войск Бельграно. Впоследствии начальник столичного гарнизона.

### 117

Тайный договор о «тройственном союзе» против Парагвая был заключен правительствами Аргентины, Бразилии и Уругвая 1 мая 1865 г. Договор предусматривал раздел большей части территории Парагвая, выплату им огромной контрибуции, образование нового парагвайского правительства по выбору союзников, их контроль над судоходством и т. д.

### 118

Бонплан, Эме — известный французский ботаник. В декабре 1821 г., когда он в Корриентесе близ парагвайской границы изучал методы разведения и обработки йербы-мате, парагвайский вооруженный отряд похитил ученого и доставил его на парагвайскую территорию по приказу Франции, заподозрившего его в шпионаже. Бонплан получил возможность изучать местную растительность, заниматься земледелием, скотоводством, медицинской практикой, но был лишен свободы передвижения. Несмотря на многочисленные ходатайства европейских ученых и представления ряда правительств, Франция разрешил Бонплану покинуть Парагвай лишь через девять лет, в январе 1831 г.

### 119

Речь идет о маршале Хосе Феликсе Эстигаррибии, герое войны между Парагваем и Боливией (1932—1935).

### 120

Улиток (гуарани).

### 121

Ренго — по-испански «хромой».

### 122

Корвизар, Жан (1755—1821) — знаменитый французский врач и ученый, член Французской академии. Был личным врачом Наполеона

### 123

Тем самым (лат.).

### 124

Дионисий-старший— тиран сиракузский во второй половине IV века до нашей эры, славился крайней подозрительностью и бесчеловечной жестокостью.

**125**

Чтобы выявить заговорщиков-роялистов, по указанию Хунты 29 сентября 1811 г. был инсценирован контрреволюционный мятеж. Но многие испанцы, заранее узнав о задуманной провокации, не вышли на улицы. Двоих «мятежников» успели повесить, однако вмешательство Франции привело к прекращению казней.

**126**

Декан — в католической церкви каноник, стоящий во главе духовного капитула.

**127**

Букв.: зеленые-убирайтесь-домой (англ.). Каламбур, основанный на созвучии с gringo go home — гринго, убирайтесь домой.

**128**

Но, сэр (англ.),

**129**

Букв.: осушать ад за чье-нибудь здоровье (англ.).

**130**

Ваше Превосходительство (англ.).

**131**

Есть божество, которое обтачивает чаши судьбы, как бы мы ни вытесали их (англ.).

**132**

Альфонс Мудрый — Альфонс X, король Леона и Кастилии (XIII в.). Образованнейший правитель своего века, автор многих поэтических произведений, в том числе «Гимнов», в которых возносятся хвалы Пресвятой Деве. Снискал славу окончанием начатого Фердинандом III свода законов, известного под названием «Законы земель».

**133**

Маркиз Иниго Лопес де Сантьяна — испанский писатель XV в. Слово «Сентилокио», как называется одна из его книг, означает произведение из ста частей или сборник из ста произведений.

**134**

Борхес, Хорхе Луис и Лугонес, Леопольдо — современные аргентинские писатели.

**135**

Да, конечно, Ваше Превосходительство, но... (англ.)

**136**

Не так ли? Это очень, очень приятно (англ.).

**137**

Прекрасно, Ваше Превосходительство, но... (англ.)

**138**

Прошу прощения, Ваше Превосходительство (англ.).

**139**

Дорогой Герой (англ.).

**140**

Ньяндути (на гуарани — белый паук) — тонкая ткань, изготавливавшаяся искусными парагвайскими мастерицами.

**141**

Тристе — грустная песнь, исполняемая под аккомпанемент гитары.

**142**

Суккуба (от латинского *succuba* — сожительница) — демон женского пола, дьяволица.

**143**

Ну и поганое дело, не правда ли, сэръ? Всю ночь видеть по сне старую ведьму... (англ.)

**144**

Ликидамбар — ароматический бальзам, получаемый из ствола и ветвей американского дерева окосоль. Употребляется как дезинфицирующее средство.

**145**

Какамбо — один из героев философской повести Вольтера «Кандид». Далее следует пересказ отрывка из главы четырнадцатой «Кандида».

**146**

Сто пятьдесят тысяч индейцев. Примерное число индейцев в иезуитских редукциях в середине XVIII в.

**147**

Que bendice su merced (исп.) — который благословляет Вашу милость.

**148**

Тетя (гуарани).

**149**

Пестик (гуарани). — Прим, автора.

**150**

Индеец (гуарани). — Прим, автора.

**151**

Арголья — железный ошейник, надевавшийся на преступника.

**152**

Винча — головная повязка индейца.

**153**

Пайагуа — одно из племен диких индейцев Чако. «Рекапайд- гуа» — Парагвай.

**154**

Франсия пятнадцати лет поступил в Кордовский университет, по окончании которого подучил степень доктора теологии.

**155**

Конвикторий — отделение иезуитского коллежа, где живут учащиеся.

**156**

Эспальдорасо — символический удар по плечу при посвящении в рыцари, приеме в тайное сообщество и т. п.



**157**

Новициат — здание, где живут послушники.

**158**

Мита—принудительные работы в рудниках и на фабриках, куда сгоняли индейцев во времена испанского колониального господства. Янакона — институт домашних слуг, которых испанские колонизаторы брали из индейцев.

**159**

Paternicas — сочинения «отцов церкви». Summa, (Summa Teológica) — одно из главных сочинений Фомы Аквинского (XIII в.). Петр Ломбардский — средневековый схоластик и богослов. Его главное произведение — «Sententiarum libri» (Книги сентенций).

**160**

Все мое ношу с собою (лат.).

**161**

Дословно — обошел с фонарем все земли. В переносном смысле — тщательнообследовал, изучил (лат.).

**162**

Отец Франсии был уроженцем Бразилии, видимо, португальского происхождения. Отсюда и португальские слова в его речи.

**163**

Играть (порт.).

**164**

Стыдись (порт.).

**165**

Ступай (порт.).

**166**

Сеньору (порт.).

**167**

Лазарь, иди вон (порт.). Цитата из Евангелия от Иоанна. 11, 43.

**168**

Сам (порт.).

**169**

Марианец — житель Марианы, ныне округа в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии.

**170**

Кавальеро, Педро Хуан — офицер, возглавивший восстание в Асунсьоне 14—15 мая 1811 г. Вошел в состав правительственной хунты, избранной Генеральной ассамблеей в июне 1811 г. Впоследствии противодействовал установлению диктатуры и в сентябре 1814 г. был выслан из столицы. Арестованный по обвинению в участии в антиправительственном заговоре и приговоренный к расстрелу, не дожидаясь казни, покончил с собой в июне 1821 г.

**171**

Мария, Хосе де — купец и судовладелец, еще до Майской революции приехавший из Буэнос-Айреса в Парагвай и не раз выполнявший функции связного между Асунсьоном и Буэнос-Айресом.

**172**

курульными креслами в Древнем Риме назывались почетные кресла, украшенные слоновой костью, в которые имели право садиться некоторые должностные лица — консулы, преторы и др.

**173**

Договор от 12 октября 1811 г. между Парагваем и Буэнос-Айресом официально подтверждал признание Парагвая в существующих границах и предусматривал уступки экономического характера со стороны Буэнос-Айреса.

**174**

Синархия — двоевластие или многовластие.

**175**

Химического исследования (лат.).

**176**

Терциарии — монашеский орден, ветвь ордена францисканцев.

**177**

Итапуа — пограничный город и порт на правом берегу Параны.

**178**

Посмертно (лат.).

**179**

Вот вам и увечная нога (лат.).

**180**

Водяной маис — плоды виктории-регии, употребляемые в пищу в Южной Америке.

**181**

В правление Франции страна была территориально разделена на 20 округов (*delegaciones* или *comandancias*), возглавлявшихся делегатами (*delegados*) либо начальниками гарнизонов (*comandantes militares*).

**182**

Росас, Хуан Мануэль — государственный деятель Аргентины. С апреля 1835 г. фактический диктатор страны. В условиях террористического режима восстановил многие порядки колониального времени, а также привилегии католической церкви, содействовал проникновению в страну иностранного, главным образом английского, капитала. В 1852 г. был свергнут и эмигрировал в Великобританию.

**183**

Лавалье, Хуан — аргентинский генерал, отличившийся в борьбе за национальную независимость. В 30-х годах возглавлял вооруженную борьбу против диктатуры Росаса.

**184**

Ферре, Педро — губернатор Корриентеса.

**185**

Ривера, Фруктуосо — уругвайский политический и военный деятель, соратник Артигаса в борьбе за национальную независимость Уругвая. В 1830 г. был избран первым президентом Восточной республики Уругвай. Возглавлял борьбу аргентинских эмигрантов в Уругвае против диктатуры Росаса.

**186**

Пас, Хосе Мария — аргентинский генерал, активный участник борьбы за независимость. Неоднократно входил в правительство. Занимал враждебную Росасу позицию.

**187**

Альпаргаты — крестьянская плетеная обувь из пеньки.

**188**

Гуайкуру — одно из племен диких индейцев Чако.

**189**

Самодвижение (лат.).

**190**

Яку — род американских птиц, распространенный на большой территории Америки, от Мексики до Парагвая.

**191**

Порото-хупика — разновидность бобов.

**192**

Речь идет о войне 1864—1870 гг., самой ожесточенной и кровопролитной из всех войн между государствами Южной Америки. В этой войне против Парагвая выступали Аргентина, Бразилия и Уругвай.

**193**

Первый аделантадо — Педро де Мендоса, основавший Буэнос-Айрес в 1536 г.

**194**

Чамарра — куртка, блуза из плотной материи.

**195**

Кумом всем и каждому (испорченная латынь).

**196**

Бенитес, Хусто Пастор — парагвайский историк, автор трудов «Одинокая жизнь доктора Гаспара Франсии, диктатора Парагвая» (1937), «Социальное формирование парагвайского народа» (1955) и др.

**197**

Квинтус Фикслейн — герой романа Жан-Поля (Рихтера) «Жизнь Квиитуса Фикслеина» (1796), переведенного самим Карлейлем на английский язык.

**198**

Урубубу — южноамериканский ястреб.

**199**

Эчеваррия, Висенте Анастасио — буэнос-айресский адвокат, политический деятель, входивший в состав дипломатической миссии, прибывшей в Асунсьон в октябре 1811 г. для переговоров с правительством Парагвая.

**200**

Сааведра, Корнелио — председатель временной правительственной хунты Буэнос-Айреса, взявшей власть после Майской революции 1810 г. Возглавлял консервативные политические силы.

**201**

Бомбо — ударный музыкальный инструмент, род большого барабана.

**202**

В дипломатическом паспорте Корреа да Камары вместо официального названия «Республика Парагвай» значилось «Верховное правительство Парагвая».

**203**

В 1808 г. в Португалии началось восстание против французской оккупации.

**204**

Жозе Бонифасиу де Андраде э Силва (1763—1838)—знаменитый бразильский ученый, поэт и государственный деятель, провозвестник бразильской независимости.

**205**

Букв.: черного, чернявого (гуарани). Презрительное в устах парагвайца прозвище бразильцев, в особенности бразильских солдат, вторгшихся в Парагвай.

**206**

Тепоти – дерьмо (гуарана.).

**207**

Капоэйра — в Бразилии группа ряженых во время карнавала.

**208**

Бенитес, Хосе Габриэль — министр финансов в правительстве Франции.

**209**

В 1932 г. между Парагваем и Боливией началась война, формально из-за давнего спора о границе в Чако, а в действительности из-за открытых в Чако незадолго до того месторождений нефти. Эта война, продолжавшаяся до 1935 г., стоила обеим странам больших потерь и совершенно истощила их силы. По мирному договору новая граница прошла так, что Парагвай получил большую часть спорной территории, однако выявленные месторождения нефти остались в руках Боливии.

**210**

В марте 1947 г. в Парагвае вспыхнуло мощное восстание против диктатуры Хихинио Моринго, установившего в стране военно-полицейский режим. Восстание было жестоко подавлено при прямой поддержке США. В связи с этими событиями началась массовая эмиграция, которая и подразумевается под «исходом».

**211**

Сверкающей воды (лат.).

**212**

Принц бразильский — наследный принц Педро, впоследствии регент Бразилии.

**213**

С последующим утверждением (лат.).

**214**

Морено, Мариано — идеолог и руководитель радикального течения в Майской революции 1810 г. в Буэнос-Айресе. Морено и его единомышленники отстаивали

идею превращения бывшего вице-королевства в единое централизованное государство. По их настоянию и была снаряжена экспедиция Бельграно.

### 215

Деятельность Морено в составе хунты Буэнос-Айреса продолжалась всего около полугода. В марте 1811 г., назначенный чрезвычайным послом в Англии, он скоропостижно скончался на пути в Лондон и был похоронен в море.

### 216

«Клад!», «Буэнос-АГфес!», «Победа!» (англ.)

### 217

Капская колония Голландии (ныне ЮАР) в 1806 г. была захвачена англичанами, за которыми и закреплена Венским конгрессом 1815 г.

### 218

Миранда, Франсиско де (1750—1816) — выдающийся деятель борьбы за освобождение Южной Америки от испанского колониального господства. В 1806 г. Миранда с волонтерами предпринял экспедицию из Новой Англии в Южную Америку на корабле «Леандр» и 3 августа того же года высадился близ г. Вела в Венесуэле и пытался поднять восстание коренного населения против испанцев. Эта попытка потерпела неудачу.

### 219

Юдициарная астрология в отличие от натуральной, которая предсказывала природные явления, пыталась по небесным светилам определять судьбы человечества.

### 220

С Венериной горой (народное название горы Герзельберг близ Вартбурга) связана средневековая легенда о Тангейзере. Описываемое представление, таким образом, отличается смешением самых разнородных элементов.

### 221

Ларрета, Энрике (1875—1961) — аргентинский писатель, автор исторического романа «Слава дон Рамиро».

### 222

Альфа, или эспарто, — многолетняя трава. Используется для плетения разного рода предметов, а также для выделки бумажной массы.

### 223

Кисет (гуарани).

### 224

Сиса, арбитрио — разного рода налоги.

### 225

Квинт Фабий Максим Рутилий. Ошибка: победителя самнитян звали Фабий Максим Руллиан.

### 226

Квинт Фульвий Флакк. Ошибка: с кельтиберами воевал Гай Валерий Флакк.

### 227

Гаррота — казнь через удушение, а также орудие этой казни.

### 228

Ачиоте, уруку, тапакуло и Орельяна — красящие вещества, добываемые из растений тех же названий.

**229**

Здесь: большей (порт.).

**230**

Здесь: но и (порт.).

**231**

Папа Борджиа — папа Александр VI. Сыграл роль арбитра в споре между Испанией и Португалией о границе между завоеванными ими землями, проведя демаркационную линию буллой от 4 мая 1493 г.

**232**

Договор в Тордесильяс между Испанией и Португалией, подписанный 7 июля 1494 г., несколько изменял демаркационную линию, проведенную папой Александром VI, в пользу Португалии.

**233**

Вы (порт.).

**234**

Самый большой в мире (порт.).

**235**

Кто знает, чего хочет, тот сам выбирает время, а не плетется в хвосте у событий. В поле цветы, в мыслях любовь. Уверенно смотреть вперед и творить историю своими руками (порт.) — слова из популярной революционной песни, написанной бразильским поэтом Жералдо Вандре в 1968 г.

**236**

Сеньор консул (искаж. порт.).

**237**

Давай, давай, ведь надеяться не то что знать (порт.).

**238**

От воли самой большой в мире империи (порт).

**239**

Хорошо (искаж. порт.).

**240**

Теперь (порт.).

**241**

«Конгресс... установил Консулат». 12 октября 1813 г. депутатами Конгресса, первого в истории Парагвая общенационального выборного органа, был принят разработанный Франсией проект государственного устройства. Согласно этому документу, верховную власть и командование вооруженными силами республики должны были совместно осуществлять консулы Франция и Иегрос, председательствуя в правительстве по очереди в течение 4 месяцев каждый.

**242**

Анналы (порт.).

**243**

Нет! (порт.).

**244**

Но я чудом спасся! (порт.).

**245**

Князь Мира — титул, присвоенный Годую в 1795 г. за мир, заключенный с Францией.

**246**

Аюнтамьенто — муниципалитет, ратуша.

**247**

Рехидор — член городского совета.

**248**

Скакунами (испорченная латынь).

**249**

Изыди, сатана! (лат.)

**250**

Туа, Никола дю — бельгийский историк, иезуит, автор работы «История Общества Иисуса в парагвайской провинции», опубликованной на латыни в Льеже в 1673 г.

**251**

Ловкости (порт.).

**252**

Доррего, Мануэль — губернатор Буэнос-Айреса, который в 1828 г., придя к власти, стал готовиться к вторжению в Парагвай.

**253**

Речь идет о дереве палоборачо, что в переводе с испанского и значит «пьяный чурбан». По-видимому, такое название оно получило за бутылкообразную форму ствола, резко сужающегося к кроне.

**254**

Время единоличного правления Франции (1814—1840).

**255**

Не весь я умру (лат.).

**256**

Высь (лат.).

**257**

Пампа, ранкель, диагита-кальчаки — племена и группы племен аборигенов, обитавших на территории современной Аргентины.

**258**

Мальмезон — замок близ Парижа. В 1798 г. был куплен Жозефиной Бонапарт и сделался любимой резиденцией Наполеона.

**259**

Грансир, Жан Батист Ришар — коммерсант из Кале, побывавший в Южной Америке, где познакомился и сблизился с Бонпланом. В 1823 г. Грансир, запасшись письмом за подписью Жоржа Кювье и других французских академиков, отправился в

Парагвай, чтобы вызволить своего друга. Его миссия не увенчалась успехом. Свои наблюдения и впечатления Грансир изложил в четырех письмах, отправленных в 1824—1825 гг. из Парагвая и Бразилии и опубликованных в немецкой и французской печати. В этих письмах, противопоставляя Парагвай другим государствам Рио-де-ла-Платы, Грансир одобрительно отзывался о правительстве Франции, которое, по его словам, обеспечило населению спокойствие и безопасность.

### 260

Гумбольдт, Александр фон (1769—1859) — знаменитый немецкий ученый и путешественник, автор научных трудов по ботанике, зоологии, геологии, геофизике, орографии, гидрографии и т. д., составивших целую энциклопедию естествознания и стяжавших ему прозвище «Аристотеля XIX века». В 1799 г. вместе с Бонпланом предпринял путешествие в Южную Америку, где провел почти пять лет. Это путешествие, во время которого были собраны огромные материалы не только по естественным наукам, но и по этнографии, истории, языкам и т. д., называют вторым, научным открытием Америки.

### 261

Майордомо — глава городской администрации, обычно являвшийся также старшим сборщиком налогов.

### 262

В письме на имя Франции Грансир заверял диктатора, что его поездка отнюдь не носит политического характера, а имеет своей единственной целью установление гидрографических связей между бассейнами Рио-де-ла-Платы и Амазонки на предмет их соединения каналом.

### 263

Да, да, Господин Диктатор (франц.).

### 264

Бог (франц.).

### 265

«В кровопролитной битве при Паго-Ларго между войсками Росаса и Риверы». Точнее, между войсками Корриентеса, который в то время находился в направленном против Росаса союзе с Уругваем, и войсками Энтре-Риос под командованием генерала Паскуаля Эчагуэ, одержавшими победу в этом сражении (31 марта 1839).

### 266

Ваше Сиятельство (франц.).

### 267

Ну конечно, Ваше Сиятельство! (франц.)

### 268

Грасиан, Бальтасар (1601—1658) — испанский писатель, автор знаменитого «Критикона».

### 269

Никаких «по» (франц.).

### 270

камалоте — народное название пиаропо, водяного растения, произрастающего в Южной Америке. Заросли камалоте на реках напоминают островки.



**271**

Здесь: темное дело (лат.).

**272**

Карио — индейцы гуарани, обитающие на правом берегу реки Парагвай.  
Лузитания — старинное название Португалии.

**273**

Епископ гиппонский — Августин Блаженный (354—430), крупнейший христианский мыслитель патристической эпохи, епископ города Гиппон.

**274**

Род ткани (гуарани).

**275**

Об океане (лат.).

**276**

Мартир де Англера, Педро (1457—1526)—итальянский историк, продолжительное время живший и умерший в Испании. В его трудах и переписке содержатся ценные сведения о первых открытиях в Америке.

**277**

В путь, дерьмовый ученый (порт.).

**278**

Бамбука (гуарани).

**279**

Асара, Феликс де (1746—1811) — испанский офицер, участник экспедиции, имевшей своей задачей демаркацию границ между испанскими и португальскими владениями в Америке. Составил карты районов, где он побывал, и дал их описания.

**280**

Агирре, Франсиско де — губернатор Тукумана и основатель города Сантьяго-дель-Эстеро (1552). Вероятно, намеренный анахронизм.

**281**

«В 1774 меня произвели в капитаны...» По-видимому, ошибка: к моменту рождения Франсии (1766) его отец уже был капитаном.

**282**

Ночи (порт.).

**283**

Сказал (порт.).

**284**

Благоприятным (порт.).

**285**

Начальничек (порт.).

**286**

Это (порт.).

**287**

Без (порт.).

**288**

Мальчишка (порт.).

**289**

Дай (порт.).

**290**

Ты (порт.).

**291**

Искорку (порт.).

**292**

Пираньи — маленькие хищные рыбы, изобилующие в водах Амазонки и Параны.

**293**

Велорио — бдение у тела усопшего.

**294**

Бичофео — народное название бентеверо, распространенной в Южной Америке птицы, питающейся насекомыми и червями.

**295**

Кирога, Хуан Факундо — аргентинский каудильо, прозванный «тигром льяносов» (равнин, покрытых травянистой растительностью). Фактический хозяин северо-запада Аргентины, Кирога боролся против унитариев — Ривадивии, Лавалье, Паса. Впоследствии присоединился к Росасу, но вскоре был убит, по всей вероятности по тайному распоряжению диктатора, который предпочел избавиться от ненадежного союзника.

**296**

Бермехо — река, приток Парагвая. «Бермехо» по-испански означает алый.

**297**

Сан-Мартин, Хосе (1778—1850) — один из виднейших руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Америке, генерал. В 1808—1812 гг. участвовал в освободительной борьбе испанского народа против войск Наполеона I. Вернувшись на родину, в Аргентину, был назначен командующим вооруженными силами аргентинских патриотов. В 1817 г. возглавил военный поход в Чили. В 1821 г. войска Сан-Мартина освободили Перу, и он был объявлен диктатором республики. Вследствие разногласий с Боливаром, стремившимся объединить под своим руководством всю Южную Америку, в 1822 г. отказался от власти и эмигрировал во Францию.

**298**

После разгрома испанских сил в Венесуэле и освобождения провинции Кито (совр. Эквадор) Боливар в июле 1822 г. встретился в городе Гуаякиле с Сан-Мartiном, изгнавшим испанцев из Перу и провозгласившим его независимость. Во время этой встречи Боливар отклонил предложение Сан-Мартина о совместных действиях их армий.

**299**

Монтеагудо, Бернардо — видный деятель освободительного движения в Рио-де-ла-Плате, представитель радикального течения в Майской революции.

**300**

«Их борьба начинается с октябрьской революции двенадцатого года, единственной в Рио-де-ла-Плате заслуживающей этого названия». Речь идет о событиях 8 октября 1812 г., когда под лозунгами конституции, независимости и демократии, а также более решительных военных действий был свергнут первый триумvirат во главе с Ривадавией и образован второй в составе Хосе Марии Пасо, Родригеса Пеньи и Альвареса Хонте. Это был верхушечный переворот, отнюдь не имевший того исторического значения, которое приписывает ему Франция.

### 301

Под «Царством террора» подразумевается, по-видимому, вторая книга Робертсонов — «Письма о Южной Америке», — вышедшая в начале 1843 г.

### 302

Сент-Джемс — королевский дворец в Лондоне, с XVI в. до первой половины XIX в. постоянная резиденция английских королей.

### 303

Дословно (лат.).

### 304

Бой при Гуайабосе происходил 10 января 1815 г. Под директориалами подразумеваются войска Объединенных провинций, где как раз в январе 1815 г. Альвеар сменил Посадаса на посту Верховного Директора.

### 305

Тапе — одно из названий индейцев гуарани.

### 306

Александрийская библиотека — величайшее и знаменитейшее книгохранилище древнего мира — сгорела во время войны между Юлием Цезарем и египтянами в 48—47 гг. до н.э.

### 307

Фаха — длинный, широкий пояс.

### 308

Руана — шерстяная ткань.

### 309

Контрайерба — травянистое растение, произрастающее в Южной Америке, употребляется в медицине в качестве противоядия.

### 310

Также (лат.).

### 311

Дословно и буквально (лат.).

### 312

Монтонеро — повстанцы-партизаны, составлявшие войска всякого рода каудильо и кондотьеров. Отряды монтонеро играли немаловажную роль в гражданских войнах, смутах и путчах, которыми полна история почти всех стран Латинской Америки.

### 313

Простите, Ваше Превосходительство! Заткнитесь (англ.).

### 314

Этих дерьмовых гринго нужно выгнать, как собак (гуарани).

**315**

Изыди! (лат.)

**316**

Горе побежденным! (лат.)

**317**

Здесь: мрачное-мрачное. Букв.: темный мрак (лат.).

**318**

Латинизированное испанское *en cueros* — нагишом.

**319**

При смерти (лат.).

**320**

Ошибка: прокураторство Понтия Пилата продолжалось с 26 по 36 г. н. э.

**321**

Голыми (лат.).

**322**

Паломета — хищная, чрезвычайно прожорливая рыба, изобилующая в Паране и ее притоках.

**323**

Изобильнейшее изобилие (лат.).

**324**

Тинаха — большой глиняный кувшин.

**325**

Отпускаю тебе грехи (лат.).

**326**

Все тайное становится явным (лат.).

**327**

Мерседарии — монашеский орден, основанный в 1223 г. Посвящал себя выкупу христиан, попавших в плен к иноверцам.

**328**

Фаррапосы (от португальского *farrapa*, буквально «оборванец») — участники республиканского восстания 1835—1844 гг. на юге Бразилии, в провинции Риу-Гранди-ду-Сул. В 1836 г. повстанцы провозгласили республику, в 1844 г. были разгромлены правительственными войсками.

**329**

Чамберго — мягкая широкополая шляпа.

**330**

Ортельядо, Хосе Норберто — субделегат пограничного округа Мисьонес.

**331**

Рамирес, Хосе Леон — делегат Итапуа.

**332**

Сеньор (порт.).

### 333

Составитель желает пояснить, что ошибочное обращение не его ляпсус; в своем секретном сообщении Корреа называет именно это имя, в чем можно убедиться, обратившись к тому IV «Anais», с. 60. (Прим. сост.)

### 334

Сисплатинской провинцией или республикой до 1776 г., когда она вошла в состав Рио-де-ла-Платы, называлась португальская колония, занимавшая территорию нынешнего Уругвая. В 1821 г. эта территория была захвачена Бразилией и находилась в ее руках до 1825 г., когда борьба между Бразилией и Аргентиной за обладание Уругваем и восстание в самом Уругвае окончились признанием его независимости.

### 335

Мату-Гросу — штат Бразилии.

### 336

Кордова, Санта-Фе, Парана — города Рио-де-ла-Платы, ныне Аргентины.

### 337

Гуана — когда-то большое, ныне почти вымершее племя индейцев Чако.

### 338

Танатос — олицетворение смерти в греческой мифологии.

### 339

Это каламбур, которого они не понимают, господин Робертсон! (искаж. франц.)

### 340

Чирипа — индейская одежда, своего рода плащ из треугольного куска материи, задний конец которого пропускается между ног и закрепляется спереди.

### 341

Моррион — военный головной убор, высокая шляпа с загнутыми полями и козырьком.

### 342

Бомбачи — род шаровар.

### 343

В 1832 г., вступив в конфликт с Франсией по территориальным вопросам, губернатор Корриентеса Ферре объявил войну Парагваю, и его войска заняли Канделарию. Однако под натиском парагвайцев вооруженным силам Корриентеса в декабре 1833 г. пришлось оставить Канделарию, а в середине 1834 г. по приказу нового губернатора Атьенды они были вообще выведены из Мисьонес.

### 344

Оэ... оэ... говорят, давно-давно родился наш Великий Вождь (гуарани).

### 345

Близнец (гуарани).

### 346

Чипа — хлеб из маисовой или манноковой муки.

### 347

Выше (лат.).

### 348

Сильвиева яма — глубокая борозда на нижней поверхности полушарий головного мозга, отделяющая лобную долю от височной. Называется так по имени Сильвия, французского анатома XVI в.

**349**

Брока, Поль (1824—1880) — французский врач и антрополог, определивший положение мозгового центра органа речи.

**350**

Я (лат.).

**351**

испанского короля Кларла IV.

**352**

Гадость (гуарани).

**353**

Знахарю (гуарани).

**354**

Чертополох (гуарани).

**355**

Хозяйствах (гуарани).

**356**

Лопес, Карлос Антонио — президент Парагвая с 1844 до 1862 г., то есть до самой своей смерти. Сосредоточив в своих руках всю полноту власти, установил режим, обладавший лишь внешними атрибутами представительного строя. После его смерти Франсиско Солано Лопес, незадолго до того назначенный вице-президентом, стал временным главой государства, а через месяц, 16 октября 1862 г., был избран Конгрессом на пост президента, который занимал до своей гибели на поле боя в марте 1870 г.

**357**

Лиану (гуарани).

**358**

Никоим образом (лат.).

**359**

Нарочно, специально (лат.).

**360**

Лаланд, Жозеф Жером Франсуа (1732—1807) — французский астроном, автор ряда фундаментальных трудов.

**361**

Имеется в виду изречение Гераклита: «На входящего в одну и ту же реку текут все новые и новые воды...»

**362**

Гроций, Гуго (1583—1645) — голландский юрист, государственный деятель и писатель, автор ряда богословских, юридических и исторических трудов. Пуффендорф, Самуил (1631 — 1694) — знаменитый немецкий юрист и историк.

**363**

Антифан (род. около 405 г. до н. э. — ум. в 330 г. до н. э.) — греческий драматург, комедиограф.

**364**

Патмос — один из Sporadских островов в Эгейском море. Здесь, по церковному преданию, апостол Иоанн имел откровение, составившее содержание Апокалипсиса.

**365**

Петроний, Гай (год рождения неизвестен — ум. в 66 г. н. э.) — римский писатель, автор знаменитого «Сатирикона».

**366**

Пищи огню (лат.).

**367**

Ошибка. В действительности Плиний Старший (23—79 гг.) погиб во время извержения Везувия, подъехав на судне слишком близко к берегу, чтобы лучше наблюдать это явление природы. Событие это описано Плинием Младшим, который был его очевидцем, в двух письмах к Тациту.

**368**

В действительности Эмпедокл (V в. до н. э.) умер изгнанником в Пелопоннесе, хотя о смерти его существуют различные легенды.

**369**

О ведовстве (лат.).

**370**

Ошибка: перипатетиками называли учеников и последователей Аристотеля.

**371**

О граде божием (лат.).

**372**

Через тернии к звездам (лат.).

**373**

Последний довод (лат.).

**374**

Лироносные Гомеры — жуки-могильщики, издающие скрип.

**375**

Дословно — потерял масло (лат.). От латинской поговорки *et opera et oleum perdere* — напрасно трудиться.

**376**

В широком смысле (лат.).

**377**

С первого взгляда, сразу (лат.).

**378**

Штаден, Ганс — немецкий ландскнехт (XVI в.) на португальской и испанской службе в Бразилии — попал в плен к индейцам и впоследствии описал их нравы и обычаи в книге «Правдивая история и описание страны дикарей», которая является ценным источником для изучения раннего периода истории Бразилии.

---